

ПОСЛЕ НАС ПОТОП

Борис
ХАЗАНОВ

Борис ХАЗАНОВ

ПОСЛЕ
НАС
ПОТОП



РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬ

КОЛЛЕКЦИЯ ПОЭЗИИ И ПРОЗЫ



ИСТОРИЧЕСКАЯ
КНИГА

Борис ХАЗАНОВ

ПОСЛЕ
НАС
ПОТОП

Романы, повести и рассказы

Санкт-Петербург
АЛЕТЕЙЯ
2010

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4
Х73

Хазанов Б.

Х73 После нас потоп / Борис Хазанов. — СПб. : Алетейя, 2010. — 448 с. — (Серия «Русское зарубежье. Коллекция поэзии и прозы»).

ISBN 978-5-91419-427-4

Два романа, «Далекое зрелище лесов» и «После нас потоп», ряд повестей и рассказов составляют содержание третьего тома Собрания сочинений Бориса Хазанова. Центральный текст — «После нас потоп» — рисует ситуацию страны накануне крушения советской империи. Фантастика реальной действительности — так можно сформулировать общую тему и сверхсюжет произведений этого тома.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-4

ISBN 978-5-91419-427-4



© Борис Хазанов, 2010
© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2010
© «Алетейя. Историческая книга», 2010

ДАЛЕКОЕ ЗРЕЛИЩЕ ЛЕСОВ

I

Не так уж далеко пришлось ехать, но, когда свернули с шоссе, стало ясно, что и к обеду не удастся добраться до места. К четырем стихиям классической древности следовало бы добавить пятую — грязь. Чтобы облегчить экипаж, пассажир вылез и хлопал рядом по топкому луку, между тем как водитель, плохо различимый за мутным стеклом, героически вращал баранку, качаясь и сотрясаясь в ревущей машине, и как-то даже не прямо, а косо продвигался по чудовищному проселку.

Прибыли в пятом часу. В кепке и брезентовом армяке, в резиновых сапогах путешественник напоминал сельского бухгалтера, заготовителя или агронома. Как свидетельствует исторический опыт, администрация долговечней тех, кто является объектом администрирования, и в принципе нетрудно представить себе колхоз без колхозников.

Путешественник взошел на крыльцо, попробовал оторвать от двери приколоченную наискось доску. Дом был куплен за бесценок у родственницы бывших хозяев. Без формальностей: я тебе деньги, ты мне ключ. Дом, в сущности, не принадлежал никому. Водитель вытащил из багажника ломик, отодрали доску, отомкнули скрежещущий замок. В полутемных сенях справа находились чулан и вход в сарай. Слева низкая разбухшая дверь вела в избу. Глазам приезжего предстала отгороженная печью от жилой половины кухня, в углу на табуретке стояла бочка с зацветшей водой, плавал ковш; висела полка с посудой; на плите под закопченным печным сводом стояли чугуны, жестяный чайник; из печурки торчал ухват. Здесь было все необходимое для жизни, лишь сама жизнь исчезла. Низкое окошко, затянутое паутиной, смотрело в огород.

Что касается собственно жилья, то оно представляло собой сумрачную, довольно просторную комнату, лавок не было, дощатый стол был придвинут к одному из двух окон, деревянная кровать завалена тряпьем, в углу полка, где когда-то стояли иконы, к потолку привинчены крюки. На стене обрывки плакатов и часы-ходики. Приезжий толкнул маятник. Маятник покачался и стал. Он попробовал подтянуть гири, цепочка с гирей оборвалась, упали на пол ржавые стрелки. Он приладил их кое-как. Тем временем шофер сорвал доски, прибитые снаружи к наличникам, распахнул ветхие ставни, в горнице стало светлей. На численнике, как называли здесь отрывной календарь, стояла старинная дата: возможно, день смерти.

И, собственно, больше ничего не было известно о хозяйке; родственница, давно жившая в городе, позабыла степень родства и не знала, сколько лет было старухе, которая доживала здесь свои дни, да, кажется, здесь и родилась. Или пришла из заречной деревни, робкая, круглолицая, восемнадцати лет переступила впервые этот порог. Приезжий, как был, в армяке и заляпанных сапогах, уселся на табуретку. В окна ненадолго заглянуло выбравшееся из-за туч солнце. Он оглянулся: часы стучали как ни в чем не бывало, под окном журчал дождь, сыпал снег, река вздувалась, поднялись над почернелыми лугами ледяные, желтые от навоза дороги, земля расступилась, вода сошла, земля подсохла и оделась травой. Одна беременность следовала за другой, с крюков свисали на веревках люльки. Снова лил дождь. Воды вышли из берегов.

Сидя посреди избы, как на камне, приезжий окунал ноги в холодный поток; он не старался вообразить, кто здесь жил, зачинал детей, что происходило, а скорее созерцал свое воображение, которое включилось как бы само собой, — и вспоминал то, чему никогда не был свидетелем. Река несла прочь обломки жизни, предметы, лица. Все плыло и уносилось, и постепенно воды очистились и засверкали на солнце, это была чистая и свободная от воспоминаний стихия памяти.

Снаружи урчал мотор. Новосёл вышел. Водитель хлопнул капотом машины. Водитель был двоюродный брат приезжего и номинальный владелец дома. Куда ты торопишься, перекусим, сказал приезжий. Может, останешься на ночь? Нет, отвечал брат, я поеду через Ольховку; дальше, зато по грунтовой дороге. Он внес в избу корзину с провиантом. Приезжий из города тащил следом свой чемодан и плетеную бутылку с керосином. Они обнялись, словно капитан корабля и моряк, которому предстояло жить на необитаемом острове.

II

С тех пор, как бессмысленность моего образа жизни стала для меня очевидной, я понял, что не могу продолжать свое существование, не исполнив того, что предстало передо мной сначала издалека и в тумане, затем все ближе и все настойчивей.

Если я упоминаю о моих прежних занятиях, то лишь для того, чтобы подчеркнуть, что с прошлым покончено. Прошлое — и в этом, быть может, состояло его единственное оправдание — было не чем иным, как бессознательным приуготовлением к труду, ради которого мне понадобилось сломать привычную жизнь. Я вправе назвать этот труд моим *magisterium magnum*. Нижеследующее докажет, что я не зря изъясняюсь столь высокопарно, недаром употребляю этот алхимический термин: да, мне предстоял особого рода подвиг наподобие

тех, к которым готовились, посреди перегонных аппаратов, плавильных печей и реторт, изнуряя себя постом и укрепляясь молитвой. У меня, разумеется, не было реторт, у меня была чернильница. Дабы совершить задуманное, я должен был погрузиться в одиночество и тишину, короче говоря, я должен был уехать.

В сумерках я вышел на крыльцо, погода разведрилась, надо мной блистало огромное синее и серебряное небо. Дом стоял на краю деревни или того, что от нее осталось. Соседняя завалившаяся изба, очевидно, была давно уже брошена, дальше вдоль улицы, если можно было назвать ее улицей, темнело несколько строений. Справа за околицей дорога, по которой мы прибыли, спускалась с бугра, и низко над ним сияла Венера. Стояла тишина, какой я в жизни не слыхивал.

Впереди за дорогой расстилалась пустошь. Я знал, что дальше за пустошью должна быть речка, но не мог в полутьме отличить прибрежные заросли от далеких лесов на темном горизонте. Внезапно что-то пронеслось с легким присвистом, метнулось вровень со мной в темно-блестящих, как слюда, окнах моего жилья, что-то вздохнуло и слабо вскрикнуло вдали. Не могу сказать, сколько времени просидел я на ветхих ступеньках моей хижины, очарованный тишью померкших небес. В комнате было так темно, что я вошел, простирая руки, как слепой, затем во мраке простушили окна, на стене белел календарь, и чье-то тело покоилось на кровати. Ибо на самом деле я уже лежал, словно умерший, накрытый ватным одеялом, умерший для самого себя — того, прежнего, в моей бывшей жизни. И, повернувшись на бок, я закутался в ветхое тряпье и уснул.

Прошло совсем немного времени — с этим ощущением я пробудился. Но было уже светло. День стоял в низких окнах сумрачного жилища. Жилец, ныне пишущий эти строки, с трудом себя узнающий, как змея, сбросившая кожу, — я и не совсем я, — прошлепал босиком в сени, мучительно зевая, вышел на крыльцо — солнце пылало за домом, на клочковатой траве перед избой, на изрытой, подсыхающей дороге лежала угластая тень. В майке, с полотенцем через плечо, словно дачник, в башмаках на босу ногу новосел пробирался по влажной тропинке среди путаницы побегов: пустошь, затянута ползучим сорняком, в синих искрах росы, была колхозным огородом. Поле было обширнее, чем казалось, глядя с крыльца, как будто тени удлинители его, кое-где глинистая почва обнажилась, попадались кустики свеклы, под конец тропинка пропала в густой траве. И когда, стуча зубами от холода, шуриша мокрыми брюками, я выбрался из зарослей и увидел внизу нечто вспыхивающее огнями, зыбкое и ослепительное, то засмеялся от счастья.

Окунувшись в ледяную воду, я тотчас потерял дно под ногами; речка была неширокая, мутная, течение сносило пловца. С некоторым

усилием я приблизился к противоположному берегу, почувствовал под ногами топкое дно и, размахивая руками, в темной медленной воде между ветвями ивы добрался до подмытого рекой берега. За деревьями расстился солнечный луг. Я дрожал от озноба, мне было необыкновенно весело, голый, как дикарь, я прыгал и бегал взад-вперед по луку, хлопал себя по бокам, испуская нечленораздельные звуки. Я шел вдоль обрывистого берега, высматривая свою одежду на другой стороне; течение отнесло меня довольно далеко. Река сделалась уже, темней, я давно прошел место, где бросился в воду. Солнце согрело меня. Я приблизился к роще. Первопроходец вошел в лес. Поток перегородило упавшее дерево, снизу за него уцепились растения, и блестящая вода неустанно расчесывала зеленые пряди.

Я вернулся и вскоре увидел на другом берегу, на песке свое положение. Надо было поторапливаться; немного спустя я шагал по оголодному полю; отсюда была видна вся деревня.

III

Следовало немного убраться в избе, я отложил это скучное занятие на другое время. Я и так уже потерял много времени. Вместе с тем я заметил, что день еле движется. Было все еще раннее утро.

Обыкновенно я начинаю работу с того, что пишу, не заботясь о стиле, как Бог на душу положит; стараюсь лишь следовать ходу своих мыслей, хотя, по правде говоря, неизвестно, что от чего зависит. Некоторые представляют себе дело так, что сперва в голове у писателя рождается что-то такое, сюжет или «замысел», а потом он садится за стол, но я-то знаю, что никакого сюжета у меня в голове нет, а просто я надеюсь, что процесс писания разбудит мысль. Старомодно-выспреннее выражение «взяться за перо» в моем случае означает то же, что рвануть пусковую рукоятку, потому что сам собой мотор не заводится. Я чувствую отвращение и страх, чуть ли не ужас перед чистым листом бумаги, похожий на ужас, который испытываешь на краю глубокой ямы, мне кажется, что я забыл все слова, мною владеет суеверие, я думаю лишь о том, чтобы заполнить эту пустоту, забросать яму — не важно чем.

Я заранее знаю, что почти все, что я нацарапаю на этом листе — я пишу только пером, — никуда не годится и будет порвано в клочки, вышвырнуто в корзину, словно в помойное ведро, с бранью и улюлюканьем; да, мне случилось и топтать ногами мое детище, и осыпать сочинителя вслух непристойнейшими ругательствами; и все же я знаю, эти мелкие строчки (как все близорукие люди, я пишу бисерным почерком) будут для меня утешением, доказательством, что я что-то сделал; ибо я ненавижу приниматься за дело.

Из сказанного видно, что было время, когда я относился к своей литературе всерьез. Мною написано несколько повестей и три романа, из которых, правда, ни один не удостоился быть напечатанным. Обычная история: редакции либо ничего не отвечают, либо ссылаются на переполненный портфель; если же я набирался отваги навестить самому этих господ, то обыкновенно выслушивал кислые комплименты, человек листал рукопись, говорил, что он в общем-то «за», из чего следовало, что кто-то другой был против. Если бы вы согласились, говорил он, кое-что сократить, я, например, нахожу вступительную часть излишней.

Потеряв терпение, я как-то раз возразил, что Флоберу один приятель предлагал выкинуть всю первую часть его романа, вплоть до свадьбы Эммы с доктором Бовари; редактор скучно поглядел на меня и спросил: в самом деле?

Любопытно, что в этих переговорах никогда не вставал вопрос об идеологической неполноценности моих творений. Редакционные чины делали вид — возможно, старались убедить самих себя, — что действуют исключительно из эстетических соображений или, как выразился кто-то из них, «в ваших же интересах». Находили ли они в моем творчестве явный идейный изъян, оставалось неясным; впрочем, это малоинтересная тема.

Итак... я уселся за стол, тень перед домом приблизилась к заваulinке. И часы, несмотря на то что маятник по-прежнему висел неподвижно, обнаружили косвенные следы жизни: лишь теперь я заметил, что стрелки за ночь каким-то образом передвинулись. Ненамного, но все же.

Я ждал — можно было бы сказать: ждал вдохновения. Но по крайней мере в моем случае — а теперь в особенности — этот термин неуместен. То, о чем идет речь, не имело ничего общего с литературными упражнениями. Полный решимости взяться за труд, в торжественном ожидании я сидел над девственно-белым листом бумаги. Мысли переполняли меня, и оттого, быть может, я не знал, с чего начать. Я встал — лучше сказать, мое тело поднялось и вышло через сени в огород. Там рос бурьян, и, собственно, никакого огорода давно уже не было. У задней стены дома под куском толя сложена была поленница, серые и обросшие мхом, отличные дрова, — я мог готовить себе пищу на плите. Сколько времени я собирался прожить в деревне? Это, как говорится, зависело. Но, как я уже имел случай отметить, время текло здесь иначе. Мы говорим «течет», другими словами, обладает известной скоростью, однако время само по себе — детерминант скорости; отсюда приходится заключить, что скорость движения времени есть не что иное, как отношение времени к какому-то другому времени. К какому же? К моему собственному.

Существуют, следовательно, два времени. Существует всеобщее, неподвижно-плывущее, подобное мертвой зыби, одно и то же для человека и камня и, в сущности, нереальное: время вообще. И другое, тайное, подлинное, присущее только мне. Надо было поселиться в заброшенном доме и увидеть на стене часы с умершим маятником, чтобы осознать мнимость внешнего времени. Вслушаться, уловить в тишине, как струится другое время... Такие соображения показались мне очень оригинальными, я подумал: почему бы с этого не начать? Как вдруг что-то донеслось с улицы, смешав мои мысли. Внешний мир вторгся в мое одиночество. Робинзон услышал плеск пиратских весел, рокот сторожевого катера.

Из-за плетня я наблюдал за тем, как через бугор перевалило страшилище. Огромный облепленный грязью механизм на платформе с восемью парами колес с мучительным ревом, выбрасывая облака ядовитого дыма из двух выхлопных труб, двигался по разбитой дороге — куда? зачем?

Машина остановилась. Водитель в засаленной кепке, с лицом, почернелым от грязного пота, что-то кричал со своего сиденья, может быть, спрашивал дорогу; ничего не было слышно из-за тарахтенья мотора. На всякий случай я помотал головой. Он крикнул что-то, я развел руками. Водитель сплюнул, покрутил пальцем около лба и схватился за руль.

Грохот постепенно слабел, заблудившийся монстр ехал по деревне. Вернувшись к себе, приезжий окунул перо в чернильницу и начертал на первой странице в правом верхнем углу эпитафию. Прекрасные старые стихи умершего добрых сто пятьдесят лет тому назад немецкого классика. Эпитафия заключал в себе двойной умысел: тонко намекал на мой замысел и вместе с тем обязывал пишущего волей-неволей подстраиваться к своему торжественно-мерному ладу. После чего я проставил, как в дневнике, число и месяц. Дата вынуждала к продолжению.

С пером наготове я вперил взор в пространство, и понемногу во тьме моего мозга проступило мое собственное изображение: так смотрит из омута сквозь толщу воды призрачно-белый лик утопленника.

Я подумал о том, что задача моя ни в коей мере не сводится к тому, чтобы сгрести в кучу щебень воспоминаний, к описи старого хлама; это был бы лишь первый шаг. Автобиография — почтенный жанр, есть заслуживающие внимания образцы, но то, что я должен был совершить, никогда и никем, быть может, не предпринималось. Пишущий историю своей жизни, как и вообще человеческую историю, обыкновенно старается не думать, что было потом; ему кажется, что подлинность минувшего от этого пострадает. Мне же предстояло прошагать заново весь мой путь, но уже не вслепую; я знал, куда он ведет;

весь путь был известен заранее, словно передо мной лежала географическая карта моей жизни, я видел каждый изгиб дороги и каждый перекресток, видел земли, через которые она пролегла, и должен был продумать все упущенные возможности, подвести итоги, свести счета. И хотя я вовсе не собирался возвращаться к «литературе», еще менее предназначал мое сочинение для читателей, мысль о том, что я создам парадигму человеческой жизни, так сказать, Автобиографию Человечества на примере одной-единственной жизни, не ускользнула от меня, — мысль эта маячила на горизонте сознания. Я убеждал себя, что не это главное.

Главное было понять, в чем состоял смысл моей жизни, понять, что это значит: «смысл жизни». Обозреть хаотическое прошлое — не значило ли обнаружить в нем скрытую логику, тайную принудительность, о которой мы не догадываемся, пока живем? План, которому мы следуем, но о котором нам ничего не известно. Другими словами, я должен был сам внести в мою жизнь смысл — и, может быть, на этом ее и закончить. Я понимал, что имею дело с процедурой, напоминающей обмывание и одевание покойника перед тем, как уложить его в гроб.

IV

Может статься, что и живем-то мы в конце концов ради того, чтобы отдать себе отчет в прожитой жизни, увидеть ее во всем ее стыде и позоре, — и тогда, быть может, честное разбирательство покажет, что она была все-таки не такой уж постыдной, дрянной и никчемной. Это была работа на долгие месяцы, если не на годы. Я не собирался приукрашивать свое прошлое — вот уж нет! Я должен был тщательно припомнить обстоятельства моего детства, прежде чем взяться за юность, должен был прочесть юность, прежде чем перейти к дальнейшему. Не говорю — к зрелым годам, ибо юность сменилась деградацией. Да, я был обязан прощупать за самим собой во всех закоулках и темных углах, проследить во всех подробностях, как рождалось, и металось, и постепенно гнуснело мое «ненавистное Я», *le Moi haïssable*, как говорит Паскаль. Это была долгая работа, но, как уже сказано, с одним чрезвычайно выигрышным условием: я знал, что будет дальше, чем все кончится, и мог перелистать свою жизнь от начала до конца и с конца до начала. И это знание давало мне в руки изумительный инструмент прозрения. Не есть ли это высший закон писательства?

Я смотрел на дверь, постепенно до моего сознания дошло, что кто-то пытается ко мне войти. Положительно день был неудачный для работы. Только было начал я разбираться в своих мыслях, ловить, как рыбу в воде, мелькавшую передо мной первую фразу, как меня вновь отвлекли.

Произошло это в ту минуту, когда, уже готовый приняться за питание, я вдруг передумал, мне пришло в голову, что предварительно следовало бы изложить то, что известно о моем происхождении. Тут исходная информация была крайне скудной; я мог кое-что рассказать о моих родителях, но уже предыдущее поколение было погружено в тень. Простая мысль подсказала мне решение: не зная ничего или почти ничего о прародителях, я мог бы реконструировать их из материала, который был в моем распоряжении. Проследить постоянные черты моего характера, те, что обнаружились с раннего детства и остались на всю мою жизнь. Это и было бы то, что подарили мне мои предки, это были бы их черты. Предки толпятся за нашими плечами; мы — их совокупный портрет.

Я попытался представить себя четырехлетним, трехлетним; попробовал увидеть себя со стороны. И тут опять едва слышный звук заставил меня поднять глаза от тетради. Кто-то шарил и дергал в сенях дверную скобу. Дверь толкали вперед, что было совершенно бесполезно, так как она открывалась наружу. Я встал и отворил. Снизу вверх на меня глядел карлик. Точнее, ребенок лет четырех.

Моя фантазия реализовалась так неожиданно и буквально, что в первую минуту я принял его за себя самого. Почему бы и нет — в этой заколдованной деревне все было возможно. На мне — ибо это был я! — была рубашонка, из которой я успел вырасти, на голом животе штаны, доходившие до колен, мои загорелые, детские, испаранные ноги были в башмаках без шнурков; это был я, хоть и не совсем такой, каким я мог себя вспомнить. Я вернулся к столу. Мы уставились друг на друга, мы были одно и то же лицо, о нас можно было сказать, как гласит известная эпитафия: *tu eram ego eris* — я был тобой, ты будешь мною.

Наконец, я спросил: «Ты откуда взялся?» Ребенок все так же молча стоял у порога, открыв рот. «Тебя как зовут?» Он молчал, пялил на меня глаза, и я снова спросил, как он здесь очутился. «Мамка послала», — сказал он. Мы сошли с крыльца, мальчик вел меня мимо заколоченных изб и заросших бурьяном участков, печных труб, торчавших кое-где на месте бывших домов. Чье-то морщинистое лицо следило за нами из уцелевшей хибары. Так прошли мы почти всю деревню и оказались перед домом под железной свежевывкрашенной крышей, с крепкими воротами под навесом, с деревянным кружевом вдоль скатов, с узорными, веселенькими, как голубой ситец, наличниками вокруг окон. Крылечко с резными столбиками, железная скоба для ног.

«Ты здесь живешь?»

«Не», — покачал головой мальчик-посланец, который при своем маленьком росте был все же старше, чем показалось.

На крыльцо вышла опрятно одетая женщина.

«Это и есть твоя мамка?»

«Да нет, это он меня так зовет, — промолвила хозяйка, и мальчик побежал прочь. — Он вон там живет, с бабкой. Да вы заходите...»

Я взошел в некоторой нерешительности на крыльцо.

«Милости просим. Заходите. Надолго к нам?»

На кухне стояли крынки, пол устлан половиками. Мы познакомились, я назвал себя. «А меня Мавра Глебовна», — сказала хозяйка. Она подняла крышку в полу на кухне и полезла в погреб...

Я возвратился домой, неся холодную крынку с молоком. Она держала корову, муж работал в городе, под городом здесь подразумевался районный центр. Итак, у меня оказались соседи, и я не знал, надо ли этому радоваться.

После обеда я собрал на своем ложе ветхое тряпье, засунул в мешок и вынес в сарай. Теперь у меня была приличная кровать, белье, которое я привез с собой. Я подумывал о том, чтобы повесить занавески на окна.

В полудреме я видел сверкающую речку, прибрежные кусты и, как это бывает, когда засыпаешь, время от времени ловил себя на том, что мои мысли принимают причудливый оборот; я следил за ними, как бы отделившись от самого себя. Мне хотелось захватить их, как хватают за руку непослушного ребенка, в тот самый миг, когда они начинают ускользать от моего контроля, и тотчас же я подумал: причем тут ребенок? Малыш, стоявший на пороге, припомнился мне... Может быть, это был уже сон. Медленно, с наслаждением я повернулся на бок, подоткнул под себя одеяло, но довольно скоро мне стало жарко, я лежал на спине, усталости как не бывало; минутное забвение словно заменило мне ночь спокойного сна. В комнате было совсем светло, я снова подумал о занавесках. Одевшись, я вышел и сел на крыльцо; над рекой стояла туманная луна, значит, время было уже близко к полуночи. Оглушительно трещали кузнечики. Луна лишила меня сна. Ну и что? Завтра буду спать до полудня. Какая мне разница, я вольная птица, мне не надо смотреть на часы. Я мог превратить ночь в день, а день в ночь. Эта мысль привела меня в восхищение. Наконец-то я был свободен — от обязанностей, от рутины дня, от телефонных звонков, от женщин, приятелей, добрых знакомых, свободен от необходимости куда-то идти, что-то оформлять, где-то числиться, свободен от государства и мертвого времени народов. Робинзон! Робинзон на клочке земли посреди океана! Мне даже не пришлось пускаться в дальнее плаванье. Не так уж далеко пришлось ехать, стоило просто свернуть с шоссе. Достаточно было, набрав побольше воздуха в легкие, нырнуть на дно заводи. Я почувствовал — так мне по крайней мере казалось, — что подбираюсь к какой-то важной истине.

Некоторое время погода я шел среди черных трав под дымной луной к реке, где мерцал желтый огонь. Ноги цеплялись за сорняки, я потерял тропинку, огонек исчезал и появлялся, моргал мне навстречу, деревья расступились, тусклая река, как ртуть, блестела внизу, за излучиной стояло слабое зарево, свет дрожал на воде, костер горел на другом берегу. Вокруг ходили черные фигуры людей. Не было слышно голосов. Можно было разглядеть смутно озаренные лица, темная фигура приблизилась с охажкой валежника, и костер угас, но через минуту взвился к небу, полетели снопы искр, лица людей, кузов грузовика — все озарилось красным светом. Женщина, сидя на разостланной телогрейке, с младенцем на коленях, вынула грудь из расстегнутой кофты. Мужик сгребал угли, готовились ужинать; сидели кружком, перебрасывали на ладонях картофелины. Люди, которых никто не видел и не увидит, неизвестные, неопознанные граждане, бежавшие откуда-то, куда-то переселявшиеся. В кузове помещался зеркальный шкаф, в котором играл огонь. Два человека развязывали узлы, сваленные у колес, должно быть, устраивались на ночлег.

Грузовик стоял с потушенными фарами. Костер едва тлел, люди лежали, сбившись в темную массу, высоко в пустынном небе, окруженная влажным венцом, стояла маленькая луна, окрестность потонула в тумане. Стало сыро, зябко, должно быть, оставалось недолго до рассвета. Отворилась дверца грузовика, кто-то спрыгнул на землю. Голоногая женщина шла к воде. Она сошла, высоко подняв юбку, на узкую полосу песка, сбросила кофту, вышла из одежды, как бледный призрак с темным лицом, с сужающейся тенью в круглой чаше бедер, медленно водила ногой по воде, присела и со слабым плеском бросилась в реку. Течение отнесло ее в сторону. Она приближалась к берегу, взмахивая белыми руками, и вышла шагах в десяти от места, где я стоял. Вода стекала с ее плеч и бедер, как чешуя. Она собирала волосы на затылке. «Ах!» — сказала она вдруг и остановилась как вкопанная. Я думаю, это был не столько страх нагой женщины, застигнутой врасплох, сколько страх за людей, которых выследил чужой и опасный человек. Она пятилась к воде. Я постарался скрыться. Потом прислушался: на другом берегу плакал ребенок. Заурчал мотор. Впереди за древней занималась заря.

V

Маленькие приключения здесь превращались в события. Зевая во весь рот, приезжий стоял в потоке света на крыльце своего дома. Каждому, кто приезжает в русскую деревню, кажется сначала, что жизнь прекратилась. Но жизнь идет. Неясные звуки доносятся с другого конца деревни, слабая музыка: радио. Курится дымок из трубы. Ковыляет ста-

руха. Жизнь продолжается, пробивается, словно проточная вода, чтобы снова уйти под землю; жизнь не умерла, а заглохла, как старый сад, и затянулась выюном; солнце в небе, такое же лучезарное, как вчера, высоко стояло над деревней, пустошью и рекой и так же восстанет и будет стоять, истекая светом, завтра. Чего доброго, думал пришелец, придется ставить палочки карандашом на притолке или делать зарубки по примеру островитянина, чтобы не потерять счет дней.

Некий Аркаша обитал по соседству в жилище, которому трудно было бы подыскать название: хибара, логово, развалюха? Осевшая дверь с трудом открывалась прямо в избу, внутри ничего, кроме щелястых бревенчатых стен, печь обрушилась, завалив пол черными раскрошившимися кирпичами, в углах свалена рухлядь. Хозяин, в лоснящейся телогрейке, в старой шапке-ушанке, лежал на ложе из трех ящиков, застланных безобразным бесформенным тряпьем, и смотрел телевизор, который стоял на полу, к потолку тянулась проволока. Приезжий явился с дарами. Хозяин перевел взгляд с бормочущего экрана на посетителя, тот несмело осведомился, не может ли Аркаша соорудить ему душ.

«Чего?» — спросил Аркаша.

«Душ».

«А чего это?»

Местоимение «чего», как известно, может означать и что, и почему; из вопроса Аркаши невозможно было понять, спрашивает ли он, что это такое, или хочет узнать, зачем это понадобилось.

«А, — проговорил он, — так бы сразу и сказал». На другой день он притащил бак, трубы, доски, добыл железную печурку. Подъехала телега с тяжелой ржавой ванной. В огороде был воздвигнут сарайчик. На полу лежала деревянная решетка. Над ванной — два крана и длинная трубка с лейкой, которую можно было поворачивать, поднимать и опускать.

К делу! За стол... Попытки взяться за труд, созревший, как плод в чреве, и просившийся наружу, — оставалось только дать ему выход, — попытки эти натолкнулись на неожиданное препятствие; мне нелегко объяснить, в чем оно, собственно, состояло. Язык может быть помехой для речи, как ноги, по пословице, мешают танцевать. Я сидел у окна, перед глазами расстилалась зеленая пустошь. Я писал и зачеркивал начатое, не успевал закончить фразу, как она увядала и падала, словно высохшее растение. К полудню я сидел перед страницей, покрытой сверху донизу начатыми и брошенными строчками. Зачеркивание приняло какой-то извращенный характер, превратилось в постыдно-увлекательное занятие: не довольствуясь вымарыванием строк, я покрывал их густой сеткой линий; кончилось тем, что я обвел рамкой и старательно заштриховал всю страницу.

Расхаживая взад и вперед по избе, я разглядывал стены и вещи до тех пор, пока меня не осенило: ведь мой мозг продолжал работать, из строя вышел лишь механизм, который превращал поток мыслей в письменную речь; я подумал: а что если пренебречь этим механизмом, забыть о правилах последовательного рассказа, о логике изложения, вообще забыть о том, что я должен что-то «излагать», — одним словом: сбросить вериги словесности!

Раз навсегда избавиться от надзирателя, приставленного к нам, от контролирующего «я». Пораженный своим открытием, я остановился. Я попробовал исподтишка следить за собственной мыслью: предоставленная самой себе, она, как ручеек, устремлялась в каждую выбоину, то и дело меняя направление; она перескакивала с одного на другое и откликалась буквально на все; я взглянул на кровать и вскользя подумал о моей жене, перевел глаза на часы, на старый численник — и тотчас моя мысль устремилась вслед за словом «времячисление», я стал думать о календаре, мне представился Египет, от Египта я перескочил на почтовые марки, вспомнил детскую коллекцию, мебель в нашей комнате, переулочек и латвийское посольство, мимо которого я ходил в школу. Тут я спохватился, что думаю о постороннем, и стал сворачивать ленту с конца: посольство — квартира моего детства — марки — календарь... Одновременно я думал и о другом, и о третьем, мысль моя цеплялась за все, что попадалось по дороге, и вместе с тем вопреки хаосу и кажущемуся разброду. В ней самой, без моего вмешательства, было внутреннее упорядочивающее начало. Отнюдь не логика, нет. Я уловил этот принцип, это организующее начало, когда попробовал вспомнить, о чем я думал только что, о чем думал перед этим и перед тем, как думал перед этим: моя мысль не была клочковатой, не рассыпалась, но каким-то образом сохраняла цельность; организатором было не что иное, как время, не имевшее, однако, ничего общего с тем, что обычно называют временем, — время моей мысли или, лучше сказать, время, которое и было моей мыслью.

Но я должен был оставаться начеку. Неусыпный страж — мое «я» — уже погромыхивал ключами от камеры, и стало ясно: то, что я пытался сейчас осознать, мои старания сформулировать фундаментальное свойство моей мысли были сами по себе не чем иным, как вмешательством контрольной инстанции. Это было как наваждение, я бегал по комнате, точно в карцере моего сознания, и за мной неотступно следовал, находил меня во всех углах взгляд надзирателя, наблюдавшего за мной сквозь тюремный глазок. И все же моя победа была в том, что я отдал себе отчет в существовании контроля, я сам следил за своим соглядатаем!

Вывод был следующий: существовало и постоянно присутствовало контрольное «я», назовем его оковами языка, назовем его пись-

менной речью; но существовало и нечто другое — непрерывно ткущая себя мысль, эту мысль я должен был поймать на лету. Я уселся и торопливо стал писать о чем попало, едва успевая заносить на бумагу то, что приходило в голову, не заботясь ни о «стиле», ни даже о том, чтобы заканчивать предложения; надзиратель сердился и напоминал мне о синтаксисе; чтобы легче было писать, я выдрал из тетради десяток листов, я спешил, и чем быстрее двигалась моя рука, тем стремительней неслась вперед моя мысль. Это напоминало погоню за тенью. Я остановился. За полчаса я испещрил ворох двойных листов своими каракулями, я написал столько, сколько не удавалось мне сочинить за неделю.

Я изобрел велосипед. Должно быть, каждый изобретает его в свое время. И я подозреваю, что истинный резон автоматического письма в духе какого-нибудь Бретона не в том, что оно будто бы достигает некое первичное состояние нашего сознания. Нет, причина — страх перед пустыней чистого листа. Я собрал ворох исписанной бумаги, с удовлетворением глядя на свою работу. Это продолжалось недолго. Как всякий, кто занимается литературой, я обзавелся корзиной. И вот я сидел и поглядывал на корзину, где, свернутые в трубку, покоились призраки моего мозга. Меня переполняло отвращение к самому себе.

Словно кого-то вырвало в корзину этой словесной кашей. Вместе с тем (как и бывает после рвоты) я испытывал облегчение. Сидя на ступеньках крыльца, я грелся на солнышке. День сиял невыносимой красотой и полнотой жизни, которая безмолвствует, погруженная в созерцание самой себя. Меня тянуло в луга. Душа моя жаждала покоя и ясности, жаждала языка и стиля, адекватного этой ясности. Как можно было об этом забыть? Всякое небрежение языком есть покушение на достоинство личности.

Нет! Ясность и простота. Сдержанность. Лаконизм. Сидя на крыльце, с тетрадью на коленях, я начертил:

«Я родился в понедельник 16 января 19... года в городе, который носит имя вождя революции. Я имел неосторожность родиться в день и час, когда Венера жестоко повреждена соседством Сатурна, в год, когда над старым континентом уже клубились облака войны...»

VI

Неплохое начало; и все же я задумался, не лучше ли мне начать с обстоятельств, предшествовавших моему рождению. Впрочем, и это был вопрос второстепенный. Я понял, что мои упрямства отвлекли меня от главной задачи.

Отчитаться перед самим собой, как если бы я предстал перед высшим судилищем, которому все известно. Стать одновременно судьей и

подсудимым, злодеем и мстителем, да, отомстить себе и отомстить жизни, разведать все ее темные углы, где прячутся мерзкие ползучие существа. Пусть разбегутся во все стороны! Звучит эффектно. Можно сформулировать иначе. Я должен был вновь обрести себя. У меня было чувство, что я растерял, растратил свою личность.

Вот о чем следовало поразмыслить... Мое духовное существо было расчленено, ядро моей личности было в трещинах. Семейная жизнь моя не удалась. Попросту говоря, у меня не было семьи. Во всяком случае, моя бывшая супруга сделала все от нее зависящее, чтобы наш ребенок, прелестная белокурая девочка, забыла обо мне. Женщины, с которыми я поочередно был связан, разочаровались во мне одна за другой, и если случалось, что я первым прерывал отношения, то лишь потому, что чувствовал — ничего путного не получится, я не смогу ее удержать, лучше уйти первым. О моей «профессии» здесь уже говорили. Религия никогда не была моим убежищем. Общественные идеалы, патриотизм? Я слышать не могу эти слова!

Считается, что в нашей стране человек прикован за руки и за ноги к государству: прописка, работа, военкомат, личное дело там, личное дело здесь, все эти цепи и цепици; надо где-то числиться, надо жить на одном месте и так далее. Всевозможные спецотделы, управления и целые министерства заняты учетом, сравнением, наблюдением, а между тем мне известно множество людей, которые успешно вегетируют в щелях нашего огромного государства, нигде не работают и непонятно на что живут. Людей, которых следует с точки зрения законов и инструкций считать правонарушителями и с которыми ничего не происходит, оттого ли, что нарушителей слишком много, или оттого, что так много инструкций. Да, считается, что человеку некуда бежать, а между тем не так уж далеко пришлось ехать, чтобы очутиться там, где я теперь жил или, лучше сказать, затаился, и деревня казалась мне именно такой щелью, и тяжелый каток государства, который разъезжал взад-вперед и утюжил все подряд, прокатывался над ней и, в сущности, ничего не мог с ней поделать.

В моей жизни был даже случай, когда я поступил в какой-то институт народного хозяйства, а именно в очно-заочную аспирантуру — так это называлось, и начал корпеть над диссертацией, но скоро понял, что моя работа не стоит выеденного яйца. Я не стал ничего предпринимать, просто перестал появляться в институте, перестал звонить моему научному руководителю, и меня оставили в покое. Из этого незначительного эпизода я сделал важный практический вывод: назойливость государства пропорциональна назойливости просителя; имея дело с официальными инстанциями, разумней по возможности ничего не предпринимать; не надо увольняться, вас и так уволят, не надо «сниматься с учета», пройдет сколько-то времени, и это произойдет

автоматически, ваше имя завянет, и его вырвут из грядки; можно вы-
быть и никуда не прибыть, и вообще следует всюду, где только можно,
считаться выбывшим.

Так обстояло дело с моей карьерой... Но не в том суть, что, оста-
вив позади молодость, я никем не стал, а в том, что я больше не видел
смысла своего существования; все прочее было следствием этого по-
рой мигающего, как страшная догадка, порой ясного, как холодный
свет, сознания. Отрешиться от всех побочных соображений, от тщес-
лавия, от самолюбования, от мысли о читателе — отстраниться от са-
мого себя — было для меня так же необходимо, как уехать, ни с кем не
прощаясь. Теперь предстояло вести разговор с глазу на глаз с единст-
венным собеседником — самим собой. Или, если угодно, вызвать его
на поединок и хладнокровно смотреть, как ведет себя под дулом писто-
лета тот, другой...

Думая об этом, я решительно зачеркнул написанное и принялся
писать заново, говоря о себе в третьем лице. Я начертил свое имя и
проставил дату рождения, опустив астрологические сведения, которые
показались мне смешными. В кратких выражениях мною были очер-
чены жилищные и социальные условия моих родителей. Простой
грамматический прием, местоимение «он» вместо «я» разрешило все
трудности. «Так началась его жизнь...» — написал я и остановился.

Проклятие литературного языка, коварство повествовательного
процесса тотчас дали о себе знать, как будто меня поймали с полич-
ным. Глаголы рассказывали, прилагательные описывали, существи-
тельные называли. Сам того не замечая, я раздвоился на повествова-
теля и литературный персонаж, но ни тот, ни другой уже не были
мною. Я описывал воображаемого себя, следуя правилам игры, кото-
рая, как всякая игра, помещала меня в условное пространство. В мир,
называемый словесностью. Простая и обескураживающая истина: са-
ма грамматика безличного повествования превращала меня в «авто-
ра», чья объективность была все тем же старым, банальным, давным-
давно разоблаченным трюком. Персонаж, о котором я наивно думал,
что это и есть я, был подобен фантому, который вышел из зеркала,
чтобы, склонившись над моим плечом, диктовать мне свои привычки,
свои условия: якобы правду жизни. Какая там правда, это были пра-
вила литературы.

Нет, я ничего не выдумывал, мой герой в самом деле родился в
указанный срок у моих родителей; но и родители, в свою очередь, едва
только я упомянул о них, стали «действующими лицами», марионет-
ками кукольного театра литературы. Я ощутил чудовищный деспоти-
зм беллетристики, не жизнь, а литература диктовала моим персо-
нажам свои правила и условности, управляла моим сознанием, как
дворцовый этикет управляет придворными и самим монархом.

«Повествование», — сказал я; а кто же повествователь? Во всяком случае, не тот, кто сидел на табуретке за столом и уныло поглядывал на деревенскую улицу. Ибо я уже не чувствовал себя самим собой. Другими словами, я был дальше от своей задачи и цели, чем до того, как раскрыл тетрадь; я стал «писателем», то есть перестал жить собственной жизнью, погрузился в топкое месиво текста и бродил там безликой тенью — слышалось только чавканье ног, которые я выдираю из трясины, чтобы снова увязнуть. Я стал условной фигурой, как бы несуществующей, но на самом деле моя анонимность, мое всезнание были не более чем роль; в лучшем случае я был режиссером этого кукольного спектакля.

Солнце перевалило на другую сторону неба и светило в избу; давно пора было подумать о еде. Мне не оставалось ничего другого, как изложить на бумаге все эти соображения, проблематику моего писания. Увы! Она тоже превращалась в литературу, в пресловутую рефлексию, которая так же неизбежна в современном романе, как описание природы в романах девятнадцатого века.

VII

Собака скулила в избе. Спящий проснулся и сел. Собака стояла перед кроватью и смотрела на него, виляя хвостом. Он видел ее блестящие глаза. Путешественнику хотелось спать, он погладил ее и улегся, собака тянулась к нему, он лежал на спине, свесив руку, собака вспрыгнула на кровать и положила обе лапы ему на грудь. Очевидно, она была исполнена самых добрых чувств, но ему было жарко, душно, он старался ускользнуть от ее языка, крутил головой; кончилось тем, что спящий протрезвел окончательно. Всем известны эти промежуточные состояния, когда сон, отличаясь от действительности своей причудливой логикой, нисколько не уступает ей в других отношениях или когда действительность все еще принимают за сон. В избе горел свет.

Некто в рубахе и портках сидел перед керосиновой лампой, поджав босые ноги под табуреткой. Перед ним на столе были разложены бумаги, он листал приходо-расходную книгу, время от времени его рука перебрасывала костяшки на счетах. У порога стояли его сапоги, портянки висели на голенищах. На гвозде у притолоки — брезентовый армяк и старая шляпа.

Услыхав вопрос приезжего, мужик обернулся, он был лысый, лет под пятьдесят, в никелевых очках, черты лица трудно разобрать, он загоразживал лампу. «Это я тебя хочу спросить, — сказал он, — что ты тут делаешь!»

«Живу», — сказал постоялец.

«Живешь. А по какому такому праву?»

«Да ни по какому». Приезжий объяснил, что дом принадлежит брату.

«Вот именно что ни по какому. Какой еще брат?»

Приезжий пожал плечами.

«Документ есть?» — спросил человек с ударением на «у».

«Какой документ?»

«Документ, говорю, на право-жительство».

Путешественник сказал, что он может показать паспорт.

«На кой ляд мне твой паспорт? Интересно получается, — сказал мужик, потирая колени, — законы у вас такие, что ль? Приезжают в чужой дом, живут. А ты у меня спросил, прежде чем вламываться-то? Разрешения спросил?»

«Двоюродный брат, — сказал жилец, — купил избу у прежних владельцев».

«Купил! Ишь покупатель нашелся. У каких это таких владельцев? Вот сейчас вышибу тебя отседа к едреней матери со всем твоим барахлом. У владельцев... Я владелец!»

Приезжий попросил не рыться в его бумагах.

«Не твое песье дело! — проворчал мужик, не оборачиваясь. — Еще приказывать мне будет... Нет тут твоих бумаг... Во-от, оно самое, вот тебе и акт, пожалста: мною, уполномоченным... Чего? — спросил он. Сидящий на кровати ничего не ответил, мужик продолжал читать: — В присутствии представителя сельсовета и понятых... Знаем этих гавриков. Вечно тут крутились, ети их... Мною, уполномоченным. Сего числа проведено обследование хозяйства гражданина деревни... района... Обследование гражданина. Меня, стало быть. Обнаружено... Чего тут обнаружено? Дом в двух избах под одной крышей, одна изба восемь на восемь средней сохранности, вторая один на восемь ветхая. Какая ж ветхая, чего они тут пишут? Еще сто лет простоит. Двор 20 х12, средний...» — читал он.

Приезжий хотел спросить, где же тут вторая изба, или имеется в виду сарай? Пламя коптило, мужик подкрутил фитиль, пододвинул к себе лампу, поправил за ушами оглобли очков.

«Из скота: лошадь мерин гнедой масти, 20 лет, плохая, жеребенок подросток 2 года, коров — одна 6 лет, вторая во дворе принадлежит гражданке Воиновой за отсутствием своего двора... Телка полтора года, поросенок весом 3 пуда... тэ-эк-с. Инвентарь... Косилка средняя двухконная, плуг деревянный однолемешный, телега на деревянном ходу с колесами. Одни часы с боем... Они тут висели; куды часы дел?»

«Никуда не дел, — сказал приезжий, — вон они висят».

«Два самовара. Один из них плохой. Семья состоит из следующих лиц... Вот, — сказал он. — Черным по белому прописано, а они что тво-

рят? Хозяйство было обложено в текущем налоговом году по сельхозналогу в инди... ви-дуальном порядке на сумму 129 руб. 15 коп., за вымочку озимого посева сложено 15 руб.».

Путешественник спросил: «Что это значит?»

«За вымочку, дожди шли два месяца. Все озимые вымокли. Вот черным по белому. Настоящая комиссия относит хозяйство Громовых к группе середняцких. Ясно? Иль неясно?.. Средняцких! — Он стукнул кулаком по столу. — А они чего делают? Я спрашиваю. Куды хозяйку мою дели? Детей куды развезли?»

Снаружи послышался чей-то голос. Мужик растворил окно.

«Ну чего тебе?»

Голос из темноты что-то ответил.

«Подождешь».

Там снова что-то сказали.

«Подождешь, говорю; сейчас поедем... Вот так, — пробормотал ночной человек, навернул на босые ступни портянки и сунул ноги в заляпанные глиной сапоги. — Ты вот что, — сказал он. — Пока живи. Я разрешаю... Все лучше, чем дому-то пустовать. А то последнее добро растащут. Я, может, еще вернусь. Вот тогда поговорим. Я им еще покажу, кто тут хозяин! Нет такого закона, чтоб у человека дом отнимать».

«Вернусь... — думал приезжий. — Что за чертовщина?»

VIII

Как и в первый раз, Мавра Глебовна вышла навстречу городскому гостю, опрятная, круглолицая, широкобедрая, с малиновым румянцем. Возраст? Если ей было под сорок, то она выглядела старше своих лет, для сорока пяти казалась слишком молодой. Мавра Глебовна была родом из округи, а здесь проживала лет семь или восемь, дом достался мужу от пожилой незамужней сестры. Хотели сначала продать, да кто ж его купит?

«Вот этот дом?» — спросил приезжий удивленно. Она усмехнулась. Этот купили бы: этот сами построили. А тот разобрали. «Да что ж мы стоим-то...» Вошли в дом.

За выбеленной печью находилась горница с образами в красном углу, в отороченных кружевами полотенцах, с подлампадниками на цепочках. Далее еще одна комната за занавеской, подвязанной шнуром. Там был виден стоящий боком зеркальный шкаф-шифоньер, в овале отражались никелированная спинка кровати, белизна подушек и кружевной подзор. Муж Мавры Глебовны, как уже сказано, работал в районном центре. Гость сидел за столом в первой комнате, пил прохладное молоко, поддакивал.

Она сказала:

«Вы заходите, если что, я всегда дома. Может, продуктов каких надо, хозяин привозит. Да я и сама схожу, тут у нас село недалеко. — Магазин находился в Ольховке, верстах в десяти, расстояние по здешним понятиям небольшое. — Хлеб-то у вас есть?»

Гость поблагодарил и хотел подняться.

«Сидите, куда спешить... А вы кто же будете?»

В деревне распробы — знак вежливости. Оказалось, впрочем, что Мавра Глебовна все знает от Листратихи. Это была, по-видимому, та старуха, с которой жил ребенок, давеча навестивший приезжего. Мавра Глебовна развязала платок. У нее были темно-русые ореховые волосы.

Договорились, что она будет покупать продукты, приезжий поспешил вручить ей деньги. «Да вы не беспокойтесь, сочтемся...»

«Ай-я-яй, — сказала она, войдя к нему на другой день, — как же это вы живете?» Она разыскала ведро, швабру, приезжий бежал за водой на колодец, Мавра Глебовна мыла пол, подоткнув юбку, растворила окна, сожгла мусор в печке, вынесла вон старую одежду и полустигившие валенки. Когда он снова вошел в избу, она сидела на табуретке боком к столу, расставив босые ноги с широкими ступнями крестьянки, и завязывала косички на затылке.

Прошло еще несколько дней; однажды, проходя по деревне, он увидел перед новым домом грузовик.

Парень в ватной телогрейке выгружал какую-то кладь. Сам хозяин в майке и в галифе из синего коверкота стоял на украшенном столбиками крыльце; увидав новое лицо, он сошел не спеша по ступеням. «Здорово, — сказал, протянув ладонь, и представился: — Василий. Слышал о тебе. Заходи».

Генерал-изобретатель крылатых штанов не мог предвидеть, что они обесмертят его имя в загадочной полувосточной стране, где он никогда не был. История галифе есть часть истории этой страны; галифе цвета грозового неба сделались униформой вождей революции, как и ее врагов. Со временем крылья стали шире, туда можно было засовывать руки до самых локтей. Просторный покрой отвечал духу страны. И до сих пор синие галифе, вправляемые зимой в бурки, летом в сапоги, донашивает начальство районного масштаба. Хозяин дома был высок, дорожен, могуществен, с бритым кожаным черепом и загорелым затылком; вослед за ним, оттерев подошвы о железную скобу — жест почти ритуальный, знак почтения к дому и его обитателям, — поднялся и вступил в сени пишущий эти строки.

На столе, на белой накрахмаленной скатерти, были расставлены тарелки, узкие граненые рюмки, ситный хлеб нарезан широкими ломтями. Хозяйка внесла дымящуюся кастрюлю с половником и разлила по тарелкам густые золотистые щи. Явилась белая от инея бутылка.

«Егорий, — позвал хозяин. — Егор!..» Парень вошел в избу, стягивая на ходу телогрейку.

Из кухни доносился стук рукомойника. Василий Степанович ждал с откупоренной бутылкой. Мавра Глебовна с передником в руках, который она отвязала, собираясь сесть за стол, смотрела, наклонясь, в окошко.

«Кого там леший несет?» — проворчал хозяин.

Медленно отворилась дверь, в кухне у порога переминался друг Аркаша. Он пробормотал что-то вроде того, что не знал, что тут гости.

«Ладно, — сказал Василий Степанович. — Садись».

Мавра Глебовна принесла табуретку из кухни, поставила рюмку, глубокую тарелку, налила щей.

Хозяин провозгласил:

«Что ж, будем, как говорится, знакомы!»

Они бодро чокнулись. Парень по имени Егор молча выпил свою рюмку, Аркаша ждал, когда чокнутся с ним, не дождался и тоже выпил.

«А ты чего ж?» — заметил Василий Степанович. Жена пригубила рюмку. Молча, обжигаясь, принялись за щи. Хозяин обсасывал огромную кость. Хозяйка подала миску, Василий Степанович бросил кость, она тотчас вынесла миску.

«Так, значит, — проговорил он, разливая водку. Не обращаясь прямо к приезжему, он на сей раз употребил дипломатическое множественное число. — Решили, значит, у нас пожить. А чего ж, у нас хорошо, воздух чистый... Надолго?»

Приезжий из Москвы ответил, что еще сам не знает, надеется остаться до осени.

«Отпуск, что ль?»

«В этом роде».

«Это хорошо. У нас хоть не больно весело, зато жизнь настоящую узнаете. Как народ живет. Аркашка подтвердит. Ты что скажешь? Вот он, народ-то».

Аркаша усердно загребал щи, а парень, с которым приехал Василий Степанович, буркнул:

«Какой там народ, народу-то не осталось».

«Есть еще народ, куда он денется. Аркашка! О тебе говорят, ты чего молчишь?»

Аркаша кивнул и взялся за рюмку.

«Ты постой, куда лошадей гонишь? Надо тост произнести».

Все смотрели на гостя. Путешественник поднял рюмку и предложил выпить за здоровье хозяев — Василия Степановича и Мавры Глебовны. Хозяин одобрительно кивнул, хозяйка принялась было собирать со стола тарелки.

«Али кто добавки хочет?»

«Давно щец не ел, давай еще полчерпачка... Чего ж это, Егорушка, ты нас за народ не считаешь?»

«Вы, Василий Степаныч, не в счет».

«М-да... выпьем для ясности».

Мавра Глебовна унесла тарелки и появилась с большой чугунной сковородой.

«Хо-хо, — сказал Василий Степанович, потирая руки, — в гостях хорошо, а дома лучше! Братва, налетай».

Все накладывали себе сами, хозяин показал бровями на опустевшую бутылку, Мавра Глебовна принесла вторую.

«Я тебе так скажу... — заговорил Василий Степанович, перейдя снова на “ты”, что одновременно означало некоторую степень близости и согласие взять гостя под начальственную опеку. — Ты чего не пьешь-то? Давай, будем здоровы...»

Приезжий поспешно схватился за рюмку.

«Я тебе так скажу, это между нами... Что они тут знают? Ничего. А я знаю. Я в кругах вращаюсь. Сколько средств вкладывают в это самое сельское хозяйство, сколько денег ухлопано, уму непостижимо. Вот теперь новое постановление должно выйти. Это я говорю не для разглашения... О крутом подъеме в нечерноземной полосе».

Василий Степанович поднял голову от тарелки, смерил взглядом приезжего и несколько неожиданно закончил:

«А толку, между прочим...»

Он махнул рукой, последовало новое предложение выпить для ясности. После чего, хлопнув себя по ляжкам, сказал:

«Ладно! Надо собираться».

«Куды ж теперь, — заметила Мавра Глебовна, — на ночь глядя? Только приехали, и назад».

«Надо. Послезавтра в райкоме отчитываемся».

«Вот завтра и поедете. Как вы сюда-то доехали: мост, говорят, провалился».

«А зачем нам мост? Мы через Ольховку».

Путешественник спросил, далеко ли находится райцентр.

«Далеко не далеко, а ехать надо. Егор! Собирайся. Вот я и говорю, — продолжал Василий Степанович, — средства есть, техника есть, все есть. А работать некому. Народ такой пошел, все в город норовят. Сами видите, — он указал на Аркадия, — только вот такие и остались. Развивать сельское хозяйство. Легко сказать; развея его. Вот я сам работаю в сельском хозяйстве. Я район как свои пять пальцев знаю. Было шестьдесят колхозов. Разукрупнили. Сделали пятнадцать. А что толку? Его хоть разукрупняй, хоть не разукрупняй. Эва, полюбуйся на

него, — сказал Василий Степанович, кивая на Аркашу, который сидел, свесив голову с мокрыми, слипшимися волосами. — Колхозничек... Эй, землячок! Аркашка! Проспишь все царство».

В ответ Аркадий проговорил что-то.

«Громче! Не слышу».

«А я чего, я ничего», — сказал Аркадий.

«Вот то-то и оно, что ничего!» — заметил наставительно Василий Степанович.

«Домой ступай, посидел — и хватит», — приговаривала Мавра Глебовна, пытаясь вытащить Аркашу из-за стола. Гость вызвался помочь, вдвоем закинули себе на плечи руки Аркадия и повели домой.

«Чего привязались-то? — Он лежал на лоснящемся от мазута тряпье. — Тить твою...»

Вышли из вонючей хибары на волю. Мавра Глебовна вздохнула.

«Благодать-то какая! Век бы жила здесь».

Он спросил, что же ей мешает здесь оставаться.

«Да Василий Степаныч хочет в город насовсем переселиться. Новую квартиру дают».

«А как же хозяйство?»

«Распродать. А я не могу. Как это я свою корову продам? Да и кому продавать-то?»

«Мне продай», — сказал Аркадий, выходя на порог.

«Эва, — сказала Мавра Глебовна, — покупатель нашелся. Да ты и корову доить не умеешь».

«Чего ж тут уметь? Тяни за сиськи, и все дела».

«Иди спи».

«Сама иди! Я уж выспался».

«Ладно, Аркаша, — промолвила Мавра Глебовна. — Люди меж собой разговаривают, ты не встрейвай».

IX

Казалось, что прекрасной погоде не будет конца, но спустя несколько времени новое удивительное явление природы изумило и озадачило жителя деревни; возвращаясь с прогулки, он увидел за рекой над лесами необыкновенный закат. Слепящее солнце опускалось, как в могилу, в магму лиловых облаков — подозрительный знак надвигающегося ненастья. Так и случилось, и даже скорей, чем предсказывала примета: кинжалы молний исполосовали небо, едва лишь спустилась ночь; вдали заурчало, зарокотало, грохнуло над деревней; всю ночь шумел ливень, приезжий из города поднимал голову с подушки и смотрел во тьму, где угадывались окна, а под утро заснул так крепко,

что проспал добрую половину дня; часы показывали совершенно невообразимое время. Пошатываясь, он прошлепал по темной избе и приник к окошку: все струилось, все обволоклось мокрой ватой облаков, временами, остервенясь, дождь хлестал в стекло. Дачник пил из чайника остывший чай, выбегал в огород по малой нужде — там все звенело и шелестело, дрожа от холода, лежал под одеялом, поверх которого было наброшено пальто и еще что-то, и снова опустилась ночь, и во сне он слышал все тот же однообразный звон дождя. Его разбудил стук в дверь на крыльце, было мутное, серое утро; он выбрался из-под груды тряпья, отворил, соседка, босая, с мокрым подолом, с клеенкой, наброшенной на голову и плечи, с кринкою молока под мышкой, вошла следом за ним через влажные сени в избу и оглядела стены и потолок: крупные капли падали на полку в красном углу, под окнами на полу образовалась лужа. Мавра Глебовна отодвинула стол, выжала в ведро под рукойником мокрую тряпку, выплеснула ведро в огород. Он слышал, как зашлепали ее ноги в сенях, она стояла на пороге, высокогрудая, простоволосая, с блестящими глазами. Жилец спросил: «Надолго это?» — «А кто ж его знает? Бывает, что и неделями. Авось пройдет, — добавила она, — потерпи маленько». Он пил молоко, завернувшись в одеяло. Мавра Глебовна собралась уходить. Оказалось, что Василий Степанович, приехавший в субботу, был вынужден остаться в деревне. «Куды ж теперь? Небось все развезло».

Дождь лил, моросил, снова лил, дождь шел подряд две недели, жилец чертил карандашом на стене палочки, боясь, как Робинзон, потерять счет дням, и, когда наконец на почернелых стенах избы слабо заиграло солнце, он увидел, выбравшись на крыльцо, что стоит на берегу реки, из воды поднимались ступеньки, не было больше ни улицы, ни пустоши, вдали смутно рисовались полузатопленные деревья, мутные глинистые воды, поблескивая там и сям, степенно влеклись в золотом тумане, а в вышине, между серыми облаками выглядывало ярко-голубое небо. Было тихо, тепло, вокруг все дымилось и капало.

Невдалеке по стремнине вод, качаясь, плыли обломки чего-то, щепки, валенки, куски рогожи, старые игрушки, проскочил — ножками кверху — продавленный венский стул. Проплыл, переворачиваясь, захлебываясь в воде и вновь появляясь, громоздкий странный предмет, напоминавший прямоугольную пасть, — это была клавиатура рояля. Следом за роялем река несла лодку, на корме сидел мужик с гармонью, рядом с ним краснолицая простоволосая тетка, похожая на семгу, которая пела, широко раскрывая рот. Гребец, сидя напротив, с усилием ворочал веслами.

«Эй, землячок!» — закричал он. Лодка подплыла к крыльцу, парень ухватился за ветхий столбик и вспрыгнул на ступеньку. «Земеля, закурить есть?» Жилец вынес круглую, из-под карамели, железную

коробку с самосадам, оставленную ночным посетителем. Он как-то даже забыл об этом визите, о собаке, вскочившей к нему на кровать, и лысом хозяине в никелевых очках, и коробка напомнила ему о нем. «Чего торчишь тут? — сказал парень, закуривая. — Поехали с нами». — «Куда?» — «А куда-нибудь, чего тут делать-то?» Жилец возразил: «Мне и здесь хорошо». — «Чего ж тут хорошего. Ну, как знаешь».

Солнце начало припекать, река блестела так, что больно было смотреть, и темные фигуры в удаляющейся лодке уже едва можно было различить. Из-за полузатопленной хижины вышел по грудь в воде голый татуированный сосед Аркаша, держа в руках телевизор. Сделав несколько шагов, передумал, повернул назад, скрылся за углом своего жилища и выплыл с другой стороны, уже без телевизора, приветствуя горожанина белозубой улыбкой. Вода несла Аркашу на простор, он умело развернулся, уцепился за угол, взобрался на крышу, проваливаясь ногами сквозь дранку, стащил с себя мокрые порты, разложил сушиться и лег загорать. Солнце пылало с небес.

Х

Задавшись целью исследовать мою жизнь буквально *ab ovo*, я решил начать, как Тристрам Шенди, с рискованной сцены — реконструировать миг зачатия; судя по дате моего рождения, это событие совершилось в мае. Конечно, тут невозможно было обойтись без некоторой доли художественного вымысла или, вернее, домысла, ибо ничего необычного тут не могло быть; и, в конце концов, разве самый добросовестный историк не обязан порой возмещать недостаток фактов правдоподобной догадкой? Можно предположить, что дело происходило на рассвете выходного дня. Не хочу называть его воскресеньем, так как революция упразднила христианскую неделю, заменив ее шестидневкой, каковая существовала еще в дни моего детства. Итак, сотворение человека произошло на шестой день, после чего создатель вкусил заслуженный отдых. Будущие родители вновь прогрузились в сон.

Замечу, что, когда мы говорим: нас никто не спрашивал, хотим ли мы родиться, — то при этом как бы подразумевается, что мы уже некоторым образом существовали до того, как началось наше реальное существование. Иначе некого было бы спрашивать. Продолжая эту мысль, придется допустить, что мы сами виноваты в том, что появились на свет: это нам захотелось быть, и не кто иной, как мы, ещё не существуя, стали вожделением наших родителей. Мысль, впрочем, не новая.

Я лежал, покрытый легкой испариной, под бледно-розовым, толстым, пуховым и нежным, как пух, стеганым одеялом, на белоснежной

простыне, уйдя головой в мягкую подушку; я покоился, словно усталый воин, вернувшийся из похода, или как ребенок, которого взяли к себе в постель, на высоком и узковатом для двоих ложе, уткнувшись лицом в мягкую, ароматно-пышную и напоминающую белый калач полуобнаженную грудь моей любовницы, время от времени, как кот, открывал глаза и видел перед собой крупный темно-розовый сосок, вдыхал запах молока и перезрелых ягод, смешанный с запахом легкого и чистого женского пота, и всей моей кожей, ногами, животом чувствовал кожу Мавры Глебовны.

Да, как ни удивительно, это была Мавра Глебовна, ее комната с подвязанной шнуром портьерой, с вышитыми занавесками на окнах, ее никелированная кровать и зеркальный шкаф, так что, приподнявшись, я мог видеть ее негустые, рассыпанные ореховые волосы и рядом, над ее круглым плечом, другое лицо, показавшееся мне диким в черно-серебряном стекле. Вот так гость, подумал я, не странно ли, что все так обернулось, а впрочем, если подумать, то что тут было странного? И я снова погрузился в мягкость ее груди, испытывая неодолимую дрему, которая охватывает в неподвижный, приглушенно-жгучий, затянутый облаками полдень, и в полудреме, на дне наших душ, в крестце, в ущелье ног сызнава пробудилось желание, на этот раз тяжелое и ленивое, как расплавленный металл.

Некоторое время спустя, окончательно очнувшись, я услышал ее голос: «Сколько же это время, батюшки?.. Этак все просим!» — выбрался из-под одеяла и зашлепал в сени, а воротившись, увидел, что она сидит, накрыв ноги, на высокой кровати, уже в рубашке, со свисающими из-под одеяла широкими желтоватыми ступнями и, подняв крепкие локти, обнажив подмышки в коротких рукавах, завязывает косички на затылке; она повернула ко мне круглое лицо с сияющими, как бывает после сна, глазами, вздохнула всей грудью, словно после выполненной работы, так что ее рубашка с прямым вырезом высоко поднялась и опустилась, мельком оглядела себя, свою грудь и живот, расправила на ногах одеяло и едва заметно усмехнулась.

«Ты что, Маша», — проговорил я, это имя как-то непроизвольно выговорилось у меня, хотя никто, как выяснилось, никогда ее так не называл. Я смотрел на нее, и вид ее тела, скрытого под рубашкой, широкие плечи и короткая полная шея наполняли меня каким-то легким счастьем. «Ничего, — промолвила она, — дивлюсь я..» — «Да?» — спросил я осторожно. «Как это у нас вдруг получилось — сама не пойму». — «Вот так и получилось», — сказал я. Мне хотелось добавить, почему же это «вдруг»? Все, что произошло сегодня утром, мой визит в дом-терем с резными столбиками и запертыми воротами, она на крыльце, с извинениями, что не успела принести мне вовремя, как обычно, парного молока, и наше сидение в горнице, за тем самым сто-

лом, за которым пировали мы с Василием Степановичем, душный облачный день и короткие малозначащие реплики; мне казалось, что все это происходило в нарочито замедленном темпе, словно исподволь готовя нас к тому, что должно было случиться: медленно поднялась и вышла из-за стола Мавра Глебовна, подошла к окну, и невольно следом за нею встал и я, чтобы что-то увидеть в окошке, хотя знал, что ничего нового там нет, медленно и как будто нехотя двинулась она в другую комнату, мельком взглянув на меня, сняла с кровати подушки и отдала их мне, чтобы я держал их, покуда она снимала и складывала пикейное одеяло, вдвое, потом еще вдвое, потом взяла у меня подушки, взбила их, хотя они и без того были взбиты, обтянуты свежими наволочками и лежали рядом, как две горы, встряхнула и расстелила широкое супружеское бледно-розовое одеяло и остановилась, опустив голову, схватившись за пуговицы кофты, как будто задумалась на минуту или хотела сказать: может, не надо? может, ни к чему это совсем?

«Чего ты стоишь, мне, чай, одеться надо, — сказала она мягко. — Поди, что ли, там посиди». Я все еще медлил, держа в руках свою одежду; Маша покачала головой. «Вот так, чего уж теперь, раз так получилось, — бормотала она, просовывая руку сквозь вырез рубашки, спуская рубашку с плеч, продевая руки в бретельки широкого лифчика. — Судьба, значит. Отвыкла я от таких дел... — Она повела плечами, взвесила в ладонях шары груди в чашах лифчика. — Ну чего ты, али не нагляделся?»

Немного погодя, сидя за столом в светлой горнице, я вскочил, чтобы открыть ей дверь, и с немалым удивлением увидел мою хозяйку, несущую потный и фыркающий, ярко начищенный самовар; тотчас на него был водружен низкий и пузатый, с побуревшим носиком, фаянсовый чайник с заваркой, и на чайнике, прикрыв его, как наседка, своими юбками, воссела тряпичная, румяная, как свекла, баба в желтом платочке. Я уж и забыл, когда последний раз пил чай из русского самовара.

«Вот теперь попьешь», — промолвила Маша. На душе у меня было чувство глубокого мира. Не так уж далеко пришлось ехать, достаточно было только свернуть с асфальтовой дороги на проселок, но мне казалось, что я заехал в такую даль и глушь, до которой никому не добраться.

«Послушай, Маша...» Почти против воли я задал этот вопрос, мне не хотелось касаться этой темы; налив, по ее примеру, чай в блюдце, я старательно дул на него, как в детстве дул на горячее молоко, стараясь отогнать пенки, только теперь я сидел прямо, держа блюдце перед губами. Мавра Глебовна перебила меня:

«Какая я тебе Маша!»

Я возразил: «Мне так больше нравится. А тебе разве нет?.. Скажи, Маша, — продолжал я, — ты ведь замужем?»

«Ну», — сказала она спокойно.

«А говоришь, отвыкла».

«Мало ли что! Бывает, что и замужем, а отвыкают».

Самоварная баба полулежала, утонув в своих юбках, на столе, я протянул Мавре Глебовне чашку, она налила мне крепкой заварки и нацедила кипятку.

Помолчав, я сказал, что в моем доме творятся странные вещи. Ночью мужик приходил.

«Какой еще мужик?»

«Бывший хозяин. Я думаю, — сказал я, усмехнувшись, — эта изба заколдованная. Вся деревня какая-то странная».

«Скажешь! Деревня как деревня».

Я пожал плечами.

«И чего он?»

«Сказал, что я не имею права здесь жить».

«Он те наговорит. Один приходил?»

Я объяснил, что кто-то ждал на улице; какие-то люди, я их не видел.

«Ну и этого тоже считай, что не видел».

«Да он передо мной сидел, за моим столом, вот как ты сейчас».

«Ну и что? Мне тоже, — сказала она, — разные черти снятся».

«Ты его знаешь?»

«Кого?»

«Мужика этого».

«Да ты что? Он, чай, давно уж помер».

Она подняла на меня ясные глаза.

«Милый, — сказала она, — поживешь, привыкнешь».

В сенях послышался шорох. Мавра Глебовна встала и впустила малыша, похожего на карлика.

«К мамке в гости пришел? — сказала она. — Чай с нами будешь пить?»

Мальчик ничего не ответил, сидя на коленях у Мавры, потянулся к вазочке и схватил несколько конфет.

«Куды ж столько? Ты сначала одну съешь. — Мальчик полез с колен. — Ну, поди, бабку угости».

Его башмаки зашлепали на крыльце. Длился, истекал зноем нескончаемый полдень, занавешенный белыми облаками.

Я спросил: где его родители?

«В городе. И носа не кажут. Вот так и живем. Еще чайку? Ну-кось, — сказала она, — дай руку».

«Зачем?»

«Руку давай, говорю».
«Ты что, гадалка?»
«Гадалка не гадалка, а сейчас все про тебя узнаю».
«Я сам могу рассказать».
«Откуда тебе знать? Никто пути своего не знает».
Она разглядывала мою ладонь, поджав губы, как смотрят, проверяя документы.
«Что же там написано?»
«А все написано».
Я сжал руку в кулак.
«Разожми. Боишься, что твои тайны узнаю? Эва! Долго жить будешь, три жены у тебя будет».
«Откуда это известно?»
«Известно. Вот, видишь — первая, вот вторая. А вот там третья».
«Одна уже была».
«Значит, еще две будут».
Я засмеялся: «Что-то уж слишком много».
Она рассказывала:
«Василий Степанович у меня хозяйственный, все достает, если что надо, рабочих привезет. Жаловаться грех. Не знаю, — проговорила она, — может, у него там в городе кто и есть».
«Отчего ты так думаешь?»
«Да чего уж тут думать, коли у нас с ним ничего не получается. И так, и сяк, а в избу никак. Может, я уже старая. А может, силы у него нет, вся сила в заботы ушла, его на работе ценят».
«Детей у тебя нет?» — спросил я.
«Нет. Была девочка, от другого, да померла».
«И у меня, — сказал я, — была девочка».

XI

Не могу сказать, чтобы работа моя подвигалась бодрым темпом, говоря по правде, она почти не двигалась. Не внешние, а внутренние причины были тому виной. Раздумывая над своим проектом, я обнаружил опасность, о которой давно следовало подумать: риск потерять свою личность. Смешно сказать: то, за чем я охотился, что хотел восстановить, заново отыскать, отшелушить, как ядро ореха, — оно-то как раз и ускользало от меня.

Я должен был отдать себе ясный отчет в этой опасности: намерение реконструировать свою жизнь — месяц за месяцем, а если можно, день за днем, не упустив ни одной мелочи на дне моей памяти, ни одной тени в ее подвалах и закоулках, — неизбежно приведет к тому, что я не увижу за деревьями леса. Я предчувствовал, что из

этого получится: старательное перечисление мельчайших событий прошлого заслонит, поставит под сомнение то, что было исходной посылкой всей этой затеи: уверенность в том, что я — это я, нечто единое и в основе своей неизменное.

Мои воспоминания о младенчестве можно было сравнить с ключками разорванного письма, плывущими по воде, с трудом можно было прочесть на них размытые обрывки слов. Начиная с какого-то времени, они сменялись более или менее четкими эпизодами, подчас даже чрезвычайно четкими, но это была скорее память о вещах, чем о людях, чьи лица по-прежнему представлялись светлыми пятнами; эти эпизоды казались чрезвычайно значительными, хотя невозможно было понять, почему именно этот случай, эта, а не какая-нибудь другая домашняя вещь, картинка в книжке, чья-то мимолетная фраза или уличная вывеска впечатались в память; постепенно число их множилось, вещи обступали меня, и я готов был предположить, что на самом деле я помню все и храню все впечатления в архивах моего мозга. Но неразвитость психического механизма, того самого, упорядочивающего начала, несовершенство, о котором я мог теперь судить задним числом, мешало мне выстроить цепочку, мешало поднять целиком со дна памяти то, о чем я, как водолаз, мог судить, лишь обходя вокруг погружившийся в ил корабль моего детства, раздвигая водоросли и всматриваясь в темные иллюминаторы...

Таковы были первые три или четыре года жизни, когда мое «я» было скорее условием того, что все это некогда существовало, нежели чем-то первичным — автономным сознанием. Позже я замечал, что возвращаясь к уже знакомым местам, связь лиц и происшествий была не хронологической, но подчинялась иному закону, вроде того как товары в магазине разложены отнюдь не по датам их изготовления; я даже думаю, что сделал некоторое открытие, обнаружив среди завалов памяти область уже достаточно упорядоченную, но все еще не подвластную деспотизму времени. Вскоре, однако, — само это слово «вскоре» говорит о том, что время взяло реванш, — хронологический принцип восторжествовал: начиная с шести или семи лет я обрел непрерывность своей жизни и плетусь дальше в своих воспоминаниях, держась за канат времени.

Это скомканное, смятое, складчатое время воспоминаний, которое я пытаюсь разглядеть, чтобы восстановить то, навсегда ушедшее время жизни. И вот тут меня подстерегает капкан! Чем больше я втягиваюсь в процесс «восстановления», тем гуще и тесней становится моя память, похожая на многонаселенную коммунальную квартиру; подробности обступают меня: вещи, лица, песни, запахи, — и, когда наконец я застаю мое «я» уже полностью сформированным, оно убегает от меня, мелькает за рухлядью жизни, за обстановкой комнат, на

лестницах и чердаках, за мокрым бельем, развешанным во дворе, и пропадает в переулке, где я помню каждый дом. Голоса зовут меня с улицы, и мне некогда оставаться наедине с собой.

Спрашивается: не есть ли мое «я», каким его возвращает прошлое, чистое «я» воспоминаний, не отягощенное анализом, не удвоенное моим сегодняшним «я», — не есть ли оно простая сумма этих впечатлений? Нечто такое, чего попросту нет вне впечатлений, пресловутая *tabula rasa*?

Я снова стал думать о том, что ошибка — в выбранном мною способе изложения, в соблазне объективизма. Я намеревался составить протокол своей жизни, пожалуй, что-то вроде естественно-научного описания; мне казалось, что таким способом я сумею объяснить самому себе свою жизнь. Передо мной маячил призрак метаязыка, на котором я смог бы выразить истину о самом себе, как бы выбравшись из собственной шкуры и воспарив над своим «я». Но такого языка не существует.

Погруженный в размышления, я пересек огородное поле, вода все еще хлюпала под ногами, я обходил лужи и озерца, пробирался между кустами, стоящими в воде, вышел на берег. Река вернулась в свое русло, но прибрежная полоса песка была еще затоплена. Я брел вдоль берега, обходя заводи, в засученных брюках, перекинув через плечо связанные шнурками ботинки, постепенно мои мысли приняли другое направление, можно сказать, что они следовали изгибам реки. Мутные вздувшиеся воды катились мне навстречу, река бежала все быстрее, воды блестели, кое-где обнажился песчаный берег в клочьях травы, в пятнах грязной пены, усыпанный черными щепками, мокрым мусором, брошенным на полдороге, поток бурлил, образовав горловину, кустарник превратился в лес, река неслась между глухими зарослями, я заметил полузатопленную переправу, вода перекатывалась через поваленное дерево. Привязанная к торчащим кверху обломкам корней, качалась и билась о ствол барка, полная воды, она напомнила мне ту, в которой плыли гармонист и баба-семга.

ХII

Далекий призрак лесов. Эти слова показались мне удачным заголовком для моего будущего труда. Я начертил их на отдельной странице и любовался ими, прежде чем понял, что они все-таки не годятся. Они отвлекали меня от цели. Они пришли мне на ум еще тогда — сколько же дней прошло с тех пор? — когда впервые, выйдя на крылечко, я обвел очарованным взглядом окрестность. Туманная, то темная, то пепельно-голубая кромка на горизонте, манящий призрак — сколько до него ни шагай, никогда не дойдешь. Этот ландшафт наво-

дил на мысль о мифическом времени, где ничего не происходит или, вернее, все происходит одновременно. Не оттого ли моё детство превратилось для меня в средневековую сагу, деревянные башенки, неприменную принадлежность дачной архитектуры, воображение преобразило в башни рыцарских замков?

В шлеме с крестообразной прорезью, с мечом и щитом, на котором был намалеван мой герб, я стоял у калитки в предвкушении вражеского набега, ещё я не успел загореть, мои ноги ещё не были искушены комарами: последнее лето на даче, последний, может быть, день детства. Мы выехали из города накануне, на грузовике, где стояли корзины, стулья, кухонный стол, патефон, ванночка, швейная машина, плетеная бутылка с керосином, — все это, перевязанное веревками, дрожало и дребезжало, я подсакивал на матрасе рядом с мамой, голова моего отца виднелась в заднем стекле кабины, он сидел рядом с шофером и показывал дорогу. Отцу оставалось жить полгода: был ли он убит или замерз в лесах, когда огромное войско, несколько армий, попало в окружение, неизвестно. Машина расплескивала лужи, покачивалась на толстых корнях и мягко катила по лесной дороге; стоя перед калиткой в шлеме и латах утром следующего дня, поджидая вражеское полчище, я не знал, что вторжение уже началось на рассвете.

Я вспомнил, что сегодня как раз этот день, если только даты не перепутались в моей голове. И день этот, восстав в моей памяти, отказывался вернуться в прошлое, как если бы в самом деле все совершалось одновременно или русло времени искривилось бы и обогнуло войну. Или если бы, очутившись в том времени, я увидел будущее во сне.

Тут было все, что бывает в классическом сновидении: переправа, дорога, усадьба, дом с деревянной башенкой, веревочный гамак на двух крюках, ввинченных в деревья, — я не верил моим глазам. Всё казалось мне плагиатом моего младенчества; я подумал, что сам становлюсь действующим лицом чьей-то памяти или чужого сна: не я грезил, меня грезили.

Но прежде я должен вернуться к томительно-жарким часам после полудня, к этому эпизоду, открывшему череду новых событий; а я было уже решил, что здесь вообще ничего не происходит.

Винной всему был мой образ жизни, вялое сидение на крыльчке, прохладное молоко в кринке и пухлая, зовущая к себе грудь соседки Мавры Глебовны. Едва начатая рукопись на моем столе тревожила мою совесть, я не отказался от своего замысла или по меньшей мере внушал себе, что не имею права отказаться, иначе что же мне делать, куда деваться от самого себя? И все же, положила руку на сердце, эта моя работа, то, что я так самодовольно именовал работой, ради чего скрылся от всех, — ведь это было весьма сомнительным развлечением!

И не более того. Помню, как в детстве, увлеченный новым проектом, я с жаром принимался за дело, раскрывал новенькую тетрадку, писал, чертил, рисовал, — и вдруг что-то рушилось, и я чувствовал, что игра, едва начавшись, мне наскучила, и я не мог понять: что в ней можно было найти интересного? Каким вздором, думал я, показался бы мой нынешний проект, мои усилия и сомнения, какой непозволительной забавой, — человеку другого времени, моему отцу; он просто не мог бы понять, чем я, собственно, занимаюсь.

Или прав был Василий Степанович, и жизнь в деревне должна была вернуть меня к подлинной действительности, о которой я, может быть, и понятия не имел, к «народу», этому потерявшему смысл понятию, но которое все еще что-то означало, — и возродить мое писательство, другими словами, возродить свою личность, моё утраченное «я»?

Короче говоря, надо было встряхнуться. В этот раз я избрал другой путь, переправился вплавь и побрел напрямик через поля к рощице. Я шел и шел без всякой мысли и цели в густой траве, и роща, казавшаяся издали совсем небольшой, вставала и раздвигалась мне навстречу. Я пробирался через подлесок, шагал среди мхов, между упавшими стволами, время от времени менял направление, выбрался на поляну; солнце, постепенно опускаясь, сверкало между деревьями, мое путешествие затянулось. Лес поредел, но вместо опушки устланная иглами тропа привела меня к воротам.

Собственно, это были остатки ворот, каменные столбы, штукатурка осыпалась, обнажилась кирпичная кладка. Дорога со следами колес перешла в липовую аллею. Спустя немного времени я оказался на широком лугу перед домом с террасой, с башенкой и поникшим выцветшим флагом, с поблескивающими на солнце окнами.

Дача, наследница рыцарского замка! Дачу можно считать потомком барской усадьбы, а та, в свою очередь, ведет свое происхождение от надела, полученного в дар от монарха. Кто-то лежал в гамаке, свесилось одеяло. Кто-то ехал по аллее. Лошадь мелькала между деревьями; свесив ноги с телеги, ехал Аркаша. Я повернул к аллее и шагал ему наперерез, но, кажется, он делал вид, что не замечает меня. Я выбежал на дорогу. Телега остановилась. «Слушай-ка, а я и не знал, что...» — проговорил я. «А чего», — сказал Аркадий. «Ты тут работаешь?» — «Да какая это работа», — возразил он. «А лошадь откуда?» — «Председатель дал». — «Какой председатель?» «Председатель колхоза». — «Да какой тут колхоз, что ты мелешь?» — «Колхоза нет, а председатель есть».

Он ждал следующего вопроса.

«Аркаша, — спросил я, наконец, — а что это за люди?»

«Которые?»

«Да вот там». Я указал на компанию, сидевшую в беседке за самоваром.

«А... — пробормотал он. — Живут».

«Как они сюда попали?»

«Как попали... Да никак. Ты-то как сюда попал? Жили и живут. А чего, места у нас хорошие, воздух. Н-но!» Лошадь тронулась.

ХIII

Путник приблизился к беседке. Хозяин, грузный человек с лоснящимся красным лицом, без пиджака, в цветном жилете и с бабочкой на шее приветствовал его иронически-ободрительным жестом. Хозяйка промолвила:

«Милости просим. — И позвала: — Анюта!»

«Не беспокойтесь, маман. Я сама принесу», — сказала молодая девушка и побежала, придерживая платье, к дому. Она вернулась с чашкой и блюдцем, ему налили чаю, пододвинули корзинку с печеньем.

«Сливки?»

Гость поблагодарил. «Простите, — пробормотал он, — что я так неловко вторгся, позвольте представиться...»

«Мы о вас слышали», — сказал хозяин.

«Откуда?»

«Да знаете ли, земля слухом полнится. Не так уж много тут у нас соседей. Вы ведь в деревне живете, не так ли?»

«Да, если это можно назвать деревней...»

«Вот, — сказала, пропустив мимо ушей это замечание, хозяйка и указала на господина средних лет, который сидел очень прямо и выглядел весьма импозантно, со слегка седеющими баками, в сюртуке, высоком воротничке с отогнутыми уголками и сером галстуке с жемчужной булавкой, — разрешите наш спор. Петр Францевич утверждает, что...»

«Мама, это неинтересно».

«Нет, отчего же... Мы, знаете ли, увлеклись теоретической беседой. Петр Францевич считает, что смысл нашей отечественной истории, не знаю, верно ли я передаю вашу мысль, Пьер... одним словом, что весь смысл — в отречении».

Приезжий изобразил преувеличенное внимание. Петр Францевич солидно кашлянул.

«Если эта тема интересует господина... э... (Приезжий поспешно подсказал свое имя и отчество.) Если вас это интересует. Я хочу сказать, что... когда мы окинем, так сказать, совокупным взглядом прошлое нашей страны, то увидим, как то и дело, и притом на самых ре-

шающих поворотах истории, русский народ отрекается от самого себя. Да, я именно это хочу сказать: отрекается. Славянские племена, устав от взаимной вражды, призывают к себе варягов...»

«Эта теория оспаривается», — заметил гость.

«Да, да, я знаю... Но позвольте мне продолжать. Призвание варяжских князей, отказ от собственных амбиций. Но зато удалось создать прочное государство. В поисках веры принимаем греческое православие — опять отказ от себя, опять отречение, но зато Россия становится твердыней восточного христианства. Приходит Петр, и наступает новое, может быть, самое великое и болезненное самоотречение: от традиций, от национального облика, — ради чего? Ради приобщения к западной цивилизации, и в результате Россия преобразуется в европейскую державу первого ранга. Остается еще одно, последнее отречение...»

Хозяин, по имени Георгий Романович, внушительно произнес:

«Х-гм! Гм!»

«Вы не согласны?» — спросил приезжий.

«Я? Да уж куда там...»

«Pardon, — сказал приезжий, — мы вас перебили».

«Остается четвертый и последний шаг — признать религиозное главенство Рима!»

«Ну уж, знаете ли», — засопел хозяин.

«Да что это такое? — сказала хозяйка. — Жорж, ты все время перебиваешь! Дай же наконец Петру Францевичу высказать свой avis...¹»

«Я прекрасно понимаю, — сказал Петр Францевич, — что моя теория, впрочем, какая же это теория, речь идет об исторических фактах, против которых возразить невозможно... Я очень хорошо понимаю, что мой взгляд на историю России может не соответствовать мнению присутствующих. Но коли наш гость... Простите, — он слегка поднял брови, — я не знаю, в какой области вы подвизаетесь, или, может быть, я не расслышал?»

Путешественник промямлил что-то.

«М-да, так вот. Позвольте мне, так сказать, рекапитулировать. Обозрев в самом кратком виде отечественную историю, мы убеждаемся, что она представляет собой ряд последовательных отказов от собственной национальной сущности во имя... во имя чего-то высшего. Признав главенство папы, склонившись перед римским католицизмом, Россия завершит великое дело всей западно-восточной истории: осуществит христианскую вселенскую империю. Именно Россия, ибо ни одно другое государство не имеет для этого достаточных оснований... Но, господи, величие обязывает! Я говорю не о патри-

¹ Взгляд, мнение (*фр.*).

тизме. И не о шовинизме, упаси Бог, я по ту сторону и традиционного православия, и узко понятого католичества, я в лоне вселенской Церкви».

«А вам не кажется, что при таком взгляде наша история выглядит не очень привлекательно, русский народ оказывается уж слишком пассивен...»

«Вот именно, — подхватил хозяин, — ты, матушка, не так уж глупа!»

«Георгий Романыч!» — сказала хозяйка укоризненно.

«Вот именно. Хгм!»

Она спросила:

«Еще чашечку? Вы, наверно, скучаете».

«Нет, что вы, — возразил приезжий, — у меня вопрос, если позволите...»

Петр Францевич приосанился. Но тут произошла заминка. Маленький инцидент: два мужика, на которых уже некоторое время с беспокойством оглядывалась хозяйка, подошли к сидящим в беседке.

XIV

Два человека, по виду лет за пятьдесят, один впереди, щупая землю палкой, другой следом за ним, положив руку ему на плечо, оба в лаптях и онучах, в заношенных холщовых портах, в продранных на локтях и под мышками, выцветших разноцветных кафтанах с остатками жемчуга и круглых шапках, когда-то отороченных мехом, от которого остались теперь грязные клочья, с лунообразными, наподобие кокошников, нимбами от уха до уха, остановились перед беседкой и запели силпыми пропитыми голосами. Вожатый снял с лысой головы шапку и протянул за подающим.

«Это еще что такое? — сказал Петр Францевич строго. — Кто пустил?»

Слепцы пели что-то невообразимое: духовный гимн на архаическом, едва ли не древнерусском языке, дореволюционный царский гимн и «Смело товарищи в ногу», все вперемешку, фальшивя и перевирая слова. Прервав пение, вожатый забормотал, глядя в пространство белыми глазами: «Народ православный, дорогие граждане, подайте Христа ради двум братьям, слепым, убиенным...»

«Господи... Анюта! Куда все подевались? Просто беда, — сказала, отнесясь к гостю, хозяйка. — Прислуга совершенно отбилась от рук».

«Мамочка, это же...» — пролепетала дочь.

«Этого не может быть! — отрезала мать. — Откуда ты взяла?»

«Мамочка, почему же не может быть?»

Отец, Григорий Романович, рылся в карманах, бормотал:

«Черт, как назло ни копыя...»

Петр Францевич заметил:

«Я принципиальный противник подавания милостыни. Нищенство развращает людей».

«Боже, царя храни», — пели слепые.

«Надо сказать там, на кухне... — продолжала хозяйка. — Пусть им дадут что-нибудь».

«Может быть, мне сходить?» — предложил гость.

«Нет, нет, что вы... Сейчас кто-нибудь придет».

«Интересно, — сказал приезжий, — как они здесь очутились. Если не ошибаюсь, они были убиты, и довольно давно. Вы слышали, как они себя называют? Подайте убиенным».

«Совершенно верно, убиты и причислены к лику святых. А эти голодранцы — уж не знаю, кто их надоумил. Недостойный спектакль! — возмущенно сказал Петр Францевич. Слепцы умолкли. Шапка с облупленным нимбом все еще тряслась в руке вожатого. — Обратите внимание на одежду, ну что это такое, ну куда это годится? Уверю вас, я знаю, о чем говорю. В конце концов это моя специальность... Вспомните известную московскую икону, на конях, с флажками. Я уж не говорю о том, что князя — и в лаптях!»

Братья наклонили головы и, казалось, внимательно слушали его. Девушка произнесла:

«Может быть, спросим...»

«У кого? У них?» — презрительно парировал Петр Францевич.

Хозяйка промолвила:

«Наш народ такой наивный, такой легковерный... Обмануть его ничего не стоит».

«Как назло, ну надо же... — бормотал Григорий Романович. — *Ma chère*, у тебя не найдется случайно...»

«Кроме того, — сказал приезжий, — они были молоды. Старшему, если я только не ошибаюсь, не больше тридцати...»

«Совершенно справедливо!»

Наконец явился Аркадий с деловым видом, с нахмуренным челом, в рабочем переднике и рукавицах.

«Аркаша, пусть им что-нибудь дадут на кухне».

«Да они не голодные, — возразил он, — на поллитра собирают».

«Боже, — вздохнула хозяйка. — Что за язык!»

«Кто их пустил?» — спросил строго Петр Францевич.

«Сами приперлись, кто ж их пустит! Давно тут околачиваются. Ну, чего надо, гребите отседова, отцы, нечего вам тут делать!.. Давай, живо!» — приговаривал Аркаша, толкая и похлопывая нищих, и ком-

пания удалилась. Наступила тишина, хозяйка собирала чашки. Петр Францевич, заложив ногу на ногу, величаво поглядывал вдаль, покуривал папироску в граненом мундштуке.

«Вы, кажется, хотели мне возразить», — промолвил он.

«Я?» — спросил приезжий.

«Вы сказали, у вас есть вопрос».

«Ах да! — сказал приезжий. — Я не совсем понимаю. Каким образом можно согласовать вашу концепцию с тем, что произошло в нашем столетии?»

Петр Францевич с некоторым недоумением взглянул на гостя, как бы видя его впервые.

«Что вы имеете в виду?» — спросил он холодно.

«Что я имею в виду? Ну, хотя бы революцию и... все, что за ней последовало. По-вашему, это тоже самоотречение?»

Петр Францевич ничего не ответил, а хозяин осмотрелся и спросил:

«Где же Роня?»

Оказалось, что дочки нет за столом.

Путешественник почувствовал, что выпал из беседы.

«Разрешите мне откланяться, — пробормотал он, вставая, — ваша уютная дача, я назвал бы ее поместьем...»

Хозяйка мягко возразила:

«Это и есть поместье, здесь мой дед жил».

«Да, но... Угу. Ах вот оно что».

«Заглядывайте к нам. Будем рады».

«Спасибо».

«Мы даже не спросили, как вам живется в деревне».

«Превосходно. Люди очень отзывчивые».

«О да! Где еще встретишь такое добросердечие?.. Я так люблю наш народ».

«Я тоже», — сказал приезжий.

Он не удержался и добавил:

«Но знаете... Это поместье и моя деревня — это даже трудно себе представить. Два разных мира. Куда все это провалилось?»

«Провалилось? Что провалилось?»

«История, — сказал приезжий. — Мы говорили об истории».

«Я так не думаю», — сопя, сказал Григорий Романович.

«Не следует ли сделать противоположный вывод? — вмешался Петр Францевич. — А именно...»

«Где же это Ронечка?»

«Позвольте, я поищу ее».

«Да, да, сделайте одолжение... Смотрите, какие тучи».

Постоялец вернулся домой, промокший до нитки.

XV

Проснувшись перед рассветом, я угадывал в потемках жалкое убранство моей кельи, мне до смерти хотелось спать, но заснуть я уже не мог. Настроение мое было смутным, в мыслях разброд. С одной стороны, я был рад новым знакомым, а с другой — как быть с моим намерением сосредоточиться, остановить свою жизнь? Меня встретили весьма приветливо, и я предчувствовал, что не удержусь от искушения продолжить знакомство. Надо бы расспросить Мавру, наверняка она что-нибудь слышала об этих людях. Солнце уже сверкало позади моей избы, я фыркал под холодным душем, мне стало весело, я вернулся в мою сумрачную комнату; прихлебывая кофе, я озирал разложенные на столе письменные принадлежности, и голова моя была полна разнообразных планов.

Все, что происходило со мною в последние недели, могло бы послужить предисловием к моей работе; я подумал, что следовало бы описать приезд, описать всепутешествие, которое теперь представлялась мне почти символическим. Перед глазами стоял первый день, заляпанная грязью машина, заколоченные окна деревенского дома. Я увидел себя стоящим на пороге моего будущего жилья, стройные предложения, как световая надпись, бежали у меня в голове, не хватало лишь первой фразы. Это был хороший признак: я знал, что писанию всегда предшествует замешательство, короткая пауза с пером, повисшим над бумагой. Вроде того как лошадь переступает ногами на одном месте, раскачивает оглоблями тяжелый воз, прежде чем нажать плечами и двинуться вперед, кивая тяжелой головой. Я прибег к известному приему. Окунув перо в чернильницу, поспешно начертил первые пришедшие на ум слова:

«Не так уж далеко пришлось ехать, но едва лишь свернули на проселочную дорогу, как стало ясно, что...»

Моя рука снова зависла над бумагой, я перечеркнул написанное и начал так:

«Два окошка, выходящие на улицу, были крест-накрест заколочены серыми и потрескавшимися досками. Шофер вытащил из багажника железный ломик и...»

«Молочка! — раздался голос Мавры Глебовны. — Ба, — сказала она, входя в избу, — да ты уже встал».

Она поставила передо мной крынку и уселась напротив. Умытая, ясноглазая, мягколикая. На ней был чистый белый платок, она подтянула концы под подбородком.

«Чего так рано-то?»

«Да вот... — проговорил я, все еще с трудом приходя в себя, ибо инерция включенности в писание может быть так же велика, как

инерция, мешавшая двинуться в путь по бумажному листу. — И я показал на то, что лежало на столе, скудный улов моей фантазии. — А ты уж и корову подоила?»

«Эва, да я знаешь, когда встаю? Все ждала, будить тебя не хотела».

«Я тоже рано встал».

«Отчего так? Куды торопиться?»

«Не спится, Маша».

«Мой-то, — сказала она, понизив голос, — в область уехал. Советование или чего».

Область — это означало «областной центр», от нас, как до звезд.

«Он у тебя важный человек».

«Да уж куда важней».

Наступила пауза, я поглядывал на свою рукопись.

«Я чего хотела сказать. Василий Степаныч все одно до воскресенья не приедет... Может, у меня поживешь?»

«Неудобно, — сказал я. — Увидят».

«Да кто увидит-то? Аркашка, что ль? Он вечно пьяный. Или на усадьбе работает. Листратиха, так и шут с ней».

«Послушай-ка... — пробормотал я, взял ручку и зачеркнул неоконченную фразу. Мне было ясно, что не нужно никаких предисловий; может быть, позже мы вернемся к первым дням, а начать надо с главного. — Что это за усадьба?»

Ответа не было, я поднял голову, она смотрела на меня и, очевидно, думала о другом.

«Чего?»

«Что это за люди?»

«Которые?»

«Ну, эти».

«Люди как люди, — сказала Мавра Глебовна, разглаживая юбку на коленях. — Помещики».

«Какие помещики, о чем ты говоришь?»

«А кто ж они еще? Ну, дачники. Вроде тебя».

Вздохнув, она поднялась и смотрела в окошко. Я налил молока в кружку.

«В старое время, еще до колхозов, были господа, вот в таких усадьбах жили, — раздался сзади ее голос. — Я-то сама не помню, люди рассказывают. Деревня, говорят, была большая, землю арендовали».

«У тех, кто жил в этой усадьбе?»

«Может, и у тех, я почему знаю. Их потом пожгли. Тут много чего было. И зеленые братья, и эти, как же их, — двадцатитысячники».

«Пожгли, говоришь. Но ведь дом цел».

«Может, не их, а других. Люди говорят, а я откуда знаю?»

Я сидел, подперев голову руками, над листом бумаги, над начатой работой, мои мысли приняли другой оборот. Смысл моего писания был заключен в нем самом. О, спасительное благодеяние языка! Письмо — не средство для чего-то и не способ кому-то что-то доказывать, хотя бы и самому себе; письмо повествует, другими словами, вносит порядок в наше существование; письмо, думал я, укрощает перепутанный до невозможности хаос жизни, в котором захлебываешься, как тонущий среди обломков льда.

Она обняла меня сзади, я почувствовал ее мягкую грудь.

«Отдохни маленько».

«Я только встал!» — возразил я, смеясь.

«Ну и что?»

«Работать надо — вот что».

К кому это относилось, ко мне или к ней, не имело значения; мы перебрасывались репликами, как мячиком.

«Куда спешить, работа не волк».

«А если кто войдет?»

«А хоть и войдет. Кому какое дело?»

«Еще подумают...»

«Ничего не подумают. Да кому мы нужны? Ну чего ты, — сказала она мягко, — не хочешь, что ль?»

«Хочу», — сказал я.

«Ну так чего?»

Мы направились по пустынной улице к ее дому. Ни облачка в высоком небе. В горнице отменная чистота, массивный стол — теперь на месте хозяина восседал я — был накрыт белой скатертью. Бодро постукивали ходики. Мавра Глебовна внесла шипящую сковороду, спустилась в подпол, выставила на стол миску с темно-зелеными, блестящими, пахучими огурцами. Я разлил водку по граненым рюмкам.

Она раскраснелась. Она стала задумчивой и таинственной. Медленно водила пальцем по скатерти. Мы не решались встать.

В дверь скреблись, вошла, подняв хвост, мраморного цвета кошка и вспрыгнула на колени к Мавре Глебовне.

«Пошла вон!..»

Гость сидел, несколько развалясь, упираясь затылком в спинку высокого резного стула, это была, несомненно, барская мебель, сколько приключений должно было с ней произойти, прежде чем она водворилась здесь! Водка подействовала на меня, время застеклилось, самый воздух казался стеклянным, и кровать, как снежный сугроб, высилась в другой комнате. Хозяйка встряхивала двумя пальцами белую кофту на груди, ей было жарко. Я смотрел на нее, на ее полную белую шею, на огурцы и тарелки, на мраморно-пушистого зверя, неслышно ходившего вокруг нас, мне казалось, что сознание мое расши-

рилось до размеров комнаты; если бы я вышел, оно вместило бы в себя весь мир до горизонта. Я заметил, что думаю и воспринимаю себя без слов, думаю о вещах и обзираю вещи, не зная, как они называются, это было новое ощущение, насторожившее меня. Я склонился над столом и, стараясь сосредоточиться, тщательно налил ей и себе.

Подняв глаза, я встретился с ее взглядом, но она смотрела как бы сквозь меня.

«Ну что, Маша?..»

«А?» — сказала она, очнувшись.

«Я что-то забалдел. У тебя водка на чем настояна?»

«А ты кушай. Кушай... Эвон, сальцом закуси».

«Я сыт, Маша».

«Сейчас с тобой отдохнем. Я тебя ждала».

«Сегодня?»

«Я, может, десять лет тебя ждала».

Раздался стук снаружи, я слышал, как Мавра Глебовна говорила с кем-то в сенях. Она вернулась.

«Давай, что ли, еще по одной...»

«Давай», — сказал я. Она поднесла рюмку к губам, я залпом выпил свою.

«Кто это?»

«Листратовна, кто ж еще, глухая тетеря».

«Что ей понадобилось?»

«Да ничего, сама не знает. Увидала небось, пришла поглядеть...»

«Ну вот, я же говорил».

«Милый, — сказала она, — чего ты беспокоишься? Ну, увидела, ну, узнала. Да она и так знает. И шут с ними со всеми! Я тебе так скажу... — Она вздохнула, разглядывая рюмку, отпила еще немного и поставила. — Если б и Василий Степаныч узнал, то, знаешь... Может, и рад был бы».

«Рад?»

«Ну, рад не рад, а, в общем бы, сделал вид, что ничего не знает».

Я ковырял вилкой в тарелке, она спросила:

«Может, подогреть?»

Кошка сидела на подоконнике. Мавра Глебовна продолжала:

«Василий Степаныч человек хороший. Я ему век благодарна. Заботливый, все в дом несет. У нас, — сказала она, — ничего не бывает».

«Что ты хочешь сказать?»

«То, что слышишь. Неспособный он. Я ему иногда подсоблю — так, поиграю с ним, да это все не то. Уж и к докторам ходил. А чего доктора скажут? Электричеством лечили, на курорт ездил. Вроде, говорят, переутомление на работе».

«Ты мне уже рассказывала...»

«А рассказывала, так и еще лучше. — Она широко и сладко зевнула. — Устала я чего-то. Не надо бы мне вовсе пить... А может, и напрасно, — проговорила она, взглянув на меня ясными глазами, — я с тобой связалась... А? Чего молчишь-то?»

Ее пальцы, которые я теперь так хорошо знал, отколупнули пуговку на груди, закрыв глаза, она лежала среди белых сугробов на своей высокой кровати, под вечер доила корову, среди ночи вставала и босиком, в белой рубаше, возвращалась с ковшиком холодного, острого кваса. И кто-то шастал под окнами. Мы пили, и обнимались, и погружались в сон. Наутро голубой день сиял между занавесками и цветами, сверкал никелевым огнем и отражался в зеркале, и смутные образы сна не разоблачали перед нами свою плотскую подоплеку, разве только объясняли на причудливом своем языке моему постылому «я», так много значившему для меня, что оно обесценилось в круглой чаше ее тела, в запахе ее подмышек.

И вот... странное все-таки дело — человеческий рассудок, странное существо, хочется мне сказать, ведь он и ведет себя, как отдельное существо, упорно отстаивающее себя; лежа рядом с моей подругой на высоких подушках, бодрый и отдохнувший, предвкушая завтрак, я не мог не размышлять, и о чем же? Я раздумывал о том, как я буду описывать эти, не какие-нибудь попутные, не хождение вокруг да около, а вот именно эти события в моей автобиографии, и сомнения готовы были вновь одолеть меня, я испытывал определенную неловкость, не потому, что «стыдно» (впрочем, и поэтому, ведь стесняешься не только случайного читателя, но и самого себя), а скорее от того, что в таких сценах есть какая-то неприятная принудительность. В наше время автор просто принужден, обязан описывать альковные сцены, иначе писанию чего-то не хватает. Чего же: правды? Если бы кто-нибудь мог объяснить мне, что такое правда... Описанная вплотную, когда водишь носом по ее шероховатой поверхности, пресловутая правда жизни искажается до неузнаваемости. У нас нет языка, который выразил бы смысл любви, ее банальную неповторимость, не жертвуя при этом ее внешними проявлениями.

Не так-то просто отвертеться от этой церемониальной процедуры, от этого торжественного акта, от уплаты по векселю, — и кому не приходилось преодолевать внутреннее сопротивление, приступая к исполнению долга, который налагают на нас величие минуты, ситуация, участь женщины и честь мужчины? Что-то похожее происходит с литературой: дошло до того, что без «этого» литература как бы уже и не может существовать. А с другой стороны, я пытаюсь поставить себя на место романиста. Мне кажется, я увидел бы себя в западне.

Мною употреблено выражение «банальная неповторимость». Процесс, описанный со всевозможной простотой и трезвостью, кото-

рый можно представить с помощью букв и операционных знаков, алгебра соития, где по крайней мере время, необходимое для того, чтобы записать уравнение, совпало бы с реальным временем. Но что такое «реальное время»? То, что совершается в считанные мгновения, не может быть рассказано в двух словах, требуется нечто вроде замедленной съемки. Физиологическое время должно быть заменено временем языка, вязкой материей, в которой вы бредете, словно в густом месиве. Время языка растягивает время «акта», или, лучше сказать, время подготовки, и обрывается там, где температура рассказа должна была подняться до высшей точки. Вместе с ним иссякают возможности языка.

Я спросил Мавру Глебовну — мы сидели за завтраком, и нелепая мысль, какое-то нездоровое любопытство, а быть может, и неумение понять женскую душу заставили меня это сказать, я спросил: что она испытала в этот момент? Слово «оргазм» как-то не вязалось со всей обстановкой. Она передернула плечами.

«А подробнее», — сказал я.

«Чего подробнее?»

«Что ты чувствуешь, — спросил я, — когда я... — Станным образом я все еще не мог найти нужное выражение. — Ну, когда мы...»

«Чего спрашиваешь-то? Небось сам знаешь».

И это был лучший ответ.

XVI

Ночью раздались выстрелы. Постоялец пробормотал: «Завтра, завтра...» Это были не выстрелы, а стук кулаком в дверь снаружи. Потом нетерпеливо застучали в окошко. Он выглянул, но ничего не было видно. Он спросил в сенях: «Кто там?» Голос ответил:

«Проверка документов».

«Утром приходите», — буркнул постоялец. Его ослепил фонарь, похожий на маленький прожектор. Двое в шинелях вошли в избу, один был с портфелем, другой держал пистолет и фонарь. Постоялец зажег керосиновую лампу, человек, вошедший первым, — два кубаря, голубые петлицы, должность — ночной лейтенант, — сидя боком к столу, перелистывал паспорт.

«Кто еще живет в доме?»

«Я один», — сказал приезжий.

«Сдайте оружие».

Постоялец пожал плечами.

«Есть в доме оружие?» — спросил второй, стоявший сзади.

«Кухонный нож».

«Шутки ваши оставьте при себе, — сказал человек за столом. — Фамилия? — Он смотрел на жильца и на фотографию. — Паспорт какой-то странный, — проговорил он, — что у вас там, все такие паспорта?.. От кого тут скрываетесь?»

«Ни от кого», — возразил приезжий. Он объяснил, что хозяин дома — его родственник.

«А это мы еще разберемся, кто тут настоящий хозяин, а кто подставной», — ответил сидящий за столом, захлопнул паспорт, но не вернул его, а положил рядом с собой.

«Обыскать!» — сказал он кратко.

«Что же тут разбираться? — сказал приезжий, поглядывая на руки помощника, которые ловко шарили по его карманам. — Тех, кто здесь жил, давно уже нет!»

«Вы так думаете? — спросил лейтенант, поставил портфель на пол возле табуретки и принялся разглядывать бумаги на столе. — Это что?»

Личный досмотр был закончен, путешественник, присев на корточки, добыл из чемодана удостоверение, род охранной грамоты.

«Писатель, — брезгливо сказал лейтенант. — И что же вы пишете? Вот и сидели бы там у себя. Сюда-то зачем приехали?»

«Здесь тихо. Чистый воздух».

«Не очень-то тихо, — возразил лейтенант. — А насчет воздуха я с вами согласен. — Он помолчал и спросил: — Кто тут живет, вам известно?»

«В деревне?»

«Известно ли вам, кто проживает в этом доме?»

«Никто. Дом был заколочен».

«Интересно, — сказал человек за столом. — Очень даже интересно. А вот у нас есть данные, что сюда вернулся нелегально бывший хозяин».

«Откуда?»

«Что откуда?»

«Откуда он вернулся?»

«Из ссылки, — сказал лейтенант. — Да ты садись, так и будешь стоять, что ли?.. Имеются данные. Это, понятно, не для разглашения, но вам как писателю будет интересно».

«Мне кажется, вы опоздали...» — заметил приезжий.

«Я говорил, надо было выезжать немедленно», — проворчал помощник.

«А ты помолчи, Семенов... Почему же это мы опоздали?»

Приезжий пожал плечами: «Другое время».

Ночной лейтенант взглянул на ручные часы, потом на ходики, тускло блестевшие в полутьме.

«Часы-то ваши стоят. Как же это так? — Он поглядел на писателя. — Живешь, а времени не знаешь, — сказал он, перейдя снова на «ты». — Подтяни гирию, Семенов. Гирию, говорю, подтяни... И стрелки переведи. Да что у тебя, едрена вошь, руки дырявые, что ли!»

Помощник, чертыхаясь, подбирал с полу упавшие стрелки. Лейтенант продолжал:

«Насчет опоздания я тебе вот что скажу: опоздать-то мы не опоздали. А вот что положение становится час от часу серьезней, классовый враг свирепеет, это верно. Вот и носишься по всему уезду. Обстановка такая, что только успевай поворачиваться... Я тебе так скажу. Если в прошлом году у кулаков запасы хлеба были округленно от ста до двухсот пудов, то теперь в среднем до пятисот, а в ряде случаев даже до тысячи... В феврале — в одном только феврале! — органами было обыскано триста шестьдесят шесть мельников и кулаков, обнаружено... точно не помню... что-то около семидесяти тысяч пудов зерна. Это же сколько народу можно накормить! А между прочим, рабочий класс голодает. А у них семьдесят тыщ пудов спрятано. Вот так. — Он поднялся из-за стола. — А теперь осмотрим запасы. Где лабаз?»

«Какие запасы, сами видите, что тут».

«Огород. Хлеб закопан в огороде».

«Ищите, копайте, — сказал писатель. — Авось что-нибудь найдете».

«Найдем, можешь быть спокоен. В феврале нами обнаружено семьдесят тысяч пудов».

«В феврале. Какого года?»

«Нынешнего, какого ж еще... Семенов! Зови людей. А вы пока что... — он дописывал бумагу, — подпишите».

«Что это?»

«Протокол. И вот это тоже».

«Но ведь вы же еще, — пролепетал приезжий, — не закончили проверку... осмотр...»

«Все своим чередом; подписывайте».

На отдельном листке стояло, что такой-то обязуется сообщить в местное управление о появлении в доме или в окрестностях бывшего владельца дома, а также членов его семьи.

Приезжий возразил, что он никого здесь не знает.

«Это не имеет значения. Там разберутся».

«Где это там?» — спросил приезжий.

«Не прикидывайтесь дурачком. Где надо, там и разберутся».

«А все ж таки?»

«Не имею полномочий объяснять. Управление секретное».

«Так, — сказал, берясь за перо, путешественник. — Значит, в случае появления человека, которого я не знаю...»

«Или его родственников».

«Или родственников. В случае появления людей, которых я не знаю, я немедленно сообщу о них в управление, о котором тоже ничего не знаю».

Ночной лейтенант пристально взглянул на него.

«Ты что хочешь этим сказать?»

«То, что сказал».

«Это мы слышали, — сказал лейтенант спокойно. — Так ты это серьезно?»

«Видите ли... — пробормотал постоялец, чувствуя, что его мысли принимают несколько причудливое направление. — Видите ли, тут вопрос философский. Смотрите-ка, — воскликнул он, — уже светает!»

«Да, — сказал уполномоченный, взглянув на часы. — Надо бы поторопиться. Эй, Семенов! Ты где?»

«Если я вас правильно понял, секретными являются не только деятельность управления, круг его обязанностей и так далее. Секретным является самый факт его существования. Не правда ли? Но ведь вещи, о существовании которых мы не знаем, как бы и не существуют. Возьмите, например, такой вопрос, — продолжал приезжий, придвигая к себе табуретку и усаживаясь, — как вопрос о Боге».

Лейтенант тоже сел и слушал его с большим интересом.

«В рассуждениях на эту тему, я бы сказал, во всей теологии имеется логический круг: рассуждения имеют целью доказать существование Бога, но исходят из молчаливой посылки о том, что он существует! Улавливаете мою мысль?»

«Улавливаю, — сказал лейтенант, потирая колени. — Только я тебе вот что скажу. Ты мне зубы-то не заговаривай».

«Вы меня не поняли. Я не о вашем учреждении говорю. Я его использую просто как пример. Уверяю вас, я совсем не собираюсь на него клеветать, наоборот. В конце концов сравнить его с Богом — это даже своего рода комплимент! Так вот, что я хотел сказать. В определение существования входит допущение самого факта существования, если же факт остается тайной...»

Лейтенант сощурился и гаркнул:

«Встать! Руки над головой. Лицом к стенке. К стенке, я сказал!..»

Вошел помощник.

«Обыщи его».

«Уже обыскивали», — сказал, повернув голову из-за плеча, постоялец.

«Разговорчики! Еще раз. И как следует».

«Ноги расставить», — сказал Семенов.

«Ты в башмаках у него смотрел? Стельки, стельки оторви!.. Можешь садиться, — сказал он писателю. — Скажи спасибо, едрена мать, что некогда тобой заниматься... Подпишись здесь. И вот тут... Что там у тебя в крынке, молоко, что ль? Налей-ка мне. Так что ты там толковал насчет Бога? Есть Бог или нет?»

«С одной стороны... — забормотал приезжий. — А с другой... Если допустить, что...»

Лейтенант перебил его:

«А это кто?»

«Где?» — спросил приезжий.

«А вон», — кивнул в угол лейтенант.

«Богородица с младенцем».

«Да нет! Вон энти двое».

«Это святые братья-мученики Борис и Глеб».

«Семенов», — сказал лейтенант.

«Здесь».

«Ты в глаз не целясь попадешь?»

«Чего ж тут не попасть, запросто», — сказал Семенов, расстегивая кобуру.

«Не стоит, — сказал приезжий. — Это дешевая икона».

«Ты-то откуда знаешь?»

Путешественник ответил, что он немного занимался этими предметами: ремесленная работа начала века. Хотя и восходит, добавил он, к очень древним образцам.

Он испытывал странное желание говорить. Не то чтобы он был слишком напуган этим визитом, но ему казалось, что, разговаривая на посторонние темы, он как бы свидетельствовал свою непричастность. Непричастность к чему?

XVII

«Барин-красавец, не уходи, позолоти ручку, побудь со мной, не уйдут твои дела...»

Две молодки шли по деревне танцующей походкой, босые, вея пестрыми лохмотьями юбок; одна уселась на ступеньках, подоткнув юбку, так что ткань натянулась между скрещенными ногами, другая, с куклой, завернутой в тряпье, — или это был ребенок? — двинулась дальше.

«Ну-ка покажи...»

«Нельзя, карты чужих рук не любят».

«А это кто?»

«Много будешь знать. Мои карты особенные. Всю правду скажут. Ох, барин-красавец! Не знаешь ты своего пути. — Она сгребла карты, встала. — Пусти в дом».

«Ты мне тут погадай».

«Не могу, карты в дом просятся. Пусти, не бойся. Сама вижу, у тебя красть нечего. Бедно живешь», — сказала она, войдя в избу, быстро осмотрелась, поместилась за столом, заткнув юбку между ног, поставила пыльные и загорелые ступни на перекладину табуретки и спустила на плечи платок со смоляных конских волос. Ловкие руки сдвинули в сторону мои бумаги, пальцы летали над столом, одну карту она проворно сунула за пазуху.

«Жульничаешь, тетка».

«Нехорошая карта, худая, не нужна она нам...»

Собрала и перетасовала все карты, среди которых мелькали совсем необычные картинки, может быть, карты Таро, но вряд ли она что-нибудь в них понимала. Похлопала по колоде, молча протянула ладонь; я выложил трешницу, которую она мгновенно запихнула в желобок между грудей.

«Еще дай, барин».

«Хватит с тебя...»

«Правду скажу, не пожалеешь».

Она протянула мне узкую ладонь с колодой карт.

«Сними верхнюю, своей рукой подыми, что там есть?»

Это был король треф. Пророчица покачала головой.

«Все не то. Видать, не веришь мне, не доверяешь, душу не хочешь раскрыть. Ещеними».

Оказалась женская фигура в плаще, окруженная звездами. Третью карту она сняла сама и прижала к груди.

«Погляди в зеркало, себя не узнаешь, пути своего не ведаешь, зачем сюда приехал, здесь злой человек тебя сторожит, за тобой следом ходит, пулю для тебя приготовил... Не ходи за рекой, он тебя там поджидает. Лучше уезжай, пока не поздно, не будет тебе здесь счастья, не место тебе здесь... И к этой не ходи, забудь про нее, — она показала карту, — она порчу на тебя наведет. А вот как поедешь, в вагон войдешь, кареглазая подойдет, не отпускай ее, она твоя суженая. Вижу, ох, вижу, тоска на душе у тебя, оттого что пути своего не находишь. Еще денег дай, не жалей, а за то тебе всю правду скажу, только сперва икону закрой. Закрой икону...»

«Бесстыдница, ишь повадилась! — послышался снаружи голос Мавры Глебовны. — Не видали вас тут... А ну катись отсюда, чтоб духу твоего тут не было...»

Ей отвечал чей-то визгливый голос.

Она вступила в избу и увидела гостью.

«А! И эта тоже. Зачем ее пустил? Пошла вон!..»

«Чего раскричалась-то? — возразила гадалка, собирая карты. — Не больно мы тебя и боимся. А то смотри, беду накличешь...»

«Ах ты дрянь, еще грозить мне будет! — бодро отвечала Мавра Глебовна. — Я их знаю, чай, не первый раз, — сказала она мне, — на-медни Листратовну обокрали, мальчонкины вещи унесли... Пошла вон из избы, кому говорю!»

«Беду зовешь, вот те крест, дом свой сгубишь, мужик от тебя уйдет... О-ох, пожалеешь».

«Змея подколодная, катись отсюда!»

Женщины вышли наружу, я следом за ними. Прорицательница прыгнула с крыльца, перед домом ее ожидала другая, с куклой на руках.

«И надо же, прошлый раз прогнала, они опять тут как тут. А ну живо, чтоб я вас тут больше не видала, поганки, шляются тут, людям покою не дают, ишь повадились!»

«Ты доорешься, ты доорешься», — приговаривала первая, поправляя платок.

«А вот этого-того — не видала? — сказала другая, сунула сверток своей товарке и повернулась задом к крыльцу. — На-кась вот, съешь!» — говорила она из-за спины, подняв юбку и кланяясь.

«Испугала, подумаешь, — отвечала презрительно Мавра Глебовна, — хабалка бесстыдная, тьфу на тебя!»

«А вот тебе еще, вот этого не видала?»

«Как же, испугались мы! И надо же, прогнала их, они снова».

«А вот тебе еще, на-кась вот!»

«Дрянь этакая, еще раз припрешься, я тебе...»

«Дурной глаз наведу, доорешься».

«Только приди попробуй, еще раз увижу...»

«И приду, тебя не спрошусь...»

Обе двинулись в путь, гордо покачиваясь и пыля почернелыми пятками. Мы с Машей стояли на крыльце.

«И ты тоже. Нечего их пускать, чего им тут надо».

Она добавила:

«Боюсь я их. Еще нагадают чего-нибудь».

«Ты им веришь?»

«Верь не верь, а что цыганка наворожит, то и будет».

«Ты сама тоже гадаешь».

«Я-то? — усмехнулась она. — Это я так, в шутку».

Слегка парило; день был затянут, как кисеей, облаками; леса вдали неясно темнели в лиловой дымке. Немного погода я побрел к реке.

XVIII

Я шагал по широкой лесной дороге, и навстречу мне шла фигурка в белом, под белым кружевным зонтиком, каким, может быть, защищались от солнца в чеховские времена. «Роня, — воскликнул я, — какая встреча!»

Она остановилась. Я подошел и сказал:

«Представьте себе, мне сейчас нагадали, что мне не следует появляться за рекой».

«Поэтому вы и пришли?»

Она свернула зонтик и держала его двумя руками за спиной, мы пошли рядом. Замечу, что ее нельзя было назвать хорошенькой; еще тогда, в мой первый визит, я мысленно отнес ее к тому типу девушки-подростка, который когда-то называли золотушным: худенькая, почти истощенная, с голубовато-молочной кожей. Пожалуй, только густые темно-золотистые волосы украшали ее.

«Вот именно. Бросил вызов судьбе».

Как-то сразу в нашем разговоре установилось ранговое различие, оттого ли, что барышня была некрасивой, или из-за разницы лет: я смотрел на нее сверху вниз, и она, очевидно, находила это естественным. Все же я должен был что-то сказать и заметил, что мне нравится ее необычное имя, а как будет полное? Она ответила: Рогнеда, явно стесняясь. Ого, сказал я. Есть такая опера Серова. Любит ли она музыку? В таком роде продолжалась беседа.

«Кто же вам это нагадал?»

Мы шли рядом, она спросила, глядя на свои белые туфельки, ступая несколько по-балетному:

«Вы верите в судьбу?»

«Здесь становишься суеверным, — сказал я, — вам снятся сны?»

«Иногда».

«Мне на днях приснилось... Перед этим я совсем было уже проснулся, но опять задремал. И вижу, что я уже одет, утро, выхожу на крыльцо. Вспоминаю, что я забыл что-то. Возвращаюсь и вижу свою комнату в шерстяном свете».

«Почему шерстяном?»

«Такое было чувство: мягкий и колючий свет».

«И всё?»

«Собственно, да. На этом все закончилось. Но как-то очень запомнилось. И, знаете, что любопытно, — продолжал я, — не то чтобы этот сон что-то особенное значил. Но я не в состоянии решить, был ли это сон или... литературная конструкция, которая возникла в полуза-туманном сознании и казалась очень удачной, а когда я окончательно проснулся, то вижу — чепуха».

«Вы писатель?»

Я почувствовал досаду. Во мне шевельнулось было желание поккетничать перед семнадцатилетней барышней, или сколько ей там было, но что я мог ей сказать?

«Почему вы не отвечаете?»

«Я сам не знаю, Роня».

Пожалуй, и тут была доля кокетства, но, видит Бог, я был искренен. Другое дело — что считать искренностью? Можно быть откровенным и вместе с тем чувствовать, что говоришь не то.

Я добавил:

«Скорее был им».

«А сейчас?»

Я снова пожал плечами. Мне было приятно, что меня расспрашивают, и в то же время скучно отвечать.

«Значит, вы больше ничего не пишете?»

«Гм... так тоже сказать нельзя. Я попробую объяснить, если вам так интересно, но сначала ответьте мне на один вопрос...»

Я взял у нее из рук белый зонтик из шелковой ткани вроде той, из которой шьют абажуры, с кружевной оборкой, с тонкой костяной ручкой, открыл, снова закрыл.

«Таких зонтиков не бывает. Такие зонтики можно увидеть только в кино».

«Почему же в кино?»

Она отняла у меня зонтик. Она ждала продолжения.

Мы свернули с просеки на тропинку в лес.

«Мне не совсем понятно... Впрочем, я слишком мало знаю ваше семейство, которое, должен сказать, внушает мне большую симпатию!»

«Спасибо».

«Так вот, может быть, я слишком поспешно сужу. Но мне кажется, что все это какая-то игра... Ваши родители, дядя... Или кто он там».

Она возразила:

«А разве ваши слова, то, что вы сейчас произнесли, — не игра?»

«Не понимаю».

«Я хочу сказать, разве кто-нибудь сейчас так выражается: внушать симпатию, семейство?»

«Да, — сказал я, — мы с вами так выражаемся. Это наш язык».

«Но это язык, на котором давно никто не говорит. Это язык сценны. И действие происходит при царе Горохе. Может, и нас тоже давно уже нет?»

«Вы так думаете?» — сказал я рассеянно. Поперек поляны лежало дерево, я расстелил свою куртку на замшелом стволе. Роня села и раскрыла зонтик.

Вдруг она вскочила, оглядываясь и отряхивая подол.

«Они забрались ко мне под платье! — Она переступала ногами в белых чулках и что-то счищала с внутренней стороны коленок. — Пожалуйста, отвернитесь».

«Пойдемте», — сказал я.

«Нет, по стойте. Посмотрите, как они бегут друг за другом, как они заняты. И так целый день, без передышки... Откуда такая энергия?»

«Ваш дядя...»

«Двоюродный», — поправила она.

«Он из немцев?»

«Он православный».

Мы шли по лесу. Она добавила:

«Он очень хорошего происхождения».

Я вспомнил рассуждения о судьбе России, комментарии Петра Францевича по поводу явления двух нищих и спросил:

«А чем он, собственно, занимается?»

«Он доктор искусствоведческих наук... Но вы мне не ответили».

«Вы тоже не ответили, Роня...»

«Я первая спросила».

«Что вы хотите узнать?»

«Вы приехали сюда, в эту глушь, чтобы?.. Или я вас неправильно поняла».

«Вас это действительно интересует?»

«Интересует».

«Почему мы должны говорить непременно обо мне?»

XIX

На самом деле мне хотелось говорить. Может быть, эта девочка слегка волновала меня, может быть — если уж на то пошло, — во мне проснулся инстинкт охотника, хотя, чего уж там говорить, я принадлежу скорее к породе мужчин, которые предпочитают не охотиться, а чтобы за ними охотились. Но мне не с кем было говорить о предмете, который был моей последней надеждой, от которого зависело теперь все мое существование.

Помышлись, я ответил, что пытаюсь привести в порядок свое прошлое.

Фальшивое слово: получалось, что я человек «с прошлым».

«Видите ли, у каждого человека рано или поздно возникает желание разобраться в своей жизни, подвести итоги, что ли...» — проормотал я.

«Это автобиографический роман?»

«Не совсем. В том-то и дело, что я бы хотел покончить раз навсегда с беллетристикой, с вымышленными героями...»

«Я думала, мемуары пишут в старости!»

«Для мемуаров моя жизнь недостаточно богата внешними событиями. Кроме того, события меня не интересуют. Меня интересует, — сказал я, — логика внутреннего развития».

И уже совсем упавшим голосом, чувствуя, что говорю не то, добавил:

«Знаете, писание вообще очень трудная вещь».

Она шла впереди меня по узкой тропинке, помахивая зонтиком; я услышал ее голос:

«Можно я вам сделаю одно признание?»

«Какое признание?» — спросил я испуганно.

«Я тоже писательница. То есть, конечно, не писательница: я пробую. Хотите, как-нибудь прочту?»

«С удовольствием».

«Это вы говорите из вежливости».

«Разумеется», — сказал я.

«Вот видите, я так и знала».

«Можно быть вежливым и в то же время искренним».

«Да? — спросила она удивленно. — У вас есть странная черта».

Она сидела на корточках, подобрав подол, ее колени, обтянутые белыми чулками, выглядывали из-под платья, жалкие колени школьницы, круглые женские колени, от того, что она опустила на корточки, обрисовались ее полудетские бедра, ее тело понемногу оправлялось от первого шока юности, зонтик валялся рядом.

Она что-то разглядывала на земле.

«Какая черта?»

Она встала.

«Вы не говорите “да” или “нет”. У вас как-то так получается, что и да, и нет».

«Что ж... хм».

«Почему вы так нерешительны?»

«Потому что сама жизнь так устроена. Сама жизнь нерешительна, Роня».

«А по-моему, жизнь требует определенных решений. Во всяком случае, мужчина всегда должен знать, чего он хочет».

«Вы меня не совсем правильно поняли. Конечно, каждому из нас приходится принимать то или другое решение. Хотя, на мой взгляд, это совсем не обязательно. На самом деле никогда не существует одного единственно правильного ответа. Мы живем в мире версий».

«Это для меня слишком сложно».

«Не думаю. Просто вы, как и большинство людей, инстинктивно стараетесь упростить вещи и выбираете из многих версий одну. Это и называется проявить решительность».

«Вы и пишете так же?» — спросила она.

«Как?»

«А вот так: и то, и се, а в результате ни то ни се».

«Если вы имеете в виду мое литературное творчество, то я действительно... сомневаюсь в действительности. Видите, получается дурной каламбур. Я просто хочу сказать, что действительность всегда ненадежна, проблематична: и то, и се, как вы удачно выразились».

«Это все философия. А я говорю о жизни, об этом лесе, о том, что вокруг нас!»

«Я говорю о литературе. Я сомневаюсь, что эту действительность можно описать — во всяком случае, описать однозначно. Это касается самых главных вопросов — как к ним подступиться. Вот в чем дело».

«Что вы называете главными вопросами?»

«Кстати, Роня, — заметил я, поглядывая на верхушки деревьев, — а сколько сейчас времени?»

«Это и есть главный вопрос?» — сказала она, смеясь.

«В некотором смысле да».

«А другие вопросы?»

«Это всегда одни и те же вопросы. Жизнь, смерть. Любовь. Отношения двух людей. Секс».

Она хмыкнула. Я взглянул на нее. Мне показалось, что мы говорим об одном, а думаем о другом — о чем же? Я потерял нить. Почему мы вдруг заговорили об этом?

Последняя фраза была произнесена вслух.

«Вы собирались посвятить меня в тайны творчества...»

«Чепуха, какие там тайны!»

«Нет, все-таки».

«Что — все-таки?»

«Вот вы говорили об игре».

«О какой игре?»

«Не притворяйтесь. Вы прекрасно знаете, что я имею в виду».

«Понятия не имею», — сказал я.

«Перестаньте! Конечно, мы играем. Мы играем самих себя, и в то же время... Например, сейчас мы играем в барышню и кавалера. Конечно, — добавила она, — совсем глупую барышню и солидного, знающего себе цену кавалера».

«Хм, допустим. Что из этого следует?»

«А то следует, что если я барышня и дворянская дочь, то и должна ею оставаться».

Она тряхнула головой, волосы были прекрасные, ничего не скажешь, бегло оглядела свой наряд и подняла на меня глаза, как если бы перед ней стояло зеркало.

«Дворянская дочь, — сказал я. — Вот как? Интересно».

«Да! — отрезала она. — Так что все эти темы, позвольте мне заметить, совершенно не подходят pour une demoiselle de mon âge¹».

Я развел руками, несколько сбитый с толку.

«Скажите... — небрежно проговорила она, назвав меня по имени и отчеству. Разгладила на руках тонкие перчатки, выпрямила едва заметную грудь и раскрыла над головой зонтик. — Я вам нравлюсь?»

«Вы прелестны, Роня».

«Будем считать этот ответ признаком хорошего воспитания. Скажите это по-французски».

Я развел руками.

«Но ведь вы поняли, что я сказала».

Я кивнул.

«Вы, кажется, лишились речи!»

«Я согласен, Роня, — сказал я, — что все, что я старался вам внушить, совершенно не для ваших ушей».

«Но, с другой стороны, вы сами говорите, что все в жизни так быстро и неоднозначно... Относится ли это к любви?»

«Разумеется».

«Не будете ли вы так добры пояснить ваши слова?»

«Охотно, — сказал я, — но лучше останемся в пределах литературы».

«Вы сами себе противоречите. Разве литература и жизнь — это...»

«Далеко не одно и то же. Вы сказали, что мы кавалер и барышня. С барышнями не полагается говорить о жизни».

«Хорошо, будем говорить о литературе. Итак?»

Некоторое время мы шли молча, у меня было чувство, что нечто начавшееся между нами растеклось, ушло в ничего не значащие слова — или они что-то значили?

«Видите ли, — заговорил я, наконец, — в разные эпохи любовь описывалась по-разному. Что касается нашего времени, то приходится констатировать, что описание попросту невозможно! Описывать чувства? Это делалось тысячи раз».

«Но каждый человек открывает любовь заново».

«Может быть. Но слова все те же. И фраза, которую вы только что произнесли, тоже произносилась уже тысячи раз. Может быть, этим и объясняется то, что писатели переступили, так сказать, порог спальни. Хватит, сказали они себе, рассуждать, вернемся к реальности. Только и здесь они ничего нового не открыли».

¹ Для барышни моего возраста (*фр.*).

«Видите, я похвалила вашу воспитанность, а вы снова».

«Что снова?»

«Опять заговорили о том, что не полагается слушать благос-
питанным девицам... Знаете что, — проговорила она, — в другой раз
как-нибудь. А сейчас расстанемся. Неудобно, если нас увидят вдвоем
в лесу».

За деревьями уже виднелась усадьба.

XX

Я потерял счет дням. До сих пор я считал это изобретением бел-
летристов, но это произошло на самом деле. Полдень года длился и
длился, и, право же, не все ли равно, какое сегодня число, какой день
недели? То и дело я забывал рисовать палочки и в конце концов за-
бросил календарь. Я знал, что лето в полном разгаре и еще долго ко-
роткие ночи будут чередоваться с долгими знойными днями. По-
прежнему утром, когда я выходил на крыльцо из прохладных сеней,
сверкало солнце позади моего дома, кособокая тень медленно укора-
чивалась на белой от пыли дороге. Все цвело, млело и увядало под
пылающим небом. Целыми днями я валялся полутолый в огороде,
раздумывая над своим трудом, и вел дневник. Этот дневник, который
всегда лежал под рукой на подстилке, был моим изобретением, если
угодно, это был компромисс: наскучив чертить завитушки, я решил,
что мои сомнения могут быть плодотворны, если доверить их бумаге,
и самый рассказ о том, как я пытаюсь взяться за дело, есть часть моего
дела. Словом, я решил вести дневник своей нерешительности: вместо
того чтобы писать, я писал о том, как я буду писать, или, вернее, о том,
как не следует писать. С замиранием сердца я думал о том, что нашел
выход, ведь главное — не правда ли? — это копить написанные стра-
ницы. Я вспомнил один старый замысел: несколько лет я был увлечен
проектом сочинить некий антироман — книгу о том, как не удается
написать роман. Сюжет есть, все есть, а роман не получается; это и
есть сюжет.

Мне стало легко и весело. Я записал в дневнике, что завтра не бу-
ду делать никаких записей; жуя травинку, с увлечением я писал о том,
что значит в жизни писателя день, проведенный *sine linea*¹. На другой
день рано утром, с ромашкой в зубах, с купальными принадлежностями
под мышкой, я пришел в усадьбу. Экипажи ждали перед домом. В
беседке Петр Францевич, весь в белом, в соломенной шляпе с петуши-
ным пером, сидел над большим цветным планом окрестностей, кото-
рый, замечу попутно, он сам начертил и раскрасил; в центре, подобно

¹ без строчки (*лат.*).

Иерусалиму на старинных картах, находилось поместье. Роня и ее мать уселись в просторной рессорной коляске, я напротив, рядом с могучим Василием Степановичем и спиной к Петру Францевичу, который вызвался править. Позади нас стояла телега с провизией, на передке помещался Аркадий, который по этому случаю облачился в армяк и насадил на голову древнюю фетровую шляпу; Мавра Глебовна сидела между корзинами, мы не разговаривали, здесь действовали другие правила. Что касается хозяина, почтенного Георгия Романовича, то он остался дома для беседы с управляющим (что сие значило, я не стал выяснять) и в данный момент стоял на крыльце веранды, грузный и краснолицый, собираясь махнуть нам рукой на прощание.

Мышастый жеребчик по имени Артюр подрагивал и переступал задними ногами. Дамы раскрыли зонтики. «Ну-с», — бодро произнес наш возница. «Храни вас Бог!» — прокричал с крыльца Георгий Романович.

Мне тотчас представился классический сюжет: хозяин возвращается в дом, где Анюта с занятым видом, опустив глаза, шныряет из комнаты в комнату. Скрипит дверь в кабинете... «Звали?» — «Да вот тут то да се, важную бумагу не могу найти... Да ты подойди поближе. Что так раскраснелась?» — «Бежала шибко». — «Куда же ты торопишься?» — «Дела, барин. Работа ждет». — «Не уйдет твоя работа. Анютушка, побудь со мною». — «Лучше в другой раз». — «Да когда ж в другой раз? Мы с тобой одни». — «Ах, барин, опять вы за свое. Пустите, барин». — «Анютушка... какая ты... — «Да ведь опять забеременею. Мне расхлебывать, не вам».

Коляска катилась по лесу, было все еще рано, птицы переключались, и особенное чувство благодарности за жизнь, за это утро, за то, что мы существуем, охватило всех. Дорога слегка петляла, солнце сверкало в кронах деревьев то слева, то справа от нас. Следом, блудя некоторое расстояние, скрипела телега с прислугой, сидя спиной к вознице, я видел мелькавшую за серо-золотистыми стволами сосен, непрерывно кивающую голову мерина, надвинутую на уши шляпу Аркадия, покачивающееся, освещенное солнцем и как бы лишенное черт лицо Мавры. Мой сосед, полуобернувшись, давал указания Петру Францевичу, высокомерно молчавшему. Василий Степанович заявил, что знает эти места, как свои пять пальцев. Возница всем своим видом показывал, что он здесь тоже не чужой. Деревья расступились, экипажи выехали на открытое пространство.

Василий Степанович показал на низкие сооружения на краю поля и арку с флагами, к ней вела, постепенно расширяясь, грязная дорога.

«Но!» — прокричал Петр Францевич. Артюр нагнал, мы понеслись, подскакивая на рессорах, вдоль лесной опушки.

Мать Рони спросила:

«А где же коровы?»

«Какие коровы?» — спросил Василий Степанович.

«Вы сказали: коровники. Мне кажется, если выстроены коровники, то должны быть и коровы».

«Само собой, — сказал Василий Степанович, — но тут, как бы вам сказать, случай особый. Хотите, расскажу? Я как заведомо обязан присутствовать на сессии».

«Это какая же такая сессия?» — надменно спросил с козел Петр Францевич.

«Будто вы не знаете. Сессия районного совета».

«Угу. И чем же вы там занимаетесь?»

«Чем занимаемся... — сказал, усмехнувшись, Василий Степанович. — Делами занимаемся, вопросы рассматриваем. Сессия, известное дело, сама ничего не решает, решение готовим мы, а ихнее дело проголосовать. Я к чему это рассказываю. Дали слово одной доярке: поделиться передовым опытом».

«Как интересно!» — сказала мать Рони.

«Погодите... Дали, значит, ей слово. Вот она делится. Мы, говорит, тоже решили откликнуться на постановление о крутом подъеме животноводства. На нашей ферме содержится двадцать коров. Но, понимаете, товарищи депутаты, мы столкнулись с таким вопросом, что весна уже проходит, лето на носу, давно пора выгонять скот на пастбища. А он стоит и не может выйти».

«Кто не может?»

«Скот не может выйти. Столько накопилось навоза, да не за одну зиму, что коровы стоят, простите, в дерьме по самое брюхо. Еще немного, и, как говорится, с концами. Вот тебе и передовой опыт».

Коляска катилась вдоль леса, телега тащилась следом. Время от времени нас потряхивало, Роня с полузакрытыми глазами предавалась мечтам, ее мать, поджав губы, молча смотрела перед собой.

«Н-да, — отозвался с козел Петр Францевич, — хороши работнички. Ситуация авгиевых конюшен. Впрочем, решение для такого случая уже давно найдено. Десятый подвиг Геракла».

«Не понял».

«Геракл, чтобы очистить от навоза конюшни, пустил туда воды двух рек».

«Где ж это было?» — спросил Василий Степанович.

«В Греции».

«Ну, может, у них это возможно, а у нас другие условия. Короче говоря, куда денешься? Бросили старые коровники и построили новые. Вот эти самые».

«До следующего раза, стало быть?» — спросил Петр Францевич. Василий Степанович ничего не ответил.

«Да, но где же коровы? Я не вижу коров».

«А хрен их знает!» — мрачно сказал Василий Степанович, и общество погрузилось в молчание. Дорога шла на подъем, опушка леса отодвинулась. Все шире раскрывалась и расступалась перед нами окрестность, поле казалось дном плоской перевернутой чаши, коровники, окруженные черной жижей, и деревянная арка с выцветшими флагами и лозунгом остались внизу, впереди синели леса. И, почти уже нереальные, угадывались за ними другие, дальние и едва различимые лесные просторы. Дамы дремали, повисшая голова Василия Степановича, с открытым ртом, моталась рядом со мной, на козлах величественно-неподвижно возвышалась фигура Петра Францевича с расставленными руками, в которых висели вожжи.

«Где мы, собственно, едем?» — спросила, очнувшись, мать Рони.

Коляска спускалась в лощину среди кустарника, закрывшего малопомалу горизонт и синие дали; конь Артюр, прядая ушами, осторожно ступал по еле видной колее, ветви обшаривали нас в зеленом сумраке, у Петра Францевича чуть не сорвалась с головы соломенная шляпа.

Василий Степанович, знавший окрестности как свои пять пальцев, храпел и раскачивался. Лошадь шла все медленней и наконец остановилась, потеряв дорогу.

«Мы заблудились, Пьер!» — в ужасе прошептала мать Рони.

«Тем лучше, маман, как интересно!»

Василий Степанович открыл глаза, пожевал губами, поинтересовался, где мы. Никто не ответил, он обернулся к вознице. «А это что такое?» — осведомился он, увидев, что Петр Францевич расстелил план на коленях.

«Карта нашего уезда».

«Уезда, хм. Уездов теперь нет, драгоценнейший. И что же вы там нашли?»

«К вашему сведению, — холодно сказал Петр Францевич, — здесь все есть: и ваша деревня, и...»

«Я эти места знаю. Я здесь вырос. Мальчонкой в этой самой речке барахтался. В общем, не надо нам никаких карт, поехали, давай», — промолвил Василий Степанович, переходя на «ты», хотя не совсем ясно было, к кому это «ты» относится.

Артюр выволок нас на лужайку, которая оказалась берегом реки; на той стороне, вдали, виднелись деревенька и обломок церкви. Внизу между ветлами и кустами обнаружилась маленькая песчаная отмель. Несколько времени спустя, скрипя колесами, подъехала телега с Аркашей и Маврой Глебовной.

«Маман!» — послышался голос Рони.

Она стояла у воды, в купальнике, освещенная солнцем. Я вышел в плавках из-за кустов, и мы бросились в воду.

Если точно соблюдать последовательность событий — если называть событиями обыкновенный банальный пикник и обыкновенные разговоры, — то дело было так: подъехали к речке, и я предложил сперва искупаться, а потом уже сесть за трапезу. Предложение было встречено общим согласием, прислуга занялась приготовлениями на лужайке, а мы втроем — я, Петр Францевич и Василий Степанович — отправились вверх по течению реки, предоставив маленький пляж в распоряжение женщин.

Под ветлами, среди ветвей, вибрирующих в темной воде, не было дна, зато на середине реки вода сверкала на солнце, была теплой, под ногами почувствовалось песчаное дно; я потерял из виду моих спутников, вступивших в нескончаемый разговор о проблемах сельского хозяйства; ближе к противоположному берегу течение вновь убыстрялось; выбравшись, я лег на траву. В вышине надо мной плыли рисовые облака, и такие же прозрачные, невесомые мысли струились на дне моих полузакрытых глаз, я думал о том, что в некотором особом состоянии самоотчуждения мы способны следить за нашей мыслью, не принимая в ней участия, я думал, что для того, чтобы наслаждаться жизнью, нужно, в сущности, отстраниться от жизни. Зыбкие воды неслись передо мной — темный, дрожащий и вспыхивающий на солнце поток. «Ку-ку!» — раздался голос рядом, я отвел руку от лица, шурясь от солнечного сияния, и увидел Роню, стоявшую надо мной в полосатом, белом с сиреневым купальнике, увидел ее ноги, слишком длинные оттого, что я смотрел на них снизу, обтянутый купальником лобок и возвышения грудей. Солнце стояло у нее за спиной, лицо казалось темным в окружении пламенеющих волос. Она присела на корточки, держась одной рукой за землю, ее колени блестели.

«Мне кажется, — сказал я, приставив ладонь к глазам, — таких купальных костюмов в то время еще не носили. Поправьте меня, если я ошибся». — «Вы ошиблись, — возразила она, — бикини появились в конце века» — «Но мы должны договориться по крайней мере, — продолжал я, — в каком времени мы живем. Я думаю, они назывались тогда иначе...» — «Разве это так важно?» — «Во всяком случае, — сказал я, смеясь, и положил руку на ее колено, — их должны были носить исключительно смелые девицы». — «Эй, так мы не договаривались. Уберите вашу руку, иначе я потеряю равновесие. У меня и так ноги затекли». — «Тут легко можно задремать, — пробормотал я, — может, и вы мне снитесь, Роня?» — «Может быть». — «Но ведь во сне, не правда ли, все позволено. Во сне все происходит так, как оно происходит, во сне не надо спрашивать разрешения». Она опустила на колени, оперлась ладонями о траву, и еще заметней выступили ее ключицы над крутым вырезом купальника.

Кончиками пальцев она слегка провела по волосам у меня на груди: «Как шерсть». — «Человек произошел от обезьяны. Мужчина, во всяком случае». — «Эх, вы», — сказала она презрительно. «В чем дело, Роня?» — «Почему вы говорите банальности? Почему мы должны вести себя, как самые пошлые... — Она запнулась. — Или вы считаете, что я ничего другого не заслужила?»

Так или примерно так происходили события, если слова считать событиями, что всегда казалось мне противоестественным. Устав сидеть на корточках, она уселась вполоборота, поджав ноги, моя ладонь покоилась на ее бедре, не пытаясь продолжить знакомство с ее телом. Она взглянула на мою руку.

«Я жду», — сказала она.

«Чего вы ждете?»

«Я жду, когда вы извинитесь».

«За что?»

«Вы злоупотребили моим доверием».

«Роня, — проговорил я, — во сне все разрешается».

«И тем не менее».

«Успокойтесь... Мы не выходим за рамки».

«За рамки чего?»

«Времени, разумеется».

Я перевернулся на живот, подпер голову ладонями. Роня тоже изменила позу, вытянула ноги и оперлась о землю рукой, такой слабой и тонкой, что, казалось, она вот-вот переломится в локте.

«Вы мне все-таки так и не объяснили...»

«Что не объяснил?»

«Давеча, когда мы гуляли в лесу».

«Я же вам сказал».

Имели ли мы в виду одно и то же? Что вообще имелось в виду? Наступило молчание, ни малейшей охоты о чем-либо рассказывать у меня, разумеется, не было, но опять же — я не мог подавить соблазн слегка порисоваться перед барышней, подразнить слегка ее любопытство. Я был искренен с Роней; моя искренность была наигранной. За кого она меня принимала? Мое замешательство подстрекало ее воображение.

«Кто я такой, гм... Пожалуй, вы примете то, что я скажу, за желание покрасоваться или заинтриговать вас, но, уверяю вас, ничего подобного... — проговорил я лениво. — Я вообще совсем не то, чем я вам, по-видимому, представляюсь, я даже не то, чем я кажусь самому себе. Я, знаете ли, вообще не я, а он!»

«Как это?»

«А вот так. Он приехал в деревню, он поселился в заколоченной избе. Он взшел на крыльцо... Понимаете: не я, а он».

Я взглянул на Роню, или Рогнеду, или как там ее звали, и мои глаза словно под действием силы тяжести соскользнули на ее шею, ключицы, живот. Она выдержала этот невольный осмотр.

«Хорошо, — сказал я, — только это сутобо между нами. Поклонитесь, что никому не скажете. Нагнитесь, я вам скажу на ухо...»

«Зачем же на ухо? Здесь никого нет».

Она наклонилась ко мне, я мгновенно перевернулся на спину, обхватил ее за шею, так что она чуть не повалилась на меня, и что же мне еще оставалось делать? Я поцеловал Роню.

Клянусь, при всей неожиданности этого происшествия она его ждала.

«Mais... vous êtes impossible¹, — пробормотала она, — там, наверное, жаждались...»

Я сидел, обхватив колени руками; ну вот, подумал я ни с того ни с сего, эксперимент удался. О чувствах не могло быть и речи. Мне показалось, что она ответила еле заметным движением губ на мой поцелуй, словно полусознательно хотела подогреть желание, словно чувствовала, что температура падает. Все шло как по-писанному. Если бы я взялся сочинять подобную сцену, мне не осталось бы ничего другого, как придумать то же самое, те же реплики; мне стало ясно, что «эксперимент» состоял именно в том, чтобы убедиться в рутинности наших слов и, увы, наших побуждений.

Согласно правилам я должен был выступить в роли совратителя. От меня ждали поступков — иначе говоря, от меня ждали слов. В духе того времени, которое цепко держало нас, из которого — вот смех — мы не могли выбраться, от меня ждали признаний, которым не следовало доверять, уверений в том, что я ни на что не надеюсь. «Ни на что» должно было означать, что именно на «это» я и надеюсь. Моя любовь нуждалась в риторике, как тело требует одежды, чтобы подчеркнуть свою соблазнительность.

Отшатнувшись — или сделав вид, что отшатнулась, — она медлила: этого требовал сценарий. Она ждала слов. Чего доброго, она ждала клятв. Если же я молчу, значит, что-то должна произнести она: например, что вопреки тому, что «случилось», она продолжает считать меня честным человеком. И тут, я думаю, она почувствовала, что я не то чтобы не владею искусством любовного красноречия, но принадлежу времени, когда красноречие лишилось смысла. Все слетело с нас обоих — игра, и правила, и французские фразы, осталась девочка в смятении от того, что ее впервые поцеловали, и скучающий гражданин без определенных намерений и определенных занятий.

¹ вы невозможны (фр.).

«Но вы так и не ответили», — пролепетала она. Вскочив, она побежала к реке, с плеском, с шумом бросилась в воду и поплыла к тому берегу.

XXII

Любовь — словечко подвернулось само собой... Зачем она мне? Я удрал из города не для того, чтобы предаваться на лоне природы новым утехам, в конце концов для постельных надобностей у меня была женщина — к чему искать других приключений? Как выражались в старину, я «похоронил себя» в деревне. Я сошел с поезда жизни на глухом полустанке; быть может — кто знает? — это была конечная остановка.

Тут мне, разумеется, возразят: выключиться из жизни — как это можно себе представить в нашем государстве? Жизнь тащила всех, хочешь не хочешь, как вода несет щепки. Разобраться в себе, искать смысл и оправдание своей жизни? Смешно... Это крысиное существование, безостановочное перебирание лапками в толпе себе подобных, сопение и попискивание, толкотня на улицах, теснота магазинов, теснота подземных переходов, вагонов метро, бюрократических коридоров, общественных сортиров, вечная спешка, вечная борьба за местечко — все это попросту перечеркивает всякое вопрошание о смысле жизни.

Какой там смысл... Привычка к стадному существованию не располагает к рефлексии. Я убежден, что патриархальное общество облегчило переход к крысиному обществу. К поднадзорному обществу, к обществу, над которым — над этими толпами, над плоскими крышами городов, над теснотой коммунальных квартир, над каждой супружеской кроватью и каждой колыбелью — стояло мертвое светило, огромный мутный зрак государства.

Но, слава Богу, я разделался со всем этим. Или почти разделался. Спасся — или почти спасся — от этого существования, от паутины человеческих взаимоотношений, от чувства, что постоянно задеваешь кого-то и трешься об кого-то, спасся от этой чудовищной тесноты! Я обрел счастье быть самим собой, другими словами — счастье быть никем. Так и надо было ответить Роне: я — никто. Моя третья жена, Ксения, закатали мне сцену, после которой мы больше не виделись. Замечательно, что это не была сцена ревности, для чего, честно говоря, нашлись бы основания; ничего подобного. Я отвлекаюсь, но раз уж вспомнил, надо договорить.

Ее упреки сводились к тому, что я ничего не хочу делать, ни о чем не забочусь — словом, представляю собой, как она выразилась, законченный тип туineaдца. Замечу, что, если бы я что-то «делал», например, продолжал свою литературную деятельность, я еще более заслуживал бы этого определения. Но, хотя главным пунктом обвинения было то,

что я равнодушен к окружающим (то есть к ней), верно было и то, что все последние годы я жил, в сущности, на ее заработки. Было вполне логично требовать от меня компенсации, то есть любви во всех смыслах этого слова, включая физический. Но довольно об этом.

Когда следом за Роней, помедлив ради приличия, я поднялся на берег, на лужайке была уже расстелена скатерть, Мавра Глебовна, в кружевной наkolке и белом переднике, инспектировала корзину с провиантом. Я старался не встречаться с ней глазами, но она и не смотрела в мою сторону, опустив глаза, расставляла на скатерти все необходимое. Аркадий распряг лошадь; я заметил, что у него была припасена бутылка, тем не менее барон Петр Францевич дал знак Мавре Глебовне, она приблизилась с маленьким подносом и серебряной чаркой, Петр Францевич налил полную чарку из барского графинчика, и Мавра Глебовна поднесла ее Аркаше. Тот вскочил, утер губы и, держа чарку перед собой, истово перекрестился и поклонился господам; Петр Францевич благосклонно кивнул. Эта маленькая пантомима развлекала нас.

Мавре Глебовне было наказано следить за Аркадием, после чего прислуга расположилась в сторонке. Василий Степанович разлил мужчинам водку, вино дамам, молча поднял рюмку, мать и дочь усердно крестились, глядя на дальнюю церковку, некоторое подобие крестного знамения ленивой ладонью сотворил и Петр Францевич; Василий Степанович вздохнул, насушился, поставил рюмку и, в свою очередь, решительно перекрестился. Петр Францевич несколько иронически, как мне показалось, покосился на него. Храня молчание, как положено, мы опрокинули свои рюмки, дамы пригубили из бокалов.

«Вот народ, — сказал Василий Степанович, жуя бутерброд с краковской колбасой, — нет, чтобы клуб устроить или какое-нибудь полезное помещение».

Петр Францевич солидно намазывал масло на ломтик белого хлеба, подцепил вилкой сыр. «Рогнеда, — промолвил он, — передай, милочка, маслины...»

Некоторое время помалкивали, ели.

«Вы имеете в виду вон ту церковь?» — осведомился Петр Францевич.

«Ну да. Ободрали все что можно, набросали мусора, нагадили — и бросили».

«При чем же тут народ? — заметила мать Рони. — Народ не виноват».

«А кто ж, по-вашему?» — спросил Василий Степанович и разлил по второй.

«Рогнеда, передай, пожалуйста, семгу...»

«Хороша наливочка, крепенькая! Небось наша, местная...»

«Сморозинная», — сказала мать Рони.

Чтобы не показаться невежливым, я произнес какую-то глупость — что, дескать, разрушенная церковь тоже своего рода символ.

Петр Францевич моментально уцепился за это слово:

«Символ чего?»

«Символ исчезновения Бога».

«Вы хотите сказать, — прищурившись, с рюмкой в руке, молвил Петр Францевич, — вы хотите сказать: Бог умер?»

«Нет, — возразил я, — эти времена уже давно прошли. Когда жил Ницше, Бог был еще где-то рядом. Как покойник, который лежит в открытом гробу, в окружении близких. Бог умер — представляете себе, что это означало? Это означало, что и мы все умрем, и вся наша мораль ничего не стоит, и все напрасно, вся суета ни к чему».

«Но вы говорите, что это время прошло».

«Прошло. А следовательно, прошли и все сожаления. Смерть Бога была сенсацией, теперь она уже никого не интересует. На месте Бога осталась пустота, сперва она всех пугала, а потом привыкли, оградку вокруг построили и кланяются этой пустоте. Не умершему божеству молятся, а тому, что осталось на его месте: пустоте».

Петр Францевич молчал, все еще держа перед собой полную рюмку, ноздри его раздувались.

«Милостивый государь, — проговорил он, — мне кажется...»

«Вы просто клевете на наш народ», — сказала мать Рони.

«Ладно, умер, не умер, — сказал, держа в одной руке рюмку с темно-розовой наливкой, а в другой — золотистую глыбу пирога с капустой, Василий Степанович. — Как говорится, не пора ли! Предлагаю выпить за здоровье нашей многоуважаемой...»

Все обрадовались этой реплике, а мать Рони промолвила, кисло улыбаясь:

«Наконец-то в этом обществе нашелся хотя бы один учтивый человек».

Пир продолжался; Мавра Глебовна, последовав приглашению барыни, скромно сидела рядом с захмелевшим Василием Степановичем; разделенные сословной преградой, мы по-прежнему избегали смотреть друг на друга. Несколько времени спустя она отвела мужа в тень, он спал, накрыв лицо носовым платком. Аркадий храпел в кустах, а конь Артюр, прыгая спутанными передними ногами, скукал на лугу.

Женщины удалились. Петр Францевич неподвижно сидел в надвинутой на глаза соломенной шляпе. Он поднял голову и спросил:

«Не хотите ли... э?...»

XXIII

«Не угодно ли вам пройти?» — змеиным голосом сказал доктор искусствоведческих наук.

Я встал. Петр Францевич быстро шел, внимательно глядя себе под ноги. Миновали перелесок. Петр Францевич остановился.

«Милостивый государь, — начал он, — я полагаю, вы догадываетесь, с какой целью я пригласил вас, э... прогуляться».

«Догадываюсь, — сказал я. — Вы хотели изложить мне вашу концепцию монархического строя в нашей стране».

Мы стояли друг против друга.

«Вы, однако ж, юморист. — Он обвел взором верхушки деревьев и прибавил: — Монархия погубила Россию. Но я не думаю, чтобы эта тема вас особенно занимала...»

«Нет, отчего же».

«Монархия погубила Россию, не удивляйтесь, что слышите это из уст дворянина... Могу вам даже назвать точную дату, исторический момент, начиная с которого все стало шататься и сыпаться. Революция, которой вы придаете такое большое значение, лишь завершила этот процесс».

«Значит, революция все-таки была?»

«Конечно, была. Почему вы спрашиваете?»

«Мне казалось, вы о ней забыли... Так какой же это момент?»

Петр Францевич поглядывал на меня, почти не скрывая своего презрения.

«Знаете что, — промолвил он, — я все время задаю себе вопрос: кто вы такой?»

Я ответил:

«Представьте себе, и я задаю себе тот же вопрос. Но еще больше меня интересует, кто такой вы!»

«Вот как? И... какой же вы нашли ответ?»

«Но я хотел бы услышать сначала ваш ответ. Уверены ли вы, что можете сказать, кто вы?»

«Полагаю, что да», — сказал он твердо. По узкой тропинке мы двинулись дальше, он шел впереди.

«Если я не ошибаюсь...»

«Вы не ошиблись», — сказал он.

«Но вы же не знаете, что я хочу сказать».

«Это не важно. Я все ваши мысли прекрасно понимаю, а вы, как я догадываюсь, понимаете мои».

«Так как же насчет монархии?»

«Монархии? — спросил Петр Францевич. — Странно, что вас это интересует. Но я уже вам сказал. Я имею в виду не этого, не последнего Николая, которого теперь собираются объявить святым. На самом деле это был не государь, а фантом. Пустое место».

«Мне странно это слышать от вас, Петр Францевич».

«Разумеется... Впрочем, виноват не он, все равно уже ничего нельзя было изменить. Виновник, если хотите знать, первый Николай, который замыслил поставить во главе государства бюрократическую верхушку. Оттеснить родовую аристократию, заменить словесное общество чиновным. Что ему и удалось. И вот результат: страна плебеев. Общество, где естественное деление на сословия заменено искусственными этажами: наверху полуграмотные чиновники, внизу былое. И где, конечно, простой народ, за отсутствием внутренних регулирующих и сдерживающих начал, бессознательно тоскует по строгому укладу. В этом все дело, милостивый государь! Лошадь тоже скушает по оглоблям».

«Вы хотите сказать, что дворянство не оставило наследника?»

«Вот именно. Не оставило. На Западе были буржуа. А мы не Запад. Откуда же им взяться, этим сдерживающим началам? От религии ничего не осталось, церковь пресмыкается перед властью, превратилась в Ваньку-встаньку, в марионетку тайной полиции. Народ... Извольте сами видеть. Или люмпены, как наш Аркадий, или хамы наподобие милейшего Василия Степаныча. Вот что значит остаться без аристократии».

«Простите, а вам не кажется, что...»

Он резко обернулся ко мне.

«Нет, не кажется. И вообще, я думаю, вы понимаете, что я вас позвал не ради удовольствия вести с вами ученый спор».

«Такая мысль приходила мне в голову».

«Тем лучше. Итак!» — сказал искусствовед, подняв брови.

«Если не ошибаюсь, вы хотите поговорить со мной о Роне...»

«Вы догадливы».

«Вы стояли в кустах. Я случайно вас заметил».

«Случайно, вот именно. Надеюсь, вы не думаете, что я имею привычку подглядывать и подслушивать?»

«Нет, не думаю».

«Но речь идет не обо мне».

«Я вас слушаю», — сказал я, грызя травинку.

«Нет, это я вас слушаю!»

Я пожал плечами.

«Милостивый государь, — сказал Петр Францевич. — Мы одни, позвольте мне быть откровенным. Я нахожу ваше поведение невозможным! Или вы объяснитесь, или...»

«Или что?» — спросил я.

Глубокий вздох.

«Перестаньте притворяться. Вы, вероятно, знаете, а если не знаете, то я должен поставить вас в известность... Я имею в отношении Рогнеды Георгиевны самые серьезные намерения».

«Ага. И что же?»

«И я не допущу, чтобы честь девушки, доброе имя семьи потерпели ущерб только из-за того, что какому-то заезжему авантюристу вздумалось... Да, вздумалось!..»

Я был в восхищении от моего собеседника.

«Петр Францевич, — сказал я, — вы оценили мое чувство юмора, я отдаю должное вашему остроумию. Предмет, мне кажется, не заслуживает того, чтобы...»

«Ага! — крикнул он, задыхаясь, — не заслуживает! По-вашему, предмет, как вы изволили выразиться, не заслуживает...»

«Того, чтобы поргить себе нервы. Давайте лучше поговорим о...»

«Не спрашиваю вас, что вы подразумевали под этим словом “предмет”. Комментировать ваше замечание насчет нервов тоже не намерен. К делу: вы не хотите объяснить мотивы вашего поведения?»

«Какого поведения, Петр Францевич, что я такого сделал?»

«Вы не хотели бы извиниться?»

«Не понимаю, за что и перед кем я должен извиняться».

«Прекрасно, — сказал он. — Вы обо мне еще услышите».

Женский голос раздался в лесу: нас звали.

«Убедительная просьба, — пробормотал Петр Францевич, — этот разговор должен остаться между нами».

Я кивнул; мы разошлись в разные стороны.

Вопреки уверениям Василия Степановича дорога, по которой он предложил возвращаться домой, оказалась много длинней; ехали уже целый час, а лесу все не было конца; солнце село, между черными деревьями разгоралось серебряное небо. Птицы понемногу умолкли, и наступила глубокая тишина; слышался мерный шаг лошади, поскрипывали колеса. Правил Аркадий. За коляской постукивал второй экипаж с Маврой и искусствоведам, пожелавшим ехать в телеге. Лес расступился, над черным полем раскрылось безлунное и беззвездное небо, лишь кое-где в темно-голубой бездне мерцали серебряные огоньки. Лошадь, кивая большой головой, равномерно работая крупом, шагала среди трав.

Молча, очарованные и подавленные огромным, как мир, пустым небом, влачились мы вдоль опушки, коляска остановилась. «Но!» — сказал возничий. Лошадь стояла. Аркадий щелкал язычком, похлопывал вожжами по крупу лошади. Сзади подъехала и стала вторая повозка. Что-то как будто показалось вдалеке посреди поля. Лошадь заржала. И в ответ оттуда раздалось слабое, тонкое ржание. Тут только разглядели

мы, что все поле заросло густой и высокой, чуть ли не в пояс травой. Метрах в ста от нас, среди черных трав, не то приближаясь, не то стоя на одном месте, два коня танцевали, высоко поднимая тонкие ноги, два всадника в круглых шапках, в плащах и смутно мерцающих железных рубахах, с незрячими лицами, подняв копыта, плечом к плечу проплыли в высоких седлах, и на копытах колыхались флажки.

Понадобились бы, как я полагаю, специальные объяснения, чтобы ответить, почему братья, убитые, как считается, в южных землях, весьма далеко отсюда, явились в наших местах; одно из этих предположений основано на известной гипотезе отраженного образа, другое исходит из того, что видения, как и редкие виды животных и птиц, ищут убежища в заброшенных уголках природы. Впрочем, к чему объяснять? Постепенно лесная заросль по левую руку от нас отступила, дорога шла все ниже, клубился туман.

Понурая лошадь брела по невидимой колее, седок опустил голову, равнина напоминала океан, в котором сгинули все голоса, исчезли ориентиры.

XXIV

Несколько дней прошло в неопределенных мечтаниях, в утренней лени, задумчивом перелистывании заметок, планов, соображений. Замысел зажил понемногу своей жизнью и шевелился в ворохе бумаг, как рыба, которая запуталась в прибрежных зарослях, но теперь он представлялся мне средством, а не целью. Как никогда прежде, я чувствовал коварное очарование моего ремесла, которое притворяется чем угодно, на самом же деле существует ради самого себя; я капитулировал, я понимал, что поработен литературой и останусь ее рабом, даже если не напишу больше ни строчки.

Персонаж, рисовавшийся в моем воображении, — кто он был? Я узнавал в нем самого себя, но этот субъект хотел жить собственной жизнью, дышать и двигаться в особой среде; хуже того, он запрещал мне жить моей жизнью, в среде, которая называется действительностью. Он попросту отрицал за ней право считаться действительностью. Да, я удалился от мира, чтобы разобраться наконец в своей жизни. Между тем жизнь имела смысл лишь в той мере, в какой она могла служить навозом для литературы. Жизнь — в который раз приходится сознаться в этом, — жизнь сама по себе меня ничуть не интересовала. Словно окруженный воздушным пузырем, я бродил по ее дну, я разговаривал с односельчанами, с дачниками, или кто они там были, чьи голоса глухо звучали в моих ушах, и у меня не было ни малейшей охоты описывать этих людей, превращать кого бы то ни было в марионеток моей литературы. Но из них, как из прошлогодней листвы, гниющих корней и упав-

ших растений, должно было вырасти причудливое древо моего воображения. Я размышлял на эти темы, рисовал завитушки, кое-что записывал, когда очередное происшествие вернуло меня к реальности. В избу постучались.

Явился Аркаша. Я замахал руками, и он исчез. Минуты через две стук повторился. Аркадий вторгся вопреки запрету тревожить меня во время работы. Он стоял на пороге с видом совершенного идиота, между тем как хозяин, то есть я, отвечал ему тупым взглядом, ибо все еще находился в состоянии самогипноза; перо повисло в моей руке.

«Пошел вон, — пробормотал я, — что это еще за новости?..»

Подмигнув, он ответил:

«Спокуха». Что примерно означало: успокойся.

Аркаша полез в подкладку, извлек помятый конверт и помахал им в воздухе, как бы желая сказать: попляши.

«Что такое?» — проворчал я. Он махал письмом.

Я сунул ему рубль и вернулся к столу, разглядывая герб и адрес; впрочем, адреса не было, наклонным почерком, размашистой рукой было начертано три слова: мое имя. Вестник стоял под окном.

В чем дело, спросил я.

«Велели без ответа не возвращаться», — отвечал он с улицы.

«Кто велел?»

Он многозначительно крикнул и побрел прочь.

Я вскрыл письмо кухонным ножом, там был сложенный вдвое листок, украшенный той же геральдической эмблемой.

Собственно, я уже более или менее понимал, в чем было дело, лишь дата в правом верхнем углу повергла меня в задумчивость. Возможно, я все еще не выбрался из наркотических грез. Времяисчисление не то чтобы застопорилось, но попросту выветрилось из моего мозга, во всяком случае, я никак не представлял себе, что день и месяц, о котором меня уведомляла изящно-размашистая рука, есть именно тот день и месяц, который у нас на дворе сегодня, и что дата может вообще иметь какое-либо значение.

Наконец, там был проставлен год, а это уже совершенно меняет дело — я бы сказал, переводит на другой уровень смысл даты: ибо если дни и месяцы периодически возвращаются — сколько их уже было с тех пор, как восемнадцатилетняя хозяйка впервые переступила этот порог, сколько раз вздувалась река, и луга покрывались травами, и к потолку подвешивали новую люльку, — если дни повторяются, то годы приходят только один раз, годы выпрямляют круг времени в стрелу, летящую вперед, и событие, помеченное полной датой, становится историческим фактом, единственным и неповторимым.

«Милостивый государь... — писал доктор искусствоведения Петр Францевич, называя меня по имени и отчеству. — Полагая, что Вы дога-

двываетесь, какого рода обстоятельства побудили меня писать к Вам, не смею отнимать Ваше время подробным изложением причин, вынудивших меня встать на защиту чести и достоинства известной Вам особы, слишком неопытной, чтобы своевременно распознать в Вас человека, злоупотребившего оказанным ему гостеприимством. До определенного времени я не вмешивался в происходящее, довольствуясь ролью стороннего наблюдателя и рассчитывая — как выяснилось, тщетно — на Ваше благоразумие, тем не менее всякая снисходительность имеет свои пределы. Тень, брошенная на репутацию молодой девушки Вашим, м. г., поведением, — которое я предпочитаю называть неосторожным, чтобы не квалифицировать его как злонамеренное, — доброе имя семьи, наконец, приличия — все это настоятельно требует моего вмешательства. Я направляю к Вам моего человека за невозможностью подыскать в здешней глуши более подходящего секунданта и рассчитываю на Ваш незамедлительный ответ. Примите, и проч.»

XXV

Путешественник рассмеялся. Это было все равно, что после сложной и мучительно-тревожной музыки услышать оперетку. Это было приятное отвлечение от постылой необходимости напрягать мозг, выдавливая фразу за фразой, от каторжного писательства. С удивительной легкостью, схватив перо, он отписал барону Петру Францевичу о своей готовности выйти на поле чести. Выбрать место встречи, оружие и условия поединка он предоставил противнику как обиженной стороне. Что же касается секунданта, гм... Если уж сам Петр Францевич не погнушался Аркадием, то почему бы не воспользоваться и другой стороне его услугами? Путешественник растолкал Аркашу, спавшего на куче тряпья, и вручил ему письмо. Несколько времени спустя, зевая, и содрогаясь, и почесывая укромные уголки тела, секундант выбрался из своей халупы. Ответ из усадьбы не заставил себя долго ждать.

Исключения, как известно, подтверждают правило; неизбежные в данных условиях отступления от обычаев были тщательно оговорены Петром Францевичем; на его компетентность рассчитывал приезжий, который имел о дуэлях литературное, то есть весьма поверхностное представление. Искусствовед уклонился от обсуждения скользкого вопроса, могут ли обе стороны довольствоваться одним секундантом, к тому же лицом низкого звания. Это значило, что Петр Францевич согласен. Он лишь уточнил, что ввиду вышеуказанных обстоятельств секундант освобождается от обязанности, возлагаемой на него дуэльным кодексом, попытаться в последний момент, не нанося урон интересам чести, помирить противников. Равным образом отпадали право и обязанность доверенного лица добиваться

по возможности менее жестоких условий поединка. Что касается подробностей, то составление правил боя — за неграмотностью секунданта — взял на себя сам Петр Францевич.

Но прежде чем перейти к этой части дуэльного протокола, следовало договориться о враче. Петр Францевич полагал желательным и даже необходимым обойтись без медика. Он полагал, что установление факта смерти не требует специальных знаний. В случае же кончины обоих участников вопрос решается сам собой. Присутствие врача (которого пришлось бы для этой цели приглашать из райцентра) могло повлечь за собой неприятности для всех, кто имел отношение к делу. Со своей стороны Петр Францевич изъявил готовность сделать все от него зависящее, чтобы оказать помощь своему оскорбителю в случае, если тот будет тяжело ранен и не сможет продолжать поединок.

И, наконец, условия. Тут Петр Францевич, пожелавший избрать в качестве оружия пистолеты, проявил особую неукоснительность и принципиальность; разница между правильной и неправильной дуэлью была для него никак не меньше, чем разница между дуэлью и убийством. Дуэль есть мероприятие по восстановлению поруганной чести или, как в настоящем случае, защите чести третьего лица. О том, что подразумевается под словом «честь», каковы критерии ее поругания, Петр Францевич предпочел не распространяться, полагая эти вещи общеизвестными. Точно так же он обошел молчанием вопрос о сословной чести и ее отличиях от чести несословной. Было бы в высшей степени нетактично осведомиться впрямую, дворянин ли его оскорбитель, — не говоря уже о том, что плебейское происхождение противника в случае, если бы таковое обнаружилось, лишило бы Петра Францевича возможности вести себя, как подобает аристократу в сношениях с равными себе. Впрочем, так же, как на пожарище бесполезно искать спичку, от которой загорелся дом, было бы нелепо ставить дуэльную процедуру в зависимость от причины и повода: дуэль сама по себе, независимо от повода, была испытанием чести; дуэль подчинялась собственным законам; подобно сценарию, дуэль предписывала участникам их роли.

Итак, противники становятся на расстоянии двадцати шагов и по знаку, который подаст обиженный, идут, держа наготове оружие, навстречу друг другу до минимальной дистанции в десять шагов, обозначенной барьером, — например, брошенными на землю плащами. Решается стрелять в любое время после подачи сигнала, однако выстреливший первым должен тотчас же остановиться. Если он не попал в противника либо ранил его, но так, что тот может, в свою очередь, выстрелить, этот последний вправе приблизиться к барьеру и, спокойно целясь, расстрелять своего врага. Дуэль возобновляется в случае безре-

зультатности и должна быть продолжена до тех пор, пока один из партнеров не будет убит или по крайней мере ранен столь тяжело, что не сможет сделать ответный выстрел.

XXVI

Я велел Аркадию немедленно возвратиться и передать Петру Францевичу, что буду на месте в назначенный час. Стемнело; я расхаживал по скрипучим половицам, приятно возбужденный, думая о том, что следовало бы привести в порядок мои дела, — впрочем, какие у меня дела? — написать два-три письма на случай... на случай чего?

Несмотря на поздний час, спать мне не хотелось. А надо бы выспаться, как говорит Печорин: чтобы завтра рука не дрожала. Было ясно, что барон шутит. Было ясно, что он не шутит. Тут, я думаю, все соединилось: прошлое и настоящее, и желание утереть нос воображаемому сопернику, и желание отомстить гнусному времени. Дон Кихот не шутил, когда облачился в заржавленные доспехи; но каким оскорблением, еще одной обидой было бы для Петра Францевича это сравнение! Станным образом я испытывал к нему симпатию; в его амбиции было что-то почти трогательное.

Словом, что оставалось делать? Я ходил взад и вперед по комнате, от печки к столу и обратно, перо и бумага вновь призывали меня. Прощальное письмо есть литературный жанр и в качестве такового требует от автора найти необходимое равновесие между новизной и условностью; новизна заключалась уже в том, что на рассвете я буду, по всей вероятности, убит на дуэли, тогда как традиция презирала всякие новшества; традиция запрещала уделять этому весьма возможному факту слишком много внимания; традиция предписывала сдержанность, здравый смысл, сухую красоту слога. Услышав тихий стук в окошко, я вышел в сени. Роня, в легком платьице, закутанная в темный платок, озираясь, стояла на крыльце. Признаюсь, я был весьма удивлен. Я даже был ошарашен. Мы вошли в избу, она подбежала к столу, прикрутила фитиль керосиновой лампы.

Я успокоил ее, сказав, что никто нас не увидит: деревня почти необитаема.

«Да, да, знаю, — пробормотала она. — Сразу передадут маме, дяде... Послушайте, я ужасно испугалась».

Оказалось, что она встретила Аркашку возле своего дома и подлец показал ей мое письмо.

«Ну и что?» — сказал я спокойно, стараясь припомнить, что же конкретно сообщалось в моем письме, кроме того, что я согласен и явлюсь вовремя.

Она возразила:

«Вы думаете, я не догадалась? Дядя устроил нам вчера сцену».

«Кому это — нам?»

«Мне и маме. Он говорил, что проучит вас. Послушайте, ведь он шутит, да? Скажите: он шутит?»»

В полутьме блесстел циферблат ходиков, блестели ее глаза, дом населили наши тени, кивавшие нам с потолка бесформенными головами, не мы, а тени жили своей независимой жизнью и заставляли нас подчиняться их воле, как огромные темные фигуры кукловодов управляют куклами, держа невидимые нити. Я охотно ответил бы Роне: разве тебе не ясно, что все это игра? Но что-то останавливало меня, игры, которым предавались они там, в усадьбе, грозили превратиться в действительность, Дон Кихот не шутил. И я чувствовал, что сюжет начинает развиваться сам собой. Я предложил ей сесть. Тень Рони заставила Роню опуститься на табуретку.

«Видишь ли, здесь это, может быть, и шутка, — проговорил я, невольно переходя на «ты». Она приняла это как должное. — Здесь это выглядит как шутка. Но там, за рекой... Ты говоришь, он устроил вам сцену. А, собственно, за что он собирается меня проучить?»

Она подняла на меня глаза.

«Как за что?.. Неужели вам непонятно?»

И умолкла, но кукловод-тень потихоньку натягивал нитку.

«Умоляю вас, откажитесь, ведь вы, наверное, даже не умеете стрелять. Сознаться, наверное, ни разу не держали в руках оружие».

Отчего же, возразил я, держал.

«Вы?»

Мне пришлось ей ответить, что я стрелял когда-то на военных сборах; правда, ни разу не попал.

«Вот видите. А дядя Петя — настоящий стрелок. Он ходит на охоту. Он вас убьет!»

Я объяснил, что правила чести не разрешают мне уклониться от боя; разумеется, я не стану целиться в Петра Францевича, но, если бы я ответил на его вызов отказом, это было бы новой обидой. Да и сам я не простил бы себе трусости.

«Трусости? — вскричала она. — Какая же это трусость? Да ведь дуэль — это... Подумайте: в наше время!..»

«Ага, — я усмехнулся, — а как же правила игры?»

«Это уже не игра!»

«Может быть. Но, знаешь ли, назвался груздем, полезай в кузов. В крайнем случае можно извиниться перед тем как... В конце концов, эта ссора — чистое недоразумение».

«Недоразумение? — проговорила она с какой-то даже ноткой разочарования. — А я думала...»

«Что ты думала?»

«Вы правы. Конечно, недоразумение».

Мы молчали, я предложил проводить ее до дому.

Она рассеянно кивнула, но тут же поправилась:

«Нет, ни в коем случае. Нас не должны видеть. Лучше я одна... Тут все друг за другом следят, это только кажется, что никого нет... Тут живут старухи, которых никто не видит, они вылезают по ночам, когда нет луны, и бродят вокруг... Мертвые старухи, которых некому было похоронить, вот они и сидят в своих развалюхах. А ночью вылезают. Я уверена, что кто-нибудь стоит под окном... Ну и пусть стоит!» Она умолкла, смотрела на чахлый огонек в стекле, и тени над нами застыли в ожидании.

«Роня, о чем ты думаешь?»

«О чем я еще могу думать... Эта дуэль ни в коем случае не должна состояться. Если вы ничего не предпримете, я сама приму меры. Вы меня не знаете. Я способна на решительные поступки».

Она нахмурилась, глядя в одну точку, как школьница, которая решает сложную арифметическую задачу.

«Вот что: я остаюсь у вас».

«У меня, здесь?»

«Я вас не стесню, я лягу на полу».

«Не в этом дело, Роня...»

«Могу даже вовсе не ложиться. Но когда он узнает, что я провела у вас ночь, он подумает, что я стала вашей женой, и уже ничего не поделаешь!»

Насвистывая, я прошелся по комнате и сел на порог. Она рассеянно поглядывала на мои бумаги. Очевидно, ждала ответа. Вдруг ни с того ни с сего на стене пошли ходики, а может быть, я до этого не обращал внимания на их стук. Я взглянул на циферблат: минутная стрелка не спеша вращалась по кругу. Моя гостья в некотором ошеломлении взирала на сумасшедшие часы.

Я потер лоб.

«Роня, ты в самом деле готова стать, как ты сейчас выразилась... моей женой?»

«Представьте себе, не готова. Вы разочарованы?»

Она смотрела на часы. Стрелка остановилась.

«Ты меня совершенно не знаешь, — сказал я. — Ты не знаешь моих обстоятельств...»

Она передернула своими узкими плечами: дескать, какое это имеет значение? Очевидно, сказала она иронически, я хочу ей сообщить, что я женат. Печально, но это не важно. Теперь уже ничего не важно.

«Я хочу вас спасти. Поймите вы! Он вас убьет! Подстрелит, как рябчика, и глазом не моргнет».

«А как же следствие и все такое?»

«А что ему следствие? Он живет в другом веке».

«Ну что ж, — сказал я смеясь, — в таком случае и я для него неуязвим. Ты думаешь, что наш век лучше?»

Чувствуя, что я по-прежнему подчиняюсь какому-то этикету, я заговорил о том, что, с одной стороны, польщен ее вниманием, но, с другой стороны, даже если бы между нами произошло что-нибудь такое...

«Вы хотите сказать, — перебила она, — если бы мы переспали!»

«Странно слышать эти слова из твоих уст, Роня», — заметил я.

«Что же тут странного, ведь мы не за рекой. Слушайте, мне все это надоело».

«Что надоело?»

«Да все это... А кондом вы приготовили?»

«Что?»

«Кондом».

«Зачем?»

«Чтобы не дать шансов СПИДу», — объявила она с торжеством.

«Но я здоров, уверяю тебя», — пролепетал я.

«По статистике, три процента здоровых — носители вируса».

«Три процента. Вот это здорово. М-да... Так вот, я хотел сказать... — Я прочистил горло. — Я хотел сказать, что ты меня совершенно не знаешь. У меня нет никакого положения в обществе».

Какое общество? — подумал я. Между тем большая стрелка часов снова двинулась: чудеса с механизмом. Я попытался ее унять, это удалось мне не сразу; я стал тянуть по очереди за обе гирьки, словно доил аппарат, но время иссякло; наконец стрелка вздрогнула и двинулась снова, только в обратную сторону. «Дай-ка мне... — пробормотал я, — что за чертовщина...» Роня подала мне со стола лист бумаги, я скрутил его жгутом, подпихнул под стрелку. Под обе стрелки. Часы реагировали на это громким возмущением: они стали куковать. Часы прокуковали неизвестно сколько раз.

«Начать с того, что у меня нет никакой профессии. Это во-первых. А кроме того, у меня, в сущности, нет пристанища. Не знаю, говорил ли я вам... тебе. Моя бывшая жена выгнала меня из комнаты. Я поселился временно у брата, перетащил туда свои книги. Но, сама понимаешь, сколько можно? Он ютится с семьей в двухкомнатной квартирке, приходится ночевать на кухне».

Она кивала, но, кажется, была погружена в свои мысли.

«До осени я пробуду здесь, а там надо будет что-то придумать. Как-то решать. Но дело не в этом. Дело в том, что я... видишь ли. Я не только жилплощадь потерял. Жилплощадь — хрен с ней. Я себя потерял. Нет, это тоже не то. Уж очень литературно звучит, проклятье какое-то...»

Теперь она пристально смотрела на меня. Казалось, она силилась что-то прочесть на моем лице. Не знаю, слушала ли она меня.

«Я потерял самого себя. Ядро моей личности растрескалось. Раньше я жил в городе, сейчас здесь, утром встаю, одеваюсь, что-то там перекусываю, хожу на речку. Что-то такое пытаюсь писать. Но во всем этом меня самого нет. Я как будто куда-то делся. Осталась моя оболочка, и остался некий воспринимающий механизм, который все это регистрирует...»

«При моем положении, — продолжал я, — все это может показаться просто блажью, ведь мне надо думать совсем о другом: где жить, как дальше существовать? Писатель, х-ха! Какой я писатель? Писатель — это тот, у кого нет никаких забот! А я... И вообще, не находишь ли ты, что наша жизнь, на этом берегу, так сказать... наша гнусная жизнь просто-напросто отменила все эти вопросы о смысле жизни и так далее, так же, как она отменила страсть, гордость, романтику, таинственность женщины, отвагу мужчины. Какая там романтика, какая там страсть, когда здесь — заколоченные избы, развалившиеся сараи, поля, заросшие бурьяном, а там — одна только мысль о жилье и прописке, рысканье по магазинам, толкотня в очередях, в автобусах... Когда в каждом подъезде тебя встречают пьяные рожки... Собственно, я не об этом, что об этом говорить; страну не переделаешь. — Я потерял лоб. — Короче говоря, я сбежал. Я думал, что можно эмигрировать из жизни в литературу».

«Все мы эмигранты...» — проговорила она.

«Вот именно: лишь бы прочь, подальше от этой жизни. Твои родители эмигрировали в девятнадцатый век... Только ведь вот в чем смех: мы там кое-что забыли».

«Где — там?»

«В этой самой жизни. От которой мы сбежали. В этой мерзкой, гнусной, но, к сожалению, настоящей действительности... Мы оставили там самих себя! Ты сама говорила, что в нашем с тобой знакомстве есть что-то неестественное, тургеневское. Он ведь тоже сбежал из России... Ты говорила об игре... может, я и вправду немного кокетничал в лесу, когда мы с тобой гуляли, но уж тогда скорее перед самим собой. Перед тем, кого нет... В общем, что я хочу сказать? Я живу, я думаю, я мечусь взад-вперед по этой избе, вот пробовал привести в порядок свое прошлое, вернее, не столько пробовал, сколько придумывал разные проекты... Успел даже, как видишь, исписать ворох бумаги. Моя мысль работает, мозг функционирует, выдает нечто хаотически-непрерывное, но в том-то и смех, и ужас, что в этой плазме сознания отсутствует полюс, к которому устремлялись бы все потоки. Видишь ли, Роня, в человеческом сознании должен существовать некоторый абсолютный полюс, не важно, как он называется...»

Я потерял нить мысли. Только что я говорил с увлечением, мне казалось, что я не высказал и десятой части того, что должен был сказать, и вдруг умолк, и оба мы почувствовали глубокую тишину ночи, слабый огонек освещал наши лица, в полумраке едва были различимы стены избы, и мое ложе, и темные, как сургуч, иконы, и стропила с крюками; я сидел напротив моей гостьи, она покосилась на мою руку, выбивавшую дробь по столу, я подумал, что это ее раздражает; наконец она проговорила: «Поздно уже... сколько сейчас?.. Что же делать, Господи, надо же что-то делать!»

XXVII

Она нехотя поднялась, обвела глазами мое жилье.

«Это все досталось вам от бывших хозяев? Кто тут жил?»

«По-видимому, семья была раскулачена. Всех вывезли. Хотя все-таки жизнь продолжалась, чья, не знаю. Здесь висели люльки».

«Здесь кто-то повесился», — сказала она.

Помолчали. Она спросила:

«У вас дети есть?»

Я пожал плечами.

«Вы не ответили».

«Мужчина никогда не может быть уверен, Роня».

«Умоляю, не изображайте из себя пошляка. Вам это не идет...»

Мы вышли на крыльцо, луна пряталась за домом. Мы шли по дымному полю, Роня впереди, я за ней.

«Хотите, — слышался ее голос, — я вам открою один секрет?»

Мы вышли к реке, нужно было пройти еще довольно далеко до мостика.

Подул ветерок, она сошла, белая платьем, к воде.

Я предложил вернуться: собирается дождь.

Она не ответила.

«Роня», — сказал я.

«В чем дело?»

Я повторил, что нам лучше переждать дождь у меня дома, а потом уже...

Она перебила меня:

«Послушайте, может, искупаемся?»

«Что за идея?»

«Ну, как хотите...» Последние слова она произнесла, уже входя в воду, вскрикивая вполголоса, балансируя руками, у нее были слабые плечи, резко обозначилась ложбинка между лопатками, круглый зад казался хрупким, она довольно неловко плюхнулась в черно-

маслянистую воду, поплыла, течение сносило ее. Она что-то кричала, и мне показалось, что она захлебывается. Я бросился к ней, мы барахтались друг возле друга, Роней овладело необыкновенное веселье, стоя по грудь в воде, она окатывала меня брызгами, затем все смолкло, она вышла из воды и стояла, закинув голову и встряхивая волосами. Я приблизился и обнял ее. «Нет, — простонала она, — вот это уж нет...» — и попыталась меня оттолкнуть. «Почему нет, Роня?» — «Не хочу». Эта игра продолжалась некоторое время. «Ну, в чем дело, одевайтесь, — бормотала она, — это невозможно, здесь холодно... Сами говорите, сейчас пойдет дождь». Вдруг зашумел сильный ветер, я подстелил ей одежду, мы сидели друг против друга, тени ее глаз, тени ключичных впадин, глубокая тень, скрывавшая низ живота, — она вся состояла из теней.

Я набросил ей на плечи мою рубашку. Платок остался в избе. «Спасибо... — пробормотала она, кутаясь, пряча грудь и стуча зубами, — другой бы на вашем месте...» — «Что на моем месте?» — «Изнасиловал». — «Я еще могу наверстать», — пошутил я. Она сидела, подогнув колени, опустив голову, осматривала себя.

Она озиралась.

«Тс-с... слышите? Там кто-то есть. Говорю вам, там кто-то есть! За нами следят, я так и знала... Это та старуха. Она шла за нами».

Ветер снова пронесся над кустами, луны уже не было видно, и стало совсем темно. Вдали за рекой, над едва различимой лесной чащей, брезжил серебристый край неба. Мы встали, я растирал Роню моей одеждой, она терла мою кожу, мы дрожали от холода. Не сговариваясь, мы поднялись вверх, выбрались из кустарника и побрели назад через огородное поле.

«Скажите...»

Мы говорили вполголоса, она называла меня по имени и отчеству.

«Оставим это, Роня. Зови меня просто...»

И будем на ты, хотел я добавить, но чувствовал, что это «ты» разрушило бы наши с таким трудом установившиеся отношения. Это «ты» воздвигло бы между нами новое препятствие вместо того, чтобы еще больше сблизить нас. Оно означало бы, что мы стали друзьями. А мне — теперь это было совершенно ясно, — мне хотелось другого.

Она пробормотала:

«Мне надо привыкнуть».

Друг за другом мы пробирались по невидимой тропе. Я напомнил ей о том, что она хотела мне открыть секрет.

«Какой секрет? А-а. Лучше после... когда придем. Скажите, — спросила она, — вы верите в привидения?»

«Нет».

«Но ведь их все видели. И вы тоже. Разве вы не видели? Я сначала подумала, что это снимают какой-нибудь фильм».

«Если видели все, значит, это не привидение».

«Почему?»

«Привидения — дело сугубо индивидуальное. Тень Банко является только одному Макбету».

«Кто же это был?»

«Это были князья Борис и Глеб, сыновья Владимира. Святые братья, препоясанные милостью и венчанные смыслом».

Она чувствует себя виноватой передо мной, думал я, если бы я был виноват перед нею, она бы молчала. Она думает о том же самом, поэтому говорит о посторонних вещах и делает вид, что забыла о том, что было на берегу и что мои руки касались ее тела. Она делает вид, что не догадывается, зачем мы возвращаемся ко мне домой, но на самом деле думает об этом и говорит о постороннем.

«Что это значит — препоясанные милостью?»

«Так говорится в летописи. Или в житии, не помню».

«Откуда они взяли?»

«Оттуда же, откуда являются все привидения».

«Значит, это все-таки привидения?»

Помолчав, она спросила, откуда я знаю, что это они.

Я ответил, что есть известные иконы. Одна висит у меня, разве она не заметила?

«Но в жизни они, наверное, выглядели иначе».

«Нет, они выглядели именно так. Иконы сделали их такими. А как они до этого выглядели, не имеет значения».

«Не имеет значения. Что же тогда имеет значение?»

То, что мы идем ко мне домой, хотел я сказать. Потому что дома это произойдет так же неизбежно, как то, что сейчас пойдет дождь, потому что решение принято.

«А вдруг мы их снова встретим?»

«Они в деревню не заезжают, Роня».

«А если встретим? Что тогда?»

«Ничего, поздороваемся и пойдем дальше».

«А они потом разнесут по всей округе, — нервно хихикнула она, — что я была у вас ночью».

«Не разнесут, Роня. Святые молчат». Несколько минут спустя мы бежали сломя голову, вокруг падали свинцовые капли, мы едва успели нырнуть в сени — дождь обрушился на мертвую деревню. Во тьме, шумно дыща, нашарив дверь, мы ввалились в избу.

XXVIII

Я топтался посреди комнаты, моя гостья полулежала на постели, свесив ногу на пол, короткое платье, успевшее только слегка намочнуть, обрисовало ее бедра.

«Ну что, — проговорила она, отдышавшись, — будем чай пить?»

Я молчал и думал о том, что я сейчас подойду и переложу ее свешившуюся ногу на кровать. Подойду и сяду рядом.

«Будем чай пить», — сказал я.

«Эх, вы!»

«Что — я?»

«Эх, вы, — повторила она почти со злобой. — И вы все еще не понимаете?»

«Не понимаю».

«Вам надо было взять меня. А вы трусились».

«Еще ничего не потеряно, — глупо усмехаясь, проговорил я. — Мы можем наверстать».

«Нет уж, поздно. Надо было тогда. Взять вот так, за руки... и прижать к земле. А если б я заорала, все равно никто бы не услышал. Вы все ждали разрешения... Вы трус. Разве кто-нибудь спрашивает разрешения?»

«Но... это не трусость, Роня», — сказал я, вероятно, с каким-то жалким выражением на лице.

«Да, да. Вы не решились воспользоваться моей неопытностью — вы это хотите сказать? Вы, наверное, думаете, что... А вот, кстати, один вопрос, — сказала она, садясь. — Как вы смотрите на такую вещь, как девственность?»

«Представь себе, с почтением».

«Приятно слышать. Вы просто до ужаса вежливы. Так вот. Вы, наверное, думаете, что я не далась вам оттого, что я девица. Ошибаетесь. Оттого и не далась, что не девица».

Вот так здорово! Все мои мысли разлетелись по сторонам. Как-никак это было для меня небезразлично — как и для всякого мужчины. Мне вдруг показалось, что она смеялась надо мной; что на самом деле она гораздо старше; что меня вообще непрерывно водят за нос... Молчание. Наконец я произнес:

«Это и есть твой секрет?»

Ответа не последовало. Открыв рот, она уставилась на меня. «Дядя Петя... — проговорила она. — Господи, у меня совершенно вылетело из головы!»

Я вынужден был признаться, что и я позабыл о дуэли.

«Сколько сейчас времени?»

«Не знаю».

«Когда мы вышли, на этих часах было...»

«Не обращай внимания. Они испорчены. Ты хотела что-то сказать».

«Да, хотела сказать. А может, не говорить? Вы бы не догадались, правда?.. Так вот, сударь, это он. Он меня — как это называется? — сделал женщиной».

«Гм. Вот как?»

«Вот вы говорили: игра...»

«Это не я, это ты говорила».

«Хорошо. По условиям игры, я должна быть барышней. Белое платье, зонтик, все такое. Книжка в руке... И, понимаете, получается так, что эта история, то есть то, что между нами произошло, я имею в виду дядю Петю... это тоже традиционный сюжет!»

«Почему традиционный?»

«Ну как?.. Солидный господин с душистыми усами совратил гимназистку. Вы Бунина читали?»

«Читал. Так что же именно произошло?»

Она разгладила платье на коленях и приготовилась к рассказу. Дело было уже довольно давно. Они ходили по музеям, на выставки. Почти каждое воскресенье что-нибудь такое. Он даже водил Роню по запасникам; он там свой человек; одним словом, руководил ее образованием...

Дождь журчал под окнами, ночной ветер набросился на ветхий дом, хлопнуло в отдалении, ветер трепал крышу, лепесток огня дрожал в стекле керосиновой лампы.

Она понятия ни о чем не имела. То есть, конечно, знала, но что значит знала? У нее даже еще не началось; по ее словам, она считалась отстающей в развитии.

Однажды он устроил экскурсию в Архангельское, специально для их класса, водил всех по парку, объяснял, рассказывал; после все ели мороженое.

Он продолжал говорить, теперь уже о себе, они медленно шли следом за всеми, к воротам, отстали. Получилось само собой или он все рассчитал, неизвестно, бывают такие обстоятельства, когда люди ведут себя, как лунатики: «Вам как писателю это, наверное, лучше знать». Роня утверждала, что она ни о чем не догадывалась, вернее, догадывалась, но ждала, что будет дальше. Они оказались в другой стороне огромного парка.

Нас, наверное, ждут, сказала она Петру Францевичу. Он ответил, да, конечно, я думаю, нам надо повернуть влево, нет, лучше направо. И дал ей платок, вытереть липкие пальцы. И они сели на скамейку. Кругом ни души.

Я слушал Роню внимательно и спросил: сколько ей было лет?

Конечно, она уже не была такой дурочкой, сказала она, кое-что знала. Девочки всегда все знают. Но что значит — знала? Это было невероятно, это происходило с ней самой, ей говорили о любви, и кто же? — взрослый мужчина, друг семьи, красиво одетый, от него пахло духами «Осенний ландыш».

«Ландыши бывают весной».

«Да? — возразила она. — А вот это был осенний».

Так вот.

И этот человек, дядя Петя, шепотом и, очевидно, в сильном волнении говорил ей невозможные слова, она сидела, опустив голову, на коленях у взрослого человека и вытирала пальцы, липкие от мороженого. «И знаете, — добавила она, — вам покажется странным, но меня это просто поразило, я увидела, что он плачет!»

Тут были разные подробности, о которых она лучше не будет говорить, получилось так, что они оказались лицом к лицу, и она чуть было не рассмеялась, взрослый мужчина — и плачет, — и стала вытирать ему щеки платком, он потерял голову, она потеряла голову, и, в общем, это произошло.

«Угу. Ты сопротивлялась?»

Да, то есть нет. Она словно окаменела. Ее поразили факт.

«Факт?»

Да, факт. А что же экскурсия, куда делись все остальные? Остальные ждали у входа, Петр Францевич объяснил, что они заблудились, что-то придумал; она не помнит...

Дождь утих.

«Вот. Теперь вы знаете».

«Послушай, Роня, — сказал я после паузы. — Когда мы с тобой встретились в лесу, ты мне говорила...»

«Что говорила?»

«Что ты пробуешь себя в литературе».

«Правда? Не помню», — сказала она надменно.

«Да, ты именно употребила это выражение. Так вот я должен сказать, что нахожу у тебя недоожинные литературные способности!»

«При чем тут способности?»

Я развел руками.

«Вы что, мне не верите? — вскричала она. — Не верите, что все так и было?»

«Одно нехорошо, — сказал я, — ты оклеветала ни в чем не повинного Петра Францевича. Зачем?»

Насупясь, с обиженным видом она смотрела на меня, пока легкая судорога не пробежала по ее телу, и мы оба расхохотались.

XXIX

Тут я должен заметить, что ее вопрос, как ни смешно, заставил меня задуматься. Как я отношусь к девственности? Термин, можно сказать, почти вышедший из употребления. С почтением, сказал я. Можно было бы ответить: с умилением. А может быть, и со страхом. Почему со страхом? Почему не только девственница со страхом оберегает себя, но и всякий, кто к ней приближается, испытывает страх? Меня не интересовало, зачем она это придумала, всю эту историю с поездкой в Архангельское; может быть, барон действительно водил ее по музеям, вполне возможно, что и экскурсия была на самом деле; собственно, так и сочиняются истории; и, само собой, Роня знала, что «друг семьи» оттого и друг, что равнодушен к ней; может быть, даже имело место объяснение, где-нибудь в пустынной аллее. Помнится, когда мы с бароном в лесу удалились для приватной беседы, он упомянул о серьезных намерениях; видимо, и родители знали, что он собирается жениться на Роне, и одобряли этот проект. А она? Меня и это не особенно занимало, мой летучий роман с девочкой из усадьбы был игрой, правда, чуть было не зашедшей слишком далеко.

Меня не интересовало, зачем она придумала историю с соблазнением, мало ли какая фантазия может прийти в голову семнадцатилетней девиче; и, пожалуй, слишком уж банальной была эта фантазия; но меня занимал вопрос о девственности, о том, что оставалось вечно живым мифом, невзирая на все революции, перемены моды и так далее, да, живым, и не только здесь, в полумертвой деревне, но и во всему на свете равнодушном большом городе. Как тысячу лет назад, миф был окружен колючей проволокой двойного страха, миф рождал двойную ассоциацию с военной атакой и преступлением. Девственность была подобна башне, дворцу или крепости, которую брали штурмом, и победителя ждала слава; девственность была заветной шкатулкой, которую взламывали тайком и озираясь, и грабитель заслуживал наказания. Очевидно, что нападение могло быть успешным лишь при условии внезапности; фантазия Рони опровергала версию о внезапности. Насилие предполагало полную неподготовленность, искреннее неведение жертвы; но в фантазиях Рони оно уже было, так сказать, запрограммировано, и существовали кандидаты, их было два: один — Петр Францевич, другой, по-видимому, я. Насилие справедливо рассматривалось как надругательство — и в то же время как нечто такое, без чего девственность была лишена смысла и со временем должна была превратиться в позор. Выходило, что девственность опровергала свой собственный миф; значит ли это, что миф девственности был от начала до конца изобретением мужчин?

Если это так, думал я, то девственность — в самом деле миф и ничего более; если это так, то она должна заключать в себе и действительно заключает для нашего брата всю тайну и таинственность женщины, предстает, как уединенный скит, как сомкнутые врата, за которыми пребывает нечто не имеющее имени, некая священная пустота; девственность должна быть обещанием, которое никогда не будет выполнено, должна повергать в трепет, должна пугать и притягивать, — между тем как носительница этой тревоги и тайны, какая-нибудь круглолицая, толстозадая и глупая, как все они, дочь Евы либо вовсе не подозревает об этом, либо соглашается признать ее в качестве некоторой окруженной почетом условности, как носят нагрудный знак, который сам по себе не заслуга, а лишь символизирует заслугу, быть может, мнимую. Я не мог согласиться с таким ответом.

Я не мог представить себе девственность каким-то театром. Не то чтобы я так уж цеплялся за традиционную мораль; и я, конечно, знал, как часто женщина только тогда и расцветает, когда сброшено это бремя, как если бы целомудрие было врагом женственности в прямом физиологическом смысле. Но то, что девственность, это спящее чудовище, в самом деле мстило всякому, кто осмелился его потревожить, — с этим чувством, или, вернее, предчувствием, я ничего не мог поделать: оно не было ни изобретением мужчин, ни фантазией женщин, оно существовало само по себе и владело мною, и это, собственно, и был единственный ответ, который я мог дать Роне.

XXX

Две тени шевелились на потолке, двойной человек сидел за столом на табуретке и делал бумажные кораблики. Две флотилии выстроились друг перед другом, потонувшие корабли падали со стола, отличившиеся в бою получали награды: красные звезды на бортах и синие полосы на трубах.

Интересно, подумал жилец, у меня ведь цветных карандашей нет, значит, принесли с собой.

Вслух он сказал:

«Между прочим, мы тоже так играли в детстве. Но это мои рукописи, зачем вы портите мои рукописи?»

Человек повернул к нему одну голову, вторая была занята рисованием.

«Ах вот как, — сказал он небрежно, — а я и не обратил внимания».

Вторая голова проговорила:

«Тут темно».

«Вы умеете говорить раздельно?» — спросил путешественник. Тут только он заметил, что стекло снято, колпачок горелки отвинчен, на столе мерцал полуживой огонек.

«Мы тоже сидели с копилками. Приходилось экономить керосин. Это было во время войны. Я делал уроки, писал дневник. Все при копилке!»

«Мало ли что! — возразил двуглавый человек. — Керосин и сейчас дефицитен».

«Да у меня целая бутылка стоит в сених».

«Ай-яй, какая неосторожность! Вы игнорируете правила пожарной безопасности».

«Теперь я вижу, что вы можете говорить в унисон», — заметил приезжий.

«Долго не могу, — сказал человек, — не хватает дыхания. А что это за дневник? Вы упомянули о дневнике».

«Обыкновенный дневник подростка. Даже, я бы сказал, не без литературных амбиций».

«Он сохранился?»

«Нет, конечно. Я его уничтожил. Это было позже».

«Послушайте, — сказал человек, орудуя ножницами, — тут у вас что-то не сходится. Даты не сходятся. Вы говорите, во время войны, делал уроки... Выходит, вы уже ходили в школу. Но ведь вы еще не старый человек. А война была давно».

«Да как вам сказать — не так уж давно. Я прекрасно помню это время. Сводки, песни... Могу, если хотите, кое-что исполнить. Я все военные песни знаю наизусть».

Постоялец свесил голые ноги с кровати и затянул вполголоса: «На заре, девчата, проводите комсомольский боевой отряд. Вы о нас, девчата, не грустите, мы с победой придем назад. Мы разведем вражеские ту-у-чи...»

«Любопытно. Очень даже странно. Впервые слышим. — Обе головы переглянулись. — Ты слышал? Я не слышал. Мы не слышали. Ладно, оставим эту тему. — Человек повернулся к приезжему и закинул ногу в сапоге за другую ногу. — Так что же это все-таки был за дневник? Вы уже тогда были, э, писателем?»

«И-и-и врагу от смерти неминуемой, от своей могилы не уйти!» — пел, раскачиваясь на постели, приезжий.

«У вас прекрасная память, но, к сожалению, ни малейшего слуха!»

«А мне нравится, — сказала вторая голова. — Валяй дальше».

«Ты, Семенов, не встревай».

«Что же, мне свое мнение нельзя высказать?»

«Помолчи, говорю. Когда надо, тебя спросят».

Голова обиделась и стала смотреть в сторону. Человек обратился к хозяину избы:

«Почему вы его уничтожили? Там было что-нибудь о нашем строе? Антисоветчина небось?»

«Да что вы! — испугался приезжий. — Не было там никакой антисоветчины».

«А что же там было?»

«Да ничего».

«Интимные дела? Порнография?»

«Я боялся, — сказал жилец, — что его найдут родители. Я порвал его в уборной, все тетрадки одну за другой, их было десять или двенадцать. В мелкие клочки. В уборной».

«Тэ-эк-с, — медленно проговорил человек о двух головах, отшвырнул ножницы и вышел из-за стола, загородив свет коптилки. — Значит, говоришь, в клочки. Вот мы и добрались наконец до главного. Теперь поговорим серьезно. Что там было? Выкладывай все начистоту».

«Что выкладывать?» — спросил приезжий. Он сидел, съезжившись, на своем ложе, двуглавый навис над ним.

«Я жду. Мы ждем».

«Там было... — пролепетал писатель. — Я не помню».

«А ты постарайся. Напряги память».

«Но я забыл!»

«А мы не торопимся», — сказал человек ласково.

«Малоинтересные вещи. Всякая ерунда, чисто личного характера...»

«Вот видишь. Кое-что уже вспомнил. Рисунок?»

«Какие рисунки?»

«Рисунки, говорю, были?»

Приезжий кивнул.

«Ага, — сказали головы, потирая руки, — порнографические рисунки. Рассказывай, чего уж там!»

«Играй, играй, рассказывай, — запела голова по фамилии Семенов, — тальяночка сама, о том, как черногла-а-зая с ума свела! Видишь, и мы кое-что помним».

Человек подсел к приезжему на кровать, путешественник подвинулся, чтобы дать ему место. Путешественник обвел глазами избу, черные стропила и железные крюки.

«Значит, опять будем в молчанку играть. Не хотелось бы прибегать к крайним мерам. Не хотелось бы!»

«Что вам от меня надо? — лепетал приезжий. — Я уже сказал: не помню. Я даже не уверен, был ли этот дневник на самом деле».

«Отказываться от показаний не советую».

Писатель молчал.

Лейтенант сделал знак помощнику, другая голова отделилась и вышла, ступая сапогами по бумажным кораблям.

«Значит, говоришь, не было дневника, ай-яй. Вот мы сейчас посмотрим, был или не был. Семенов, ты где там?»

Семенов, с сержантскими лычками на погонах, наклонив голову, переступил порог, огонек коптилки вздрогнул, помощник положил на стол кипу школьных тетрадей, перевязанную бечевкой.

«Нет, — сказал приезжий, — это не я, это не мои...»

Сержант стал развязывать бечевку. Узел. Он схватил со стола ножницы.

«Не надо! Не режьте! — закричал постоялец. — Веревка пригодится! Я сам все расскажу! Я все подпишу, не надо! Боже, если бы я знал... Если бы я только знал... Но откуда вы взяли?.. Почему порнография? При чем тут порнография? Ведь вы даже не читали! И что вы всё твердите: дневник, дневник... Какой это дневник, это литература... А у литературы свои законы. Своя специфика... Это не я! Нельзя смешивать автора с его персонажами... Одно дело — автор, а другое — действующие лица... И к тому же, можете сами убедиться — это не мой почерк. Вы мне подсунули... Я не пишу в таких тетрадках...»

«А чей же это почерк? Ты что дурочку-то строишь? — сказал лейтенант. — Кому шарики крутишь? Сволочь хитрожолая, ты кого обмануть хочешь?! Поди погляди, — отнесся он к другой голове, — что там за шум...»

Помощник вышел в сени и вернулся.

«Это делегация», — сказал он.

«Мешают работать! — зарычал лейтенант. — Кому еще я там понадобился? Скажи, я занят».

«Они не к вам. Они к нему», — сказал помощник. В сенях уже слышался топот. Ночной лейтенант поднял голову, приезжий тоже с любопытством взглянул на дверь. Заметался огонек коптилки, появилось несколько человек солидного вида, в седых усах, длинных черных сюртуках или, вернее, демисезонных пальто. Они вошли, наклоня головы, один за другим в низкую дверь, выстроились у печки и вдоль стены с ходиками, после чего первый, расстегнув пальто, из-под которого выглянул фрак, и сняв с коротко стриженной седой головы блестящий цилиндр, выступил вперед, отвесил присутствующим поклон и осведомился: здесь ли проживает писатель?

«Это я», — сказал растерянно путешественник.

«Нобелевский комитет уполномочил меня и моих коллег известить вас о том, что вам присуждена премия Альфреда Нобеля за этот год».

«Мне?» — спросил приезжий.

«Вам. Нобелевский комитет просил меня от имени своих членов, а также его величества короля передать вам поздравление с наградой, к которому я и мы все, не правда ли... — глава делегации обернулся к остальным, — охотно присоединяемся!»

«Вот видите, — сказал жилец ночному лейтенанту, — я же говорил, что это литература».

Лейтенант прокашлялся.

«Семенов, — сказал он помощнику, — ты лучше выйди, займись там... Нечего тебе тут торчать...»

«Мы, как бы это сказать... — продолжал он. — Тут, очевидно, произошло небольшое недоразумение».

«Нedorазумение, — проворчал писатель, — ничего себе недоразумение!»

«Мы проверим, виновные будут наказаны по всей строгости закона. Ошибки бывают, кто же спорит? На ошибках учимся».

Тем временем импозантный господин, глава делегации, вполголо-са переговаривался с коллегами. Из щегольского портфеля была извлечена папка с тисненой эмблемой и грифом. Уполномоченный комитета почтительно протянул раскрытую папку писателю.

«Это предварительно. Диплом будет вам вручен во время церемонии...»

Лейтенант, вытянув шею, заглянул через плечо приезжего.

«Красиво, — проговорил он. — Умеют, черти... Мы присоединим этот документ к делу».

«Но я же вам сказал!» — захныкал писатель.

«Ничего не могу поделать. Инструкция есть инструкция, закон есть закон».

«Какой закон! Разве это закон?»

«Для кого как. Вот так! — отрезал ночной лейтенант и сделал знак помощнику, который стоял по стойке «смирно» у порога. — Товарищи, — обратился лейтенант к делегатам, — господа... Попрошу освободить помещение».

XXXI

Шлепая по дощатому полу босыми ногами, приезжий подбежал к окошку. За окном было густо-синее небо. Тень от избы тянулась через дорогу к пустырю. Тень накрыла коляску, лошадь и сидящую на козлах фигуру секунданта. Приезжий плюхнулся на сиденье. Он спросил: «Куда едем?» — «Куда велено», — был ответ. Возница посвистывал, подрагивал вожжами, экипаж летел вперед, и рессоры мягко подбрасывали сонного седока. Солнце начало припекать. Подъехали к мосту, лошадь поволокла коляску по шатким бревнышкам, вот и река осталась позади,

дорога шла в гору. «Аркаша, как бы не опоздать», — сказал озабоченно путешественник. Аркаша не удостоил его ответом, привстал, испустил разбойничий возглас и хлестнул Артюра; повозка вылетела на равнину, позади столбом стояла пыль. Несколько времени спустя под колесами захрустели сухие ветки, седок открыл глаза. Лошадь брела шагом по лесной дороге. Открылась поляна. Некто в цилиндре, погруженный в раздумье, сидел на поваленном дереве.

Петр Францевич встал, и противники обменялись приветствиями; писатель объяснил, старательно подбирая слова, что хотя правило, по которому опоздание может рассматриваться как знак неуважения, ему хорошо известно, но это произошло против его воли, так что он просит его извинить. Барон отвечал снисходительно-небрежным кивком, был брошен жребий, приезжий получил необходимые инструкции, в частности, его просили обратить внимание на шнеллер, так как это приспособление действует моментально при ничтожном движении пальца, предпочтительней целиться, не держа палец на спусковом крючке. В заключение, щелкнув курком, Петр Францевич оставил его на предохранительном взводе и показал, как переводить курок на боевой взвод. Приезжий занял указанное ему место. На другом краю поляны стоял, держа пистолет стволом кверху, в траурном сюртуке и цилиндре, доктор искусствования Петр Францевич.

«Что ж, начнем», — промолвил Петр Францевич, вытянул руку с пистолетом перед собой и бодро двинулся навстречу врагу. Путешественник последовал его примеру. Они подошли, каждый со своей стороны, к барьеру. Путешественник поглядел на свое оружие, потом взглянул на небо, точно искал там цель, и поднял пистолет дулом кверху.

«Позвольте напомнить! — вскричал Петр Францевич. — Выстреливший в воздух рассматривается как уклонившийся от боя. Если вы посмеете заведомо стрелять мимо, я тоже буду вынужден выстрелить мимо, а я не позволю кому бы то ни было решать за меня, как мне следует себя вести. Извольте встать как полагается и прицелиться... Да цельтесь же вы, черт бы вас побрал!»

Писатель разглядывал свой пистолет с таким видом, словно старался понять принцип действия механизма и забыл все наставления. Искусствовед снял цилиндр и утирал пот.

«Пошел вон! — сказал он в сердцах подвернувшемуся Аркадию. — Садись в коляску... можешь не смотреть. Итак, дуэль начинается снова — или вы навсегда заслуживаете репутацию труса».

«Если не ошибаюсь, вы послали меня к черту, — заметил приезжий, — так что мы квиты...»

«Что?! — возопил Петр Францевич. — Милостивый государь!»
Аркаша стегнул коня и скрылся в чаще.

Дуэлянты вновь побрели каждый к своему месту, путешественник приосанился, подражая Петру Францевичу, стал боком, левую руку упер в бедро, правой выставил пистолет и, не меняя позы, плечом вперед, с некоторым неудобством переставляя ноги и глядя искоса на противника, двинулся ему навстречу; тот медлил, несколько мгновений стоял, опустив пистолет, затем поднял руку с пистолетом и тоже пошел вперед. Путешественник старательно целился и думал только о том, чтобы не коснуться прежде времени спускового крючка. Пистолет был довольно тяжелый, и рука начала затекать, он подпер ее левой рукой, невольно повернувшись грудью к противнику; в этой не вполне эстетичной позе, держа в правой руке оружие, а другой рукой поддерживая ее ниже локтя, он продолжал движение неверным шагом, путаясь в густой траве, и ему казалось, что искусствовед находится все еще далеко. Между тем Петр Францевич уже стоял перед барьером, очевидно, ждал, когда путешественник приблизится к своему барьеру. Прекрасно, подумал приезжий, и ускорил шаг; он рассчитывал в следующее мгновение сделать выстрел, но споткнулся; и в эту самую минуту, решив, как видно, воспользоваться тем, что противник подставил грудь, и не дожидаясь, когда писатель дойдет до пиджака на траве, обозначавшего барьер, а может быть, сдали нервы, — в эту минуту Петр Францевич выстрелил.

Петр Францевич посмотрел на пиджак писателя и с горечью подумал, что вынужден был снизойти до недостойного противника; эти люди никогда не поймут смысл и значение дуэли, не поймут, что в поединке нельзя пренебречь ни одной буквой этикета, ибо в вопросах чести не может быть незначительных мелочей. Мещанский пиджак на траве принадлежал пошлому миру; надо было послать этому субъекту что-нибудь поприличней или хотя бы оговорить в условиях, что дуэлянт является к месту встречи одетым как подобает: что-нибудь вроде «форма одежды летняя, парадная», как пишут в военных приказах; а впрочем, ведь это само собой разумеется. Петр Францевич смотрел сквозь тающий дым на пиджак и распростертого на нем путешественника, который не подавал признаков жизни, хотя и успел, падая, сделать свой выстрел.

Оба выстрела прогремели почти одновременно. Писатель, сбитый с ног коротким, как ему показалось, ударом, успел подумать о том, что следовало бы побережь пулю: ничего страшного, сейчас он встанет, — и уж тогда поглядим, кто кого; посмотрим, как этот хлыщ будет вести себя под прицелом. Он даже представил себе, как он посмеется над бароном, будет долго целиться, а потом отшвырнет пистолет и зашагает прочь. Вместо этого, сам того не заметив, он успел нажать на крючок, и шнеллер мгновенно сработал; пуля пролетела мимо; искусствовед некоторое время стоял на месте, как того требовали правила, и дожидаясь, когда рассеется дым. Путешественник воображал, как он швырнет пистолет и

пойдет, насвистывая, прочь, а на самом деле свой пистолет отбросил в траву Петр Францевич. Вместе с подоспевшим Аркадием они склонились над неподвижно лежавшим с открытыми глазами писателем.

«Ладно, — промолвил Аркаша, — поиграли, и будя...»

«Что? — рассеянно спросил Петр Францевич, несколько приходя в себя, нахлобучил цилиндр и приосанился. — Начнем сначала, — сказал он. — Достань-ка там, в саквояже... Или лучше я сам».

Приезжий, поддерживаемый Аркашей, поднялся с земли с каким-то почти разочарованием и недоуменно воззрился на своего врага; оказалось — чего он, само собой, не заметил, — что пистолеты в руках у дуэлянтов были с просверленными стволами, видимо, для учебных целей; оказалось также, что в небольшом, но вместительном саквояже, с которым прибыл на поле боя доктор искусствоведения Петр Францевич, был припасен ящик с другой парюю пистолетов. Теперь они явились на свет, длинные, поблескивающие гранеными стволами, как будто только что вышедшие из мастерской Лепажа, с затейливыми собачками, с гравируванным рисунком на металлических щеках. Петр Францевич взял в каждую руку по пистолету, спрятал руки за спиной.

«Правильно: поиграли — довольно, — пробормотал он. — Пьет, как свинья, а все-таки ум сохранил... Репетиция окончена! Благоволите назвать руку: правая или левая?»

XXXII

«Не позволю! — закричал вдруг, подбегая, Аркадий. — Будя!»

«Что это значит?» — холодно спросил Петр Францевич.

«А то и значит. Ваше сиятельство, это не дело».

«Да ты что, спятил?.. Как ты посмел? А ну, убирайся вон, чтоб я твоей физиономии больше не видел!»

«Физиономии... — ворчал Аркаша. — Ишь начальник нашелся. Холопов, ваше сиятельство, больше нет, вот так!» Он выхватил пистолет у растерявшегося писателя, обернулся к Петру Францевичу, тот держал свою пушку за спиной. Аркадий сунулся было к нему — барон отступил на два шага и наставил на Аркадия дуло.

«Пристрелю, как собаку!» — заревел Петр Францевич.

Приезжий счел своим долгом вмешаться.

«Может быть, я вел себя не по правилам, вдобавок, как вы знаете, я не дворянин, — сказал он. — Но, клянусь, я не питаю к вам никаких враждебных чувств. Мне кажется, обе стороны показали свою готовность драться... Что касается известной особы, мне кажется, это недоразумение. Если вы думаете, что я вознамерился перебежать вам дорогу, уверяю вас...»

«Ничего я не думаю, — возразил мрачно Петр Францевич, — я только вижу, что это бунт. Это — бунт!» — строго сказал он, глядя на Аркашу.

«Да ладно уж там, какой такой бунт... Где уж нам... Мы темные. Мы мужики, вы господа. А только отвечать за вас я не желаю. Не желаю отвечать, ясно?»

«Отвечать? Ах ты, скотина! А ну, вон отсюда!»

«Чего лааетесь-то? — сказал Аркадий. — Начнется следствие, кто да что. И света белого не увидишь. Вы-то всегда вывернетесь, у вас там небось все дружки да знакомые. А мне за вас отдуваться. Кто отвечать будет? Аркашка... Кого за жопу возьмут? Меня. В общем, вы это, того: игрушку вашу спрячьте. А то еще кто увидит, народ-то сами знаете какой. В момент настучат. Похорохорились, покрасовались — и будя. А если чего не поладили, то и на кулачках можно решить».

«Ты так думаешь? — сказал Петр Францевич. — Может, в самом деле, а?»

Его противник пожал плечами.

«Дай-ка сюда». Барон отобрал у Аркадия пистолет, доставшийся писателю по жребию, взвесил оба пистолета на ладонях. Потом повернулся и прицелился в отдаленное дерево. Грохнули два выстрела, присутствующих объяло облако дыма.

«Хорошая марка, — пробормотал он, разглядывая пистолеты, — это вам не...» Вздохнул, вложил дуло себе в рот.

«Ради Бога, осторожней!» — воскликнул писатель, забыв, что пистолеты разряжены. Искусствовед покосился на него, усмехнувшись, вынул пистолет изо рта, приставил к виску, к сердцу. Затем — знак Аркашке; тот подскочил с саквояжем. «Ладно, — сказал Петр Францевич, — поехали чай пить. Я, между прочим, еще не завтракал».

XXXIII

«Слава те-Хос-споди, живой!» — вскричала Мавра Глебовна.

Она сбежала со ступенек и обняла меня.

«Я уж все на свете передумала. Ишь затеяли! Спасибо тебе, милосердная, — приговаривала она, торопливо крестясь, — заступница, спасибо...»

Сели за стол, где по-прежнему сиротливо лежали мои бумаги. Моя несостоявшаяся биография, моя новая жизнь...

«И чего не поделили? А все вертихвостка эта — и тебе, и ему».

«Роня?»

«А кто ж еще-то?»

Я заверил Машу, что ничего у нас с ней не было, ей всего-то семнадцать или сколько там. Полуробенек.

«Не скажи. Знаю я их всех; молодая, да шустрая... И чего ты в ней нашел? Девка, что доска, ни сзади, ни спереди».

Я попытался ее разубедить, она резонно возразила:

«Кабы ничего не было, так он бы в тебя не пулял».

До этого, сказал я, тоже не дошло.

«Не дошло, и слава Богу. Аркашке скажи спасибо».

«Да откуда ты все это знаешь?»

«Знаю. И про вашу свиданку знаю, что она к тебе прибежала, бесстыдница, — все знаю».

Источник информации, разумеется, был все тот же — или следовало предположить, что известия распространялись по каким-нибудь трансфизическим каналам. Таинственный вездесущий персонаж по имени Листратиха, о которой я постоянно слышал и которую никогда не видел, — кто она была? Я подозревал, что никакой Листратихи вообще не существует: это был дух, блуждавший вокруг, анонимная субстанция, мифический глаз — или глас народа.

«Дело холостяцкое, я тебя не виню. Только ты к ним не лезь, это я тебе не из ревности говорю. Не ходи туда, ну их к лешему! У них там свои дела, пуцай сами разбираются. У них своя жизнь. А у нас своя», — сказала она и положила мне руки на плечи.

Я коснулся ладонями ее бедер. Зачем же, спросил я, смеясь, она сама туда ходит?

«Я-то? А это не твоя забота. Да шут с ними со всеми!»

Все же мне хотелось знать: что она там делает?

«Ну чего привязался-то! Услужая. Молоко ношу».

«И все?»

«И все, а чего ж мне там делать? — Она помолчала. — Ну, к барину хожу, к Георгию Романычу. Ему, чай, тоже нужно: мужчина в соку, а она непригодная, рыхлая — сам видел. Ихнее дело господское, ых!.. — она вдрут сладко зевнула. — Как захотится, так меня зовет».

Вот и пойми женщин, подумал я; а еще говорила, что отвыкла.

«Да ты не обижайся. Это ведь не любовь. — Она добавила: — Кабы не они...»

«Что — кабы не они?»

«А вот то самое! Все тебе надо знать. Не было бы тут ничего, вот что, все бурьяном бы заросло. Их в городе уважают. Секретарь райкома, говорят, приезжал».

«Зачем?»

«Справлялся, не надо ли чего. Он ведь у старой барыни скотину пас».

«Как же это могло быть, Маша? Ведь революция-то когда была?»

«Ну, не он, так отец али дедушка, я почем знаю. Люди говорят, а я что?.. Да и леший с ними со всеми... Милый, соскучила я по тебе».

Вдруг снаружи постучали.

Я поднял голову, мы оба посмотрели на дверь.

«Да ну их всех...»

Стук на крыльце повторился.

Я выглянул между занавесками и отпрянул, словно там стояло привидение.

Мавра Глебовна сидела на постели. В ответ на ее немой вопрос я растопырил руки и вытаращил глаза.

Наконец я выговорил:

«Это она».

«Кто?»

Я молчал.

«Не пускай! — сказала сурово Глебовна. — Ишь, вертихвостка! Пстой, я сама пойду. Сиди. Это наше бабье дело».

Она вышла и столкнулась с Роней в полутемных сенях; но в том-то и дело, что это была не Роня.

Это была не Роня и не мифическая Листратиха, и обе женщины вступили в избу.

Я пролепетал:

«Откуда ты... как ты здесь очутилась?»

Сидя на табуретке, гостя расстегивала пуговицы плаща, сдернула с головы шелковую косынку, поправила прическу.

«А это Мавра Глебовна, — сказал я, — моя соседка. Знакомьтесь».

«Очень рады», — промолвила Мавра Глебовна, поджав губы.

«Что-то там испортилось в моторе, и, представь себе, перед самой деревней. Дошла пешком».

«А Миша?» (Мой двоюродный брат.)

«Там остался».

«Может, я схожу, трактор достану?..»

«Не волнуйся. Там уже кого-то нашли. Ну, я тебе скажу: ты в такую дыру забрался! — Она обвела глазами избу, покосилась в сторону Мавры Глебовны, взглянула на стол с бумагами. — Работаешь?»

Мою жену — я привык считать ее бывшей женой, — мою жену зовут Ксения, по отчеству Абрамовна. Это отчество ни о чем не говорит. До сих пор можно встретить стариков, бывших крестьян, с именами Моисей или Абрам. Моя жена — обладательница безупречной анкеты и занимает высокую должность заместителя директора по ученой части в институте с труднопроизносимой аббревиатурой вместо названия, которое я никогда не мог запомнить. Моя жена держится прямо, ходит крупным шагом, постукивая высокими каблуками, носит сужающиеся юбки, светлые батистовые кофточка с бантом, курит дорогие папиросы

и великолепно смотрится в начальственных коридорах. Мы с ней ровесники, но уже несколько лет, как она перестала стареть, возраст ее остается неизменным, ей 39 лет.

Моя жена была женщиной именно того физического типа, который мне когда-то нравился; подобно многим я связывал с телосложением определенное представление о характере, душе и умственных способностях и, сам того не сознавая, тянулся к женщинам, которые могли бы заслонить меня от жизни. Что-то мешало моей бывшей жене, даже в те времена, когда мы познакомились, быть красивой, вернее, хорошенькой, это слово к ней не подходило; из чего, однако, не следует, что она была непривлекательна. Нужно отдать ей должное, сложена она превосходно: просторные бедра, все еще не опавшая грудь, плечи королевы.

Мавра Глебовна поспешно подала ей старую, выщербленную плюшку (моя жена искала, куда стряхнуть пепел). Некоторое время спустя, выглянув в окошко, я увидел перед домом машину, поднятый капот, Аркадия, который инспектировал мотор. Мой двоюродный брат разговаривал с Маврой Глебовной, державшей за руку четырехлетнего малыша, невдалеке остановилась старуха, согбенная, как Баба Яга, опираясь на помело, что-то клубилось вдали, словно к нам ехало войско, темнело, и опять, как все последние дни, стал накрапывать дождь.

XXXIV

Нужно было устраиваться на ночь, завтра, сказала моя жена, надо встать пораньше; я предложил, чтобы мы с братом устроились на полу, Ксению положим на кровать; мой брат, поколебавшись, объявил, что переночует в доме Мавры Глебовны, жена пожалала плечами, дескать, как вам угодно; будем надеяться, что погода не подведет, добавила она небрежно, только бы не проспять. Ходики на стене бодро отстукивали время. Разговор продолжался недолго и понадобился для того, чтобы не говорить о главном, то есть о возвращении: теперь это уже как бы не требовало объяснений.

Как это — «ехать домой»? Волна протеста поднялась в моей душе, как застарелая изжога со дна желудка. Я проглотил ее — молча и мужественно. А что оставалось делать?

Подразумевалось, что прошлое похерено, что мы ни в чем не упрекаем друг друга, просто начинаем жить заново. Вернее, мы продолжаем нашу жизнь; да и о каком прошлом, собственно говоря — если не считать некоторых недоразумений, — идет речь? Завтра мы уезжаем в город, она приехала, чтобы протянуть мне руку мира, если можно было говорить о войне между нами, и я, естественно, отвечаю ей тем же. Но никакой войны, собственно, и не было. Бегства не было. Я отдохнул на свежем воздухе, я провел творческий отпуск на даче, пора домой.

Все это, ужасавшее меня именно тем, что вдруг предстало как нечто не требующее объяснений, как нечто решенное и даже само собой разумеющееся, устраняло необходимость обсуждать и некоторые вытекающие отсюда следствия, некоторые житейские подробности, например, то, что нам предстояло, как и положено супругам, провести ночь вдвоем под одной крышей.

Именно об этом, о том, что мы остаемся наедине после того, как брат уйдет ночевать в дом к соседке, об этом, как о само собой разумеющемся, ни слова не было произнесено, и было ясно, что наутро тем более уже не о чем будет говорить: какая необходимость ворошить старое, коли мы провели ночь вместе, как и положено мужу и жене? Меня ужасал этот *fait accompli*¹, то, что все выглядело как *fait accompli*; но создаться ли? Я почувствовал и определенное облегчение. Еще больше, чем «факт», меня приводила в ужас необходимость выяснять отношения; и вдруг оказалось, что не надо ничего говорить, спорить, доказывать, не надо оправдываться; а главное, ничего не надо было решать.

Мы поужинали, на столе горела керосиновая лампа. Моя жена вышла и вернулась; когда я, в свою очередь, вошел в избу, она стелила себе на кровати. Для меня была приготовлена постель на полу.

«Здесь довольно тесно, — проговорила она. — Это что, простыня?»

Она сказала, что устала после мучительной дороги и уснет как мертвая. Было произнесено еще несколько фраз о ее работе, об институте. О нашем ребенке — ни слова, это был болезненный пункт, которого она разумно не касалась; я предполагал, что девочка в пионерском лагере.

«Все кости болят, — пробормотала она, — после этих ухабов».

Это означало: раз уж все решено, обойдемся без телесного примирения. Это также означало: не в плотском влечении дело. Кроме того, это был намек на то, что я не должен думать, будто мне все так просто сошло с рук, прощено и забыто. И в то же время это был некоторым образом шаг навстречу: отказывая мне в близости (на которую я, как предполагалось, рассчитывал независимо от всего, в силу мужского самолюбия и мужского сластолюбия), она давала понять, что я ей небезразличен: меня наказывали, но наказывали и себя. В темноте мы покоились каждый на своем ложе, и я принялся обдумывать, как бы мне завтра увильнуть. Да, я употребил мысленно это пошлое выражение; я чувствовал, что у меня не хватает решимости объявить напрямую и без лишних слов, что я не намерен возвращаться. Я думал о том, что у моей жены начальственный вид, крупная решительная походка, просторные бедра.

Я тоже был утомлен до крайности, предыдущую ночь почти не сомкнул глаз, не говоря уже о дуэли, на которой я был убит, потом вос-

¹ совершившийся факт (*фр.*).

крес и чуть было не подставил грудь для второго выстрела. Мне казалось, что моя жена спит, но в темноте раздался ее голос. Она назвала меня по имени. Я спросил: в чем дело?

«О чем ты думаешь?»

Я отвечал, что думаю о своей работе.

«Ты пишешь что-то крупное?»

«Пытаюсь».

«Давно пора. Я считаю тебя, при всех оговорках, очень способным человеком».

«Я тоже считаю».

«Ты не имеешь права пренебрегать своим талантом».

«Не имею».

Ситуация менялась: теперь я оказывался обиженным, о чем свидетельствовали мои короткие ответы, она же, напротив, выглядела виноватой. Наступило молчание.

«Ты неплохо выглядишь, посвежел. Между прочим, тебе несколько раз звонили».

«Кто звонил?»

«Из издательства. Интересовались, где ты».

Пауза.

«Ну что, будем спать?»

«Будем спать», — сказал я и внезапно решил, что завтра же или даже сейчас, не откладывая, объявлю моей жене, что никуда не поеду; если она хочет остаться здесь дня на два, пожалуйста. Но на меня пусть не рассчитывает. Необъяснимым чутьем она угадала мое намерение и сказала:

«Ладно».

«Что ладно?»

«Ладно, говорю, пора спать. Иди ко мне».

И, так как я ничего не ответил, ибо находился в некотором ошеломлении, она добавила:

«Ну в чем дело? На полу неудобно, холодно, только измучаешься».

Я молчал.

«Мне просто жалко, что ты проваляешься всю ночь без сна, да и пол холодный. Не ломайся. Ложись рядом со мной, будем просто спать. Я устала».

Выходила какая-то нелепая история, я лежал на самом краю, рискуя упасть с кровати, но невольно касался моей жены лопатками, пятками ног. Она пробормотала:

«Я же говорила... холодные, как лед».

Несколько мгновений спустя мы приняли позы, более естественные в нашем положении, а что же еще оставалось делать?

Черные воды сомкнулись над нами, сон обхватил меня мягкими щупальцами, схоронил мое бездыханное тело на илистом дне; но это беспмятство продолжалось недолго, смутное, сумеречное сознание вернулось ко мне, как будто лунный луч заглянул в окно; я спал и не спал и во сне думал о сне. Несколько времени погода я очнулся, я лежал в темной избе, которую уже привык считать своим домом, но оказалось, что и она была сном; некоторое время, сказал я, но должен себя поправить: сновидение, каким бы запутанным оно ни казалось, длится считанные мгновения; но и это выражение надо понимать условно, ведь время с его минутами и секундами существует только в дневном мире, между тем как по ту сторону дня, в пространстве сна, времени нет или оно по крайней мере иной природы.

Итак, я все еще находился там, вернее, наполовину там, как бредут через топкую заводь по колено в воде, — я все еще пребывал отчасти в стихии сна. Можно было бы сказать, что я оказался в двух временах, если время сна вообще можно считать временем. Можно было сказать, что я по-прежнему владел грамматикой сна — или она владела мною, — странные сочетания слов, немыслимые глагольные формы, небывалые части речи, для которых не существует названий, удивляли меня самого, несмотря на то, что принадлежали мне и родились вместе со мной: ведь язык — ровесник души. Я вернулся к началу моей жизни, в первые, ранние дни; на моих глазах, если можно так выразиться, происходило то, что когда-то произошло со всеми нами: рождение души из ночного первобытного хаоса; моя душа просыпалась и лепетала на языке, который уже в следующие мгновения станет невнятным ей самой. Я застал этот миг двуязычия. Я все еще брел по топкому дну, я владел праязыком ночи, но думал о нем на языке дня; что же удивительного в том, что я прикоснулся к загадке литературы.

Я догадался, что если мы видим сны, то сон в свою очередь, на свой лад созерцает нас, и литература способна — только она и способна — вернуть равноправие младенческому праязыку грез. Только она может продемонстрировать, что сон и явь — два равноправных способа нашего существования в двоякой действительности. Что здесь иллюзия, что правда? При взгляде оттуда наше бодрствование представляется загадочным сном, совершенно так же, как проснувшемуся человеку кажется абсурдом то, что происходило во сне. Что правда, а что обман? Я понял, что для литературы такого вопроса не существует.

Утро настало, каких, быть может, еще не бывало от сотворения мира: тихое, нежное, переливчато-перламутровое; неяркое солнце неподвижно стояло в желтоватой дымке, как стареющая невеста в фате. Шелестя травой, гуськом мы прошли влажное огородное поле, пробрались

сквозь кустарник и спустились к реке. На графитовой воде плясали искры, ближе к другому берегу вода казалась серо-молочной, серебристо-голубой; отплыв на середину реки, я обернулся, моя бывшая жена, в купальнике, широкобедрая, белорукая, с полуоткрытой грудью, все еще не решалась ступить в воду; брат стоял на том берегу, усердно приседал и размахивал руками.

Завтрак на воле, в огороде за домом. Мои бумаги, как некий почетный мусор, были сложены на печном приступке, стол вынесен в огород. Они привезли продукты из города. Мой брат позвал соседа.

Как-то само собою решилось, что мы не будем сейчас обсуждать мой отъезд. Пожалуй, заметила Ксения, поглядывая на небо, обещавшее замечательную погоду, пожалуй, сегодня не поедем. Эта глагольная форма — поедем, побудем — была удобна тем, что могла относиться только к ним, к жене с братом, а могла иметь в виду всех троих; она, эта форма, подразумевала, что, конечно, мы поедем все вместе, и в то же время оставляла для меня лазейку. Мы как будто условились, что не будем говорить о том, о чем надо было поговорить. Так ли уж надо? И о чем? Зачем портить себе настроение в этот мирный, туманно-солнечный и постепенно становившийся приглушенно-жгучим день дряхлеющего лета?

Аркадий явился, как всегда, в телогрейке, в ушанке, которую он снял, прежде чем сесть; жена раскладывала еду, разливала чай из медного чайника, сидела с закрытыми глазами, подняв лицо к солнцу, а брат разговаривал с Аркашей.

Я посматривал на мою жену, как мне представлялось, равнодушно-оценивающим взором человека, который провел ненароком ночь с незнакомой женщиной и спрашивает себя, красива ли она и сколько ей может быть лет.

Ксения спросила, чувствуя на себе мой взгляд, не поднимая век:

«А как же зимой?»

«Чего зимой?» — спросил Аркадий.

Она спросила, как они тут живут зимой.

«Так и живем, чего ж! Дров звон сколько хочешь».

Он посмотрел на небо, на купы деревьев и промолвил:

«Хорошо тут. Воля».

«Куда же народ подевался?»

«Какой народ?»

«Односельчане. Колхозники».

«Куда... Которые померли, а кто и деру дал».

«А ты, значит, решил остаться?»

«Я-то? А куда мне бежать? Мне и здесь хорошо».

«Сколько тебе лет, Аркаша?»

Аркаша почесал в затылке и отвечал: может, сорок, а может, пятьдесят.

«Какого ты года, — переспросила моя жена, с закрытыми глазами подставив лицо солнцу, — по паспорту?»

«Чего? — сказал Аркадий и поглядел в сторону. — Нет у меня никакого паспорта, на кой он мне...»

Мой брат заметил, что теперь и у колхозников есть паспорта.

«Мало ли что есть».

«А если милиция спросит, что тогда?»

«Нет у нас милиции».

«А если приедет?»

«Пушай приезжает».

На дороге перед нашим огородом стояла, опираясь на палку, темная старушечья фигура. Солнце освещало ее так, что нельзя было разобрать лица. Невозможно было сказать, смотрит ли она на дорогу или на нас. Что ей надо, спросила моя жена, приставив ладонь к глазам; мы тоже обернулись. Аркадий степенно пил чай.

«Листратиха, — сказал он презрительно. — Таскается тут».

Он добавил:

«И не зовите, все одно не услышит. Глухая».

Мой двоюродный брат поднялся из-за стола. Солнце высоко стояло в бездонном, звенящем небе. С другого конца деревни доносились голоса, стихающий рокот механизма. Там возвышался, перегородив дорогу, заляпанный грязью подъемный кран на платформе с восемью колесами, снова прибывший неизвестно для чего, неизвестно откуда. Мой брат вышел, держа в обеих руках канистры, надеясь разжиться бензином у водителя; мы с Аркашей стояли у плетня.

«Живите. Куда торопиться-то?»

«Пора».

«Куда спешить-то?»

Я вздохнул.

«Дела, Аркаша».

«Подождут дела. Что, скучно тебе тут, что ль? Али бабы одолели?»

Я развел руками.

«Женщины, они, конечно, того, — заметил глубокомысленно Аркадий и сдвинул шапку на глаза. — Женщины, они...»

Я согласился, что женщины — дело такое.

«А ты плюнь, — посоветовал Аркадий, — ну их всех в ж...!»

Зычный голос донесся с другого конца деревни:

«Аркашка!»

«Зовут, слышь, — сказал он. — А вы уезжать собрались. Чего зашел-то?» Этот вопрос относился к брату.

«Да я не знаю, — проговорил мой брат с сомнением, — ты как?»

Я пожал плечами, мы оба взглянули на мою жену, которая по-прежнему сидела у стола, подняв к солнцу незрячее лицо, на носу у нее был наклеен лист подорожника.

«Отгуляем, и поедете».

«Аркашка! Мать твою!..»

«А то совсем оставайтесь», — сказал Аркадий.

«Погода, — сказал мой брат, — лучше не надо».

«А у нас всегда погода в самый раз».

«Урожай, наверное, будет хороший», — заметил мой брат.

«Ладно, разорались, — сказал Аркаша, махнув рукой. — А чего? Оставайтесь. Никуда Москва не денется. Отгуляем, а там уж...»

Он направился вразвалку к подъемному крану, служившему, как выяснилось, для разных нужд. Егор снимал с платформы ящики с напитками и харчами. Василий Степанович, в сапогах и расшитой повороту белой рубашке навыпуск, препоясанный ремешком, руководил разгрузкой.

XXXVI

Как некогда языческие капища становились подножием христианских базилик, как древняя вера отцов не умирает, а переселяется, словно душа в новое тело, в новый государственный культ, так престольные праздники тайно продолжают существовать под видом революционных годовщин, Международного женского дня, Дня космонавтов или работников железнодорожного транспорта. Не то чтобы верность обычаю была так уж сильна, но и похерить вовсе предков невозможно: они лежат в этой земле; другое дело, что если бы, скажем, они воскресли, то, чего доброго, оказалось бы, что и они все позабыли. Но что значит забвение? Позабыли, да не совсем; сказать, что хранят благоговейную память, тоже нельзя. Вот почему нет ничего несуразного в предположении, что, восстав из гроба, предки наши преспокойно уселись бы рядом с немногочисленными потомками пировать во славу железнодорожного транспорта. Ибо в конце концов всякий Париж стоит обедни и всякий праздник важнее, чем повод для него, — разве вам не случалось пировать на именинах, не зная в точности, кто такой именинник, не приходилось бывать на поминках, когда уже через полчаса все забыли, кого поминают? Праздник — это и есть доказательство забвения, доказательство того, что жизнь одолела смерть и настоящее торжествует над прошлым; и если бы мы спросили, по какому случаю, собственно, здесь гуляют, вопрос потонул бы в звоне стаканов и остался бы без ответа.

Погода была превосходной. Погода была, по справедливому замечанию Аркаши, в самый раз. С утра раздавались крики, уханье, бабьи взвизги. Доносились обрывки песен и скрежет гармошки. Группы более

или менее празднично одетых поселян двигались по улице; несли флаги и обрамленные полотенцами иконы; с изумлением каждый спрашивал себя, откуда вдруг набралось столько народу. За околицей, куда укатил подъемный кран, по другую сторону деревни, на широком лугу были расставлены столы или то, что их заменяло, хлопотали женщины, носились дети. Стоял грузовик с откинутыми бортами, блестели жидким латунным блеском раструбы геликонов, и над сидящими в кузове музыкантами покачивался на шатких жердях и вздувался под легким ветром кумачовый лозунг.

Грохнула музыка, бум, бум, бум — бухал барабан, народ бросился на лужайку, стали поспешно рассаживаться. Музыка заглушала голоса. Сидящие на скамьях теснились, пропуская опоздавших. Слышалось:

«Подвинься чуток... Да куды ж, вот я сейчас свалюсь. Свалишься, подыдем. В тесноте, да не в обиде!»

Сдержанный гул прорывался в промежутках между гроыханьем оркестра, бабы озирались по сторонам, озабоченно подтягивали уголки платков. Вдруг все стихло. Василий Степанович с бокалом в руке, стоя за столом почетных гостей, — рядом старик-представитель в сивых усах, с тусклым взором, с орденом на музейной гимнастерке, рядом, выглядывая из-за мужниной могучей фигуры, круглолицая, в белоснежном платочке Мавра Глебовна, рядом Ксения Абрамовна в светлой шелковой кофточке с бантом и, само собой, супруг-путешественник, — Василий Степанович поднял руку, призывая к вниманию. В грузовике, однако, неправильно истолковали его жест, грянул туш. Публика гневно обернулась к музыкантам. Кое-кто, не выдержав, уже выпивал и закусывал. Музыка стыдливо замолкла.

«Товарищи! — сказал Василий Степанович и гордо, мужественно обозрел односельчан. — Товарищи колхозники и колхозницы, механизаторы и доярки, труженики полей... Дорогие земляки! Разрешите мне, как говорится, — Василий Степанович крикнул, — от имени и по поручению! Мы собрались здесь в этот торжественный день, чтобы все как один. В ответ на неустанную заботу партии и правительства ответим новыми успехами, небывалым урожаем!»

Раздались жидкие аплодисменты. Оратор продолжал:

«Наше слово крепкое. Наш колхозный, трудовой закон — перво-наперво рассчитаться с государством. А то ведь у нас как получается? Как работать, так голова болит. А как пить да жрать, так мы все тут как тут, небось никто не болен! (Одобрительный смех.) Верно я говорю, мужики?»

Снова раздался смех. Возгласы: «Молодец, Степаныч, режь, ети ее в калошу, правду-матку!»

Кто-то пробовал возразить: «Да ладно тебе... слышали мы...»

«А чего, правду говорит мужик».

«Какой он тебе мужик? Языком чесать. Это они умеют».

«Давай, Степаныч! Режь, ети ее...»

«Ура!» — воскликнул Аркаша.

Василий Степанович постучал вилкой о рюмку, оглядел собрание.

«Разрешите считать ваши аплодисменты за единодушное одобрение...»

«Ура, ура!» Все засвистели и затопали.

«Слово предоставляется нашему дорогому гостю! Представителю райкома, персональному пенсионеру...»

«Дорогие товарищи, граждане нашей великой...» — начал бодрым фальцетом старик, украшенный орденом, но потерял нить мыслей и несколько времени растерянно озирал столы, за которыми уже вовсю пили и ели, смеялись, подливали друг другу, целовались и тискали женщин.

«Поприветствуем товарища пенсионера, героя гражданской войны!» — вскричал председатель.

«Помню, в двадцатом году...» — лепетал старик в гимнастерке.

Кто-то спросил: «В котором?»

«В двадцатом, — сказал старик. — Мы не так жили. Мы воевали. Жрать было нечего. Не то что теперь».

«Ладно заливать-то...»

Другой голос сказал удивленно:

«Етить твою, никак Петрович?»

«А ты его знаешь?»

«Как не знать! Я думал, он давно помер».

За столами пели:

«Ехали казаки от дому до дому, подманули Галю, увезли с собой».

Бабий хор дружно грянул: «Ой ты, Галя, Галя молодая!»

«Разрешите мне! — надрывался, стуча вилкой, Василий Степанович. — Предоставить слово!...»

«Мы кровь проливали. А теперь? — продолжал старик. — Кабы знали, мы бы... Эх, да чего там...»

Он взмахнул сухой ладошкой и возгласил:

«За здоровье царя, уря-а!»

Свист, хлопки и крики восторга.

«Слово предоставляется, — сипел Василий Степанович, — товарищу писателю!»

Шум стих, потом чей-то голос спросил, словно спросонья:

«Чего, кого? Кому?..»

Путешественник нехотя поднялся, и все головы повернулись к нему. Некоторое время он молчал, как бы собирался с мыслями. Затем взглянул на Василия Степановича, на жену, на Мавру Глебовну, обвел грустным взором пирующих.

«Дорогие друзья...» — проговорил он.

«Писатель, — сказал кто-то. — А чего он пишет-то?»

«Хер его знает».

«Известно, бумажки пишет».

«Чего резину тянешь? Давай, рожай!»

«Товарищи, попрошу соблюдать тишину, — вмешался председатель. — Кто не желает слушать, тех не задерживаем».

«Дорогие друзья, — сказал приезжий. Голос его окреп. — Работники сельского хозяйства! Новыми успехами ознаменуем! Все как один...»

Раздались слабые хлопки, путешественник провел рукой по лбу и продолжал:

«Я, собственно, что хочу сказать... Вот черт! Понимаете, хотел сказать и забыл. Забыл, что хотел сказать!»

«Ну и хер с тобой!» — крикнул кто-то радостно.

Председательствующий постучал вилкой о стакан.

«Да, так вот... Для меня большая честь присутствовать на вашем празднике. Вот тут товарищ очень правильно сказал, что мы пишем бумажки. Так сказать, отображаем... Но, товарищи! Парадокс литературы заключается в том, что чем больше мы стараемся приблизиться к жизни, тем глубже вязнем в тенетах письма. В этом состоит коварство повествовательного процесса».

«У меня вопрос», — поднял корявую ладонь мужик в железных очках, перевязанных ниткой, лысый, с жидкой бородой, по всему судя, тот самый, который — ну, словом, тот самый.

«Пожалуйста», — сказал председатель.

«Я вот тебя спросить хочу: ты зачем чужую избу занял? Ты разрешения спросил? Нет такого закона, чтоб чужую квартиру занимать».

«Мой брат купил эту избу. Вот он тут сидит, может подтвердить. Я же вам объяснял...»

«Нечего мне объяснять! Ты вот ответь».

Кто-то сказал:

«Да гони ты его в шею, чего с ним толковать?»

«Кого?» — спросил другой.

«Да энтото, как его...»

Еще кто-то вынес решение:

«Живет — и пушай живет».

Писатель продолжал:

«Что я хочу сказать? Литература служит народу. Так нас учили. Но, товарищи, чем мы ближе к народу, тем мы от него дальше. Таков парадокс... А! — И он махнул рукой. — О чем там говорить... Ребятки, может, станцуем, а?»

«Вот это будет лучше», — заметил кто-то.

Бух! Ух! — ударил барабан. Тра-та-та, ру-ру-ру, — запела труба. И все повскакали из-за столов.

Путешественник перешагнул через скамейку и пригласил даму. Оркестр играл нечто одновременно напоминавшее плясовую, «Марш энтузиастов» и танго «В бананово-лимонном Сингапуре».

Путешественник танцевал с тяжело дышавшей, зардевшейся Маврой Глебовной, чувствуя ее ноги, мягкий живот и грудь. Желудок путешественника вел, описывая сложные па, Василий Степанович. Его сменил, галантно раскланявшись перед таинственно улыбавшейся Ксенией Абрамовной, ночной лейтенант в новеньких золотых погонах. Помощник лейтенанта сидел среди стаканов и тарелок с недоеденной едой, подливал кому-то, с кем-то чокался и объяснял значение Органов:

«Мы, брат, ни дня ни ночи не знаем... Такая работа... Вот это видал? — И он скосил глаза на свою нашивку, меч на рукаве. — Это тебе не польку-бабочку плясать... — Хлобыстнул рюмку и продолжал: — Я вот тебе так скажу. Мы на любого можем дело завести. Вон на энтого...»

«Которого?» — спросил собеседник.

Помощник указал пальцем на танцующего писателя.

«На энтого. Знаешь, какое дело? Во!»

Двумя руками он показал, какой толщины дело.

«Да ну!» — удивился собеседник.

«Хочешь, на тебя заведу. Ладно, не бойсь. Только чтоб ни слова об этом, понял? Давай...»

Между столами и на лугу откалывали коленца поселяне, бабы, согнув руку кренделем, ворочались туда-сюда, трясли платочками, пожилой мужик в железных очках, позабыв о своем вопросе, хлопал себя по животу, выделял кругалю. Оркестр гремел, дудел: «В бананово-лимонном Сингапуре, в бурю! Когда ревет и плачет океан!» Труба пела: «Нам нет преград на море и на суше». Кто-то лежал, раскинув руки, созерцая бледно-голубое далекое небо.

XXXVII

В это время вдали клубилась легкая пыль, солнце играло в подслеповатых оконцах, через всю деревню, мимо покосившихся изб, мимо печных остовов, мимо повисших плетней пронеслись один за другим в распевающихся одеждах верховые.

«Эва кто пожаловал», — сказал чей-то голос.

Дружка стреножил коней. Витязи с темными глазницами, в круглых княжеских шапках, в плащах поверх кольчуг, в дорогих портах и сапожках из юфти молча приблизились к почетному столу. Мавра Глебовна поднесла хлеб-соль. Мальчик, умытый и причесанный, нес два кубка.

Витязи приняли кубки, степенно поклонившись председателю и народу, сели на краю стола.

Две цыганки сорвались было с места, заорали: «К нам приехал наш любимый Борис Владимыч дорогой. К нам приехал наш родимый Глеб Владимыч дорогой! Пей до дна, пей до дна...» На них зашикали.

Председательствующий Василий Степанович приветствовал гостей. Братья наклонили головы.

Все снова сидели на своих местах, бабы шушукались, музыканты дремали в кузове грузовика.

После чего слово было предоставлено барону Петру Францевичу, который уже стоял наготове, с бокалом в руке.

«Уважаемый председатель, святые князья. Братья и сестры, друзья, русский народ!» — изящно поклонившись направо и налево, растроганным голосом сказал Петр Францевич.

Он отпил из чаши, пригладил на висках седеющие напомаженные волосы и кончиками пальцев коснулся благовонных усов.

«Человеческая душа есть величайшая загадка. Буйный зверь и скорбящий ангел в ней живут рядом, одной плотью укрываются, одним хлебом питаются. Сегодня пируем и лобызаемся, а завтра проснется демон, обернется ангел зверем — и пошел грабить и жечь. Так уж, видно, повелось на Руси, други мои любезные, мужички...»

Все затаили дыхание, Петр Францевич оглядел собрание и после короткой паузы продолжал:

«И есть у этого зверя верный союзник. Только и ждет он, когда разгуляется, распояхается русский человек. Ждет, чтобы прийти и помочь ему жечь, грабить, насиловать. Две силы объединились, чтобы погубить землю, два недруга, тот, что сидит в нас самих, и тот, кто ждет своего часа на дальних подступах нашего необъятного государства...»

«Во дает!» — сказал чей-то голос.

«Монголы, поляки, французы... Тевтонская рать с головы до ног в железе... Только было встанет на ноги государство, отстроятся города, бабы нарожают детей — новая напасть, опять нашествие, опять все гибнет в огне... Уж совсем было сгинула Русь. Ан нет! — сказал Петр Францевич. — Откуда-то поднимается новая поросль, ангел подьмлет крыло. Стучат молотки плотников, рубятся избы, засеваются поля, князья собирают удрученный народ, попы молиться учат одичавшее стадо. До нового избиения, до следующего раза... И были гонимы, как прах по горам и пыль от вихря, говорит псалмопевец. Доколе же, спрашивается, все это будет продолжаться? У вас хочу спросить, мужички! Не чудо ли, что мы всё еще существуем, второе тысячелетие тянем...»

«Эва куда загнул!» — сказал голос.

«Но вот, наконец, нам объявляют, что русский человек исчез, нет его больше, истребился и стерт с лица земли, как некогда были стерты

древние народы. Так-таки и пропал, черт ли его унес, терпение ли Господне истощилось, неизвестно! Нет больше русского народа, так, лишайник какой-то остался. Но я спрашиваю вас, земляки-сельчане, друзья мои дорогие! А вы-то кто? Я спрашиваю: вы-то живы? Или это видение какое, фата-моргана, дивный сон мне снится, а на самом деле вас и нет вовсе? А?.. Вот то-то и оно!» — усмехнулся Петр Францевич и провел пальцами по шелковистым усам.

Он косил глаза и слегка нахмурился, Мавра Глебовна поспешно подлила витязям и оратору. Доктор искусствоведения Петр Францевич вознес чашу.

«Славным пращурам нашим — ура!» — крикнул он, и мужики и бабы отчаянно завопили «ура» и захлопали в ладоши. Оркестр заиграл гимн. Перед столами появился, слегка пошатываясь, с огромной гармонью Аркадий. Началось братание, раскрасневшиеся женщины переходили из рук в руки, лобызали мужиков, мужики обнимали друг друга, Петр Францевич нежно расцеловался с путешественником, Ксения прильнула устами к Василию Степановичу. Братья-витязи уже сидели в седлах. Начал накрапывать дождь.

Некоторое время спустя дождь стучал по столам, залил рюмки, тарелки, миски со студнем и винегретом, дождь исколол острыми иглами серую поверхность реки. Люди бежали опроретью к деревне, те, кто не мог подняться, почивали в лужах. Пошел град, повалил снег.

Снег закрыл до половины низкие окна и завалил крыльцо. С трудом приоткрылась дверь, путешественник, обмотанный шарфом, в старой ушанке с опущенными ушами, в валенках и рукавицах, с деревянной лопатой выбрался из темных сеней. С полчасу он работал метлой и лопатой, откопал ступеньки, разбросал снег перед окнами и прорыл дорожку к хибаре соседа. Усы и борода путешественника покрылись сосульками, ресницы побелели от инея. Проваливаясь в сугробы, он добрался до двери. «Эй, Аркаша!» — позвал он. Дорога и огородное поле скрылись под волнистыми наметами снега, река сравнялась с полями, и призрачные леса с трудом угадывались в дымчато-белом мареве бездыханного дня.

ЧУДОТВОРЕЦ

Находился же в городе некоторый муж, именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ Самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему потому, что он немалое время изумлял их волхованиями.

Деяния апостолов, 8:9

Иди, скажи Симону: Петр ждет тебя у дверей.

Деяния Петра, 9

Тебе, мой внук, я завещаю эту тетрадь — известие о жизни и смерти твоего легендарного прадеда, чей образ, я знаю, не перестает занимать твое воображение. И еще я надеюсь, что когда-нибудь тебя заинтересуют некоторые мысли об устройстве мира, которые я решился передать бумаге, а также обстоятельства моей собственной жизни, записанные мною по памяти. Быть может, ты сумеешь найти в этих событиях тайный смысл, который мне неизвестен. Я же со своей стороны не могу дать пережитому нами иного истолкования, нежели то, которое содержится в одной старой притче, каковую я и решаюсь предпослать своим запискам.

Некогда жил в одном из богатых и славных городов Прирейнской Германии муж, известный своей ученостью. Время от времени его приглашал к себе местный епископ, и они беседовали о Боге. Епископ мечтал обратить его в христианскую веру. Но спор ни к чему не приводил, оба собеседника, исчерпав свои аргументы, оставались каждый при своих убеждениях. Однажды князь церкви потерял терпение и спросил напрямую: когда же, наконец, почтенный рабби опомнится? Еврей ответил: я скажу тебе через три дня. Прошло три дня, настал праздник Троицы. Епископ ждет еврея, тот не является. Уж не случилось ли чего с ним? Люди докладывают епископу, что еврей жив и здоров. Тогда епископ приказывает привести его силой. Я понимаю, говорит он еврею, решение далось тебе нелегко, но властью, данной мне, я освобождаю тебя от угрызений совести, если они тебя все еще мучают. Твои сомнения — не более чем предрассудок... Не стану повторять всего, о чем мы уже говорили не раз, но разве тебе не ясно, что синагога отжила свое время, что она была лишь преддверием подлинного храма? О, я верю, продолжал епископ, свет, просиявший в Галилее, в конце концов просветит и народ, который все еще носит повязку на глазах своих! И он увидит, что заблуждался, и тогда закончатся его скитания... Но тот, кто пришел к истине путем долгого размышления, — любимейший из моих духовных чад и драгоценное дитя Церкви, сказал епископ. Уверен, что ты подал пример своему народу. Итак: да или нет? Почему ты молчишь?

Я хочу, сказал еврей, чтобы мне отрезали язык.

Ты боишься сказать вслух о своем решении? — спросил епископ. Хорошо, оставим его в секрете. Скажи мне только на ухо: ты уверовал?

Вели отрезать мне язык за то, что он дал тебе повод подумать, что я способен отречься от веры моих отцов, — прошептал еврей.

Ах вот как, проговорил епископ. Нет! Не язык я тебе отрежу, закричал он и затопал ногами, не язык, а ноги за то, что они не привели тебя в Троицын день, как мы уговорились! И так велик был его гнев, и такая царила в те времена жестокость, что он в самом деле распорядился отпилить раввину ноги, и приказание было выполнено. После этого прошло сколько-то времени, и настал еврейский Новый год. Искалеченный рабби попросил отнести его в синагогу. Некоторое время он лежал и слушал кантора, а потом поднял руку и запел сам. Он запел гимн о небесном суде. Окончив пение, он умер.

Потрясенные люди разошлись в глубоком молчании, но никто не мог вспомнить слова гимна. И прошло еще сколько-то дней. В канун Судного дня покойный рабби явился во сне главному раввину города, и наутро раввин записал слово в слово гимн, услышанный им во сне, и с тех пор его произносят во всех синагогах дважды в год, в день Рош га-шана и в День Киппур. В Судный день, сказано в этом гимне, утверждается то, что намечено в ночь накануне Нового года: скольким отойти и скольким явиться на свет. В этот день утверждается, кто будет зачат и какой он умрет смертью, в свое время или безвременно, от воды, или от огня, или от меча, или от голода, от руки врага или от руки друга, от болезни, от унижений, от несчастной любви или на чужбине; в эту ночь решается, кому быть богатым, кому бедным, кому жить в покое, а кому скитаться, кого будут помнить, а кого забудут, кто оставит детей и внуков, а кто уйдет в темноту один. И лишь покаяние и благие дела смоют злое предначертание, так что глаза Судьи не смогут больше его разобрать.

Рассказывая эту притчу, мой отец добавлял: «В христианском учении по крайней мере одно бесспорно, — это то, что Йешу был евреем, что ему плевали в глаза, и таскали за бороду, и под конец прибили живьем к столбу позора. А как же могло быть иначе? Ведь он тоже один из нас. Только это и бесспорно. А все остальное...» И он разводил руками и поднимал глаза к потолку.

Мой отец занимался коммерцией, и в этом не было ничего необычного: три четверти жителей города были ремесленники и мелкие торговцы. Но разбогатеть он не смог. Не говоря уже о страшных событиях, которые обрушились на нас, он не мог рассчитывать на успех в пору, когда всех охватила великая мечта об Америке. Мечта о будущем... Да будет тебе известно, что это страшная болезнь. Она состоит в том, что люди больше не довольствуются реальной жизнью, не хотят оставаться в реальном мире, а хотят жить в воображаемом будущем. Это болезнь нынешнего века. И в конце концов она докатилась и до наших мест. Почему я заговорил о ней? Потому что тот,

кто живет будущим, не желает знать о прошлом. И людям, проходившим мимо магазина «Шимон Шульц. Антикварные предметы и древние реликвии», просто-таки не приходило в голову, что все эти предметы можно купить.

Разумеется, вещи, выставленные в витрине, составляли только малую часть того, что находилось внутри, мерцало и поблескивало в полутемной лавке, громоздилось на полках, стояло в углах и свисало с потолка, не говоря уже о стеллажах, ларях и коробках в задних помещениях, в подвале и даже на лестнице. Чего там только не было! Одежда и утварь всех времен, посуда, из которой ели тысячу лет назад, оружие, которым размахивали при царе Горохе, украшения, амулеты, индейские трубки мира, греческие иконы, марокканские бусы, кости святых, коллекции насекомых, книги, которые я листал в тщетной надежде что-нибудь понять, ночной сосуд императрицы Марии-Терезии, глиняный футляр для детородного члена, принадлежавший африканскому вождю. Там была, наконец, гордость фирмы, редчайшая реликвия: зазубренный чугунный меч с грамотой, удостоверяющей его подлинность: именно этим мечом вождь русской революции Лео Троцкий снес голову последнему царю.

Все это добро мой отец привозил из дальних поездок, приобретал за немалые деньги в надежде продать, все это ящиками доставлялось в лавку, дюжие мужики вносили их и ставили прямо на пол, а следом шел мой отец, неся шкатулку с какой-нибудь особо важной редкостью. И все это было продолжением нескончаемого и без конца повторяющегося сна, который я как бы видел наяву, когда мне было столько лет, сколько тебе сейчас, — сна, который, собственно, и был моей юностью; и оттого, что он повторялся так часто, он стал неотличимым от действительности.

Во всяком случае, с годами граница становится для меня все менее очевидной. Я надеюсь, что мои слова не вызовут у тебя недоумения. И разве ты в свою очередь не созерцаешь сейчас сон своей жизни? Разве в вечности, из которой мы вынырнули и в которую однажды опустимся вновь, наши грезы и наше дневное существование не сливаются в нечто нерасчленимое? Я не хочу забегать вперед и рассказывать сейчас о той удивительной поездке, которую мы совершили втроем, я, мой отец и кучер Владимир Приходько, о чудесном избавлении, которое Бог послал мне и твоей бабке в самый последний момент, об этих и других происшествиях нашей жизни, — но не кажется ли тебе, что вся история нашего народа — это сон, который ему же и снится? Глядя на сон глазами действительности, мы думаем, что то, что нам привиделось, было иллюзией; но что нам мешает взглянуть на действительность глазами сна?

Однако я отвлекся, а предмет моего рассказа требует особой точности. Память слабеет с годами, и, может быть, очень скоро я окажусь не в состоянии восстановить все случившееся в том порядке, в каком оно совершилось... Итак, мы говорили о нем, о моем отце. Мой отец был чрезвычайно занятым человеком. Поиски товара, путешествия по ближней и дальней округе, поездки в города, о которых в ту пору я имел крайне смутное представление, занимали у него все время, так что в лавке по большей части сидела Адела или моя мать, если у нее не было мигрени. Им помогал Арье, которого все называли Ареле, тупой большеголовый парень старше меня на два года, сын почтальона. Помню, с каким нетерпением я всякий раз ждал моего отца, и всякий раз оказывалось, что у него нет времени поговорить со мной или хотя бы рассказать всем нам, что он видел в далеких больших городах. Владимир разгружал коробки, Ареле нес их в дом, а в это время мой отец метался из магазина на улицу, с улицы домой, останавливался на минуту, чтобы велеть мне или Аделе распаковать раскрашенную деревянную куклу, изображавшую апостола Петра. «Это пойдет для витрины», — бормотал он, его башмаки стучали по каменным ступенькам подвала, тяжело поднимались по скрипучей лесенке на чердак, он носился, как дух, по всему дому, лихорадочно перелистывал счета и квитанции, щелкал костяшками счет и внезапно впадал в задумчивость, грызя вставочку, словно поэт, которому не хватает рифмы. «Завтра, завтра, — отмахивался он, — сил нет, всю ночь провел в вагоне...»

Но на другое утро оказывалось, что ему нужно срочно ехать на аукцион в Копривницу, на ярмарку в Коломью, поспеть к распродаже какой-то необыкновенной библиотеки бывших владельцев усадьбы под Каменец-Подольским. Такая непосредливость огорчала мою маму: во-первых, говорила она, неизвестно, зачем это нужно, лучше бы он как следует занялся торговлей, разгрузил склад, где негде повернуться; а во-вторых... Во-вторых, было обстоятельство, о котором в нашем доме не говорили вслух, так как оно подразумевалось само собой. Дело в том, что, приезжая домой, отец мой чаще всего проводил ночь не с матерью.

В тот год над городом несколько месяцев стояла комета, лето было исключительно жарким, что само по себе служило дурным предзнаменованием, коего смысл, однако, стал ясен лишь после того, как оно сбылось; но не то же ли происходит со всеми предупреждениями, которые делает нам судьба? Мне шел шестнадцатый год, я давно оставил хедер и стал учеником академии. Несколько лет тому назад умер брат моего отца, дядя Юлиан, которого я никогда не видел, — или что-то с ним произошло; так или иначе, мой отец должен был взять на себя заботы о вдове, и я хорошо помню день, когда он привез ее к нам; из коляски вылезла, высунув ногу в белом чулке, худенькая, очень

робкая, черноглазая женщина в парике и черном платье, совершенно не похожая на ту Аделу, какой она стала в нашем доме. С тех пор я не видел ее в черной одежде и в парике, ее волосы быстро отросли, лицо округлилось и порозовело, и вся она до такой степени изменилась, словно только теперь вступила в брак. Что, собственно, и случилось. И все понемногу привыкли, казалось даже естественным, что в доме моего отца вели хозяйство две женщины, как Сарра и Агарь в шатре праотца нашего Авраама, причем Адела даже первенствовала из-за болезненного состояния моей мамы. Другой вопрос — как к этому относились соседи, ведь ничего в нашем местечке не могло оставаться тайной. Но тут я должен заметить, что при всем неоспоримом влиянии, каким пользовались в городе последователи великого учителя и чудотворца Баал Шем Това, остатки франкизма все еще давали себя знать в наших краях: я имею в виду ту странную секту, зачинатель которой стяжал себе сомнительную славу тем, что усомнился в грядущем пришествии Мессии и возрождении земного Иерусалима. Говорят, этот учитель, по имени Яков Франк, не только разрешал, но прямо предписывал мужчине двоеженство: ибо, объяснял он, если два глаза даны человеку для того, чтобы рассматривать каждый предмет с двух разных точек зрения и в каждой вещи видеть две стороны, добрую и злую, а две руки — для того, чтобы давать и брать, защищаться и наносить удары, то две железные плодородия в мошонке у мужчины предназначены для того, чтобы поделить их между двумя женами: левая принадлежит старшей и законной, а правая — младшей и тоже законной. Дети левого ореха наследуют от отца его имя и богатство, а дети правого, которым придется добывать все самим, — его таланты и предприимчивость.

Так говорил этот полубезумный учитель, если только мне не изменяет память. Вспоминаю я и наш городок. Трава в то лето пожухла от жары, и все-таки он кажется мне сейчас очень зеленым и одновременно каким-то призрачным. И вообще я уже не знаю сейчас, существовал ли он на самом деле; кажется, его нет ни на одной карте. Теперь представь себе: улочка, мощенная булыжником, по обеим сторонам две канавы, заросшие колючками и цветами; вдоль длинного и нестройного ряда домов дорожка для пешеходов, посыпанная желтым песком; заборов почти нет, так тесно стоят дома, и на краю этой части города — узкий, чем-то напоминающий птицу с высоким гребешком, слегка наклонившийся вперед дом с мезонином под угловой крышей, с вывеской, на которой значилось имя моего отца. Из этого дома в каком-то смысле происходишь и ты.

В нашем городе было так: на одних улицах жили хасиды, на других поляки. Всё вместе называлось верхним городом, а внизу, на спусках к реке, жили украинцы, или хлопцы, как их называли поляки, и ты

не поверишь, но все как-то уживались друг с другом. И если ты шел по Сходу, то кругом раздавалась еврейская речь, и ты сам говорил по-еврейски, если же ты шагал по Жолнерской, то говорил с людьми по-польски. Синагога была для евреев, а костел и церковь для гоев, и поэтому еврей, если ему приходилось переступить порог христианского дома, был обязан оставить свои предрассудки, как галоши, за порогом, а христианин, войдя в хасидский дом, должен был повесить свою подозрительность на гвоздь в сенях. Что касается главной площади, под названием Троицкая, где стояла академия и другие красивые дома, то она принадлежала всем сразу. В двух шагах от площади, на проспекте Пилсудского, — довольно-таки громкое название для улочки, мощенной булыжником, но легенда, которую никому не удалось опровергнуть, утверждала, что по этой улице некогда прибыл с визитом в наш город обожаемый маршал, — в двух шагах от Троицкой площади находился дом, принадлежавший одному богатому торговцу овощами. В этот дом я частенько заглядывал по дороге из академии, но, конечно, не к хозяину. Наверху, в мезонине, жил рабби Коцкий. Звали его так потому, что он происходил из Коцка, а настоящее имя его было Рафаэль-Менахем-Мендл. И если он меня не прогонял, мы проводили время за разговорами и учеными занятиями. Рабби ездил в землю Израиля и рассказывал иногда о том, что он видел в граде Божьем, чье название с окончанием двойственного числа, говорят, с несомненностью указывает на существование двух Иерусалимов, земного и небесного.

С этим рабби Коцким, кстати сказать, произошла история, чрезвычайно укрепившая его авторитет среди хасидов; о ней рассказывали во всей округе, некоторые утверждали, что это было в Коцке, а в других местечках ее приписывали своим собственным цадикам. Но жители нашего города считали, что она случилась именно у нас, и я не вижу причин сомневаться в этом.

История эта касается одного богатого коммерсанта из Лемберга, а главную роль в ней сыграл шамес, который вел скромное хозяйство рабби. Между прочим, я знал этого шамеса, его звали Файвел, это был унылый одноглазый человек, тощий, упрямый и своенравный, как осел. По утрам реб Менахем-Мендл отправлялся в синагогу, по возвращении вкушал завтрак, который готовил Файвел, такой порядок никогда не менялся, за исключением того дня, о котором идет речь. Коммерсант прибыл в наш город по делам. Утром он вышел из гостиницы, и судьбе было угодно, чтобы он и рабби столкнулись нос к носу на узкой и грязной улочке; рабби Коцкий шагал в глубокой задумчивости, не заметил важного господина, и тот в раздражении толкнул рабби, и реб Менахем-Мендл полетел в канаву.

После этого, как рассказывают, коммерсант вернулся в гостиницу «Белый Орел» и стал жаловаться на дикие нравы и необразованность народа.

Хозяин гостиницы поинтересовался, что случилось. Да вот, сказал важный человек, какой-то бродяга толкнул меня и даже не извинился. Слово за слово, хозяин всплеснул руками: что вы наделали! Это же праведник, светоч науки! Тем временем реб Менахем-Мендл вылез из канавы, вернулся домой и стал ждать завтрака. Но Файвел не шевелился. Реб Менахем-Мендл возвёл очи к потолку и сказал: Боже! Я голоден. В ответ раздался голос шамеса из-за перегородки: «Разве Бог вам готовит завтрак?» Конечно, сказал рабби. И в эту минуту вдруг постучали в дверь. Это был коммерсант из Лемберга с богатым утешением. Он пришел извиняться...

Из моих тогдашних работ ничего, разумеется, не сохранилось, но я припоминаю один картон: на нем был изображен замок вымерших графов Чарторийских. Этот замок сгорел во время войны, и можно сказать, что это я накликал на него беду, представив его в языках пламени. Довольно странный сюжет, но я напому тебе, что в Мидраше есть притча о том, как один человек шел по дороге и увидел дворец, охваченный пожаром. Подошел ближе, стоит толпа, но никто не тушит огонь. Путник спросил: разве у этого дома нет хозяев? Нет, отвечали люди. Как вдруг с небес раздался громовой голос: «Я — владелец дворца!»

Реб Менахем-Мендл, который мало разбирался в живописи и ценил в искусстве лишь его содержательную сторону, поглядел на мою работу и сказал:

«Вот именно. Замок горит, хотя у него есть хозяин. Замок принадлежит владельцу, но когда он загорится — а он-таки загорится! — ни один человек из челяди палец о палец не ударит, чтобы его потушить».

В другой раз он объяснил мне знаменитое своей загадочностью место из Книги Шемот 33, где сказано, что, когда Господь прошел мимо Моше, он накрыл его своей ладонью, и поэтому Моше сумел увидеть лишь обратную сторону Господа, а лица его не увидел. Что это значит, обратная сторона Господа, спросил реб Менахем-Мендл. Мы сидели в его комнатке, оклеенной обоями с птицами и цветами, лето было в разгаре, белое смертоносное лето, и пыльная акация под окном трепетала под раскаленным ветром, который неся к нам, казалось, из Синайской пустыни. Но в комнате было прохладно, время от времени слышались вздохи домашних вещей, сдержанный ропот посуды в шкафу, где мой наставник хранил лечебные снадобья. Под окном цокали подковы, проехал ломовой извозчик. «Так что же это означает?» — спросил реб Менахем-Мендл.

Я думаю, что в этом и состояла наука, пусть преподаваемая мне отрывочно, с пятого на десятое и скорее по вдохновению, как все, что изрекал рабби Коцкий: искать тайный смысл, запечатленный в каждом стихе Торы и в каждом мгновении человеческой истории; я думаю, что утешение евреев состоит в этих поисках. Только в поисках, больше ни в чем. Я смотрел на него во все глаза.

«Это означает, — сказал он, — что человеку дано увидеть все абсурдное, все хаотическое, все напрасное и несправедливое, всю изнанку мира. Все его лохмотья, и нитки, и лоскуты. А все благое и упорядоченное, и как он выглядит с лицевой стороны, и какой смысл скрыт в этом мире, человек никогда не узнает. Я предвижу злые времена...»

Такие беседы вел со мной рабби Коцкий, если, повторяю, он был в мирном настроении, ибо, говоря между нами, он был в своем роде не лучше своего шамеса Файвела. Боясь его гнева, я скрывал от него, что бываю в христианской церкви. Сейчас мне кажется, что рабби, который мог кричать и бесноваться из-за пустяка, мог швырнуть на пол священную книгу, если я неправильно читал имена левитов или путал аббревиатуры, мог осыпать бранью всякого, кто тревожил его в неподходящее время, невзирая на лица и звания, — сейчас мне почему-то кажется, что как раз в этом принципиальном вопросе он, возможно, проявил бы терпимость и снисходительность. Как бы то ни было, когда несколько времени спустя тайна все же открылась, он только поморщился, — как если бы оказалось, что я занимаюсь грязной работой. И надо сказать, что работа была действительно грязная: нужно было до приезда артели из Коломьи соскоблить со стен старую штукатурку. Именно в это лето (другого времени он не нашел) протоиерею Петру Кифе пришла в голову замечательная идея отремонтировать православный храм. В академии начались каникулы, наш учитель профессор Головчинер нанялся к отцу Петру на работу, а меня как лучшего ученика взял в помощники.

Мне и прежде приходилось помогать профессору Головчинеру. Иногда мы занимались малярными работами, брали подряды в богатых домах. Я рисовал по трафарету бордюры, а профессор сидел на табуретке и рассказывал, как в молодости он жил в Париже, бедствовал, и блаженствовал, и дружил с великими мастерами. После этого он переходил к общим вопросам искусства, он говорил, что учит нас только тому, чему можно научиться, то есть ремеслу и глазомеру, что же касается искусства, то научить кого-либо искусству невозможно. Искусство или есть, или его нет, оно дремлет в душе, и ремесло — только способ извлечь его оттуда. Или способ продемонстрировать его отсутствие. Профессор Головчинер развивал эту мысль до тех пор, пока вся работа не была закончена.

Что касается Петра Кифы, то всем, кто его видел впервые, он внушал страх своим грозным видом, богатырским ростом, косматыми бровями и большим угреватым носом; но внешность, как известно, бывает обманчивой. Если бы отец Петр был чуточку больше деловым человеком, он не стал бы с нами связываться, потому что артель бралась все сделать за четыре недели. Но он сказал, что ему понятна разница между ремеслом и искусством. Думаю, что дело было не в искусстве, а в том, что профессор Головчинер кормил большую семью. Словом, договорились, что артельщики распишут стены и потолок, а профессор займется иконостасом.

Здесь я должен заметить, что мы переживаем историю двояко, как историю и как нашу собственную жизнь, причем только в воспоминаниях нам удастся кое-как совместить одно с другим. Подчас мелкие подробности застревают в памяти глубже, чем мировые события, тем более что мировые события всегда происходят как бы за горизонтом, и, хотя все мы знали о том, что началась война, я совершенно не помню день, когда в местечко вошла русская Красная Армия, — получилось так, словно мы жили, ни о чем не подозревая, а потом в одно прекрасное утро проснулись и увидели, что все изменилось: на Жолнерской улице стояли крытые брезентом грузовики, повсюду висели красные флаги и объявления; там говорилось, что нас освободили. Что под этим подразумевалось, сказать было трудно. На Троицкой площади, перед академией, солдаты в пилотках и обмотках разгружали с телег ящики: в академии разместился военный комиссариат. Почему мы вдруг оказались под русскими, что стало с правительством, с государством, никто не понимал, ходили разные слухи, но в конце концов мои родители, да и большинство жителей, помнили времена кайзера Франца-Иосифа, который тоже сгинул, и ничего страшного не случилось.

Ремонт был закончен, на дворе стояло бабье лето, словно природа тоже не желала знать ни о каких переменах и старалась растянуть до бесконечности этот и без того неестественно длинный год. Профессор Головчинер, окончательно оставшийся без работы, восседал на табуретке посреди пустой и гулкой церкви, раскрашенной, как новенькая игрушка; отворилась дверь, вошел гигант священник. Я принес еще один стул, отец Петр удостоверился в его прочности прежде чем сесть, и некоторое время оба молчали, разглядывая потолок.

«Знаете ли вы, отче, — проговорил профессор, — в чем разница между светским и сакральным искусством?»

«Священное искусство, — отвечал отец Петр, — опирается на канон».

«Совершенно верно, — сказал профессор Головчинер, — то, что в светской живописи считается признаком бесталанности — повторение сделанного другими, — то в канонической живописи не только не считается зазорным, но, наоборот, поощряется».

«О-хо-хо, — вздохнул отец Петр, — что вы теперь будете делать?»

«Комендант заверил меня, что это ненадолго. Как только в городе установится советская власть, начнем новый учебный год. В академии будут учиться дети трудящихся классов, а меня назначат директором».

«Ну что ж, прекрасно», — заметил отец Петр.

«Вопрос только в том, где мы возьмем детей трудящихся классов?»

«Бог даст, обойдется».

«Вернемся к искусству, — сказал профессор, — как вам нравится Богородица?»

«Приятственно. Вы большой талант».

«Вы имеете в виду мой талант педагога?»

«При чем тут талант педагога?» — спросил отец Петр.

«А при том, что икону-то писал не я. Ее писал Юзеф».

«Да иеужто? — воскликнул отец Петр. — Юзя, подь-ка сюда. Какой ты молодец».

«Молодец-то молодец, — проговорил профессор Головчинер, — только... Разве вы ничего не замечаете?»

«А что?»

Профессор Головчинер закашлял, заерзал на табуретке.

«Я хотел вас предупредить, отче, я думаю, это будет лучше, чем если об этом вам скажет кто-нибудь из людей. Но если вы хотите, мы можем переписать... Кхм... Вам не кажется, что у Богородицы слишком уж иудейские черты?»

«Что же тут странного? Ведь она была иудеянка».

«Да, но... Присмотритесь. Не узнаете?»

«Кого же я должен узнать?»

«Слава Богу, — сказал профессор Головчинер. — Значит, это мне просто показалось. Конечно, это мне показалось. И откуда я только взял?... Очевидно, все дело в том, что у художника свой особый взгляд, может быть, слишком придирчивый. Мы видим то, чего никто не видит... чего нет на самом деле. То есть что значит — на самом деле? Искусство создает свою собственную действительность».

Тут он принялся рассуждать на одну из своих любимых тем, но суть в том, что на иконе была изображена Адела.

Да, представь себе. Как это произошло, каким образом я вдруг понял, что мое отношение к Аделе изменилось, я не могу объяснить. Ведь еще совсем недавно она для меня ничем не отличалась от других женщин и девушек. Я видел ее каждый день и не догадывался, что в нашем доме живет царица. И вдруг мои глаза открылись. Я увидел другую Аделу. С этого дня я, как потерянный, думал только о ней. От одного ее имени начинало колотиться мое сердце. Это имя напоминало корабль с белыми парусами, напоминало крыло птицы, я писал его на бумаге, на

моих рисунках, выводил краской на холсте, нашими буквами, среди которых, как тебе известно, почти нет гласных, — они только подразумеваются, но их дыхание наполняет слово, как ветер — паруса; я повторял это имя, и душа моя наполнялась грустью, которая охватывает нас при виде всего прекрасного. Непостижимым чутьем я слышал издали шорох ее платья и угадывал ее присутствие, потому что вещи становились другими оттого, что она к ним прикасалась, стакан хранил вкус ее губ, половицы помнили ее легкую поступь, зеркало прятало ее отражение; она превратилась в тень, в белый призрак, я боялся встретиться с ней, и мне кажется, она догадывалась об этом.

Все это продолжалось уже несколько недель, как вдруг меня осенила идея: я понял, что должен написать ей письмо. Она должна была узнать о моих чувствах от меня и вместе с тем как бы не от меня. Она должна была знать, и больше мне ничего не было нужно, я ничего от нее не требовал, ничего не ждал, ни на что не надеялся; меня несколько не волновало, что она жена моего отца; я был, ей-Богу, выше всяких плотских побуждений. И смысл моей любви был только в одном: открыться Аделе. Укрывшись на чердаке, под вечер, я долго сидел над листом бумаги, придумывая, как обратиться к ней: «милостивая государыня» не годилось, ведь мы жили в одном доме, «дорогая Адела» звучало слишком буднично; наконец я решил вовсе обойтись без обращения и начертил сумбурное, восторженное письмо, смысл которого, если там вообще присутствовал какой-нибудь смысл, сводился к тому, что, приняв решение уйти из жизни, я хочу довести до ее сведения, как много она, Адела, для меня значила. Я рассказывал о своей любви уже в прошедшем времени! Уйти из жизни. Почему я, собственно, это написал? Не знаю. Оттого, что это красиво звучало. Оттого, что я хотел окружить себя мрачной таинственностью, которая, как известно, всегда интригует женщин. А может быть, я в самом деле постиг, что с таким чувством, какое меня охватило, продолжать мою жизнь невозможно. Я запечатал конверт, наклеил марку с белым польским орлом и незаметно вышел на улицу. На углу я обернулся. Наш дом с вывеской «Антикварные предметы» был залит оранжевым светом заката, и окна горели, словно в комнатах был пожар. Вдруг я увидел ее. Она стояла наверху, в открытом окне своей комнаты. Ее черные волосы блестели на солнце. Если бы она знала, какое известие ее ожидает! Когда я еще раз обернулся, ее уже не было.

Я хотел отправить письмо заказным, но оказалось, что почта закрыта. Пока я топтался на крыльце, из ворот вышел Ареле, о котором я уже упоминал. Я спросил: почему так рано закрыли? «Я знаю?» — ответил Ареле. Родители Ареле снимали квартиру во флигеле, принадлежавшем пану Волюлеку, а сам Волюлек занимал верхний этаж дома, где была почта. Я решил постучаться с заднего входа во дворе.

«Не надо», — сказал Ареле. «Почему?» — «Там нет никого». — «Куда же все подевались?» Ареле посмотрел на меня, потом посмотрел на небо. «Знаете что, пан Юзя, — сказал он, — уходите отсюда. А то хуже будет».

Мы сидели на скамеечке перед воротами, Ареле грыз семечки, а я думал о письме, которое лежало у меня во внутреннем кармане.

«Когда возвращается пан Шимон?» — спросил он.

Я пожал плечами.

«Он обещал мне привезти галоши».

Я поинтересовался, зачем ему галоши.

«Потому что, — сказал Ареле, — в Америке все время идет дождь».

«В Америке?»

«Ну да. Там же рядом океан. И зимой вместо снега идет дождь».

«А что вы там будете делать?» — спросил я.

«У моего отца специальность. Он будет работать по специальности. Поработает немного, а потом станет начальником почты. Как пан Волюлек... Слушайте, пан Юзя, — проговорил он. — Я что хотел сказать. Только это между нами. Пана Волюлека увели».

«Увели? Куда?»

«Я знаю? Пришли красноармейцы и увели».

Он добавил:

«И вашего профессора арестовали. И...»

Я ничего не понимал.

«Татэ говорит, пока можно, надо ехать в Америку. Потом будет поздно. Ладно, — вздохнул он, — пойдемте, я вас проведу...»

Мы вошли через заднюю дверь в контору, Ареле взял штемпель, похожий на молоток, проверил дату и ловко стукнул молотком по письму.

«Заказное», — сказал я.

«Заказное так заказное. С вас два золотых».

«Но ведь я наклеил марку».

«Ну и что? — сказал Ареле. — Марка маркой, а плата само собой. Такой порядок».

На другой день неожиданно прибыл мой отец.

В этот раз он приехал налегке, поставщики отказали ему в кредите, и его прибытие и последовавший за этим отъезд вместе со мной означали, как вскоре выяснилось, столь решительный поворот событий, что все происходившее доселе кажется мне теперь лишь малозначительным предисловием; постараюсь, однако, не забегать вперед. У меня были какие-то дела в городе, я пытался узнать, что случилось с профессором Головчинером, ничего не узнал и бродил по улицам, не зная, что мне делать, но когда, наконец, я отправился домой, меня ожидало по дороге еще одно происшествие.

Уже издалека можно было заметить толпу, стоявшую перед домом овощного торговца. Били в бубен. Я протиснулся между людьми, на крыльце был разостлан ковер, на ковре и вокруг крыльца, под большой акацией, воздев руки и закрыв глаза, танцевали хасиды. У одного из танцующих на плечах сидел мальчик и колотил в бубен. А в окне мезонина за стеклом стояло искаженное, с выпученными глазами лицо рабби Менахема-Мендла из Коцка.

Я взбежал по лестнице и открыл дверь в комнатку с птицами как раз в ту минуту, когда раздался звон стекла. Бряканье бубна на улице прекратилось, и в комнату ворвался вздох толпы. Реб Менахем-Мендл в белой одежде стоял перед разбитым окном, вознеся над головой свои окровавленные руки. «Принеси мне воды и бинтов, — сказал он не оборачиваясь, — где ты там?..» Очевидно, он думал, что вошел шамес.

Я заметался по коридору, Файвела не было ни на кухне, ни за перегородкой. Он сбежал, убоившись великого гнева, в который впал рабби. На плите стояло сложное сооружение из стеклянных реторт и трубок для приготовления снадобий; кроме того, я это знал, рабби занимался алхимией.

Кое-как я обмотал его руки платками. Праздничный наряд рабби с нашитыми на груди священными буквами был запачкан кровью. Вдруг он оттолкнул меня и закричал в окно:

«Безмозглые ослы! Прочь с моих глаз!»

Голос его сорвался, он топал ногами и тряс над головой замотанными в окровавленные тряпки руками.

«Что вы тут собрались, марш отсюда! Отправляйтесь к врачу! К черту, к дьяволу, к психиатру... Я вам не врач!»

Снизу раздался гнусавый голос:

«Рабби, что нам делать?»

Он повернулся ко мне, тяжело дыша.

«Ах это ты, — сказал он, словно только что узнал меня, — представляешь себе, они меня не выпускают... Я вам больше не учитель! — загремел он снова. — Я вам не рабби!.. Я старался вам помочь как мог, все бесполезно... Вы недостойны вашего учителя!.. Олухи! Безмозглые скоты! Идите и молитесь вашему всевышнему, ваш всевышний не имеет ничего общего с истинным Богом!»

«Труби, — сказал он, — труби в шофар».

И так как я медлил, он крикнул:

«Труби, говорят тебе!»

Я взял рог, на котором были выгравированы слова псалмопевца: «Радостно пойте Богу» — и затрубил.

«Слышите? — закричал реб Менахем-Мендл. — Вот!.. Вы думали, что это трубный глас Мессии, а это всего лишь мальчишка, недоучив-

шийся художник, сопляк, дудит в бычий рог!.. И так всегда будет с вами! Вы думаете, что земля вертится ради вас и что у Бога нет других забот, как только слушать ваши вопли, глядеть на ваши танцы-шманцы, вы думаете, Бог существует ради того, чтобы вас кормить и поить и беречь от коварных гоев, чтобы любоваться на вас и млеть от восторга, слушая ваше гнусавое пение? Так вот, нет! Бот изгнал из Эдема первых людей, потому что это были взрослые люди, для которых настало время собственных забот, время жить и время умирать! Суровый отец, он сказал им: я вас породил, я вас вырастил, хватит! Теперь живите своим умом — и марш отсюда! Трудитесь в поте лица своего... А меня больше нет! Мое жилище на небе, и как Моше не увидел моего лица, так и вы меня больше не увидите, не посмеете бить поклоны перед моим изображением, не посмеете произнести вслух мое имя. Вот что такое Бог, Бог Израиля!.. Прочь от моего крыльца, не то я возьму сейчас эти осколки и вот этими руками забросаю вас, говноеды, ослы безмозглые...»

«Рабби, — простонал голос внизу, — на небе висит хвостатая звезда, скажи: что нам делать?»

«Звезда? Ну и что, что звезда! При чем тут Бог? Вам непременно хочется, чтобы во всем был Божий знак! Слава Богу — у него есть другие заботы...»

Он уперся руками в подоконник, точно собирался выпрыгнуть наружу и расклевать толпу своим загнутым книзу, как клюв, носом. Потом обернулся ко мне, сверкая выпученными глазами... и я уж не знаю, чем это все кончилось: я почувствовал, что лучше убраться по-доброму-поздорову.

Дома я застал мою мать в необыкновенном волнении. Отец сидел за конторкой в заднем помещении магазина, щелкал на счетах и погружался в долгое раздумье, как всегда, никого не видя вокруг себя, зато мама с перевязанной головой, что означало особо жестокий приступ мигрени, бросилась мне навстречу, заламывая руки.

«Кровь моя... Дитя мое единственное! Я места не нахожу!»

В чем дело? Что такое?

«Адела сказала, что тебя уже нет в живых...» И тут вдруг выяснилось, что я попросту забыл и о письме, и о своих чувствах, и даже — какой стыд! — о самой Аделе.

Но нет худа без добра. По крайней мере ко мне вернулось самообладание. Она меня выдала, хорошо же. Сейчас я выложу ей все начистоту. Пусть знает, что я ее больше не люблю. С такими мыслями я поднимался по лесенке в мезонин, где жила Адела.

Я еще ни разу не был в ее комнате. Там было очень тесно из-за всяких полочек, салфеточек, этажерок, пузатого комода и громадного резного шкафа, всю эту мебель привезли из дома ее прежнего мужа.

Все кругом было заставлено безделушками, вазочками, слониками, стены увешаны тарелочками, крыльями птиц и фотографиями родителей Аделы, все блестело и мерцало. Комната была похожа на раковину. Я стоял, насупившись, на пороге.

«А, это ты», — сказала она.

Я увидел, что она необыкновенно красива в своем струящемся шелковом платье, с крупными бусами на белой, как сливки, шее, с украшениями в маленьких ушах, невысокая, немного выше меня, пышногрудая и роскошная, как царица Савская. В комнате стоял удушающий аромат цветов или духов, аромат ее волос; от этого запаха я испытывал нечто вроде слабого опьянения, и меня слегка подташнивало.

«Что с тобой?»

Некоторое время я смотрел на нее, чувствуя, что я не в состоянии произвести то, что собирался ей объявить, и вдруг выпалил:

«Профессора Головчинера забрали».

«Что ты говоришь? Не может быть. Кто?»

«Солдаты».

«Господи... — проговорила она. — Наверное, он что-нибудь сказал. Что-нибудь против новой власти».

«Не знаю. Я хотел пойти к коменданту».

Она покачала головой. «Не делай этого. Не делай этого, мальчик. Бог с ним, как-нибудь без тебя разберутся... Разберутся и отпустят».

Наступила пауза. Мы глядели друг на друга.

«Мадам Адела, — промолвил я, наконец, — почему вы меня предали?»

Она сделала удивленные глаза.

«Почему вы рассказали, что я... разве это предназначалось для других?»

«Я испугалась, — сказала она, улыбаясь, и я не понял, шутит она или говорит серьезно. — Может быть, ты все-таки войдешь?»

Я смотрел в окно, мимо нее, сердце мое билось медленно, безнадежно, горечь переполняла меня, и я испытывал особую, ни с чем не сравнимую сладость быть обиженным. Вместе с тем эта роль обиженного и оскорбленного запрещала мне говорить, теперь не я, а она должна была загладить свою вину.

Надо было как-то прервать затянувшееся тягостное молчание, и она спросила:

«Где ты был?»

Я молчал и смотрел в окно.

«Ты не хочешь со мной разговаривать?»

Я ответил, что был у рабби.

«Сумасшедший старик, — сказали она. — Мешугенер».

Я покачал головой.

«Ты тоже сумасшедший. Разве так поступают? Отчего ты не пришел ко мне и не рассказал мне о том, что... ты питаешь ко мне такие чувства? Если бы все кончало с собой от любви, у нас не осталось бы мужчин... Тебе было стыдно? Разве это стыдно? По-моему, это совсем не стыдно, наоборот...»

«Я не люблю вас больше, мадам Адела...» — сказал я, глядя в пол.

«Глупый мальчик, ты на меня обиделся?»

Я смотрел мимо нее. Мне было душно, тяжело.

«А я-то думала... — протянула она. — Послушай, Юзя. Не думай, что я показала письмо твоей маме. Такие письма никому не показывают. Такими письмами, если хочешь знать, гордятся, такие письма хранят и потом перечитывают в старости... Но о них не рассказывают. И я ничего о нем не говорила. Я просто сказала, что за последнее время ты очень изменился, стал задумчивым и печальным и... я боюсь, как бы ты не сделал над собой что-нибудь, ведь это бывает у мальчиков в твоём возрасте... А тут как на зло тебя нет целый день дома. И в городе творится Бог знает что... Ну, не сердись. Мне твое письмо очень понравилось. Я его перечитывала много раз. И что же? Оказывается, все это была шутка! Оказывается, ты меня вовсе не любишь. Ты посмеялся надо мной!»

«Нет, — пролепетал я, глядя на Аделу сквозь слезы, — нет!»

«Иди ко мне, — сказала она, — иди, я тебя поцелую. Ты успокоишься и пойдешь к отцу. И забудем эту историю.»

Я стоял, словно привинченный к половицам, и не мог сдвинуться с места.

«Ну?...»

Она подошла ко мне, смеясь.

«Знаешь, это даже невежливо. То ты мне пишешь, что умираешь от любви ко мне, а то даже не хочешь на меня смотреть. Так настоящие кавалеры не поступают. Когда дама оказывает кавалеру знак внимания, его принимают как высокую честь. Эту честь надо заслужить. Ай-яй-яй. Вот так мужчина».

Она склонилась ко мне и поцеловала меня в обе щеки.

«От тебя пахнет медом, — сказала она. — От тебя пахнет детством. Может быть, Юзя, это последний день твоего детства... Ну вот, а теперь приведи себя в порядок и ступай... И знаешь что? Мы с тобой будем теперь друзьями. Ты покажешь мне свои картины. Будем друзьями... да? — Она вздохнула. — Нет, я вижу, ты по-прежнему на меня сердит. А почему? Я тебе скажу. Это в тебе говорит твоя гордость. Ты дуешься, потому что думаешь, что ты унизила передо мной. Ах ты, маленький зазнайка! Как же ты будешь дальше жить? Твой ребе тебя ничему не научил! самого главного он тебе не сказал. Ты знаешь, что в жизни самое главное? Самое главное — это когда люди любят друг

друга. Для этого они и созданы. Мужчина создан для того, чтобы любить женщину, а женщина для того, чтобы принадлежать мужчине. Ты этого не знал, дурачок? Ну конечно, кто ж тебе это скажет. О таких вещах не говорят. Такие вещи подразумеваются сами собой!»

Она сидела спиной к окну, склонив голову на плечо, ее лицо было в тени, и пышные волосы окружали его черным сиянием.

«Что же ты не уходишь? — спросила она глубоким грудным голосом. — Чего ты ждешь?.. Ну, иди ко мне... На одну минутку, а то кто-нибудь войдет».

И мои ноги подтащили меня к ней.

«А теперь, — промолвила Адела, — закрой глаза. Закрой глаза, открой рот. Я положу тебе конфетку... Ну вот, совсем другое дело. Мой кавалер удостоил меня улыбки. Только чур не открывать глаза. Открой рот. Сейчас в него влетит птичка. И-и... раз!»

Она толкнула меня пальцем в грудь, я засмеялся. Потом вторым пальцем. Мне стало необыкновенно щекоотно, как вдруг Адела меня обняла и крепко, страстно поцеловала в губы. Ее руки легли мне на плечи.

«Теперь твоя очередь, — тяжело дыша, сказала она, — Но только один раз. Слышишь? Один раз, и ты пойдешь к родителям. Даешь слово? Чур не открывать глаза! Раз, два...»

Я не выдержал и посмотрел. Ее платье было расстегнуто и спущено с плеч, красные ягоды бус качались над ее кожей, я стоял перед ней на коленях, она наклонилась, и в каком-то жару, ужасе и отчаянии я коснулся губами ее больших, теплых, круглых плодов с темными упругими сосками.

Вдруг послышался скрип ступенек. Я вскочил на ноги. В дверь постучали.

«Да? — пропела мадам Адела, с необыкновенной ловкостью застегивая что-то спереди и сзади. — Войдите».

Ручка повернулась, но дверь была закрыта.

Адела не спеша проплыла мимо меня. «Ах, Боже мой, — проворковала она, — это ты закрыл дверь?..»

На пороге стоял мой отец.

«Ты тут? — произнес он с озабоченным видом. — Иди быстро, покупай и попрощайся с мамой. Мне надо сказать два слова тете Аделе».

«Что случилось?» — спросила Адела.

«Ничего...»

Быть может, тогда я впервые заметил, как неравномерно течет время жизни. В сущности, тривиальная истина, кто этого не знает? Но людей обманывает мерный ход часов и величественный полет созвездий. Оттого, должно быть, так встревожило наших жителей явление необыкновенного небесного тела — больше, чем война, чем

смена властей. Ведь эта звезда грозила нарушить однообразное, то-ропливо-медлительное, как сыплющийся песок, переливание времени из дневной чаши в ночную. Но это однообразие — не что иное, как видимость. На самом деле время течет, как река, порой как будто стоит на месте, порой несется и бурлит на перекатах, так что едва успеваешь за ним следовать.

В столовой меня ждал ужин, рядом стояла недоеденная тарелка отца. Вошла моя мать.

«Ничего не понимаю...», — пробормотала она.

Бедняжка, она не могла поспеть за этими перекатами времени, за лихорадочно стучавшими часами нашей жизни.

Сидя напротив меня, она теребила край скатерти, перекладывала с места на место то нож, то салфетку. Потом подняла на меня тусклый, больной взор.

«Ты осунулся. Некому за тобой присмотреть... Если бы я была здорова... Нет, — и в ее голосе появились обычные плачущие ноты, — я просто не понимаю! Я ничего не понимаю. Мне ничего не говорят. Вдруг приспичило. Вдруг на ночь глядя надо ехать. Куда? Зачем? Ты знаешь, что твой отец берет тебя с собой? Он тебе ничего не говорил? Мне он тоже ничего не сказал. Ты можешь мне объяснить, в чем дело?.. То он говорит, что поставщики закрывают склады и надо сворачивать торговлю. Ну, сворачивать так сворачивать. У нас столько товара, что дай нам Бог распродать его за десять лет. А то вдруг сорокопад. Когда кругом творится такое, что не знаешь, что с нами завтра будет. Кушай...»

Словом, когда я вышел из дому, Сарра уже стояла перед крыльцом, перебирая короткими мохнатыми ногами. Как это ни покажется странным, таково было имя, которое кучер Владимир дал своей лошади; это была довольно вздорная, хитрая и норовистая кобылка с розовыми глазками и грязно-белой гривой. Сам Владимир сидел на облучке и подмигнул мне: дескать, не тушуйся... В самом деле, мой отец давно уже поговаривал о необходимости приучаться понемногу к ведению дел, но известие о том, что он берет меня с собой в деловую поездку, захватило меня врасплох. По нынешним временам требовались пропуска, но он и это предусмотрел.

Я уже упоминал о нашем путешествии; позволю себе, прежде чем приступить к рассказу о нем, одно небольшое замечание. Рабби Менахем-Мендл из Коцка говорил, что расстояние, которое нас отделяет от прародителей, больше, чем расстояние от Коломны до Иерусалима, но обратное расстояние от нас до прародителей меньше, чем от одного конца стола до другого, и я теперь понимаю, что он хотел этим сказать. Он хотел сказать, что понадобилось пять тысяч семьсот лет, чтобы мир стал таким, каким мы его застали, но живому человеку достаточно одного усилия мысли, чтобы очутиться рядом с предками, жив-

шими много веков назад. И более того: по зрелому размышлению он понимает, что предки Израиля живут вечно и лишь на короткое время становятся нами; их вечная жизнь нуждается во временной оболочке, и что же такое есть эта оболочка, как не мы все, мой отец Шимон Шульц, мадам Адела, профессор Головчинер, рабби Коцкий, одноглазый Файвел и все прочие.

«Ну давай, бабуся, — сказал кучер Владимир, — шевелись. Работай...»

У меня всегда было такое впечатление, что жизнь в нашем местечке сделала Владимира самого похожим на еврея, во всяком случае, он прекрасно говорил на идиш и даже усвоил себе особенное дорожное красноречие. «Надо же, — говорил он, в то время как тарантас гремел по булыжной мостовой и ушастая голова Сарры безостановочно кивала в такт равномерному цоканью подков и неумолчной речи возницы, — надо же, если бы мне сказали, что животная тварь, и та — жидовка, ни за что бы не поверил. Сколько же это на свете жидов, пан Шимон?»

Мой отец молча развел руками.

«Говорят, в Палестине ни одного еврея не осталось, все по белу свету разбрелись. Верно?»

«Нет, это неверно, — сказал мой отец, — хотя, с другой стороны...»

Он сидел подле меня, положив руки на набалдашник трости, тщательно одетый, как всегда, когда он выезжал по делам, в черном котелке, в галстук бабочкой и в пенсне, которое он надевал, чтобы придать себе больше респектабельности. Город остался позади. Миновали замок Чарторыйских, дорога шла в гору, и солнце, садясь над лесом, светило нам в глаза. Мы перевалили через бугор, и внезапно широкий небосвод исчез, в красно-золотистых сумерках мы катили по мягкой, усыпанной хвоей дороге, время от времени колесо стучало о корень, экипаж подскакивал и плавно катился дальше, через полосы света и сумрака. Открылась широкая просека, длинная бесформенная тень лошади, перебирая ногами и цепляясь за кочки и кусты, постепенно обгоняла нас. Владимир пел песню.

Мой отец вынул из жилетного кармана часы, отколупнул крышку, поднес циферблат к глазам, потом к уху.

«Вот так история, — проговорил он. — Можешь себе представить: десять лет шли минута в минуту и вдруг остановились ни с того ни с сего... Как бы нам не опоздать». Я обернулся. Красный пожар заката стоял позади нас за черными стволами деревьев.

«Давай, давай, бабуся, — бормотал кучер, — работай...»

Угасающий день и тряска, монотонная езда начали убаюкивать меня, как вдруг у поворота показалась человеческая фигура — мужик с лопатой, с медным от закатного румянца лицом.

«Стой, тпр-рр, — скомандовал Владимир. — Отдохни маленько. — Сарра остановилась. — Браток, — сказал он по-польски, — не знаешь ли, который час? Нам к поезду поспеть надо».

Человек взобрался на козлы и сел рядом с Владимиром, поставив лопату между ног. Шарабан запрыгал по ухабам. Мужик сказал:

«Да ведь поезда не ходят».

«Как это не ходят?»

«Говорят, покушение было али диверсия. Какие-то, говорят, лесные братья. Партизаны, мать их ети».

Были уже густые сумерки, когда показались первые мазанки и плетни Коломьи; за кустами смородины мелькали яркие огоньки, высоко над садами блистало серебряное небо. Колеса застучали по торцам мостовой. Улицы города были пустынные, вокзал охраняли красноармейцы. Человек с лопатой спрыгнул с козел и как-то мгновенно растворился в полутьме. Странная идея осенила меня: на минуту, не больше, мне показалось, что инструмент, который он держал в руках, был вовсе не лопатой. Владимир, повернувшись на облучке, хитро подмигнул мне.

«Понял, кто это? Парень-то, похоже, что тоже из этих лесных...»

Мой отец вылез из шарабана, и тотчас к нам подошел русский патруль — офицер и два солдата. Я думал, нас заставят повернуть назад, но этого не произошло. Офицер вернул отцу паспорт, и несколько времени они говорили о чем-то. Отец водил пальцем, показывая вперед, туда, где светились огни переезда. Офицер кивнул. Отец вошел и сел рядом со мной.

«Вот так, старуха, — сказал кучер Владимир, — придется еще поработать. Ничего не поделаешь. Дела есть дела. Однако не подкрепившись, далеко не уедешь. Вы как считаете, пан Шимон?»

«Даю тебе полчаса, — сказал мой отец. — Меня ждут, я не могу отменить поездку».

Мы подкатили к шинку, Владимир распряг Сарру, привязал к конюязи и надел на морду мешок с овсом. Погруженный в свои мысли, мой отец прогуливался взад и вперед, я плелся следом за ним. Стало холодно. «Сейчас поедем, — сказал он, — садись в коляску. Садись... я тебя укрою». Закутавшись в плед, я искал в бездонном черно-голубом небе хвостатую звезду. Голос рабби Коцкого отчетливо зазвучал в моих ушах. Реб Менахем-Мендл вышел из дверей трактира и сел на облучок. Потом я услышал голос моего отца, он сказал: «Ты таки изрядно подкрепился». Сарра стояла перед повозкой. «Бабуся, давай», — бодро сказал рабби Коцкий голосом кучера Владимира, и я сам не заметил, как прижался к неподвижно сидевшему рядом со мной отцу, чего никогда бы не осмелился сделать, если бы сон не сморил меня.

Вероятно, мы ехали довольно долго, потому что, когда я очнулся, местность, залитая серебристым светом звезд, была уже непохожа на наши места. Так далеко от дома я еще никогда не был. Вокруг расстилались плоские поля, далеко на горизонте узкой кромкой слева и справа от нас чернели леса, а впереди блестела вода. Дорога вела к низкому песчаному берегу, и, лишь подъехав совсем близко, мы увидели деревянный мост — он лежал в воде.

«Партизаны, мать их... — пробормотал кучер Владимир. — Что ж делать-то будем?» Он спрыгнул с козел и стал ходить взад и вперед вдоль берега. Мой отец все так же прямо и неподвижно сидел, положив руки в перчатках на трость, и как будто не слышал вопроса. Владимир развел руками, было очевидно, что он предлагает повернуть назад. Мой отец медленно покачал головой. Кучер вошел в воду, пробуя грунт, что-то соображал, вышел, насвистывая. Сел, тронул вожжи. Лошадь тряхнула головой и стала заворачивать вбок. «Балуй мне!» — закричал Владимир, натягивая вожжи, но лошадь не слушала его, тарантас резко развернулся на песке, так что мы чуть не опрокинулись. Камни заскрежетали под колесами, Сарра, вбивая копыта в песок, втащила нас на пригорок, там оказалась колея, которая вела к воде шагах в тридцати от того места, где Владимир искал брод. «Ишь ты, — проворчал кучер Владимир, — тоже мне... а я и без тебя знал». Колеса въехали в воду. Сарра шагала вперед, тряся темно-седой гривой, работая крупом, черная рябь бежала по обе стороны экипажа. «Валяй, валяй, пропадать так с музыкой!» — приговаривал наш возница. Вода поднималась все выше. Лошадь стала. «Но!» — гаркнул Владимир. Сарра шагнула вперед, и тотчас экипаж завалился набок. «Но! но!..» — кричал Владимир. «Я думаю, колесо сломалось», — сказал мой отец. Мы сидели в наполовину затопленном экипаже посреди реки, Владимир спрыгнул, вода была ему по пояс. Схватив лошадь под уздцы, он дергал ее за собой, наконец тарантас двинулся, слава Богу, колеса были целы. Мы выбрались на другой берег, поросший кустами и осокой, выше начинался луг. Вода лилась с меня ручьями. Из-за кустов показалась голова Владимира и морда Сарры, кучер вел ее за собой, раздвигая заросли, мой отец сидел в повозке. Не могу сказать, чтобы это приключение напугало меня, и, что еще более странно, мне совсем не было холодно. Мы стояли на лугу; начинало светать.

Одно старое предание гласит, что вечный дух нигде не останавливается. Он идет от дома к дому, из страны в страну, из века в век и не знает покоя. Как вдруг что-то происходит, и он не может идти дальше. Он стоит перед домом, а из окошка на него смотрит старик, житель этой деревни. Старик спрашивает: что случилось? Я устал, отвечает дух-скиталец. Не могу больше идти. Может, тыпустишь меня к себе? Так они смотрят друг на друга, если только можно смотреть на духа, у

которого, как известно, нет ни облика, ни абриса, и молчат. Отчего же, говорит старик, можно и пустить. Только плохи твои дела, ежели ты не в силах больше двигаться; ты будешь греться и отсыпаться, но перестанешь быть духом и превратишься в такого же немощного старца, как я, которого ждет не дождется смерть. Нет, тебе нельзя останавливаться, сказал старик, и точно так же и нам нельзя было сидеть и отдыхать. Надо было продолжать путь, время подгоняло нас, а тут еще разговоры о партизанах. Край неба уже розовел на востоке. Отца ждали перекупщики.

«У меня тут кое-что есть, — проговорил он, — мы можем переодеться. Если только вещи не промокли...»

Вдвоем с кучером Владимиром мы извлекли из повозки большой кожаный чемодан с металлическими уголками и застежками, отец снял с шеи ключ. Это был товар, который он собирался уступить другим антикварам, с тем чтобы погасить хотя бы самые неотложные платежи. Чемодан лежал на траве; присев на корточки, мой отец достал оттуда несколько небольших ваз древней чеканки, восьмиконечный наперсный крест, похожий на тот, который носил на груди отец Петр Кифа, но, пожалуй, еще красивей, далее на свет явился кинжал из Дамаска и еще два-три подобных предмета. Отец поднял голову: «Ну, что ты стоишь? Раздевайся». Мы переоделись в то, что лежало на дне чемодана и, к счастью, осталось сухим. Мой отец преклонил колено, чтобы завязать ремни сандалий. На нем была белая хламида, на которую он набросил легкий гиматий. Он аккуратно сложил костюм и котелок в чемодан, взглянул на часы и, так как они стояли, уложил их туда же.

«Ну вот, — проговорил он, вздохнув с облегчением. — Теперь можно ехать».

Солнце должно было вот-вот взойти. Небо сияло ровным розовато-золотистым светом, переходившим позади нас в серебряный и лиловый. День обещал быть теплым. Лошадь бодро хрустела копытами по песчаному тракту. Оттого, что мы выкупались в реке, мне совсем не хотелось спать. Мы жевали бутерброды и запивали их пивом. Вокруг стояла высокая рожь. Видимо, осень в этих местах еще не наступила.

Прошло, как мне показалось, совсем немного времени, а солнце уже успело подняться высоко и палило всю. Арба стала увязать в песке. Лошадь остановилась и повернула к нам голову.

«Что такое, старуха?» — сонным голосом спросил возница.

«Пить хочу», — сказала Сарра.

«Потерпи. Нам ведь уже немного осталось, реб Шимон?»

Мой отец кивнул.

«Ноги вязнут», — сказала Сарра.

«Ничего не поделаешь».

«Может, вернемся?»

«Миллок, — спросил Владимир у пастуха, стоявшего на пригорке, — где тут у вас колодец?» Тот уставился на него с непонимающим видом.

Мой отец слез и, подойдя к пастуху, поднес ладонь ко лбу и к сердцу, после чего произнес несколько слов по-арамейски. Пастух напряженно смотрел на него: он был глухонемой. Потом закивал и показал вдаль.

«Езжай до деревни, — сказал мой отец Владимиру, — мы пойдем пешком».

Мы поспели вовремя и, как вскоре оказалось, совершили наш путь не зря. Когда мы приблизились к селению — отец крупно шагнул в своем развевающемся одеянии, подняв голову и равномерно взмахивая посохом, — там уже стоял народ: женщины, дети, цыганки, торговцы амулетами, нищие; сквозь толпу, звеня колокольцами, протискивались со своими жбанами разносчики воды, шныряли воришки.

«Ага, — сказал отец, глядя куда-то поверх голов, — я эту компанию знаю. Тем лучше...» — пробормотал он.

Издали раздавался громкий, густой и монотонный голос отца Петра Кифы.

Люди искоса поглядывали на нас, уступали дорогу; так мы оказались перед домом сотника. Отец Петр в подряснике стоял на крыльце, рядом с ним стояли хозяин и еще несколько человек. К нам протиснулась Адела.

Тем временем Петр говорил:

«Вы знаете этого человека, это уважаемый муж, он не станет лгать и лжесвидетельствовать. Он один из тех, кого озарил свет истины. Он был в Иерусалиме, когда Господь наш въехал в город и люди кричали: осанна, Царь Иудейский! Но Господь наш не земной царь, а небесный...»

«Ложь, — громко сказал мой отец, — все ложь».

Некоторые из стоявших рядом обернулись на него, другие напряженно слушали того, кто стоял на крыльце.

«Он подтвердит вам, — говорил Петр, указывая на хозяина дома, — вы все знаете этого человека. Он имел видение: около девятого часа дня явился ангел Божий и воззвал к нему... И сказал: Корнилий! — Верно я говорю?»

«Верно, все верно», — сказал сотник.

«Корнилий! Призови к себе Петра, — то есть меня, чтобы я сказал вам слово правды».

«Не волнуйся, — сказала Адела, — лучше не связываться. Ты видишь, они уже все готовы пасть перед ним на колени...»

«Посмотрим», — сказал мой отец.

«Вы слышали, что происходит по всей Иудее, — продолжал Петр, — а я был среди тех, кого Господь наш избрал в ученики и кому повелел проповедовать среди народов. Вы слышали о великих чудесах, которые он совершал на земле, а я своими глазами видел, как это все было... Я видел, как он ступал по воде, вот как мы с вами переступаем через кочки, так он перешагивал через волны. Это был Мессия! В первый раз он явился на землю, чтобы заповедать новый закон, закон любви, закон братства, по которому даже врагов своих надо любить, и если кто тебя ударил по щеке, то не отвечай злом на зло, а подставь другую. И рука врага твоего сама собой опустится. Наш Господь умер смертью мученика, пострадал за всех нас, а потом воскрес и вознесся на небо, но он придет снова. Он придет! Он придет скоро! Уже недолго ждать! И уж тогда настанет конец времен. Вот Корнилий перед вами, вот еще другие, они не дадут соврать. А еще расскажу вам про великое чудо, которое Господь сотворил в Вифании...»

«Не слишком ли много чудес?» Это был голос моего отца. Люди обернулись на нас, оратор умолк и стал искать глазами, кто сказал. Ему указали на нас. В толпе раздался ропот. Какая-то тощая растрепанная тетка чуть не набросилась на нас. Отец стряхнул ее руку.

«Юзя, давай уведем отца, — шепнула Адела, — тут народ знаешь какой...»

«А как же закон любви? — иронически спросил мой отец, обращаясь к народу. — Вас учат любви к ближнему, подставь щеку, то да се. А я и рта не успел открыть, как вы уже готовы со мной расправиться».

«Кто ты такой и как тебя зовут?» — спросил Петр.

Мой отец вышел вперед.

«Симон, — сказал он. — Меня зовут Симон.»

«Ты что-то хотел спросить, Симон?»

«Да, — сказал мой отец. — Я хотел спросить...»

«Не слушай его! Мы его не знаем!»

«Спокойно, — сказал Петр. — Пусть он спросит, и я отвечу».

«Я всего лишь торговец древностями, — волнуясь, заговорил мой отец. — И если бы ты зашел в мою лавку, ты бы увидел, сколько всяких идолов и амулетов, богов и божков, сколько вещественных доказательств ложной веры, сколько разных суеверий накопилось на свете...»

«Да, да, — сказал Петр, — ложная вера застлала глаза народу. Люди! Он прав!»

«Постой, я еще не кончил. Что я хотел сказать... Мы знаем, что у божества нет ни облика, ни абриса, а ты хочешь нас уверить в том, что Господь явился на землю в человеческом образе. Мы знаем, что никому владыке нельзя воздавать божеских почестей, нельзя падать ниц ни перед кем, как Мардохей отказался пасть перед Аманом. А ты при-

зываете поклониться сыну плотника, как Богу. Ты хочешь уверить нас, что он был сын Божий, словно Господь Бог может жить с женщиной и прижить с ней сына. Чтобы как-то выкрутиться, ты и вся ваша секта утверждаете, будто женщина зачала без мужского семени и родила, оставшись девственницей. Как это может быть? Ты утверждаешь, что этот сын человеческий жил, как человек, и ел, как человек, и претерпев телесные муки, умер, как умирает человек, — а потом восстал из мертвых. Вот я и спрашиваю тебя и всех вас: не слишком ли много чудес?»

«Тот, кто однажды видел чудо своими глазами, — сказал Петр, — не может не уверовать, а тот, кто уверовал, для того чудо уже не есть нечто невероятное и сверхестественное, напротив даже... Люди! — воскликнул он. — Евреи! Не дайте себя сбить с толку ложными мудрствованиями. До того ли нам сейчас! Мир гибнет... Господь наш пришел не для того, чтобы опровергнуть закон, а наоборот — подтвердить то, о чем вещали пророки. Он пришел нас спасти. Кто уверует, тот спасется! А вы, нечестивцы, будете гореть — да, да, да! В печи огненной».

«Ты не доверяешь людям, — возразил мой отец, — какая же это вера, если она нуждается в таких примитивных доказательствах? Бог не щедр на чудеса. Немногого стоит вера, которую покупают с помощью фокусов. — И он желчно усмехнулся. — Это и я умею».

«Будьте свидетелями, — вскричал апостол, — он называет чудеса Господни фокусами!»

«Могу продемонстрировать, — сказал мой отец, — пожалуйста...»

Он разинул рот, выпучил глаза, вобрал в себя сколько мог воздуха и изрыгнул синее пламя.

Народ так и ахнул.

«Вот это да, — сказал кто-то. Оживление охватило толпу, люди смеялись, свистели. — Давай еще!»

«Ты базарный фокусник, — сказал Петр, — видели мы таких чудодеев. А ножи глотать ты умеешь? Голубей вытаскивать из-за пазухи?»

«Могу, отчего же, — отвечал мой отец, стараясь сохранять невозмутимость. — Адела, подойди-ка». Он осторожно опустил два пальца, средний и указательный, в ложбинку между ее грудей и ловко вытянул оттуда платочек, встряхнул его — платок развернулся в пеструю шаль. Отец быстро собрал ее, скатал между ладонями, швырнул мячик в небо, он превратился в голубя и сел на крышу.

«Молодец, — сказал апостол и повернулся к сотнику: — Дай ему денег. — Он захопал в ладоши. — Люди! Этот человек повеселил вас, скажем ему за это спасибо. А теперь я хочу продолжить...»

«Нет, постой, это все были игрушки, — проговорил мой отец. Его охватило какое-то мрачное вдохновение. — Слушайте, — сказал он, озираясь, — пусть кто-нибудь принесет лестницу».

«Что? — спросил Петр, нахмурившись. — Лестницу?.. А-а! Теперь я знаю, кто ты такой. Ты Симон Маг. Ты враг нашей веры и попла-тишься за это, как заплатились другие. Господь расточит врази своя...»

«Эй, вы, живо!»

«Ты с ума сошел», — прошептала Адела.

«Молчи. И пусть принесут шофар! Есть в вашей деревне синаго-га?.. Пусть трубят в рог! Музыка!»

Он стоял возле лестницы, прислоненной к дому, и нервно поти-рал руки. Толпа приготовилась к занимательному зрелищу. Петр сло-жил руки на груди и с холодным презрением смотрел на моего отца.

«Боже, что делать, — бормотала Адела, — Юзя... ты бы хоть... Бо-же, останови его...»

Мой отец быстро влез на плоскую крышу дома сотника. «Пособи-те мне!» — крикнул он оттуда.

Какие-то ребята стали поднимать лестницу, я присоединился к ним. Мой отец втащил лестницу на крышу, укрепил у подножья баш-ни и полез вверх. Ветер трепал его волосы и белое одеяние.

Произошло следующее: мой отец стоял на верхней перекладине лестницы, и в наступившей тишине было слышно, как он пригова-ривает что-то, не то произносит заклинание, не то молится. Внизу раз-дался слабый блеющий звук, это синагогальный служка трубил в вы-долбленный рог. Потом звук повторился. Отец стоял, точно артист в цирке перед изумительным и опасным номером. Все быстрее и громче становилось его бормотанье. «Элохим, Элохим...» — повторял он, за-тем с величайшей осторожностью оторвал ногу от лестницы, согнул в колене и уперся ею в стену башни, другая нога стояла на перекладине; его ладони ощущивали шершавый камень, он искал опору. И наконец, с силой оттолкнувшись, так что лестница упала с грохотом на крышу, он отделился от башни и повис в воздухе. Одна сандалия сорвалась с его ноги и упала на землю. Он парил в воздухе!

Он парил над толпой, раскинув руки и болтая ступнями, с закину-той сверху головой, и в эту минуту напоминал младенца, которого по-ложили на живот. Стояла мертвая тишина, пораженная толпа, как один человек, поворачивала головы вслед за ним. Его понесло в сто-рону. Он терял высоту и, пытаясь взлететь, бил и сучил ногами. Адела схватила меня за руку, толпа заколыхалась. Мой отец несколько раз перевернулся в воздухе и упал на землю. Мы подбежали к нему. Кучер Владимир, который тоже стоял в толпе, протолкался к нам.

Отец лежал на земле и широко открытыми глазами смотрел в небо. Женщины причитали. Кто-то в толпе сказал: «Поделом ему!» — «Как не стыдно так говорить, — отозвался другой голос, — человек разбился, а они рады...»

«Где у тебя болит? — спросила, стоя на коленях, Адела. — Ты меня слышишь?» Она с тоской обвела глазами собравшихся. «Что вы тут толпитеесь, как бараны, нечего на него глазеть...» Толпа молча раздвинулась. Апостол Петр с суровой миной, тяжёлой поступью приближался к нам, за ним Корнилий и еще кто-то, сзади несли носилки. Мой отец не издал ни единого стога. По-прежнему, точно вглядываясь во что-то, он смотрел неподвижным взором перед собой. Корнилий велел нести его к себе в дом.

Кучер Владимир, Ареле и еще какой-то рыжебородый и кудрявый мужик взялись за носилки, я шел рядом, утирая слезы, мадам Адела держала моего отца за руку. Толпа начала расходиться, шумно переговариваясь, люди спорили и жестикулировали. Так мы вошли в дом, где нас ожидала непредвиденная и невероятная встреча.

Отца положили на низкое ложе. Женщины побежали готовить примочки. Полог, которым был задернут вход в горницу, приподнялся, вошел Петр и сел возле отца.

Я стоял у входа, видел, как он оперся локтем о колено, подперев ладонью скрытый бородой подбородок, и молча воззрился на лежащего.

«Это я виноват, — сказал он наконец. — Мне надо было тебя остановить... Никто из нас не чудотворец... Я виноват, прости меня».

«Вот именно, — отозвался сильным голосом мой отец, — вот именно: никто не чудотворец».

«Не будем спорить», — сказал Петр.

Тут вошли Адела и служанка с полотенцами, кувшином и тазом. Петр встал и вышел из комнаты. Потом послышался голос хозяина и еще один голос со странным чужеземным акцентом. В комнату вступил толстый и румяный человек в диковинной одежде. Женщины изумленно уставились на него. Из-за полога выглядывали, наседая друг на друга, любопытные. Произошло всеобщее замешательство.

«Сижу в трактире, ничего не знаю, — сказал человек громким басом, — вдруг говорят... Слава Богу, наконец-то я вас разыскал! Все вопросы — потом. Что случилось? Ради всего святого: что произошло?»

«Нет, — пролепетал мой отец, — скажите мне, что я на том свете. Скажите мне, что я сплю... Юлиан?!»

«Конечно, ты спишь, — отвечал дядя Юлиан. — Ты спишь, и я тебе приснился. И тебе тоже, — сказал он ошеломленной Аделе. — Что вы все на меня уставились? Можно увидеть человека во сне. Можно вернуться с войны. Можно приехать из Америки. Все можно».

Он снял свой великолепный пиджак и остался в щегольском жилете, белоснежной рубашке с крахмальными манжетами, в широком, вышпирвавшем из-под жилета галстук с павлиньим глазом. Галстук был заколот дорогой булавкой. Короче говоря, это был он, легендарный дядя Юлиан, настоящий дядя из Америки, о котором только можно было мечтать, — дородный, благоухающий духами и сигарами, жизнерадостный, щедрый и богатый.

«Ну-ка помоги мне, — оказал он Аделе, отколупнул золотые запонки и засучил рукава. Вдвоем они сняли с лежащего испачканную хламиду. Дядя Юлиан принялся ощупывать моего отца. — Где болит? Здесь болит?.. Слышал, слышал о твоих подвигах... Что за мальчишество! Какое тебе дело до христианской веры? Пусть себе молятся кому хотят. Стоило ломать себе ребра ради этого...»

«Послушай... как ты здесь очутился?» — лепетал мой отец.

«Как очутился? Очень просто. Ладно, — решительно, тоном делового человека сказал дядя Юлиан, — отложим обсуждение этих вопросов до более спокойных времен. А сейчас время не терпит. Главное, как ты себя чувствуешь? Сможешь ли ты перенести дорогу?»

«Смогу, я думаю...»

«Но, но, но! Не храбрись. Мы едем далеко».

Оказалось, что два дня назад дядя Юлиан прибыл поездом в Коломбю. Оттуда он намеревался ехать в наш город, но случайно узнал в трактире на станции, что кучер Владимир с моим отцом отправился в другую сторону. Дядя Юлиан знал, что началась война и Польши больше не существует и, собственно, поэтому и приехал. Теперь, сказал он, нам остается только заехать за матерью.

«Да, но...» — возразил мой отец.

«Ха, ха, ха!» — захохотал дядя Юлиан, сверкая фарфоровыми зубами, и извлек из внутреннего кармана пухлый бумажник. — А это ты видел? Теперь скажи, кто из нас чудотворец?»

Мой отец поднес бумаги к своим глазам — это были визы. Четыре визы на въезд в Америку: для моего отца, для матери, для Адели и для меня.

«Но я должен сказать, — продолжал дядя Юлиан, — ты тоже парень не промах. Держу пари, что тебя ждет в Штатах блестящее будущее. Где ты научился этим фокусам?»

«А!.. — мой отец махнул рукой. — Ты же видишь, чем все это кончилось».

«Нет, серьезно. Ты действительно чудодей. Хотя бы потому, что ты не разбился».

«Это ложный пророк. Я должен был его разоблачить. Ты даже не представляешь себе, — торопливо говорил мой отец, — к каким последствиям это приведет, если ему удастся заморочить голову людям...»

«Они сами этого хотят, — сказал дядя Юлиан. — И ничего тут не поделаешь. Well. Отложим философию до лучших времен».

По дороге мой отец рассказывал о делах, о платежах и кредиторах, ему казалось, что нельзя уезжать прежде, чем он не приведет в порядок документацию и законным образом ликвидирует фирму. Дядя Юлиан слушал его и усмехался. Потом он сказал: фирма... Какая фирма, когда сейчас война и неизвестно, что будет завтра! Купим сейчас же, не мешкая, билеты, потом поедem за мамой, захватим пару чемоданов с самым необходимым, повесим на дверях замок, объявление: «Магазин закрыт до лучших времен» — и общий привет! С этими словами он бодро прыгнул с подножки, отчего заколыхался весь экипаж, велел Владимиру дожидаться на другой стороне вокзальной площади, а меня позвал с собой. В присутствии дяди Юлиана все происходило необыкновенно быстро. Мы вошли в зал и направились к кассе.

Коломыя не такая уж маленькая станция, как, может быть, ты себе представляешь. Конечно, скорые поезда почти все проходят мимо. Но даже в то время тут два раза в неделю останавливался пассажирский поезд с международным вагоном до Белграда. А оттуда, сказал дядя Юлиан, до морского порта рукой подать. Зал ожидания был пуст и выглядел чрезвычайно уныло, со старыми, изрезанными перочинным ножом скамейками вдоль стен и пятнами плесени на потолке.

Кассир в окошке что-то писал, щелкал счетами и заглядывал в ведомости. Это был маленький горбатый человек. Несколько времени дядя Юлиан ждал, положив портмоне и постукивая ногтями. Человек щелкал счетами. Дядя Юлиан прочистил горло. Кассир поднял на него воспаленные глаза.

«Знаете, — проговорил он, — сколько стоит отравить газом одного человека?»

«Что?» — спросил дядя Юлиан.

«Я говорю, известно ли вам, во что обходится обработка газом одного человека?»

«Excuse me, — солидно произнес дядя Юлиан, — я хотел бы купить билеты».

«Билеты? — удивился кассир. — Какие билеты?»

«Как это какие? Пять билетов до...»

«Мы давно уже не продаем никаких билетов. Сейчас все ездят бесплатно. И даже не догадываются, что все это стоит немалых денег».

«Позвольте...»

«Нет, это вы позвольте! Дайте мне договорить».

«Слушайте, как вас... — сказал сурово дядя Юлиан. — Не мочрьте мне голову. Пять мест до Белграда. Я не собираюсь ехать бесплатно».

Человек в окошечке усмехнулся.

«Небось, когда вас будут обрабатывать, вы платить не будете. А почему? Потому что это очень дорогая вещь. Это только кажется, что это дешево стоит. Я вам сейчас докажу. Я все подсчитал... Вот смотрите: фирма отпускает циклон Б по цене 975 рейхсмарок за баллон. В баллоне 195 килограммов газа. То есть это будет пять марок за килограмм... На одну партию, примерно 1500 человек, я округляю для простоты, уходит пять с половиной килограммов. Умножаем и делим. Получается 15 пфеннигов. Пятнадцать пфеннигов стоит жизнь одного еврея. Это, может быть, и не так уж много. Но вы упускаете из виду два обстоятельства: во-первых, на один небольшой город, скажем, такой, как Коломыя, уходит целый баллон, вот вам уже тысяча марок. А вторых, сопутствующие расходы...»

Мы вышли из вокзала, дядя Юлиан пробормотал: «Не будем тратить время, это какой-то мешутенер...»

Усаживаясь в повозку, он объяснил: касса не работает, значит, купим билеты на обратном пути из нашего города. В крайнем случае, прямо в поезде.

Мне не хочется отвлекаться ради мелких подробностей нашего возвращения, хотя некоторые из них были немаловажными и должны были бы, по крайней мере, удержать нас от неосмотрительных шагов, прежде всего от главной ошибки. Ошибка эта заключалась, конечно, в том, что мы в Нужно сказать, что наиболее разумным человеком оказался тот, от кого это меньше всего ожидали, — кучер Владимир. Он первым сообразил, что, пока мы отсутствовали, произошло гораздо больше событий, чем может уместиться в столь непродолжительный отрезок времени. В том-то и дело, что непродолжительным этот промежуток был только для моего отца — Симона Волхва, и нас, сопровождавших его, тех, кто был свидетелем его диспута с Петром Кифой и ужасного падения с высоты. Кучер Владимир был простой человек и вряд ли сумел бы объяснить, как это может быть, чтобы время в разных местах ернулось.

протекало с разной скоростью; но он, например, сообразил (а может быть, что всего вероятней, кто-то ему сказал, пока дядя Юлиан пререкался с сумасшедшим кассиром), что русских давно уже нет в нашей окрестности. Он же сообщил, что между уходом Красной Армии и приходом немцев, когда вообще никакой власти не было, по всей округе происходили погромы. Завязался спор: кучер Владимир советовал нам не мешкая бежать. Куда угодно — хоть забраться в товарный вагон и уехать, — и чем дальше, тем лучше.

В ответ дядя Юлиан только махал рукой. С какой стати оккупационные власти станут нас задерживать? «Я, — сказал дядя Юлиан, — гражданин Соединенных Штатов. Американский гражданин: это тебе не кол собачий... Я приехал за моими родственниками».

Вот визы, вот подпись консула. Закон есть закон. В крайнем случае он свяжется с послом в Берлине.

Услышав слово «закон», кучер Владимир возвел глаза к небесам. Я уже говорил о том, что жизнь в местечке сделала его похожим на еврея. «Азохн-вэй, — сказал он. — Слышь, старуха, что образованные люди говорят? Учись...»

Отец тоже считал, что нужно ехать в город. Он взвешивал разные возможности. Можно было тут же, в Коломые, продать кое-что из того, что он вез в чемодане, например, кинжал и наперсный крест. А имея на руках хорошие деньги, не так уж трудно договориться с начальством. Главное — увезти маму. Вдобавок моего отца беспокоила судьба магазина. Особенно он был встревожен рассказом Владимира о погроме. «Вот видите, — добавил мой отец, — как только пришла немецкая армия, бесчинства прекратились и восстановился порядок. Гетто? Ну и что, что гетто? Может быть, гетто и организовано для того, чтобы обезопасить евреев...»

Владимир, сидевший на облучке, обернулся и сказал:

«Пан Шимон, вы великий человек и волшебник, против этого никто не спорит. Только знаете, что говорят? Говорят, немцы всех жидов собрали в гетто и привезли врачей. А для чего? Они собираются холостить всех мужчин, вот для чего».

«Что? — спросил дядя Юлиан, который подзабыл язык, пока жил в Америке. — Что они собираются?»

«Холостить. Чтобы больше не размножались и хорошо работали. Примерно как жеребцов холостят».

«Что ты городишь? — сказал дядя Юлиан. — Да еще при женщинах».

«Я бывал в Германии, — заметил мой отец, — немцы самый цивилизованный народ...»

Адела испуганно смотрела на мужчин, казалось, у нее не было своего мнения. Что касается меня, то моего мнения никто не спрашивал, но я не представлял себе, как это можно бежать, оставив маму. А реб Менахем-Мендл? А все наши хасиды, наши соседи и знакомые, что с ними? Нет, мы просто обязаны были вернуться.

Откуда мне было знать, что моей матери уже не было в нашем городе, а скорее всего, не было и в живых. Откуда мне и всем нам было знать, что Земля несется все быстрее и быстрее навстречу злой комете, и серный дух ее уже стелился над нашим краем, и не успели еще прийти немцы, как рабби Коцкому разбили голову ночью перед домом, где он жил, легендарному рабби Коцкому, о котором теперь пишут книги, о котором гадают, жил он на самом деле или не жил, и который говорил растерявшимся людям, что у Бога есть другие заботы; а одноглазый Файвел забился в подвал и жил там среди крыс. Откуда мы могли знать?..

Я сказал: пока мы отсутствовали. Но что значит отсутствовать? Дорогой мой внук! Единственный, быть может, урок, который я вынес из последовавших событий, был тот, что мы все — и те, кто погиб, и те, кто уцелел, кому невероятным образом удалось спастись, — никогда в полной мере не «отсутствовали» и никогда вполне не «присутствовали». Я родился и вырос в доме моего отца на Сходе, но это был не только родительский дом, это был дом, который назывался историей, и если в данный момент нас не было в комнате, то это значило лишь, что мы ушли в другую комнату. Мы жили в доме, где были выставлены в окне, разложены под стеклом на прилавке, стояли и покрывались пылью на полках и стеллажах реликвии былых эпох, более или менее вышедшие из употребления, более или менее сохранившие свою душу; в доме, который был и нашим жильем, и музеем, и антикварной лавкой, где вместе с живыми торговали, и ели, и спали, и читали древние книги, и ссорились, и обнимали друг друга, и зачинали детей наши предки, и вспоминали путь из Египта, фараоновы колесницы, увязшие в песке, и всадников, захлебнувшихся в море; мы жили в доме, где можно было мимоходом взглянуть в тусклое зеркало и увидеть в мутной глубине нищего патриарха, босого царя или полубезумного пророка, в доме, где Ревекка пряла свою пряжу и Вирсавия сушила волосы на заднем дворе, где поколения и века сменяли друг друга, где было все на свете: и наводнения, и грабежи, и пожары, и все как-то обходилось. А теперь этот дом сгорел дотла.

Итак, на чем я остановился... Нам удалось почти беспрепятственно выехать из Коломы; был чудный день. Мой отец хорошо говорил по-немецки, поэтому, когда при выезде из леса дорогу нам преградил патруль, отец отвечал на вопросы, и это произвело, как нам показалось, положительное впечатление. Дядя Юлиан с нарочитой медлительностью вылез из тарантаса. Фельджанжарм принялся изучать его паспорт, после чего уселся между Аделой и дядей Юлианом, а мы с моим отцом зашагали, сопровождаемые солдатами, следом за экипажем.

Видишь ли, дорогой мой, я не зря начал эти записки с притчи об ученом раввине и жестоком епископе: в ней заключены разные возможности толкования. В любом случае она говорит о том, что результаты наших действий чаще всего не отвечают нашим намерениям. Епископ жаждет утвердить христианскую веру, но то, что он приказывает совершить над упрямым иудеем, служит посрамлению этой веры. Однако допустим, что еврей согласился креститься: было бы это победой епископа? Нет, ибо вера, которую принимают под давлением логических доводов, перестает быть верой. Вообще нетрудно было бы показать, что, если бы стремление христиан искоренить иудейскую религию увенчалось успехом, это означало бы гибель самого христи-

анства. Церковь вырастает из синагоги, и это отпечкование не есть однажды совершившийся факт, но оно совершается в непрерывно длящейся истории. Поэтому крушение синагоги влечет за собой крушение церкви, и расправа христиан над евреями есть не что иное, как величайшее и окончательное поругание христианских заветов, величайшее и окончательное посрамление христианства; ибо не может не засохнуть ветвь, если срублено дерево.

Иудей пререкается с князем церкви, до поры до времени не догадываясь, что на самом деле он спорит с самим собой. Иудей спорит с собственным сомнением; иначе было бы непонятно, что заставляет его посещать епископа. В том, что ученый раввин в глубине души сомневается в своей вере и в своей науке, нет ничего удивительного: наука есть инструмент испытания веры, и, следовательно, вера есть условие для науки, без которого наука законсела бы в догматизме; вера, таким образом, составляет высшее оправдание науки. Вдобавок иудей никого не хочет переубедить; в диспутах с епископом он лишь обороняется. Тем не менее однажды ему начинает казаться, что аргументы веры исчерпаны, он чувствует, что сомнение грозит перейти в отрицание, и отказывается прийти. Другое дело епископ. Он тоже полон сомнений, это заставляет его вести долгие споры с раввином; но, в отличие от еврея, он нуждается во внешней победе ради победы внутренней — и ему не приходит в голову, что его победа есть на самом деле поражение.

Мой отец говорил: в христианском учении лишь одно не вызывает сомнений — это то, что их учителя прибили живьем к столбу. Последователи Йешу утверждали, что он вознесся на небо. Оставим этот вопрос в стороне; это дело веры или прибежище отчаяния. Но они утверждали также, что их учитель вернется. Йешу снова придет на землю, и наступит царство справедливости. Так вот, внук мой, я открою тебе одну тайну. Он таки пришел. Клянусь тебе — он вернулся!

Ты скажешь, что здесь имеется противоречие, ибо этот факт, если это факт, означал бы, что тот, кого мой отец считал ложным чудотворцем и полагал необходимым разоблачить, противопоставив его чудесам свои собственные, так сказать, самодельные чудеса, — совершил-таки чудо: воскрес из мертвых. Да, если бы все мы жили один раз. Но мы жили не только здесь и теперь; мы жили в истории, где все повторялось, и повторялось, и повторялось — до тех пор, пока не рухнуло окончательно.

Может быть, странное известие, ошеломительный слух, распущенный кем-то после его казни, — будто, предвидя свое поражение, он покончил с собой, а ученики выдали римлянам его тело, чтобы инсценировать казнь и спасти его учение, — может быть, этот слух лишь предвосхитил то, что в конце концов и произошло, теперь, на наших

глазах. Самоубийство! Ибо чем же иным было его возвращение в тот самый час, когда столб огня и облако дыма поднялись над домом Израиля! Да, он пришел во второй раз, он вернулся, — но не затем, чтобы возвестить о царстве мира, любви и справедливости. Он пришел, чтобы надеть желтую звезду. Они хотели истребить евреев, но вместе с евреями уничтожили христианство, как епископ осрамил и уничтожил свою веру, велел расправиться с раввином. Да, их учитель пришел снова. Но он пришел, чтобы смешаться с тысячами и тысячами обреченных, ибо как же могло быть иначе: он сам был евреем, был один из нас; и нет больше мира и любви в этом мире. И его тело выгребли из вонючей камеры среди других тел и сожгли вместе с другими, и оно превратилось в дым, и никто этого не заметил. Слишком много их было!

О том, что происходило в те дни и месяцы в нашем городке, во всем нашем крае, я рассказывать не буду, ты это знаешь без меня, да и вообще все это теперь хорошо известно: везде было примерно одно и то же. Изложу лишь некоторые обстоятельства, которыми сопровождалась кончина моего отца, — разумеется, если это была кончина, а не что-нибудь другое, для чего мне трудно подыскать название. То, что произошло на моих глазах, впоследствии было сочтено легендой, наподобие легенд о рабби Коцком, о Зусе из Ганиполя, о знаменитых цадиках и чудотворцах: таково свойство подобных событий, и такова особенность наших мест. Ты видишь, что я по-прежнему называю этот край «нашим», хотя едва ли кто-нибудь из нынешних жителей Коломьи, или Косова, или Сасова, или Межерич признал бы во мне земляка. Я умру, и со мной уйдет в прошлое наше проклятое время, и некому будет свидетельствовать о последних днях Симона Волхва и Петра Кифы.

Первая селекция неработоспособных, как они это называли, состоялась еще до нашего возвращения (моя мама была среди увезенных), поэтому большинство уже более или менее догадывалось, что их ждет, когда власти объявили о новом транспорте. Догадывалось, понимало... и гнало от себя эту мысль. По всему городу были расклеены извещения, и, кроме того, каждая семья получила аккуратно отпечатанную повестку о том, что в воскресенье рано утром все должны явиться на сборный пункт. Эту повестку нам принес Ареле, сын почтальона. Интересно, кто принес повестку самому Ареле?

Троицкая площадь была оцеплена, на крыльце дома, где когда-то помещалась наша академия, стоял, в мундире с черным бархатным воротником и такими же обшлагами, расставив ноги в сверкающих сапогах, начальник эйнзац-команды, рядом с ним новоиспеченный бургомистр, а на площади, окруженные солдатами и собаками, сгрудились, дрожа от утреннего холода и переминаясь с ноги на ногу, на-

ши хасиды, бывшие коммерсанты, сапожники, шапочники, портные, коммивояжеры, толкователи Талмуда и мидрашей и толкователи уже имеющих толкований; стояли все, кто еще был жив и кто был мертв, но делал вид, что живет, — словом, жалкая толпа, оборванцы с мешками и чемоданами. Начальник объявил порядок транспортировки: после проверки по спискам все должны организованно сесть в грузовики. И чтоб никакой толчеи: места хватит всем. Крытые брезентом фургоны выстроились на проспекте Пилсудского. В Коломые ожидал товарный состав; говорили, что нас повезут в Бельзец; думаю, этот поезд был предназначен не только для нас, ибо к тому времени население гетто в нашем городе уже изрядно сократилось.

Мы стояли в толпе — я, мой отец, мадам Адела и муж Аделы дядя Юлиан, похожий на Иова после набега савеев и халдеев: без верблюдов, без ослиц, без американского паспорта, без жемчужной булавки в галстук и без самого галстука. Потому что всему свое время, и время всякой вещи под небом, время богатеть и время сидеть на пепелище; и, как сказал Коэлет, день смерти лучше дня рождения. Теперь это был большой, заросший грязно-седой щетиной старик с отвисшей кожей, с провалившимися глазами, в рубище и опорках вместо лакированных туфель, и только фарфоровые зубы напоминали о прежнем дяде Юлиане, каким он предстал перед нами тогда, в доме сотника Корнилия в самаринской деревне.

Бургомистр, многие знали его, — он погиб потом отвратительной смертью, кто-то ночью, когда он вышел из дому по нужде, утопил его в выгребной яме, — приготовился зачитывать списки. Как вдруг в толпе произошло движение, все стали оборачиваться назад, залаяли овчарки. Невозможно было ничего разглядеть из-за голов. Бургомистр что-то объяснял офицеру. Тот сделал знак рукой, толпа подалась, и я наконец увидел, все увидели: по тротуару, мимо солдат, крупным шагом огибая площадь, в развевающейся одежде, с крестом в руке, красный и потный, шествовал наш православный протоиерей отец Петр Кифа. Вослед отцу Петру, едва поспевая за ним, с насмерть перепуганным видом семенил дьякон.

На площади воцарилась тишина, начальник команды, наклонив голову набок, с любопытством созерцал это явление, потом поманил пальцем солдата. Тот проворно подбежал, присел на корточки и поставил на отца Петра свою лейку. Отец Петр остановился, шумно вздохнул, поднял крест, горевший на солнце, и неожиданно, размашистым жестом благословил толпу, где, уверяю тебя, не было ни одного христианина.

Кто-то спросил: «Это так надо?»

И еще кто-то: «Спасибо, это нам пригодится». И какой-то смешок пробежал по толпе.

Офицера театральный жест отца Петра тоже рассмешил, он сложил руки на груди и сказал: «А ну-ка, подойди сюда», — и бургомистр повторил его слова по-украински.

Дьякон ступевался где-то сзади, все глаза были устремлены на могучего, грузного отца Петра, который приблизился к крыльцу и, тяжело дыша, с мрачным и грозным вдохновением вымолвил:

«Остановись!»

«Что он сказал?» — спросил начальник.

«Он просит сделать остановку», — перевел бургомистр, с трудом подбирая слова.

«Ясно, — сказал офицер. — Теперь можешь идти».

«Остановись! Пока не поздно! — загремел отец Петр Кифа. — Все умирать будем! О душе вспомни! Это люди! Такие же, как ты... Будь милосерден! Что они тебе сделали? Именем Господа нашего — умоляю! — именем Иисуса Христа! Заклинаю! Не делай этого!..»

Бургомистр что-то лепетал, очевидно, пытаясь перевести эту речь, но начальник эйнзац-команды небрежно отстранил его и сделал знак подчиненным. Огромного Петра схватили под руки, и тут произошло нечто ужасное. Глаза у отца Петра вылезли из орбит, толстая шея налилась кровью, одним движением он стряхнул с себя солдат, размахнулся и хватил первого подвернувшегося под руку тяжелым крестом в висок, тот повалился... все это было делом одной секунды.

«Изверг! — хрипло выдавил из себя Петр. — Пес смрадный... Сатана!» Выстрел прервал его слова. Протоиерей открыл рот, как будто внезапно забыл, что он хотел сказать, забыл последнее и самое главное, — и грохнулся наземь.

«Na also», — проговорил гауптшарфюрер, с нарочитой медлительностью засовывая пистолет в кобуру, и эта смерть была последней в цепи событий, какие я еще в состоянии изложить по порядку. Дальше начинается путаница, образы теснятся в памяти, и я не в силах придать им сколько-нибудь убедительную последовательность. Должно быть, сразу после страшного эпизода с отцом Петром началась посадка в фургоны, люди бросились в узкую горловину улицы, к машинам, в страхе и отчаянии лезли вперед, карабкались по лесенкам, представленным к задним бортам грузовиков, расталкивали и давили друг друга, и тут же в толпе, у колес, бородатые хасиды с прыгающими колечками пейсов из-под шапок, схватившись друг за друга, плясали и пели «Кол-Нидре».

В давке я потерял дядю Юлиана и Аделу, но, кажется, еще до того, как толпа вынесла нас с площади на проспект Пилсудского, в короткий миг молчания и замешательства, последовавший за кончиной Петра Кифы, раздался возглас, почти вопль, плачущий и ликующий: «Ага-а-а! что я говорил?..»

Люди бежали по площади, не обращая внимания на моего отца, который стоял, толкаемый со всех сторон, воздев руки, с развевающимися волосами и безумным взглядом.

«Я был прав! — вопил он. — Теперь сами видите!.. А что я вам говорил?.. Никакой он не Спаситель!.. Разве он заступился?.. А?.. Сами видите! Он шарлатан! Обманщик! Никого он не спас и никого не спасет...»

И еще что-то в этом роде. Ветер трепал его волосы и одежду, вместе с бегущими по площади неслись клочки бумаги, из раскрытого чемодана, лежавшего на земле, летела одежда, меня сбили с ног; когда я поднялся, отца уже не было. Я громко плакал и искал его в толпе и окончательно утратил смысл и связь событий. Мой отец кричал, что он был прав. Что он хотел этим сказать? Что в споре с апостолом он победил?.. В его восклицаниях звучало сумасшедшее торжество, почти злорадство. Но какое это имело значение теперь, когда весь мир рушился? Никому не было до него дела, никто даже не остановился, лай овчарок и автоматные очереди заглушили слова моего отца, люди бежали к машинам, и в конце концов — другого объяснения тому, что он внезапно пропал, я не могу найти, — в конце концов и он поспешил вместе со всеми и смешался с толпой.

И все же я думаю, я почти уверен, что его удивительная способность совершать невероятное проявила себя напоследок еще раз: иначе невозможно объяснить, как это так случилось, что в машинах не хватило мест. Все мы числились в списках, ни одна живая душа не была забыта, и тем не менее нас оказалось слишком много, как будто во время паники в толпу затесались лишние люди. Не помогли ни брань и понукание солдат, ни отчаянные крики женщин, которых били прикладами автоматов и заталкивали в переполненные недра смертных фургонов. Когда вереница машин, наконец, двинулась по проспекту Пилсудского к Сходу, несколько десятков человек остались стоять на мостовой. Я думал, что нас просто расстреляют. Но раздалась команда идти. Те, у кого еще осталось что-то в руках, взвалили свой скарб на плечи, дети уцепились за взрослых, и все вместе двинулись из города за пылящей колонной грузовиков.

Пыльный смерч встретил нас при выходе из местечка. Небо заволклось оранжевой мглой, острые песчинки били в лицо, впереди мутной тенью колыхался задний борт последнего фургона. Я оглянулся — в клубах пыли солдаты брели вслед за нами, отворачиваясь от порывов ветра и прижимая к себе свое оружие. Несколько времени спустя грузовик остановился; очевидно, мы сбились с дороги, видно было, как из-под задних колес тяжелого фургона летели струи песка, он буксовал и как будто погружался в пучину пыли и праха. Мы потеряли его из виду. Обнявшись, мы старались укрыться, спрятать лицо от летя-

щего песка. Изредка я открывал глаза: мутный вихрь завивался столбом вдали, чтобы снова обрушиться на нас; вокруг, сколько хватало зрения, струились серые барханы, на желтом небе просвечивало тусклое солнце. Это был Египет. Выждав, мы двинулись дальше. Боясь потерять, мы крепко держались за руки. И это было последнее, настоящее и единственное чудо, которое мог сотворить только мой отец, — то, что мы заблудились, и то, что мы выбрались, потеряли конвой, отстали от близких и лишились всего на свете, но не потеряли друг друга — я и Адела, твоя будущая бабка.

1990

РАССКАЗЫ И ПОВЕСТИ

Беглец и Гамаюн

Загадочная птица Гамаюн гнездится на неисследованных скалистых островах Восточно-Сибирского моря. Маршрут её сезонных перелётов неизвестен. В наших местах она появляется раз в сто лет. Это дало основание утверждать, будто Гамаюн бессмертен. Считается, что он приносит несчастье. Высказывалось мнение, что Гамаюн не существует.

I

Это — повесть о путешествии, о пассажире-призраке, повесть без начала и конца. Многие в ней остаётся сомнительным, кое-что покажется невероятным, но позволим себе возразить, что правда подчас и даже нередко оказывается неправдоподобной.

Это повесть о бегстве — вот единственное, что можно сказать, не боясь ошибиться. О великой и неистребимой мечте *уйти с концами*. Выражение очевидным образом заимствовано из морского обихода. Но государство наше всё же континентальное. Бежать — куда? Из страны вглубь страны, из гнусного времени в другое время. Из воли — на волю! Рвануть, драпануть, скрыться от всевидящих глаз, ускользнуть от погони, от автоматной очереди стрелка, от несущихся по пятам собак. Укрыться от Всесоюзного Розыска — там, где никто не опознает. Так может мечтать жук на булавке: сорваться и уползти.

Это мечта о просторе. Слово «воля» имеет и такое значение. Заметим, что удивительная черта нашего необозримо широкого отечества та, что в нём очень тесно. Хотя в среднем на каждого подданного приходится столько земли, что её, как пел государственный поэт, глазом не обшаришь, — всё занято, всё обсижено, везде полно народу, и куда ни сунешься, ты всюду лишний. Квартира перенаселена, в магазинах не протолкнёшься, в автобус не втиснешься, в трамвае слава Богу, если нашлось местечко для ноги на подножке. Поезда берут штурмом, в отхожих местах сидят орлами на помосте зад к зад, в деревне на протогтанной дорожке со встречным не разойдёшься, не разъедешься на просёлке, и так везде, всегда до последнего издыхания, до квадрата земли на кладбище, куда пробираются между кре-

стами и железными оградками, похожими на спинки старых кроватей; чего доброго, и в могиле не хватит места растянуться, и будешь сидеть на корточках в ожидании Страшного Суда. А кругом, поодаль — безлюдные просторы, бескрайние невозделанные поля.

Такова была наша страна, шестая часть обитаемой суши. Пассажир ехал в битком набитом вагоне. Эшелон, растянувшийся на полкилометра, весь состоял из таких вагонов, поделённых на железные клетки, наподобие клеток в зоопарке: дверца на задвижке с висячим замком, за решёткой, на полу и на помостах в два яруса, в полутьме сплошной массой сидят и лежат, ворочаются, кряхтят, переругиваются, колышутся под мерный стук колёс; в конце вагона, в купе перед железной печуркой коротает долгие дни и ночи обездоленный конвой. Дважды в сутки по узкому проходу вдоль клеток, светя фонариком, движутся тени, солдаты протягивают между прутьями решётки кружки с водой, раздают солёную рыбу, выводят на оправку в тесный вагонный сортир без двери. Поезд шёл уже много суток подряд и лишь изредка останавливался пополнить запас угля и воды.

Их пересчитывали. Никого не интересовало, что это были за люди. Главное, довести ровно столько голов, сколько приняли. Человек в серо-зелёном кургузом бушлате с тряпицами погон, в ушанке со звёздочкой на козырьке рыбьего меха, останавливался перед каждым отсеком, будил спящих узким скользящим лучом, махал пальцем, шевелил губами. Люди поднимали головы, шурились, ворочались, вновь погружаясь в темень, в тяжёлую дрему; но затем, несколько времени погода, процедура повторилась, опять мелькал фонарик, надзиратель вглядывался в живую массу, махал пальцем: «сто шестьдесят один... сто шестьдесят два...». И опять что-то не ладилось, не сошлось, и пришлось снова считать, на этот раз втроём, один из них нёс короб с формулярами, громким шепотом называл фамилию, хриплый голос откликался, у иных было по две, по три фамилии: «он же... он же...», и назывались они кликухами, но на одну кликуху никто не отозвался из тьмы. Шествие удалилось, а немного времени погода по вагонам прошагало высокое лицо — начальник эшелона.

И прошло ещё сколько-то времени; думали, совещались; наконец, стальные часы замедлили свой стук, взвизгнули тормоза, гром столкнувшихся буферов прокатился вдоль состава. Трое в бушлатах соскочили на песчаную насыпь. Далеко впереди отцепленный паровоз отдышал у водокачки под струей воды, лившейся в котёл. Это был «Феликс Дзержинский», ласково именуемый Федя, большой восьмиколёсный локомотив, ходивший по магистральям ещё на нашей памяти, с невысокой трубой, лобовой фарой-прожектором и красной звездой на брюхе. Был второй час ночи. Кругом ни души, ни звука, лишь где-то далеко ухает выпь.

Обошли тускло освещённое, приземистое здание станции, заглянули в пустой и холодный зал ожидания, и чудо! — нашлось то, что искали. На скамье лежал одинокий путник. Он что-то пролепетал, когда его наскоро обыскали, документов не нашлось. После чего подхватили за ноги и под мышки и понесли к вагону. На свежем воздухе спящий было ожил и запел песню, ему заткнули рот. Молча втащили в вагон, проволокли по проходу, отомкнули и отодвинули дверцу, впихнули внутрь. Пленник ничего не слышал, он вновь погрузился в забвение. Что его ожидало? Стукнулись буфера — Федя прицепился к головному вагону, разводил пары, пронзительный свисток донёсся издалека. И несколько минут спустя паровоз уже мчался, вращая колёсные передачи, посылая слепящий луч вперёд; потонул во мгле глухой полустанок, послушно громыхали вагоны, унося своё собственное время. Новичку присвоили формуляр пропавшего пассажира, и — будь что будет. Доедем, говорили они, сколько приняли, столько сдадим, а там пуцай разбираются.

II

На рассвете нечаянный пленник, обмочившись, проснулся от холода, стиснутый между телами; протрезвление было подобно переселению из одного сна в другой. Он силился понять, что произошло, и ничего не мог вспомнить. Всё так же постукивали колёса, колыхались тела заключённых. Конвоиры несли по проходу корыто с дорожным провиантом. Пленник жевал рыбу, никто не внимал его сбивчивому рассказу. — Между тем тот, исчезнувший, чьё место теперь было надёжно и необратимо занято, пробирался в заснеженной чаще и не имел представления, где, в какой части света он очутился. Ему казалось, что он в другом времени. Мечта гнала его вперёд.

Ветер воли! В обширном тюремно-лагерном фольклоре не существует преданий о бегстве из столыпинского вагона; и всякий, кто путешествовал в эшелонах, идущих на север, на восток или юг, всякий, кого везли за тысячи вёрст в Заполярье, в тайгу, к великим рекам, в степи, в солончаки, подтвердит: уйти невозможно. Но на то и чудо, чтобы в него поверить.

Как же всё-таки это произошло? Свидетелей нет, а сам рванувший на волю превратился в мифическую личность — попробуй его найти. Считайте, что умер. И можно лишь, призвав на помощь воображение, попытаться угадать, как, каким образом на повороте полотна, где поезд слегка замедлил ход, пассажир, не замеченный, в полутьме, прокравшись мимо отсека со спящим конвоем, потянул к себе тяжёлую дверь, выбрался в тамбур, а там и на волю, между вагонами. Чёрный ночной ветер, свирепый порыв едва не сбросил его в несущий

щийся под ногами провал. Он стоял на шаткой переходной площадке, в свисте и грохоте, собираясь с духом, — тут бы перекреститься, призвать на помощь всех святых, но святых не существовало. Беглец перелез через качающийся поручень, уцепился за что-то, поставил, рискуя сорваться, ногу на буферный цилиндр, вобрал в себя воздух и прыгнул, едва не сбитый углом вагона, и покатился, словно в могилу, с невысокой насыпи вниз, в девственные снега.

Мудрено ответить, где это было: одно дело география и совсем другое — дикий девственный мир, вещи столь же различные, как история и реальная жизнь. Где это случилось? В лесах между Сухоной и Костромой, в краю папоротников и брусники, обширнейшем, чем кажется при взгляде на карту? Или подальше, за Вычегдой, если двинуться от Шексны к Белоозеру, в неисследимую глубину, там, где старообрядцы скрываются от дьяволовых слуг, где обитали праведники, быть может, обретаются и донныне? Но по другим, менее надёжным сведениям, — ещё дальше, у верховьев Северной Сосьвы, в остяцкой тайге. Позволим себе, однако, заметить, что дело не в географии, а в том, что человек, погружившись в эти дебри, как бы умирает; вместо него рождается другой, похожий и непохожий на прежнего, и тут скорее всего кроется разгадка того удивительного факта, что беглеца не сумели найти.

Путник был голоден и дрожал от холода, и обливался потом. Он хватал губами пригоршни снега, тянуло лечь; но он знал, что не поднимется. Остановившись передохнуть, не сможет сделать ни шагу дальше. Он уже не помнил себя, потерял счёт времени, шёл и шёл, и ему представлялось, что вместо него бредёт, проваливаясь в сугробы, кто-то другой. И не было конца его путешествию. Как вдруг что-то произошло, лес расступился. Навстречу по протоптанной тропке бежала собака. Короткий лай, похожий на кашель, перешёл в повизгиванье. Беглый сделал несколько шагов и опустился в снег.

III

Очнулся он через две недели. Он лежал полуголый на лавке; хозяин, седатый, бородатый, с длинной нечесаной гривой, растирал ему грудь блестящими от сала руками. Пассажиру казалось, что ничего этого нет, он всё ещё брёл по лесу. Но и это было обманом, на самом деле он лежал в тряском вагоне, пошатываясь, сжатый с обеих сторон телами других заключённых. Он обвёл плавающим взором избу, низкие, с наледью окошки, веки его снова опустились. Ещё сколько-то дней прошло, старик по-прежнему сидел на табурете, руки на коленях, корявыми ладонями кверху. Старик был в холщёвых портах и длинной рубаше. Кобель, встретивший пассажира, лежал у ног хозяина. Наконец, хозяин промолвил:

«Ну как, оклемался?»

Гость был так слаб, что не имел силы пожать плечами.

«Ты откель, паря?»

Ответа не было — да и какой мог быть ответ. Губы лежащего зашевелились, он спросил:

«А ты?»

«Что я?»

«А ты кто?»

«Кто я есть, — сказал хозяин. — Ты разве не видишь?»

«Нет», — сказал пассажир. Он приподнял голову, глаза его блуждали.

«За мной гонятся», — сказал он.

«Кто это за тобой гонится?»

«Они. Идут».

«Ну и пушай идут».

«Сюда идут. Спрячь меня, дедушка. Спрячь куда-нибудь».

Старик скосил бровь на пса:

«Иоанн! Поди погляди».

Иоанн повернул морду к порогу.

«Там. Крадутся», — прошептал пассажир.

Пёс не двинулся

«Не бойсь, — сказал хозяин. — Если б кто был, он бы выбежал. Хоть и старый, а нюх не потерял».

«Это у него такое имя?» — спросил беглец.

«Такое имя. Иоанн Четвёртый».

Пассажир спросил, почему четвёртый.

«До него был Третий».

«Но ведь он был... царь был...» — пассажир еле ворочал языком.

«Хворый был пёс, долго не прожил», — сказал хозяин, и вновь беглец погрузился в небытие. И прошёл ещё один день, и прошла ночь. Мир вокруг гостя понемногу возродился, как если бы творец, в которого он не верил, сызнаова отделил тьму от света и твердь от воды. В окнах стоял белый день. Пахло душистой травой от пучков, висевших под щелястым строилом. Половину избы занимала печь. Старик, босой, в белой посконной рубахе, стоял на коленях в красном углу перед иконами в полотенцах, с огоньками в висячих плошках.

Старик держал в руках глиняную посудину. Открывай рот, приказал он, дунул на круглую деревянную ложку и поднёс к губам гостя. Пассажир обжёгся и поперхнулся. Пассажир смотрел на старца неподвижными округлившимися глазами и покорно глотал суп. Несколько дней спустя, в тулупе и заячьем малахае, в огромных разношенных валенках, он сидел на завалинке, щурился от яр-

кого света; вокруг капало, сосульки сверкали на солнце — была ли это оттепель или уже весна? Пёс Иоанн IV сидел рядом на тощем заду, моргал рыжими ресницами, что-то соображал.

«Вот так», — вслух подытожил беглец.

IV

Зверю нужно было привыкнуть к нездешнему произношению гостя, а пассажиру — к выговору хозяина. Но слова не только звучали по-разному, но и значили не одно и то же. Старик говорил по-русски и не совсем по-русски, он как будто даже знал грамоту, но опять же какую? Счёт годов вёл от сотворения мира или правления царя Гороха, что то же самое, но дней своих не считал, на вопрос Филиппа: «Сколько тебе годков, отец?» отвечал: «Сколько есть, все мои». И впору было подумать, что время для него ничего не значит. Чему, однако, не следует удивляться, ведь уже сказано, что прежнее время унёс с собой тюремный эшелон.

И всё как-то само собой утряслось, и стала очевидной бесполезность расспросов; понемногу гость перестал быть гостем, колот дрова, топил печку, научился печь хлеб на поду. И всё дальше отступало то прежнее время и государство, где были этапы и пересылки, где по-прежнему нёсся вперёд краснозвёздный Федя, влача за собой полукилометровый состав, и качались в клетках стиснутые в неразличимую массу люди без роду и звания, жевали солёную рыбу, просились на оправку. Больше не удивляло, что за тобой не пришли, не обложили хибару, не грохнули в дверь сапогом; Всесоюзный Розыск, от которого, как справедливо считалось, не укроешься и на Северном полюсе, не напал на след, ибо никакого следа не было.

Вечерами старый отшельник садился за грубо сколоченный стол, перед масляным светильником, нацеплял железные очки, отстёгивал застёжки толстой книги в деревянном переплёте, обтянутом пожухлой кожей, и вперялся в затейливые буквицы, в славянские строчки — похоже было, что он в самом деле умел читать. Несколько времени погодя, застегнув фолиант, он поднимался из-за стола; бывало, проснёшься ночью, а он всё ещё стоит на коленях перед тусклыми образами. И так проходили ночи и дни.

Однажды кто-то прошагал под окнами, взошёл на крыльцо. Жильца успокоило равнодушие Иоанна IV: пёс не проронил ни слова, лишь повёл носом и вновь опустил морду на лапы.

Оказалось — не слишком жаловал этих гостей. И всё же странное сходство бросалось в глаза: кроткий зверь походил на вошедшего, как Алёша Карамазов на беспутного брата Митю. Нагнув голову, в избу вступил свирепого вида мужик, а лучше сказать, мужепёс: бородатый,

страшный, красивый, в каштановых кудрях из-под заломленной мур-молки, с такими же, как у пса Иоанна, карими миндалевидными глазами. За ним ещё двое, неотличимо похожие друг на друга. Все три брата — близнецы и старшой — стали рядом, стянули шапки и размашисто перекрестились, обратив к красному углу обветренные лица.

Мужепёс взглянул сверху вниз на кобеля, четвёртого брата, тот отвернулся.

«Чего не здороваешься?»

Иоанн завесился бровями, промолчал.

«Ишь какой гордый. — И с неожиданной вежливостью к жильцу: — А вы кто такой будете?» — хотя вроде бы такая форма обращения до этих мест ещё не дошла.

«Чего спрашиваешь, небось сам знаешь», — старик ответил вместо Филиппа.

«Откуда ж нам знать. А, мужики?»

«Странно вы как-то креститесь», — заметил пассажир.

«А как ещё?»

«По-моему, надо тремя перстами. А вы кулаком».

«Эва, какой умный; вот так и крестимся. Такая наша вера. А ты кто такой, откель явился?»

Пассажир соображал, что ответить; снова вмешался хозяин:

«Оставь его, Абрам. Он у меня живёт».

Мужик протянул пятерню:

«Авраамий меня зовут. Будем знакомы».

Помолчали; близнецы переминались с ноги на ногу; мужепёс выжидал, поглядывал на незнакомца. Хозяин промолвил:

«Ну что ж, гости дорогие... Филипп, неси, что ль. Только вот выпивки, сами знаете, нет. Не держу».

Он добавил:

«Небось сами позаботились».

«Позаботились, как же».

Пассажир внёс широкий глиняный горшок с дымящимся картофелем, явились соль, лучок, плошка с маринованными грибочками. Старик (которого, по крайней мере в эти первые минуты трапезы, пристойней будет называть старцем) прочёл молитву, молча подал знак пассажиру наливать, тот принял от Авраама бутылку.

Филипп резал сало. Он налил братьям, плеснул себе, вопросительно взглянул на хозяина. Старец вознёс очи к потолку.

«Не буду пить от плода виноградного, доколе не придёт царствие Божие».

Мужик по имени Авраамий возразил:

«Какой тут нахер плод. Первач — лучше не бывает».

«А ты не перебивай, — строго сказал старец. — Так в писании сказано. Прости им, Господи, не ведают сами, что болтают. Сосуд дьявольский — но да будет на сей раз не во зло, а на пользу. Дай-ка сюда...»

Пассажира подал пустую чашку, дед сам наполнил её. Пёс сидел у его ног, подняв умильную морду. Старик двинул кустами бровей, Иоанн IV встал на задние лапы, передними оперся на порты хозяина и замер в молитвенной позе. «Ванюша, милый, душа безгрешная, даруй тебе Господь...» — бормотал старец, свободной рукой смахнул слезу и перекрестил пса. Иоанн вылакал чашу, получил в награду ломтик сала и заковылял к себе в угол. После чего хозяин взял каравай, разломил на куски, обмакивал в чашку с растопленным маслом и подавал каждому.

«Ядущий хлеб сей как плоть мою будет жить вовек!»

«Поехали», — заключил Авраамий. Глядя на компанию, осенил себя кулачным знамением и беглец. Дружно, возведя глаза к потолку, опрокинули в разверстые рты дедовские чарки, тяжело вздохнули. Понохали хлеб, хрустнули луком, катали на ладонях горячие картофелины. Снова разлили и выпили.

«Сами, что ль, гнали?» — спросил хозяин, поглядывая на быстро скудеющий сосуд.

«Зачем самим. Деревенские приносят».

Довольно скоро волшебное зелье, да не просто сивуха, а с перчиком, с можжевельничком, подействовало на беглеца, отвыкшего от питий за многие месяцы следственных тюрем. Рассеялась насторожённость, разгладились морщины на душе, ему стало легко, тепло, уютно. С каким-то новым для себя умилением он озирает компанию: старца, который спас ему жизнь, дремлющую в углу собаку, длиннокудрого, свирепо-красивого Авраама с его присными. Нечто дивное привлекло его внимание. Скосив глаза под стол, пассажир увидел огромный, выставившийся из штанов стыд — Авраам задумчиво поглаживал его, как гладят домашнего зверя. «Ну как, — проговорил мужепёс, усмехаясь, — нравится?» Затем, оставив зверя в покое, потянулся к плошке с грибами, испил чару и закусил.

Всё смолкло, старик ничего не заметил или сделал вид, что не заметил, пришелец сидел, смежив веки; верить ли? — здесь, в лачуге анахорета, в самом сердце нелюбезного отечества, в глухих лесах, совершалось то, чего нельзя было ожидать, чего и не могло случиться в миру: здесь было оправдание жизни, брезжил смысл, обреталась истина, простая, хоть и непросто до неё докопаться.

Что же это была за истина? Но нет, её не передашь словами.

V

«Твоего поля ягода, — старец отнёсся к Аврааму. — Утёк от кого-то».

«Небось убил кого?»

«Может, и убил. А, Филя?»

Беглец из Филиппа стал Филей, и всё было хорошо.

«Покайся!»

В чём? Нет, каяться он не собирался.

Старинный обычай не велит расспрашивать, за что, и как, и почему. Схватил срок — и помалкивай, никто тебя и не спросит. Не всё ли равно. А вот поведать, как ехал и не доехал, как стоял на буфере и примерялся прыгнуть, очень хотелось гостю. Тем временем Авраамий достал другую бутылку, заговорили о монастыре, где, разделавшись с братией, обосновалась компания.

Мужепёс усмехнулся в ответ на вопрос Филиппа, куда они делись.

«Монахи, что ль? Ты вон лучше у отца спроси. Он сам оттель».

«Молчи, злыдень!»

«Кого порешили, кто сам утёк», — объяснил Авраам, наливая себе, гостю и братьям. Пассажир слушал, ждал своей очереди.

«А вот я вам что расскажу...»

«Ты сперва самовар поставь», — заметил старец.

«Рано, отец, — возразил Авраам, — ещё не допили. — Филиппу: — Валяй».

Поистине чудным было действие питья, разбудившего память. Но почему-то он передумал. Неожиданно для самого себя объявил, что расскажет одну быль, уж больно она подходит к случаю.

Филипп (будем продолжать называть его этим именем) не собирався выдавать за собственное сочинение балладу, заученную с детства, но они именно так и решили. Никто здесь никаких стихов не слышал, ни духовных, ни светских. Пассажир вздохнул, собираясь с силами, уставился лики святых в углу. Оглядел квёлых сотрапезников, прикорнувшую в углу собаку, заглянул под стол — коварный жилец опал и скрылся. Пассажир прочистил горло.

«Господу Богу помолимся!»

«Уже помолились», — отвечал Авраам.

«Господу Богу помолимся, древнюю быль возвестим. Мне в Соловках её сказывал инок отец Питирим. Он ещё раз обозрел компанию. — Было двенадцать разбойников, был Кудеяр-атаман. Много разбойники пролили крови честных христиан...»

«Эва, — вскричал Авраам, — никак про нас?»

Старик:

«Ты помолчи, послушай. — И Филиппу: — Тебе, парень, может, дать балалайку? Али гусли. Только где ж я их возьму».

Пассажир продолжал:

«Много разбойники пролили крови честных христиан. Много богатства награбили, жили в дремучем лесу. Вождь Кудеяр из-под Киева вывез девицу-красу».

«Нет, надо выпить, — сказал Авраам. — Ври дальше. Про бабу».

«Днём с полюбовницей тешился, ночью набеги творил. Вдруг... — Сказитель сделал паузу. — Вдруг у великого грешника совесть Господь пробудил. Сон отлетел, опротивели пьянство, убийство, грабёж. Тени убитых являются, целая рать — не сочтешь!».

Короче, стало ему невмочь. Злодей распустил свою шайку, роздал богатство и удалился от мира.

«Это уж про тебя. — Старик мрачно взглянул на сына. — Мотай на ус!»

Напрасно, продолжал сказитель, отправился он в дальний путь, ко гробу Господню, отмаливать прегрешения: ничего не помогло.

«Старцем, в одежде монашеской, грешник вернулся домой, жил под навесом старейшего дуба в труппе лесной. Денно и ночью Всевышнего молит: грехи отпусти! Тело предай истязанию, дай только душу спасти!...».

И было ему видение.

«Чего?»

«Видение», — сурово пояснил старый хозяин, который, хоть и виршей этих не знал, но, похоже, догадывался, что будет дальше.

«Да... — проговорил Филипп. — Сжалился Бог и к спасению схимнику путь указал. Старцу в молитвенном бдении некий угодник предстал. Рёк: не без Божьего промысла выбрал ты дуб вековой. Тем же ножом, что разбойничал, срежь его, той же рукой!»

Авраам:

«Это как же это ножом?»

Филя:

«А вот так, понимай как хочешь. Будет работа великая, будет награда за труд. Только что рухнет дерево, цепи греха упадут».

Делать нечего, он режет дуб, годы идут, дело почти не подвигается. Шутка ли — дерево в три обхвата, где уж там ножиком срезать. И уже закралось в душу сомнение: взаправду ли ему велено или приснилось? Как вдруг слышит голоса — оказывается, в чащу заехал знатный охотник, пан Глуховский, известный во всей округе. Чем известный? Распутством, жестокостью, всякими безобразиями; словом, фрукт почище самого Кудеяра. И стал он насмеяться над старцем: я-де живу в своё удовольствие, ем, пью, баб лобзаю сколько захочу, — а ты тут вкалываешь.

«Жить надо, старче, по-моему: сколько холопов гублю. Мучу, пытаю и вешаю, а поглядел бы, как сплю!»

Пассажир надменно оглядел компанию. И тут...

«Чудо с отшельником сталося. Бешеный гнев ощутил. Бросился к пану Глуховскому — нож ему в сердце вонзил».

Братия затаила дыхание. Иоанн проснулся и застучал хвостом. И вот тогда — кто бы подумал?

«Только что пан окровавленный пал головой на седло, рухнуло древо громадное, эхо весь лес потрясло! Р-рухнуло др-рево, скатилось с инока бремя грехов!»

Филипп умолк, и общее молчание воцарилось.

Наконец, хозяин промолвил:

«Двенадцать, говоришь, их было? Все, стало быть, покаялись?»

Аврааму:

«Мотай на ус!»

Авраам утирал тылом ладони слёзы.

«Чего хнычешь?»

«Жалко этого, как его...»

«Разбойника?»

«Пана этого жалко. Мужик что надо».

Стали пить чай.

VI

Выше говорилось, что повествованию нашему нет ни конца, ни начала. Но у каждой реки есть исток, и всякая история с чего-то начинается. Последуем примеру древнего хронографа, вернёмся к началу начал, когда схлынули воды всемирного потопа и ковчег уцелевших остался стоять на суше. И разделил праведник Ной всю землю между сыновьями: Симу достался восток, Хаму юг, Иафет же, младший, получил во владение страны полунощные. И от тех самых иудеев, от внуков и правнуков Иафета впоследствии произошёл славянский народ.

Но был он тёмнен, и князя послали к царю просить, чтобы отрядил к ним наставника: мы-де племя хоть и крещёное, но неучёное, не знаем ни по-еврейски, ни по-гречески, ни по-латыни. О чём написано в святых книгах, не умеем прочесть.

Явились братья болгары Мефодий и Кирилл, придумали азбуку, перевели на славянский язык Апостола, Евангелие, Псалтырь, Октоих. Из Царьграда прибыли монахи, и от них пошло священство. Народились свои книжники и наставники, и народишко приободрился. С тех пор стали называться славяне варяжским именем Русь.

Тогда основались первые обители. Опять же в языке родном своих слов не хватало, понадобились чужеземные: вот ты, сказал старик-отшельник, вроде бы и грамотный, и вирши сочиняешь, а не знаешь того, что монастырь есть слово греческое, означает иноческое пустынь-

ножительство. Рёк святой Афанасий: два суть чина и состояния в жизни, одно есть супружество, а другое — монашество. И всякий, кто вступил на иноческий путь, должен отречься от мира, и от женского пола, и от имущества, и от прежнего имени.

«Как же тебя раньше звали?» — спросил пассажир.

«Как звали... А зачем тебе знать?»

Он усмехнулся:

«Да я уж и сам не помню».

Разговор продолжался, Филипп спросил старца, почему он оставил обитель.

«Хотел есмь один жить в пустыне сей и тако скончаться на месте сём. Слыхал небось, — он насупился, — прогнали. Родные сыновья прогнали! У лисиц есть норы, и у птиц небесных гнёзда, а Сын Человеческий не имеет, где голову приклонить».

Он добавил:

«Да я бы и сам не захотел там оставаться. За грехи покарал Господь нечестивых. Хорошо хоть ноги унёс».

Но продолжим рассказ. Первоначально монастыри строились в городах или неподалёку. Лишь спустя многие годы тайные обители стали появляться в лесах. И не по замыслу и почину ктиторов, и не по благословию иерархов, и не на деньги князей и купцов. А сами отшельники, поняв, что в суете и сутолоке людской не спасёшься, уходили в тайгу. Жил пустынный под навесом, рыл землянку либо строил бедную хижину, а тем временем весть о его подвиге разносилась вокруг, собирались верные, рубили лес, расчищали место, носили бревна на своих плечах и возводили сруб своими руками; монастырь был окружён высоким тыном, за тыном поднималась крытая дранкой шатровая церковка. И окормлял души старец-первооснователь, а бывало и так, что оставался на многие годы один, и прилетала, кружила над церковным крестом чёрная зеленоглазая птица жизни и смерти Гамаюн, неся весть о бедах мира. Косматый Див прятался в чаще, и выходил навстречу заплутавшему путнику святитель в куколке и монашеском одеянии.

Был среди первых пустынножителей особенный подвижник — несправедливо будет не упомянуть о нём.

Родился он в богатом селе близ Ростова Великого, от отца, служилого человека ростовских удельных князей, и матери, чьё имя утеряно; десяти лет отроду стал учиться грамоте, успевал плохо, как ни старался, и сильно огорчал этим наставников и родителей. Однажды потерялась лошадь, отец дал сыну обротъ, послал искать, и на опушке глухого Радонежского бора, у реки, отроку явился некий черноризец.

Монах обратился к мальчику: «Чего взыскуешь, чадо?»

«Хочу, — сказал Варфоломей, — знать грамоту, да вот никак не получается».

«Не печалься, — был ответ, — с сего дня овладеешь грамотой». И подарил ему книгу, вот эту самую, сказал старик, захлопнул деревянную, обтянутую пожухлой кожей крышку и застегнул медные застёжки.

«Она самая? Быть того не может», — сказал Филипп, и в самом деле, трудно было поверить.

И ещё кое-что было сказано подростку Варфоломею таинственным посланцем, но навеки осталось тайной; известно только, что он не вернулся к родное село, ушёл в леса, где и погиб, говорят, растерзанный диким зверем. Верить ли сему? Епифаний утверждает, что, напротив, никто его не тронул, а всё дело в том, что молодой подвижник взял себе другое, монашеское имя, и отсюда вся путаница.

Он устроил себе ложе в таёжной чаще и поставил на жердях крышу. Отвёл место для обители. Однажды к нему явилась, а потом снова и снова, ведьма-кикимора под видом красивой полунагой девицы, но он её всякий раз прогонял.

Мало-помалу стали к нему стекаться иноки, которым он запретил принимать подавание, а велел жить плодами своего труда. Будто бы слух дошёл до великого князя Дмитрия Ивановича, и тот прибыл с боярами и воеводами испросить благословение перед битвой с татарами. Но вот вопрос, где всё это происходило: в том ли краю, где окончил свои дни преподобный Сергей, где ныне за белокаменными стенами блещут главы Троице-Сергиевой лавры? Не подальше ли от погрозней в стяжательстве и властолюбии Москвы?

Да и сам премудрый Епифаний подразумевает, что не там. Оно, пожалуй, будет правдоподобней. Небось лавра и весь этот блеск, богатство и многолюдство, и пышные одеяния иереев не больно понравились бы праведнику: «Эва до чего дожили».

И покачал бы чёрным куколом, и удалился бы прочь, в леса.

VII

Некоторыми своими чертами обитель в тайге могла напомнить — в уменьшенном, конечно, виде — лесоповальный лагпункт. Власть, будь она самой передовой, всё же наследует обычай и образ веков. Тот же высокий тын из жердей, те же глухие ворота, разве только вышки не хватает — вместо неё церковь с луковкой и бойницей. Та же глухая неизвестность, та же проволока поверх забора. Гремя цепью, вдоль тына, от одной конуры до другой бегали сброшенные вислой шерстью, как мамонты, псы, останавливались в раздумье, снова пускались в путь.

«Ну и нечего лаять, свои», — проворчал Кудеяр Авраамий.

Собачий дуэт умолк, звери сидели на косматых задах, недобро поглядывали на пассажира. Гуськом, впереди старшой, за ним близнецы, последним, озираясь, Филипп, вошли в ворота. В тесном дворике на верёвках сушилось исподнее, на жердях вверх дном глиняные кувшины. А в сторонке, в углу двора — Господи спаси и помилуй! — нечто странное и страшное: криво насаженная на колу, посеревшая, с космами длинных волос, в чёрном клубуке со свисающим сзади изодранным покрывалом, с усохшим, ощеренным ртом, безногая и безглазая голова.

«Вороны расклевали, едри их...» — пояснил Авраам.

«Кто же это?»

«Как его там, игумен, что ль. Змей едучий... Прямоком в ад и отчалил».

Гость спросил, отчего же в ад.

«А куды ж ему ещё. Небось сидит там в котле кипящем, меня вспоминает».

Ты-то сам, подумал Филипп, не рассчитываешь ли угодить туда же?

Вошли внутрь. Тесноватая клеть с низким закопченным потолком служила трапезной: стол, скамьи, два оконца и чёрная печь из булыжного камня. Зато церковь с двумя столпами из толстых брёвен, амвоном и трехъярусным, почернелым иконостасом после мрачной трапезной показалась светлой и просторной. Мужики сорвали шапки с кудлатых голов, усердно обмахивались кулачищами, приложились к иконам.

«Ну что, братва... — пробормотал Авраам. — Куды Анфиска-то подевалась?»

«За оброком почапали», — отвечал один из братьев.

В деревню, стало быть, пояснил гостю Авраам.

Вскоре снаружи послышалось движение, собачье повизгиванье; появились две женщины, старая и молодая, обе в длинных юбках из тёмноватой пестряди, в чёрных платках, низко надвинутых до самых бровей. Не взглянув на мужчин, опустили наземь добычу, молча трижды перекрестились древним двоеперстием, низко кланялись. Мешки с данью, которой разбойная братия обложила деревню, были снесены в подклет, бабы занялись приготовлением к трапезе.

Таково было первое знакомство пассажира с бывшим скитом и его обитателями. А о том, что происходило дальше, составитель этой повести охотно бы промолчал; однако из песни слова не выкинешь.

VIII

Помнится, в наставлениях игумена Фирса инокам Малоозерской пустыни сказано, что не должно иметь бани в обители, дабы никто из братии, иначе как по нужде, не обнажал своего тела, другим не показы-

вал и сам не обозревал. Ибо плоть, и своя, и чужая, — бездонный сосуд греха. Банный день, однако, соблюдался в разбойничьем логове неукоснительно. Позади церкви стоял низкий бревенчатый барак с братскими кельями. А за ним, почти вплотную к приземистым окошкам, невидная калитка выводила за ограду. Вокруг всё заросло кустами смородины и боярышника, крапивой в рост человека, папоротником по колено. Еле заметная тропа спускалась к озеру. У воды стояла избушка на курьих ножках, неизвестно кем построенная, уж не монахами ли, вопреки поучению, — с трубой и подслеповатым оконцем. Через толстую скрипучую дверь ввалились в предбанник. Жаркий дух пахнул в лицо, баня была с утра истоплена. Оставили на скамье всё, что было на них.

Во тьме Авраам первым полез на полóк, за ним Филипп и один из братьев. Второй остался внизу, понемногу глаза привыкли к мраку, к багровевшим камням, он зачерпнул длинным деревянным ковшом из бочки, плеснул кипятком на раскалённые камни, отскочил — струя пара вырвалась, шиля, и всё заволокло; наверху охнули, изрыгнули радостный мат, распластались, спасаясь от жара, на горячих досках. И тотчас запели, заскрипели дверные скрепы. В облаках пара из предбанника, толкнув забухшую дверь, показался широкий, белый бабий зад. Анфиса, крупная, крепкая женщина за пятьдесят, в одной руке плоска с салным огарком, другой прикрываясь берёзовым веником, пригнув под притолокой полнеющий стан, так что груди налились, как два перезрелых плода, переступила порог; следом за ней та, что была моложе, и тоже в чём мать родила.

«Дай отдышусь маленько», — сказала Анфиса, пристроила светильник в углу на выступ бревна и уселась на корточках. Молодка по имени Устя приняла от неё веник, окунула, отвратив круглый раскрасневшийся лик, в горячую воду, осторожно стряхнула. Обе, стоя на ступеньке перед полком, принялись за работу: старшая мяла, щипала и тискала мужчин, волоча по волосатым телам большие, как сливы, соски, молодая усердно махала веником. Немного погодя все шестеро, малиновые и нагие, выбрались из парильни на волю — и гурьбой в озеро.

Мужичьё чинно сидело в предбаннике с холстинами на коленях. Принимали от женщин полную чару, отдувались; всё плыло у пассажира перед глазами.

Стол был накрыт в трапезной, и самозванный игумен, умашённый, умиротворённый, воссел с братией, и беглый гость с варварской лирой в руках приготовился в который раз исполнить балладу о Кудеяре и двенадцати разбойниках, когда залиvistый лай возвестил о пришествии гостей, растворилась дверь, и вошли, опустив глаза, закрываясь платочками, лукавые бабёнки в венцах, медных привесках, разноцветных бу-

сах, в лаптях и красных панёвах. За ними, приплясывая, в расшитых рубахах, расчёсанные, припомаженные парни и отроки со свистульками, ложками, дудками.

Ударили в бубны, затрещали ложками, и воспламенился пир, и пошли у них игры и поцелуи взасос, и лапанье за всё, о чём душа только может мечтать, и, не допив, не доев, повскакали с мест, толпой повалили в церковь, и тут же, кто где, стеная, совокуплялись, и голый, волосатый, как зверь, атаман, тряся каштановыми кудрями и мудьями, плясал вокруг алтаря, бил ручищей в бубен и бубном по ягодицам, и вновь безумные женщины облепили мужиков под неподвижными взглядами апостолов и святителей.

Сказано, создал вас Бог такими, и не имайте стыда. И ещё сказано: если есть на земле место, куда можешь скрыться прочь от гнусного мира, забыть гремучий тряский вагон и гром столкнувшихся буферов, и ветер, и свист, и прыжок, и падение по откосу в девственные снега, то лишь здесь, в огромной безлюдной стране, в воронке бабьего лона, в сердцевине бытия: там, где зарождение новой жизни сомкнулось со смертью. Не напрасно птица с глазами из смарагда, махая траурными крыльями, кружила над маковкой бывшего монастыря до тех пор, пока не уселась на кресте, пока не пала ночь и, насытившаяся до отвращения, вконец упившаяся и наблевавшая братия вместе с подругами не повалилась наземь, где кого настиг сон.

IX

Никто из них не знал, какого они роду-племени, — русские, и всё тут; почему бы, однако, не допустить, что в их жилах текла кровь северных воителей, некогда пришедших в эти земли, чтобы соединиться с местными женщинами, породниться с уграми, с весью, с чудью, с муромой; почему не дать волю воображению, предположив, что пращуром старика-отшельника и его сыновей был сам король Улаф Святой, чей боевой топор по сей день держит в лапах коронованный лев на червлёном варяжском щите Норвегии. А вот кем был убитый и расклёванный вороньём игумен, висевший на колу перед своей церковью, об этом дошли до нас причудливые. Случалось даже слышать, будто мученик был не кто иной, как преподобный Сергий. Но оставим домыслы, похожие на вымыслы, вернёмся к герою этих страниц.

Жизнь его так и текла между монастырём и хижиной анахорета. И сменились времена года, снег сошёл, запели птицы. Пришло время оспениться, обзавестись своим домом и хозяйством. Мысль эта, впрочем, приходила в голову не ему одному: с некоторых пор женские глаза поглядывали на него не без тайного умысла. Ранним утром невзрачная девушка Устя, крепостная боярина, чьи люди давно уже не заглядывали

в деревню из страха нарваться на шишей, вышла из деревни. Путь неблизкий — и показался бы ещё дольше, если бы здесь дорожили временем. Времени было так же много, как и леса, неба и тишины. Она шла ровным, бодрым крестьянским шагом, поскрипывая новенькими лаптями, и лес вокруг играл всеми красками, свистел птичьими голосами, толстолапая и горбатая россомаха подозрительно поглядывала из чащи, пожилой леший улепётывал прочь; с берестяным пестерем за спиной она ступала не спеша, спускалась в овраги, обходила топкие места, пока, наконец, не приблизилась к цели. Тут она остановилась, сняла с плеч верёвочные лямки, достала из пестеря новое ненадёванное платье, насурьмила брови, нарумянила щёки и повязала белый с алой каймою плат. Погляделась в тусклое зеркальце и увидела красавицу.

Двинулась было дальше — тут ей преградил дорогу Филипп со связкой хвороста. Устя скинула ношу, распрямилась, расправила кружевной передник, подтянула концы платка. Пассажир был изумлён, видя, как она изменилась.

Надо было проявить вежливость, сказать что-нибудь. Он спросил: «Ты идёшь из монастыря? Тебя Анфиса ждала».

«Знаю, что ждала, — сказала Устя. — Только нечего мне там делать».

Вёрст за тридцать от обители проходила лесная дорога, по которой проезжали издалека купцы с возами, с охраной, с драгоценной кладью. Накануне Авраамий с братьями, вооружившись, отправились на дело.

«А ты что же не с ними?»

Пассажир ответил, что ему лучше сидеть на месте. Она не спросила, почему; кое-что знала о нём.

«Будет тебе приданое».

«Я от них ничего не хочу», — возразила Устя.

Оба чувствовали — чей-то неслышный голос подсказывает, что говорить.

«А ты откуда знаешь, — спросила она, опустив глаза, — что я собралась замуж?»

«По тебе видно, как ты приневестились».

Молчание, затем она снова:

«Тебе нравится?»

Пассажир усмехнулся.

«Мой дом заперт, — сказала Устинья. — Знать, пришло время отворять».

«А где же тот, кто к тебе постучится? Небось кто-нибудь из братьев?»

Она помотала головой.

«Анфиса меня за тобою послала».

«Вот как».

«Она мне как мать».

«Разве нет у тебя своей матери?»

«Я сирота. Нет у меня ни мамы родной, ни отца».

«Некому, стало быть, благословить?»

Пауза. Он спросил:

«А ты знаешь, кто я такой?»

Ответа не было, да и зачем было отвечать.

Заклинаю вас, дочери Иерусалимские, если встретите возлюбленного моего, что скажете вы ему? Что я изнемогаю от любви.

Изнемогаю — сказано, пожалуй, слишком сильно. Был трезвый выбор, было решение

Что яблонь между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. Уста его — сладость, и весь он — любезность.

Они прошагали в молчании часть пути; это был разговор без слов.

Я тебя видел. И я тебя видела. Я видел твои круглые бёдра, и гибкую талию, и твои сосцы. А я — твою широкую грудь, впалый живот и ключ, которым отмыкают девичество.

Но это больно.

Я не боюсь.

Ты не знаешь, кто я.

Знаю, иначе бы не пришла.

И всё гуще, темней и молчаливей становился лес, но вот, наконец, посветлело, вышли на поляну, хижина отшельника стояла над ручьём. Филипп постучался; в низком окошке мелькнуло лицо старца.

«Нельзя ко мне, — сказал он, когда гость переступил порог его кельи, и верный пёс, предпоследний Рюрикович, был, по-видимому, того же мнения. Девушка стояла в сених. Старик пояснил: женскому полу нельзя.

«Отец, мы ненадолго»

Зверь пролаял положенное. Устя подошла под благословение. Повернулась к Тихвинской Богородице. Пассажир обмахнулся кулаком. Старик сидел за столом, глядел сурово.

«Дедушка, — сказала Устинья. — Повенчай нас».

Х

По тайным стёжкам, отмахиваясь от мошкары, обходя болота, волчьи и лисьи норы, вышли к деревне. Ни собачьего лая, ни дымка над соломенными кровлями. Но в слепых окошках — где за мутно-зелёным стеклом, где за бычьим пузырьём — следили за ними завистливые глаза.

Поднялись на крыльцо об одном столбе, это был рубленый, почерневший от времени, но всё ещё крепкий дом на каменном подклете. В сухой, опрятной горнице было душно, красный угол обвешан полотенца-

ми, пол устлан половиками, посредине, под толстой крышкой ход в подпол. Добрую половину избы занимала печь с полукруглым, как пещера, очагом и деревянным опечком. На её продолжении, сбоку от очага, на высоком ложе, в тепле и полутьме — толстые лоскутные одеяла и войлочные подушки.

Вот оно, сказал себе пассажир. Конечная станция.

Молча поужинали; он улёгся; новобрачная, в длинной до пят рубашке, молилась усопшим предкам; босая, с распущенной косой, сидела на корточках перед поднятой крышкой погреба, бросала крупу, вперялась расширенными зрачками туда, где мерцали тёмные лики потустороннего мира. Затем она поднялась, долго крестилась перед иконами, била поклоны и шептала то ли молитвы, то ли заклинания.

Давно уже пассажир потерял счёт дням, смутно припоминал, где, когда всё это было: хижина на поляне, и как он упал в снег, и собака бежит навстречу. Было ли на самом деле? А меж тем, покуда в глянценой чашке догорает сальный светильник и девственница восходит на брачное ложе, далеко за лесами грохочущий потный локомотив со звездой на брюхе всё ещё мчится, посылая вперёд слепящий луч. Всё ещё обходят клетки с людьми солдаты караульных войск, раздают солёную рыбу, выводят на оправку. Облитый оранжевым светом, полуголый кочегар швыряет совковой лопатой уголь в паровозную топку, и бессонный машинист выглядывает из окна рубки. Вращаются оси, вверх-вниз ходят колёсные передачи, грохочут вагоны, несутся навстречу заснеженные леса, мёртвые полустанки, шлагбаумы, баба в тулупе стоит с фонарём и скатанным флажком, — мимо, мимо, — но на самом деле колёса крутятся — и ни с места, шпалы уносятся назад и лежат неподвижно, нет расстояний, нет прошлого, и нет будущего, всё происходит одновременно, как события священной истории на клеймах старинных почернелых икон.

XI

Пора вспомнить и о другом персонаже. Василий Плюхин был уроженец деревни Стукаловка — при этом обычно добавляли: Троице-Плюхино тож, — Сусанинского района Костромской области. Отбыв военную службу, он вернулся в деревню, но ненадолго: пьянствовал, успел перепортировать всех девок и завербовался на Север; работал на лесосплаве, потом шатался Бог знает где, пропил заработанное и вновь подался было домой; по дороге его обчистили, исчез чемодан, исчезли документы, паспорт, железнодорожный билет; ночью он вылез зачем-то на Князьем Погосте, полумёртвой станции Северной железной дороги; тут подошёл спецсостав; что произошло, нам уже известно.

Довольно скоро в спецчасти комендантского лагпункта, куда Плюхин загремел с чужим формуляром, заподозрили неладное, а затем и стало понятно, что узника подменили. Где, в тюрьме ли, в пути, надлежало выяснить следствию, были допрошены свидетели, а какие могли быть свидетели — уж, конечно, не те, кто ночью втащил пьяного Плюхина в вагон, — те, само собой, помалкивали. Дело дошло до Москвы. Тягали и начальника поезда, и машиниста, и коменданта станции Москва-товарная, откуда отправлялся этап, и кого-то из управления Северной дороги. В дальних лагерях разыскали сокамерников по спецкорпусу и так называемой церкви — этапной камере № 11 славной Бутырской тюрьмы, добрались и до шоблы, ехавшей с Плюхиным в одном отсеке.

Сыпались выговоры с занесением в личное дело, кто-то лишился партбилета, кого-то попёрли с высокой должности. Дело тянулось месяцами и кончилось ничем. Всесоюзный Розыск, как мы знаем, никого не разыскал.

Оставалось предположить, что беглеца уже нет в живых; и так оно и было в некотором метафизическом смысле. А пока что Васька Плюхин — куда ж его деть, не отпустить же, — отбывал срок вместо выбывшего. Его история и дальше была примечательной. По прибытии из карантинного на постоянный лагпункт он сперва вкалывал на общих работах. Но затем, принимая во внимание всё случившееся, был не то чтобы выпущен, но расконвоирован и вскоре зачислен в самоохрану. Вместе с солдатами срочной службы, с винтовкой в руках водил колонну в рабочее оцепление. Дослужился там до каких-то невысоких высот — тут, наконец, пришло решение высших инстанций; не имеет значения, как оно называлось: помилование, реабилитация или закрытие дела за отсутствием состава преступления. словно невидимый перст уперся ему в грудь. Плюхин остался в карательной системе. Окончил в Вологде школу внутренних войск МВД. В звании младшего лейтенанта, в новеньком мундире отправился на побывку в родные места, и тут произошло то, чего никак не должно было случиться и, однако, случилось, — оттого ли, что он был что называется без царя в голове, или оттого, что в нашей огромной, запущенной стране немудрено заблудиться — в чём мы не раз убеждались — не только в таёжных дебрях, но и в столетиях. Плюхин пропал.

ХИ

«Рыщут», — сказал Авраам.

«Кто рыщет?»

«Стрельцы, кто ж ещё. Суки поганые. Нас ищут».

«Господь помилуй и спаси!» — сказала Анфиса.

«Он тебя помилует, жди... Да не бойсь. Кто нас тут найдёт? А найдут, встретим как положено, угостим дорогих гостей... Вы как мыслите, мужики?»

Близнецы согласно кивнули.

В малиновом кафтане по цвету стрелецкого полка, со стоячим воротником-козырем, в щёгольских портах и лихо заломленной шапке с меховым околышем, шагал, а лучше сказать, пробирался, не жалея сафьяновых сапог, со своим отрядом, с нанятым проводником из местных, по таёжным тропам и буеракам лихой удалец, краснорожий от выпивки пятисотный пристав Василий Плюхин.

По-разному передавали, что стряслось в те дни в разбойном скиту; иным рассказам едва ли можно доверять, да и кто там особенно разбирался. Но сомневаться в исходе не приходится.

Остатки рухнувшей луковицы с крестом, чёрные пятна огня в бывшей трапезной, опустошённая церковь, пепелище на месте бани... Труп сторожевой собаки с раскроенным черепом лежал перед двумя столбами обвалившихся ворот, Второй кобель невероятным усилием сумел оттащить за собой будку в лес и был растерзан волчьей стаей. Исчезла голова бывшего игумена на колу. Обугленные трупы братии нельзя было опознать — да и кому это могло понадобиться.

Всё это выглядело так, как будто мщение настигло беглого пассажира. Но спрашивается, где, от кого прослышал бывший (или будущий?) младший лейтенант внутренней службы, ныне стрелецкий пристав Васёк Плюхин, о том, что беглец жив и скрывается в логове боготступников и шишей? Явился ли Плюха, чтобы свести счёты с виновником своих бед? Или ни о чём таком не знал, выступил с отрядом по долгу службы, во исполнение царского указа, по доносу деревенского старосты, по челобитной ограбленных купцов? Как объяснить эту встречу в другом времени?

Бессмысленно искать ответ на эти вопросы — разве только сослаться на философа, пояснившего притчей свою мысль. Видите ли вы, спросил он, вон того кота во дворе, — если я скажу, что это тот самый, серый с подпалинами кот, который болтался тут пятьсот лет назад, вы пожмёте плечами. А между тем ещё нелепей считать, что это какой-то другой кот.

В последний раз пронёслись чёрные крылья над разбойным гнездом, псы, очнувшись от дрёмы, вскочили и залились лаем. Стрельцы с факелами окружили обитель. Прочистив горло, смачно сплюнув, пристав Василий Плюхин окликнул проснувшихся братьев. В ответ послышался из-за высокого тына лапидарный мат. Плюха ощерился и обвёл своё войско свирепым взором. Стрельцы — раз-два, взяли! ещё, взяли!.. — бухнули бревном раз и другой в ворота, оказавшиеся на удивление прочными. На крыльцо трапезной выскочил босой, в исподней рубахе и подштанниках, с секирой святого Улафа мужепёс Авраамий.

«Снесу башку, кто подойдёт!»

«Хо-хо! — Плюха зашёлся смехом, — а вот хера мово облизать не хочешь?.. Огонь!» — заорал он. В следующую минуту атаман рухнул, сражённый выстрелом из пищаля.

Ещё сколько-то времени понадобилось, чтобы обложить стены соломой, подкатить бочонки со смолой и селитрой.

«Вот мы сейчас вас окрестим! Огненным крещением, псы смрадные, мандовошки!.. Выходи, кто там есть! — кричал Плюхин. — Бабы есть? Выходи! И этот, как его!..»

Спрашивается, кого он имел в виду.

Но тут, не успело пламя охватило церковь, в последний миг перед победой, сверху из узкой бойницы в шатре вылетела стрела, отравленная соком волчьх ягод, и командир стрелецкой сотни, с раскрытым ртом и выпученными глазами, развесив руки, зашатался и пал — метким выстрелом Ваську Плюхина сразил последний из братьев.

* * *

В подклете пассажир шарил во тьме по мокрым каменным стенам, натыкался на бочки с припасами, сундуки с драгоценным добром, пока, наконец, подземный ход не вывел его в лес. Столб багрового дыма стоял над деревьями.

Со смертью Авраама и его братьев прервалась русская ветвь потомков короля Улафа Святого. А пассажир? Оставил ли он сына крепостной крестьянке, сироте Устинье?

Беглец продолжал свой путь.

Ужин у графини Д.

Идеей поездки в Зибенбюрген я обязан моим друзьям, пожилой чете из Бремена. Зибенбюрген, Семь крепостей. Так называется этот край с тех пор, как король Геза обещал своё покровительство переселенцам с Рейна и Мозеля; было это восемьсот лет назад. Другое название, *Ultrasilvana terra*, или Трансильвания, тоже легко поддается переводу. Страна за лесами представляет собой обширное холмистое нагорье; гигантской подковой огибают его зелёные и снежные Карпаты. Здесь кончались владения мадьярской короны, здесь немцы, пожалованные землёй и привилегиями, должны были охранять границу от набегов языческих орд, от несущихся с гиком и воплем монголов, сумевших прорваться на своих курчавых лошадках сквозь гребень гор.

Революционные нововведения румынского кондукатора не обошли стороной и немцев-хуторян. Помощь голодающим зибенбуржцам организовала евангелическая община, фактическими же исполнителями были Отто и его жена. Дважды в году снаряжался автомобиль-вагон с продуктами и одеждой. Муж сидел за рулём, жена, во всём, что можно было натянуть на себя, втискивалась рядом, пристроив ноги в валенках между коробками американских сигарет для умащивания таможенников. Экипаж отправлялся в путь через три государства до заветной границы, а там, смотря по обстоятельствам, через Клуж, Арад или Тимишоара в столицу некогда процветавшего края, — если можно говорить о процветании в этой не слишком обласканной судьбою стране.

Помянув кондукатора (ныне пребывающего в аду), я хотел бы заметить — это имеет отношение к моей специальности, — что никакое серьёзное описание тиранического режима, на мой взгляд, не может обойтись без фольклорного образа тирана. Народное воображение неизменно наделяет деспота чертами какой-нибудь легендарной фигуры. Отто предупреждал меня, чтобы я ни в коем случае не выказывал недоверия к некоторым рассказам, если мне придётся их услышать. Он имел в виду слухи о том, что Чаушеску регулярно обновляет свои силы, телесные и сексуальные, высасыванием крови у новорождённых девочек.

Любимая книжка нашего детства начиналась словами: «Я выехал в Россию верхом на коне». Славный барон клялся, что он самый правдивый человек на земле. Я выехал в Зибенбюрген поездом. Пересадка в

Будапеште, долгое стояние на границе. Ещё одна пересадка... В сумерках, измочаленный долгой дорогой, я вышел на вокзальную площадь в Германштадте и, покружив по улицам довольно большого города (таксист явно вёз меня окольным путём, чтобы побольше намотать на счётчик), оказался перед фасадом гостиницы, воскрешающей баснословные времена австро-венгерской монархии; подросток в каскетке и форменной курточке подхватил мой багаж. Разумеется, это был лишь фасад. В отеле всё было как в современных отелях и ничего не работало. Просторный холл освещался керосиновыми лампами. Дежурный администратор за стойкой не мог понять, что мне нужно, пока я не подкрепил свои объяснения приличной купюрой. Мальчик потащил наверх чемодан; лифт не работал. Дверь в номер не хотела отпираться, бельё издавало подозрительный запах, мраморная ванна не функционировала, а в уборной стояло ведро с водой на случай, если откажет спуск.

Кажется, кроме меня, в гостинице вовсе не было постояльцев. Сидя на другое утро в пустом ресторанном зале за скудным завтраком, я позвал к себе официантку и сказал, что хотел бы с ней потолковать. Она поняла меня в совершенно конкретном смысле, быстро кивнула и через час постучалась в номер. Чистенькая черноглазая девушка. Я спросил, могу ли я говорить с ней по-немецки и как её зовут. Возможно, представления богатого иностранца, каким я должен был здесь казаться, о местных обычаях были чересчур примитивны. Как опытный боец не мешкая наносит удар, я выложил на стол столько, сколько, по моему мнению, было достаточно.

Эффект был несколько неожиданным, она смотрела на меня с испугом. Так высоко эта девочка себя, очевидно, не ценила. «Сейчас?» — спросила она робко.

«Что сейчас?»

«Мне сейчас раздеваться?»

Я усмехнулся, такой поворот дела не входил в мои планы. «Не обязательно, — сказал я. — Ты должна мне помочь. Вот это, — я показал на телефонный аппарат. — Мне надо, чтоб он работал».

Она передёрнула плечами, как будто хотела сказать: подумаешь, проблема. Дядя придёт и включит. Её дядя тоже работал в гостинице.

А во-вторых, продолжал я, не могла бы она подыскать мне шофёра. Мне предстоит поездка, желательно иметь под рукой надёжного человека. И это тоже оказалось несложным делом, всё тот же дядя Абрахам отвезёт меня хоть на край света. Возможно, туда мне и предстояло отправиться.

Она удалилась, сделав что-то вроде книксена. И всё пошло как по маслу. Вдруг оказалось, что все четыре крана в ванной и умывальнике работают, есть даже горячая вода. Мне сменили бельё. Телефон ожил. Набрав номер, я услышал свист и вой непогоды и представил себе, как

ветер в горах колышет верхушки елей. Несколько раз что-то в трубке лопнуло; гудки, щелчок. Сухой недовольный голос спросил, кого надо. Я назвалса, напомнил о нашей договорённости. Голос (вероятно, это был дворецкий) смягчился и ответил, что госпожа не может подойти к аппарату, меня ждут завтра.

Делать было нечего, остаток дня я бродил по городу. Я находился в стране с удивительной судьбой. Римские легионы простояли здесь немногим больше ста пятидесяти лет. Этого было достаточно, чтобы народ заговорил на языке завоевателей, забыв родную речь. Романский остров посреди мадыро-славянского и даже отчасти исламского мира. Румынский язык — ветвь латинского древа, мне нетрудно было научиться читать на этом языке. Но в городе, куда меня — выражение это будет вполне уместным — понесла нелёгкая, румынскими были только вывески. Город-палимпсест, сохранивший память веков вопреки нововведениям, всё ещё выставлял напоказ свой обманчивый габсбургский облик. Вы имели возможность полюбоваться барочными зданиями времён императрицы Марии-Терезии, двумя-тремя готическими церквями и башнями крепостной стены.

Вечер я рассчитывал провести за работой, просмотреть выписки из прочитанного, словом, подготовиться к визиту. Но вышло так, что, обогнув площадь, которая всё ещё называлась площадью Революции, — одну из трёх, составляющих городской центр, — и миновав дворец-музей Брукенталья, уже закрытый, я свернул за угол. Я люблю в незнакомых городах заглядывать в тёмные переулки.

В погребке стоял дым коромыслом, я хотел было ретироваться. Как вдруг кто-то коснулся моего локтя. «Ты — здесь?» — спросил я удивлённо. Оказалось, что утром она работает в гостинице, а вечером в этом вертепе. Она уверенно повела меня между деревянными столами, за которыми смеялись, бранились, стучали кружками; за дверью оказалось ещё одно помещение, где было спокойней. «Побудь со мной, Ляница», — сказал я, когда она принесла мне пиво и ещё что-то. Она пожала плечами.

Я пил пиво, довольно приличное, поглядывал по сторонам. Вокруг сидели степенные люди. «Завтра отправляемся, — сказал я Ляне, — скажи дяде, чтобы он был готов». — «А далеко вы собрались?» — «В Тотенбург». Она взглянула на меня в замешательстве, повернулась и что-то сказала одному из сидящих. Он подсел к нам, это был старик с жёлтыми отвислыми усами. «Тотенбург? — сказал он. — Тот самый? Да ведь он давно разрушен».

Я возразил, что сегодня говорил с замком по телефону, и объяснил в двух словах цель моего приезда. Старик воззрился на меня. «Слышь, — отнёсся он к соседу, — профессор интересуется». Тот усмех-

нулся, взглянул на меня. Я заказал для всех чуйку, местный род сливовицы. «А вы что... — осторожно спросил сосед, — в это верите?» — «Как вам сказать». — «У нас многие верят». — «Видите ли, — проговорил я, — дело в том, что...» — «Не знаю, как вы, а я бы туда лучше не ездил», — промолвил старик с жёлтыми усами. Сосед перебил его: «Да что ты мелешь, нет там никакой крепости. Она давно уже развалилась. А может, взорвали». — «Ну вот, а я что говорю?» — возразил старик. Кто-то вмешался: «Там теперь гостиница для туристов». — «Какая ещё гостиница, туда и дороги-то нет». — «Есть или нет, — сказал старик с усами. — Я бы лучше туда не ездил».

Пиво и шнапс, да ещё спёртый табачный воздух скверно подействовали на меня, я плохо понимал моих собеседников, мешавших немецкий язык с румынским. Я искал глазами Ляну. «Проводи меня, я устал, целый день шатался по городу». Она побежала сказать кому-то, что должна отлучиться. Мы воротились в номер.

«Мне тоже с вами?» И так как я не понял, она повторила: «Мне с вами остаться?»

«Как хочешь, — пробормотал я, — впрочем, прекрасная идея».

«Это такое пиво, — сказала она. — Не надо было его пить».

«Зачем же ты его принесла?»

«Я не знала, что оно на вас так подействует... — Она помогла мне раздеться. — А кто там живёт?»

«Где?»

«В этом замке».

«Завтра увидим», — проговорил я коснеющим языком. Постель была холодна как лёд. Я мгновенно уснул.

После завтрака я поднялся к себе, почти сразу в номер постучались. Вошёл дядя Абрахам, рослый краснолицый мужик в чёрной бороде. Я спросил, не рано ли отправляться в путь: нас ждут к вечеру. «Так-то оно так», — сказал дядя. «Сколько это будет километров?» Дядя Абрахам пожал плечами. Выяснилось, что он толком не знает, как далеко до крепости Тотенбург, да и не вполне уверен, что она существует. «Как же мы поедем?» — «Так и поедем». Он добавил на своём немецко-румынском наречии: «Domnule profesor¹, я человек не суеверный. Но, может, лучше я вам покажу что-нибудь поинтересней?»

Можно поехать в Решинари, сказал он, очень красивое место. Все туристы туда ездят. Я возразил, что приехал не ради достопримечательностей. Мне говорили, что до замка можно доехать за три часа. «Кто это говорил?» Я протянул дяде атлас дорог. «Да на кой мне... — пробормотал он. — Только я вам скажу, за три часа мы никак не доберёмся». Он оказался прав.

¹ господин профессор (рум.).

Путешествие наше началось прекрасно. Светило тёплое солнышко. Мы катили по шоссе мимо низких выбеленных домиков, крытых драбью, через поля и перелески. Вдали клубились пепельно-лиловые облака, почти не отличимые от гор. Очевидно, это были первые отроги Трансильванских Альп, с юга отгородивших страну Семи крепостей от Малой Валахии. Я держал на коленях раскрытый атлас; мы двигались в другом направлении. Водитель развлекал меня разговорами. Помимо своих обязанностей в отеле, где он скорее числился, чем работал, дядя Абрахам занимался более важными делами: возил из Бухареста дефицитные тряпки и сбывал их в Германнштадте. Здесь, впрочем, всё было дефицитным, магазины существовали скорее для виду. Немцев, по его словам, в Трансильвании и Банате оставалось всё меньше, народ потянулся в Германию, брошенные дома занимали цыгане. Можете себе представить, во что они превратились... А вы, спросил я, не собираетесь уезжать? Зачем, сказал дядя, мне и здесь хорошо. Между тем шоссе осталось в стороне, свернули на узкий просёлок. Постепенно исчезли селения. Там и сям на лугах лежал снег. Машина тарахтела, пошли повороты; оглянувшись, я увидел внизу еловый лес и понял, что мы успели подняться довольно высоко. Никакого замка на моей карте, разумеется, не было, не нашёл я и этой дороги.

Джип остановился среди камней в снегу. Шофёр спрыгнул, нужно было надеть цепи. Мы карабкались, сотрясаясь, вверх по крутизне, пока двигатель не выдохся. Задним ходом на тормозах дядя съехал с горы. Вторая попытка взять подъём была удачней, но за следующим поворотом дорога, извиваясь между валунами, снова полезла вверх. Дядя Абрахам усердно размахивал лопатой, расчищая снег. Привязал машину канатом к стволу огромной ели. «Матерь Божья, вывози», — сказал дядя и дал полный газ. С ужасным рёвом и тарахтением мы добрались до площадки. Там стоял большой деревянный крест. У меня слегка кружилась голова. Наверху над нами плыли бледные облачные небеса, внизу иссиня-чёрный лесной массив спускался уступами в долину.

«Ты уверен, — спросил я, теперь мы уже были на «ты», — ты уверен, что мы едем правильно?» Дядя Абрахам возвёл глаза к небу, пожал плечами. «Долго ли ещё ехать?» — «Да не то чтобы долго». Слева, в неглубокой лощине показались и пропали крыши погребённых под снегом хижин. Дул ветер. Белые мухи закружились в тёмном воздухе, в мгновение ока аспидные тучи заволокли небо над нашими головами. Снег шёл всё гуще. С зажжёнными фарами, почти не видя дороги сквозь залепленное мокрыми хлопьями стекло, мы тащились вперёд в тряской кабине, что-то трещало под колёсами, въехали в лес, и вдруг метель стихла. В лесу было сумрачно, угрюмо, словно близился вечер. Но мало-помалу стало светлее, разгоралась оловянная заря. Деревья расступились. Перед нами был мост и замок.

Подъехали к воротам с каменным гербом. Стояла мёртвая тишина. Наконец, я услышал скрип шагов по снегу, со слабым скрежетом раскрылись створы ворот. Джип въехал во двор. Дворецкий повёл нас к мрачному зданию с узкими тёмными окнами, повсюду — в оконных нишах и на уступах стен — лежал снег. Взойдя на крыльцо, мы прошли по коридору и вступили в сводчатый зал с огромной плитой, дымоходом, медной и оловянной утварью на полках, с подвешенными к потолку колбасами и окороками. Шофёр отказался переночевать в замке, сказав, что успеет засветло добраться до дому; было видно, что он торопится покинуть замок. Я оставил дядю на кухне за трапезой, пожелав ему счастливого пути.

Дворецкий или кто он там был, сухой и немногословный субъект с лицом скопца, — точно так я представлял себе этих людей, — привел меня в отведённую мне комнату с кроватью музейного вида и узким высоким окном. На столе, на вышитой крестиками крахмальной салфетке было приготовлено угощение: кувшин с горячим молоком и вареники. «Располагайтесь пока что. Через два часа будет подан ужин», — сказал дворецкий. Чувствуя себя совершенно разбитым, я повалился на широкую кровать, и навстречу мне поехала каменистая заснеженная дорога, поплыли серебряные горы и синие леса. В ушах стоял рокот мотора, скрежетали колёса, я всё ещё силился отыскать замок Тотенбург на карте дорог, но это была не та карта; шофёр вглядывался в стекло, крутил баранку, всё было не то, мы ехали не в ту сторону, как вдруг оказалось, что за рулём сидит мой друг Отто из Бремена, обросший до глаз чёрной бородой за время долгого путешествия. В дверь постучали, но мы всё ещё были в пути; устав говорить по-румынски, водитель принялся жестикулировать, машина потеряла управление и стала съезжать вниз, пока не натянулся канат, а между тем нечто дивное и ужасное, нечто фантазмагорическое вознеслось над лесом, башни, стены и контрфорсы. Значит, он всё-таки существует, подумал я или сказал вслух. Кто, граф? — спросил, нахмурясь, мой спутник дядя Абрахам., и снова раздался стук в дверь: нас или, вернее, меня приглашали к ужину.

Человек нёс зажжённый канделябр. Я спросил: «В замке нет электричества?» — «Есть, конечно», — возразил он. Мы шагали по длинному переходу, огоньки свечей колыхались за стёклами окон-бойниц, снег лежал снаружи на покатых карнизах. Одетый по-вечернему, я вступил следом за провожатым в сумрачный и холодный зал. Протопить такие хоромы не так-то просто.

Меня заставили подождать, после чего дверь распахнулась сама собой — мне показалось, что там никого нет. Но вот она вошла: красивая дама на вид лет пятидесяти, невысокая, наклонная к полноте, в

чёрном платье, в наброшенной на плечи белой пуховой шали, с огоньками брильянтов в маленьких ушах, со странно-неживым блеском чёрных глаз. Я всгал.

«Doamnă contesă...»

«Profesor»¹.

Мы сидели за столом с белоснежной скатертью друг против друга между двумя подсвечниками, в честь гостя был выставлен хрусталь, дворецкий разлил вино. Она произнесла несколько любезных слов, осведомилась, как я доехал.

«В городе лето. А у вас здесь...»

«У нас тоже было тепло, потом вдруг завьюжило. Здесь довольно высоко...»

«О, я это заметил».

Мы обменялись мнениями о климате этих мест. Я похвалил кушанья и выразил своё восхищение замком. Она сказала:

«Вас удивляет, как всё это могло сохраниться. У меня были хорошие взаимоотношения с режимом. Кондукатор распорядился, чтобы меня не трогали...»

Я посетовал на незнание румынского и спросил, на каком языке ей удобнее говорить со мной: немецком или французском.

«Мне всё равно», — сказала она.

«Ваше здоровье». Беседа продолжалась по-немецки.

«Взаимно... Итак, если я не ошиблась, вас интересует...»

«Совершенно верно».

«Я была уверена, что этой темой никто всерьёз не занимается».

«Тем не менее».

«Считается, что легенда возникла недавно, её будто бы сочинил один англичанин... или ирландец, вы, конечно, лучше знаете».

«Да, это известный роман. На самом деле автор воспользовался сведениями куда более древнего происхождения».

«Я это и хотела сказать».

«Меня интересуют фольклорные источники этой легенды, — сказал я. — Стокер не изобрёл своего героя. Он просто его заимствовал, со всеми подробностями, из старинных книг о воеводе Дракуле, некоторые из них ходили в Германии и России чуть ли не в пятнадцатом веке. Но и они в свою очередь основаны на ещё более старых преданиях. Заметьте, — сказал я, — что существуют манускрипты, написанные задолго до того, как жил прототип... мнимый прототип, потому что на самом деле всё это было ему только приписано».

«Мнимый, — сказала она задумчиво, — вы так считаете? Но тогда разрешите мне задать вопрос. Зачем вы сюда приехали?»

¹ Госпожа графиня, профессор (рум.).

Я поспешил заверить хозяйку, что чрезвычайно благодарен ей за разрешение посетить Тотенбург. «Мне кажется, я уже объяснил...»

«Да, но вы утверждаете, что мой предок был всего лишь случайным избранником этой легенды, — если я вас правильно понял».

«Правильно. Легенда существовала до него. Но то, что именно он оказался, как вы удачно выразились, избранником, произошло отнюдь не случайно. Видите ли, один из самых интересных моментов в жизни легендарных сюжетов — это их встреча с действительностью».

Она подняла брови. «Не будете ли вы так любезны пояснить, что вы под этим подразумеваете?»

«Охотно. Я не разделяю мнение — хотя во многих случаях оно вроде бы подтверждается фактическими данными, — будто происхождение мифов связано с какими-то реальными историческими событиями. Скорее наоборот: не история порождает миф, а миф эксплуатирует историю. Действительность поставляет актёров для уже готовой пьесы, потом их сменяют другие, и так чуть ли не до нашего времени».

«Боюсь, что для меня это слишком сложно».

«Кстати, — я смотрел на руку дворецкого в белой перчатке, подливавшую мне вино, — вы говорили о том, что Чаушеску... Не было ли такое отношение, я хочу сказать, такое терпимое отношение к вам как к наследнице замка, не было ли оно связано, м-м... с некоторыми наклонностями... я слышал, что ему приписывалось употребление крови младенцев».

«Вы в это верите?»

«Дело не в том, верю я или не верю. Важно то, что легенда жива. И нашла для себя очередного актёра. Больше того: может быть, он сознательно действовал в этом направлении, так сказать, стилизовался под...»

Она перебила меня:

«Мне об этом ничего не известно».

Помолчав, она добавила: «Некоторые считают, что замка вообще не существует...»

Я засмеялся.

Да, но известно ли мне, продолжала хозяйка, что в Шесбурге есть дом Дракулешти? Его владельцы утверждают, что именно они — истинные потомки Влада Цепеша.

Я ответил, что не собираюсь туда ехать. Хотя, может быть, стоило бы посетить Снагов — говорят, на острове находится его могила.

Если только, возразила она, монастырь не разрушен. Впрочем, что касается могилы, то это такой же блеф, как и притязания этой семьи.

«Блеф?»

«Граф лежит в Тотенбурге».

«Как, — воскликнул я, — его могила здесь?»

«Да... почему вас это удивляет? К сожалению, она не сохранилась. Ни плиты, ни памятника»

«И вы не знаете, где именно...?»

«Всё было уничтожено».

«Понимаю... Не утомил ли я вас, графиня?»

«Нет. К несчастью, я страдаю бессонницей. Но вы, наверное, в самом деле устали».

На часах было уже близко к полуночи; мне пожелали спокойной ночи.

На другой день я завтракал, затем обедал в одиночестве. Климат гор давал себя знать, я испытывал неодолимую сонливость. Снаружи бушевала метель.

День успел потускнеть, когда я открыл глаза, но до ужина ещё оставалось несколько времени; воспользовавшись разрешением побродить по замку, я шёл вдоль длинных переходов, нажимал наугад ручки дверей. Комнаты, или что там находилось, были по большей части заперты; если удавалось войти, всё выглядело так, словно там не жили несколько столетий. Время умерло в этих покоях. Проходя мимо окон, я смутно различал одни и те же заснеженные карнизы, углы стен, покатые крыши, очутился в коридоре, где уже был, несколько раз спускался и поднимался по одним и тем же лестницам и, добравшись, наконец, до своей комнаты, едва успел переодеться. Хозяйка ждала за столом. Горели свечи.

«Если так будет продолжаться, — промолвила она, глядя на окна, — вы не сможете уехать».

Означало ли это, что она торопилась выпроводить меня? Всё тот же сумрачно-неживой взгляд, как у слепых или выходцев с того света, — или тусклое пламя веков обвело её тёмным нимбом? Её наряд очень шёл к ней. При дневном свете она была бы, наверное, не так хороша.

Потолковали о погоде. Она проговорила:

«Знаете, я рада вашему визиту. Как вы заметили, я живу одиноко...»

Я сказал, что успел бегло ознакомиться с библиотекой: там есть любопытные вещи. Старинные трактаты, раритеты. «Оккультная философия» Агриппы — чуть ли не прижизненное издание. Вообще много интересного. Кто всё это собирал?

Она улыбнулась.

«Я в эти сочинения не заглядываю. Но среди моих предков были весьма учёные люди... не только вояки вроде этого Влада».

Я осторожно заметил, что, по некоторым сведениям, он отличался какой-то особенной жестокостью.

«Что вы хотите: средневековые, пятнадцатый век. Они все были жестокими. Вам, вероятно, известно, как переводится слово Цепеш».

«Что-то вроде сажателя на кол».

«Вот именно. Однако национальные историки ставят его очень высоко. Он сражался с турецким султаном».

Значит, спросил я, она действительно ведёт от него свой род?

«По прямой линии. Я его пра-, пра- и так далее внучка. А вы сомневались?»

«О, нет. Просто мне хотелось услышать от вас подтверждение».

«Вас смутили эти Дракулешти».

Я заверил графиню, что у меня и прежде не было ни малейших сомнений в том, что это самозванцы.

«Мы приходим из дома Басарабов, — сказала она. — Влад Третий, который вас так занимает, был внуком Старого Мирчи, того самого, при котором валашское государство достигло наивысшего могущества».

«Разрешите мне вернуться к легенде. У меня есть несколько вопросов...»

«Я к вашим услугам», — сказала она холодно и хлопнула в ладоши. Явился дворецкий с новой бутылкой тёмного, как кровь, вина. Неловко и мгновенно были сменены блюда. Несколько времени мы провели в молчании за едой.

Она промолвила:

«Я знаю, о чём вы хотите меня спросить. Догадаться нетрудно, не правда ли? Сделаем небольшой перерыв. Вы уже немного ориентируетесь в этом доме. Видели ли вы галерею?»

Добравшись до своей комнаты, — вечер опять затянулся до поздней ночи, — возбуждённый вином, беседой, услышанным и увиденным, да ещё, пожалуй (отчего не признаться?), поздней красотой хозяйки, я не мог уснуть, начал было приводить в порядок свои записи, прилушался. Буря выла за окнами.

Я лежал на кровати, на дне моих глаз колыхались лепестки огня. Тёмномаслянистые лица в облупившихся позолоченных рамках проступили из полутьмы, я спросил, почему не включают электричество. Она объяснила: запретили доктора. Наследственное заболевание сетчатки глаз. Шествие возглавлял дворецкий с канделябром, следом мелкими шагами ступала маленькая полная женщина в чёрном, с бриллиантами в ушах, остановилась, а вот и он, сказала она.

Неужели, пробормотал я, — этого не может быть. Она кисло улыбнулась: но почему же? Потому что известно, возразил я, как-то плохо соображая, где я нахожусь, на постели в моей комнате или всё ещё там, в галерее рядом с ней и слугой, высоко поднявшим светильник, — да, известно, что портретов графа не сохранилось. Я сам безуспешно разыскивал их в каталогах музеев и библиотек. Судя по всему, все портреты были уничтожены. Народное суеверие приписывало магическую власть

его изображению. Вы сами сказали, добавил я, даже надгробье стёрто с лица земли. Одним словом, если бы это был подлинный портрет, о нём по крайней мере знали бы специалисты.

Но сюда никто не приезжает, возразила она, я же вам говорила, что все уверены, будто замка давно не существует.

Влад Цепеш, ещё при жизни прозванный *Dracula*, Божьей милостью правитель Трансильвании, господарь Валахии и Молдавии, в шапке собольего меха с султаном, в отороченном мехом плаще, уса-тый, бородатый, с колючим взглядом, почти уродливый, неотразимо-красивый, грозно взирал на нас из овала, вокруг которого шло перечисление его титулов. А дальше по коридору, вслед за Цепешом, — как же могло быть иначе, — парад юных женщин. Ни одна из них не дожила до старости.

Усмехнувшись, я спросил, означает ли это, что девушки погибли от укусов вампира. Этот слух, возразила графиня, ещё никем не был опровергнут. Мы медленно двигались от картины к картине, медленно проплывали бледные лица в моём утомлённом мозгу. Можно догадываться, заметил я, какими изошрёнными способами он заманивал к себе своих жертв: хитрость, ворожба — на что он только не пускался. Но почему все они оказались здесь, в галерее предков? Насколько я понимаю, только одна из них стала продолжательницей рода, и, кстати, которая? О, её нетрудно угадать, сказала хозяйка и подвела меня к своему портрету, — в самом деле, это была она, нежная и печальная, говорят, эта дама умерла восемнадцати лет в родах. В каком же это было году, дай Бог памяти, тысяча четыреста... Влад в это время гонялся за зелёным знаменем врага на окраинах нашего царства.

«Но вы правы, говоря, что другим жёнам здесь не место; вы правы и не правы. Ведь во мне, — сказала она, — течёт кровь всех этих женщин. Он передал её мне. Или вы в этом сомневались?»

Я спал, когда в комнату постучались. Затаившись, дрожа от волнения и страха, я ждал повторения. Мне показалось, что шаги удаляются, и утром я был твёрдо уверен, что всё это мне приснилось. Под вечер метель утихла. Можно было надеяться, что завтра выглянет солнце. За ужином, который мы провели, как всегда, при свечах, *tête-à-tête*, разговор шёл о предметах, более или менее продолжавших вчерашнюю тему. Я противник того, чтобы превращать легенду в притчу, сказал я, смысл подобных сюжетов как раз и состоит в том, что их нельзя редуцировать к определённому «смыслу». Тем не менее что-то вроде морали можно извлечь из рассказов о прасюре-кровопийце. Например, что сластолюбие — это обратная сторона жестокости. Хозяйка, задумавшись, вертела между пальцами бокал.

«Вы говорите: заманивал жертв. А если я вам скажу, что ни одна из них не была жертвой».

«Что это значит?»

«А то, что ни одна из этих девиц — их могло быть гораздо больше — не была доставлена в Тотенбург хитростью или насильно. Наоборот, они сами добивались этой чести».

«Зная о том, что владелец замка — вампир?»

«Конечно. В конце концов, это не было тайной».

«Но откуда известно, что они...?»

«Меня удивляет ваш вопрос. Они хотели ему отдаться, потому что этого хочет предание. — Она подняла на меня ночной взгляд. — Забудьте свою науку, профессор. Мы находимся в пространстве легенд».

«Слушаю и повинуюсь, — сказал я. — Но та же легенда рисует графа Дракулу насильником».

«Э, знаем мы эту игру. Какая девушка согласится признать, что её взяли с её согласия. Я говорю, конечно, не о нынешних... Ещё глоток?»

«С удовольствием».

«Я думаю, каждой хотелось стать, если можно так выразиться, моей прародительницей. Граф Влад был не только победителем султана. Он слыл покорителем сердца. Одной этой славы было достаточно, чтобы вскружить голову любой крестьянке. Если условием любви была необходимость отдать ему толику своей крови, что ж. Они были согласны. Они на всё были согласны! Вам как мужчине это трудно понять. Скажу больше... Вы позволите мне называть вещи своими именами?»

«Я вас внимательно слушаю».

«Именно потому, что он был вампир, они были согласны. Кто знает? — проговорила она, изрядно отхлебнув из бокала. — Может быть, в тот момент, когда его приоткрытые губы касались так называемой жертвы, когда зубы вампира впивались в эту жилку, пульсирующую на шее... эти девушки испытывали такое мучительное наслаждение, рядом с которым обыкновенная дефлорация ничего не стоит».

Я заметил, что мы вторглись в весьма специальную область сексуальной психопатологии. Хозяйка презрительно усмехнулась. Но с другой стороны, продолжал я, давно замечено, что в рассказах о Дракуле возродились некоторые древние представления... некоторые идеи древнегреческой науки. Может быть, в такой форме в Румынии живёт наследие античного мира.

«Профессор!» — сказала она с упрёком.

«Простите. Я не собираюсь читать вам лекцию... Я просто хотел напомнить об античной теории смешения соков. Мы остаёмся, как ваше сиятельство удачно выразились, в пространстве легенд... Так

вот, по этой теории, мужское семя есть не что иное, как пена крови, закипающей в миг вождления. Отсюда следует, не правда ли, что сластолюбец должен был пополнять убывающие запасы крови. Как это сделать? Очевидно, только одним способом. Высасывая кровь у своих возлюбленных...»

Она перебила меня.

«Извините. У меня ужасно разболелась голова. Это к перемене погоды».

Появился дворецкий. Я откланялся.

Я сидел над бумагами в моей комнате. Мне хотелось подвести предварительные итоги; беседы с хозяйкой замка навели меня на некоторые новые соображения. У меня давно уже был готов план обстоятельной монографии, которая должна была, по моим расчётам, весьма способствовать моей учёной карьере: срок моего пребывания на кафедре истекал в следующем году, я намеревался подать на конкурс в более престижный университет.

Увязать проблематику возникновения и бытования фольклорных сюжетов с законами подсознания — так я формулировал мою задачу. В особенности меня интересовал вопрос о «вживании в миф». Подобно тому как врач-психиатр должен проникнуть во внутренний мир своих пациентов, не боясь, так сказать, заразиться, так исследователь мифов должен впустить миф в своё собственное сознание, научиться мыслить мифологически. Больше того — научиться жить в мифологической действительности. Чтобы постигнуть жизнь мифа, нужно стать самому его действующим лицом. Сейчас, вспоминая свою поездку в Зибенбюрген, я склоняюсь к мысли, что мне это удалось.

Я услышал шаги. Может быть, оттого, что в глубине души я их ждал, был к ним готов, — мой слух обострился до предела. Как и минувшей ночью, кто-то прошествовал мимо моей двери. Но голова моя была занята другим; всё ещё думая о своём проекте, я выглянул в коридор. Никого не было. Холодный свет сочился из окон-амбразур, вероятно, взошла луна. Лучшей обстановки для размышлений над загадками мифологического воображения нельзя было изобрести. Впрочем, легко можно было не заметить в полутьме дворецкого, который совершал обход здания, прежде чем отойти ко сну.

Дворецкий... так я привык его мысленно называть. Хотя до сих пор не знаю, какую должность этот персонаж занимал при своей госпоже, была ли в замке другая прислуга. Во всяком случае, кроме него, я никого не видел. Но, кажется, это был не он, да и зачем бы ему понадобилось красться в темноте.

В том-то и дело, что это был не дворецкий! Я хотел вернуться и лечь, она схватилась за ручку двери. «Вы?!» — сказал я, скорей удивившись, чем испугавшись.

«Deranjez? — входя, по-румынски сказала хозяйка. — Я не помешала? Ведь ты ждал меня, скажи правду». Я ответил, сделав вид, что не заметил этого «ты», что вчера тоже слышал чьи-то шаги и думал, что они мне приснились.

«Ты прав, можешь считать, что это был сон. Можешь даже считать, что и сейчас ты видишь сон. Только на этот раз наяву!»

В самом деле, оказалось, что я лежу под одеялом; она стояла передо мной в своём чёрном одеянии, чем и объяснялось то, что я не разглядел её в темноте.

«Вы... — проговорил я, — ты... Что тебе надо?»

«Не прикидывайся наивным ребёнком — ты меня ждал».

«Допустим; ну и что?»

«О, это уже много. Можно, я присяду?»

Я слегка отодвинулся; она сидела на краю моего ложа.

«И я тоже, — сказала она, — я тоже тебя ждала. Но ты не пришёл». И умолкла, глядя на пламя свечи. Взгляд, о котором я уже говорил, взгляд без отблеска, точно свет потонул в огромных зрачках.

«Простите, графиня, — сказал я, снова переходя на вы, — я хочу спать».

Она как будто не слышала.

«Я тебя ждала, ты не можешь себе представить, что это значит, когда живёшь так одиноко... Они все думают, там, внизу, что здесь никого нет, замок взорван или что-нибудь такое, никто не решается меня посетить, никого не заманишь... да и зачем они мне? Мне нужен ты. Я это поняла в первый же вечер, в первую минуту... когда увидела тебя за столом... Ты красив. Я...» — и она повернула ко мне глаза, теперь в них снова отражался свет. Огоньки мерцали в её ушах.

Надо было ей что-то сказать, поблагодарить за честь, — я не нашёл, чем ответить на это неожиданное признание.

«Да, я понимаю, ты думаешь, что я для тебя стара. Не надо меня разубеждать, — сказала она в ответ на мой протестующий жест, — я знаю, что ты рыцарь, но когда любишь, становишься юной... не смейся надо мной!»

Я молчал. Она продолжала:

«Даме не полагается так себя вести, но что же мне делать. Ты уедешь, и я снова останусь одна. Но ты можешь здесь заниматься своей работой. Библиотека в твоём распоряжении. Весь день принадлежит тебе... У тебя не будет никаких забот... Я даже не спросила тебя, женат ли ты».

«Тем лучше! — воскликнула она, когда я покачал головой. — Что нам мешает быть вместе? Мы оба свободны. Останься. Останься! И знаешь, что я тебе скажу... — она перешла на шёпот, — такой любви ты ещё не знал. Никакая женщина тебе не даст того, что я могу дать. Такой любви не бывает на свете! Хочешь меня?»

Тут я почувствовал настоящий страх. Она тянулась ко мне, тянулась губами, и уже почти прикоснулась... но не к губам, а к шее.

«Дай мне, — бормотала она, — дай мне капельку крови».

Я вскочил.

«Проклятая ведьма, — сказал я, скрипнув зубами. — Хищница! Значит, это правда?..»

Я схватил что-то тяжёлое со стола, один из двух подсвечников. Она попятилась. Мы стояли друг против друга.

«Что вы, — проговорила графиня и провела рукой по лбу. — Вы меня не поняли. Пожалуйста, поставьте на место. Как вы меня напугали! Я пошутила. Мы зашли слишком далеко».

«Не я, а вы!»

«Пусть будет так. Думайте обо мне всё что хотите. Одно могу сказать. Вы заставили меня пойти на крайнее унижение. Я подумала: мельть успокоилась. Завтра он уедет... Я прошу вас подумать над моим предложением».

«Над каким это предложением?» — сказал я надменно.

«Я не хочу повторять всего, что здесь было сказано. Я люблю вас. В моём роду я последняя. У меня нет наследников... Вы станете владельцем всего, когда я умру. Подумайте об этом. Завтра мне скажете».

Я усмехнулся: «Можете на меня не рассчитывать. Я вас понял».

«Что, что вы поняли?» — сказала она с тревогой.

«Я прекрасно понял, какую цену вы от меня потребуете».

«Цену... Ах вот оно что, — проговорила хозяйка, слегка отступив к двери и не спуская с меня помертвевших глаз. — Ты говоришь, цену. Ну что ж! В таком случае...» Она хлопнула в ладоши.

Дворецкий возник на пороге. Дворецкий был тут как тут — кисло-надменный, скопчески-сухой субъект с провалившимися висками, с глубокими тенями на щеках. Госпожа сделала еле заметный знак, и в одно мгновение руки с железными мышцами схватили меня, вырвали погасший светильник, повалили меня на кровать. «Вот так будет лучше», — пробормотала графиня.

«Сейчас ты успокоишься, — сказала она, склонившись надо мной, и её грудь в чёрном платье коснулась моей груди. Дворецкий держал меня, стоя у изголовья. — Ты успокоишься, — шептала она, — ничто тебя больше не будет волновать, никого не будешь бояться... Но прежде — дурачок! — ты вкусишь такого счастья, какое тебе не снилось, какого ты отродясь не испытывал. Ты будешь благодарить меня...»

Утром я долго сидел в большом зале, надеясь (в глубине души), что графиня изменит своим привычкам и явится к завтраку. Вошёл узколицый дворецкий, справится, какие будут распоряжения. Пятна света

лежали на каменном полу, за окнами снег сверкал так, что больно было смотреть. Как обычно, после обеда я спал, коротал время в библиотеке; наступил четвёртый вечер моей жизни в замке; как всегда, мы встретились за ужином.

На этот раз у хозяйки был неважный вид. Замучила бессонница.

Я спросил, что она делает ночами, когда нет сна.

«Читаю, — сказала она. — Старые французские романы».

Не вредит ли это зрению? Она пожала плечами. Молча, не поворачивая головы, подняла свой бокал, дворецкий поспешил подлить ей и мне. Вялый разговор продолжался несколько времени.

«Бывает так, что трудно понять. Вам такое состояние вряд ли знакомо».

«Какое?» — спросил я.

«Состояние между сном и... ещё чем-то. Вроде бы спишь, а на самом деле не спишь. Или наоборот. Представьте себе...»

Снова пауза. Я ждал продолжения. Хозяйка сделала знак рукой, мы остались наедине.

«Представьте себе, перед самым рассветом я как-то незаметно забылась. Буквально на несколько минут. Вот вы человек учёный, — улыбнулась она. — Объясните мне мой сон».

Я возразил, что толкование сновидений — не моя область. Вдобавок я не считаю себя последователем доктора Фрейда и его школы. Сны, на мой взгляд, ничего не разоблачают. Их функция, как и функция символического мышления вообще, — демонстрировать некие исконные формы бытия. Недоступные интеллекту. Психоанализ, сказал я, с его манией всё сводить к голый сексуальности — слишком грубый инструмент. Слишком уж он отдаёт позитивизмом прошлого века. Ведь голый сексуальности на самом деле никогда не бывает, сексуальное всегда многозначно, если угодно — многофункционально.

Она слушала терпеливо, рассеянно кивая. Потом сказала:

«А по-моему, всё зависит от того, какой сон. Сны ведь тоже бывают разные».

«Так что же вам приснилось?»

«Что приснилось... Вы хотите знать, что мне приснилось. Даже неловко рассказывать. Как будто я вот так сижу, лечь не могу, читать тоже нет сил. Свечи оплыли, всё в каком-то красном свете. А главное, не могу понять, где я нахожусь. Вроде бы я в своём доме, а в то же время он мне кажется незнакомым; иду и думаю, что вот я сейчас заблужусь и не найду дорогу назад. И в это время вижу вас... да, не удивляйтесь. Я вижу, как вы показались из своей комнаты».

Она отпила глоток. Последовал обычный вопрос: «Как вам вино?»

«Превосходное».

«Мне привезли на пробу».

«И это всё?» — спросил я.

«Да... или, пожалуй, нет. Я увидела вас — и такое чувство, что вы меня ждёте. И тут же я вспоминаю, что вы должны уехать, за вами уже приехала машина, а я не успела сказать вам — что именно, не знаю, что-то очень важное. Но на дворе ночь, и у меня ещё есть время. Вхожу, и... оказывается, вы уже лежите в постели. Вы что-то говорите, я совершенно не понимаю слов, это иностранный язык, но я догадываюсь, вы хотите сказать, что вы устали, хотите спать, требуете, чтобы я оставила вас в покое... Как вам нравится мой сон?»

Я покачал головой.

«Он мне совсем не нравится».

«Мне тоже... Я нахожу, что... — это, конечно, во сне, — нахожу, что вы плохо воспитаны, так не говорят с дамой, тем более с титулованной, и хочу сделать вам замечание, но времени остаётся мало, а я всё ещё не сказала самого главного, того, что должна сказать... и тут у меня вырываются совершенно невозможные слова, я не могу их остановить и чувствую, что какая-то сила тянет меня к вам, я уже не могу с собой справиться. Короче говоря... — она вздохнула, — это ужасно, и мне стыдно рассказывать, можете толковать как хотите... Короче, мне захотелось крови, как вам это нравится? Я даже как будто почувствовала липкий солёный вкус на губах. Это что — наследственное, что ли?».

«А что же я?»

«Вы?.. Вы схватили со стола канделябр и хотели меня убить!»

Помолчали.

«Я думаю, — сказала хозяйка, — это результат наших разговоров».

«Я тоже так думаю».

«Мы разбудили старого злодея».

«Вот именно».

«Смешно даже подумать, какие фантазии могут придти в голову одинокой стареющей женщине».

«Вы имеете в виду...?»

«Да. Я имею в виду, что сон на этом не закончился... В страшном испуге я очнулась. Было всё так же тихо, свечи горели, всё оставалось по-старому. Сон длился, может быть, несколько секунд. Я очнулась и чувствую этот вкус, вытираю губы и вижу, что на платке... это даже удивительно. Видимо, я поранила себе губы во сне. Словом, это длилось только один миг, потому что сразу после этого я оказалась снова в вашей комнате. Значит, подумалось мне, это была неправда, а правда то, что я здесь, в этой комнате. И опять такое чувство, что время уходит, а я так и не сказала... Вы стоите передо мной, вы тоже, видимо, испугались, и тогда я вам говорю, что это недоразумение, мы друг друга не поняли, но вы только качаете головой: то ли вы мне не верите, то ли не понимаете язык, на котором я говорю. Совершенно так же, как я не могла

понять ваш язык. Я всё стараюсь вам втолковать, что я пришла для того, чтобы сообщить нечто чрезвычайно важное, это касается нас обоих, от этого зависит моя судьба и ваша судьба, — а вы не понимаете. Я не знаю, что делать, поворачиваюсь — сзади стоит Альфред».

Так я узнал, что дворецкого зовут Альфред. Оказывается, он был очень стар — а ведь по виду не скажешь. Она не знала в точности, сколько ему лет. Он был человеком без возраста. Служил в замке, когда графиня была маленькой девочкой и приезжала с родителями на лето в Тотенбург.

«Это было ещё в королевской Румынии», — сказала она.

«Вернёмся к вашему сну. Вы не договорили».

«Что не договорила? Ах, сон... Я уже ничего не помню...»

«Вы собирались мне что-то сказать».

«Да, — сказала она растерянно. — Собиралась... Поворачиваюсь и делаю знак Альфреду. Показываю ему, чтобы он мне помог. Но он — представьте себе — он только качает головой!»

Я поднял бокал.

«Итак, вы уезжаете...»

«Пора. Должно быть, я вам уже надоел. — Я сказал это в надежде, что она будет возражать. Она молчала. — Знаете, — проговорил я, — мне ка-жется, я всё-таки понял, что вы мне говорили».

«Говорила, когда?»

«Во сне. Мы видели один и тот же сон».

«Вы что, с ума сошли?»

«Может быть, — сказал я. — Но если двое видят одинаковый сон, значит, это не сон. Так что же вы всё-таки хотели мне сообщить?»

«Не знаю. Не помню! Ах, оставьте меня в покое...»

На другой день была такая же ясная погода. Хозяйка не показывалась. Я уже знал, что врачи рекомендовали графине избегать яркого света. Тем лучше — или, пожалуй, хуже: ведь я всё ещё надеялся её увидеть. Кое-что оставалось неясным; кое-какие вопросы, которые следовало уточнить для моей монографии. Я пообедал в одиночестве. Альфред доложил, что машина ждёт во дворе. Делать было нечего, я уселся рядом с бородатым дядей Абрахамом и отправился в Германштадт, где меня ожидали тёплые объятия Ляны.

Дорога

Я писал Историю железных дорог.
Чехов

1. Интродукция

Среди ночи, в кромешной тьме, я проснулся от паровозного свистка, выскочил на перрон, бежал рядом с грохочущими вагонами, протянув руки к поручням, сбил с ног кого-то, мне казалось, перрон с киосками и провожающими едет назад, мне казалось, что я бегу на одном месте; я вскарабкался на тормозную площадку и лишь тогда заметил, что это не тот поезд. Пришлось спрыгнуть, и я кубарем покатился с насыпи. Я смотрел вслед последнему вагону, а оттуда на меня смотрел человек в стеганом бушлате и солдатской шапке-ушанке. В ужасе я понял, что это был мой поезд, что поезд ушел и меня не досчитаются. К счастью, это произошло мгновенно, — мне удалось поменяться с ним одеждой и местами: я стоял в бушлате, с фонарем в руке на площадке последнего вагона, а с насыпи человек отчаянно махал руками вслед уходящему составу. Так тебе и надо, подумал я злорадно. Еще я успел заметить, как отставший выбрался на полотно и побрел по шпалам, а поезд тем временем набирал скорость. Каждый знает, что идти по железнодорожному полотну неудобно, расстояние между шпалами слишком мало для нормального мужского шага. Колонна шла по четыре человека в ряд, двое между рельсами, двое по торцам, глядя вниз, себе под ноги, и впереди, и позади колонны, придерживая на груди болтающиеся автоматы, семенили конвоиры, еле поспевая и тоже опустив головы. И вновь свисток пробудил меня от навязчивых и бессвязных мыслей. Нас нагоняла платформа, груженная щебнем, лопатами, перевёрнутыми тачками.

Далеко позади, толкая вагоны и платформу, тяжело дышал и врашал колесами паровоз, машинист не видел колонну, и кричать было бесполезно; конвой оглядывался, состав нагонял колонну; как лошадь не может свернуть с дороги, так и мы бежали по шпалам, и следом за нами визжали колеса, побрякивали тачки и лопаты. Солдаты сбежали

с пути, что-то выкрикивали, но мы не могли сойти с дороги, шаг влево, шаг вправо, конвой применяет оружие, это заклятье сидело у нас в спинном мозгу, страшное чувство действительности, от которой некуда деться, парализовало меня.

Тут, однако, кое-что изменилось. Оловянное небо низко стояло над лесами, над пнями и гатями, там и сям поблескивало тусклое серебро болот, надо было решаться. Патруль ждал по ту сторону пути, за шумом и громом проносящихся вагонов, и я знал, что, как только поезд пройдет мимо, проводник СРС, служебно-розыскной собаки, спустит зверя. Он сам был похож на свою СРС. Кто кого держал на поводке? Поезд гремел на стыках, патруль ждал, кирзовые сапоги, заляпанные грязью, были видны между мелькающими колесами, пес перебирал передними лапами, мне даже казалось, что я слышу, как он повизгивает от нетерпения и сержант щелкает языком. Паровоз взвыл, давая понять, что состав минует таежную станцию с древнерусским названием, которого не было на карте, весь наш гиблый край не существовал; и вот я вижу, как приближается последний, так называемый русский двухосный вагон, короткий, в отличие от четырехосного двухсоттонного пульмана, слишком тяжелого для проложенной на скорую руку узкоколейки. Вагон катился, вихляясь, в хвосте состава, и надежда оставила меня окончательно. Терять было нечего, я подпрыгнул и сорвался, снова прыгнул, получил сильный удар, но сумел подтянуться и взобрался на площадку, и тотчас все улетучилось в свисте ветра, я забыл, кто я и откуда, словно все было сном и восстановилась нормальная человеческая жизнь. Войдя в теплый вагон, я уселся в проходе на свободное место. Пассажиры молча, безглаголиво подвинулись, косясь на мою одежду. Буфетчик в белом грязноватом фартуке нес на согнутой руке корзину, в другой руке держал большой алюминиевый чайник, предлагал какао, булку с колбасой, вещи, которых я не ел тысячу лет, денег у меня не было, толстый буфетчик сжалился и налил мне горячего какао в бумажный стаканчик, и сладкая усталость сморила меня, я уснул под стук огромных часов, под гул поезда, уходящего в черный туннель, под гром вагонов на мосту и внезапно ворвавшийся свист и вой идущего мимо экспресса. Голова моя болталась на груди, во сне я видел сверкающие на солнце рельсовые пути, стрелки, пикетные столбики и далекие мачты светофоров.

2. Путевые картины

Я спал и не спал и думал о том, что так и буду ехать всю жизнь, поглядывать в окошко на снежные леса, на весенние разливы, на бабустрелочницу со свернутым желтым флажком. Давно уже я замечал, что железная дорога играет особую роль в моей жизни, в моей ключ-

коватой, тряской, гремучей жизни,— с той поры, когда ребенком я подбегал к полотну, вслушивался в подрагивание рельсов и вглядывался в далекий туманный путь, откуда медленно, незаметно несло на меня неведомое будущее. Что-то смутное, голубоватое, все ближе, ясней — это шла электричка. Ветер нес навстречу запах дегтя и стали, ржавого щебня, мазута, был канун выходного дня, ранний вечер, и мачты, и протянутые в вышине друг над другом, соединенные перемычками провода рисовались на серебряном небе.

В то время у меня была целая коллекция билетов, картонных прямоугольничков, красных — с названиями далеких станций, желтых — с номерами пригородных зон, я ждал, когда схлынет толпа дачников, лез под дощатую платформу, чтобы добыть билетик с треугольной пробоиной от щипчиков контролера, брел по дорожке, усыпанной иглами, пересеченной корнями деревьев, как следопыт, впиваясь глазами в лесную тропу. Железная дорога пробуждала необъяснимое волнение, и, может быть, собирание билетиков было лишь поводом для того, чтобы вдыхать ее запах. Железная дорога звала за собой и обещала избавление — от чего? Дорога связала эпохи моей биографии, не давая ей распасться, как стержень, на который нанизаны места и времена, — дорога — четырехструнный инструмент судьбы. Стоит ли удивляться? Я догадался, что иначе и не могло быть в огромной расползающейся стране, простроченной рельсовыми путями, которые скрепляют ее рыхлое тело.

Поезд был похож на электрички нашего детства, с широкими окнами, без купе и верхних полок. Быть может, сидячие вагоны чередовались со спальными; или скорость так возросла, что поезда дальнего следования стали похожи на пригородные; оба предположения были маловероятными, но чего не бывает в пути? Например, я заметил, что путь деформирует время.

Дорога перемалывает часы в километры, сутки — в климатические пояса. Вы уезжаете из одной жизни, приезжаете в другую. Трудно сказать, сколько времени я дремал; чей-то взгляд заставил меня пробудиться. И, прежде чем я разлепил веки, я понял — спинным мозгом, который не ошибается,— что за мной следят.

Контролер! Или, чего доброго, поездной патруль под видом билетного контроля. Или то и другое вместе. Медленно двигались они по проходу навстречу друг другу, слышался служебный голос, щелкали щипчики. Даже если они не знали, кто я такой, — хотя за мной-то они скорее всего и охотились, ведь я уже был объявлен во всеобщий розыск, — остаться неузнанным было невозможно. У меня не было билета, не было паспорта, на мне лагерное рубище, можно не сомневаться — на ближайшей остановке меня ждали местный оперуполномоченный и конвой. Даже если бы просто ссадили меня, на станции

ждал конвой. На всех станциях всегда стоит наготове конвой. Итак: не мешкая встать и выйти в тамбур. Разумеется, меня окликнут, может быть, схватят за рукав; вырваться, пробормотать, я в уборную, сейчас вернусь; на мое счастье, в вагон набился народ; протолкаться в проходе и тамбуре, проскользнуть по железному трапу в другой вагон, выбраться наружу, пересидеть на ступеньках в свисте и грохоте, пока они не уйдут; на худой конец спрыгнуть и скатиться с насыпи. Все это неслось и стучало в моем мозгу.

Между тем я давно уже очнулся и лишь для виду клевал носом в нелепой надежде, что, увидев меня спящим, они пройдут мимо. У меня даже возникла мысль, что я услышу, о чем они будут говорить между собой, уверенные, что я сплю, и разгадаю их планы. Так было со мной в далекие времена, пожалуй, мне было уже лет тринадцать, когда однажды утром соседка зашла к моей матери, а я все еще был в постели и стеснялся встать, притворившись спящим; все мое тело стонало от вынужденной неподвижности, но я не мог открыть глаза, охваченный внезапным волнением и любопытством; я слышал вещи, о которых не говорят при детях и мужчинах; соседка пожаловалась на то, что она похудела и лифчики стали велики для ее груди, и мама ей что-то ответила, а та говорила, что она только притворяется, будто испытывает удовольствие, а на самом деле жизнь с мужем не доставляет ей радости и она боится, что он догадается и найдет себе другую. Здесь было много неясностей, и я надеялся, что из дальнейшего разговора все прояснится. Я встал, разминая затекшие члены, и чрезвычайно удачно выбрался, никем не замеченный, оттого что контролер, или кто он там был, занялся другим безбилетником. В тамбуре у окна стояла невысокая крутобедрая женщина с грубоватым лицом продавщицы или колхозницы, разговор моей матери с соседкой не выходил у меня из головы, я подумал, что с простой девушкой можно не церемониться; слушай, прошептал я, обнимая ее сзади, у нас мало времени. Чего ж ты говоришь, что лифчик стал тебе велик? Когда у тебя такие спелые, такие круглые груди! Но она молча повернула ко мне выпуклые глаза, давая понять, что нас могут застукать. Оглянувшись, я показал ей на дверь туалета, она радостно закивала и схватилась за ручку, мы оба схватились за ручку узкой двери с надписью и взглядом, что придавало ей сходство с тюремной камерой-одиночкой, дверь не поддавалась, возможно, так кто-то был; мы дергали и рвали ручку, как вдруг дверь отворилась, и тотчас я понял, что все обман. Из уборной выступил контролер. Не исключено, что они оба были в заговоре. Это был ложный ход. Я снова сидел в вагоне, на этот раз у окна — съездившись, смежив веки, ждал, когда меня схватит за плечо сильная и безжалостная рука.

3. Попутчики

Но ничего не происходило. Похоже было, что они ушли.

Чей-то пристальный взгляд по-прежнему не отпускаял меня; так спящий чувствует на щеке солнечный зайчик. Все еще не доверяя удаче, я открыл глаза, осторожно, как отворяют дверь. Поезд несся вперед, народ сошел на станции, которую я умудрился не заметить, очевидно, и контролеры сошли. В опустевшем вагоне громче раздавался мерный стук колес. Мир свистел и летел мимо, а здесь было тепло и покойно, кое-где по углам дремали редкие пассажиры, покачивались на крюках сумки с продуктами.

«Не знаете ли вы...» — просипел я. Пожилой приличный господин, сидевший напротив, улыбнулся и наклонил голову. «Не скажете ли вы,— повторил я, прочистив горло,— где мы едем?» Человек ответил что-то на языке, который показался мне не совсем незнакомым; вероятно, и он скорее догадался, чем понял, что я сказал. Возле него у окна сидел, свесив ноги, кудрявый ребенок, очевидно, внучка, она смотрела на проносящиеся леса. Услышав наш разговор, повернула ко мне личико, напомнившее мне кого-то.

Я почувствовал благодарность к моему визави; собственно, и заговорил-то с ним оттого, что испытал прилив симпатии к случайному спутнику, незаметно подсевшему, пока я боролся с кошмаром. Вот человек, подумалось мне, которому ничего от меня не надо, который ни в чем меня не подозревает и не требует предъявить документы. Мое молчание могло быть воспринято как невежливость. Я спросил: «Вы, наверное, из Прибалтики?»

Он покачал головой. «Вы иностранец,— сказал я с восхищением,— из какой же вы страны?» Он пожал плечами. «Америка? Англия?» — «Тепло»,— промолвил он с хитрым видом. «Голландия?» — «Еще теплей». — «Германия! — воскликнул я.— Дойчланд! Вот видите, я сразу усек, что вы из-за бугра, вы улыбнулись незнакомому человеку, а у нас, знаете ли, это не принято». Я говорил и не мог остановиться.

«Да еще вдобавок, если он в таком виде»,— добавил я и показал на телогрейку и ватные штаны.

Пассажир снова пожал плечами, оттого ли, что плохо меня понимал, или желая сказать, что для него не имеет значения, кто как одет. Может быть, он решил, что в этой стране принято так одеваться, что, в общем-то, было недалеко от истины.

Что касается его собственного наряда, то тут я должен сказать, что он не просто выглядел иностранцем, но как будто явился из другого века. Конечно, в дороге кого только не встретишь. Пассажир был облачен в черный сюртук, жилет, высокий крахмальным воротничок с

отогнутыми уголками, черный шелковый галстук. На крючке под багажной полкой висели его шляпа и плащ с пелериной, называемый, если не ошибаюсь, крылаткой, в который девочка зарывалась всякий раз, когда я посматривал на нее.

Мне было стыдно, что я так плохо говорю, и я пробормотал, что когда-то учился, только вот все забыл.

Он поднял брови.

«Забыл язык!» — сказал я сокрушенно.

«О, нет, вы прекрасно говорите», — возразил он и погладил внучку, которая, открыв рот, слушала нас или, вернее, меня и, видимо, вовсе ничего не понимала. Она положила голову на колени деду, не спуская с меня глаз, как будто хотела показать, что он ее собственность и она не намерена уступить ее даже на короткое время чужому человеку.

Старик сказал:

«Конечно, язык очень быстро забывается; я знаю это по себе. К тому же вам мешает мое произношение. Сами немцы, знаете ли, не всегда понимают друг друга. Ведь у нас что ни область, то новый диалект».

«Но вы же...» — проговорил я, глядя на бархатную лиловую шапочку на его лысой голове в венце желто-серых кудрей.

«Что я?.. Ах вот оно что. Видите ли, — он усмехнулся, — все немецкие евреи считают себя немцами — или по крайней мере считали. Немецкие евреи — большие патриоты. Или были ими... Несмотря на то, что они евреи. То есть именно потому, что они евреи, они были такими патриотами. Also? (Так что же?)».

«Я спросил, где мы едем, потому что это должен быть поезд дальнего следования, — сказал я, старательно подбирая слова. — Поезд, который пересекает несколько областей. А у нас области очень большие, каждая величиной с целую Германию».

«О, да». Он улыбался, кивал с сочувствующим видом.

«Так вот, я хочу сказать, этот поезд выглядит как пригородный. Нет ни полка, ни купе. Странно, не правда ли?»

«Но в Европе почти все поезда такого типа».

«Это в Европе. А мы должны ехать в поезде дальнего следования. Поэтому я и спросил».

«В дороге, — сказал пассажир, — бывают всякие неожиданности».

«Верно, замечательно верная и важная мысль. Понимаете, жизнь так сложилась, что у меня было мало практики. Общение с иностранцами у нас не поощряется. Да и вообще столько времени утекло, знаете ли... Но вы мне сразу понравились. Внушили доверие.

У нас ведь, знаете, как: если к тебе хорошо относятся, значит, жди подвоха. Или к тебе подлизываются, думают, что ты начальство, или хотят облапошить тебя, пользуясь тем, что ты растаял. А чтобы просто так к тебе хорошо относились, — сказал я, качая головой, — не-ет, так не бывает».

«Вы слишком строго судите».

«Я? строго?» И я усмехнулся.

Мне хотелось говорить, я не мог остановиться.

Я чувствовал, что выражаюсь бессвязно и нарушаю не только правила грамматики, но и приличия, необходимые в разговоре между незнакомыми людьми. Не умея найти нужный тон, я должен был показаться моему собеседнику тем, кем я, в сущности, и был: полунинтеллигентом, полубосоком. Уютный вагон, спасение от преследователей, чудесным образом исчезнувших, — сейчас я уже не мог отличить реальность от наваждения — развязали мне язык, и при этом я испытывал восхитительную беззаботность, как бывает, когда приходится изъясняться на иностранном языке. Это может показаться странным, но чужой язык обрекает вас на косноязычие и в то же время расковывает. Чувствуешь себя в самом деле свободнее, исчезает страх, падают запреты. Стыдные слова, запрещенные слова, опасные слова — все, что так боязно произнести на своем родном языке, словно наткнуться на колючую проволоку под током или наступить на мину, — теряют свою взрывную силу; на чужом наречии легче объясниться в любви и ничего не стоит произнести вслух самую страшную крамолу.

«Вы, наверное, не знаете, — сказал я, смеясь, как говорят со смехом о собственной смертельной болезни, — вы даже не знаете, что у нас бывает за связь с иностранцем».

Он спросил: «Что вы подразумеваете под связью?»

«Разговор. Вот как мы сейчас с вами разговариваем».

Да еще, хотел я добавить, когда турист заводит знакомство с такими, как я. С несуществующими людьми.

«Я вообще удивляюсь. Вы так свободно разъезжаете, и никто за вами не следит?»

«Кто знает, может быть, и наблюдают».

«А все-таки мне ужасно приятно, что мы едем вместе».

«Мне тоже. Впрочем, это не должно вызывать удивление», — заметил он.

«И куда же вы едете?»

«Гм, куда я еду? Как вам сказать, по правде говоря, я сам еще точно не знаю. Еще не решил!» — сказал пожилой пассажир и развел руками. Поезд шел, не сбавляя скорости.

4. Воспоминания

Тут, наверное, надо было спросить: как это вы не знаете, ведь билет-то у вас до определенного места? С другой стороны, я не имел представления о порядке передвижения иностранных граждан по нашей стране.

«Это ваша внучка?»

Пассажира усмехнулся, снял панамку с ребенка и слегка взъерошил его золотистые волосы. Малыш потянулся к его бархатной шапочке, старик наклонил голову, малыш схватил шапочку и надел ее на себя. Старик напялил панаму. Эта игра продолжалась некоторое время.

«Слышал, что сказал дядя? — спросил пассажир, насаживая шапочку на свои седины. — Он сказал, что ты моя внучка. Хочешь быть девочкой?»

Малыш насушился и энергично помотал головой.

«Вот он, наверное, мог бы поговорить с вами по-русски, если бы не дичился. А? Скажи что-нибудь».

От тепла и ритмичного покачивания меня начало морить. Долгий разговор утомил меня, я уже не понимал, с какой стати я вдруг так разболтался. Голова моя стала толчками опускаться на грудь, и уже почти сквозь сон я услышал голос попутчика:

«Позвольте...»

Не позволю, подумал я. Дайте поспать, я целые сутки не смыкал глаз.

«...задать вам один вопрос. Приходилось ли вам когда-нибудь...»

«Нет, не приходилось,— сказал я поспешно.— Послушайте: мы так долго едем... Сколько сейчас времени?»

«Бойтесь проехать вашу станцию?» — насмешливо спросил он.

«Мне пора выходить».

«Сидите, до станции еще далеко. Also! (Ну так вот.) Вам пришлось когда-нибудь видеть свои детские снимки?»

«Что?» — спросил я.

«Фотографии вашего детства».

«Знаете что,— сказал я ему.— Очень вас прошу. Не задавайте мне никаких вопросов».

«Но вы даже не знаете, почему я спросил».

«Все равно; ни о чем меня не допрашивайте».

«Помилуйте, какой же это допрос! Так... все-таки?»

«Не помню».

«А вы вспомните».

«В ящике письменного стола,— сказал я,— лежала большая фотография, где я на руках у моей матери. Мне, наверное, было меньше года».

Пассажиры сказали:

«Она и сейчас там лежит».

«То есть где это там?»

«Там, где вы сказали. В письменном столе».

«О чем вы? — вскричал я.— Никакого письменного стола давным-давно не существует».

«Верно,— сказал он мягко,— но в каком-то смысле все-таки существует. Так же на фотографиях человек продолжает жить, хотя, может быть, его давно уже нет... А более поздние?»

Я ответил, что была еще карточка, на которой я был снят во весь рост, в бархатном костюмчике и с бантом на шее. «Знаете,— и я рассмеялся неожиданно для себя самого,— бант — это была просто мука. Меня тоже в детстве принимали за девочку. Худшего оскорбления нельзя было придумать».

«Вот видите, надо было и мне повязать ему бант. Сходство было бы еще заметней.— Он помолчал.— Ты все еще не узнаешь себя?»

Разговор в самом деле затянулся, а я так и не решил, что делать, сойти на ближайшей станции или ехать дальше; я устал говорить на чужом языке и уже не был уверен, что правильно понимаю моего собеседника. А между тем было ясно, что мы только подбираемся к главному, и остановиться было невозможно, как невозможно было затормозить движение поезда.

5. Туннель

Пассажир вытянул за цепочку из кармашка брюк серебряные часы, отколупнул крышку.

«Вы хотите сказать...» — пробормотал я.

«Надо будет свериться на ближайшей остановке, похоже, что мои часы отстали. Вероятно, мы в другом часовом поясе... Впрочем, какая разница. М-да. Вот именно,— сказал он, щелкнул крышкой и спрятал часы.— Именно это я и хочу сказать. Вас это удивляет, но, в сущности говоря, как бы вам объяснить. В дороге все бывает. Мне кажется, вы того же мнения».

Я не знал, что сказать, чем ему возразить, и моя физиономия, как можно предположить, приняла глупое выражение. Он продолжал:

«Дорога — это великая вещь. Можно встретить кого угодно. Можно разговаривать с человеком, которого вы не удостоили бы в обычной жизни и двумя словами. Можно встретиться с теми, кого вы не только никогда больше не увидите, но и не могли бы увидеть в обычной жизни».

«Что значит — в обычной жизни? Знаете ли вы, кто я?»

«Ungefähr. (Приблизительно.) Сиди спокойно,— сказал он мальчику. — Хочешь ко мне на коленки? Или к дяде. Не бойся, ведь это ты сам».

Вспыхнули лампы, поезд вошел в туннель. Сквозь тьму мы мчались под грохот и визг колес, и рядом с нами в черно-туманном стекле покачивался ярко освещенный вагон, и за окном мы трое, я и напротив меня старик в антикварном одеянии, с ребенком на коленях. Старик что-то говорил. Мальчик уставился на свое отражение. Впереди забрезжил утренний свет, померкло электричество, вагон вылетел на волю. В наступившей блаженной тишине вновь послышалось ровное, мерное постукивание. За окном тянулись пустые ровные поля, и казалось, что поезд еле движется. Изредка мелькали безлюдные полустанки. Леса отступили к горизонту. Покойно качались в углах вагона безмолвные дремлющие пассажиры.

«Мы прекрасно помним себя детьми, это остается на всю жизнь. Вот и вы, например, сразу вспомнили, как вы негодовали, когда мама повязывала вам на шею бант... Мы способны возвращаться в детство, в сущности говоря, это и есть наша единственная родина, наш дом... И когда мы входим туда, все стоит на своих местах, вещи, игрушки. И фотография лежит в письменном столе... Только взрослых больше нет. Я вам скажу так,— сказал он доверительно, тоном, который в самом деле поразительно напоминал интонации родственников в моем детстве,— я вам скажу так... Математическое время Ньютона, те-те-те, все это мы прекрасно знаем. Но, дружок мой, это ведь не более чем абстракция... Мы не живем в одном определенном времени, не плывем пассивно в его потоке, как лодочник по течению реки. Мы существуем, если вдуматься, и в настоящем, и в прошлом, и, может быть, даже в будущем. Нынешняя жизнь, вот это путешествие... и наша встреча...— это будущее, не правда ли, если смотреть на него оттуда? Я вам не наскучил своими рассуждениями?»

«О, нет».

«Но... вы поняли, что я хочу сказать?»

«Стараюсь,— сказал я.— Мне кажется, многое зависит от языка. Немецкий язык выражает все эти вещи как-то убедительней. Однако из этого не следует, что они существуют на самом деле».

«На самом деле... Бог ты мой, кто знает, что это такое — на самом деле! Что значит существовать? Может быть, мы все существуем в каком-то условном смысле, в чем-то великом уме, о котором нам ничего не дано знать. Впрочем, не решаюсь с вами спорить, тем более что...— Он развел руками.— Для дискуссии, сами понимаете, у нас не так много времени. Должны же мы наконец куда-то приехать!»

«Послушайте,— сказал я в сильном беспокойстве,— я не очень-то разбираюсь во всех этих вещах. Но это не важно. Мы не должны расставаться. Раз уж так получилось... Разумеется, у меня тысяча вопросов, но, может быть, позже! Знаете что? Я сойду вместе с вами. Мы пересядем в другой поезд. Вам надо ехать назад».

И я с вами, хотел я сказать. Это была внезапная ошеломительная идея. Какая разница, что он там нес! Для меня это был неожиданный выход.

«В крайнем случае объясните контролеру, что вы не смогли купить билет, не знаете русского языка, вам поверят. Покажете паспорт... Ведь у вас есть паспорт?»

«Конечно».

«Иностранный, да? Иностранный паспорт! Этого достаточно. Уверяю вас. А если кто-нибудь начнет придирается, скажите, что вы хотите связаться с посольством. Главное, уезжайте. Уезжайте поскорее и увезите его отсюда».

И меня. А как же моя телогрейка, весь мой вид? Наголо остриженная голова? А, подумал я, терять все равно нечего.

«Пожалуйста,— сказал старый пассажир,— успокойтесь. Видите ли, в чем дело... Я, конечно, всего лишь гость и, может быть, долго не задержусь. Все мы гости в этом мире... в конце концов я приехал из-за него, приехал, чтобы повидать вас... или тебя, я все-таки твой дед, зачем нам это “вы”?..»

«Уезжай»,— прошептал я.

6. Другая жизнь

Старик усмехнулся. «В Германию я, конечно, не вернусь, мне там делать нечего. Я человек старого поколения, я никогда им не прощу того, что было...»

«Здесь не лучше!»

«Ты не даешь мне договорить. Поверь, получить визу было не просто. Так что до некоторой степени я знаком со здешними порядками. Впрочем, ты прав, виза — это для меня нечто вроде охранной грамоты. В крайнем случае вышлют, вот и все. Но что касается мальчика...»

«Как? — сказал я. Простая мысль пришла мне в голову.— Ты говоришь, дед. Но у меня не было никакого деда. К тому времени, когда я родился, мои дедушки, оба, уже умерли».

«Что значит — умерли? Для кого умерли, а для кого нет».

«Но я говорю, что я никакого дедушку-немца не помню».

«Конечно. И не можешь помнить, потому что никто тебе обо мне не рассказывал. Иметь родственников за границей не полагалось. Твой отец был болен...»

«Это я знаю».

«Твой отец был моложе твоей матери. И он был болен. Удалось добиться, чтобы он приехал ко мне. Его привезли уже совсем плохим, и он скончался в клинике, между прочим, очень хорошей клинике. Твоей матушка разрешили приехать с тобой на похороны. Вот и все. Конечно, если бы ты остался, все было бы по-другому. Но она хотела вернуться, и я ее понимаю...»

Подумав, я спросил:

«Сколько же вам лет?»

«Тебе,— поправил он.— Это интересный вопрос. Сейчас я кое-что покажу.— Он снял бархатную шапочку.— Ты знаешь, что это такое?»

«Знаю».

«А вот это,— он вывернул ее наизнанку,— видал?»

«Ты каббалист!» — вскричал я.

«Поэтому,— сказал он наставительно, разгладил шапочку, сдул с нее какие-то пылинки и насадил обеими руками на лысину,— нет никакого смысла спрашивать, сколько мне лет».

«Смотри, смотри!» — закричал мальчик.

Что-то со свистом пролетело за вагонным окном. Дедушка вздохнул и погладил внука по голове.

«Ты говоришь: сядем в другой поезд. Очевидно, ты думаешь, что, если я его увезу с собой назад за границу, от этого что-нибудь изменится. Ты думаешь, если он уедет, его жизнь потечет по-другому, и он вырастет другим человеком, свободным или уж не знаю каким. Милый мой, это невозможно».

«Почему?»

«Потому что невозможно. Потому что не существует никаких черновиков: то, что написано, написано раз и навсегда. И никакая магия тут не поможет. Твоя жизнь уже состоялась. Пойми простую вещь. Жить два раза никому еще не удавалось. И то, что было, того уже не изменишь!»

«А как же вот он?»

«Он — это ты. Пойми это, Файбусович! Совершенно так же, как нельзя выбрать себе другое имя, так нельзя выбрать себе другую жизнь. У него только одна жизнь — твоя. У него нет выбора. Он обречен. Как поезд идет по рельсам и не может свернуть в сторону, так и он ничего не сможет изменить. Просто он об этом еще не знает».

«Смотри!» — сказал ребенок, и мы оба взглянули в окно.

Я почувствовал, что время уходит, а мы ни о чем так и не договорились, и он сойдет на ближайшей станции — наденет свою шляпу,

похожую на гриб, свою крылатку и выйдет, держа за руку внука, и больше я его не увижу. Он сказал, что мы живем в детстве, будучи взрослыми, или что детство навещает нас — что-то в этом роде,— но я не мог представить себе, что был когда-то этим мальчуганом, подобно тому как мальчик не подозревал о том, что он станет таким, как я. Они сойдут, и мне останется только гадать, что это было: сон, наваждение или правда.

Но разве все-таки невозможно, хотел я сказать, ведь мы все вместе, мы встретились, вот что главное,— разве невозможно вместе и уехать, бежать отсюда, раз уж случилось такое чудо? Какая мне разница, думал я, в каком времени мы живем, ньютоновском или не ньютоновском, я не философ и не в состоянии разобраться в этих премудростях, я знаю только, что я в неволе и до самой смерти останусь в неволе, что за мной гонятся, так вот, нельзя ли..? Кроме того, я думал — мысли, как трассирующие пули, неслись в голове,— я подумал, что если этот малыш в самом деле я, то почему же он обречен прожить мою жизнь, почему не наоборот, почему я не могу зажечь другой жизнью? Я глядел на моего попугайчика в безумной надежде, губы мои шевелились, я что-то бормотал, о, конечно, он не имел ни малейшего представления о том, что со мной будет, если я останусь. И в этот момент в наш вагон с двух сторон вошли контролеры.

7. Финал. Чудесное пробуждение

Вошли и стали проверять билеты. А у меня нет билета.

«Знаете,— сказал я, озираясь,— вы меня извините, мне придется рвать когти...»

«Когти — какие когти?»

«Мне надо исчезнуть. Вы тут посидите, я сейчас...»

Быстро выйти из вагона, на ходу придумать объяснение, если окликнут; прикинуться глухонемым, слабоумным или что у тебя колики; быстро, не мешкая — по железному трапу в другой вагон, оттуда в следующий, запереться в сортире, на худой конец выбраться наружу, на ступеньки, скорчиться, чтобы не увидели из окна вагонной двери, спрыгнуть! Скатиться с насыпи, замереть, пока не просвистит мимо и не исчезнет вдали поезд.

Поздно. Он приближается с щипчиками.

«Ага, — говорит старый пассажир, — судя по всему, это контролер, порядок есть порядок. Где наши Fahrkarten?!»

Поздно!

Он ищет в кармашке жилета, во внутреннем кармане сюртука: где же они, Бог ты мой, куда я их засунул? Человек в железнодорож-

ной форме и фуражке величественно ждет, пассажир протягивает билеты, свой и детский. Щелчок компостера. Два щелчка. Человек шествует дальше.

«Слушайте,— говорю я вполголоса на языке, который никто, кроме нас, не поймет, теперь уже совершенно уверенный, что вижу какой-то несообразный сон.— Почему же он не спросил билет у меня?»

«Какой билет?»

«Мой».

«Но я же предъявил твой билет».

«У меня нет билета,— сказал я.— У меня ничего нет. Ни билета, ни паспорта».

«Не пори чепуху, вот твой билет».

«Это не мой. Это его... Я с вашим внуком не имею ничего общего. Я... я беглый. Я вне закона. Вот они сейчас спохватятся и вернутся».

Он улыбнулся. «Зачем им возвращаться? Проверили, все в порядке. Я же сказал, вот твоя карта, можешь убедиться...»

«Чья, чья карта?»

Старый каббалист покачал головой.

«Милый мой. Жить два раза невозможно. Одно из двух. Он для тебя *уже* не существует, а ты *еще* не существуешь для него. Он едет с билетом. А ты...» Он пожал плечами.

И я понял (с великим облегчением), что меня нет.

Корсар

I

Самая обыкновенная жизнь полна необъяснимых тайн, и наоборот, весьма неправдоподобные приключения могут на поверку оказаться довольно обычным делом. Старая, как мир, история путешествия, всякий раз новая, всегда одна и та же, заключает в себе ровно столько же неожиданного, как и тривиального: всё зависит от того, как на неё посмотреть. И, конечно, от того, кто её рассказывает.

Мы же, со своей стороны, постараемся не злоупотреблять описаниями заморских чудес, не расцвечивать небылицами наш рассказ, но вести его с подобающей осмотрительностью, не спеша, как штурман ведёт корабль по извилистому фарватеру.

Фрахтовый пароходик, перевозящий пассажиров, служит единственным средством сообщения между островком с красиво звучащим для европейского уха названием и главным, или Большим, островом, который не зря величают материком: он принадлежит к числу обширнейших в Южном полушарии. Желаящим посетить островок приходится иногда несколько дней ожидать рейса. К счастью, это бывает нечасто, администрация отеля обыкновенно ставит в известность капитана (если он не в запое) о том, что ожидается прибытие туристов. Хотя, впрочем, и туристы здесь редкость.

Ранним утром рыбаки подплывают к низкому берегу в своих плоских лодках-однодерёвках, тащат по песку корзины со сверкающей на солнце добычей. Дети собирают на отмелях раков и ракушки, пока не начнёт припекать и пляж не опустеет. Постепенно всё замирает. Солнце пылает с высот. Часам к пяти пополудни улицы городка заполняются людьми. Стройные черноволосые женщины с глазами, как сливы, в пёстрых одеждах, встречают друг друга у дверей лавок и лавчонок. Огромный, напоминающий лоскутное одеяло стяг республики развевается над дворцом правителя. Столб дыма стоит вдали за бурыми холмами: это крестьяне сжигают остатки девственного леса. Таковы беглые наблюдения местной жизни, которые можно сделать в ожидании парохода. Самый же путь к островку через пролив занимает когда два, когда три часа, смотря по состоянию моря (и капитана).

Несколько слов об островке: в путеводителях о нём приводятся противоречивые сведения либо он вовсе не упомянут. Вопреки географии, по причинам скорее ведомственным, почта на остров идёт кружным путём через Реюньон и доходит из Европы за несколько месяцев, если вообще доходит. Похоже, что не все почтовые отделения осведомлены о его существовании.

Имя, которое дали этому клочку земли мореплаватели, Sancta Hilagia, в честь никому не известной святой, не удержалось. К моменту высадки португальцев (за ними последовали арабы, англичане, последние 250 лет островком владеет Франция) здесь, вероятно, существовало туземное население. О его судьбе нет достоверных сведений. Следы языка аборигенов сохранились, как это часто бывает, в топонимике — названиях некоторых вершин, горных речек и т.п.; такого же происхождения, по-видимому, и второе, ставшее ныне официальным наименование острова, которое можно перевести как Жемчужный, Гиацинтовый, Чешуйчатый, а также Земля Зуба; точный смысл неизвестен, возможно, у него и не было точного смысла. Взобравшись на гору, гость, прибывший на отдых, нашёл, что островок в самом деле имеет форму клыка, хотя его можно сравнить и с морским животным, например, креветкой. Пожалуй, ближе всего остров напоминал человеческое тело, свернувшуюся калачиком женщину. Но это наблюдение было сделано позже. А пока что курортник трясся в старом джипе с начёртанным на дверце названием гостиницы, рядом со смуглым водителем. Ехали среди зарослей злака, похожего на кукурузу. «Sikr (сахар)», — сказал шофёр по-креольски; пассажир, успевший в дороге приобрести с помощью туристических брошюр кое-какие познания в этом языке, догадался, что это сахарный тростник.

Затем снова показалась бухта, несколько времени экипаж тащился под сенью могучих кокосовых пальм вдоль пустынного, уходящего к горизонту пляжа. Не доехав до рыбацкой деревни, свернули в пальмовый лес. Мотор ревел, шофёр бодро крутил баранку, извилистая дорога, усыпанная твёрдыми, как камень, комьями красной земли, круто шла вверх, над верхушками деревьев на бледно-голубом небе рисовались туманные горы. Это сейчас, думал курортник, глина затвердела, а что будет, когда пойдут дожди? Что-то приторно-сладкое, вялое и мечтательное, запах цветов или самой земли, витало в воздухе. Этим пока и ограничивалась экзотика, но в конце концов всякая экзотика — вещь обоюдная. Он сам был экзотическим пришельцем на острове.

Курортника звали... позвольте, как же его звали? Кроме администратора гостиницы, никто так и не научился правильно произносить его имя. К тому же, по сведениям, которые удалось собрать, оно не было его настоящим именем. Теперь это имя стоит на круглом камне, какие встречаются на погостах в этой части океана, — если можно назвать по-

гостом место, где чаще всего никто не лежит, — но опять-таки нужно сделать поправку на местный акцент и более чем сомнительную грамотность того, кто начертал имя и возраст усопшего. Надпись сделана краской, которую изготавливают из панциря бурого скорпиона, чрезвычайно опасного; к счастью, это довольно редкий зверь.

Вообще, что касается членистоногих (раз уж зашла об этом речь), как и некоторых других обитателей Жемчужного острова, то предлагались различные объяснения, почему многие из этих существ нигде больше не встречаются, даже на соседнем Большом острове. Например, считают, что много тысячелетий тому назад, когда взбунтовались воды (местная версия легенды о Великом потопе), вся эта живность нашла приют в лесах и на скалах маленького острова, который одиноко возвышался над гладью океана, поглотившего и Большой остров, и разбросанные вокруг коралловые рифы и мелкие архипелаги. Но хватит отвлекаться. Пересказывание различных преданий (как уже говорилось, путеводители противоречат друг другу) увело бы нас далеко. Оно похоже на перелистывание растрёпанной книги без начала и конца. Или на блуждание в зарослях, между которыми пробирался, приближаясь к месту назначения, джип со смуглым лиловоглазым шофёром и седоком в соломенной шляпе. Остров только казался таким маленьким.

Несколько времени тому назад непредвиденное событие радикально изменило жизнь приезжего. Он получил письмо из провинции от бездетной тётки, которую никогда не любил, от которой много лет не имел вестей. Она извещала его о своём решении; он не успел как следует поразмыслить над этой новостью, как вслед за письмом пришла телеграмма.

Первая мысль его была, что поездка в бретонскую глушь обойдётся слишком дорого. Отказаться от привычек скромного существования так же трудно, как привыкнуть к роскошной жизни. Да и вряд ли он успел бы на похороны. Получив наследство, он по-прежнему жил в холостяцкой берлоге, в доме без лифта, видевшем Великую революцию. Но что-то сместилось, вроде того как цветные стёклышки перемещаются при повороте калейдоскопа, что-то было вырвано из души, и в ней образовалось полое пространство. Перемена существования, даже счастливая, всегда оставляет чувство пустоты. Можно было бы сказать, что свалившееся на него состояние, не такое уж большое, но в сравнении с его доходами огромное, обернулось болезнью, не предусмотренной медицинской классификацией, — и наоборот, можно было сказать, что он выздоровел.

Выздоровел — от чего? От жизни, другой ответ подыскать невозможно. Он почувствовал себя свободным, вернее, впервые в жизни понял, что это значит — быть свободным. Слово вместе с уведомлением о смерти богатой родственницы в телеграмме стояло ещё кое-что, а

именно, что отныне ничто не имеет цены. Просыпаясь утром, он думал о том, что мог бы вообще не вставать. Днём, сидя в своём кабинете (ибо он всё ещё ходил на службу), он представлял себе, как он встанет из-за стола и уйдёт, и больше не вернётся. Свобода состоит в том, что ничто не заслуживает внимания, так как ничто не имеет цены. Он сам больше не имеет цены, другими словами, он вознесён над шкалой ценностей. Человек чувствует себя ничьим, вот что такое свобода.

С этой минуты уже не важно, кем он был, не важно, где он жил. Прошлое не имеет значения. Хотя он всё ещё притворялся перед самим собой, будто ничего не изменилось, привычно экономил на еде, по-прежнему, как ни в чём не бывало, перебрасывался с коллегами словечком о разных пустяках и делал вид, что его интересуют их новости, что его заботит карьера и пенсия, — хотя всё это продолжалось и он всё ещё медлил на краю пропасти, которая называется свободой, в действительности его уже ничто не интересовало: ни карьера, ни зарплата, ни служебные интриги, ни знакомые женщины, ни родственники, ни друзья. Баста — он свободен. Он шагает по улице, механически читает вывески, поглядывает на витрины. И думает: а мне всё это ни к чему. У меня на счёте шестизначное число. Самое лучшее вообще не вставать с постели. Вообще не выходить из дому. Или уехать — всё равно куда.

II

Быть ничьим, думал курортник, глядя на показавшуюся над зелёной чащей башенку с флагом, не принадлежать ни к какому народу, не состоять ни в какой партии, не молиться ничьему богу; быть ничьим — это значит не числиться ни в чьих рядах и не маршировать ни в каких колоннах. Быть самим собой, думал он, только самим собой. То же, что быть никем: прочерк во всех пунктах анкеты. Подъехав ближе, он увидел, что на чёрном флаге гостиницы вышит стилизованный белый череп, под черепом — скрещённые кости.

Во дворе стояла пушка. Администратор, с чёрной шёлковой повязкой на глазу, встретил курортника на пороге отеля. Администратор был малорослый, смуглый и широколицый человек, весьма модно одетый, с «кисой» на шее, с платочком в кармане пиджака. Он застыл в изящном поклоне, раскрыв объяття, между тем как служитель гостиницы, тоже с «кисой», и водитель джипа внесли в дом чемоданы гостя. Чемоданов было всего два, но и служитель, и шофёр рассчитывали на персональные чаевые. «Доро пожаловать на Святую Иларию!» — воскликнул администратор.

Приезжий выразил удивление, заметив, что такое название вышло из употребления. «Верно, — сказал администратор, — и мало кому оно вообще известно. Но я вижу, — добавил он, — что вы основательно под-

готовились к приезду». Курортник отвечал, что он проштудировал путеводитель. «Мои предки, — возразил администратор, положив перед гостем перо и придвинув чернильницу, — всегда называли свой остров только так».

«Свой — вы говорите: свой?» — рассеянно спросил гость, пробегая глазами формуляр. Он машинально взял ручку, взглянул на неё с некоторым недоумением и, окунув перо в чернила, принялся за дело.

Администратор снял со здорового глаза пиратскую повязку в знак того, что церемониал встречи исчерпан; после чего была произнесена речь на языке, который с некоторой натяжкой можно было считать французским.

«Да, ваша информация правильна, — перед вами действительно бывшая цитадель пиратов. На этом острове они отдохали от трудов... Вы удивлены, вы спросите, от каких трудов? О, пираты, уверяю вас, не бездельники!»

«Правда, от крепости остались только стены. Это было двести лет назад, то есть я хочу сказать, двадцать лет. Ровно двадцать лет, как я выкупил участок. Земля моих предков! Меня отговаривали. Никто не мог понять, какие чувства мною руководили. А главное, — главное, это я вам скажу по секрету: никто до сих пор не верит. Там, в Европе, все думают, что сокровища флибустьеров — это легенда. А я их разыскал. Да, на дне бухты. А откуда же, вы думаете, взяли средства. Какой банк даст кредит под такое предприятие? Я всё вложил в эту гостиницу. Расспросил стариков. Южная оконечность острова — лучшее место в климатическом отношении. О, я уверен, что вы будете чувствовать себя у нас превосходно. Вам не захочется уезжать!»

Как уже сказано, администратор гостиницы говорил с ошибками, — воспроизводить их в переводе нет смысла, — тем не менее это был французский язык; во всяком случае, не креольский. Заметим, что креольский язык — некоторые не признают за ним этого статуса, называют его диалектом или даже говорят о двух диалектах, вест-индском и ост-индском, — заметим, что креольский, точнее, франко-креольский язык, который европейцу кажется примитивным жаргоном, кое-как приспособленным для общения туземцев с колонизаторами, в действительности представляет собой особый и полноценный язык с собственной грамматикой, правда, пока ещё не кодифицированной; живой, гибкий, женственно-пластичный язык, без усилий всасывающий английские, французские, индийские слова; язык, который лингвист отнёс бы к романской группе, отнюдь не считая его искажённым французским. И кто знает, быть может, креольский язык — это будущее французского языка, подобно тому как французский стал будущим великой умолкнувшей речи — латыни.

Говорят, что колонизаторы в своё время приложили старания к тому, чтобы воспрепятствовать невольникам, привезённым для заготовки чёрного дерева, общаться друг с другом на родном наречии. Их расселили так, чтобы не только одноплеменники, но и родственники не жили сообща. Осуществить это в те далёкие времена было тем проще, что Чешуйчатый островок казался, а возможно, и был протяжённей, чем ныне: девственная земля всегда обширнее обжитой. Единственным средством общения оставался язык господ. Следствием столь предусмотрительной политики было чрезвычайно интересное с лингвистической точки зрения приспособление французского языка к образу мыслей эбеновых рабов, к унаследованным от предков мыслительным конструкциям и грамматическим формам былых наречий. Душа исчезнувшего языка живёт в крепком, как души умерших живут, по местным поверьям, в их потомках.

«Надеюсь, вы привезли с собой всё необходимое, — продолжал администратор. — Как указано в нашем проспекте. У нас пока ещё много гостей. Я считаю это большой удачей. Для вас, разумеется. Что может быть ужасней этих заваленных потными телами пляжей, где — как это говорится в Писании? — Сыну человеческому негде голову преклонить. Воистину негде! Ведь в наше время — впрочем, кому я это рассказываю? В наше время буквально всё и везде затурищено!»

Произнеся со вкусом это слово (для которого мы постарались придумать русский эквивалент), администратор отеля остановился. «Но позвольте... — пролепетал он, испуганно следя за рукой курортника, которая делала размашистые штрихи и небрежно подчёркивала «нет» везде, где надо было ответить, да или нет. — Что вы делаете?»

«Я отвечаю на вопросы».

«Да, но...»

Гость покосился на администратора, отпил из стакана и продолжал заполнять формуляр.

«Но уж эта-то графа, я надеюсь...»

Гость перечеркнул целую страницу громадной буквой Z.

«Я извиняюсь!» — вскричал администратор.

Курортник что называется и ухом не повёл.

«Порядок есть порядок, — меланхолически заметил администратор, — или вы иного мнения?»

«О нет, что вы», — возразил курортник.

«Н-да... У вас, можно сказать, идеальная анкета», — сказал администратор, не скрывая своего разочарования. Правда, впоследствии оказалось, что она была не лишена известных преимуществ. Но не стоит забегать вперёд. Вздыхнув, администратор заметил, что вынужден напомнить о справках. Сделаны ли прививки? Против бильгарциоза, малярии, прекрасно. Сонная болезнь; тоже не помешает. Месье, наверное, не представляет себе, что такое сонная болезнь.

«Могу вас успокоить: я тоже не представляю. Ни одного случая, сколько я здесь живу. Справка об отсутствии СПИДа у вас есть? Как давно выдана? Виза вам как французскому гражданину не нужна, но с другой стороны... Нет, нет, заграничный паспорт меня не интересует, — прибавил он поспешно, к удовлетворению путешественника, который назвал себя в анкете вымышленным именем, сам не зная почему. — Я вам верю... Я хотел только спросить, не было ли у вас неприятностей на материке, при посадке на пароход? Ваше счастье. Усердие этих чиновников порой превосходит всякое воображение. А с другой стороны, скажу откровенно: я даже рад. Благодаря этой бюрократии у нас ничего не случается. У нас нет преступности, этой чумы современного мира».

«Мы, знаете ли, в особом положении. У нас не вполне определённый статус, это имеет свои преимущества. Могу сообщить вам по секрету, — зашептал он. — О нас там в Париже забыли. Забыли, ха-ха! У меня такое впечатление. Ничего удивительного: мало ли других дел? И к лучшему, уверяю вас. Parbleu! Формально мы относимся к Реюньону. То есть должны считаться заморским департаментом. Но сами понимаете: тут и французов-то настоящих нет. На материке, разумеется, не возражают, они считают, что мы относимся к ним. У них там какая-то собственная республика. Придумали себе гимн, герб... Можете себе представить. Ещё заведут, чего доброго, собственную армию и полицию. Спрашивается, зачем? Кому нужна вся эта мишура, так называемая независимость; только лишние заботы. Гм, покорнейше прошу извинить за нескромность: ваш банковский счёт в порядке?.. Вопросов нет. Я занимаю вас своей болтовнёй, а вы, без сомнения, голодны. Я отнял у вас много времени. Вас удивляет, не правда ли, что в такой глуши, как наша, тоже существует бюрократия. Торжественно обещаю, это первый и последний раз, когда я мучаю вас формальностями. Ничего не поделаешь, я один, можно сказать, персонифицирую порядок. Я и владелец, я и бухгалтер, и кассир. Бесконечно доверяю вам, но порядок требует. Вынужден просить вас внести аванс. Предварительная плата за первые десять дней. О, я более чем уверен, что вы пробудете у нас дольше, я не сомневаюсь в том, что вам здесь понравится. Вам отведена лучшая комната, с балкона открывается сказочный вид. Ну-с, и последнее. На этой карточке перечислены виды услуг. Полупансион входит в стоимость отеля. Я имею в виду завтрак и ужин. Большинство наших гостей вообще не обедает, завтрак достаточно плотный, да и климат не располагает... Вам, вероятно, захочется днём отдохнуть. У нас обычно все соблюдают ресту. Но если вы привыкли, можно получить обед на берегу, там есть ресторанчик рядом с деревней. Неплохая рыба и так далее. Советую вам заказывать без соли, не доверять повару. В наших широтах принято солить больше, чем вы привыкли. Здесь ведь даже фрукты солят. Зрелые манго с солью — советую попробовать. А как вы смотрите на яблоч-

ки любви? Petites pommes d'amour. Обязательно надо попробовать. Это такие томаты. Считается, что укрепляют мужскую силу... и форма, знаете ли, не случайная. Туземный фольклор. Хотя, впрочем, не стал бы вам особенно рекомендовать этот ресторан. Народ у нас бедный, грязновато. Я хочу сказать, если вы захотите получить обед в отеле, пожалуйста. Только отметьте в карточке. Это относится и к напиткам... Здесь предусмотрено — позвольте, что же здесь предусмотрено? Экскурсия в горы, катание по морю, осмотр отеля. А также специальный вид обслуживания: надеюсь, вы меня понимаете. Кров и женщина, старинный обычай нашего острова. К завтраку вы опоздали, я распоряжусь, чтобы принесли в номер. Итак, — воскликнул администратор, поспешно натягивая чёрную повязку и вновь картинно раскрыв объятия, — разрешите мне ещё раз приветствовать вас в этом гостеприимном доме, в этом земном раю, на берегах Святой Иларии!»

III

«Всё болтовня», — сказал курортник, входя в номер. Его чемоданы стояли посреди комнаты. Времени у них тут много, скучища, вот они и рады каждому новому человеку. Он жалел о том, что притащился сюда. Идея возникла в один скучный дождливый вечер, он увидел в газете фотографию, прочёл статью, полную всяких небылиц. Девушка в bureau de voyages на улице Нотр-Дам-де-Назарет была вынуждена призвать из соседней комнаты на помощь заведующего, турист показал газету, причём заведующий осторожно выразил сомнение в подлинности фотографии. Такие трюки нам известны, сказал он. Листали справочники, водили пальцем по большому светящемуся глобусу, точно плыли на корабле. Трёхмачтовый бриг «Антилопа» вышел в Южный океан.

«Нет такого океана, вы что-то путаете», — сказал заведующий бюро путешествий. Клиент напомнил, что так начинаются «Путешествия Гулливера, сначала судового врача, а затем капитана многих кораблей». — «Ну разве что путешествия Гулливера, — усмехнулся заведующий. — Где-то здесь, — бормотал он, — но где?» Девушка предложила поискать в Карибском море. «Да, но в газете...» — возразил клиент. Наконец, остров нашёлся, он значился под другим названием. Сколько-то времени ушло на телефонные переговоры, попытки выяснить, есть ли там гостиница.

«Скоро будет двадцать лет, как я занимаю эту должность, и представьте себе, за всё время вы первый решили провести отпуск на этом острове, — заметил заведующий бюро. — Что ж, в добрый час. Или вы передумали?»

В самом деле, курортник засомневался, не оставить ли эту затею. Мир велик! Но почувствовал, что решение принято, и даже как будто не

им самим. Словно он получил назначение. Словно там, на неведомом островке, его ждало сокровище. Были заказаны билеты, путеводители и проспект, тот самый, на который ссылался, по прибытии гостя, администратор-пират; проспект, кстати сказать, так и не пришёл. Лёгкий бриз шевелил занавеску. Недели, размышлял курортник, оглядывая комнату, будет вполне достаточно. А там двинем ещё куда-нибудь.

Он выглянул наружу: за стеклянной дверью находился балкон — бетонная плита и короткая приставная лестница, утонувшая в оранжево-сером песке. Сразу за домом начинался пляж. Тёмный стальной океан сверкал так, что больно было смотреть. Комната с выбеленными стенами гостю почти понравилась. Мебели не было. Для одежды была устроена ниша. Слева вдоль стены тянулся приступок, который мог служить столом или полкой, в уголке было сложено стопкой чистое постельное бельё. Напротив, головой к стене, находилось ложе — широкое плоское возвышение, на котором лежали европейский матрац и валик. В небольшом углублении стояла лампа. На полу циновка. Он упал на матрац и заснул под шум моря.

День всё так же сиял и шевелилась занавеска, когда курортник открыл глаза. Смена географических поясов и знакомое путешествующим, особое чувство невесомости во времени, похожее на физическую невесомость, сделали своё дело: он спал так крепко, что теперь ему казалось, будто он всего несколько минут назад вошёл в номер. Зато беседа с администратором отступила куда-то далеко; да и вся долгая дорога, самолёт, ожидание на Большом острове и переправа через пролив представлялись полуреальными. Гость увидел, что его чемоданы стоят в платяной нише, одежда висит на плечиках. Возле него на широком ложе разложена пижама, приготовлены пляжные тапочки. Не забыты и очки для ныряния. С удивлением он обнаружил, что лежит на упругой, видимо, резиновой подушке в свежей крахмальной наволочке. Ещё одна подушка лежала рядом. Он вскочил с постели, прислушался, в холле было тихо. И всё так же ухало, плескалось, чмокало и влажно шуршало снаружи, как будто кто-то без усталости полоскал бельё.

Турист отправился на разведку, и каждое новое открытие подтверждало его догадку, что он единственный постоялец в отеле. На крыше, под волнующимся тентом, размещался ресторан. Судя по всему, он не работал. Холл был пуст, во дворе курортник погладил чугунную пушку по тёплому стволу и вышел за ворота. Извилистая тропа среди зарослей бутенвиллии вывела его снова на пляж, но довольно далеко от дома. Вокруг серебрился и темнел океан. Гость обернулся: башенка с чёрным флагом исчезла. Турист был один во всё мире.

Никакими словами не выразимый восторг одиночества, чувство свободы, счастья, тревоги! Он подумал, что никто не знает, куда он уехал: ни бывшие сослуживцы, ни те, кто по праву или обязанности род-

ства известили его о кончине тётушки; случись с ним что-нибудь, его не сумели бы разыскать. Разве только в бюро путешествий, жалкой конторе на улице Назаретской Божьей матери, — как далеко всё это отступило! — могли дать справку, да ведь и там, как выяснилось, не имели представления об этой крохотной земле. Само правительство, по уверению администратора, забыло об острове. Вдобавок турист скрыл своё имя. Но кто его может хватиться? Кому ты нужен, спросил он себя, и рассмеялся. Если каждый имеет право на самоубийство, эту привилегию человека, которая ставит его выше богов, то кто посмеет лишить его права пропасть без вести? Ноги стали увязать в краснобуром песке, он опустился наземь и мог бы просидеть много часов, если бы не боязнь обгореть и внезапно пробудившийся голод.

Курортник долго спал и видел во сне облака, песок, пляшущие искры океана, трясся по окаменевшим глиняным колеям, разговаривал сам с собой или с шофёром, который рассуждал о чём-то на креольском наречии; и уже почти проснувшись, он догадался, что шофёр говорит о сокровище на дне бухты и о том, что самые неправдоподобные события легко объяснимы, всё зависит от того, как на них посмотреть: объяснения важнее самих событий, потому что событие ставит тебя в тупик, а объяснение успокаивает. Несмотря на то, что курортник уже несколько дней находился на острове, он всё ещё не мог преодолеть непривычную усталость, настигавшую его то и дело во время прогулок. Всё ещё сказывалась перемена климата. На глубине локтя песок был уже не таким горячим, опустившись на колени, курортник вырыл яму и улёгся там, как в прохладной могиле.

На обратном пути, в лесу, по странному совпадению, ему повстречалось похоронное шествие. Он услышал монотонное пенье, без конца повторялась одна и та же фраза, из-за угла дороги вышел темнолицый вожатый, весь в белом, он нёс высокий тонкий крест с цветными лентами. Курортник где-то читал, что их должно быть столько, сколько лет было усопшему; на кресте развевались три ленточки. Позвякивал колокольчик. За священником шёл, понурившись, молодой мужчина, босой, в колыхающихся бесформенных штанах до щиколоток, и нёс на плече деревянный футляр, это был, очевидно, отец; сзади прилежно ступали крохотными шоколадными ступнями, опустив головы, одетые в белое женщины. Никто не плакал. В конце и несколько отстав от процессии, два подростка вели под руки древнюю сгорбленную старуху.

Администратор гостиницы утверждал, что ей не меньше ста двадцати лет. Все участники шествия, а может быть, и все деревенские жители были её потомками. «Чрезвычайно редкий случай, что она вышла из дому, — сказал администратор, — вам повезло». Они сидели на крыше отеля за кокосовым пуншем. Курортник спросил, отчего умер мальчик. «От лихорадки; здесь особенно не вдаются в причины. Врачей на

острове нет, да и к чему здесь врач? А что касается кюре, если, конечно, его можно так назвать...» Но ведь здешние жители католики, заметил гость. «Конечно, конечно», — сказал хозяин отеля. Они помолчали, администратор добавил: «Есть один лекарь или, вернее, тонтон».

Курортник перевёл стрелки перед посадкой на фрагтовый пароход, но, приехав, перестал носить часы, перестал вообще следить за временем. К чему? Он смотрел на оранжевый, как желток, шар солнца в сером тумане.

«Тонтон?» — рассеянно спросил он.

«Это слово трудно перевести. Оно означает колдун, злой человек, а также добрый человек; вообще может значить всё что угодно. Особенность здешнего языка, знаете ли. Слова могут иметь противоположный смысл. Здешняя мифология, если можно её так назвать, не знает разницы между Богом и дьяволом. Может, в этом что-то и есть, n'est-ce pas?..»

«Тонтон должен решить, стоит ли заниматься лечением заболевшего. Если он, например, возьмётся лечить того, кто обречён, божества могут разгневаться. Лекарь проводит ночь перед хижиной, где лежит ребёнок, и следит за созвездиями, чтобы не упустить момент, когда божества скажут, хотят ли они взять его к себе. Я не утомил вас этой маленькой лекцией?..»

«Не берусь судить, — промолвил администратор после некоторого молчания, — может, в этом действительно есть резон. Вам я тоже не советовал бы нарушать, э, некоторые правила. Не дразнить, так сказать, высшую силу...»

Какие же правила он может нарушить, спросил гость Администратор развёл руками, как бы желая сказать: откуда я знаю? Или намекал на то, что правил много.

«Короче говоря, тонтона зовут к умирающему, и тонтон объявляет родителям и всей родне, когда придёт смерть. Это очень важно знать. В этот момент родители обязаны зачать следующее дитя, чтобы душа умершего не покинула дом».

«Да, но если... жена не может?»

«Вы хотите сказать — если у жены регулы? Тогда приглашают другую женщину. Родственницу или просто соседку. Главное, успеть. Что же касается покойника, то похороны похоронами, как предписано католической верой. А на самом деле его просто сбрасывают в океан. Потому что тело уже не представляет ценности».

«Это что, — осведомился гость, выслушав всю эту галиматью, которую он не без основания считал блюдом для туристов, — учение воду? Или как там называется ваша религия».

«Я не говорил вам, что это моя религия, — холодно возразил администратор. Он добавил: — Здешние поверья ничего общего с культом

воду не имеют. А религия, как я уже имел честь вам доложить, на нашем острове римско-католическая. Осмелюсь спросить, вы тоже католик?»

Курортник пожал плечами. Желая сменить тему, хозяин отеля спросил, глядя в свой стакан: «Как вам Илария?» Оказалось, что так зовут горничную.

«Послушайте, вы когда-нибудь пробовали...» Парижанин услышал незнакомое слово. Он спросил, что это такое.

«О, сейчас увидите. Тем более, что время ужинать, на так ли?»

Появилась горничная, она же кухарка, девушка лет пятнадцати.

«Ну-ка приготовь нам... — сказал администратор. — Она умеет, сейчас увидите. Это недолго».

«Она вообще всё умеет. И ведь, заметьте, никто не учил; выросла без родителей; удивительное существо...»

«Отведайте», — сказал он, когда юная повариха внесла большое плоское блюдо, распространявшее сильный и странный запах. Следом служитель нёс жаровню со сковородой. На столике перед хозяином и гостем лежали толстые ломти кукурузного хлеба. Администратор потирал руки. Он взял хлеб, намазал его пахучей пастой с мёдом, схватил, обжигаясь, со сковороды то, что пеклось на ней, ловко шлёпнул на ломоть хлеба и протянул гостю. Курортник с недоумением оглядывался. Девушка и бой исчезли, он не заметил их ухода. Администратор разлил вино, предварительно показав гостю этикетку. Курортник с опаской откусил от экзотического изделия, это были лепёшки из мяса зебу со сложным набором трав.

«Ну как?» — спросил хозяин с торжеством.

«Превосходно».

«Нигде в мире вы не получите такое блюдо. Cheers!» — возгласил он. Курортник пробормотал ответный тост, вежливо похвалил вино.

«Оттуда. Мы получаем оттуда». Многозначительно кивая, администратор указал через плечо большим пальцем. Подразумевал ли он Большую землю? Или Францию? Или известную одним пиратам, отсутствующую землю за горизонтом? Приезжему показалось, что сотрапезник угадал его мысли, когда после нескольких бокалов — оба слегка охмелели от выпитого и съеденного — хозяин спросил вкрадчиво:

«Поднимались ли вы к вулкану?»

«Да... то есть ещё нет».

Администратор наклонился к нему: «Оттуда можно увидеть...»

«Что увидеть?»

«В ясную погоду», — пояснил хозяин.

«Вы не ответили».

«Ответа нет, — сказал администратор и откинулся в плетёном кресле. — Ответа нет, вот единственный ответ. Никто не знает, существует ли она на самом деле или это только мираж!»

IV

Осмотр отеля в качестве первой и главной местной достопримечательности убедил курортника в том, что у предприятия большое будущее; кое-что было ещё не готово, кучи песка, бочки с извёсткой свидетельствовали о том, что работы продолжаются. Со словами: «А вот тут у нас... не угодно ли?..» администратор-экскурсовод ввёл гостя в большую комнату.

«Не угодно ли взглянуть: конференц-зал».

Комната со свежепобелёнными стенами и потолком была пуста, лишь у стены напротив двери находился крашенный невысокий помост, на помосте стояло круглое резное кресло с изогнутыми подлокотниками. По-видимому, — причиной был своеобразный французский язык администратора, — выражение «конференц-зал» имело в его устах не совсем обычное значение.

Кресло было снято с португальского корабля лет триста тому назад. По обе стороны были прибиты к стене два флага: трёхцветное знамя Французской республики и ещё какое-то, с полосами всех цветов радуги, вероятно, флаг острова.

«Я принимаю здесь делегации из деревни», — сказал администратор. Он не мог скрыть некоторого смущения.

«Видите ли, не надо придавать этому большого веса... То есть, конечно, всё это важно и необходимо, но в каком смысле? В чисто местном, уверяю вас. Мы ни в коей мере не посягаем на прерогативы метрополии... С другой стороны, приходится считаться с местными традициями. Нельзя игнорировать местную историю! Точно так же как нельзя выказывать презрение к местным верованиям. В этом состоит мудрая колониальная политика. Я убеждён, что в Париже со мной согласятся, более того, в Париже только одобряют... если, конечно, — добавил он, усмехнувшись, — о нас там кто-нибудь ещё помнит».

«Все знают, что эта земля принадлежала моим предкам. Здесь умеют чтить преемственность и уважать права. Кто же, по-вашему, может быть лучшим кандидатом?»

Курортник был вынужден признать, что более законного претендента найти невозможно.

«Теперь вам понятно, — заключил своё пояснение хозяин отеля, — почему они провозгласили меня вождём племени и королём острова. У меня есть и корона — хотите, покажу?» И он весело подмигнул гостю.

Курортник решил обойти остров; путешествие, говорили ему, займёт не больше полутора часов. Выйдя утром из дому, он двинулся вдоль песчаной отмели под навесом пальм. Впереди пенистый прибой разбивался о рифы и бурлил вокруг камней, вокруг, сколько мог охватить глаз, расстилался сизый, белёсый, призрачно серебрищийся, далёкий и

в этой немислимой дали уже не отличимый от неба океан: горизонта более не существовало. Время от времени скалы преграждали путь, приходилось внимательно смотреть под ноги, берегитесь морских ежей, сказал администратор, главное — берегитесь ежей: наступите на иглу, придётся целую неделю проваляться в постели. Путник вступил в лес, стараясь не потерять из виду берег, обогнул мыс, остров медленно поворачивался, кончился прилив, впереди рисовались новые отмели, где-то невдалеке должна была находиться деревня. Одно время ему казалось, что он видит вдали конусы хижин. Постепенно они растворились в дымке, словно ось земли незаметно перевернулась, и теперь он не приближался, а уходил всё дальше от цели. Поднимаясь по горячему склону, он добрёл до каменистой площадки и снова увидел между зарослями встающий к небу океан. Сзади, над головой путника, на бледном от зноя, оловянном небе стояла курящаяся, со срезанной макушкой голова вулкана. Океан казался отсюда грифельным. Сколько ни вглядывайся в морскую даль, никакой земли не увидишь. Никто не знает, сказал администратор, где она расположена, её нет на картах. Но то, что её невозможно было разглядеть, как будто подтверждало её существование: если бы это был мираж, я бы видел его, рассуждал курортник. Несколько времени спустя он поднял отяжелевшую голову — гора была уже далеко, занятый своими мыслями, он не заметил, что оказался внизу. Ноги стали уходить в песок; разувшись, с палкой через плечо, на которой висела его одежда, голый и лоснящийся от мази путешественник всё глуже проваливался в песчаную постель.

Тем временем (турист брёл к себе в гостиницу) кое-что изменилось. Солнце по-прежнему пылало в небесах, тускло блестело расплавленное серебро океана, и вокруг всё приобрело зловещий оттенок, зелёные заросли сделались жёстче и ещё зеленей. Что-то вздрагивало и горело перед глазами путника, он едва различал дорогу перед собой. Пошатываясь, он добрался до дома с башенкой; незнакомый человек приблизился к нему; два человека; один из них был хозяин. Что случилось, спросил озабоченно хозяин гостиницы, где ваш головной убор? Курортник потерял панаму. Он наступил на иглу морского ежа, сказал другой человек. Нет, это не морской ёж. Это бурый скорпион. Сделаны ли прививки? Где справка? Курортник слышал этот разговор, но не мог понять, говорят ли с ним двое или он слышит один и тот же голос. Курортник покачал головой и почувствовал, как во лбу, позади глаз колыхнулся расплавленный металл, серебро океана. «Немедленно в постель», — командовал один, и эхо в мозгу повторило: «В постель». Постояльца повели в номер.

«Это бывает... перемена климата, — бормотал администратор, который снова стал одним человеком. — Вы слишком много времени провели на солнце. Слишком далеко ушли от отеля».

«Но вы сказали, — простонал курортник, — весь остров можно обойти за полтора часа».

«Мы примем меры, — сказал администратор. — Вы пошли не в ту сторону, это бывает. Немедленно ложиться и опустить шторы. О, как я вам сочувствую». Он заботливо уложил курортника. Турист хотел сказать, что если хозяин отеля думает, что это солнечный удар, то ошибается: это мигрень, к которой он, к несчастью, имеет склонность. Но администратор уже направлялся к двери, он шёл на цыпочках, полуобернувшись и делая успокоительные знаки больному. С мокрым полотенцем на лбу курортник, раздетый и прикрытый простынёй, лежал на спине, отдавшись своему страданию.

По-видимому, не прошло и пяти минут, как дверь отворилась. Больной не хотел никого видеть. Горничная вошла неслышным шагом, опустила бамбуковые жалюзи и задёрнула шторы. Она присела на постель, медленно водила пальцами по лбу и вискам больного. Курортник закрыл глаза. Она вытерла лоб полотенцем и возобновила движения. Её пальцы всё сильнее вдавливались в кожу, словно втирая что-то, больной почувствовал электричество на кончиках пальцев, и стало как будто легче. «Ещё», — попросил он. «Много нельзя», — прошептала служанка, она говорила с сильным местным акцентом, приезжий с трудом её понимал. Она добавила: «Немножко отдохнуть». Больной поднял веки, её не было в комнате. Боль сосредоточилась в половине головы и вокруг глаза, но ослепление прошло. Все предметы казались необыкновенно чёткими. Он лежал неподвижно. Каждое движение шеи причиняло боль. Ему представилось, что боль, как собака, дремлет рядом с ним на подушке, и он боялся пошевелинуться, чтобы не толкнуть её. Курортник не слышал, как снова вошла служанка. Она склонилась над ним и поддерживала его голову. Он пил из широкой плоской чашки солоноватое питьё, первые глотки показались ему приятными, но затем он почувствовал отвращение. «Надо всё», — сказала она. Он сморщился. «Тут немного». Курортник подумал, что она скажет сейчас, как говорили в детстве: теперь за маму, за бабушку; он заставил себя сделать последний большой глоток, откинулся на подушку и начал медленно опускаться сквозь толщу мутно-зеленоватых вод на дно бухты.

Курортник очнулся, как ему показалось, через несколько часов. Он был укрыт одеялом; в комнате сумрак, шевелился занавес — поднялся бриз. Горничная сидела возле его ложа, составив ноги и держа по-прежнему на коленях чашку. «Илария, — прошептал больной, — тебя ведь зовут Илария?»

Он вспомнил беседу с администратором, ленивое сидение на крыше отеля, рассказ о лекаре и больном ребёнке. Курортник подумал о душе, вырвавшейся на волю и вновь пленённой, о том, что хрип умирающего заглушают стоны наслаждения, труд зачатия, и это не показав-

лось ему неприличным и странным. Другая мысль его смутила. Он не мог выстроить события в их естественной последовательности. Сперва он встретил похоронное шествие, крест с разноцветными лентами, священника и отца, который нёс на плече детский гроб. Потом выслушивал объяснения пирата. Или наоборот?

Очевидно, время, как банкомёт, перетасовало свои карты.

Между тем в комнате как будто посветлело, курортник слегка потряс головой, чтобы убедиться, что он поправляется, и боль, замурованная в правом виске, откликнулась издалека. Боль протискивалась в лабиринте мозга. Перемена климата, сказал хозяин... перелёт из Северного полушария в Южное. Мысль о том, что существует связь между полушариями Земли и мозга, показалась любопытной. Больной скосил взгляд и убедился, что юная горничная всё так же терпеливо сидит возле постели; тотчас, спохватившись, она поднесла к его рту плоскую чашку.

«Ну уж нет!» — возразил курортник.

«Надо пить».

«Ты хочешь сказать: допить? Сколько тебе лет?»

Она кивнула, как дети отвечают на любой вопрос знаком согласия. Её глаза избегали прямого взгляда, они были устремлены на чашку. Лиловые глаза-сливы, блестящие и непроницаемые. На ней было шёлковое голубое платье, вернее, кофточка, обтягивающая узкие плечи и бугорки груди и завязанная узлом на голом животе; нижняя часть тела и ноги почти до ступней завернуты в жёлтую ткань. Круглый лоб, щёки, шея в вырезе кофты были чайного цвета, как её сари. Волосы, чёрные с синеватым отливом, грубые и блестящие, как конский волос, туго заплетены и свёрнуты на затылке.

Вздохнув, он допил питьё. «Будем знакомы, — сказал он и назвал своё вымышленное имя. — Сколько тебе лет, Илария? Восемнадцать? Пятнадцать?» Она смотрела на его шевелящиеся губы, точно глухонемая. Курортник повторил вопрос, показал на пальцах, она кивнула. Он продолжал допытываться. «Ты его дочь?»

«Он меня взял», — сказала она.

Курортник снова испустил вздох. Болезненно колыхалось в мозгу; он сдавил пальцами висок.

«У меня это уже было — правда, не так сильно. Я не понимаю, — сказал он, — что значит взял? В приёмные дочери? В жёны?»

Она ответила: «Не хочу».

«Что ты не хочешь?»

«Не хочу сказать».

«Значит, ты ему не жена?»

«Да».

«А кто твои родители?»

«Нет».

«Что значит нет: умерли?»

Она не знала. Она происходила из деревни на берегу.

«Много нельзя», — сказала Илария.

«Что много?»

«Много нельзя говорить. А то снова».

Турист почувствовал бессмысленность своих расспросов. Одно и то же слово, сказал владелец гостиницы, может означать в этом языке противоположные вещи. Очевидно, богатство интонаций восполняло относительную бедность словаря. Но не всё ли равно! Он знал, что мигрень — если это была мигрень — есть в некотором роде знамение, сигнал тревоги или недовольства, которое выражает организм: едой, погодой или полушарием Земли. Боль, как тёмное облако, вновь начала заволакивать зрение. В дверях администратор вполголоса что-то выговаривал горничной; у него был обескураженный вид. Он подошёл к лежащему осведомиться о самочувствии.

Администратор всплеснул руками, услышав о том, что гость собрался прервать свой отдых на острове, не дожидаясь условленного срока. «Как, вы не успели насладиться всеми нашими красотами! — вскричал он. — Дорогой мой, это неразумно». — «Увы», — сказал курортник. Он заверил хозяина, что не видел в своей жизни более величественной природы. Это была правда: он всю жизнь прожил в большом городе. Хотя ему определённо полегчало, он всё ещё не чувствовал себя здоровым. Некоторым людям противопоказан климат тропических островов. Курортник был в скромном, но элегантном дорожном костюме, в лакированных ботинках и при галстукке. Крутя шляпу на пальце, он окинул прощальным взором свою комнату, вышел в последний раз на балкон. Океан слегка штормил, этого мне ещё не доставало, подумал он. Чемоданы стояли внизу в холле. Курортник медлил; как бывает при отъезде, ему казалось, что он что-то забыл. А кстати, где эта девочка, надо бы попрощаться. И снова забыл.

Он не жалел о том, что покидает островок, на котором прожил какие-нибудь десять дней, да и то чуть ли не половину времени провалялся в постели. Он уже строил новые планы. В Париже, разумеется, делать нечего, в Париже всё напоминает о прежней неволе; он поедет в Японию или в Россию Морщась от тупой боли, представил себе, как он помчится на тройке оленей по сверкающим снежным равнинам в русских саянх, с колокольчиком, в расшитой узорами шубе, лисьем шлеме и синих очках-консервах.

Убитый горем администратор ждал его внизу, по случаю проводов одетый, как в первый день: пиджак смелой расцветки, бабочка на шее. Пиратскую повязку на глазу хозяин крепости больше не носил, зато появилась новая колоритная деталь: он обзавёлся чёрно-смоляными

усяками. Джип стоял у подъезда. Оставалось уладить денежные дела. Турист не настаивал на возвращении непрожитых денег, в конце концов администрация отеля не виновата в том, что он съезжает раньше времени. Всё же его неприятно удивил счёт, почтительно вручённый администратором: помимо медицинской помощи и услуг сиделки, ему предлагали уплатить за экскурсии, в которых он не участвовал, и пользование бассейном, которого не существовало. А что означает графа «специальные услуги»?

Хозяин принял достойный вид. Месье, очевидно, забыл: об этом деликатном пункте говорилось при заполнении въездной анкеты. Забыл, сказал курортник. Результат болезни, заметил сокрушённо администратор.

«Не просто услуги. Древний обычай наших мест. Поистине жаль, что вы не смогли оценить в полной мере гостеприимство нашего острова». Он чуть было не сказал: моего острова.

«Уже в те далёкие времена, когда на острове появились европейцы, они были приятно удивлены тем, что вместе с кровом гостю предоставлялась женщина. Жаль, жаль, — продолжал он, не замечая нетерпения, которое гость уже не скрывал, — девушки нашего острова — это нечто особенное!» Администратор рассказал о том, как один турист, солидный господин, владелец шоколадной фабрики, мужчина в соку, не мог забыть свою *hostesse* и присылал ей изделия своего предприятия, как в один прекрасный день он появился вновь на Святой Иларии и даже предлагал откупить у администратора его гостиницу. Разумеется, об этом не могло быть и речи.

«Сами понимаете, мой долг по отношению к предкам... К тому же на острове, когда распространился слух, начались волнения. Ко мне явилась депутация. Кончилось тем, что оба, конфетный фабрикант и девушка, укатали в Европу».

«Но я... вы же знаете». Курортник напомнил администратору, что данным видом услуг он не пользовался. Не говоря уже о том, что был болен.

«Сочувствую, — сказал хозяин. — Однако порядок есть порядок. Мой поклон капитану!» — крикнул он, выйдя следом за гостем на крыльцо, и махал рукой до тех пор, пока автомобиль, подпрыгивая, не скрылся в зарослях. После чего отстегнул бабочку, отклеил усы и, вздохнув, отправился на крышу отеля пить кокосовое пиво.

V

«Так я и знал. Я предчувствовал! — воскликнул администратор. — Mon Dieu, какая неосмотрительность. Я же предупреждал. Осторожно. Немедленно в постель». Служитель гостиницы и шофёр внесли носилки

с курортником в холл. Приезжий заметно изменился. Молча приветствовал он хозяина коротким кивком, с трудом встал на ноги и, поддерживаемый с обеих сторон, кое-как добрался до своего бывшего номера. Стояла великолепная погода, занавеска слегка шевелилась, и блестящий мириадами искр, брызжущий пеной, свежий и синий океан набегал и откатывался, и шуршал галькой под самым балконом. Головой к стене, больной покоился на плоском и широком возвышении, которое служило ему ложем, в полусумраке, на высоких крахмальных подушках. Ничего не изменилось. Чемоданы стояли на полу, как в первый день его приезда. Казалось, он только что покинул гостиницу. Вошёл на цыпочках администратор. «Не хочу вас беспокоить, — пробормотал он, — анкету заполним позже...»

«Где Илария?»

«Так как вы от нас выписались, то теперь как вы прибываете заново, — пояснил администратор. — Но можно оформить документы позже, спешить некуда. Мы можем даже сделать так: я заполню, а вы подпишете. Ах, как не повезло. Я же говорил: не надо торопиться...»

«Где Илария?» — простонал курортник.

«Илария? В самом деле, где она... В деревне, я полагаю.»

«Пошлите за ней немедленно. И ещё одна просьба».

Администратор ждал. Курортник провёл языком по сухим губам.

«Эй, — администратор выглянул в коридор. — Воды в седьмой номер».

«Спасибо, не беспокойтесь. Скажите... Есть в отеле музыка?»

«Музыка? — улыбнулся администратор. — Вы имеете в виду туземную музыку? О да, разумеется. То есть пока ещё нет, но я планирую завести собственный ансамбль для вечерних выступлений в ресторане. Музыкальный фольклор нашего острова всегда, знаете ли, привлекал внимание путешественников, не говоря уже о песнопеньях корсаров... Вам приходилось когда-нибудь слышать?»

«Пиратский фольклор?» — спросил курортник.

Хозяин запел:

«Приятели, смелей разворачивай парус. Йо, хо, хо!.. Старинный гимн семнадцатого века. Его исполняли, выходя в плаванье... Несколько архаический язык, вы не находите?»

«А дальше?»

«Одних убило пулями, других сразила старость. Йо-хо-хо, всё равно — за борт!»

«Нет, нет, — поспешно сказал курортник. — Я хочу сказать, обыкновенная музыка, европейская. Ну там, Моцарт...»

«Моцарт. О!» — сказал администратор.

В номер внесли граммофон с зелёным целлулоидным раструбом, похожим на половой орган некоторых растений, и груды пластинок в

полуистлевших конвертах. Администратор хотел было завести машину, но, увидев, что больной дремлет, на цыпочках двинулся из комнаты. В дверях он обернулся. Больной, не открывая глаз, плачущим голосом в третий раз осведомился об Иларии.

Всё шло как нельзя лучше, его ждали в гавани, капитан был трезв, как стёклышко. Увидев гостиничный джип, капитан приказал разводиться пары. Ударил пушка. Пароход отвалил от причала; единственный пассажир стоял на корме под хлопающим флагом всех цветов радуги, любуясь песчаными берегами, кущами пальм и плоской, тающей в белёсых далях головой вулкана. Вскоре, однако, пришлось удалиться в каюту, началась качка. Переезд через бурный пролив отнял много часов, измучив курортника. Была ли это морская болезнь или рецидив прежнего недомогания, месть Южного полушария? По прибытии на Большой остров оказалось, что рейсы в Европу отменены в связи с ремонтными работами в аэропорту. Пассажира заверили, что в понедельник он сможет вылететь. Врач, приглашённый в гостиницу, не мог понять, что с ним, и предложил лечь в больницу; турист отказался, и к ночи ему стало ещё хуже.

В номере не было кондиционера, он лежал без сна под марлевым пологом в душной тьме, обливаясь потом, под уханье музыкальной турбины и визг женщин: звуки доносились снизу из ночного бара. Всё наладится, думал он, как только удастся пересечь экватор. Курортнику представлялось, что его мозг разбух до размеров комнаты. Мозг уже не умещался в гостинице. Его холмы и извилины спускались к океану. Это был тяжёлый мозг Земли, её южная половина, переполненная густой, чёрной, горячей и пульсирующей кровью.

Приподнявшись, больной откинул полог и упал без сил на постель; в ту же минуту дверь номера приоткрылась, в проёме стояла тёмная фигура. Он подумал, что видит её во сне или в бреду и что это сама смерть отыскала его в жалком отеле. Что тебе надо, спросил он. Она не ответила. Он повторил: «Что тебе здесь надо?» Молодая негритянка в красном платье, надетом — это можно было заметить — прямо на голое тело, уперев руки в крутые бёдра, покачиваясь, подошла к постели. Свет пал из коридора. Они смотрели друг на друга.

«Так я и думала, что здесь кто-то есть, — проговорила она. — вот и прекрасно. Что скажешь?»

«Что я должен сказать?» — спросил больной.

Она передёрнула плечами.

«Тебя нет, — сказал курортник, — это только сон. Не пытайся меня обманывать».

«Ты не спишь, — возразила она. — А раз ты не спишь, то нечего валяться».

«Что же мне ещё делать?»

«Пошли к нам».

«Куда это, к вам?»

«К нам: туда. Сегодня спать не положено. Никто не спит. Сегодня праздник»

Он спросил, какой праздник.

«Сама не знаю, — сказала она, смеясь. — День освобождения или как там. Не всё ли равно».

Он тоже усмехнулся. «Ты говоришь, день. А сейчас ночь».

«Мы празднуем с утра до утра. А вообще-то у нас каждую ночь праздник».

«Весело живёте», — заметил курортник.

«А чего горевать. Ну, если не хочешь идти танцевать... — Она присела на край кровати. — Хочешь меня иметь?»

Больной не знал, что ответить, он смотрел на её сверкающие в полутьме глаза и зубы и, наконец, пролепетал:

«Ты кто? Ты откуда взялась? Ты — смерть?»

Она встала.

«Скажешь ещё! Смерть... Посмотри, разве я не хороша? — Она гладила себя по груди и бёдрам. — Дай-ка руку...»

Он не давался.

«К твоему сведению, — сказала она надменно, — я совершенно здорова. Могу справку показать».

«Зато я болен», — возразил он.

«Э, ерунда. Пройдёт».

«Я решил вернуться», — сказал он.

«Куда?»

«Туда, откуда приехал».

«В Париж? Ты парижанин?»

«Да нет же, — поморщился курортник. — Я решил вернуться на остров. Чешуйчатый остров, знаешь такой?»

«Понятия не имею».

«Когда я заболел, то она меня вылечила. Теперь у меня повторилось, здесь мне делать нечего, в больницу я не хочу, они всё равно ничего не понимают; а она меня поставит на ноги». Он выпалил это единым духом, как будто убеждал себя самого; монолог утомил его.

«Она меня...» — повторил он, тяжело дыша.

«Кто это она?»

«Её зовут Илария», — сказал курортник.

«Понимаю. У тебя там возлюбленная, и ты хочешь к ней вернуться. А она тебе, может, уже изменила».

«С кем?» — спросил он удивлённо.

«Почём я знаю. Ты не хочешь меня иметь, хочешь сохранить ей верность, зачем же ты её бросил? Думаешь, она тебя там ждёт? Она, наверное, тебе там уже отомстила, а ты хочешь быть верным...»

Курортник молчал, и она добавила:

«А я, между прочим, знаю секреты».

«Спасибо».

«У вас там никто понятия не имеет. Только наши женщины их знают. Даю слово: не пожалеешь».

«В другой раз», — вяло сказал курортник, который устал от долгого разговора. Утром он потребовал отвезти его в порт, и снова ему повезло: пароход готовился к отплытию. Океан успокоился. Джип ждал гостя, словно блудного сына, но на полдороге курортник велел остановиться; пришлось нести его на носилках.

Администратор подошёл к приступке, на которой стоял граммофон, отыскал пластинку с колыбельной Моцарта. «Не беспокойтесь, — сказал он, — за ней послали. Она в деревне... у дяди».

«У какого дяди?»

«У неё есть дядя. Прошу покорнейше извинения. Согласно порядку, необходимо внести аванс...»

«Аванс? — переспросил больной. — Ах да». Он хотел сказать, что не рассчитывает оставаться на второй срок и покинет гостиницу, как только ему станет легче. Но не было сил и охоты вступать в объяснения. «Спи, моя радость, усни. В доме погасли огни...» Он отвечал, что у него нет наличных; нельзя ли заплатить по карточке? Администратор возразил, что давно уже собирается перейти на безналичный расчёт, надо, сказал он, шагать в ногу с временем. Впрочем, он попытается связаться с отделением *Crédit Lyonnais* на Большом острове. «Птички уснули в саду». Администратор отвернул звукозаписывающую пластинку. «Разрешите взглянуть... о, евровиза. Удобная вещь. В любом конце мира. Лишь бы было что тратить, хе-хе. Если вы согласны доверить мне вашу карточку, разумеется, на короткое время, я всё улажу. Гарантирую абсолютную *discretion*... Позвольте знать: в каком банке вы держите ваши средства?»

VI

Курортник отказался от ужина. Он попросил поставить музыку рядом с постелью и забылся под звуки Маленькой ночной серенады. Игла съехала с пластинки и остановилась; наступил вечер, Иларию всё ещё не было. В номер заглянул хозяин, чтобы спросить, не надо ли чего, пожелал больному спокойной ночи и, потушив свет, удалился. Мёртвая тишина воцарилась в цитадели пиратов, слышно было, как бессонный океан целует прибрежные камни. Совсем не то, что в гостинице на Большой земле, подумал больной, но теперь ему не давали уснуть голоса молчания. То и дело казалось, что кто-то крадёт по коридору, кто-то с кем-то переговаривается шепотом, скрипит дверь. Люди ходили по

комнате. Царёк-администратор совещался вполголоса с шофёром и капитаном парохода, надо ли сообщить приезжему, — что сообщить, спросил курортник, и хозяин отеля ответил, что новость весьма неприятная, лучше отложить её до утра. Курортник хотел спросить, знает ли об этом Илария, — тс-с! — прервал его администратор и на цыпочках, балансируя руками, двинулся прочь. В дверях он поспешно посторонился, чтобы пропустить высокую крутобёдрую негритянку, мельком оглядел её с головы до ног, слегка присвистнул и покачал головой; администратор не одобрял ночных визитов, но в то же время не мог скрыть впечатления, которое она произвела в своём шёлковом платье, под которым ничего не было. Очевидно, там, на материке, всё ещё продолжался праздник в честь Дня освобождения.

Какая настойчивость, подумал курортник и объяснил, что не может ехать, так как только что услышал неприятную новость, от него хотели скрыть, но он догадался. Э, ерунда, возразила она, смеясь, мало ли что наговорят. Но никто ему ничего не говорил, он сам догадался, сказал курортник. Ты всё думаешь о своей возлюбленной, сказала она с упрёком, а твоя возлюбленная знать тебя не хочет. Ей всего пятнадцать лет, возразил курортник. Это всё равно, ответила она, здесь выходят замуж и раньше, когда совсем ещё ничего нет, ни грудей, ни зада. Жди, когда всё это ещё вырастет, добавила она, самодовольно оглядывая себя и разглаживая обеими руками платье. В этот раз она была не в красном, а в белом. Протри глаза, сказала она, разве я не гожусь для тебя, хочешь иметь меня прямо сейчас? Ты ещё не пробовал с чёрными женщинами; мы кое-что умеем, ваши бабы об этом даже понятия не имеют. Турист отвечал, что он болен, к тому же в номер могут войти; в самом деле, было уже светло, в отеле слышались голоса. В дверь постучали.

Несмотря на беспокойную ночь, больной чувствовал себя значительно лучше, он с аппетитом позавтракал, хотел даже встать, но подчинился совету хозяина: разумнее было провести хотя бы ещё один день в постели. С помощью сиделки курортник шагнул в резиновую ванну, администратор деликатно вышел, Илария, с кувшином в руках, встала на стул. Изумрудная струя полилась на голову, лицо и плечи больного, от сильного аромата у него закружилась голова, он схватился за горничную, и оба чуть не упали. «Дай мне кувшин, — пробормотал он, — я сам...»

Она сказала: «Повернись». На животе у больного выступили розоватые пятнышки. Она сделал ему знак расставить ноги, там тоже была сыпь. Но самочувствие, как было уже отмечено, улучшилось. Она вытерла ему лоб, щёки, подбородок, старательно осушила его исхудавшее тело, протёрла под мышками и в паху, причесала волосы. Счастливый, слегка растревоженный и раскрасневшийся, он лежал на высоких подушках, девочка сидела рядом и поила его питьём, которое теперь показалось ему вкусным. Ты тоже вся мокрая, сказал он.

Он добавил: «Там висит халат».

«Не смотри, зачем смотришь», — сказала Илария.

Она сбросила то, что было на ней, и сняла с плечиков его купальный халат. Со своего ложа больной простирал к ней руки, она покорно поворачивалась, он помог ей обернуть халат вокруг тела. Она завязала пояс, подоткнула полы, из-под которых показались её крошечные ступни, и засучила рукава на тонких желтовато-смуглых руках. Одевание развеселило обоих.

«Хочешь, — сказал курортник, — я возьму тебя с собой?»

Она молчала.

«Поедем со мной, Илария!»

«Тебе нельзя. Ты больной».

«Но я уже почти выздоровел. Ты меня вылечила».

«Ты больной, — повторила она. — Тонтон придёт, тебя вылечит».

Зачем мне тонтон, хотел сказать курортник, но тут появился хозяин отеля. «О, я вижу, вы молодцом, — сказал он, потирая руки, — ещё денёк-другой, и сможете выходить. А у меня к вам дело». Он слегка поднял брови, провожая глазами горничную, забавно выглядевшую в одеянии гостя.

«У меня к вам... — промолвил администратор, садясь возле ложа. — Но, может быть, лучше отложим этот разговор, пока вы окончательно не поправитесь?»

«Она говорит, что придёт тонтон», — заметил курортник.

«Вы порозовели. Вероятно, у вас повышена температура, но это к лучшему».

«Мне кажется, он мне совсем не нужен. Кто он, собственно, такой?»

«Вам нужно немного окрепнуть».

«Кто он такой?»

«Это её дядя. Я велел ему придти. Видите ли, вообще говоря, местные болезни должен лечить и местный лекарь. Европейская медицина тут бессильна».

«Вы хотите сказать: медицина Северного полушария?»

«Можно назвать её и так».

«У меня к вам просьба, — проговорил неуверенно курортник, — тут ко мне приходила одна женщина, вы, наверное, видели... одна негритянка с Большого острова. Будьте добры, распорядитесь, чтобы её больше не впускали».

«С Большого острова? — удивился администратор. — Как это так, ведь пароход больше не приходил. Кто такая?»

«Понятия не имею. Пожалуйста, — попросил курортник. — Я не хочу её видеть».

«А вы уверены, что видели её?.. Я хочу сказать — что она действительно вас навещала? Впрочем, кто бы ни была эта дама, если это, э... в порядке специальных услуг, то в отеле предусмотрено собственное обслуживание. С гарантией медицинской безопасности. Вы понимаете, что я имею в виду».

«Понимаю, — сказал курортник. — Так что же это за дело, о котором вы хотели со мной поговорить?»

«Принимая гостей, мы берём на себя ответственность за их здоровье».

«Конечно. Так, э-э...?»

Администратор молчал.

«Что-нибудь связанное с той новостью?»

«Разве вы уже слышали?»

«Не то чтобы слышал, но...»

«К сожалению, — сказал администратор, потирая колени, — к большому сожалению, мои опасения подтвердились».

Он заговорил о преимуществах жизни на острове. Волнения мира доносятся досюда, словно дальнее эхо. А какое благословение жить без телевизора, ведь это настоящий бич нашего времени. Но что значит — наше время?

Задав этот вопрос, он поглядел на больного, как будто ждал от него ответа или искал правильную формулировку; наше время, сказал он, это наше, а не чьё-то там — в Гонконге или в Токио. Слава Богу, мы живём вдали от волнений мира. По-настоящему надо было бы назвать Святую Иларию островом Блаженных. Курортник, усмехнувшись, заметил, что так называли — если он не ошибается — потусторонний мир. Нет, возразил хозяин отеля, вы не ошиблись. Только неизвестно, по какую сторону он находится: по ту или эту.

«Местный фольклор?» — улыбнулся курортник.

Администратор рассеянно кивнул, он думал о другом.

«Что я хотел сказать... — пробормотал он. — Разумеется: нам тут до всего этого нет никакого дела».

«До чего?» — спросил курортник.

«До того, что происходит в Токио. А теперь уже и в Сингапуре... и вообще на дальневосточных биржах. Тем не менее как предприниматель я обязан быть в курсе дела... Тем более что это уже третье падение за последний год. Но на этот раз...» — он покачал головой.

На этот раз курс акций в Сеуле упал чуть ли не на двадцать процентов. А в Токио? — спросил курортник. В Токио катастрофа, сказал администратор. Сегодня утром ему сообщили, что индекс «никкей» снова снизился почти на тысячу пунктов. На биржах паника. В ответ курортник заметил, что ему не нужно объяснять, чем вызвано беспокойство хозяина гостиницы: видимо, он боится, что крах на бирже

может привести к обесценению валюты. Уже привёл, вздохнул администратор. Южнокорейский вон не дотягивает и до половины прежней стоимости. А что касается иены...

«Да, но ведь иена... А доллар?»

«Ах, что вы в этом понимаете», — сказал в сердцах администратор.

«Допустим, — сказал курортник. — Но какое отношение...»

«Никакого! Никакого отношения к нам это не имеет. Кто вам сказал? Смеем вас заверить. Мы живём на краю света, более безопасного места придумать невозможно».

«Вот и прекрасно. Не вижу оснований для спора».

«Нет, меня интересует, кто это сказал! — кипятился администратор. — Кто посмел нарушить покой...»

Курортник успокоил хозяина.

«Ага, — сказал администратор, выглядывая на балкон, — небо очистилось. Будет ясная ночь».

Он склонился над больным. Курортник лежал, подложив руки под голову.

«Беда в том, что мы тоже относимся к иенной зоне. Ну и...»

«Договаривайте».

«Естественно, что это отражается на платежах».

«Я свои средства храню в Лионском Кредите», — заявил курортник.

«Совершенно верно. Но все счета заморожены».

«Как это, заморожены?»

«А вот так. Если там вообще что-то осталось. Увы! Дорогой мой... — Администратор прижал ладони к сердцу. — Вы доверили мне ведение переговоров. Я снёсся с Большим островом. Несмотря на то, что они не признают моих прав на Святую Иларию. Но мы и формально им не принадлежим. Формально мы относимся к Реюньону. Только, знаете ли, делать запрос через Реюньон, это такая волокита... Одним словом...»

«Pardon, — прервал его курортник, — вы хотите сказать, что...»

«Вот именно, — сказал король сокрушённо, — это я и хочу сказать. Если называть вещи своими именами, то в настоящий момент вы, дорогой мой, неплатёжеспособны. О, я приношу тысячу извинений...»

Курортник бормотал: «Ничего не понимаю. Как же так... Но причём тут...» Администратор участливо вздыхал, сидя возле больного. «Послушайте, — сказал курортник. — Означает ли это, что я теперь не смогу уехать?»

«Пока что, пока что... Сугубо предварительно!» Турист видел, как он плавно, словно паря над полом, удаляется из комнаты. И, как это бывает в низких широтах, почти мгновенно спустилась тьма, плеск океана слабо доносился снаружи и в то же время был рядом, как будто вода колыхалась вокруг ложа.

Больной поднял отяжелевшие веки и увидел тёмную фигуру в просвете балкона. Тонтон стоял спиной к лежащему, запрокинув голову, и смотрел на Южный Крест. Скрипнула дверь, и вошла, прикрывая свечу ладонью, Илария. Тонтон вступил в комнату. Это был тощий полуголый старик.

Больной попросил зажечь свет. Но оказалось, что электричество не работает, ток отключён на всём острове. Старик сидел на корточках, опираясь на приступку, и курил трубочку. Что будем делать, спросил курортник, но он плохо владел креольским языком, и тонтон вопросительно взглянул на племянницу; она перевела вопрос, старик вынул трубку изо рта и кивнул лысой головой. Под слабым дуновением бриза задрожал лепесток пламени. Мне холодно, сказал больной. В следующую минуту старик-тонтон исчез из комнаты. А кто же будет меня лечить, спросил курортник и не услышал ответа; мне холодно, сказал он, подойди ко мне. Она медлила, что-то прибирала на приступке. Иди сюда, выговорил курортник, стуча зубами от озноба. Илария плюнула пальцы и загасила мятущийся огонёк. Из мрака выступил балкон. Ярко-серебряные звёзды стояли над крепостью пиратов, над островом. И остров, которым они владели, был всё ещё не исследован.

Всё, о чём говорил администратор гостиницы, обманчивость расстояний, причуды рельефа, замысловатый рисунок береговой полосы, — всё это нужно было измерить и исходить своими ногами, постичь собственными усилиями, а времени оставалось мало. Главное — успеть, говорил администратор.

А-а, это ты хорошо придумала, умница, расстелить халат поверх одеяла, сказал курортник и подвинулся, чтобы дать ей место, какая-то на редкость холодная ночь, разве бывают в этом климате такие ночи? А звёзды? Заметь, продолжал он, здесь другой небосвод: разумеется, мы и так знали, что над Южным полушарием нет знакомых нам созвездий, но надо это увидеть, надо увидеть звёзды своими глазами. Подняться к потухшему вулкану и охватить одним взглядом огромное незнакомое небо, увидеть тебя всю разом, с подтянутыми к подбородку коленками, с ладонями, прижатыми к щекам. Увидеть глубокую впадину твоей талии, крутой подъём бедра и одиночество ягодиц. Повернись ко мне, как поворачивается земля под ногами идущего, вот твои возвышения, острые, как шипы.

Вот твои холмы и тёмнеющие овраги, подъёмы и спуски, тропа среди душевных зарослей, запах цветов, мерцающий свет в глубине.

Ночь Египта

*Ausa et jacentem visere regiam
Vultu sereno, fortis et asperas
Tractare serpentas, ut atrum
Corpore combiberet venenum...¹*

Hor. Carm. I, 37

*Покорно прошу особу, избрав-
шую эту тему, пояснить мне свою
мысль: о каких любовниках здесь
идёт речь, perchè la grande regina
n'aveva molto...*

Пушкин

Здесь приводятся новые сведения о Клеопатре VII или VIII (будем придерживаться второй, уточнённой нумерации). Вновь обнаруженные источники, прежде всего так называемый Эсуанский кодекс — демотический папирус, ныне хранящийся в Нью-Хейвене (США), поставив ряд новых вопросов, позволяют прояснить некоторые обстоятельства жизни и смерти последней египетской царицы. В частности, подлежит пересмотру полуапокрифическое известие о любовниках Клеопатры, согласившихся принять смерть в обмен на её благосклонность.

Рассказ, будивший воображение поэтов, сбрасывает, если можно так выразиться, литературную листву — остаётся облетевшее дерево: то, что некогда цвело и благоухало подлинной жизнью.

Встаёт вопрос, что же всё-таки ближе к утраченной действительности: имитации поэтов и беллетристов или реконструированные научкой элементы биографии? Вспомним, что греческое слово «биография» буквально означает жизнеописание. Нужно отдать себе отчёт в том, что теплота реальной жизни нам недоступна; приходится довольствоваться пересказом написанного, анализом переданного с чьих-то слов, разглядыванием запечатлённого в более или менее стилизованных изображениях.

¹ ...взглянув бестрепетно на опустевший дворец, решившись погибнуть смело прижав к себе змей, чтобы впитать телом чёрный яд. *Гораций*, Оды, кн. I, 37.

Рассказ о любовниках царицы, как известно, содержится в книге «О знаменитых мужах Города Рима», которую приписывают Сексту Аврелию Виктору, префекту Паннонии и второразрядному историографу эпохи императора Юлиана Отступника. Вот это место (*De vir. illustr. Urbis Romae*, LXXXVI, 1–3).

«Клеопатра, дочь фараона Птолемея, изгнанная своим братом и супругом, которого тоже звали Птолемей, за то, что она замыслила обманом отнять у него царскую власть, воспользовавшись гражданской войной, прибыла к Цезарю в Александрию; под покровительством Цезаря, благодаря привлекательной внешности и тому, что она была любовницей Цезаря, она полновластно правила птолемеевым царством. Она отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти. Впоследствии, потерпев поражение от Антония, вступила с ним в связь, притворилась, будто собирается устроив по нему поминальную тризну, и погибла в его Мавзолее от укусов ядовитых змей, прижав их к телу».

Мы не знаем, к каким источникам восходит это известие. Возможно, историк имел доступ к архивным материалам, компрометирующим царицу. Как бы то ни было, вновь полученные данные заставляют критически отнестись к версии Аврелия, который жил на четыре столетия позже Клеопатры. Отметим, что красавицей она не была. На монетах, которые чеканились в годы её совместного правления с младшим братом и формальным супругом Птолемеем XII, изображена мужеподобная особа с длинным крючковатым носом, — как бы в насмешку над фразой Паскаля о том, что история Рима сложилась бы иначе, будь нос Клеопатры на полдюйма длиннее. Зато она отличалась умом и образованностью, владела многими языками, между прочим, безукоризненно говорила по-египетски, чего нельзя сказать о других представителях македонской династии Лагидов, правившей Египтом.

Для начала подытожим известные факты. Василисса Клеопатра Теа Филопатор, что означает «Богиня, Любящая Отца», вступила на трон в 51 году до Р.Х., в это время ей было восемнадцать лет. Её брату и мужу Птолемею было десять. Её правление было омрачено недородами в годы 47, 41 и 40. Фараон Птолемей XI Новый Дионис, её отец, знаменитый своим распутством, оставил государству долги; феноменальное расточительство юной царицы, пиры и увеселения, щедрые субсидии жрецам и храмам, содержание бюрократии, армии и флота, двора и многоголовой челяди должны были окончательно разорить казну.

Этого, однако, не произошло. Богатство не убывало до самой смерти базилииссы и окончательного присоединения Верхнего и Нижнего царства к Риму. Государственные кассы пополнялись за счет налогов и податей. Двести восемнадцать различных налогов платили египтяне откупщикам, тут был налог за пользование землей и оросительными каналами, за семена, скот и инвентарь, на содержание флота и Фаросского маяка, полиции, врачей, бань, храмовые сборы и пожертвования, сбор на золотую корону при восшествии властителя на престол и многое другое. Всё вместе давало в среднем 15 тысяч талантов в год. Без зазрения совести, по указанию царицы, чиновники изымали состояния впадших в немилость магнатов. Наконец, немалый доход приносили земельные владения и торговые операции, в которых участвовало правительство. Несмотря на общий упадок хозяйства, держава Птолемеев всё ещё производила огромное количество зерна, излишки вывозились в другие страны. Из финикийских портов шли по караванным дорогам далеко в глубь Азии египетские ткани, женские украшения, ценные породы камня, стекло и папирус. По каналу из Нила в Красное море, обогнув Аравию, корабли плыли в Индию, а у входа в Александрийскую гавань, где теснились торговые суда со всего Средиземноморья, стоял негаснувший стовдцатиметровый маяк.

Ни одного бунта не известно за 20 лет правления Клеопатры, трёхмиллионный народ Египта терпел всё. В голодные годы происходила раздача хлеба и риса — недавно завезённого злака. Блеск и непостижимое очарование богини-базилииссы поддерживали внутреннее спокойствие. Пожалуй, и страх перед римским гарнизоном.

Вскоре после воцарения Клеопатры старший сын Помпея Великого высадился в Александрийском порту и объявил мальчика-фараона единственным повелителем Египта. Аврелий Виктор говорит, что Клеопатра была изгнана. Это верно: низложенная царица бежала на Ближний Восток, чтобы там набрать войско и вернуть себе трон. При Фарсале, 7 июня 48 года, Юлий Цезарь победил Помпея. Несколько времени спустя римская флотилия из тридцати пяти кораблей, с двумя легионами и конницей прибыла в Александрию. Клеопатра тайно вернулась в столицу, ночью, под покрывалом, пробралась во дворец. Когда Цезарь, призвав к себе Птолемея, предложил помириться с сестрой, юный фараон с криком «Измена!» выбежал на площадь, на глазах у сбежавшихся горожан сорвал с головы диадему и швырнул её оземь. Цезарь утихомирил толпу, солдаты увели Птолемея. С небольшими силами Цезарю пришлось начать военные действия против взбунтовавшихся александрийских жителей и частей еги-

петской армии. Мальчик в золотом панцире погиб в мутных водах Нила, исход краткосрочной войны эллинистической державы против римской сверхдержавы был решён. Клеопатра вновь объявила себя царицей. Её титул был изменён, она стала называться Младшей Богиней, Любящей Отца и Любящей Отечество. Новым супругом и соправителем стал второй, самый младший брат Птолемей XIII Отцелюбивый. Два года спустя он был убит.

Цезарь отбыл в Рим, Клеопатра родила сына, которого нашли похожим на римского властителя. Жрецы установили, что сам Ра, приняв облик Цезаря, зачал младенца. Народ дал ему прозвище *Καῖσάριον*, Цезарёнок; будущий фараон был наречён Кайсаром, Любящим Отца, Любящим Мать. Но сам предполагаемый отец не пожелал признать его своим сыном. В отношениях с египетской царицей сухой и властный Цезарь был политиком; экспансивный Марк Антоний, о котором речь ниже, — восторженным любовником.

В 44 году царица вместе с братом и трехлетним мальчиком пожаловала в Рим, официально — с целью заключить военный союз с Римской республикой. Гостей препроводили на виллу Цезаря в садах за Тибром. Цицерон явился на поклон к ненавистной египтянке, прославленный тенор Гермоген пел для высоких гостей.

Цезарь воевал в Африке и в Испании. Вскоре после возвращения, утром 15 марта, перед заседанием в сенате некто Артемидор преградил дорогу правителю, вручив ему донесение о заговоре. Цезарю некогда было читать, со свитком в руке он вошел в сенат и не успел сесть в кресло, как был окружен республиканцами. Каска первым нанес удар, но неудачно, Цезарь схватил его за руку. Сенаторы, оцепенев от страха, не поднялись со своих мест. Заговорщики с мечами набросились на Цезаря, Брут ударил его в пах. Тело диктатора лежало у подножья статуи Помпея, убийцы добивали полумертвого, и многие в суматохе ранили друг друга.

Египтянке пришлось срочно отбыть восвояси. Цицерон, которому тоже оставалось жить меньше года, злорадно писал другу: «Бегство царицы меня не слишком огорчает» (*reginae fuga mihi non molesta est*). Все же было бы преувеличением сказать, что Клеопатра вернулась, выражаясь современным языком, не солоно хлебавши.

По прибытии был отдан приказ тайно умертвить брата-супруга; новым соправителем объявлен мальчик Птолемей XIV Кайсар, Бог, Любящий Отца, Любящий Мать, — живая память о Цезаре. В Филиппах Марк Антоний разбил республиканскую армию Брута. Без колебаний было решено поставить карту на победителя; испросив

совета у богов, Клеопатра во главе своего флота поплыла навстречу Антонию. Встреча не состоялась; буря у берегов Ливии едва не погубила всю армаду. Потеряв большую часть кораблей, базилисса повернула обратно, шли наугад, пока не мигнул в тумане кроваво-красный глаз маяка на Фаросе. Клеопатра недолго оставалась в Египте. Деллий, доверенное лицо триумвира, склонил царицу отправиться на свидание с Антонием в Киликию. Затем ещё одна встреча в Антиохии, и, наконец, Антоний, невзирая на то, что жена ждёт его в Риме, сочетается браком с базилиссой.

В Городе скрипят зубами. Марк Антоний — самый могущественный человек на римском Востоке. Летом или осенью 36 г. у великой царицы родился ребёнок (из всех детей Клеопатры царицу пережила лишь дочь, Клеопатра IX Луна, которую выдали замуж за мауретанского царька). Кое-как закончив затяжную войну с Парфянским царством, Антоний празднует сомнительную победу, но не в Риме, где его не любят, а в гимнасиуме Александрии. Грандиозное шоу, смесь Запада с Востоком. Перед зрителями, на серебряном помосте — фараон Клеопатра в образе богини Исиды и римлянин в одеянии Осириса, на тронах пониже — их дети. Речь Антония, не слишком искусного оратора, представляла собой род официального заявления: Клеопатра, в качестве «царицы царей», владеет обоими царствами Египта и коронными провинциями Птолемеев Кипром и Кириной; сын базилиссы Птолемей Кайсар, «царь царей», — её соправитель, муж и наследник; младенец Птолемей Филадельф, сын Клеопатры и Антония, — повелитель Финикии, Сирии и Киликии; сам Антоний — патрон Египта и тоже в некотором роде супруг.

Медовый месяц в Александрии. В стране голод, во дворце пиры и празднества. К этому времени можно приурочить основанные на дворцовых слухах, глухие упоминания современников об экспериментах с ядами. Напомним, что эпоха последних Птолемеев — время расцвета медицины. Правило, установленное шестнадцать веков спустя Парацельсом, о том, что всякий яд есть лекарство и всякое лекарство — яд, было хорошо известно древним.

Клеопатре за тридцать; халдеи предсказывают ей трижды продолжительное правление против времени, которое она уже провела на троне. Клеопатра все еще неотразима. Описание её туалета заняло бы несколько страниц. Омовения, притирания, ароматные ванны, омолаживающие снадобья. Массаж груди, массаж ягодиц, живота и паха, нередко завершаемый тем, что царица призывала к себе красивого отрока-раба из мужского гарема.

Μεγάλη τύχη της ανίκητου νεωτέρας! Велик удел Непобедимой Младшей!

Второй триумвират оказался ещё недолговечней, чем первый. «Сенат и римский народ поручают Октавиану, ради блага республики, освободить мир от присутствия Марка Антония». Такова была сенатская формула, развязавшая руки приемному сыну покойного Цезаря и будущему принцепсу. Сражение при Актионе у берегов Эпира решило судьбу Антония, да, пожалуй, и судьбу царицы.

По-видимому, Клеопатре принадлежал план разбить Октавиана на море, а не на суше. Антоний стянул значительные силы — около пятисот военных кораблей. У входа в пролив стоял наготове египетский флот. Кроме того, под началом Антония находились стотысячная сухопутная армия, кавалерия — 12 тысяч всадников — и отряды союзных царьков. У Октавиана было всего 200 кораблей, 80 тысяч пехоты и 12 тысяч конницы.

Несколько суток подряд штормовой ветер с Адриатического моря не давал приступить к делу. Перед рассветом 2 сентября 31 г. буря утихла, началась посадка легионов Октавиана на галеры. Обитые бронзой тяжелые греческие корабли Антония представляли серьезную угрозу для легких римских судов, у которых было преимущество маневренности. С башни флагманского корабля Марк Антоний выкрикивал приказы гребцам и солдатам у катапульта, рассчитывая вытеснить римлян из пролива, приказы передавались дальше; после чего предполагалось перенести военные действия на сушу. Но искусный флотоводец Агриппа сумел отрезать эскадру Антония от наземных войск. Клеопатра скомандовала распустить паруса; корабль фараона повернул в открытое море. Видя, что египетский флот уходит, Антоний на пятивёсельном судне догнал египтянку, предоставив богам заботу о своей армии.

Потрясение от разгрома было так велико, что супруги три дня не выходили друг к другу. Союзники и сателлиты оставили Клеопатру, фактически она владеет теперь лишь Египтом, куда не сегодня — завтра высадится рать Октавиана. Флотилия базилиссы приблизилась к берегам Африки. При подходе к Паратениону Антоний и Клеопатра расстались.

Царица продолжала путь к Нильской дельте. Антоний повернул на Запад. Его гонцы — в пути, он ждёт вестей с театра военных действий, а там давно уже нет никаких действий: командиры рассудили, что война потеряла смысл после бегства главнокомандующего. Армия капитулировала в итоге переговоров с офицерами Октавиана, который обещал солдатам Антония простить их и взять к себе на службу.

*И пышный пир как будто дремлет.
Безмолвны гости. Хор молчит.*

План дворца фараонов на мысе у входа в Большой порт реконструирован довольно подробно. (От самого дворца ничего не осталось.) Правда, не вполне ясно, где находился тайный коридор, по которому, в разгар ночного праздника по случаю возвращения в столицу ускользнула богиня базилисса, покинув чертог, душный от смрада масляных светильников, от человеческих испарений и аромата цветов.

Несколько времени спустя Клеопатра вышла на галерею. Над Александрийской косой сверкали, как ртуть, созвездия; точно так же сверкают они и сегодня. Царица спешит по галерее, мелко постукивают в полутьме её сандалии, её фигура, закутанная в белое, мелькает между порфирными колоннами, Впереди вышагивает вожатый с факелом, две рабыни встречаются перед входом в уединённый покой. Мы находимся (как можно понять из одного места в Эсуанском кодексе) в западном крыле огромного дворца.

Короткий отдых, мелкие поправки туалета — царицу оглядел, причмокивая и кивая, коротконогий толстяк, придворный модельер и законодатель вкуса. Служанки помогли расположиться на ложе, придали складкам полупрозрачного одеяния живописный и в меру соблазнительный вид. Теперь она словно позирует какому-нибудь мастеру итальянского Кватроченто. Некто с поклонами, опустив глаза, внёс плоды и напитки. Царица хлопнула в ладоши. Друзья, Критон и Шимон, входят.

О, эта ошеломлённость мужчин, восторг ценителей красоты, — подлинный или притворный? Где кончается ритуальное поклонение и вступает в права неподдельное чувство? Фараон Клеопатра слегка запрокинула птичьую голову в парике, опустив наклеенные ресницы, рассмеялась клопочущим горловым смехом. Но на шее видны тонкие морщинки. Подогретое вино разлито по кубкам. Хозяйка и гости полужележат с трёх сторон низкого стола.

Здесь следует оговориться. Источники упоминают о регулярных встречах, не сообщая о том, что обсуждалось в философском кружке царицы. Недостаток сведений вынуждает прибегнуть к не вполне легитимному с научной точки зрения методу экстраполяции. Можно говорить о большей или меньшей степени соответствия.

Об участниках диатрибы, которая, как и всё в эту эпоху, представляла собой подражание, в данном случае — беседам в садах Академа, известно следующее. Еврей Шимон бен Йохан, магнат, контролирующей торговлю рабами на рынках Кипра и Малой Азии, владелец верфей в Финикии, ювелирных мастерских на Босфоре, фешенебельных лупанаров в городах Италии, не однажды выручал

басилиссу в трудных обстоятельствах, финансировал строительные проекты, выполнял некоторые деликатные поручения правительства, о которых глухо упоминают хронисты. Не кто иной, как реб Шимон, предложил диойкету, то есть верховному казначею, изменить порядок коммерческих сделок: отныне заморским купцам вменялось в обязанность, прежде чем закупать товары в Египте, обменивать в банках свои деньги на птолемеевские серебряные тетрадрахмы, золотые октодрахмы и трихрисоны. Приумноженная валюта потекла в царскую казну; обогатился и Шимон.

Хотя будущее, по уверению астрологов, у каждого человека может быть только одно, предсказания бывают различны от года к году; в 30-м году до нашей эры Шимону бен Йохан предстояло дожить если не до возраста своих пращуров, то по крайней мере до первых лет правления императора Тиберия. (Как мы знаем, прогноз не оправдался.) Реб Шимон вошёл, постукивая посохом из палисандра. Это был грузный благообразный старик пятидесяти лет, смуглый, как все уроженцы Верхнего Египта, всегда в белом, в высокой шапке, прикрывавшей лысую голову, в длинной седеющей бороде, чрезвычайно учёный, многоопытный, никому не доверявший, коварный, великодушный, до смешного скупой и фантастически щедрый. Словом, личность почти легендарная.

Грек Критон, сын Аполлония Мегарского, второй собеседник царицы, был родственником знаменитого гистриона и комедиографа Артемисия (и его любовником) и представлял из себя 26-летнего напыщенного красавчика в обрамлении тёмных кудрей и подстриженной, торчащей вперёд бороды, которую он завивал и красил хной. Такая борода должна была производить неотразимое впечатление. Критон мог влюбить в себя любую светскую львицу, не зирая на сухую с детства ногу. Сегодня нашли бы в нем сходство с Тулуз-Лотреком, однако он не обладал его гением. Критон никогда ничего не делал и был вечно занят, ничего не дочитывал до конца и обо всём имел представление, усердно проедал отцовское состояние, был завсегдатаем александрийского *Σύννοσ ἀμψιπόσιον*, клуба «неподражаемо живущих», где происходили оргии, но состоял и членом секты Целомудренных, где практиковались обряды, символизирующие оскотление. Многие сожалели о том, что он был лишён возможности появляться обнажённым в гимнасии, предложив всеобщему обозрению плечи, грудь и живот Антиноя (который, впрочем, жил много позже), прекрасно вылепленный член и полновесную мошонку. Зато он играл вместе с Артемисием на сцене. Кроме того, он был поэтом, автором эпиграмм, и, по мнению знатоков, не уступал знаменитому Адрианту (произведения обоих стихотворцев не сохранились). Что ещё можно сказать о Критоне? Половина известий о нём неотличима от сплетен.

Клеопатра подносит к губам вино, начинает беседу глубоким переливчатым голосом, тщательно соблюдая эллинистические музыкальные ударения, которые уже в эту эпоху стали забываться. Ей хотелось бы, говорит она, обсудить вопрос: доказуемо ли бессмертие?

«Странно слышать это из уст великой базилиды. Для неё, по крайней мере, такого вопроса не существует». И тёмнокаштановые кудри Критона повернулись к еврею, тот поглаживает длинную бороду, пошаривает волосатыми ноздрями.

«Думаю, будет лучше, — заметила борода, — если мы рассмотрим вопрос в общей форме, не касаясь присутствующих», .

«Что касается меня, то я не посягаю на нашу религию. Убеждён, что бессмертия существуют», — сказал Критон.

«Твоё мнение, реб Шимон?» — спросила царица по-еврейски.

Иудей ответил по-гречески:

«Если о нас будут помнить через две тысячи лет, разве это не бессмертия?»

«Через две тысячи лет! Откуда тебе это известно?»

«Мне ничего не известно. Но я полагаю это весьма возможным».

«Мы говорим о реальном бессмертии!» — возразил Критон.

«Существуют разные воззрения на этот счёт. Те, кто высказывался на эту тему, в равной степени правы и неправы».

«Значит, истина остаётся недоказуемой?»

«Если исходить из того, что бессмертия существуют, задача сводится к поиску доказательств. Но доказательства, в сущности, не нужны, так как решение предопределено посылкой».

«Ты не ответил», — сказала Клеопатра.

«Мне не хочется ссылаться на наши книги, где, впрочем, о личном бессмертии ничего не сказано, — я нахожу это благоразумным, — но позволю себе заметить, что новая секта, о которой мы слышим в последнее время, вновь возвестила устами своих учителей о телесной, а не символической реальности потустороннего мира. Не имела ли в виду великая царица это лжеучение?»

«Отнюдь нет. Впрочем, для нас в Египте это не новость...»

«Конечно. Но учителя этой секты толкуют не о переселении в иной мир. Они не отрицают смерти, но говорят о воскресении, которое якобы ждёт всех. Каждого человека, говорят они, будь он царь или смерд, ожидает воскресение из мёртвых и Страшный суд».

«Суд, за что?» — спросил Критон, подняв брови.

«За содеянное. Всех людей они делят на два разряда. Тот, кто причинял другим зло, будет наказан, и наоборот, для тех, кто творил добро, приготовлено блаженство. Они считают, что, хотя высшие силы всё знают заранее, человек свободен в своем нравственном выборе, поступает как ему заблагорассудится и, значит, должен ответить за всё».

«Довольно парадоксальная идея, — заметила царица. — Но это любопытно. Расскажи о них подробнее, Шимон».

«К сожалению, я не слишком об этом осведомлён и к тому же нечасто бываю в Палестине. Знаю только, что они скрываются, живут в пещерах. Они презирают земные блага, наслаждаться едой, питьём, соитием с женщиной, по их мнению, грех...»

«Что такое грех?» — спросил Критон, подняв брови.

Шимон бен Йохаи величественно втянул воздух в широкие ноздри. Взглянул на грека, не удостоил ответом.

«Благосостояние, по их мнению, — продолжал он, — зло, поэтому сильные мира сего поплатятся за своё богатство, а нищие восторжествуют. Кто был ничем, тот станет всем. Так они представляют себе бессмертие».

«Другими словами, хотят навязать богам свои представления о том, что хорошо, что плохо? — сказала Клеопатра. — Но я не понимаю, что тут нового. О том, что сердце умершего будет взвешено на весах истины, нам было известно с незапамятных времён»

«Какая тоска! — воскликнул Критон и отхлебнул из бокала. — Я лично представляю себе вечную жизнь иначе».

«Как?»

«Я считаю, что смерти не существует, но даже если бы смерть существовала, она не имела бы к нам никакого отношения».

«В твоём рассуждении есть логическая ошибка: смерть не может существовать, так как она представляет собой несуществование».

«Но в таком случае она не может и что-либо собой представлять!»

Еврей сказал:

«Не надо спорить о словах. Ты хочешь сказать, что отрицать бессмертие значило бы признать реальность смерти, хотя на самом деле смерть есть мнимость. Пока мы здесь, её нет, а когда она наступила, нас больше нет. Мы это уже слышали. Фраза Эпикура — ты ведь о нём думаешь — опять-таки не больше чем остроумная игра слов».

«Ответь мне, мудрый Шимон, — промолвила Клеопатра. — Ответь мне... — Она задумалась. — Если человека в самом деле ожидает бессмертие, если оно, так сказать, навязано нам, значит, напрасны попытки распорядиться собственной жизнью по своему усмотрению? Но не является ли единственным преимуществом человека перед богами то, что он может выбрать добровольную смерть, боги же совершить это не в состоянии?»

«Наш закон рассматривает самоубийство как тяжкое преступление».

«Вот как», — сказала она рассеянно, легко вздохнула, мельком оглядела себя. Следом за ней и мужчины скользнули глазами по её телу. Клеопатра негромко ударила в ладоши. Молча дала знак вошедшему.

Все трое наблюдали, как слуга, возвратившись с сосудами, разливал по кубкам новое вино, прибывшее из-за трёх морей.

Египтянка первая подняла свою чашу.

Грек Критон поднёс напиток к ноздрям, пригубил, чмокнул губами, возвел глаза к потолку.

Еврей, для которого ничего нового на свете не существовало, отдал вино, одобрительно наклонил голову.

Клеопатра сказала:

«Не странно ли, что, говоря о бессмертии, мы размышляем о смерти. И не потому ли, что одно отрицает другое, а вместе с тем немислимо без другого. Только покончив с жизнью, можно познать бессмертие. Так день нуждается в ночи, чтобы наутро начаться сызнова. Отсюда следует, что получить доказательство бессмертия можно только если умрёшь!»

Шимон бен Йохаи поднял густые брови, промолчал.

«Увы, — промолвила царица, — мы, кажется, снова оказались в ловушке слов».

«Есть вещи, которые стоят по ту сторону слов, — заметил Шимон. — Постигнуть их можно только внутренним созерцанием».

«Воля ваша, — смеясь, сказал Критон, — но поверить в смерть я никак не могу. Разве только признав, что смерть и бессмертие — это одно и то же. Но ведь есть способ прикоснуться к вечности при жизни».

«Какой же?»

«О, это... Это все знают».

«Но всё-таки?»

«Любовь. Соединение двух тел».

«Не будет ли правильной сказать, что сперва соединяются души, а затем тела?»

«Допускаю. А может, наоборот. Однако, — сказал Критон, — мы, кажется, отклонились от темы...»

«Напротив. Ведь сказал же Платон, что Эрос по природе своей философ и, как все философы, блуждает между мудростью и незнанием».

«Я думаю, он противоречит себе. Если не ошибаюсь, он говорит, что боги не занимаются поиском мудрости, ибо сами достаточно умудрены», — сказал Шимон.

«Но Эрос — не бог, а полубог, и я думаю, что в этом всё дело, — возразила царица. — Продолжай, Критон, мне интересны твои аргументы».

Красавец грек потупился.

«Аргументы? К чему они... К чему вообще все эти слова? — Он устремил влажный взгляд на египтянку. — Клянусь, — проговорил он, — я никогда ещё не испытывал действие вина, подобное тому, какое чувствую сейчас».

Царица отослала раба-нубийца. Сама подлила мужчинам.

Критон пробормотал:

«Мне кажется, я грежу... Я не в силах рассуждать».

«Пожалуй, ты прав, — заметил Шимон бен Йохан, сурово взглянув на грека, — я эти вина знаю. Они усыпляют ум и возбуждают похоть. Ты грезишь о ней, вечно недоступной...»

«Разве это запрещено?» — спросил Критон и отхлебнул из стакана.

«Отнюдь. Но, кажется, был уговор не касаться присутствующих, — проговорила Клеопатра. — Или я неверно истолковала твой намёк, Критон? Отчего ты умолк?»

«Мне надо собраться с мыслями. Что такое вечность... Мне кажется, я приблизился к ней... и вот-вот переступлю порог».

«Приблизился? К чему ты приблизился, Критон?»

«Позволь, царица, — промолвил грек, — поднять этот кубок за то, чтобы мы и впредь наслаждались твоей беседой, и... и за то, чтобы вечно, вечно, вечно мы могли созерцать твою дивную красоту!»

Она ждала продолжения. Оратор смутился.

«Вино разожгло твою кровь. Лучше бы ты помолчал», — сказал иудей.

«Я понимаю, — пробормотал Критон, — этот пафос может показаться смешным...»

«Нет, отчего же», — возразила хозяйка. Она подняла насурмлённые брови, медленно обратила к нему глаза, искусственно удлинённые до висков. Ощущала ли она сама действие снадобья?

«Да, я утверждаю, — продолжал Критон, потирая лоб, — что человеку дано приблизиться к бессмертию в момент, когда он как бы восходит по лестнице, которая ведёт вниз. Когда, почти умирая, он скользит, и отступает, и снова скользит, и спускается по ступеням, и, содрогаясь, достигает последних глубин наслаждения, и... взлетает до самой высокой вершины экстаза...»

«Ты красноречив... Итак, ты считаешь, что тело женщины — это ворота смерти?»

«Это врата бессмертия», — прошептал Критон.

Царица усмехнулась

«Твои доводы нужно признать убедительными. Я нахожу, что таким образом нам удалось внести в предмет некоторую ясность... Но я должна прервать нашу беседу. Время на исходе».

В подтверждение этих слов издалека донёсся удар молотом о медную доску. Стража меняла посты.

«Я хочу сообщить вам кое-что. Но прежде допейте...»

Собеседники молча смотрели на базилису. Она сказала:

«Море спокойно. К полудню Римлянин будет здесь».

Реконструкция эпилога этой последней встречи представляет значительные трудности. Откапывание фактов из-под толщи всего, что насыпали и нагромодили века, напоминает поиски уцелевших в развалинах после землетрясения. Стихи Горация слишком благозвучны, чтобы можно было считать их историческим документом. Однако поэт был современником Клеопатры. Что касается автора хроники «О знаменитых мужах...», то, как уже сказано, он писал её спустя четырёхста лет. *Naec tantae libidinis fuit* (приведём ещё раз его слова), *ut saepe prostiterit, tantae pulchritudinis, ut multi noctem illius morte emerint*. «(Эта дама) отличалась такой похотливостью, что нередко продавала себя, такой красотой, что многие покупали её ночь ценой смерти». Была ли у египетской царицы в самом деле необходимость продаваться? Разве только предлагать себя любовникам в обмен на их жизнь... По разным причинам рассказ Аврелия Виктора не заслуживает безусловного доверия. И всё же не стоит пренебрегать этим замечанием. Среди любовников царицы были властители тогдашнего мира; она в известной мере их погубила; в облике Клеопатры сквозят черты вампира.

Что нам известно об Аврелии? Он родился в римской провинции Африка около 320 г. нашей эры. Вопреки незнатному происхождению, сумел выдвинуться. Трактат *De Caesaribus*, единственный из помеченных его именем четырёх исторических трудов, о котором наверняка можно сказать, что он принадлежит Аврелию Виктору, обратил на себя внимание Юлиана, автор был представлен кесарю и получил должность префекта провинции Паннония с консульскими полномочиями. Ему было тогда примерно 40 лет — по римским понятиям, предел юности. До 388 года об Аврелии Викторе нет никаких известий; в этом году он стал очень важной персоной — префектом Вечного города Рима. Мы не знаем, когда он умер.

Имел ли в виду историк главную и, может быть, уникальную черту последней египетской богини-басилиссы, поставившей политику на службу своей необузданной чувственности, а чувственность — на службу политике? Волею обстоятельств, благодаря обширным владениям, морскому владычеству, древнему непоколебимому престижу, наконец, самодержавной воле Клеопатры VIII, Египет, рядом с которым Греция была подростком, Рим — младенцем, на закате своей трёхтысячелетней истории всё ещё оставался мировой державой. Но теперь Древний Восток должен был склониться перед античным Западом. Оружием царицы была её чувственность. Мы можем сказать (не боясь вызвать улыбку), что легендарное сластолюбие, широко раскинутые женские ноги — сделали эмблемой правления Клеопатры. Это было величественное, но и не лишённое комизма самодержавие пола. Словно фантастический моллюск, ца-

рица обхватила щупальцами Цезаря, а следом за ним Марка Антония, стремясь всосать в себя властителя и его государство. Исход этих объятий известен.

Но уже началось увядание. Чувственность не угасла, о нет. Стало меркнуть телесное обаяние.

Когда базилисса известила друзей, что она покидает столицу в скором времени, точнее, в ближайшие часы, ещё точнее — до рассвета, эта новость была, по крайней мере для Шимона бен Йохаи, не совсем неожиданной: экспедиционный корпус Октавиана должен был вот-вот высадиться в Александрии. О чём друзья и собеседники царицы, по-видимому, ещё не успели услышать, так это о синоде «умирающих вместе», который основали Антоний и Клеопатра, и самобытие Марка Антония.

«У меня нет ни малейшего желания, — сказала она, — трястись в тележке по грязным улицам Рима, под улюлюканье солдатни, когда Октавиан будет справлять триумф. Я уйду в изгнание. Думаю, что мы не увидимся в ближайшее время. Быть может, мы не увидимся никогда. Нет, нет, — поспешила она добавить, — не возражайте. Я уезжаю... Не спрашивайте, куда. Может быть, в Индию, по пути, который проложил мой великий предок. В сказочную Индию...»

И умолкла, глядя в пустоту. Встрепенулась.

«Однако я не могу с вами проститься, не одарив вас напоследок. Итак, какой же подарок вы хотели бы получить от меня?»

Гости молчали, ошеломлённые внезапным поворотом беседы, и она продолжала:

«Наш друг Критон, надо признать, прекрасный собою, только что недвусмысленно выразил чувства, которые он питает к своей повелительнице... Меня лишь удивляет, как это до сих пор я не нашла случая ответить его желаниям. Что ж! Я готова возместить упущенное. Я согласна — разумеется, лишь на краткое время любви — стать его рабыней. Но ещё меньше мне хотелось бы обделить тебя, Шимон бен Йохаи. Я обязана тебе многим и хочу воздать тебе должное не как монархиня, но как женщина. Бросьте жребий — кто будет первым, кто будет вторым».

«Я жду», — повторила она, протянула руку, — кто-то из двух предложил ей помощь, — медленно поднялась и удалилась в соседний покой, о котором достаточно будет сказать, что потолком для него служило большое серебряное зеркало, которое удваивало огни светильников, широкое ложе и тех, кто лежал на нем.

Грек подбросил сверху кубики из слоновой кости. Оба выпали одной и той же стороной. Он подбросил еще раз. Иудей склонил голову, выражая покорность богу, который правит богами, — Случаю. Тотчас до них донёсся слабый перебор египетской арфы. Критон за-

смеялся, прихрамывая, вышел. Он не возвращался. Снова послышалась арфа. Не спеша, постукивая посохом, Шимон прошествовал вслед за Критгоном.

Немного погодя она показалась снова, неся в своём лоне семя любовников, — вернулась с намерением допить вино и сойти, наконец, к подземному Нилу, поплыть в ладье усопших по чёрным водам, навстречу ночному солнцу. Но отставила питьё.

«Они уснули?» — спросила Клеопатра.

Раб, вошедший следом, ответил:

«Навсегда».

Он поставил у её ног плетёнку с травой, поднёс к губам флейту.

У египетской кобры Араз, чьё изображение и сегодня можно видеть на стенах храмов, короткие зубы, нанести колющий молниеносный удар она не может; Клеопатра, держа в ладонях, как плоды, свои тяжёлые груди, слегка раздвинула их, чтобы освободить место для укуса, и почувствовала, как челюсти змеи несколько раз сжались, силась как можно глубже вонзить зубы; смеясь, царица упала на ложе, и несколько мгновений ожидания, когда подействует яд, показались ей вечностью.

Пока с безмолвной девой

*Non omnis moriar*¹.

Дни мои сочтены, врачи перестали меня обманывать, я стараюсь не видеть себя, не замечать своё иссохшее тело. Я тот, о котором говорят вполголоса. Лишь дух остаётся бодр; похоже, что он и умрёт последним.

А мне бы хотелось уйти во сне. Я понимаю, что такое желание недостойно философа, которому подобает встретить смерть с открытыми глазами. И всё же я предпочёл бы расстаться с жизнью заочно, как расстанутся с бывшей возлюбленной, послав ей письмо. Человек, умерший во сне, не знает о том, что он умер. Спящий не знает, что он спит. Оттого он как бы и не умер: ведь смерть для него — в худшем случае сновидение. Проснувшись, он узнал бы, что умер на самом деле, но он не проснётся; узнал бы, что его уже нет, но никогда этого не узнает; если же наша жизнь есть сон, а смерть — пробуждение от великого сна жизни, то нужно приветствовать смерть.

Секретарь всё утро просидел возле моей постели, дожидаясь, когда я начну диктовать, но, хотя сегодня я чувствую себя чуточку лучше, мне удалось выдать из себя лишь несколько фраз. Сомневаюсь, удастся ли завершить мои записки. У меня не остаётся времени привести в порядок написанное, — о том, чтобы отшлифовать мои периоды, не может быть и речи.

А главное, я не в силах извлечь из моей жизни столь необходимую для потомков мораль. Без поучения мои заметки будут то же, что незакрытые счета. Я стараюсь понять, в чём состояло моё предназначение. Не то чтобы я упустил удачу, гонялся за призраками, нельзя сказать, что я без смысла и цели израсходовал отведённые мне годы, напротив: я удостоился почестей и приумножил своё богатство. Потратив жизнь на то, чтобы жить, — каждому ясно, что я имею в виду, — я ни о чём не жалел; не жалею и теперь. Долгое время я помогал и покровительствовал другим (многие ли отблагодарили меня?) и находил в этом если не высший смысл, то хотя бы оправдание сво-

¹ Я умру, но не весь (*Гораций*, ода III, 30).

ей жизни. И всё же мало помалу для меня становится очевидным то, в чём я не смел себе признаться. Необъяснимая робость — не перед другими, перед собой — мешала мне отдаться своему истинному призванию. Да, я сам был создан для творчества.

Я стыдился вступить в соревнование с талантами, для которых служил лишь опорой. Поэты эгоистичны и заносчивы, чужая щедрость для них нечто само собой разумеющееся; они принимают подарки с таким видом, точно оказывают вам честь, и выслушивают похвалы, как бы снисходя к тому, кто их расточает. Тем паче никому из них не приходило в голову спросить, не хотел бы и я попытать свои силы в искусстве. Да что я говорю — таланты. Сколько виршешлётов пользовалось моим гостеприимством, моим влиянием, моей близостью к принцепсу, скольких недостойных я вывел в люди! Но не хочу преуменьшать моих заслуг. Угадать в этой жадной толпе немногих избранных, протянуть им вовремя руку — для этого тоже требуется особый дар.

Я прекрасно понимаю, что и медная статуя в атриуме не залог бессмертия. Скорее наоборот: ведь никто, ни учёные знатоки, ни простодушные почитатели не в состоянии предугадать, какое место на Олимпе будет отведено поэту, живущему здесь и сейчас. Найдётся ли там вообще уголок для него? При жизни превознесённый до небес, он будет забыт на другой день после смерти. А истинный избраннык, никем не замеченный, займёт место рядом с небожителями.

Потомки спросят с недоумением о тех, чьи имена сегодня у всех на устах: а кто это такие? И будут благоговейно повторять и передадут следующим поколениям имя того, кто сегодня никому не известен.

Не то чтобы люди были слепы, и не в том дело, что меняются вкусы... Не слепота, но обыкновенный обман зрения виной тому, что современники венчают славою посредственность. Вблизи маленькое кажется большим, а большое просто не умещается в поле зрения. И, однако, я вынужден возразить самому себе. Тот, чей дар был мною угадан прежде, чем услышали о нём, не обманул моих ожиданий.

Может быть, это и было моим предназначением?

Надеюсь, мой знаменитый друг не обидится, если я скажу, что без меня он не стал бы тем, чем он стал, — без моих наставлений, без моей критики, подчас безжалостной, всегда доброжелательной. И, разумеется, без моей поддержки. Если не ошибаюсь, он был маленьким чиновником казначейства, когда был мне представлен. Сколько лет прошло с тех пор? От робости чуть было не утратив дар речи, он показал мне свои подражания Луцилию.

Так вот, к вопросу о бессмертии... Пожалуй, можно избежать забвения, прислонившись к чьему-нибудь памятнику, одолжив у него, так сказать, малую толику его славы, вроде того как иные светила, по мне-

нию одного учёного грека, испускают не собственный, а отражённый свет. В прелестной оде, одной из нескольких, которыми он почтил меня (мог бы написать и побольше!), мой друг утверждает, что не переживёт меня. Больше того, он уверен, что мы оба умрём в один день. Это была, я думаю, шутка. О, я хочу надеяться, что это была шутка; но, с другой стороны, кто знает? Поэты наделены жутким даром предвидения. Как бы то ни было, в тот день он ни о чём не подозревал. Он был явно озабочен чем-то, был самокритичен сверх всякой меры, но *об этом*, во всяком случае, не думал: о том, что наше свидание будет последним. Так мне кажется. Конечно, он знает, что я нездоров, и присылал справиться о моём самочувствии. Но встречаться нам больше не приходилось. Я не хочу его видеть, вернее, не хочу, чтобы он меня увидел. (Может быть, и он не хочет.) Мы простимся, когда я буду лежать на погребальном костре.

Секретарь приготовился к диктовке, — на чём мы, стало быть, остановились? На злополучном правлении Трёх. На страшном времени смут, когда люди Антония, отвратительный сброд, привезли в Город отрубленную голову Туллия Цицерона. Итак, мы всё ещё топчемся в далёком прошлом.

Стоило ли вообще его ворошить? Можно ли его позабыть? Говорят, что старость живёт прошлым, но на самом деле, старея, научаешься жить сразу во всех временах; прошлое становится настоящим, настоящее не имеет никаких преимуществ перед минувшим. Быть может, последовательность времён существует только в грамматике. Нечто более основательное, чем хронология, управляет памятью, служит для неё упорядочивающим началом; нечто не подвластное бегу времени. Отложи свои таблички, приятель. Я хочу говорить только с самим собой.

Итак, этот день... он вышел навстречу... Слуги внесли меня в атриум, где я полюбовался статуей. Оттуда мы прошли прямо в сад. Отлично помню душный, бессолнечный день, с террасы мы любовались торжественным зрелищем гор, ближе к нам на обширном склоне паслись овцы. Нужно сказать, что он сделал весьма разумное употребление из поместья, которое я когда-то ему подарил: сдал землю в аренду, оставив себе клочок для пропитания, как он выразился; восемь рабов вполне справляются с обработкой.

Опишу заодно его внешность: Квинт невысок, а вернее сказать, малого роста, чуть ли не на голову ниже меня; а ведь и я не великан. Хотя ему близко к шестидесяти, у него как у истинного калабрийца нет ни одного седого волоса. Он прикрывает плешь, зачёсывая волосы по моде республиканских времён, с затылка на лоб. У него маленькие чёрные глазки, двойной подбородок, брюшко. Словом, он мало похож на слугителя Муз.

Мы поговорили о том, о сём, я рассказал последние сплетни, он не проявил к ним интереса. Он был явно не в духе. Я упросил его пропеть мне оду, о которой пока не знают: воззвание к Мельпомене, опять-таки по примеру старика Луцилия, — но какая огромная разница!

Голос у Квинта не слишком приятный, да и манера декламировать собственные творения оставляет желать лучшего, как почти у всех поэтов. Стихи меня восхитили и вместе с тем удивили. За что он просит Музу увенчать его лавром? Разумеется, он был прав, утверждая, что первым пересадил на нашу скудную почву греческие метры, но только ли в этом его заслуга?

Разве это так мало, возразил он.

Я ответил, может быть, с излишним пылом, что стихотворение представляется мне абсолютным и что он преуменьшил свои достижения. Совершенство, до которого он возвысил язык, вот залог бессмертия. Вот чем он вправе гордиться. Не арки и памятники — поэзия не даст исчезнуть нашему языку. Он выслушал мою тираду, закрыв глаза.

«Нечего беспокоиться, — промолвил он, усмехнувшись, — наш язык не умрёт хотя бы потому, что не умрёт Рим».

«По-твоему, Рим вечен?»

«А ты... — возразил он, — разве так не думаешь?»

Я пожал плечами. «Все прежние царства исчезли — одни раньше, другие позже».

«Исчезли под ударами врагов. Рим завершил историю. Больше ему ничего не грозит».

«Халдеи утверждали, что подобно тому, как каждому злаку, животному или человеку положен предел жизни, так великому государству определён срок его существования. И что будто этот срок — тысяча кругооборотов Солнца. Что ты на это скажешь?»

«Римской державе, — повторил он, — ничего не грозит».

«Ты имеешь в виду конец истории, как любят это сейчас называть, мир, который нам подарен? Послушай, — сказал я, — там есть одно место... если я правильно запомнил. Ты говоришь: не умру до тех пор, пока восходит на Капитолий с безмолвной девой жрец. Это звучит двусмысленно».

Он поднял брови.

«Ведь это можно понять так, что не веки вечные жрец и весталка будут всходить по ступеням храма. Не означает ли это...»

«Не означает, — сказал он. — Рим воплощает волю богов. Ни одно государство до нас не имела основания сказать так о себе».

«Но боги могут изменить свои намерения».

«Тогда мир впадёт в первоначальное варварство. Но боги этого не допустят. Я думаю, — сказал Квинт, — что Рим так прочно связал свою судьбу с верховной волей, что разделить их невозможно. Теперь судьба самих богов в свою очередь зависит от Рима. Гибель Рима означала бы гибель богов. Поэтому он вечен».

Мне показалось, что его устами говорит официальный поэт, — роль, которую он время от времени брал на себя и которая, по моему мнению, мало ему подходила. Я заметил:

«До тысячи лет ещё далеко... Мы отвлеклись. Поговорим о тебе».

«Да. Мы отвлеклись...»

Мысли, занимавшие меня по дороге в Сабины, действительно требовали обсуждения; мне не терпелось высказать свои соображения по поводу его эпистолы о поэтическом искусстве, которая наделала столько шума. Я было уже открыл рот — он перебил меня:

«Мне не нравится это стихотворение».

«Ты говоришь о Памятнике?»

«Да. Мне не хотелось его читать».

«Почему, в чём дело?»

«Оно звучит более чем самоуверенно, но, пожалуй, правильной будет сказать, что я сам себе перестал нравиться».

Я заметил ему, что такая требовательность к себе похвальна, но, будучи чрезмерной, может стать пагубной.

«Спой ещё раз».

Он покачал головой. «Ты говоришь, абсолютные стихи. Совершенство... Так вот, я тебе отвечу. Совершенство — это смерть. Это враг искусства».

«Квинт, — возмутился я, — ты написал стихи, в которых пророчишь себе бессмертие, а теперь заявляешь, что...»

Раб-подросток, красивый мальчик, подлил нам вина в стаканы. Хозяин встал и, отпив глоток, подошёл к каменной балюстраде.

«Я без конца исправляю написанное. Каждая строфа стоит мне уйму труда. Порой я бьюсь целый день над одной строчкой, чтобы достигнуть идеального благозвучия, хожу взад и вперёд и скандирую одно и то же на все лады, а на другой день вижу, что эпитет, найденный мною после изнурительных поисков, ужасен, невозможен, что красота погребла чувство, что вся моя работа ничего не стоит и надо начинать сначала!»

«Почаще переворачивай стило. Не твои ли слова?»

«Да, да, — отвечал он с досадой, — а результат? Холодное, расчитанное искусство».

«Мрамор тоже холоден. Зато долговечен».

«Красивое сравнение, да что толку? Оно меня не убеждает. Катилл...»

«Не говори мне о Катулле. Терпеть не могу этого поэта».

«Катулл писал необработанным стихом. Позволял себе вульгарные выражения. Даже нарушал просодию... Но сколько в нём жизни, огня, вдохновения!»

«И дурного вкуса. Впрочем, — заметил я, — это было другое время».

«Вот именно», — пробормотал он. И, словно спохватившись, выпил залпом свою чашу, протянул не глядя слуге. Я знал, что Квинт воспел этого мальчика под именем Лигурина. Не думаю, что он пылал к нему истинной страстью; скорее это была литературная стилизация.

«Вот именно, другое время. Я спрашиваю себя, не виною ли благоденствие, мир, наше сытое существование, эта сельская тишина и умеренность, эта прекрасная вилла, всё, что я восхвалял, чему так радовался, — я спрашиваю, не виной ли они тому, что из моей поэзии исчезла живая жизнь?»

«Ты предпочёл бы умереть в нищете?»

«Не знаю... Не сердись на меня».

«Я не сержусь, — возразил я, хотя почувствовал себя задетым, — вернёмся лучше к нашему разговору о языке. Я не могу представить себе настоящего поэта, который не обладал бы безукоризненным слухом, разрешил бы себе хотя бы одно лишнее слово, который не был бы в высшей степени взыскателен к языку, если хочешь — не был брезглив! Без вдохновения нет поэзии, кто спорит? Но надо уметь укрощать коня, иначе он сбросит всадника».

«Укрощать коня... да. А я тебе отвечу, что слишком выверенное, слишком дисциплинированное, слишком уравновешенное искусство — это искусство старческое. Кровь не пульсирует в нём. Такое искусство может вызывать уважение, удивлять, даже восхищать. Но заставить биться сердца — о, нет. Я разучился любить, — продолжал он, — я отвык вожделеть. Известно ли тебе, что я уже давно живу без женщины?..»

«У тебя есть женщина. Это Муза».

«Я думаю, что поэту подобает умереть молодым».

Я не стал с ним спорить, он был в дурном настроении, я заметил в нём перемену, лоб и виски пожелтели, следовало предположить избыток желчи.

Несколько времени длилось молчание, он поднял на меня глаза — и, странно сказать, угадал мои мысли. Только применил их ко мне самому. «Послушай, ты выглядишь неважно, — проговорил он. — Что с тобой?»

«Со мной?» — спросил я растерянно.

Словно он смотрел в зеркало, глядя на меня, и видел себя, и читал на моём лице мою и собственную судьбу.

Он повторил:

«У тебя скверный вид. Что говорит лекарь?»

«Что я поправляюсь».

«Ты говоришь мне правду?»

«Конечно», — сказал я смеясь.

«То-то же. Не смей, — и, усмехнувшись, он погрозил мне пальцем, — ведь тогда и мне придётся отправиться вслед за тобой. Не смей умирать, Меценат!»

Граница

*Hinüber wall' ich,
Und jede Pein
Wird einst ein Stachel
Der Wollust sein¹.*
Novalis

Один гражданин жил на постое у хозяйки. Гражданин — это, конечно, звучит абстрактно, но история вроде той, о которой здесь пойдёт речь, может случиться с каждым. Другое дело, что для каждого она останется новой.

Этому человеку пошёл шестой десяток, время особенное в жизни мужчины, время, когда уходят от жён, когда неясная тревога, боль сожалений не дают спать по ночам, когда на тёмнеющем горизонте вспыхивают зарницы старости. Как бы там ни было, за спиной осталась целая жизнь. Надо думать, ему было что рассказать, но добрая хозяйка вначале стеснялась спрашивать, а потом привыкла к тому, что он помалкивает, сидит один в своей комнате. И так и осталось неясным, была ли у него когда-нибудь семья, кем он работал и откуда его занесло в эту глушь.

Как все женщины, она была склонна приписывать ему авантюрное прошлое, подозревала любовную тайну, измену, что-нибудь в этом роде, и её догадки как будто подтверждались фотографиями над письменным столом в комнате постояльца, куда она заглядывала изредка в его отсутствие. Но в конце концов мало ли вокруг нас людей, у которых нет своего угла, дружеского круга, а всё имущество помещается в двух чемоданах? Загадочный ветер носит их с места на место. Они сами волокут за собой свой сиротский уют; каждый раз вынимают из чемодана свой единственный приличный пиджак и вешают на плечиках, потом раскладывают бумаги, книги, прилаживают кнопками над столом какие-нибудь птичьи пёрышки, какой-нибудь веер из цветной бумаги, на стол ставят женские фотографии, перед койкой — полуистлевшие тапочки,

¹ Я шествую за грань земного бытия, и всякая боль превратится однажды в укол наслаждения. *Новалис*, «Гимны ночи».

нахлобучивают на лысеющую макушку турецкую феску с кисточкой. Одинокие, они озирают своё жильё, словно ищут знаки сочувствия на голых стенах. И ложатся — и на их лицах с закрытыми глазами, похожими на желваки, с серым полуоткрытым ртом проступает выражение хитрого счастья, словно и на этот раз им удалось уйти от преследователя, усмешка скромной гордости, оттого что посчастливилось отыскать крышу над головой. До следующего раза!

Мы забыли сказать, что этого человека звали Аркадий, по отчеству Михайлович; имя ничем не замечательное и ни к чему не обязывающее. Однажды он снова собрался в дорогу, хотя сам толком не знал, зачем ему поднимать якорь, ведь никто его не гнал. Но привычный зуд странствий уже не давал ему покоя, неслышный ветер холодил затылок. Против обыкновения он довольно долго прожил на одном месте, хозяйка к нему привыкла, ей не хотелось искать нового квартиранта. Когда он сказал, что съезжает, она возразила: «Авось передумаешь». Он пожал плечами, дескать, ничего не поделаешь. «Присядем», — сказала хозяйка. И они присели по обычаю, — иначе не будет пути назад, — она на стул возле опустевшего письменного стола, он на краешек дивана, который несколько месяцев служил ему ложем.

«Что, неохота уезжать?» — «Неохота, Марья Ивановна», — признался жилец. «Ну, и не ехал бы». — «Надо». — «Так уж приспичило? Али соскучился у нас?» Дело происходило в провинциальном городке. Такси стояло перед домом — громоздкий чёрный автомобиль устарелой марки. Жилец тащил чемоданы, следом хозяйка несла остальной скарб: толстый портфель, коробку с турецкой феской и харчи на дорогу. Шофёр сидел в кабине. В этом городе не было принято, чтобы таксист помог клиенту уложить багаж.

«Так ты, если что, напиши. Если надумаешь вернуться. Буду ждать!» — крикнула она.

«Обязательно напишу, Марья Ивановна», — ответил жилец, высунувшись из машины. Хотя знал, что обратно через границу его уже не пропустят, письма не дойдут.

Остался позади город, перестали попадаться автобусные остановки, невидимое солнце клонилось к закату, дорога уходила вниз, в лощину. Пассажир выразил озабоченность относительно переправы. Он слышал, что паром не работает. Водитель заметил, что до реки ещё далеко. «Успеем до ночи?» Водитель возразил: «А куда спешить-то».

Пассажир не мог успокоиться: если придётся ехать в объезд, то далеко ли? Шофёр вовсе не удостоил его ответом, надменно смотрел вперёд, в этом молчании ясно выражалось презрение рабочего человека к праздному интеллигенту. Давно уже не было видно признаков человеческого жилья, ехали посреди болот, по обе стороны от дороги тянулся кустарник. Колёса разбрызгивали грязь. «Я бы хотел

знать, — промолвил кротко, чтобы не рассердить таксиста, Аркадий Михайлович, — если понадобится ехать в объезд, то сколько это приблизительно будет стоить?». — «А зачем нам объезд, нам объезд не нужен». — «Значит, паром работает?» — «Зачем нам паром». — «Как же мы переедем?» — «Надо будет, на закорках тебя перенесу», — усмехнулся водитель.

«Ах вот оно что!» — воскликнул Аркадий Михайлович, когда колымага, миновав лесную заросль, за которой мелькало и пряталось низкое солнце, выехала с рёвом на бугор и вдали, над блестящим потоком показался мост. Несколько времени спустя миновали столб с гербом на щите, машина запрыгала по брёвнам, проехала мимо второго столба, одолела подъём и остановилась перед закрытым шлагбаумом. Никого не было. Пассажир держал наготове паспорт.

Шофёр погудел. Таможенник вышел, зевая, на крыльцо, сделал знак водителю отъехать в сторону. Дом стоял на краю дороги, которая здесь и заканчивалась: за вторым шлагбаумом начинался сплошной лес. Таможенник приблизился к машине, не глядя протянул руку. Пассажир подумал было, что нужно вложить в паспорт купюру, ему говорили, что так принято, — но не решился. Изучение паспорта продолжалось довольно долго, и путешественник начал терять надежду; стало ясно, что в его документе что-то не в порядке. В документах всегда бывает что-нибудь не в порядке, если только они не фальшивые.

Угрюмый офицер вглядывался в пассажира, офицеру могла не понравиться его фотография, могло показаться подозрительным лицо пассажира; фамилия вызывала недоверие, равно как и подпись владельца; год рождения настораживал; штампы прописок, оттого что они были настоящими, то есть неразборчивыми, выглядели как поддельные; регистрационные номера, пометки должностных лиц явно нуждались в проверке. Кончилось тем, что офицер сунул паспорт в нагрудный карман и поправил на голове фуражку.

«В чём дело?» — спросил испуганно пассажир, вылезая из машины. Офицер не ответил, точно не слышал вопроса. В спешке, боясь навлечь на себя гнев таможенника, Аркадий Михайлович силясь вытянуть из багажника тяжёлый чемодан. Никто ему не помог; офицер таможенной службы следил за тем, чтобы все вещи были извлечены из автомобиля, таксист ждал, стоя у открытой дверцы. Таксист получил плату и чаевые, не поблагодарив, уселся на место; хлопнула дверца, чёрная колымага развернулась и покатила, выхляясь, назад к реке, блестящей под сумрачным небом, как олово.

«Простите, я бы хотел... — лепетал Аркадий Михайлович. — А, собственно, что такое, почему вы забрали паспорт?»

Офицер взял портфель пассажира. Аркадий тащил следом оба чемодана, кулёк с едой, который хозяйка собрала на дорогу, и картонку.

Таможня представляла собой длинное приземистое строение с плоской крышей и окнами в решётках, на мачте висел застиранный непогодой флаг, из трубы курился дымок.

«Что-нибудь не так?» — допытывался пассажир.

Офицер не понял.

«Я хочу сказать, что-нибудь не в порядке с моим паспортом?»

«Он вам больше не нужен», — ответил таможенник и удалился. В комнатке, за облупленным столом под портретом главы государства сидел некто в погонах, на которых число звёздочек было на одну больше, чем у дежурного, встретившего машину. На столе перед начальником вместе с паспортом лежали другие бумаги, к удивлению путешественника, не заметившего, когда они были изъяты: военный билет, справка с места работы, выписка из домовой книги. «Иванов!» — возвысил голос начальник. Иванов, рослый белообрый парень, вошёл в кабинет из другой комнаты; начальник кивком показал на багаж. Иванов сунул под мышку портфель и подхватил чемоданы. «И это тоже», — сказал начальник. Иванов стрёб картонку. «А вы оставайтесь здесь. Фамилия?..»

Он развернул паспорт, последовали вопросы, на которые путешественник уже отвечал дежурному офицеру. Начальник таможни производил впечатление интеллигентного человека, не склонного придирается к каждой букве; обращение приятно отличалось от недружелюбной встречи у шлагбаума. Лишь с отчеством Аркадия Михайловича произошла неувязка. В паспорте стояло «Моисеевич».

Путешественник объяснил, что это такой обычай: легче произносить и вообще.

«Обычай обычаем, — возразил начальник, — а всё-таки знаете... В одном документе одно, в другом другое. Уж выбрали бы что-нибудь одно. Вы что, — спросил он, подумав, — еврей?»

Аркадий, помявшись, отвечал, что по паспорту он русский («это я вижу», — заметил начальник), но, говоря откровенно, сам толком не знает. Имя Моисей тоже в общем-то русское имя. Начальник скучно взглянул на него и забарабанил пальцами по столу. «Понимаете, — проговорил он, — будь вы там хоть татарин, это не моё дело. Только вот... Иванов!»

Иванов воздвигся на пороге.

«Вас надо как-то оформить, — продолжал начальник, — для лиц еврейской национальности предусмотрен особый участок. Также ведь, знаете ли, — он улыбнулся, — обычай. Нарушать не положено».

«Поищи-ка мне там... — сказал он подчинённому, потирая лоб. — Или ладно. Можешь идти. А вы сядьте, в ногах правды нет».

«Я постою», — скромно сказал приезжий.

«Нет уж, сядьте, тут дело серьёзное. — Начальник таможни за-

жѐг лампу на столе и набрал номер телефона. — Дайте-ка мне 313-й... Занят? Ну, тогда заместителя. Скажите, с таможни звонят. По неотложному делу».

Он положил трубку, застучал пальцами по столу.

«Вот тут, — промолвил он, — справка с места работы... Но ведь вы нигде не работали».

«Я научный работник... профессор, — сказал Аркадий Михайлович. — Собираю материал для большого труда».

«Это для какого же труда?»

«Для научного труда. Могу объяснить, только мне кажется, это не имеет отношения к нашему разговору».

«М-да. Профессор. И что же дальше?»

«Я работаю дома».

«Так, может, мы эту справку порвѐм? — предложил начальник. — Только лишняя путаница».

«А паспорт? — спросил приезжий. — Паспорт вы мне вернёте?».

«Паспорт останется в архивном деле. Вам-то он всё равно ни к чему».

Аппарат задрезжал на столе.

«Это я беспокою... Тут у меня сидит профессор. Бывший профессор. Так вот, такая петрушка: у него... Вы пока там подождите», — сказал новоприбывшему начальник и продолжал говорить в трубку. Посреди просторного зала, где оказался Аркадий Михайлович, стоял длинный оцинкованный стол, вернее, два стола, составленных вместе, на первом были навалены его вещи и папки. Под столом валялся выпрошенный портфель. В помещении было жарко от раскалённой плиты.

Уже знакомый нам белобрысый таможенник Иванов стоял у стола. Он успел переодеться, на нём был синий рабочий халат, и все остальные сотрудники работали в халатах. Проверьте, сказали они, всё ли тут на месте. Надомный профессор Аркадий Михайлович объяснил, что товарищ капитан велел подождать. «А чего ждать-то», — сказал Иванов. Надо выяснить, сказал Аркадий Михайлович. «А чего выяснять, и так всё ясно», — возразил таможенник, и осмотр начался. Иванов взял из кучи первую попавшуюся вещь, это была рубаха, заметно поношенная, с бахромой на манжетах. Он бросил её на соседний стол. Далее был осмотрен выходной пиджак Аркадия Михайловича. «Ничего себе, а?» — спросил Иванов, другой подошёл и сказал: «А ты примерь». Иванов примерил пиджак. «Носить можно», — сказал второй таможенник, и пиджак был отложен в сторону.

«Деньги».

«Какие деньги?»

«Деньги, говорю, при вас имеются? Валюта. — Иванов принял от прибывшего тоненькую пачку бумажек, не считая, сунул в карман. —

Мелочь можете бросить в кружку». Затем он развернул пакет с припасами, еда показалась ему несвежей, он швырнул кулёк в ведро с мусором.

Аркадий Михайлович собрался с духом.

«Знаете что, я вот что, — сказал он. — Я передумал. Я решил не ехать. Пожалуйста, будьте так добры. Верните мои деньги и документы и вызовите мне такси».

Таможенник не ответил, другой подошёл и спросил: «Что он хочет?»

«Такси, говорит, вызовите».

В зал вошла карлица, простоволосая баба неопределённых лет, похожая на луковицу. Профессор, сидевший на стуле для посетителей, поспешно подобрал ноги. Она прошлась мимо с венником и железным совком, вытряхнула совок в горящую топку и уставилась на контролёров: там происходило что-то интересное. Иванов, открыв рот, вперился в содержимое раскрытой папки. Другой сотрудник, с охапкой старых рубаш, кальсон, носков, которые он собирался запихнуть в плиту, заглядывал к нему через плечо; оба хихикали.

«Чего гогочете-то?» — спросила уборщица.

«А ты сама погляди, баба Собакина!»

«Чего я там не видала».

«А ты погляди».

«Ну чего, — отозвалась баба-луковица, подтащила табуретку и влезла, едва не зацепившись за край подолом. — Батюшки, это чьи же?»

«Его».

«Ах ты, охальник! — сказала баба, взглянув на прибывшего. — Дайка ещё погляжу».

«Ха, ха, ха. Хи-хи».

На шум вышел из кабинета начальник таможни.

«Это моя работа, я работаю над...» — лепетал Аркадий.

«Работал», — поправил его капитан. Иванов поспешно снял бабу Собакину с табуретки, его коллега понёс вещи приезжего к плите.

«Это научный труд, — объяснил Аркадий Михайлович. — У меня есть отзыв действительного члена Академии наук Воложинского и заключение комиссии по охране государственных тайн».

«Ну, положим, это не государственная тайна, — заметил начальник. — Но, знаете ли...»

«Сжигать?» — спросил Иванов.

«Погоди. Я сам разберусь. Неси всё ко мне».

Груда растрёпанных папок с фотографиями, заметками, таблицами была сгружена на стол начальника, сам он возвышался в кресле под отсвечивающим портретом.

Профессор Аркадий Михайлович откашлялся.

«Я уже сообщил вашим подчинённым... Мне очень жаль, что я отнял у вас столько времени. Дело в том, что... Короче говоря: я передумал ехать за границу. Может быть, как-нибудь в другой раз. А сейчас я... я хочу вернуться. Пока ещё не поздно, дайте, пожалуйста, указание подчинённым. И, если не трудно, распорядитесь, чтобы мне вызвали такси».

Капитан воззрился на профессора.

«Такси? — Он покачал головой. — Такси в это время уже не работает».

Будучи деликатным человеком, он не мог подыскать нужные слова, чтобы перейти к скользкой теме.

«Видите ли, — промолвил он наконец. — Вы, вероятно, знаете, а если забыли, то вынужден вам напомнить. Хранение порнографических материалов преследуется законом».

«Но какие же это порнографические материалы? Это...»

«Как же это так, — продолжал начальник. — Вроде бы серьёзный человек, профессор... А это что у вас?»

«Стихи».

«Вы что, поэт?»

«Не поэт, а так... Я для себя пишу».

«Но всё-таки. Вы эти стихи распространяли? Кому-нибудь показывали?»

«Да никому я не показывал, — сказал устало приезжий. Он поднял глаза на капитана. — Они там собираются жечь мои вещи».

«Не беспокойтесь. Они своё дело знают».

«Моя феска...»

«Какая феска? А... ну да. Можете не беспокоиться. Как же нам теперь быть-то, а?»

«Но я же вам объяснил. Это совсем не порнографические материалы».

«А что же это, по-вашему?»

«У меня есть отзывы. Академик Воложинский позитивно оценил мои работы».

«Вот, например, это, — говорил, роясь в папке, начальник. — Ведь это же чёрт знает что такое».

«Товарищ капитан, вы извините, что я так прямо спрашиваю, — сказал Аркадий. — Вы же видите, что наркотиков у меня нет, оружия нет. А это — разве такие материалы запрещены к провозу?»

«Что запрещено, а что нет, на этот предмет есть инструкция. И она не подлежит оглашению. Но я вам отвечаю: да, конечно. Запрещены и подлежат изъятию».

«Они жгут мои вещи. Что же я теперь надену?»

«Это другое дело. Обыкновенная санитарная мера. Да и зачем они вам? Они вам всё равно больше не пригодятся».

«Я возвращаюсь. Закажите мне такси».

«Вам русским языком сказано. — Начальник очевидным образом начал терять терпение. — Что такое? — спросил он строго. — Я занят!»

Иванов в дверях доложил, что досмотр личных вещей окончен.

«Хорошо, можешь идти... Вы хотели объяснить?»

Посетитель, утомлённый жизнью, сидел, опустив голову на грудь, — не то задумался, не то дремал.

«Э, э, — сказал таможенный капитан, заглянув для верности в паспорт задержанного, — Аркадий Моисеевич. Товарищ профессор! — Профессор очнулся. — Здесь спать не положено».

«В самом деле? — спросил приезжий. — А я и не заметил. Представьте себе, я даже видел сон. Как будто я сижу перед вами. И будто вы мне говорите...»

«Угу. Вот я и говорю. — Начальник широко и сладко зевнул, он тоже устал. — Работашь, отдыха не знаешь... Что там ещё?»

В полуоткрытую дверь снова просунулись седые ресницы и бесцветные глаза таможенника Иванова.

«Кругом марш! — зарычал начальник. — И чтоб больше без вызова... Извините, — продолжал он, стуча пальцами, — с этим народом... Так вот. Что я хотел сказать. Забыл. Вот память. Или это вы мне что-то собирались сказать?»

«Я говорю, вы мне приснились...»

«К сожалению, не приснился. Так, э...?».

«Мой труд. Рукописи...» — пролепетал Аркадий.

«Какие рукописи — стихи, что ль?»

«Труд всей моей жизни. Encyclopaedia Corporis Feminini».

«Это что, по-еврейски?» — спросил начальник.

«По-латыни».

«Ага. А по-русски?»

«Энциклопедия Женского Тела, сокращённо ЭЖТ. Я составляю энциклопедию и уже дошёл до ключиц».

«До ключиц?»

«Да. До ключиц и подключичных ямок».

«А вы как, — осведомился с опаской начальник, — начинаете с головы или... или снизу?»

«Ни снизу, ни сверху, а в алфавитном порядке. И, как видите, уже дошёл до буквы К. Понимаете, товарищ капитан...»

«Да бросьте вы — какой я вам товарищ».

«Прошу извинить. Понимаете... женское тело. Вам понятно, что я имею в виду?»

«Вроде бы да, — сказал капитан. — Только я не понимаю: какое отношение всё это имеет, так сказать, к нашей действительности. К задачам, так сказать, поставленным перед нашим народом».

«К задачам? О, уверяю вас, самое непосредственное. Самое прямое отношение. — Профессор оживился и стал объяснять. — Так вот, тело женщины...»

Увлёкшись, он сопровождал свою лекцию широкими округлыми жестами. Начальник внимал ему, несколько сбитый с толку.

«Не какой-нибудь конкретной женщины, а женщины как таковой — ноуменальной, если так можно выразиться, женщины. Тело женщины может быть рассмотрено с разных точек зрения. С точки зрения искусства это воплощение гармонии и совершенства. С семиотической — знаковая система. Существует даже астрология женских форм. В самом деле, тело Венеры, или Астарты, или, если хотите, даже любой девушки на улице, рассмотренное на определённом уровне абстрагирования, — это микрокосм, в котором сконцентрирован и отражён макрокосм, то есть Вселенная. Вы постоянно наталкиваетесь на параллели и аналогии, повторения и созвучия. Возьмём хотя бы, в качестве примера...»

«Иванов!» — рявкнул начальник таможни.

Иванов появился на пороге.

«Увести».

И профессор Аркадий Михайлович, не успев закончить свою мысль, был довольно бесцеремонно препровождён в зал. Там его ждали.

Действительно, время шло, а он всё ещё не прошёл личный досмотр.

Цинковые столы были очищены, таможенница, величественная усатая дама на высоких каблуках, в мундире, еле сходящемся на её груди, в погонах старшего лейтенанта, указала ему на дверь каморки для обысков. Там сидела на табуретке карлица баба Собакина, чтобы принять от него одежду. Задержанный покосился на женщин.

«Мы не смотрим», — густым голосом сказала таможенница.

«Насмотрелись», — буркнула баба Собакина.

«Бельё тоже снимать?» — спросил он, стесняясь своих ветхих подштанников.

Старшая лейтенантша велела открыть рот, велела повернуться спиной.

«Два золотых зуба, — сказала она кому-то, — два из белого металла. — Присев на табуретку, продолжала диктовать: — Средней упитанности, астенического сложения. Мышечный аппарат повышенной дряблости».

Тем временем карлица вынесла одежду задержанного в зал и вернулась в шуршащем клеёнчатом переднике, который ей пришлось подвязать под самой шеей, чтобы не наступать на него.

«Ноги расставить. Поднимите... И мошонку тоже. Венерическими болезнями болели?»

«Не болел», — сказал испуганно Аркадий Михайлович.

Шлёпая босыми ногами, он проследовал за Собакиной в диагностический кабинет. Здесь было темно и жарко, жужжал аппарат. Аркадию Михайловичу указали на табурет возле двери. Понемногу глаза привыкли к темноте.

Дородная таможенница сбросила туфли, расстегнула и повесила на крючок тесный мундир, форменную юбку и осталась в сорочке, после чего тоже облачилась в клеёнчатый передник. Он не доходил ей до колен. Баба Собакина, исполнявшая по совместительству обязанности техника, взгромоздилась на что-то перед пультом управления.

«Боком. Вы что, плохо слышите? Голову наклонить», — командовала лейтенантша; Аркадий втиснулся в тесное пространство между экраном и аппаратом. Сверху опустилось что-то и подпёрло ему затылок. Грудную клетку обхватили металлические лопасти.

«Руки на голову. Не дышать».

Начался внутренний досмотр, во время которого старшая лейтенантша диктовала незримому секретарю диагностические находки. Слава Богу, думал приезжий, хоть внутри ничего подозрительного не нашли, в отличие от паспортного контроля и досмотра вещей. Агрегат гудел, видимо, от перегрева. Как вдруг густой голос из-за экрана произнёс: стоп!

«Стоп, стоп, стоп, — приговаривала таможенница; руки в перчатках, просунувшись снизу, схватили за бёдра Аркадия Михайловича и рывком повернули боком, потом другим боком, — вот тут-то мы тебя, голубчика, и поймали. Собакина! Ну-к, позови капитана».

Капитанские сапоги вошли в комнату и стали рядом с толстыми ногами старшей лейтенантши. Пот струился по лицу задержанного. Начальник спросил сквозь гудение аппарата:

«Где у вас спрятано оружие?»

«Какое оружие?» — растерянно спросил Аркадий.

«Не валяйте дурака; обыкновенное».

«У меня нет оружия».

«У вас в сердце пуля. Ведь это пуля?» — спросил капитан, и таможенная лейтенантша подтвердила:

Задержанный был вынужден согласиться.

«Вы, стало быть, хотели покончить жизнь самоубийством?»

Аркадий Михайлович пробормотал что-то насчёт минуты слабости; начальник его перебил:

«Вы покушались на самоубийство посредством выстрела из огнестрельного оружия. А за незаконное хранение оружия знаете что бывает? Между прочим, — заметил он, — стреляться тоже надо умеючи». — «Но ведь я, кажется, попал?» — возразил Аркадий Михайлович. «Ладно, — сказал начальник, — попал, не попал, не наше дело. Пиши протокол, пускай распишется».

Подумать только, как много времени занял пограничный контроль! Давно уже ступилась тьма, тусклая лампочка над крыльцом таможи освещала ступени, где-то над кровлей поник невидимый флаг. Ночь была бездыханной, гниловато-тёплой, беззвёздной. Странник, босой, в длинной белой рубахе, стоял перед домом.

На крыльцо высыпал весь персонал. Стоял дежурный офицер, тот, кто встречал приезжего. С гармонью через плечо, в мундире и галифе стоял белобрысый таможенник Иванов, стояли другие. Вышел и стал между расступившимися подчинёнными капитан, начальник таможи. Воздвиглась дородно-величественная старшая лейтенантша, сложив руки на форменной юбке, и где-то между провожающими поместилась баба-карлица с неблагозвучной фамилией Собакина.

Теперь, после завершения ведомственных процедур и формальностей, незачем было проявлять строгость и выдерживать официальный тон, все были настроены дружелюбно, с лаской и сочувствием смотрели на профессора, все желали ему счастливого пути.

«Прощайте и вы, — молвил странник, — не поминайте лихом».

Иванов заиграл на гармонии прощальный торжественный марш, дежурный подошёл к рукоятке шлагбаума, заскрежетал ржавый механизм, и полосатая преграда медленно поднялась перед уходящим. Белая рубаха растворилась в ночи, в густой чаще леса.

ПОСЛЕ НАС ПОТОП

Роман

*Crebra relinquendis infligimus oscula portis:
Inviti superant limina sacra pedes,
Oramus veniam lacrimis et laude Htamus,
In quantum fletus currere verba si nit:
Exaudi, regina tui pulcherrima mundi,
Inter sidereos Roma recepta polos,
Exaudi, genetrix hominum genetrixque deorum!
Non procul a coelo per tua templa sumus.
Te canimus semperque, sinent cum fata, canemus:
Sospes nemo potest immernor esse tui.*

Rutilii Cl Namatiani. De reditu suo. Laudes Romae¹.

*После нас, разумеется, не потоп,
Но и не засуха.*

И. Бродский

¹ Вновь и вновь я целую ворота города, который придется покинуть. Как неохотно переступают ноги священный порог! Обливаюсь слезами, молю о прощении, воздаю хвалы, внемли, царица, моим словам, звучащим сквозь рыдания, ты, прекрасней которой нет в мире, подвластном тебе. Рим, вознесшийся к звездам! Внемли, родительница людей, родительница богов, — в храмах твоих и мы воспаряем к небу. Тебя пою и буду петь вечно, куда жив: можно ли быть счастливым, забыв тебя... *Рутилий Клавдий Наматцан. О моем возвращении. Похвала Риму. 416 год н. э. (лат.)*

I. ПТИЦЫ, ИЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В первых числах сентября всем нам памятного года произошло необыкновенное событие. Никто не знал толком, когда это случилось, скорее общественность столкнулась с уже совершившимся фактом. А именно: несколько больших улиц вдоль западно-восточной оси города вместе с прилегающими переулками и дворами оказались загрязнены липкой зеленоватой массой, издававшей отвратительный запах; вещество, как показал анализ, было животного происхождения и содержало селитру. Малыши, празднично одетые по случаю начала занятий, не могли добраться до школы, кое-где на перекрестках забуксовавшие трамваи сошли с рельсов. В центре, от бывших Сретенских ворот к площади, переименованной в честь забытого революционера, вниз по трамвайным путям сползала тускло поблескивающая на солнце, маслянистая серо-зеленая жижа; из домоуправлений поступили сигналы о том, что на крышах обнаружены скопления в виде широких блинов; фасады общественных зданий были обезображены, тестообразная масса свисала с карнизов, шлепалась на тротуары, неслыханному осквернению подверглись памятники вождям, зловоние витало над городом.

Недоумение, растерянность, грозные запросы начальства и невразумительные ответы низовых инстанций напоминали дни начала войны и, как в первые военные дни, сменились лихорадочно-хаотической деятельностью; посыпались приказы, телефонограммы, кто-то лишился партийного билета, кто-то был арестован, была мобилизована служба очистки, объявлен коммунистический субботник. Перепачканные добровольцы самоотверженно размахивали метлами и отколупывали скребками быстро засыхающую массу. Пожарные в сверкающих касках, стоя с брандспойтами на головокружительной высоте, обдавали маслянистыми брызгами толпящихся на мостовой зевак. Были приняты особо решительные меры по сохранению спокойствия и порядка, пресечению паники и провокационных слухов. Громкоговорители передавали бодрые марши. Газеты сообщили о трудовых подвигах рабочих на предприятиях и тружеников полей, загадочный инцидент был обойден молчанием. Перед общественными банями выстроились километровые очереди. Оттого что в городе днем и ночью бесперебойно работало несколько сот пожарных стволов, возникли перебои с водоснабжением.

Переполнились водостоки. Понизился, а затем резко поднялся уровень воды в реке, и в ряде мест грязная, дурно пахнущая вода залила набережные. Старые люди ломали шейку бедра, падая на скользких тротуарах. Грузовики с солдатами, потеряв управление, сталкивались бортами. Липкое вещество присохло к решеткам, телефонным будкам, парадным подъездам, вывескам, доскам с портретами передовиков, к городскому транспорту и к одежде прохожих.

Так прошло несколько дней, и волнение начало успокаиваться, когда внезапно перед рассветом население было разбужено шумом крыльев. Затем раздался оглушительный рев моторов, свист пиротехнических ракет, стук хлопушек и других подобных приспособлений: запоздавая, но все же не совсем бесполезная мера властей. Некоторые граждане, выбежав на улицу, хлопали в ладоши и размахивали швабрами, надеясь отогнать налетчиков от своего дома. Но за одной эскадрилей следовала другая. Стало ясно, что птицы, сделав огромный круг, вернулись. Обеспокоенные шумом, они уронили новые порции испражнений и, ко всеобщему негодованию, загадили Красную площадь.

Птицы происходили, по заключению специалистов, из пустынь Центральной Азии. Было высказано предположение, что они сбились с пути во время сезонного перелета: сильный юго-восточный ветер отнес вожака, а следом и всю стаю далеко от привычного маршрута. Возможно, вид высотных зданий послужил ошибочным ориентиром для птиц, которые приняли их за скалы. Эти вопросы значительно позже, когда все уже было позади, стали предметом дискуссии в ученых кругах; журнал «Вестник орнитологии» организовал представительный «круглый стол», хотя место действия по цензурным соображениям было перенесено в одну из зарубежных стран. Бомбардировка испражнениями была тайной, о которой все знали или по крайней мере слышали, и оттого она выглядела еще таинственней.

Сказанное обусловило особую трудность, на которую натолкнулись наши старания отделить достоверную информацию от домыслов и преувеличений. (Некоторые из опрошенных лиц были убеждены, что вся эта история — легенда. Близкой точки зрения, по видимому, придерживались и органы массовой информации, в появившихся, наконец, сообщениях говорилось об отдельных случаях загрязнения городских объектов.) Птицы принадлежали к отряду журавлиных и ближе всего могли напомнить туранских журавлей рода *grus cygnops*, хотя и для этих, почти вымерших пернатых представлялись непомерно крупными. Как могли они залететь к нам? Говоря военным языком, как им удалось проникнуть в воздушное пространство города? А где же была ПВО? Птиц не засекали радары. Самая грозная в мире авиация даже не поднялась в воздух, чтобы отра-

зять налет, Не была ли стая специально заслана в нашу страну? Не вызвано ли изменение потоков воздуха нарушением экологического баланса планеты? Представляют ли птицы неизвестный, еще не описанный в науке вид или мутацию известных видов? Каков гормональный баланс этих оживших ископаемых?

Практический интерес представлял вопрос, что с ними делать. Взъерошенные существа с тусклыми ночными глазами, обессиленные долгими блужданиями и неукротимой диареей, опустились во дворах и переулках. Любопытно, что и здесь они пытались размножиться: кое-где в укромных местах были обнаружены самки, сидящие на яйцах. Застигнутые врасплох, пробуя взлететь, они с шумом проносились мимо окон, задевали за пожарные лестницы, ломали ветхие водосточные трубы. Чтобы подняться в воздух, птице такого размера нужен значительный разбег. Птицы сновали по тесным дворам на длинных чешуйчатых ногах, скользили в собственном помете, хлопая крыльями, испускали хриплые крики; временами им удавалось взлететь до уровня второго этажа, и где-нибудь за углом слышался звон стекла: это гигантский журавль с размаху всаживался клювом в витрину, где отражалось небо. Хуже всего было то, что, несмотря на полное отсутствие питания, эти существа продолжали обильно испражняться.

Хотя милиция и внутренние войска оцепили центр, им не удалось надлежащим образом справиться со своей задачей. Сотни посторонних лиц просочились на площадь. Стоя по щиколотку в грязи, толпа, как зачарованная, следила за верхолазами, которые с помощью кранов, вооружившись шлангами, пескоструйными аппаратами, раздвижными трехметровыми швабрами, пытались счистить помет с исторических башен. Более или менее успешно удалось сгрести кал с мавзолея. Невыполнимой задачей, однако, оказалась очистка кремлевских звезд. С гигантских, опрaвленных в стальную арматуру лучей из рубинового стекла, подобно чудовищным сталактитам, свисали грязные, засохшие комья. Исключительную опасность представляло вращение звезд на шарнирах вокруг опорных осей под напором ветра.

Размочить окаменевший помет не смогли бы даже многодневные проливные дожди. Это не было неожиданностью для копрологов — специалистов по экскрементам животных и птиц. Но они не решались — по понятным соображениям — высказать свои опасения вслух.

В свою очередь, начальство, хоть и прекрасно понимало опасность паники, недооценило психологию глупого населения. Хуже того, руководство не учло громадного политического и национального значения звезд. Граждане столицы привыкли к сиянию малиновых светил в вечернем небе, и не просто привыкли; можно сказать, что искусственное неугасимое созвездие раз и навсегда утвердило в умах астрологию надежно предустановленного будущего. Вот почему народную душу так

тяжко поразило временное отключение сверхмощных ламп в тысячу свечей. И то, что затем произошло, представляло собой уже вполне очевидный и несомненный плод расстроенного народного воображения; упомянуть этот эпизод можно разве только для полноты рассказа.

Говорили, что в полночь раздался грохот. Якобы этот грохот слышали во всем Старом городе, в пределах бывшего Бульварного, отчасти и Садового кольца. Эхо разнеслось еще дальше, докатилось до окраин, где его приняли за рокот непогоды. Гром повторился через две-три минуты. Некоторым жителям послышался звон стекол, почудился звук чего-то лопнувшего. Кое-кто клялся, что видел молнию короткого замыкания. После чего, как утверждают, наступила зловещая тишина. На рассвете люди высыпали на улицы. К этому времени все главные улицы, все радиусы столицы были перегорожены грузовиками, на перекрестках выставлены конные пикеты, проходные дворы перекрыты, чердаки заняты милицией и войсками. Шепотом, под большим секретом, со ссылками на осведомленных знакомых, будто бы узнавших об этом из надежного источника, передавалось из уст в уста: звезды, каждая весом в тонну, накренились и, не выдержав тяжести, сверзились со своей державной высоты. Население с ужасом внимало этим известиям.

Оценить в полном объеме экологические и санитарные последствия воздушного бесчинства невозможно: высшее руководство по опыту знало, сколь опасна иная информация; государственное телеграфное агентство сочло необходимым в специальном сообщении опровергнуть ложные провокационные слухи, как принято было в то время называть разного рода прискорбные происшествия; результаты анализов питьевой воды не были опубликованы; наши выводы отнюдь не претендуют на полноту, наши догадки в значительной мере основаны на эмпирических наблюдениях. Так, усилилась общая нервозность населения. По ничтожному поводу вспыхивали ссоры в публичных местах; столкновения в очередях, в коридорах государственных учреждений, в магазинах и кинотеатрах, на остановках городского транспорта стали характерной чертой повседневной жизни, матерная брань не стихала в пригородных поездах, в автобусах и вагонах метро, спор из-за свободного места, точнее, из-за нехватки мест мгновенно перерастал в идеологическую схватку; мировоззрения и поколения то и дело скрещивали оружие. Инвалиды поносили здоровых, старики — молодежь. Город ненавидел деревню, тем же отвечала ему деревня. Жители столицы называли приезжих паразитами, обвиняя их в том, что они скупают продовольствие, чтобы перепродавать в своих дырах. Приезжие осыпали ругательствами горожан за то, что они объедают про-

винцию. У женщин, казалось, не было худших врагов, чем мужчины — пьяницы и лоботрясы. В свою очередь, мужчины дружно называли всех женщин шлюхами.

Каждый выступал в защиту государственных интересов, от имени народа. Каждый грозил другому расправой, и все вместе уличали друг друга в том, что они евреи. Неизменным пунктом и центральной темой попреков было уклонение от работы. Дискуссиям о том, что никто не хочет работать, что народ распустился, что бездельников надо наказывать по всей строгости закона, а не так, как это делалось до сих пор, посвящались нескончаемые часы и дни. В сущности, о том же размышляло и руководство на своих тайных заседаниях. Об этом — о всеобщем и удручающем нежелании работать — неутомимо напоминали газеты на присущем им языке, когда с ликованием возвещали о новых трудовых победах. Образовались особые профессии покрикивателей и погонял, целые ведомства истощали свое хитроумие в попытках заставить нерадивый народ работать, хоть и сами подчас нуждались в понукании. Поистине это была какая-то всеобщая болезнь. Подзревали, и не без основания, что это инфекция.

В тот год многими овладел беспричинный страх. Многих посещали видения. Предположение о том, что в помете птиц содержались галлюциногенные вещества, не кажется нам фантазией ввиду многочисленных сообщений о ночных кошмарах. Апокалиптические вести потрясали воображение; в небесах реяли летающие тарелки; упал урожай зерновых; вспомнили Нострадамуса; размножились секты; увеличилось число гадателей и ясновидящих, лунатиков, вылезавших на крыши, и людей, беспрестанно говоривших сами с собой. Тихая паника, мечта о бегстве завладели умами.

Видимо, дало о себе знать кумулирующее действие токсических действующих начал, осевших в сером веществе коры головного мозга и, возможно, в базальных ядрах межзачаточного мозга. Страх породил отвагу. Апатия сменилась подозрительным возбуждением. Блеснула догадка, стало казаться, что больше нельзя терять ни минуты. Появились люди — их становилось все больше, — которые принялись ни с того ни с сего паковать чемоданы, проявляли повышенный интерес к географии, предлагали купить у них имущество, интересовались расписанием поездов и международных авиалиний, заказывали телефонные разговоры с границей и целыми часами, не считаясь с затратами, вели переговоры с мнимыми родственниками на ломаном английском языке. Подслушивающие органы буквально не верили своим ушам; весь могущественный аппарат сыска и пресечения, остолбенева, следил за этими сношениями. Дошло до того, что граждане кучками и поодиночке, бравидуя своим антипатриотизмом, осаждали государственные учреждения, ссылались на мифические права, домо-

гались приема у руководящих работников, с беспримерной назойливостью требовали разрешения эмигрировать — те самые люди, которые еще недавно писали в анкетах, что никаких родственных связей с границей у них не было и нет. Тщетно старались руководители возбудить против отщепенцев народный гнев. Нечто невиданное творилось на глазах у обескураженных представителей власти: потерявшие страх и совесть граждане демонстрировали откровенное презрение к карательным органам, закону и правопорядку. Трудно объяснить этот психоз иначе как нервно-паралитическим и одновременно возбуждающим действием фекальных ядов, содержащихся в испражнениях птиц, хотя выдвигались и другие гипотезы.

II. ОДИССЕЙ ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЛАВАНИЕ

Но все на свете проходит, и все забывается; и пролог на небе был бы забыт, если бы он не был тем, чем в конце концов оказался, — прологом; резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что в конечном счете цепь абсурдных происшествий обнаружила свою скрытую логику. Каковы бы ни были причины смуты, в ней сквозило предчувствие конца. Все вещи сны сбываются, в противном случае они не были бы вещими, все пророчества правдивы, иначе какие же это пророчества.

С другой стороны, предсказатель способен сам накликал беду. Прогноз деформирует будущее. Приметы притягивают к себе то, что они предвещают. Некоторые считают, что, если бы не проклятые птицы, все бы утряслось. Оставим эту версию без обсуждения.

Знали, догадывались ли подданные Ромула, «маленького Августа», что ночь Рима на пороге? Догадывались ли византийцы, что ждет их державу? И если высказывали свои догадки вслух, не значило ли это, что они стали союзниками рока, совиновниками крушения? Как в V веке Рима, как во времена последних Палеологов, многие спрашивали себя, отчего случилось то, что, казалось, никогда не могло случиться. Искали ответа на небесах, винули правителей. Нижеследующая хроника обманет ожидания тех, кто хотел бы найти в ней портреты государственных деятелей. Но не следует поддаваться и впечатлению кажущейся недостоверности. Следует помнить, что едва ли не главная черта страны, о которой идет речь, — это ее возмутительное неправдоподобие.

Обычай предписывает автору с порога предупреждать читателей и рецензентов, а также судебные органы, что его персонажи не имеют реальных прототипов, однако мы не решаемся сделать такое заявление: это было бы неправдой. Сходство героев этой хроники с реальными лицами нельзя считать случайным; опознай их кто-нибудь, от-

пираться было бы невозможно. Этих людей уже нет в живых (что облегчает наше положение), но весь ужас, срам и трагедия — в том, что и страны, где они жили, больше не существует.

Вдруг оказалось — и это после того, как все вроде бы успокоилось, и следы безобразий были устранены, и руководители отправились отдохнуть на свои дачи и поправить здоровье в санаториях Юга, и золотушное солнышко вновь озарило город, и запели искусственные птицы, — вдруг оказалось, что вся почва поплыла, пошатнулись опоры, сгнили тысячелетние сваи. Люди отказывались этому верить. Мало кто решался сказать об этом вслух. Сгнили устои, а это значило, что под подозрением оказалось все прошлое. История, слава, державная мощь предстали как одно грандиозное Якобы.

Согласимся, что никто так слабо не разбирается в своем времени, как тот, кто в нем живет. Никто не понимает его так плохо, не оценивает так наивно и ошибочно его провалы и взлеты, никто так не жесток к его мученикам, не глух к его пророкам. Надо знать, что наступило потом, чтобы постигнуть, чем была эта эпоха.

С этой точки зрения автор находится в выгодном положении. Будущее, к которому взывала ни о чем не подозревавшая эпоха, наступило и принесло ей смерть. И повествователь имеет возможность спокойно обозреть ее с холма, как турист — остатки древнего городища.

Так угасшее время чудесным образом обретает то, чего ему не хватало при жизни, — цельность. Законы, нравы, установления, архитектурный стиль и манера носить башмаки — всему находится свое место, ничто не выглядит случайным. Ничто больше не кажется устарелым, ибо находится по ту сторону старины, не кажется изжившим себя, ибо уже не живет. Надгробные памятники не могут выйти из моды.

Кстати, раз уж зашла речь о памятниках. Цицерон рассказывает, как он отыскал могилу Архимеда в Сиракузах. Пришлось нанять людей, чтобы прорубить дорогу в зарослях к надгробному камню, на котором виднелось полустертое изображение шара и цилиндра; никто уже не помнил о человеке, которому был стольким обязан некогда славнейший из городов Эллады!

Некоторые из наших героев принадлежали к особому роду граждан. Хотя они родились там, где родились, имели метрическое свидетельство и паспорт с гербом, числились на рабочих местах, ходили голосовать, состояли на военном учете, но уверяли себя, что живут в какой-то совсем другой стране. Они называли эту призрачную страну по-разному: Россией, Культурой, Духом, а также Журналом, — вообще предпочитали изъясняться с помощью метафор. И вопрос, над кото-

рым они ломали голову: какое из обиталищ подлинное? — остался для них без ответа. Речь пойдет, однако, не только о них, в чем читатель тотчас же и убедится. Попрошу пройти за ограду.

В конце аллеи, где песок не так чист и бурьян с обеих сторон скрывает свалки мусора, полусгнившие ленты, проволоку прошлогодних венков, узкая боковая тропинка приведет нас к первому экспонату скромной выставки прошлого. Не ломайте голову над эпитафией, здесь лежит Илья Рубин. Так пожелали родственники: никакой другой надписи, кроме древнееврейской, для чего пришлось умастить кладбищенское начальство. Друзья же, принимая во внимание занятия и образ жизни покойного, настояли на том, чтобы не заточать его в загробное гетто предков. В самом деле, кого тут только нет.

Быть может, лучшим способом воскресить наше по видимости бесвязное время было бы раскопать прошлое всех ушедших, разыскать родню, найти документы, терпеливо, как склеивают обломки вазы, сложить это прошлое по кусочкам. Быть может, только так удалось бы реконструировать искомую связь и единство. На большой глубине все корни сплетены, и то, что на поверхности выглядит беспорядочным нагромождением камней и крестов, представляет собой нечто вроде огромного мицелия — грибницы гробниц.

И вот они лежат все вместе и видят сны. От них уже ничего не осталось, но они видят сны. Они все еще видят сны! Ибо сны долговечней тех, кому они снились.

Помнит ли еще кто-нибудь Августина Ивановича, изобретателя времени, его камень должен быть где-то неподалеку... Ах, если бы не свинская погода, не эта чудовищная глина, облепившая подошвы, эта жидкая грязь, засосавшая, можно сказать, всю православную цивилизацию. Мы отыскали бы многих. Не обошли бы вниманием крест с медальоном прелестной черноглазой женщины. Боже мой, да ведь это Шурочкино лицо.

Кαι ου текνον — и ты, дитя!..

Все еще прочный, тесанный крест напоминает о том, что здесь обрел последний приют писатель-мыслитель, совопросник мира сего Петр Маркович Нежин-Старковский. Мир праху твоему; желающие могут фотографироваться на фоне могилы.

Дальше двигаться будет совсем трудно, бурьян выше человеческого роста, бугорок земли, заросший крапивой холмик — вот и все, что осталось от человека. Говорят, территория в скором времени будет расширена для новых поколений. А вернее, здесь будет строиться новый квартал. Под бугром, на глубине двух метров вкушает мир виконт Олег Эрастович, некогда известный в узком кругу как «тот самый», баснословная личность; и нам даже чудится вой седовласого пуделя; ужели оба не заслужили хотя бы скромного памятника?

Зато чуть подальше, о, вот это уже экспонат. Заляпанный птичьим пометом (не тем ли самым?) двухметровый мемориал из поддельного мрамора, в каком-то монгольско-мавританском стиле, с алебастровой луной и кривой саблей, с письменами якобы из священной книги, — на самом деле это черт знает что такое. Воздвигнут объединенными стараниями приближенных, вдов и наложниц. Perché la grande regina n'aveva molto!¹ У хана их было много. Мы называем его по старой памяти ханом, чтобы не путаться в сложном юго-восточном имени. Лишь условно памятник может быть назван надгробием: тело, по непроверенным сведениям, было транспортировано на родину.

А там еще кто-то, ржавые оградки, следы позолоты. Имена и даты, которые уже невозможно разобрать. Что же связывает этих людей? В какой мистической бухгалтерии им выписали путевки именно сюда, чтобы лежать друг подле друга? Если мы вынуждены начать с этого грустного паломничества, если приходится предлагать читателю вместо связного рассказа ворох фрагментов, то не из недостатка художественного воображения, — как уже сказано, речь идет о реальных людях. Но такова была наша изорванная в клочья жизнь. Скажут: всякая жизнь есть хаос. Скажут: искусство должно внести гармонию и порядок. Скажут: измученный человек жаждет смысла, лада, закругленности.

Но что же делать, если подгнили сваи, если время сорвалось с оси, the time is out of joint, как выразился некий принц, держа в руках череп шута... Или это было сказано по другому поводу?

Да, провещал Йорик, сколько раз ты сидел у меня на коленях.

«Горацио, он разговаривает!»

«В самом деле, милорд?»

«Я своими глазами видел, как задвигалась челюсть».

«Этого не может быть, милорд, так не бывает».

Он прав, провещал беззубый Йорик, так не бывает. За оградой, вдали — полог туч. Бугристое поле, овраги, картофельные плантации, и на грифельном небе смутно рисуются корпуса новых районов.

Окраина паразитирует на городе наподобие некоторых диковинных форм биологического паразитизма, когда паразит живет не внутри хозяина, а, наоборот, хозяин оказывается внутри паразита. Окраина обступает город со всех сторон, и по мере того как разбухает и захватывает все новые пространства окраина, чахнет и съедается город. Сухая, крошащаяся сердцевина столицы затерялась в рыхлой

¹ Потому что у великой царицы было много... (А.С. Пушкин. Египетские ночи.) (итал.)

опухоли окраин. Не следует путать окраины с пригородом, который делит с городом его историю; у окраин нет никакой истории. Но зато им, а не дряхлому городу принадлежит будущее.

Ранним вечером — можно было бы сказать: поздним дождливым днем — на конечной станции метро бородатый молодой человек в джинсовом костюме, с толстым и выдавшим виды портфелем выезжает на эскалаторе к автобусной остановке, в сырую фиолетовую мглу.

Подземелье изрыгает все новые порции человеческого фарша. Движение пассажирского транспорта на окраинах описывается — парадокс, но, поверьте, так оно и есть — простейшей математической формулой: чем больше народу на остановке, тем дольше не придет автобус. Стемнело, и в мохнатом воздухе зажглись вокруг площади лиловые фонари. Портфель путешественника опасно раскачивается над толпой, штурмующей автобус, как революционные матросы — Зимний дворец. Грузная колымага отваливает от остановки, отряхивая повисших на подножке, и кто-то бежит следом, цепляется, падает, автобус плывет среди вод, трясется по грязным проездам, все выше громады домов, темнее и глуше улицы. Все дальше от одной остановки до другой: «Аптека», «Заготсырье», «Шинный завод» — так они называются. Где мы, все еще в городе? Но окраина — не город; мы в пространстве, чья метрика, словно метрика сферической вселенной, растягивается по мере отдаления от центра; пятьсот метров на окраине — совсем не то, что пятьсот метров в городе. Безмерная плодовитость автобусной самки не иссякает, роды происходят на каждой остановке. Целый выплод помятых пассажиров вывалился на остановке с табличкой «Корпус 20». Остались те, кто сидит, экипаж уже не покачивается, а подпрыгивает на выбоинах, и рокот мотора сливается с плеском луж.

Пассажир вылезает с последними седоками; растянув над собою зонтики, люди расходятся в разные стороны. Медленный шаг выдает неуверенность человека с портфелем, однако предположение, что он плохо знает окрестность, ошибочно; он высматривает телефонную будку. Телефоны возникают и исчезают в этих районах, где лишь прочные конструкции и крупные сооружения способны противостоять бесчинству стихий и населивших окраину феллахов. Он забирается в будку с неразбитым аппаратом, с необорванной трубкой, с шатающимся, но все еще функционирующим диском. Попытки соединиться безуспешны, стальная утроба глотает монеты, молодой человек с портфелем, зажатым между ногами, изрыгнет вялую брань, молотит кулаком.

Аппарат живет мистической полужизнью: ухо ловит потусторонний шелест; отрыжка после съеденной мелочи, сырая тухлятина, запах железного пищеварения. Сквозь стекло телефонной кабины вид-

ны утесы зданий, видна рябая водная гладь. В последний раз перед тем, как пуститься в путь, мореплаватель набирает номер. Чудо, аппарат откликается. Гудки на другом конце света и щелчок рычажка.

«Алё... Это ты? Это я... Дуся моя, я тут рядом, алё?.. Ты как? Сейчас приду».

Выйдя из будки, он озирается. Несколько мгновений спустя мы могли бы увидеть, как он прыгает со своим портфелем между лужами вдоль домов, пересекает пустырь, сворачивает, пропадает в паутине дождя.

По всей вероятности, нам придется еще побывать в квартирке на двенадцатом этаже, куда только что ввалился в хлюпающих башмаках, в потемневшей от влаги джинсовой куртке Илья Рубин. Хозяйка — ей можно дать лет двадцать пять — стоит перед зеркалом. Комната-квартира Шурочки мало чем отличалась от комнат в других квартирах блочного дома, совершенно так же, как дом ничем не отличался от других домов. Но это была ее комната, скромное чудо которой, как и чудо всякого жилья, будь то берлога зверя или апартаменты вельможи, состояло в том, что каждая вещь была более или менее частью ее души и продолжение ее тела. Некто утверждал, что человек — это его поступки. Ошибка: человек — это его вещи. Флаконы и пудреница на крошечном столике перед трюмо дожидались прикосновения ее пальцев. Чулки, брошенные на спинку стула, изнывали от ревности к другим, роскошным вишнево-серебристым чулкам на ее икрах. Ржавый трехколесный велосипед на балконе был немым укором умершего ребенка.

Скосив взгляд, выставя то одно плечо, то другое, переступая туфельками, она оглядывала себя, она была в необыкновенном платье, эффектно-скромном, сдержанно-вызывающем — черное с красным; таинственное отражение манило и будоражило Шурочку, а визитер помещался на особой разновидности тогдашней мебели, оригинальном изобретении эпохи, под названием диван-кровать, шевелил лоснящимися почернелыми пальцами голых ног и чувствовал себя вещью среди вещей; но главной вещью была она сама. Не правда ли, поведение женщины перед зеркалом тем и отличается от глупого глазения мужчины, что он видит в стекле только себя, а она созерцает чудную дорожную вещь, вроде тех, какие стоят в витринах?

«Не коротко?»

Он усмехнулся. «Чем короче, тем лучше».

Постояв еще немного, глядя себе в глаза, она спросила:

«А кто он такой?»

«Я тебе уже тысячу раз говорил».

«Боюсь я что-то... Может, не пойдем?»

«Волков бояться, в лес не ходить».

Она одергивала подол, выставив грудь, разглаживала платье на талии.

«Сама не знаю», — пробормотала она.

«Никто тебя силой не тянет, сама напросилась».

«А ты намекнул!»

«А ты согласилась».

«А ты, если бы меня хоть капельку уважал, никогда бы не посмел заикнуться об этом». Она прикладывала к груди брошь, примеряла клипсы.

«О чем?»

«Сам знаешь, о чем».

«Ну, посмотрит он на тебя, ну и что?»

«Тебе это безразлично?»

«Скажешь: раздумала — и общий привет».

Молчание.

«Сама не знаю... А кто это такие?»

«Между прочим, никто тебя не агитирует. Решай сама. Желающих достаточно...»

«Вот я и решила». Она наклонилась, приподняла подол платья, чтобы подтянуть чулки. Гость стоял позади нее, она выпрямилась, он лениво обнял ее. Босой, она на каблуках, черные волосы щекотали его лицо.

«И хватило же наглости, — сказала она, — предлагать мне. Никуда я не пойду».

Она сбросила с себя его руки. Он снова обхватил ее за талию.

«Убери лапы».

«Никто тебе не предлагал, сама вызвалась».

«А кто рассказывал, кто меня науськивал?»

«Науськивал?»

«Кому сказано — убери свои грабли!»

«Ну вот что, нам пора».

«Никуда я не пойду».

«Хорошо, я пошел».

«Ботинки не просохли».

«Они до утра не просохнут. Пошли, хватит вертеться. Ты ослепительна. Вот что, одно из двух. Или мы идем, или я позвоню и скажу, что ты раздумала».

«Коротковато, — сказала она задумчиво, — особенно когда сядешь. Может, опустить пониже? И проглажу, одна минута... Далеко идти?»

«Я думаю, пешком — самое разумное».

«Может, не пойдём?»

«Не пойдём».

«Я знаю, почему ты это все затеял. Чтобы от меня отделаться».

«Причем тут я?.. Ладно, забудем эту историю. Дай-ка мне портфель, там записная книжка».

«Чего ты с ним все таскаешься?»

«Дела, дуся моя...»

«Какие же это дела?»

Он развел руками, изобразил покорность судьбе.

«Если бы не дела, плюнул бы на все и женился на тебе».

Она скривила губы.

«Только ведь ты за меня не пойдешь. Тебе надо кого-нибудь поселить».

«Ах, ты гад! Все вы сволочи».

«Хорошо. Дай мне портфель. Сообщим, что визит отменяется, только и делов».

Он крутил телефонный диск.

«Занято», — сказал он.

«Вот если бы ты был кавалером... — прикинув к зеркалу, она покрасила рот, растерла помаду движением губ, вымела кончиком мизинца крошку черной краски в углу глаза, — если бы ты был кавалером...»

«То что?»

«Вызвал бы такси!»

«Какое тут такси, сюда ни одна собака не поедет...»

Она вздохнула: «Все-таки коротковато».

Дождя не было. Белесая мгла обволокла тлеющие фонари. Пропали дома, пропал весь район, огни окон светились в пустоте, подьезды появлялись и исчезали в известковом растворе. Немного спустя в тумане обрисовались две фигуры, высокая и пониже, протащились мимо; Илья обернулся, они остановились, точно ждали оклика.

«Девоньки, помогите сориентироваться».

«Заблудились, что ль?»

«Такая каша, ничего не видеть».

«Мы сами ищем...»

«Тут должна быть где-то Кировоградская».

«Это она и есть, — сказали девоньки, — тут все Кировоградские. Вам который корпус?»

«Двадцать второй».

«Ну и нам двадцать второй. А, Зинуля? Нам ведь двадцать второй? Евстратова, тебя спрашиваю!»

«Я почем знаю», — сказала высокая.

«Ну, в общем, нам тоже в двадцать второй».

«Это какой корпус? Там должно быть написано».

«Сейчас погляжу, — сказала низенькая. — Двадцать второй!»

«Все в порядке, — сказал Илья, — а вам какая квартира?»

«Нам? Да в общем-то все равно. Зинуля, я правильно говорю? Нам все равно, какая квартира».

«Как это все равно?»

«Да так... нам все едино, верно я говорю?»

«Ладно болтать-то», — сказала высокая.

«Мы вам мешать не будем, — сказала низенькая, — возьмите нас с собой».

«С собой?»

«Угу».

«Девоньки, — сказал Рубин, — с особенным удовольствием пригласил бы вас в гости. Можно сказать, мечтал всю жизнь. Но войдите в наше положение».

«Мы не будем мешать. Мы в другой комнате будем сидеть».

«Все понятно. Не в том дело. Мы сами идем в гости».

«Ну и что?»

«Да и Зина, мне кажется, не очень расположена».

«Зинуля? Да она только и мечтает. Правильно я говорю?»

«Ладно болтать-то».

«Все понятно. Давайте, милые, так договоримся. Мы сейчас быстро сходим — пятнадцать минут, не больше. Потом возвращаемся и идем вместе. Вы пока погуляйте!» — крикнул он, поднимаясь на крыльцо, и больше их не было, пучина сомкнулась над ними.

В тускло освещенной, шаткой коробке лифта Шурочка разулась, держась за провожатого, вставила ноги в узкие туфли на шпильках. Кабина доехала до последнего этажа и с лязгом остановилась. Дом был повышенной категории, как тогда выражались, другими словами, не совсем новый, согласно правилу: чем новей, тем хуже, — с широким лестничным пролетом, с просторными площадками. В полутьме поблескивали высокие обшарпанные двери жильцов. Илья Рубин трижды нажал на кнопку, в недрах квартиры продребезжали три звонка, два коротких и один длинный, издали слабо отозвался собачий голос, подкатился к дверям, прислушался, пролаял снова свой вопрос.

«Он сейчас скажет, что не ждал нас. Не обращай внимания».

«Какими судьбами, кель сюрприз! — вскричал Олег Эрастович. — А я уж, признаться, и надежду потерял!» Человек, чье имя здесь уже промелькнуло, стоял, держась за дверную ручку, как будто готовый тотчас захлопнуть дверь; это был господин лет пятидесяти, а может быть, семидесяти, малорослый и чрезвычайно импозантный: в голубых усах, остренькой эспаньолке, с холеным мясистым лицом, густоб-

ровый, в косо надвинутом лиловом берете на седых кудрях и в пенсне, которое, несколько подбочась, если можно так выразиться, сидело на его породистом носу. Одет был в домашнюю вязаную кофту, на жилистой шее — лазоревая в темный горошек бабочка, иначе собачья радость, на ногах отороченные мехом шлепанцы.

«Наслышан, как же, как же... но не ждал!»

Он помог даме высвободиться из отсыревшего макинтоша, Шурочка тряхнула головой, ища глазами зеркало, хозяин отступил назад, как бы пораженный ее красотой, открывшимся зрелищем от тифелек и вишневых чулок до нимба волос, церемонно поцеловал руку у застыдившейся гостьи и устремился вперед. Жилище выглядело несколько запущенным и все же роскошным; на стенах в коридоре висели светильники наподобие канделябров, на полу лежал невероятно пыльный ковер; вдобавок квартира оказалась двухэтажной, что указывало на повышенную категорию владельца: как уже сказано, человек — это его жилье. В конце коридора находилась невысокая лестница, перед ней стоял со шляпой в руке деревянный карлик, весьма похожий на Олега Эрастовича, и пудель, вертевшийся под ногами, был тоже копия хозяина. Сам же Эрастович напоминал директора театра оперетты либо заведующего домом для престарелых работников сцены, словом, лицо административно-художественное; возможно, и был некогда кем-то таким; по другим же сведениям, проработал всю жизнь бухгалтером конторы «Заготскот». Малоубедительная версия, принимаемая во внимание его хоромы.

«Погода монструозная; живем в бесчеловечном климате. Надеюсь, вы не промокли. Прошу наверх... А вы, — он щелкнул карлика по носу и нацелился на пуделя, — вы оба останетесь здесь, вам там нечего делать».

Особу такого рода трудно представить себе без трубки, которую даже не курят, а держат несколько на отлете и помавают ею, но как раз трубку Эрастович не курил; устроившись под оранжевым торшером в продавленном кресле, откуда был виден его нос и торчала подрагивающая нога в домашней туфле, он держал двумя пальцами, словно бабочку, пенсне, а в другой руке согревал бокальчик с благородным напитком. Гость глядел в свой бокал, гостья осторожно брала конфеты из коробки с бумажными кружевами.

«Гм, Ариадна... — говорил он, — позвольте мне быть откровенным, имя что-то не того... Дорогие мои, надо шагать в ногу со временем. Все эти Ариадны, Эльвиры, Элеоноры вышли из моды, они больше не котироваются! Сознайтесь, вы его просто придумали, я угадал?.. Вообще я предпочел бы что-нибудь более скромное, задушевное, что-нибудь русское.

Я бы сказал так: ближе к действительности, ближе к народу, это сейчас особенно ценится... Между прочим — о чем тоже нередко забывают, — каждое имя требует соответствующей внешности. Бывают имена жаркие, знойные, откровенные, они предписывают форсированную косметику, ярко-алые губы, платья горячих расцветок. Ваше имя — это имя приглушенное. Допустим, Катюша, или Саша, или, может быть, Люся. В зависимости от обстоятельств возможен западный вариант: Люси».

«Олег Эрстович, вы просто ясновидящий».

«Что такое?»

«Я хочу сказать, папа и мама именно так и собирались ее называть».

«В самом деле? — сказал Олег Эрстович, насаживая пенсне на мясной нос. — Вы действительно Людмила?»

«Александра», — потушилась Шуручка.

«Это подтверждает мою теорию: знаете ли вы, Илюша, что имя обладает таинственным обратным действием, я бы сказал, определяет облик женщины! Хотя из чисто практических соображений, вы правы, было бы лучше пользоваться псевдонимом. Вроде того как, знаете ли, актрисы в старину брали себе сценическое имя. Оно и практичней. Мы подумаем... А теперь я хотел бы перейти к делу. Рюмочку коньяку?.. Вы позволите?»

Она поглядывала украдкой на себя в стекле книжного шкафа.

«Милая моя, я не спрашиваю никаких подробностей, рекомендации Илюши вполне достаточно. Разрешите взглянуть на ваш паспорт... чистая формальность... Гм, вы замужем?»

«Давно с ним не живет», — уточнил Рубин.

«Дети?»

«Детей нет».

«Так-с, детей нет», — рассеянно констатировал Олег Эрстович, подрагивая туфлей. Неожиданно туфля свалилась, Шуручка увидела, что из продрванного носка торчит черно-желтый коготь. Хозяин втянул воздух в широкие ноздри; нога нырнула в туфлю.

«Детей нет, так-с. Надеюсь, мы работаемся... Возможно, понадобятся кое-какие усовершенствования, кое-какие дополнительные штрихи. Мне не хочется обижать вас, но, дорогая моя, эти... — он показал на свои уши, покачал головой, — эти... клипсы, кажется, так они называются? Просто невозможны. Да, в сущности говоря, и прическа, мягко говоря, оставляет желать лучшего... Поймите меня правильно, я не хочу вас обидеть! Вы получите для начала необходимую сумму, для предварительного обзаведения. Впрочем, это потом, всему свое время. Итак. Вы ведь, кажется, медсестра? Я не ошибся? Прекрасно, медсестра — это чистая профессия, это аккуратность, чистоплотность, белая

шапочка, свежий, подтянутый вид. Это молодость, это расторопность. Это, между прочим, дисциплина! — Олег Эрастович поднял палец. — Но увы! Это бедность. Будем смотреть правде в глаза».

И он погрузился в созерцание своего бокала.

Шура сидела, составив ноги в тифельках, с видом плохо успевающей ученицы. Илья Рубин оглядывал комнату. Книжки, вещички. Над головой хозяина висел писанный маслом портрет вельможи александровского времени, впрочем, не масло, а вставленная в рамку репродукция.

«Олег Эрастович, а это правда...»

«Что такое?» — сказал Олег Эрастович, пробуждаясь.

«Я хотел спросить Это правда, что ваш предок был...?»

III. ВИКОНТ, ИЛИ ДОБРОДЕТЕЛЬ

Автора упрекнули в непочтительности. Скажут: чуть ли не каждое попавшееся на глаза лицо превращается в карикатуру, чуть ли не вся наша жизнь — повод для зубоскальства. Это, разумеется, не так, можно было бы вспомнить и знаменитый афоризм насчет невидимых миру слез... и все же оснований для упреков достаточно. Жуткая и неправдоподобная катастрофа, постигшая столицу, тяжкие предчувствия и общий раздрызг — во всем этом нет ничего смешного, а между тем каков тон! Прав читатель, чувствуя злость и усталость от бесконечных ухмылок, и трижды правы были бы действующие лица, если бы они были живы и выступили с опровержением. Но что делать, если серьезный слог сам звучит как пародия. Итак, *revenons*¹ к нашим баранам.

«Да, это правда. Если вас это интересует... Мой прадед был его родным братом, стало быть, сами решайте, в какой мы степени родства. А мать этих двух братьев была родом из Шотландии, князь Андрей Саврасович, наш прапрадед, увез ее от мужа в Россию... Есть в нашем роду и шведская кровь, и немецкая. А вот это место, где мы с вами находимся, эта гнусная окраина когда-то называлась Олсуфьево, мы ведь не только Вяземские, не только Гризебахи, мы еще и Олсуфьевы. Здесь было... но, я думаю, нам все-таки надо ближе к делу!»

«Олег Эрастович, — сказал Илья Рубин, подмигнув соседке, — вы говорили, что вашим предком был маркиз, как его...»

Олег Эрастович сверкнул стеклышками пенсне.

«Не маркиз, а виконт. Огюстен-Этьен виконт де Бражелон. Что тут странного? Впрочем, минуточку. Раз уж вы так интересуетесь».

¹ вернемся (*франц.*)

Он зашлепал из комнаты, гостя растерянно смотрела ему вслед. Рубин вертел в руках кремлевскую башню из янтаря с надписью над воротами: «Многоуважаемому О. Э. в день 60-летия в знак благодарности от друзей».

Голос хозяина послышался в закоулках квартиры:

«Зимой тысяча восемьсот двенадцатого года...»

Башня упала на пол, Шурочка в ужасе прижала ладонь ко рту. В последнюю минуту удалось кое-как насадить отвалившуюся звезду на обломок шпиля, сувенир был пристроен в шкафу перед книгами, поспешно задвинуто стекло.

Явился Эрастович с пожелтым канделябром, на этот раз настоящим, и с фанерным щитом с ручками для продевания руки. Он прислонил щит к своему креслу; перед креслом поставили канделябр, потушили торшер и зажгли свечи.

«Раз уж вы так интересуетесь, — промолвил хозяин, — маленькая романтическая история. Зимой 1812 года, при отступлении Наполеона из Вязьмы, там остался раненый поручик, его перевезли в загородный дом помещиков Кулебякиных. Была такая, если не ошибаюсь, вдова Варвара Осиповна Кулебякина. Вдвоем с дочерью они выходили раненого француза, а года через два его разыскал в Вязьме отец, виконт де Бражелон. Вы, наверное, уже решили, что дочка втюрилась в молодого поручика. Ничуть не бывало: она подарила свое сердце старому виконту. Поручик, он даже, кажется, был не французом, а вюртембержцем, побочный сын, Бог его знает, обычная история, все мы в каком-то смысле побочные дети... так вот, поручик остался с носом, принужден был уступить поле боя, отбыл в свой Вюртемберг, и что с ним было дальше, неизвестно и неинтересно. А вот папаша, который был, между прочим, старше самой матушки, папаша-таки женился на дочери и стал одновременно и зятем, и отцом семейства. Вдова была вне себя от ревности, однако злые языки утверждали, будто он утешал обеих дам. И будто бы, но это уже легенда, обе имели детей. Впрочем, я происхожу от старшей. Фу! — сказал, нагибаясь, Олег Эрастович, и канделябр потух, распространяя слабую вонь. — Можете ли вы мне объяснить, зачем я приволок эту руину?»

Щит был прислонён к шкафу.

«Так на чем, э, мы остановились?»

В самом деле, на чем?

«Да! Наш герб... В левой половине золотой шеврон с тремя ядрами и тремя звездами на голубом поле. Знак того, что прапрадед мой был лейб-кумпанцем и находился среди тех солдат, что помогли Елизавете взойти на российский трон. Все были возведены в дворянство, получили надель и все такое... Что касается правой половины, то она принадлежит виконту. Три луны, значение их неизвестно. Согласно

глухому преданию, этот астрологический рисунок содержит предсказание о будущем рода... Я занимаюсь сейчас конструированием совокупного герба, объединяющего все четыре фамилии».

Наступила тишина. Снизу донеслось какое-то движение, осторожный подвыв.

«Все умерли, — прошептал Олег Эрастович, — и Кулебякины, и Олсуфьевы. И шведы, и немцы, и... и хрен знает кто!»

Послышалось цоканье когтей вверх и вниз, урчанье, и снова кто-то гавкнул.

«Молчать! — закричал хозяин. Пудель залился лаем. — Вот я тебя сейчас, проходимца... Прошу», — промолвил он, расправил на шее бабочку и приосанился.

Комната, называемая студией, была перегороджена ширмой, у окна помещался фотоаппарат на треноге.

«Милочка моя, не волнуйтесь, дело есть дело. Рядом, если надо, туалет... Сниматься пока не будем. В другой раз, может быть... Фотографии понадобятся для альбома... Но сперва я должен оценить ваши данные. Илья, будьте любезны...»

Он показал пальцем, где включить подсветку.

«Пожалуй, верхний свет не нужен... Если вы мне принесете, э, чуточку подкрепиться, там, на столике... буду благодарен по гроб жизни. Шторы опустите. Нужно учитывать все: цвет волос, глаз... О-о, вечная поясница! Позвольте, я прилягу... Милочка, вы живы?.. Мы ждем. Мы терпеливо ждем».

Прошло довольно много времени, прежде чем она выступила, сильно робея, из-за ширмы. Студия преобразилась, сияние ламп придало спектаклю фантастический вид. Олег Эрастович лежал на кушетке. Он взглянул на Шуру, грозно втянул воздух мясным носом и тотчас прикрыл рукой глаза.

«Дорогуша, вам придется, — пробормотал он, — самым внимательным образом заняться своим бельем. Таких тряпок никто больше не носит. Их нужно просто выкинуть. Теперь совсем».

Она исчезла за ширмой и вышла через минуту, близкая к обмороку. Эрастович лежал, не отнимая руки от глаз.

«Готово?» — спросил он.

«Да», — сказала она еле слышно.

Он сел, держа перед собой бокал. «Жарко», — промолвил он и снял берет, чтобы обмахиваться им. Или это был жест уважения к красоте? Лилово-седые кудри окружали его череп. Олег Эрастович отхлебнул хорошую порцию. Бокал стоял на полу возле его ног. Он снял пенсне, подышал, протер, вновь насадил на нос, нахмурил пышные брови.

«Ну-с, по-немецки орех, обратите внимание на эту линию. Люленька, или как вас... чуть-чуть влево. Голова повернута в противоположную сторону, слегка скосить глаза. Нет, так нельзя, опустите руки. Правая — на лоне. Я сказал: на лоне. Поза Афродиты. Прекрасно... Теперь станьте прямо, просто так, руки опустите. Старые мастера называли это позой добродетели, почему бы и нет... Вам не холодно? Здесь не должно быть холодно. Теперь спиной. Ягодицы просто прелесть... Я положительно уверен, что вы будете иметь успех. Видите ли, друзья мои...»

Мерный голос Эрастовича напоминал голос лектора или экскурсовода.

«Видите ли... Майоль создал женщину с тяжелыми бедрами, эту Астарту с могучими формами, мощными, почти каменными ногами — это было актом исключительной смелости, это было революцией. Но я остаюсь верен классическому канону. Я счастлив, милая, поздравить вас с тем, что вы не успели отяжелеть. Бедра должны иметь форму фригийской лиры. Живот, как это ни парадоксально, должен оставаться маленьким, хотя и выпуклым. Видно, впрочем, что вы рожали... И без абортв небось тоже не обошлось? Жизнь есть жизнь... Видите ли, я вам скажу так, — продолжал он, отнесясь к Рубину, — все дело не столько в формах, сколько в пропорциях. Это звучит как банальность, и тем не менее далеко не все это понимают. Женщины склонны придавать преувеличенное значение той или иной детали, женщины вообще поглощены деталями, так сказать, не видят из-за деревьев леса, одни обеспокоены тем, что у них слишком маленький бюст, другие думают, что надо обязательно иметь шаровидные груди, а грушевидные — это якобы уже не так красиво, большая грудь — тоже плохо... Все это вздор! В действительности размеры сами по себе не имеют значения, важно, чтобы они вписывались в общую панораму. Согласовывались со всем остальным, с ростом, с шириной бедер. Для художника это азбучная истина. Но главное — это музыкальность линий. Терпение, милочка, станьте бочком... Внимание! — Его палец вознесся в воздух. — Что я подразумеваю под музыкальностью? Прослеживая линию, идущую от подбородка к коленкам, мы должны получить единую мелодию, непрерывный тематический ход. Как всякая тема, эта мелодия обладает внутренней логикой; это пока еще только контур, посвящение в женственность, ибо, заметьте, вы еще не видите женщину, не владеете ее образом, то, что вам представит, — лишь мелодия женственности. Люся... или как вас там. Прошу терпения. Вас касается... Вот: круглый, слегка подтянутый к нижней губе подбородок, затем плавное диминуэндо шеи, переходящее в проникновенную песнь, в торжествующий дуэт грудей, который завершает легкая фиоритура, форшлаг сосков, при этом второй форшлаг как

бы эхом звучит позади первого. Вот почему, кстати, спелые груди требуют и хорошо развитых, выпуклых сосков... После чего... пардон. — Он прервал себя, чтобы отхлебнуть из бокала. — Гхм! Да... После чего мелодия, нисходя, делает небольшой ритмический перебой: вы слышите синкопу, теплая тяжесть молочных желез, их мощный, но приглушенный аккорд переходит в задумчивую, прохладную кантилену живота. Мелодия растет... и вновь легкий провал, снова форшлаг, впадина пушка, вот, кстати сказать, один из наиболее спорных вопросов музыкальной эстетики женского тела: как отнестись к пупку, нужен ли он, не нарушает ли он мелодию? Еще Рёскин писал о том, что пупок Афродиты Арльской — единственное, что грозит нарушить ее совершенство, вот почему он едва заметен. Читайте Рёскина, мой друг! Дело дошло до того, что некоторые знаменитые красавицы в эпоху Возрождения — известный факт — зашивали себе умбиликус, да, да, предпочитаемая хирургический рубец восхитительному природному дефекту, который, на мой взгляд, не только не портит женский живот, но, напротив, придает ему пикантность. Это, если угодно, родник среди пустыни, это глаз, который смотрит на вас непосредственно из тела... У индусов существует поверье, что из зернышка, брошенного в пупок богини, возрастает лотос. Из пупка Вишны рождается Брама. Можно понять, впрочем, — продолжал вдохновенно Олег Эрастович, — откуда возникло это гонение на пупок: не только из соображений эстетики, тем более что эстетические аргументы, на мой взгляд, неубедительны, я — решительный сторонник пупка... Взгляните... Александра, чуть-чуть влево... достаточно. Взгляните, какая прелесть этот пупок, эта крохотная раковина, не правда ли? Так вот: откуда же все-таки это гонение? В чем дело? Почему? Я вам отвечу. Потому что пупок претендует, так сказать, на привилегию считаться центром тела! У индусов так оно и есть. Вообще пуп как середина и средоточие тела, а значит, и центр мироздания, *umbilicus mundi* у древних римлян, — это интереснейший сюжет! Центр тела — и, следовательно, отвлекает от другого центра. Это, можно сказать, вопрос принципиальный. Но мы отвлеклись. Итак! Нисходящий звукоряд, спуск к низинам разрешается мягким аккордом, я говорю о венерином холме — тоже, знаете ли, своеобразный композиционный ход. Ведь, казалось бы, мы ожидаем плавного нисхождения, равномерного спуска к кратеру, к завершению, в тайную цель, а вместо этого мелодия, хоть и обессиленная ожиданием, взмывает в последний раз. Как бы перед смертью, словно вспыхнувший и затухающий огонь, в последний раз — чтобы окинуть взором всю себя!.. У вас бывают ночные дежурства?» — спросил он, когда демонстрация была окончена.

«Суточные, — пролепетала Шурочка. — Сутки отработала, два дня свободных».

«Гм».

Все трое находились снова в комнате с книжным шкафом, торшер тускло отражался в стекле, и сам Эрастович после лекции выглядел несколько оплывшим, струйки пота блестели на его лбу, словно растаявший воск, пенсне едва держалось на отсыревшем носу.

«А изменить расписание невозможно? Вы не должны приходить на работу утомленной. Мы сделаем так: я буду стараться приспособливаться к вам, а вы уж как-нибудь приспособьте свое расписание ко мне... Но мы еще вернемся к материальной стороне дела».

Он обвел полки томным коньячным взором, увидел искалеченный подарок, покосился на сидящих. Шура задумалась. Рубин изобразил преувеличенное внимание. Олег Эрастович втянул носом воздух.

«Вы будете зарабатывать достаточно, чтобы прилично жить. Мы подумаем о том, чтобы улучшить ваши жилищные условия... И тем не менее... Я хотел бы вас просить, я даже настаиваю на этом. Вы не должны ни в коем случае бросать работу в больнице. Так надо. Надеюсь, вы меня понимаете... Вы получаете твердый гонорар, наличными, мне — две трети. Вы не будете обделены, Александра, уверяю вас...»

«Кстати, — заговорил он снова, — знаете ли вы, э-э... кто мне преподнес вот эту... вон там... Спасскую башню?»

Он ждал ответа, но Илья ограничился тем, что пожал плечами.

«Так вот... Два слова о наших клиентах. Большая часть из них — люди приезжие. Ответственные работники, крупные инженеры, профессора, словом, серьезные, солидные люди, исключительно по рекомендации... Некоторые пользуются моей дружбой много лет... Абсолютная благопристойность, рыцарское отношение к даме. Это одно из моих правил. И, замечу попутно, люди щедрые. Я не вмешиваюсь, не требую отчета о том, какие подарки преподносятся сверх установленного гонорара, единственное, о чем прошу, — ставить меня в известность... Женщина, знающая жизнь, не будет спорить, если я скажу, что пожилой друг с твердым положением в обществе, с партбилетом в кармане, разумеется, на хорошей должности, предпочтительней молодого вертопраха... Об абсолютной конфиденциальности, я полагаю, незачем говорить, она подразумевается сама собой. Я звоню, я рассчитываю, что вы дома, по телефону никаких подробностей, сообщаю только адрес гостиницы. Там вам не будут чинить препятствий, называть себя тоже не обязательно... Сообщаю этаж, номер, время визита. В отдельных случаях возможна экскурсия за город, музей, концерт, что-нибудь в этом роде, ужин... Задерживаться на всю ночь — ни в коем случае. Впрочем, я сам договариваюсь об этом с заказчиком... Финансовый отчет — каждые две недели. Если вы больны или надо отлучиться из города, покорнейше прошу ставить меня в известность. Это касается и женского недомогания».

Наступило молчание.

«Все понятно? Или есть какие-нибудь вопросы?»

Илья Рубин взглянул на Шурочку, она сидела, выпрямившись, в своем черно-красном платье, положив сумочку на колени.

«Олег Эрастович...» — промолвил Рубин.

«Что Олег Эрастович? Что Олег Эрастович?! — неожиданно вскричал хозяин, ловя падающее пенсне. — Олег Эрастович должен крутиться, как карась на сковороде. Всем надо угодить, чуть что — Олег Эрастович, он все может, все устроит. Фигаро здесь, Фигаро там! Думаете, это так просто?.. Не устраивают мои условия — ради Бога. Скатертью дорога! Желающих достаточно...»

Услышав громкий голос, пудель внизу проснулся и присоединился к хозяину.

«Молчать!»

Мелкий стук собачьих когтей, пудель взбежал по лестнице.

«Я кому...» — грозно начал хозяин.

Когти скатились вниз.

«Ну, что такое? — спросил он утомленно. — Что вы хотели спросить?»

«Мы уже уходим, Олег Эрастович, я только хотел вам напомнить... Вы обещали насчет машинистки».

«Какой машинистки? Ах, да. Оставайтесь».

«Олег Эрастович, я бы хотел проводить...»

«Ничего, сама дойдет».

Вполне понятное смятение молодой женщины объяснялось более сложными, чем может показаться, обстоятельствами; мы не ошибемся, предположив, что стыдливость Шурочки была отчасти наигранной. Не то чтобы она без колебаний, как чему-то, что само собой разумеется, решила подвергнуться этому странному экзамену. Но если не говорить о первых минутах, когда она вышла из-за ширмы с колотящимся сердцем, ужаленная ярким светом, уронив голову, если не говорить об этом минутном страхе, похожем на панику дебютантки на подмостках, — страхе, с которым она благополучно справилась, — то дальнейшее представление волновало ее не так уж сильно. Особенно когда она убедилась, что «экзамен», так сказать, носит не только деловой характер. (В альбоме Олега Эрастовича, пополнившем материалы следственного дела и впоследствии исчезнувшем, о чем можно пожалеть, ибо редкий документ эпохи может быть так красноречив, фотография Шурочки отсутствовала.) Заметим, что далеко не все из представленных на снимках дам отвечали строгим эстетическим критериям Олега Эрастовича; альбом, род рекламного проспекта, был рассчитан на разные вкусы. Тем не менее коммерческую сторону не следует

абсолютизировать. Беглое знакомство с обитателем двухъярусной берлоги, где он проводил время в обществе пуделя и деревянного карлика, среди книг и аристократических воспоминаний, убеждает, что им правил не один лишь голый чистоган. Рискнем высказать предположение, что в конспиративном заведении Олега Эрастовича смотрины были неким эквивалентом того, что некогда называлось *jus primae noctis*¹.

Так вот, если вернуться к Шурочке, едва ли ее неуверенность была вызвана самой этой демонстрацией, ведь она приблизительно знала, куда идет, приблизительно догадывалась, что предстоит что-то «в этом роде». Мужчинам свойственно преувеличивать стыдливость другого пола. Вернее сказать, мужчины не в состоянии понять, где кончается истинная стыдливость и начинается театр, не в состоянии уразуметь тот простой факт, что стыдливость — это уступка преувеличенному значению, которое они придают наготы. Дрожала ли она от холода или при мысли о том, как бы не подкачать в телесно-профессиональном смысле? Профессией предстояло еще овладеть, и, как многие начинающие, несмотря на свои 27 или 28 лет, она несколько романтизировала ее.

В былые времена, если верить романистам, на рынке любви преобладали соблазненные горничные, изгнанные из богатых домов; в наши дни, когда горничных давно уже не существовало, общественную потребность удовлетворяли продавщицы магазинов, подавальщицы в пивных, уборщицы, парикмахерши, медсестры. Нам довелось беседовать с Шурочкой. Она была откровенной — насколько позволяет женщине быть искренней ее лицедейство перед самой собою. Что прельстило ее, почему она согласилась работать у Эрастовича? Она пожалала плечами. А почему бы и нет? В самом деле, вместо того чтобы спрашивать, что побуждает девушку выйти на панель, следовало бы спросить, что удерживает ее от этого.

Десять, а то и больше суточных дежурств в месяц, весь день на ногах, ночью тоже нет покоя, так что к концу смены валишься с ног; а ведь и дома тоже не сидишь без дела. А зарплата? За такую зарплату вкалывать — надо еще поискать дураков. Да и вообще... В этом «вообще», собственно, и заключался ответ, скрывалось то главное, для которого ссылки на трудную жизнь были скорей оправданием.

Укажем на очевидный парадокс публичного ремесла: проституция, как нам объясняли, представляет собой опредмечивание женщины; не столько надругательство над телом, сколько пренебрежение личностью; женщина есть товар, объект желания и наслаждения, прочее несущественно. И в то же время, да, в то же время это ремесло

¹ право первой ночи (*лат.*).

обещает ей то, чего никогда не может дать обиденная жизнь. Разве не она, эта тусклая, скучная, безжалостная и бесперспективная жизнь, аннулирует ее личность? Тогда как «ремесло» возвращает свободу. Если хотите, возвращает чувство собственного достоинства! Ремесло приносит деньги, но так же, как скудость средств не была единственной причиной схождения на стезю порока, гонорар сам по себе еще не есть единственный резон продажной любви. Проституция тела есть раскрепощение души, да, не что иное, как особый способ самоутверждения, если угодно, самоосуществления.

Быть может, парадокс этот задан самим языком. Разве шум языка, риторика языка, демагогия языка не навязывают нам готовый образ мыслей, готовый ответ, едва только мы произнесли все эти слова: купля, продажа, отчуждение, унижение? Шурочка ожидала увидеть циничного порабощателя, презрительного хама — чего доброго, для начала должна была разделить постель с ним самим. Вместо этого ее встретил джентльмен изысканных манер. Шикарный дядька! Душевные иной жизни, словно аромат французских духов, обдало ее; она почувствовала себя в мире романтической богемы, в пестром и переливающимся, как финифть, мире кино, эстрады, конфет и коньяков, безопасности и головокружительного веселья. Проституция... При чем тут проституция? С этим грязным словом связывалось что-то непогрешное, пьяные девки на вокзалах, темные углы, венерические болезни. Это слово было оскорбительным. В нем было то самое, что мы называли демагогией языка.

Не говоря уже о том, что в нашей стране проституции нет. Проституция как социальное явление в нашей стране уничтожена. Проституцией вынуждало женщину заниматься полуголодное существование. У нас голодных нет. Олег Эрастович показался ей немножко комичным, немножко дураковатым, даже трогательным, очень ученым и бесконечно обворожительным. Должно быть, в молодости был орел... Он рассмешил и поразил ее в первую же минуту. Когда в прихожей она сняла свой плащ. Когда она взбила волосы. Как он смотрел на нее! Или, лучше сказать, какой юной, стройной, манящей, изящной и таинственной она увидела себя в мерцающих стеклышках его пенсне!

Позировать перед несколькими зрителями — совсем другое дело, чем перед одним: проще и безопасней; хорошо, что Илья присутствовал на смотринах. Но что Илья! Настоящим зрителем и ценителем был этот старикашка в лиловых усах, именно это зеркало дало ей понять, что она женщина, открыть в себе то, что дремало в ней и что было сковано предрассудками, лицемерием, задавлено тухлой жизнью, унылым бытом, всеобщим хамством. Что он там пел? Она почувствовала себя несколько сбитой с толку, услышав ученые слова, ее насмешил этот комментарий, может, он и вправду какой-нибудь профессор.

Но она понимала, что не в словах дело, слова сами по себе ничего не значат. Голос Олега Эрастовича был точно бархатная ладонь. Она видела, как он повел обстоятельным носом, широченными ноздрями, точно принюхивался. Пенсне Олега Эрастовича щекотало ее нежными молниями. Увидеть свое отражение и испытать восторг. Увидеть себя в зеркале мужских глаз — и в страхе обнаружить, что от тебя ждали большего? Ведь и это могло случиться. Вот что было причиной ее неуверенности, волнения и стыда,

«Послушайте, молодой человек... чья это работа?»

«Гм. Э...»

«Я спрашиваю, чья это работа.»

«Олег Эрастович, я сам не понимаю. Уверяю вас, я тут ни при чем. Хотел книжки посмотреть... А она свалилась».

«Сама свалилась».

«Сама. Странно, что она так легко сломалась. Мне кажется, янтарь ненастоящий».

«Но, но! Вы даже не представляете, кто мне эту башню преподнес. Самый дорогой подарок в моей жизни».

«Можно склеить».

«Все можно склеить. Жизнь не склеишь... А, что говорить! — Он сидел в кресле, сняв пенсне, тяжело вздыхал, сопел и дергал себя за эспаньолку. — По-настоящему вам бы следовало компенсировать мне эту потерю. Где уж там. У вас и денег-то нет. Так чем могу служить?»

«Насчет машинистки...»

«Машинистки? А, ну да! Совсем забыл. Из головы выскочило. То есть, конечно, не совсем, но, знаете ли... Войдите в мое положение, — сказал Олег Эрастович, — у меня неприятности, у меня всегда были и всегда будут неприятности, увы, характер такой, не умею отказывать. А неприятности, как вам, может быть, известно, всегда означают дополнительные расходы. Неприятности означают: плати и плати!»

«Что... опять?»

«Нет, нет! Слава Богу, пока еще не то, что вы думаете, хотя, разумеется, и властям предержавшим требуется положенное, кесарю кесарево! То есть не то чтобы кто-нибудь так уж прямо стал напирать, но, знаете ли, никогда не мешает приобрести друзей заранее. Я вам скажу так: это правило жизни — друзей надо приобретать своевременно! Кстати, могу похвастаться: один из крупных чинов, там... — он показал на потолок, — не буду его называть, но действительно крупных, на правительственном уровне, — мой друг. Я думаю, эта круточка ему очень придется по вкусу. К тому же я обещал ей похлопотать насчет жилплощади».

«Кстати, Олег Эрстович... я бы хотел вас попросить: проявите к ней заботу».

«Всепременно. А что, вы с ней в близких отношениях?»

«С чего вы взяли? Старая дружба... просто так».

«Угу, — отозвался Олег Эрстович. — Милый мой, я ко всем моим подопечным отношусь с одинаковым вниманием. Но в том-то и дело, что не все отвечают необходимым требованиям. Я ничего не говорю о вашей протеже. Слов нет, недурна, ноги, правда, коротковаты, но это ничего. Характер, кажется, неплохой, не избалована, не знаю, как насчет технических навыков, но это дело наживное. А вот с еще одной дамой я постоянно наживаю неприятности, уволить жалко: ни кола ни двора, нет московской прописки, надежды на брак никакой, одна дорога — на панель, на Курский вокзал, и, конечно, моментально сопьется, а между тем уже сильно за тридцать и, сами понимаете, шарм уже не тот... Одним словом, — продолжал он, и в руке у него снова появился заветный фиал, — ваше здоровье, как говорится, дай нам Бог всем... Одним словом, клиент звонит, какой-то кавказец, я даже не успел как следует с ним познакомиться. Был мне рекомендован, первый раз в столице, кто мог знать? Громы и молнии. Убежала от него в слезах, и вот теперь он грозит дойти чуть не до Верховного Совета, грозит прокуратурой, у него там брат или сват, у всех невероятные знакомства и аристократическое родство. Мне, мне грозит, вы понимаете? Разумеется, я не поддался на угрозы, я, знаете ли, при случае сам могу пригрозить. Но пришлось платить! Пришлось срочно вызывать замену, гонорар за мой счет, чтобы эта сволочь заткнулась».

«И что же?»

«Ничего, уехал довольный».

«Олег Эрстович, так как насчет...»

«Да, да. Память! Память! — вскричал Эрстович. — Постойте... ага. Могу вам рекомендовать одну очень интеллигентную машинистку, пожилая дама, из наших, превосходно владеет русским языком. Может одновременно быть редактором, безупречная грамотность, видите ли, по-русски уже давно никто не в состоянии писать грамотно...»

«Можно на вас сослаться?»

«Сослаться-то можно, но...»

«Олег Эрстович, я ничего лишнего не скажу».

«В самом деле, кого я учу? Старого конспиратора!»

«Вот именно, можно ей позвонить?»

«Все эти ваши игры. Доиграетесь когда-нибудь...»

«Да мы ничего не делаем, Олег Эрстович. Мы в политику не ввязываемся. Мы занимаемся культурой...»

«Это вы *им* скажите. Я сам с ней переговорю. Так будет лучше... Но, дорогой мой, это очень квалифицированная машинистка. И, сами понимаете, надбавка за секретность. Одним словом, это дорого стоит».

«Может, мы как-нибудь с этой тетенькой договоримся?»

«Тетенька! Вы не представляете себе, кто она такая. Наши бабушки были кузинами! Словом, короче говоря, поручиться не могу, впрочем, посмотрим. Могу ли я в общих чертах, э-э, узнать, о каком материале идет речь?»

«Номер еще не совсем готов, но лучше начать уже сейчас. Остальное буду подкидывать по мере поступления материала. Полтора интервала. Двадцать экземпляров».

«Mon Dieu¹, двадцать экземпляров, куда вам столько? А вы мне все-таки Спасскую башню... того... должны компенсировать».

Внизу стук когтей, подвывание, перешедшее в длинный монолог, пес жаловался на черствость хозяина, одиночество, неблагодарность друзей, скверное пищеварение, пес предрекал новые беды и конец времен, и деревянный карлик у входа на лестницу тщетно старался его урезонить.

IV. ВИЗИТЫ. ЧТО ГОВОРIT ГЛУХАЯ ПОЛНОЧЬ?

«Послушайте, мы договорились в восемь. — Фи-и-и-у! — Вы меня слышите?»

«Слышу. Алё».

«Мы договорились... а сейчас...»

«Фи-у!»

Мистическое пространство телефонии можно сравнить с загробным царством, с четвертым измерением, с пространством коллективного сознания, пожалуй, и с акустикой морской раковины. Вой ветра, шум океана, позывные терпящих кораблекрушение. Постепенно звуки стихают. Шелестит эфир. Вновь вращается диск, палец набирает номер. Ухо улавливает далекое мелодичное позвякивание, словно постукали ложечкой о графин.

«Это ты, сволочь?» — буркнул Рубин. Опытные люди знают: подслушивание. Добрались-таки и до уличных автоматов. Он вешает трубку. Кто-то сидит с огромными наушниками на голове в одном из этих зданий, похожих на колонии полипов. Держать вас в постоянной неизвестности, в неуверенности. Всё слышать, присутствовать везде. Повсюду быть — и в то же время не быть. Главнейшее правило сыска.

¹ Господи (*франц.*).

Дождь стекает по стеклу, в мутной мгле светятся окна домов. Он разглядывает коробку аппарата, дует в трубку в смутной надежде отогнать демона. Техника совершенствуется, не исключено, что уличные телефоны снабжены особыми приспособлениями.

Он усмехается: допустим, что так оно и есть; но можно ли процедить тысячи километров записанных разговоров, всю эту словесную жижу, которая течет по каналам, — сыск захлебнется! Ему приходит в голову забавная мысль. Телефонная сеть с ее волокнами и ганглиями совершенствуется подобно естественной нервной системе. И однажды эта эволюция приведет к тому, что в искусственном нервном клубке проснется сознание. Чудовищный организм заживет собственной прозрачной жизнью.

Спиритизм вытеснен в наше время общением с электромагнитными духами. Почему не допустить, что потусторонний мир нашел для себя удобным общаться с миром живых посредством электроакустических импульсов? Крутящийся диск телефона-автомата, не напоминает ли он столоверчение?

Он набирает номер. «Алё?»

«Фи-и-э. У-у. Тин-тин».

Бесчисленные подстанции, дублирующие и аварийные линии, блоки-отстойники, шлюзы, координатные соединители, миллион импульсов в секунду. Заблудившиеся токи, подключения и соединения возникают сами собой, голоса блуждают по проводам, голоса умерших, голоса не родившихся, голоса людей, которых нет и не было, несуществующие разговоры, галлюцинирующий мозг телефонии! Система продуцирует фантастическую информацию. А эти ослы там сидят и все это слушают.

Дождь брызжет в будку, Рубин вешает трубку, вынимает монету, снова сует ее в щель, набирает, слышит шелест, гудки и позывные подслушивания. Трубка, как теплая ладошка, греет ухо. Наконец-то! Скрипучий голос вновь донесся издалека.

«Послушайте, нельзя же так, мы договорились в восемь. А сейчас...»

«Буду у вас через десять минут», — прошептал Илья Рубин и выскочил в потоп дождя, потерявшего всякую совесть.

Скиталец сбрасывает с промокших ног некогда щегольские мокасины и греет пятки у тепловой батареи центрального отопления. Наверху хлопнула железная дверь, в шахте лифта дернулись канаты. В полутьме, крадась по лестнице, он влачит свой набитый крамолой портфель, и навстречу опускается тускло освещенная кабина, человек в клетке мечтательно провожает его глазами. Выше, выше... Он поглядывает на

канаты лифта, они остановились. Сиделец почему-то не выходит — означает ли это, что он двинется вверх? Живей, пока тебя не догнали: шестой этаж, седьмой... Звонок... В дверях стоит часовых дел мастер.

Гость запыхался. Некоторое время, перегнувшись через перила, тяжело дыша, вглядывается в лестничный пролет. Там все тихо.

«Не хотелось бы...»

Из недр квартиры:

«Дзинь, дзвонн!»

Рубин следит за канатами лифта.

«В чем дело?»

«Не хотелось бы подвергать вас неприятностям...»

«Дилинь, дилинь, дилинь. Цик, цак».

Хозяин:

«А мне наплевать».

«Там кто-то застрял в лифте».

«Это бывает».

«Цик-цак. Тик-так».

«Как вы думаете, — спросил Илья, — они могут узнать, из какого автомата я звонил?»

«Они все могут. Послушайте, я вас ждал к восьми. Точность!» — сказал Августин Иванович, закрывая дверь за вошедшим. Вопреки впечатлению, которое производил его голос по телефону, он не казался стариком, скорее выглядел человеком без возраста. Время не властно над тем, кто сам заведовал временем.

«Точность, деточка, — это вежливость королей. Что было бы, если бы Цезарь опоздал на заседание сената, если бы Наполеон не явился вовремя к месту сражения? История пошла бы под откос. Страны, где люди не привыкли смотреть на часы, хиреют на обочине цивилизации. Что же мы стоим, прошу...»

Из прихожей вступили в комнату, служившую спальней, мастерской по ремонту часов, кабинетом для размышлений и лабораторией для опытов.

На стене висела фотография Бюраканского телескопа, были приколплены таблицы и номограммы, но главным образом комната была увешана и уставлена часами различных фасонов. Отовсюду, со стен и с полок, позванивало, постукивало, пощелкивало; в углу помещались похожие на стоячий гроб столовые часы, круглый циферблат без стрелок напоминал лицо покойника.

Посреди, на рабочем столе, находилось сооружение, похожее на алхимический перегонный аппарат. Хотелось бы рассмотреть его подробней, но хозяин мастерской, едва только гость сделал шаг к столу, потушил электричество. Остался слабый фиолетовый свет, струящийся в трубках.

«После, после; всему свой черед, — пробормотал Августин Иванович. — Всему свое время, как сказано в Библии. Сперва перекусим... Я ждал вас целый вечер».

Оба сидели на пластмассовых табуретках в крошечной кухне.

«Скажу только, чтобы вас не мучить, что время... Да, это слово следовало бы писать с большой буквы! Время — это абсолютно замкнутая система. Ничто не добавляется, ничто не исчезает. Опять же, как в Библии говорится: все реки текут в море, а море не переполняется. К тому месту, откуда они текут, они же и возвращаются, чтобы снова течь. Голубое свечение, разумеется, чисто искусственный эффект...»

Из комнаты по-прежнему доносилось: цик-цик, так-так. Цирндзилинь!

Августин Иванович продолжал:

«К стеклу добавлен люминофор. Само по себе время бесцветно... То, что вы видели, вот эта самая жидкость, которая перетекает из одной трубки в другую, поднимается по градуированной колбе, сливается в сосуд, оттуда снова по трубкам и опять в колбу и так далее... — Его палец описывал плавные круги в воздухе. — Это не просто переливание из одного сосуда в другой. Я мог бы вам тут же на месте доказать, что то, что там течет, тотчас исчезает. Непрерывно уничтожается и непрерывно возникает. То, что там течет, — это, детка моя, не просто жидкость. Это жидкость невесомая... Возможно, вы заметили на градуированной колбе цифры — жидкость поднимается, отсчитывает часы, минуты, но опять-таки перед вами не клепсида, но просто жидкие часы, которые показывают время вроде того, как термометр показывает температуру. Термометр не производит температуру. А мои часы вырабатывают время!»

И он умолк, чтобы насладиться произведенным эффектом. Но гость остался невозмутим.

«Я думал, это запрещено», — заметил он.

Часовщик свирепо расхохотался.

«Время не запретишь! Время никому не подчиняется, дорогуша!»

«Я не об этом...»

«А о чем же?»

«Я думал, — сказал Илья, — заниматься ремонтом часов на дому запрещено».

«Почему же это запрещено? У меня справка. Как инвалид я имею право работать на дому. К тому же, если есть знакомства, все разрешается. Мажьте масло. Чайку? Может, водочки?»

«Отличная идея».

Августин Иванович добыл из холодильника белую от инея бутылку. Выпили и закусили бородинским хлебом с крахмальной колбасой.

«Мажьте, у меня масло настоящее... В нашем роду все были часовыми мастерами: и отец, и дед. У дедушки был завод. Мой дедушка, если хотите знать, лично руководил ремонтом Спасских курантов, в каком году, дай Бог памяти... Говорят, когда эти часы были построены немцами, то на торжественном молебне куранты вместо “Боже, царя храни” заиграли “Ach, du mein lieber Augustin”. Я думаю, сами же мастера эту сплетню и сочинили... Слушайте: а может, это было предсказанием? А? Короче говоря, я вырос среди часов. Ну и, конечно, моя квалификация ценится. Некоторые мои заказчики, знаете ли, оч-чень влиятельные люди... Я вам могу не только любые часы починить, старинные, с секретом, какие угодно. Я могу соорудить любые часы, могу из старых деталей собрать — не поверите, будут, как новые. Послушайте, — сказал он с укором, — я тут перед вами бисер мечу, а вы? У меня такое впечатление, что вас как будто ничего не удивляет!»

«Нет, отчего же? — сказал Рубин. — Просто я не успел рассмотреть».

«Рассматривать необязательно. Я говорю об идее. По-моему, вы не отдаете себе отчета, что все это означает!»

«Нет, отчего же, очень интересно...»

«Интересно, х-ха! — сардонически воскликнул хозяин. — Вы так считаете, дорогуша... Вы даже не представляете себе, какие невероятные перспективы открываются!»

«Например?»

«Режьте колбасу, тогда все станет ясно. Ваше здоровье...»

«И ваше».

«Ах, хороша!.. Послушайте, не в службу, а в дружбу, мне трудно из этого угла вылезать. По-моему, здесь сквозит. Еще схватишь воспаление легких, в моем возрасте... Сделайте милость, прикройте дверь».

«Августин Иванович, простите за любопытство: сколько вам лет?»

«Сколько мне лет, хе-хе. Сколько хотите, столько и будет! Сколько есть, все мои... Так вот: какие перспективы. Да хотя бы аккумуляция времени. Нравится вам это или нет. Конечно, технически очень сложная задача, ведь время возникает только при условии непрерывного самоуничтожения. Но ничто не говорит о том, что это в принципе невозможно. Часы-аккумулятор — можете вы себе представить, что это такое?»

«ГМ».

«Вот именно. Вы правы, над этим надо еще поработать. Ваше здоровье... Погодите, то ли еще будет. Это не поддается воображению. Деточка, я вам скажу вот что. Не знаю, правда, интересно ли это для

вас... Проголодался я, черт бы меня побрал!» — воскликнул Августин Иванович, жуя хлеб, лук, все подряд, что было на столе, и усердно подливая себе и гостю.

«Я тоже где-то слышал...»

«Что? Что вы слышали?»

«Что время — это особое вещество. Есть такой астроном Козырев, он тоже доказывал, что...»

«Не смейте при мне упоминать это имя! Это шарлатан. В лучшем случае душевнобольной. Такие люди способны только скомпрометировать идею».

«Если я правильно понимаю... — лепетал Рубин, — он говорит, что текущее время — это внутренняя энергия звезд...»

«Вы хотите со мной поссориться?!»

Гость выбрался из-за шаткого стола и воротился из прихожей с портфелем.

«Августин Иванович, я вам хочу показать, чтобы вы имели представление... Здесь материалы для первого номера. Если хотите, можем придумать вам псевдоним».

«Зачем?» — спросил часовщик.

«На всякий случай... для безопасности».

«Чтобы потом говорили, что это не я? Чтобы кто-нибудь присвоил мое открытие? Милый мой, вы не знаете, что за люди нас окружают. Тот же Козырев».

«Хотите взглянуть?»

«В другой раз. Видите ли... — Он вздохнул, поскреб на затылке траченные молью волосы. — Все никак не соберусь. Опять же надо выбрать время, чтобы изложить мои результаты систематически, а времени свободного нет, смешно, не правда ли? Сапожник сидит без сапог. Так и я: не хватает времени! Дело, как вы понимаете, упирается не в технику — тут вопрос философский. Мой знаменитый тезка, Блаженный Августин, считал, что время — это протяжение духа, что-то в этом роде. Туманное определение. Я подозреваю, что он так считал, чтобы не вносить лишнюю путаницу в картину мира, которая сложилась к тому времени... Но если время — это субстанция — вас не пугает этот философский язык? — или, скажем так, невещественная материя, или, еще лучше, первооснова мира, так что все вокруг нас и мы сами не что иное, как объективация времени, так сказать, сгустки времени, вы сгусток, я сгусток, так вот, если это так — а это именно так! — то ведь тогда все меняется, вся картина мира. И, конечно, вся философия: тут и Кант летит кувырком, и Маркс, и...»

«Вот я и говорю. Устройство прибора, технические детали — это вы можете опубликовать в каком-нибудь специальном журнале...»

«Да в том-то и дело, что не могу! Время — нематериальная материя... Да за одно это слово, попробуй я только заикнуться, эти материалисты меня повесят! Эх, дорогой мой... Такова судьба всех новых идей. Выпьем».

«И я вам вот что скажу, — зашептал он, — только это пока сугубо, сугубо между нами! Если весь этот балаган... вы понимаете, что я имею в виду, — наше с вами отечество, черт бы его побрал! — если все это в самом деле идет ко дну, то ведь я могу спасти Россию. Все эти чучмеки, казахи, вся шваль пусть катится к едреней фене, на хера́ они нам нужны? А вот Россия! Эти часы тикали тысячу лет... Я могу завести их заново! Я могу продлить жизнь этому государству, могу ему одолжить время, раз уж собственного времени больше не остается. А? Как вы на это посмотрите? Или вам это безразлично?»

«О, нет!»

«Только это сугубо между нами...»

«Потрясающе, — сказал Рубин. — И такие мысли вы хотите скрыть от...»

«От кого?»

«Гм, от кого. От тех, кто вас поймет. Кто оценит ваше изобретение. От читателей!»

«Каких таких читателей?» — прищурился Августин.

«Вы не волнуйтесь. Пишите, а я подредактирую. О стиле не беспокойтесь, главное — изложить вашу идею».

«Да, но это же чрезвычайно сложный философский вопрос. Вы, вероятно, не отдадите себе отчета...»

«Если хотите, — сказал редактор, — можно под псевдонимом».

«Псевдоним? Ни в коем случае!» — закричал часовщик.

«Так я могу рассчитывать?»

«Вы хотите сказать?..»

«Вот именно».

«Чем черт не шутит?»

«Совершенно верно».

«Но это самый сложный философский вопрос!»

«Тем лучше», — отвечал Рубин.

Из лаборатории: цик-цак. Донн, донн.

Складывается впечатление, что царя Итаки все время преследовали неблагоприятные навигационные условия. То и дело буря заносит его к неведомым островитянам. Между тем дождь перестал, выйдя на палубу, иначе говоря — на крыльцо панельного дома, где находилась мастерская часовщика, странник увидел звездное небо. Поодаль, наискосок от подъезда, стоял автомобиль, невозможно было понять,

сидит ли там кто-нибудь, это могли быть «они», это мог быть местный житель, техник-строитель, которому посчастливилось заработать деньги на машину в каком-нибудь братском Йемене, это мог быть поздний любовник, прикативший на левой машине, это мог быть халиф Гарун аль-Рашид, переодетый славянином, в брезентовом макинтоше вместо бурнуса. А на другой день настало бабье лето.

Тусклое солнце озарило кварталы новых районов. Дом-хибара выдающегося мыслителя, имя которого здесь уже упоминалось, молва о котором в те годы гремела в интеллектуальных кругах, находился на окраине окраин. В отличие от окраинных жителей, ненавидевших природу, ибо они сами были ее детьми, философ придавал принципиальное значение жизни на лоне природы. Все было предусмотрено планом градостроительства: рощи, газоны, зелень, — однако человек предполагает, а Бог располагает, или, лучше сказать, Бог предполагает, а человек обращает его предначертания черт знает во что: лужайки превратились в выставку строительных материалов, куртины — в свалки мусора; от деревни остались полусгнившие срубы; трясина, по которой ныряли грузовики, некогда была улицей, здесь и обитал в возвышенном уединении, в единственной уцелевшей избе вдвоем с женой Петр Маркович Нежин-Старковский.

За домом находился огород, где он возделывал помидоры и табак-самосад, стояла огромная береза, употребляемая для особых целей, стоял сарай, куда нам еще предстоит наведаться. В ту самую минуту, когда гость, ступив с опаской на шаткое крыльцо, готовился постучаться, хозяин в валенках с галошами, галифе и майке появился из-за угла избы. «Милости прошу, — промолвил он, — *entrez*¹, как говорили наши предки! Давно наслышан, почту за честь».

Петр Маркович изъяснялся на языке девятнадцатого столетия, который он обогатил собственными нововведениями. Он числился старшим научным сотрудником института истории революционного движения, где руководил сектором стран, освободившихся от колониального ига. Это значило, что в его ведении находился наиболее перспективный регион, куда в настоящее время переместился очаг мирового революционного процесса. Это также означало, что не было никакой спешной необходимости ходить на работу. Два раза в месяц, первого и пятнадцатого числа, он снимал валенки, облачался в цивильную одежду и ехал в институт за скромной зарплатой, где, кроме того, платил членские взносы, посещал собрания и голосовал за резолюции. Все это составляло то, что можно было назвать его общественными обязанностями. Что же касается личной жизни, то жить означало для Петра Марковича мыслить; в этом пункте он был солидарен с

¹ входите (*франц.*)

Декартом, с которым расходился по всем остальным пунктам. С Шопенгауэром он был согласен в том, что творческий и мыслящий ум обращается не к современникам, а к потомкам; во всем остальном он не был с ним согласен. С Гегелем он сходил на том, что мировой дух, соскучившись в своем абстрактном одиночестве, пускается в авантюры, превращаясь по ходу дела в природу и в историю; в остальном он с Гегелем расходился. Аристотель, по мнению Петра Марковича, был прав, когда сказал: Платон мне друг, но истина дороже; в остальном же был не прав. С Бердяевым он соглашался во всем, за исключением того, с чем нельзя было согласиться. Что же до Маркса, то к нему Петр Маркович относился непримиримо за вычетом того, с чем волея-неволей приходилось мириться. Из сеней прошли в горницу, где посетителя ждал накрытый стол.

За столом сидела жена, из приоткрытой двери виднелась спальня — кровать с подзором и горой подушек.

«Что ж? Приступим...» — промолвил хозяин, озирая скудную закуску. Гость галантно вознес бокал за здоровье хозяйки.

«Утром проснулся, выхожу — на ум пришло “Письмо матери” Есенина. “Ты жива еще, моя старушка? — И Петр Маркович нежно погладил руку жены. — Жив и я, привет тебе, привет”. Что может быть проще, чище и божественней?»

Вздохнув, он разлил по второму разу желтоватый напиток, настоящий на березовых вениках, и капнул себе валидол. Занес графинчик над рюмкой жены. Высокая грудь Капитолины Федоровны была прикрыта кружевами. Она взглянула на него широко раскрытыми вальковыми, точно эмальированными, глазами.

«Ничего, — пробормотал он, — хотя бы для виду. За компанию. Оно не вредно...»

Застенчивое лимонное солнышко заглядывало в окно, ни единого звука не доносилось снаружи, гость и чета хозяев погрузились в благоговейное молчание, наступил миг насыщения и согласия с миром.

«Знаю, — проговорил Петр Маркович, — догадался о цели вашего визита и готов всемерно соответствовать. Делаю отсюда вывод, что вы хотя бы отчасти знакомы с моими трудами... Постоянным источником вдохновения служит для меня поэзия моей жены. Капитолинушка... ты бы нам почтала».

Держа перед собой самодельную тетрадку, Капитолина Федоровна долго смотрела в окно, губы ее шевельнулись, она произнесла низким голосом:

«Это из последнего...»

Последний луч, блеснувший над вселенной,
Последний возглас: о, спаси меня!
Твой вечный дух, твой взор нетленный...»

«Живу на природе-воле. Ум свой держу в позитиве, а не в критиканстве упражняю. С государством надо жить в обнимку, мы подpiraем державу, держава осеняет нас. Начальство, какое ни есть, воплощает Начала, — говорил, балансируя между грядками своего огорода, Петр Маркович. — Сказано: покорствуйте властям... Я человек свободный, пишу-мыслю, того, что имею, мне хватает. За чужим не гоняюсь, чужеземному не завидую. И никуда я не хочу ехать, никуда! Зачем? Чего я там не видел? Русская душа чурается сухого рассудка. Русскому человеку не страшна смерть, была бы только Русь, природа-родина, а она есть: была, есть и никуда не денется. Другие проявили себя кто в чем: греки — это искусство, евреи — это их Бог. А Россия соединила-связала все в один узел, все сварила в своем котле — и татар, и немцев, — и не надо нам ни у кого просить, не надо ихнему благополучию завидовать. Вот она, наша земля. — Он обвел глазами тусклую окрестность. — Благодать-то какая, а?.. Но! Пустует земля, засыпается обломками, эрозируется почва, стонет баба-земля, губят ее города».

Вошли в сарай.

В луже света, сочащегося сквозь ветхую крышу, возвышался треножник с цинковым баком. В углу, забытая, может быть, еще со времен коллективизации, стояла ржавая сеялка. Вдоль задней стены сарая, за самогонным аппаратом, на полках из неоструганных досок стояли и лежали переплетенные в картон, ситец и дерматин рукописные труды.

«Мои думы... Слово “дума” — исконное наше слово, емкое, ни на какие языки не переводимое. Западному уму оно невнятно. Западный философ — это логик-математик, он тебе систему выстроит, все по полочкам разложит, а Россия ни в какие системы-философемы не влазит, никаким классификациям не податлива. Оттого и дума в русском смысле — дума всецелая, всеединая. Дума-думушка... Тут тебе и философия, тут тебе и поэзия, и задушевный разговор, и забота, и древнее наше государственное собрание, соборное думание. Вот-с, выбирайте...»

Рубин углубился в чтение. Он сидел с рукодельным фолиантом на каком-то ящичке, а хозяин заглядывал к нему через плечо. Это были историософские записки. Рубин прочел:

«И они тоже явились по воле Рока к большому русскому столу. Наша гордость — Суворов — взял Прагу, вошел в Варшаву, и заполучила Россия целых три миллиона израэлитов, а с ними — и революцию, и казнь царя, и социализм. Так что грех великий произошел. Нет у них ни почвы, ни родины, и вместо космоса один только логос...»

«Это так, теория, — застыдился Петр Маркович. — Не принимайте на свой счет. Может, что-нибудь другое?»

«Отчего же, очень интересно», — отозвался Рубин.

«Я там дальше пишу, что не надо никого гнать, раз уж они тут живут. Русский человек терпелив. Я считаю, что для свободной мысли не может быть предрассудков и неприкасаемых наций тоже нет. Вы как полагаете?»

«Совершенно с вами согласен».

«Раз уж так случилось, что они все лучшие места заняли, пока наш брат русак в затылке почесывал».

Рубин развел руками.

«Да только за свободу надо расплачиваться».

«В каком смысле?»

«Да в самом обыкновенном, житейском. Я уже вам сказал: критиканством не занимаюсь. Критиканство не одобряю! И на державу не посягаю, наоборот. Держава всех нас держит. Что без нее?.. Но, знаете ли, живу нелегко... Зарплата моя небогатая. Пенсия будет — кот наплакал. А ведь надо и что-то жевать, пищу добывать себе телесную, хлеб насущный. И супруга у меня — сами видели. Уж каких я только докторов не приглашал, частным порядком, разумеется. А где взять денег? Тружусь от зари до зари, а ведь ни копейки за это не получаю... Понимаю, конечно, — проговорил хозяин упавшим голосом, — что моя просьба покажется неуместной. Уж вы не взыщите. Может, какой-никакой гонорарчик подкинете?»

Поднимаясь по лестнице, Илья Рубин слышал дальние взрывы. Мощные руки брали аккорды. Он вошел в комнату, где все дрожало и дребезжало, дрожали оконные рамы, черный облупленный инструмент, за которым сидел музыкант, сотрясался, люстра раскачивалась под потолком, на столе подпрыгивала тарелка с неоконченным завтраком. Музыкант работал: нога без устали нажимала на педаль, над челом, лоснящимся от пота, взлетали остатки волос, плечи вздымались и опускались, руки с растопыренными пальцами молотили по желтой, похожей на старые зубы клавиатуре. Последний громоподобный аккорд расколол потолок, хозяин схватил карандаш, что-то исправил в помятой и засаленной нотной тетради на пюпитре. Отшвырнул карандаш, поставил себе на колени огромную пепельницу и принялся ворошить содержимое. Рубин подал ему другую пепельницу с подоконника.

«Вот что может сделать самая обыкновенная восходящая кварта! Ти-ри-ри...»

Музыкант нашел недокуренную папиросу, гость подставил зажигалку. Музыкант перхал и кашлял.

«Как вы понимаете, клавиш дает слабое представление о замысле. Я расширил группу духовых, — кашлял он, — до десяти тромбонов,

клангресонаторы, я вам как-нибудь объясню, что это такое, плюс ансамбль ударных, причем литавры расставлены в разных местах... И, кроме того, ввожу в заключительную часть два четырехголосных хора. Колоссальный замысел, поверьте мне... А как вам нравится вот эта реплика? Это, кстати, тоже политональный аккорд».

Повернувшись к желтой пасти инструмента, он вперил взор в тетрадь и ударил нечто неслыханное.

«Тут есть маленькая хитрость... Помните? У Моцарта в соль-минорной симфонии... ти-ри-ри, — его пальцы прыжками неслись по клавиатуре, — и так далее... пи-рим-пам-пам! Наа-ра-ра... Казалось бы, все так просто, так мило, и вдруг... и-и вдруг!»

Он приподнялся над круглым кожаным стулом и, примерившись, грохнул из последних сил. Тетрадь свалилась с пюпитра. Композитор, тяжело дыша, с измочаленным видом и дотлевающим окурком во рту смотрел на Рубина с выражением величавой тоски, отчаяния и восторга.

Гость заявил, что музыка произвела на него неизгладимое впечатление.

«Моя мать преподает музыку. Так что я с детства... Но, понимаете... Как медведь на ухо наступил!»

«Вам можно посочувствовать», — сказал хозяин надменно.

«Но это не значит, что я не в состоянии...»

«Будем надеяться!»

«Может быть, вы расскажете... в двух словах...»

«В двух словах. Ничего себе! Вы думаете, это так просто?»

Маэстро обвел глазами убогую комнату. Нетерпеливо пошевелил пальцами, гость подставил пепельницу.

«Я всегда недокуриваю. Начну, брошу, потом приходится искать...»

Он откопал почти целую папиросу, задумчиво поглядел на нее, бросил. Взял в руки тетрадь, полистал, швырнул на пианино.

«Конечно, это можно только условно назвать симфонией. Но как ее еще назвать: симфоническая поэма? Очень уж все это затрепано, да и что это значит — поэма? Вообще я не могу отнести мой труд ни к какому традиционному жанру. Первая часть еще выдержана в сонатной форме, а дальше начинается черт знает что».

«Может быть, кантата?»

«Ха-ха-ха! Вы меня насмешили. Нет уж, друг мой, хватит с нас этих кантат».

«Оратория».

«Я подумаю... Остановимся пока на старом обозначении. Малеровские симфонии — это ведь тоже, знаете ли, все что угодно, только не традиционная симфония!»

Он запел:

«О Mensch, gib acht! Was spricht die tiefe Mittemacht?»¹ Нет, это совсем не то... Итак. В чем состоит, э-э...

«В чем состоит замысел».

«Вот именно. В чем?»

Рубин изобразил преувеличенное внимание.

«О Mensch...» — мурлыкал композитор.

«Мм... да», — промолвил гость.

«Что вы хотите этим сказать?»

Рубин поднял глаза к потолку, развел руками.

«Нет, уж вы договаривайте, договаривайте! Что вы хотели сказать этим вашим “да”?»

«Собственно, ничего...»

«А ничего, так молчите и слушайте. Слушайте! — сказал вдохновенно хозяин. — Моя симфония — это грандиозное видение грядущего воскресения. Я смотрю поверх времен, поверх наций, речь идёт обо всем человечестве».

«Гм».

«Я просил меня не перебивать!»

«Пардон».

«Мы приблизились к такому моменту в истории, когда человек должен ответить на главный вопрос. Больше увливать невозможно. Зачем все это? Войны, революции, неслыханные жертвы, надежды, разочарования, какой все это имеет смысл? Чтобы лучше жить? Или чтобы разрушить окончательно всю землю? Согласитесь, это не ответ. Великий вопрос: зачем? Может быть, вся история — чья-то чудовищная шутка, может быть, миром правит большое божество? Ни наука, ни философия не в состоянии ответить на этот вопрос. На него может ответить только музыка. Но сперва великие сомнения. Огромный вопро- сительный знак — вот содержание первых двух частей».

Маэстро курил, сосал что-то почти уже нематериальное.

«В прежних моих сочинениях я уже пытался ответить. Любовь, природа... То да се. Но это — как вам объяснить? — только предварительное решение. И вот тучи сгущаются. Мелькнул и пропал последний луч. Великое отчаяние охватывает душу. Это пока еще чисто субъективная музыка, несчастное, не знающее выхода сознание... Знаете ли вы, что одна из труднейших задач музыки — это преодоление субъективизма, преодоление того, что со времен романтиков стало чем-то само собой разумеющимся? Вы, может быть, подумали, что надо вернуться к Баху, Генделю, к веку барокко. Как бы не так!»

Композитор умолк, потирал лоб.

¹ «О человек, внимли: что говорит глухая полночь?» (2-я симфония Г. Малера, слова Ф. Ницше) (нем.).

«Вы сказали...» — осторожно проговорил гость.

«Да! То есть нет. Что я хочу сказать? Вот именно: назад пути нет. Вся дальнейшая история музыки — это не что иное, как эволюция человеческого сознания, его усилия разломать клетку субъективности, выйти на простор, приблизиться к вселенскому, универсальному — называйте, как хотите, — к божественному сознанию... И еще одно важное замечание... Моя музыка чудовищна, но, заметьте, это все еще тональная музыка. Вы, может быть, слышали... — хотя где уж вам? — что в начале века произошел отказ от тональности, это считается неизбежным, и это, конечно, следствие тотального одиночества человека, крушение всякой веры. Вот почему я хочу доказать, что радикальный ответ на вопрос о смысле истории может быть дан только средствами тональной музыки...»

«Однако, — хрипел хозяин, — все это произойдет в будущем, в заключительной части оратории — пожалуй, вы правы, примем это обозначение. За неимение лучшего... А пока... пока безысходная печаль, разъедающая горечь разочарования, убийственный скепсис. Скрежещущие звуки, корчи оркестра... И что же? По-вашему, на этом все и кончается?»

Он с ненавистью отшвырнул окурок. Рубин сделал неопределенный жест.

«Вы хотите что-то спросить?»

«То, что вы пели. Это тоже из вашей симфонии?»

«Из оратории. Или как ее, чёрт побери... Да нет же! Это Малер, это совсем другое... Вот видите, — сморщился композитор, как будто нюхнул что-то гадкое, — вы опять меня перебили».

Неловкая пауза. Оправившись, композитор продолжал:

«В глубоком сумраке, откуда-то издалека звучит мрачный зов. Он возвещает конец всему живущему на Земле. Близится Страшный суд. Дрожит земля. Рушатся города... Пробуждаются хтонические чудовища... Тщетно просит человек о пощаде, все человечество стонет, молит о милосердии. Эхо разносится в пустых небесах... И вдруг мы слышим чистые, хрустальные голоса. Это хор святых и небожителей. То, что должно произойти, и есть, собственно, не что иное, как воскресение, всеобщее воскресение, но, — композитор глубоко вздохнул, — это пока еще не написано. Это то, над чем я бьюсь, и не знаю, сумею ли найти решение. Будьте добры... вон там на окне... Может быть, — продолжал он, — даже к лучшему, что моя музыка не исполняется. Она и не будет никогда исполнена. Я просто не знаю такого коллектива, который мог бы с ней справиться...»

Илья сказал:

«Но ведь совсем необязательно излагать программу».

«Моя музыка запрещена. (Вот это нам и надо, подумал Рубин.) Знаете, что сказал председатель этого собачьего комитета? По делам

музыкальной пропаганды, культуры, или, уже не знаю, как он там у них теперь называется... Он сказал: до тех пор, пока я здесь, ни одной ноты этого бумагомарателя, вредителя, отравителя нашей молодежи, ни одной ноты, только через мой труп! Вот так! — сказал композитор и радостно раскашлялся... — Впрочем, знаете ли... В конце концов вся современная музыка существует гораздо больше на бумаге, чем в концертном зале. Важно, что она существует. Музыка пребывает сама по себе, понятно? В высших сферах, в сверхчувственном пространстве. Исполнение — дело второстепенное, вернее, даже ненужное».

«Пожалуй, — пробормотал Рубин. — Тем более что соседи...»

«Что соседи?»

«Возражают, наверно».

«Было дело. Ничего. Не умрут. Привыкнут».

Гость покинул квартиру, откуда снова раздавались пушечные уда-ры роля.

V. ЛИЦО БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЗАНЯТИЙ

Из всего сказанного как будто следует, что имеются все основания отнести Илью Рубина к этой обширной социальной категории.

Обычно, говоря о людях без определенных занятий, подразумевают, что парень, возможно, чем-то и занимается, но неизвестно чем; что-то делает, но незаконно, а главное — нигде не числится. Но последнее к нашему другу Рубину как раз и не относилось, ибо у него все же был официальный статус, было то, что можно считать статусом, правда, с некоторыми оговорками. В табельной ведомости должность Рубина носила загадочное обозначение «младший лаборант». Никто не знал, что это значит, еще труднее было понять, что он делал в своем институте. В те времена все порядочные люди работали в институтах. Вообще надо заметить, что в наш век все может стать предметом научных изысканий и темой для диссертации; например, вполне можно себе представить научно-исследовательский институт бань и прачечных, академию самогоноварения или экспериментальный центр игры в преферанс. В институте, где подвизался Илья Рубин, экспериментировали с бумагами.

Коллеги находили, что он вообще ни хрена не делал; с этим можно было бы согласиться, если бы удалось выяснить, чем именно занимались коллеги. Так как за всякую работу положено получать зарплату, то регулярное получение зарплаты само по себе есть доказательство работы. Порядочный человек, занимающий сколько-нибудь приличное место, занимал его скорее символически. «Работа дураков любит», — гласит народная мудрость, из чего не следует, что дураки любят работу. Работали пиджаки. Порядочный человек с утра вешал

пиджак на спинку стула, выкладывал на рабочий стол очки и до конца рабочего дня не появлялся. Порядочный человек дорожил временем. Он смотрел на часы, говоря озабоченно: опаздываю на симпозиум; спешу на заседание комиссии; ждут на бюро, — и больше его не видели. Так оно и шло.

Но по крайней мере в одном отношении коллеги были правы: в эпоху трудового энтузиазма, ставшего государственной религией, Рубин не давал себе труда соблюдать ее главнейший ритуал — делать вид, что что-то делается. В рабочее время слонялся по коридорам. Часами, не обращая внимания на косые взгляды начальства, травил анекдоты в курилке. Мог вообще не прийти на работу, хотя опять-таки что значит работа?

Некогда поразившая Гулливера Великая академия Лагадо по сравнению с институтом Ильи оказалась бы в выигрыше: там, по крайней мере, занимались чем-то вещественным. И все же мы погрешили бы против истины, если бы попросту, одним росчерком пера, объявили коллектив научных работников скопищем дармоедов. Возможно, отдельные лица и заслуживали такой характеристики, быть может, даже целые отделы, но в целом институт занимался отнюдь не очковтирательством. Институт выполнял ответственную государственную задачу. И даже считался секретным.

Ничего странного: мало ли было секретных лабораторий, заводов, институтов секретных городов, а также строжайше засекреченных наук. Удивляться надо тому, как это человек с непатриотической фамилией, с сомнительной анкетой мог находиться, хотя бы и на смехотворнейшей должности, в таком институте. Было ли тут особое везение, чье-то заступничество? Преступная халатность кадровых инстанций?

Вдобавок ко всему прочему, считалось, что коллектив выполнял оборонное задание. Пусть не говорят, что секретность чаще всего царила там, где никаких секретов не было. Институт — теперь об этом можно сказать вслух — работал над секретным оружием.

К несчастью, мы располагаем крайне скудными сведениями о том, что это было за оружие. Известно, что оно предназначалось для операций в тылу врага, известно, что оно на сто процентов гарантировало победу: устоять против него невозможно. Враг располагал известными видами вооружений, а это было оружие необычное, так как оно было нематериальным. Короче говоря — об этом тоже можно сказать теперь вслух, — институт, где числился Илья Рубин, работал над созданием секретного идеологического оружия. Опять же недостаток информации не позволяет вникнуть в подробности, — да и нужны ли они?

Тут требовалось соединение эрудиции и фантазии. Речь шла о новой и неопровержимой системе доказательств, о совершенно необыч-

ном подборе цитат. Неисчерпаемость источников, которые никто не был в состоянии прочесть от начала до конца, предоставляла для этого широчайшие возможности Ядром же, настоящей боеголовкой нового оружия был высший Аргумент, способный сразить врага наповал. Аргумент был известен только руководству. Новая комбинация цитат обещала решение любых политических, теоретических, экономических и моральных задач. Каждому, кого настигало это оружие, оставалось лишь поднять руки вверх. Каждый должен был убедиться в безусловном превосходстве нашего государственного строя над всеми строями, где-либо существовавшими или существующими в мире.

В качестве лаборанта Рубин в письменном столе не нуждался, он не торопился на симпозиум, не мог заседать в бюро, у него не было пиджака, и он не носил очков. Во все времена года он был одет в один и тот же побелевший от стирок джинсовый костюм. Черные кудри и черная борода оттеняли его блестящие и желтоватые, как ядро ореха, конские зубы. Его смех напоминал молодое ржание. Илья был летучий человек. Окруженный женщинами, он не знал забот. Как всякий холостяк, он возбуждал инстинкт опеки и сострадания. Ему покупали цветы, вызывались дежурить вместо него в больнице. Само собой, сообщалось кому надо, что Рубин отсутствует по уважительным причинам. В крайнем случае на вопрос: а где такой-то? — отвечали: где-то тут; пошел в бухгалтерию, в секретариат, в директорат. Институт был велик. Тем временем Илюша Рубин, нагруженный кулками, с букетом садовых ромашек отправлялся проведать маму на другой конец города.

Два слова — раз уж об этом зашла речь — о матери и отце, о детстве Ильи. Он был, насколько известно, единственным сыном; его родители происходили из маленького городка в Могилевской губернии, в начале двадцатых годов, подхваченные волной, оказались в обезлюдевшей столице; об отце пока что помолчим, мать, Берта Владимировна, проживала в коммунальной квартире, в доме с высокими потолками, сумрачными лестницами, с черным ходом во дворе и парадным подъездом на улице, но была выдворена по обстоятельствам времени, вместе с другими жильцами, в новый район.

Одному философу принадлежит остроумная теория памяти: он утверждал, что мы ничего не забываем. Все пережитое хранится в закромах памяти, в ее темных подвалах, в катакомбах сновидений; надо только спуститься туда по замшелым ступеням с ночным фонарем.

Детство — это огромный, нескончаемый сон, который мы видим как бы для того, чтобы убедиться, что память есть в самом деле род негосраемого шкафа. Как многие из нас, Илья Рубин был человек без роду

и племени, говоря языком патриотических манифестаций, «без корней», не столько потому, что был потомком скитальцев, но скорей оттого, что корни отсохли. И все же были дворы и задворки, и переулки Старого города, бесплодное чрево столицы — ничего общего с Вавилоном окраин, где теперь проживал Рубин. Старый город детства, который он никогда не посещал, ибо теперь этот город существовал лишь во сне, а точнее, старый район был реликтом ушедшей эпохи, когда существовали отеческие очаги, откуда доносились беззвучные голоса.

Район назывался «Дворы». Во дворах стояли снеготаялки. Из подворотен мимо мусорных ящиков текли ручьи. Гирлянды хрустальных сосулек висели под скатами крыш, и сверкающие россыпи со звоном и грохотом валились из раструбов водосточных труб. Веревки для белья, женщины с тазами залубеневших рубах, простынь, подштанников, звон стекла, футбольный мяч, влетевший в сумрачную коммунальную кухню, призраки запахов, эхо криков. Толстым мальчикам кричали: «Жир-грест! Мясосбыт!» Тощим кричали: «Кошей Бессмертный!» Татарам кричали: «Свиное ухо!» Евреям кричали: «Жид, на ниточке бежит!» Очкарикам кричали: «Самурай!»

На бульжном перекрестке стоял краснощекий милиционер в шапке-ушанке, в перетянутой ремнем шинели с воротником из собачьего меха, в черных валенках с галошами. Вечером под тусклой лампочкой, освещавшей похожий на домик номерной знак дома над дворовой аркой, по обледенелому снегу можно было кататься на коньках, которые привязывались веревкой к ботам, особого рода обуви, исчезнувшей вместе с примусами, корытами, чердаками, черными лестницами, с гнутыми деревянными перилами, с изоляторами из фаянса и проводами под потолком, с множеством вещей, со словами, которые их обозначали, и людьми, которые ими пользовались. Таково было отечество Ильи Рубина.

Итак, она была выселена, точнее, переселена: получила комнатку в блочном доме на окраине, как уже сказано, ввиду того, что дом в Центре подлежал ремонту и усовершенствованию для вселения важных лиц. В мерах подобного рода следует видеть не только акт исторической необходимости, но и акт исторической правоты. Рассказывают, что однажды председатель Центрального Исполнительного Комитета выступал, по обычаю первых лет, на сельском митинге и чей-то бабий голос крикнул из толпы: «Вот ты небось в сапогах разгуливаешь, а мы?..» На что оратор ответил: «Ты что же, тетка, хочешь, чтобы правительство тоже в лаптях ходило?» — и был награжден громом аплодисментов.

Смысл этого справедливого возражения был двоякий. Во-первых, обладатели сапоги лишились бы престижа, если бы не существовало

лаптей; ибо лапти — такое же необходимое условие государственного порядка, как и хромовые прохоря. Во-вторых, число мечтающих носить сапоги во все времена многократно превосходило количество сапог. Следовательно, необходимо раз и навсегда определить, кому положено месить грязь лаптями, а кому разгуливать в сапогах. Квартира с просторными комнатами и потолками нормальной высоты, равно как и престижная обувь, импортное белье, икра осетровых рыб, колбаса из настоящего мяса и прочие условия для исполнения ответственных государственных задач, была бы неоправданной роскошью для граждан, не обремененных такой ответственностью. Но мы отвлеклись.

Большую часть времени комнатка на окраине пустовала. Илья, прописанный где-то, воспользовался ею для своих, как позднее выяснилось, неблагоприятных дел, между тем как пожилая женщина кочевала по лечебным учреждениям. Соседи — молодуха с ребенком, безмужняя, родом из Тьмутараканской области, и сморщенная старуха с хворым мужем, тоже выселенная из Центра, — были немало раздосадованы появлением Ильи Рубина в их квартире, так как имели свои виды на пустующую каморку: старуха надеялась присоединить ее к своим владениям на основании справки о болезни мужа, мать-одиночка — к своим, ссылаясь на то, что она мать-одиночка. Обе написали совместный донос; обе слышали стрекотание пишущей машинки за тонкими стенами своих комнат. Прибавил ли что-нибудь их навет к делу о Журнале, неизвестно, тут мы вступаем в область туманных домыслов.

Едва ли соседи были осведомлены об отце Ильи, тем более что история была давнишней, темной и как бы осталась там, в старом доме. Придется, однако, сказать о ней несколько слов.

Отец вел мистическое существование; хотя он давно уже исчез, но каким-то образом продолжал присутствовать. Сам Илья своего родителя почти не помнил. Нельзя сказать, что в истории с отцом многое было неясным, потому что в ней все было неясно. Он окончил технологический институт; это были годы индустриализации, бурное и восторженное время, как-то незаметно сменившееся временем страха, и с этих пор жизнь отца заволочлась туманом. В довоенные времена официально считалось, что он находится в длительной командировке на Севере, где руководит секретным строительством. После войны было получено извещение: отбыв срок, работает счетоводом в совхозе, в Кемеровской области, удалось даже после изнурительных хлопот узнать адрес. В эту краткую пору биография Рубина-старшего начала как будто вырисовываться из потемок. Письмо вернулось спустя несколько месяцев с пометкой, что адресат выбыл в неизвестном направлении. Было не так-то просто попасть к заместителю начальника глав-

ной канцелярии, даже узнать, к кому именно надо обращаться, было непростым делом, тем не менее мать добилась приема, отстояла во всех очередях, замначальника неожиданно оказался милым, внимательным человеком, он выслушал ее, мягко объяснил, что остаток ссылки отцу предписано провести в другом месте теперь он работал в столовой на приисках. Намакалось даже, что у него там новая семья. Где — там? В ответ пожималось плечами, разводилось руками; дескать, страна наша большая. Можно ли к нему поехать, разрешена ли переписка? В те времена пользовалась признанием теория, согласно которой писание заявлений во всевозможные инстанции — чем больше инстанций, тем лучше — обладает кумулятивным действием: рано или поздно терпение начальства должно истощиться. И оно в самом деле иссякло. Прибыло, уже сравнительно недавно, постановление об отмене приговора и прекращении дела ввиду отсутствия оснований. Получалось, что вся биография полетела кувырком. Тайна местопребывания отца разъяснилась, она состояла в том, что никакого местопребывания давным-давно уже не было.

Но даже теперь, когда сын вырос и времена изменились, и можно было назвать вещи своими именами, даже теперь таинственность не рассеялась; ведь эта последняя версия тоже могла быть не больше, чем версией. Если умерший сорок лет назад все эти годы считался живым, почему бы теперь, объявленный мертвым, он не мог оказаться живым?

С одной стороны, раз уж «они сами» признались, надежды больше не оставалось. Где-то в подземельях, в знаменитой цитадели, через три или четыре недели после ареста, совершилось все это в свой черед, по правилам, по инструкции согласно инструкции. *Выстрел производится в затылочную ямку на расстоянии 8–12 сантиметров, без предупреждения, непосредственно после команды «стой».* И, должно быть, стояла прекрасная погода. Бывший дом страхового общества «Россия», казавшийся в те времена очень большим, потому что рядом не было еще пристроено другое, громадное здание, поблескивал своими окнами, в синеве над часами плескался флаг, площадь — тогда еще на ней не было памятника — в разных направлениях огибали немногочисленные автомобили, новенькие, только что выпущенные марки: «ЗиС», «М-1»; милиционер, воспетый поэтом Революции, в летнем белом шлеме с пилихом и в белой форме дирижировал, стоя на тумбе; по тротуару постукивали низкими каблучками девушки в полупрозрачных блузках, в юбках ниже колен, перед арками только что построенного метрополитена стоял продавец газированной воды с сиропом, поодаль дремал нищий. Над керамикой Политехнического музея

ползли тучи, стемнело, вспыхнули фонари, трамвай рассыпал искры, выворачивая с Мясницкой, недавно переименованной в улицу Кирова. И никто не знал о том, что в доме-крепости, где теперь на всех этажах горел свет, происходит тайная героическая работа, а если и знал, то всё равно не знал, если догадывался, то не мог связать ее с представлением о чернильницах, папках, справках, с усердным многочасовым бумагописанием, визированием, составлением списков и накладыванием резолюций; никто не знал или по крайней мере знал, что об этом знать не полагалось: что в подвалах люди в фуражках и гимнастерках всаживают пули в затылки, сегодня, и завтра, и ночь за ночью, проверяют список, ведут вниз по лестницам, стоп, руки назад, лицом к стене, и по очереди, одному, другому, третьему, ничего не поделаешь, такая работа, в затылочную ямку, потом следующая партия, и снова одному, другому, из ночи в ночь, ничего не поделаешь, подвал переполнен, приходится во дворе, при свете фар, грузовик с заведенным мотором, чтобы заглушить выстрелы; да, никаких сомнений, никакой надежды, спустя сорок лет, уже не могло быть. Это — с одной стороны. А с другой...

Тайный голос, подсознание, инстинкт, называйте как угодно, твердил, что все бывает. Все может быть! И похоронки с фронта приходили, а потом человек возвращается живой и невредимый, спугали с кем-то, ошибка писаря. И кто знает? Может, и он жив. Где-то живет, где-то скитается. Человек не человек, призрак не призрак. И даже появлялись время от времени люди, которым приходилось слышать от тех, кто его видел. Странник кочевал по стране. Нищий шел по дороге.

Тайный голос предлагал свои версии. Вновь и вновь: если они так долго ошибались или так долго лгали, то почему не может оказаться ложью обратное? Почему им надо верить, ведь они лгут непрерывно, потому что это такое учреждение. Потому что такая работа и ничего не поделаешь. И, в конце концов прошло столько лет, люди сменились, одних расстреляли, других уволили, третьи сами отдали концы. Одни говорили одно, другие — другое; ложь на ложь — получается правда. В этой казуистике обмана, как в густых облаках, неожиданно мелькнул просвет. В день расстрела пришло распоряжение свыше: наверху узнали о произволе, вмешались, почему бы и нет. Допустим, расстрел отменен, а по бумагам все еще числится высшая мера. И так и пошло — из одной канцелярии в другую. Допустим, приговор отменен, но просто так выпустить на свободу тоже нельзя. Отменили, но с запрещением возвращаться и с запрещением переписываться. Этапирован в ссылку на край света, куда Макар телят не гонял, но, Боже мой, ведь это не смерть. И ведь находились люди, которые его видели. Прав был этот полковник: страна-то огромная.

Сколько людей в этой стране кажутся живыми, а на самом деле мертвы. И сколько людей исчезает, а на самом деле где-то живут. Числятся мертвыми, списаны, похоронены, а сами живут: в полувывмерших деревнях, в каких-нибудь таежных поселках, на приисках, у бывших старообрядцев, под другим именем, с новым паспортом.

Надо верить — она это твердо знала. И тогда сбудется. Страна наша так велика, что представить себе невозможно. Вот что было главным утешением. Едешь, едешь, и нет конца. Если (как утверждал один писатель) у каждого народа есть свой любимый образ, свой национальный символ, то символ нашей страны — дорога. Туранские журавли видели под собой не только тайгу и великие реки, они видели змеящуюся дорогу. Бесконечный тракт, по которому ныряет в разливах луж кибитка с фельдъегерем, по которому бренчит колокольчик почты, по которому ползет цыганский обоз. Шагают в снегу французы, вязнут в колдобинах немецкие бронетранспортеры, плетутся по обочине бабы и нищие. Разбитая грузовиками, разлившаяся, как река, дорога с шаткими бревнышками мостов, с белыми столбиками по краю оврагов, сосущая душу, тускло поблескивающая и манящая вдаль: бросить все, махнуть на все рукой, подтянуть заплечный мешок — и поминай, как звали.

VI. ШУРА, ИЛИ ВОЖДЕЛЕНИЕ

Судьба играет человеком, как поется в песне, а вернее сказать, судьба выстраивает нашу жизнь, как романист — свое повествование. Исподволь завязывается интрига, копяты подробности, на первый взгляд малозначительные, рассказываются вещи, единственное назначение которых — отвлечь внимание: правила жанра запрещают автору прямо сказать, куда он клонит. Так и судьба зарывает свои намерения в ворохе обстоятельств, вроде бы не имеющих отношения к делу. Жизнью правит канон криминального романа; лишь добравшись до последней страницы, начинаешь понимать, что все было подстроено.

С ромашками и кулками Илья Рубин вошел в отделение; палата находилась в конце коридора; он приоткрыл дверь, едва не столкнувшись с девушкой в белом. Сестра выносила никелированный штатив с пустой капельницей. В палате было восемь коек, по четыре с каждой стороны, и еще две раскладушки с прибывшими ночью стояли в проходе. Женщины лежали или сидели, одна большая мыла посуду в умывальнике. Раскладушка с Бертой Владимировной находилась ближе к окну. То, что мать поместили в общую палату, было хорошим признаком, но он привык к тому, что хорошие признаки чередовались с плохими. Привык обманывать сторожей-гардеробщиков, являясь в

неположенное время, и очкастых старух в окошках регистратуры, привык к лестницам и названиям отделений — первая хирургия, вторая хирургия, неврология, терапия, — к стуку тазов, скрипу каталок, к ковыляющим по коридору пациентам в больничных тапочках и халатах из застиранной байки, к запаху дезинфекции, старости, скуки и нищеты. Посидев возле Берты положенное время, он вышел переговорить с врачом, заранее зная, что ему скажут. Темноглазая сестричка, дитя Золотой Орды, снова попалась ему; с лотком, прикрытым марлей, под которой катались шприцы, она спешила по коридору. Перед уходом он услышал в комнатке рядом с кухней голос старшей сестры и голос, пытавшийся возражать, ее голос, и присел на минутку рядом с ее столиком в коридоре. Она вышла, утирая слезы. Рубин спросил, что случилось. «Так, ничего», — сказала Шурочка и засмеялась.

Невысокие женщины выглядят еще моложе. Возможно, она была старше, чем казалась, ее имя выражало запоздалую, затянущуюся юность, лоб прикрывала смоляная челка, высокий накрахмаленный шлем имел целью увеличить ее рост. Глаза подведены, грудь подчеркнута тесно запахнутым белым халатом, в ней было какое-то раздражающее очарование. Как будто при ее появлении вам надавливали на некую тайную железу. Прошло несколько недель. Однажды они столкнулись внизу в вестибюле. На ней было пальто в талию с круглым беличьим воротничком, модным в те годы, и меховая шапочка. Вместе ехали в лифте. В другой раз он пришел поздно, после ужина, за столиком на мужской половине сидела другая сестра. Он побыл с матерью, покурил на лестничной площадке, было тихо, пусто; он вернулся, в коридоре горели матовые шары, слышался шелест канатов, легкое погромыхиванье лифта, стукнула железная дверь на верхнем этаже. Случайно или повинувшись смутной надежде, он толкнулся в дверь без таблички, рядом с кухней, это была узкая комната без окна, где стояли шкафчики для одежды, у стены напротив двери помещался хозяйственный столик и висело зеркало. Он увидел ее со спины и увидел ее лицо в зеркале, она стояла перед столиком, поднимая локти, ее пальцы на затылке заправляли колечки темных волос под белый колпак; она смотрела на себя и на входящего.

Она привстала на цыпочки, слегка повернув голову, держа руки на затылке, отчего короткий халат приподнялся, обрисовал талию и небольшой круглый зад; эта подробность — девушка в босоножках, с напрягшимися икрами — отпечаталась в памяти; в это мгновение он и вошел, прикрыл за собою дверь. Глядя в зеркало, опустив руки, она произнесла:

«Сюда заходить не положено».

Илья Рубин смотрел на ту, смотревшую из зеркала, и на эту, которая стояла к нему спиной и поправляла волосы, комната и ее отраже-

ние поменялись местами: настоящий мир находился в провале стекла, а здесь было нечто мнимое; здесь надо было что-то говорить, произнести какую-нибудь чушь, нужную для сближения, а там существовал язык взглядов, полный глубокого смысла, там они были рядом, она стояла, поправляя что-то на затылке, отчего обнажились ее руки и поднялась грудь, и смотрела прямо перед собой, он — за ее спиной, нечто лохматое и чернобородое; она опустила руки, одернула белый халат, Илья Рубин перевел взор на ту, что стояла к нему спиной, и в зеркале ее глаза, темный мед, в котором была подмешана капля татарской крови, следили за его блуждающим взором, она оглядывала себя сзади его глазами и, вернувшись в зеркало, видела себя спереди, свою прелесть, и задумчивость, и темную печаль, и погрузилась в нее. Она вздохнула. Ее ладони медленно прошлись вдоль груди и талии. Чувство, ею владевшее, было возможно только в присутствии мужчины, ничего подобного не могло бы происходить, если бы она прихорашивалась дома, одна, но это чувство совсем не было желанием заполучить его, сам по себе он был ей не нужен, но возбуждал необъяснимое вождение к себе самой; уронив руки, вздохнув, она переступила с ноги на ногу и сказала, глядя в зеркало:

«Нечего вам тут делать. Посторонним входить не положено». Что-то в этом роде произнесли ее губы.

Он молчал.

«Посетительский час окончен».

«У меня пропуск», — возразил Илья.

«Какой такой пропуск, больные уже спят».

«Мне завотделением дала, круглосуточный».

«Ну и нечего тут торчать! — сказала Шурочка, поворачиваясь к нему. — Здесь служебное помещение».

Он взялся за ручку двери, но не для того, чтобы выйти, а чтобы плотней прикрыть дверь.

«Вы что, не слышите? Сюда посторонним вход воспрещен».

Что-то было потеряно, оба вышли из Зазеркалья, где они были вместе. Что-то рисковало уйти в песок, и мотор знакомства работал на холостых оборотах. То, что она говорила, предназначалось лишь для того, чтобы мотор не заглох. Залогом была её зудящая прелесть; оба это почувствовали; самовлюбленность женщины исчезла, и с ней ушла ее независимость; исчезла магия, оба поняли, чего они хотят, и все, что они делали, строгий тон барышни, игривая небрежность кавалера, должно было помочь освоиться и вернуть счастливую инерцию сближения, когда ничего от тебя не требуется и все происходит само собой. Но зачарованного мира по ту сторону зеркала уже не вернуть.

«Некогда мне с вами лясы точить», — проговорила Шурочка и попыталась выйти из комнаты. Вернее, выпроводить его. Наступило замешательство, несколько наигранное, оба стояли перед дверью.

«Шу-у-ра», — проворковал он.

«Какая я тебе Шура? — сказала она грубо. — Я на работе. Пустите; некогда. Привыкли рукам волю давать...»

Отважное прикосновение ладоней было, таким образом, принято к сведению.

Свет в больничном коридоре был потушен, горели только настольные лампы под черными колпаками на двух постах дежурных сестер, на мужской и женской половине. Было, вероятно, не позже десяти часов вечера, но казалось, что уже глубокая ночь. Изредка звонил телефон, слышались звуки лифта, шаркали шаги, кто-то плелся в уборную, ангел смерти курил на лестничной площадке, и дежурный врач дремал в ординаторской за своим столом, перед папками с историями болезни. Шурочка поднялась со своего места, неслышной поступью прошла по коридору, мимоходом отперла ключом кабинет заведующей отделением, но не вошла, ключ остался в скважине, она заспешила дальше, в конце коридора над дверью палаты мигала лампочка: вызывали сестру.

Инстинкт обладает свойством воплощаться в предметы, он больше уже не в нас, он принес себя в жертву; он прячется в потемках вещей, как насекомое в складках портьеры; он прикинулся книжкой, ключом, ароматом духов, часовой стрелкой, забытым носовым платком, принял правила, навязанные нам нашей гордостью, стыдом, традицией, воспитанием, но на самом деле это его собственные правила, он их установил; он удалился, чтобы управлять нами на расстоянии. Прошло двадцать, сорок минут, прошел час, нужно было набраться терпения, наконец дверь приоткрылась: она. «Кто это вам разрешил сюда заходить?» — спросила она надменно. Он ответил: «Дежурный врач». Это была ложь, но ложь по правилам. «Это кабинет заведующей, — сказала Шурочка, — что вам здесь надо?»

Илья Рубин сидел в служебном вращающемся кресле, спиной к зашторенному окну, перед ним горела настольная лампа и лежали бумаги, словно он был начальником, а она явившейся по вызову подчиненной. Это избавляло Шуру от необходимости немедленно уйти. Ключ от кабинета лежал на столе, она потянулась за ключом. Рубин поймал ее руку. Шурочка попыталась вырваться, он держал ее запястье и потянул к себе, она неохотно придвинулась. Она стояла, упираясь низом живота в край стекла, которым был покрыт стол. Рубин разглядывал ее ладонь, и она тоже смотрела на свою ладонь. «Сейчас узнаем всю твою жизнь». Она вырвала руку. «Испугалась?» — сказал он. Она отступила на два шага. Илья взглянул на нее иронически-

вопросительно, забарабанил пальцами по стеклу. Она медлила, очевидно, ждала, что он встанет из-за стола. Он барабанил пальцами. Она вздохнула, пожалала плечами и повернулась к двери, возможно, рассчитывая, что он подкрадется сзади. Илья сидел за столом.

«Ладно, — сказала она, — побаловались, и хватит».

Она приблизилась, чтобы взять ключ. В эту минуту шаги прошестели в коридоре, кто-то медленно прошел мимо кабинета. Илья Рубин смотрел на Шурочку, прижав палец к губам. Она озабоченно взглянула на него, он кивнул еле заметно. Вещи были их союзниками. Ключ проник в скважину. Из коридора не доносилось ни звука. Неловко повернув ключ, Шурочка заперла дверь, и вдруг раздался звонок, дребезжал телефон.

Шура бросилась к столу, но он сам поднял трубку, подержал и положил на рычажок. Оба смотрели на черный аппарат. Телефон снова зазвонил. Илья взял трубку, произнес басом:

«Алё... Нет. Вы ошиблись».

Он сделал знак Шурочке, она приблизилась; там продолжали говорить, он поманил ее еще ближе, как будто хотел передать ей трубку, она обошла стол кругом. Вещи были посвящены в их разговор, но сами они как будто не знали об этом заговоре, и все происходило ненароком; получилось даже, что телефон зазвонил весьма кстати; Илья прижимал к уху трубку, другой рукой обнимал Шуру за талию, она вяло старалась сбросить его руку.

«Вам дали старый номер, — сказал он. — Номер сменился. Нет. Не знаю».

Он положил трубку и указал пальцем на провод. Девушка усмехнулась, присела на корточки в узком пространстве между стеной и креслом, вырвала вилку из розетки. Оба засмеялись, теперь ей некуда было деться, путь отступления был отрезан. Илья тянул ее к себе, кресло крутилось под ним то вправо, то влево, волей-неволей пришлось сесть к нему на колени. Он протянул руку, нашарил выключатель и потушил лампу.

Поцелуи, необходимая борьба как будто отвлекли ее внимание, рука мужчины проникла под халат, пальцы отколупывали пуговицы между лопатками. Она повела плечами, оттого ли, что не давалась или чтобы помочь ему, руки соскользнули вниз, он держал ее за мягкие прохладные бедра, больше ничего на ней не было, и он обрадовался этой предусмотрительности. В темноте они сидели лицом друг к другу, словно индийские божества, кресло медленно поворачивалось, он увидел лунный, фосфорический блеск шуриных глаз, и его охватило счастье, глупый восторг мужчины от того, что на ней ничего нет, что там вообще ничего нет, ничего мужского, прохладная кожа, шелковистый тайник, нежная раковина и больше ничего.

Невзоров (о родителях которого известно немного, о предках вообще ничего, разве что можно предположить, что шесть или семь столетий тому назад заезжему ордынцу пришлось на ум потребовать от мужика, чтобы тот уступил ему на ночь место возле бабы на лежанке), Невзоров, одиннадцати лет от роду, был раскулачен, ехал несколько суток в товарных вагонах с отцом, матерью, бабкой, братьями, грудной сестренкой, с соседями и кумовьями, с неизвестными лихими людьми, с уймой всякого народа; в дороге потерялся, ускользнул от конвоя, был снят с другого поезда, скрыл происхождение, сбежал из детдома, добрался до Тулы, где проживала дальняя родня. В Туле учился в ремесленном училище, потом служил в армии, вернулся, работал, пил, но в меру, родил сына и дочку. Город Тула, как знает всякий, издавна славился оружейным и самоварным производством; и сам Невзоров, когда его спрашивали, мастер ли он, отвечал с достоинством: «Около мастеров». Он был доволен судьбой. «Что там Москва, — говорил он, — вот у нас...» Для него Тула всю жизнь оставалась большим городом. Для Шурочки же, с тринадцати лет мечтавшей попасть в столицу, Заречье, да и весь город были дырой, наводившей тоску и скуку; то ли дело шагать легким шагом, в воздушном платье, на каблучках, по чистым, широким, солнечным улицам и встретиться невзначай глазами где-нибудь на перекрестке с элегантным мужчиной в шляпе, с сидящими висками, в заграничном каком-нибудь макинтоше — и пройти мимо. Или с капитаном дальнего плавания, или... Дальше она не загадывала, зов этих видений состоял в их незавершенности. Все должно было совершиться по ее желаниям и мимо ее воли. Шура верила в уличную легенду, по которой мать ее, беременная, загляделась на прохожего цыгана; несколько раз она испытала свой взгляд на мужчинах, на ребятах в фельдшерско-акушерском училище и убедилась, что он обладает магической губительной силой.

В пятнадцать лет Шурочка считала всех двадцатилетних перезрелыми девами, в двадцать лет считала старухами всех двадцатипятилетних. Она страдала из-за своего невысокого роста, но успокоилась, увидев в одном фильме актрису, которая на две головы была ниже своего кавалера, отчего выглядела даже еще соблазнительней. Она дала себе слово, что выйдет только за москвича, жадно слушала рассказы о фиктивных браках, дело верное, говорили ей, и не надо даже знакомиться — просто сходить с ним в загс, потом прописаться, а остальное уладят опытные люди; одна подруга так и сделала, теперь живет в Москве. А развестись нетрудно. Шурочка даже начала копить деньги. Но тут выяснилось, что существует лимит для медсестер в новые больницы на окраинах.

Она была способной и прилежной девочкой, мечты о капитане дальнего плавания давно уже казались ей смешными, вопрос был в

том, как устроить жизнь; учеба доставляла ей удовольствие; она окончила училище лучше всех и могла бы по пятипроцентной норме поступить в мединститут, как и советовал ей один преподаватель, но поступить можно было только в Туле. Этот преподаватель пришел провожать ее на вокзал, стоял в сторонке, пока она прощалась с родными, а потом вошел в вагон и стал умолять ее остаться. Поезд тронулся, а он все еще обнимал ее, плакал и говорил, что оставит жену.

В вагоне, сидя у окна (на полке лежали ее чемоданы), Шура взглянула на сумрачное отражение среди полей и перелесков, увидела свои блестящие заплаканные глаза и низкую челку; так, моргая неумело накрашенными ресницами, всхлипывая и сморкаясь, она ехала навстречу своему будущему, оставив другое будущее в Туле; ей было жалко Заречья, жалко преподавателя и жалко себя. «И куда потащилась?» — думала она в отчаянии. Поезд остановился на первой станции, там ожидала, готовясь к штурму, толпа, люди вломились в вагон, но уже и так все места были заняты, и на каждой следующей станции повторялось то же, никто не вылезал, втискивались все новые пассажиры. Великий город, еще невидимый за горизонтом, всасывал в себя потоки машин, к нему тянулись товарные составы, телефонные провода и чернильные тучи; все несло к Москве, и уже мелькали пригородные платформы. И когда, наконец, она вышла с толпой, неся в обеих руках багаж, на залитую дождем платформу Курского вокзала, она уже не испытывала сожалений, а только голод, усталость и возбуждение.

Первые дни она ночевала у подруги, той самой, которая вступила в фиктивный брак. После развода подруга разменялась и жила теперь в комнатке на окраине, где-то работала, постарела; хотя у Шурочки было направление на работу, оказалось, что на места в общежитии очередь; ее прописали условно, ей приходилось ночевать то у подруги, то в больничном отделении, после дежурства она отправлялась на поиски жилья, уславливалась с хозяйками, снова искала, отбивалась от сомнительных приглашений, одно время снимала угол за городом. Постепенно все устроилось. Была ли она довольна?

Она говорила себе, что «не видит Москвы». Та столица, о которой она мечтала, оказалась чем-то неуловимым; счастливая, легкая жизнь была рядом — и оставалась недостижимой. Между тем она чувствовала, что достигла своей лучшей поры. Шура сделалась раздражающе привлекательной, была словно окружена фосфорическим свечением. Или теперь, или уже никогда. «Поезд уйдет», через несколько лет она состарится.

Шура Невзорова обладала тем, что по справедливости следует признать преимуществом многих женщин; могла бы и сказать об этом, если бы умела подобрать нужные слова.. Раздвоение духа и плоти — достояние так называемого сильного пола, его проклятие и его спасение, ибо цельный мужчина, право же, чаще всего идиот. Тогда как женщина способна приблизиться — без риска остаться примитивным существом — к идеалу цельного человека. Но если мы дышим легкими, двигаемся при помощи сухожилий и мышц, фантазируем оттого, что у нас есть мозг, — что нам мешает предположить, что дело обстоит наоборот, что мозг — лишь орудие мысли, тело — инструмент души; что, наконец, продолжение рода не функция органов вождления, но сами они вкупе с проводящими путями спинного мозга и высшими нервными центрами подведомственны некой стоящей над ними воле. И что в конце концов речь идет даже не о том, что чему подчинено, но о чем-то едином, о двух проявлениях одного и того же. Эта теория — впрочем, не новая — как нельзя лучше подходила к Шурочке: ее тело было ее душой. Душа жила во всех уголках ее естества, не только в мозгу, была представлена всей ее плотью, душа — это и была плоть, и чувство стеснения и стыда, чувство, что ты заключен в свое тело, как в клетку, что некуда деть руки и ноги, мучительное чувство неловкости, так часто преследующее молодых людей, было Шуре попросту незнакомо; когда она шла по улице, то каждой клеточкой кожи, от кончиков пальцев до сосков, ощущала себя единым существом, каждым мускулом и каждым изгибом откликалась на провожавшие ее взгляды; отовсюду глядела и отзывалась ее душа. Можно сказать без преувеличения, что она в такой же мере думала своим телом, как и мозгом, рассуждала с помощью стана и бедер и владела ими лучше, чем языком. Поистине она была существом одухотворенным с головы до ног, и если пришла к убеждению, что тело было ее единственным капиталом, если на этом строила все свои надежды, то кто посмел бы ее упрекнуть?

Из сказанного, однако, не следует, что ее поступками всегда и безусловно руководил расчет. Так же как нельзя заключить, что она всегда и во всем была рабой своего «низа». Что такое «низ»? Опыт научил Шурочку быть осмотрительной, но то, чего ей хотелось, было всем сразу и ничем в отдельности. И любовь, и деньги, и хороший человек, если попадется. И чтобы можно было развлечься, и чтобы остался запасной выход.

Шура пыталась вспомнить, когда они познакомились. Это произошло как-то само собой. Во всяком случае, уже после того, как она окончательно рассталась со своим непутевым мужем. Она заметила,

что бородатый и чернокудрый, с зубами, как у коня, и, конечно же, не внушавший ни малейшей симпатии, стал попадаться ей на глаза. Иногда можно безошибочно почувствовать, выпив рюмку, как тонкая иглолка алкоголя вонзается в мозг, но это совсем еще не опьянение. Можно почувствовать, как что-то на мгновение ёкнуло вниз, но это еще не желание. Так было, когда он вошел в комнатку для персонала.

Она стояла перед зеркалом, краем глаза видела в глубине его джинсовую куртку, он прикрыл за собой дверь, она что-то сказала, нечего здесь торчать, могут войти и сделать ей замечание, зачем она пускает в комнату посторонних. В это время она прикальвала накрахмаленный медицинский колпак двумя заколками на висках и вправляла колечки волос на затылке. Его лицо росло в зеркале, она слегка встревожилась, покосилась через плечо, он стоял на прежнем месте. Шура почувствовала разочарование, он ее совершенно не интересовал, и если бы он повернулся и вышел, она забыла бы в ту же минуту о нем; тут ей пришлось в голову, что с ним можно было бы поиграть — так, от скуки. И она сделала мимолетное движение, как бы подала знак, понимай как хочешь, привстала на цыпочки, держа по-прежнему руки на затылке, и слегка покрутилась перед зеркалом. Она любовалась собой и косилась в зеркале на него, чувствовала себя погруженной в его взгляд, и ей было приятно думать, что она все еще молода, и одинока, и совершенно ни от кого не зависит; все это продолжалось несколько мгновений, он смотрел сзади на ее ноги, и, собственно, ничего больше не произошло; она бы и не вспомнила об этом эпизоде, если бы он исчез, но он не исчез.

Шура хотела выйти из комнаты, тут он почему-то решил, что надо действовать, и она решительно поставила его на место, но вечером, увидев, что бородатый все еще околачивается в отделении, как-то вдруг решила его ободрить, разумеется, в шутку, мельком взглянула на него, на минутку задержалась перед кабинетом заведующей. Она опустила ключ от кабинета в карман и побежала дальше по коридору в палату, над которой моргала сигнальная лампочка. Немного позже она решила сходить в хирургию за перевязочным материалом. Идти туда было необязательно, хватило бы до завтра, и вообще это было обязанностью старшей сестры, тем не менее она вышла на лестничную площадку, у окна стоял полупрозрачный юноша в сандалиях, с белыми крыльями за спиной, ангел смерти являлся ежевечерне, она зажурилась и сбежала вниз по лестнице; несколько времени погода она вернулась в отделение.

Шура не забыла, что она отперла кабинет и, поджав губы и качая головой, направилась в комнату для переодевания, где произвела некоторые перемены в своем туалете; все это делалось как бы нехотя и на всякий случай. И все это было совершенно не нужно, а с другой

стороны, почему бы и нет. Шура чувствовала, что скользит туда, где все заканчивается одним и тем же, но ей приятно было думать, что она остается хозяйкой положения и в любой момент может остановиться. Поэтому она продолжала скользить. Сколько-то времени она просидела за столиком в коридоре, медлила, перелистывала журнал назначений, вынула из ящика роман о шпионах, сунула назад, наконец, поднялась и подошла к кабинету заведующей. Где-то наверху хлопнула дверь лифта, кабина с шорохом проехала вниз. Послышался шелест сапдалий, она оглянулась. Прозрачный юноша вошел в отделение, и ей показалось, что он поднял руку, как бы подал знак, чтобы она не удивлялась. Но она не удивилась, ведь она знала, что находится в чертогах жизни и смерти. Ангел медленно приложил палец к губам. Но передумав и повернул назад. Она смотрела ему вслед. Он растаял. Половинки стеклянные дверей на лестницу все еще подрагивали. Шура стояла, задумавшись, перед кабинетом; висела мертвая тишина. Тут она заметила, что в скважине нет ключа, сунула руку в карман халата, и там тоже не было ключа. Она взялась за ручку двери, ручка опустилась сама собой, дверь была открыта. Шура вошла в кабинет и увидела, что он сидит в кресле заведующей отделением и на столе лежит ключ.

На самом деле, конечно, она хитрила сама с собой, говоря себе, что оставила по забывчивости ключ в скважине; и, когда она бежала вниз по лестнице в хирургическое отделение в своих босоножках, прыгая по ступенькам, точно ей было восемнадцать, она знала, что ключ в скважине был знаком, который она ему подала, и что скорее всего он ждет ее там, в кабинете, и думала, почему бы и нет, и думала, что она прелестна, и эта мысль наполняла ее восхитительным томлением. Минут через десять она вернулась; тот, кто ждал в кабинете, маячил на горизонте ее мыслей, но музыка вождения стихла, и авантюрный восторг прошел. «Ничего, — думала она, — подождет, куда торопиться». Время крутилось на одном месте; она зашла в комнатку для персонала и сняла с себя кое-что лишнее — на всякий случай, — но твердо знала, что лишь заглянет к нему в кабинет и больше ничего. Она отнесла бикс в перевязочную, уселась на свой пост за столиком в коридоре и стала думать о своих делах, о завтрашнем дне, о покупках и очередях, мысли ее разбрелись. «Подождет», — сказала она и вынула из ящика шпионский роман. Время остановилось, тяжелые большие успокоились, тишина и сон объяли отделение, изредка погромыхивал лифт, вдруг ей пришло в голову, что никого в кабинете заведующей нет, он давно ушел, а она Бог знает что себе насочиняла. «И прекрасно», — сказала она вслух. Ей было досадно. Она совершенно не думала о Рубине, а думала: сколько упущено возможностей, а молодость между тем проходит.

Ей вспомнилось, как однажды, это было в самое первое время, ей сказали, что отец приехал и ждет ее внизу; она решила, что дома что-то случилось, но там сидел (на скамье внизу, согнувшись, опустив голову и упершись локтями в колени, так что она видела только его шляпу) не отец, а преподаватель училища, и ей стало стыдно, что она живет в грязном общежитии; было утро, он приехал с ранним поездом, Шура только что вернулась с дежурства, была усталой и некрасивой; остановилась перед ним, не зная, что ему сказать; они поднялись к ней в комнату, где стояло шесть коек с тумбочками, посторонних впускать не разрешалось, но можно было считать, что он ее отец; потом вышли из общежития, дождались автобуса, долго ехали и после весь день бродили по неизвестным улицам, катались на метро, ели мороженое и сидели в каком-то сквере. Шура ждала, что он скажет ей что-то окончательное, то, ради чего он приехал, но он говорил только о том, что у него никого не осталось в жизни, кроме нее, с семьей полный разлад и что он только о ней и думает. Почему же ты не уйдешь от них, хотелось ей спросить, но она ждала, что он сам скажет. Здесь уже было не так, как в Туле; здесь они были на равных, и даже бросилось в глаза, что он приехал из провинции, а она столичная штучка: в модном пальто, с лакированной сумочкой и в чулках телесного цвета со стрелками; она даже стала говорить ему «ты». Ноги устали; когда оба они сидели в сквере на скамейке, Шура выпростала ноги из туфель, он отодвинулся, она положила ноги на скамейку. Преподаватель училища грел в ладонях ее ступни в блестящих чулках, гладил ее ноги, сначала икры, потом колени. Наконец он сказал:

«Мы должны выяснить отношения».

«Какие отношения?» — спросила она. Он сказал, что остановился у дочери, оказалось, что дочь тоже работает в Москве; предложил зайти к ней. Шура отказалась, ей было неприятно, что он заговорил о дочери, которая была старше Шуры.

«Там сейчас никого нет, — возразил он, — оба уехали и оставили мне ключи».

Она ответила: «Тем более не пойду».

«Почему?» — спросил он.

«Не пойду, и все». И сейчас ей казалось, что она упустила возможность, казалось странным, что она предпочла солидному преподавателю своего беспутного мужа, который тогда только начал подбираться к ней и только и сумел что сделать ей ребенка; а главное, ей казалось странным и нелепым, почему она колебалась и разыгрывала недотрогу, ведь все это так просто.

С этой мыслью она встала и, вздохнув, направилась в кабинет заведующей.

Мать Ильи, Берта Владимировна, лежала в проходе между койками, в последней палате женского коридора, и слушала фантазию до мажор Шумана, которую играла ученица. Вещь была девушке совершенно не по силам, она не только неспособна была понять смысл этой музыки, изумительное соединение страсти и мужественной мысли, но попросту перевирала целые пассажи, пропускала такты, не играла, а барабанила и при этом лежала на койке, ногами к раскладушке учительницы, и даже похрапывала время от времени. Как-то так получалось, что все происходило одновременно: ученица лежала в палате наискосок от нее и играла на старом инструменте, занимавшем чуть ли не всю комнату, сама же Берта сидела рядом, переворачивала ноты, морщилась и терпеливо выносила ужасное исполнение, чтобы уж потом сразу высказать все свои замечания. Другие женщины в палате, очевидно, были тоже ее ученицами, но она не спрашивала, почему они явились раньше времени, почему очутились здесь, надо было дожидаться, когда закончится отвратительная, неумелая, до ужаса бездарная игра. Вдобавок оказалось, что рояль был расстроен, вероятно, оттого, что его перевозили и втаскивали по лестнице, в лифте везти было невозможно, — поэтому она приняла сразу два решения: во-первых, она не будет ничего объяснять, просто скажет, что прекращает уроки. Скажет, что с такими данными продолжать занятия бессмысленно. Во-вторых, она вообще прекращает преподавание, так как теперь, когда приходится больше времени проводить в больнице, чем дома, все лишилось смысла. Ученица встала с постели, это была старая женщина с седой косичкой, протиснулась между спинкой кровати и раскладушкой, почти задевая лицо Берты Владимировны подолом рубашки, и потянула за шнурок, чтобы закрыть фрамугу. «Позовите сестру», — сказала Берта. Больная ничего не ответила, улеглась и натянула на себя одеяло. «Разве это так трудно? — продолжала Берта Владимировна. — У вас над головой кнопка вызова. Достаточно только протянуть руку. Хорошо, — сказала она, — я потерплю. Только, пожалуйста, не храпите». — «Все спят, — проворчала больная, — тебе одной не спится». — «А знаете почему?» — спросила Берта. «Не знаю и знать не хочу». — «Я умираю, — сказала Берта, — попросите, чтобы вызвали сына». — «Небось не помрешь. Старое дерево век скрипит». — «Вы так думаете? И почему вы так грубо со мной говорите?» В полутьме послышался скрежет кровати, ворчливый голос ответил: «Чего это грубо? Нормально разговариваю, как все». «Я... Мне...» — сказала Берта Владимировна и забыла, что хотела сказать. «Сама не спишь и людям мешаешь», — сказала больная с ударением на «я». Берта хотела сказать, что надо немного потерпеть, музыка кончится, и она умрет, но промолчала. После этого прошло сколько-то времени, и голос соседки спросил из темноты: «Ты чего? Ты куда? Ты, может, попысьать хочешь?» Берта молчала. «Да ты куда собралась, милая, куда собралась?..» Берта

Владимировна стояла посреди палаты, держась за спинку чьей-то кровати. Вторую раскладушку убрали накануне вечером, образовался свободный проход.

«Давай, давай, ложись, а то простынешь», — приговаривала больная, держа Берту под мышки. Берта Владимировна уцепилась за спинку кровати и не спускала глаз с двери. «Ложись, спи, — сказала соседка, — ишь, разгулялась. Мне, бывает, тоже разное снится. Потом думаю: “Господи, кто ж это был?”».

Дверь в палату была раскрыта настежь, и там стоял мужчина в белом, вероятно, дежурный врач.

В эту минуту (она снова лежала на раскладушке, в палате горел свет, стоял штатив с капельницей, сестричка искала вену, похлопывала пальцами по локтевому сгибу) Берта Владимировна почувствовала, что никогда ее мысли не были так отчетливы, никогда она не оценивала так ясно и трезво свою ситуацию. Она вздрогнула, когда сестра вколола ей иглу в тыльную часть руки, но кровь не шла из иглы, пришлось вынуть иглу, сестра хлопала ее по руке, снова протерла кожу холодным спиртом, снова вколола, это были бесполезные хлопоты. Берта Владимировна перестала обращать на них внимание, ее мысли были ясны, как никогда; Берта была спокойна, как может быть спокоен человек, освободившийся от всех надежд и иллюзий.

«Ты не представляешь себе, — сказала она, — сколько я написала заявлений».

Дежурный врач наклонился над ней, видимо, не расслышал.

«Сколько порогов пришлось обить, — продолжала она, — ты даже не представляешь. Чтобы наконец-то получить ответ».

«Что же это за ответ?» — спросил он.

Она усмехнулась. «Нельзя сказать, что я так уж сразу и поверила. Одного я не понимаю, зачем они меня водили за нос столько лет...»

«Значит, все-таки поверила».

«Как тебе сказать. Все же, как ни говори, авторитетная инстанция».

«Тут какое-то недоразумение», — сказал врач, у которого под расстегнутым халатом была полувоенная форма: темно-синяя гимнастерка, широкий ремень, галифе. Он был в сапогах.

«Сделайте еще раз кордиамин», — сказал он сестре.

«Нет необходимости, — сказала Берта презрительно. — Извини, я перебила. Какое недоразумение?»

«А такое, что они тебя снова обманули».

«Я тоже сначала так думала. Но, знаешь...».

Он не дослушал, принял объяснять, что, с одной стороны, это верно, он действительно был приговорен к высшей мере, за что, не важно, и приговор приведен в исполнение, тут уж, добавил он, ничего не поделаешь. Но это было давно, теперь законность восстановлена. Он улыбнулся.

«Как видишь, все в порядке, я жив и здоров. И даже вот...» Он распахнул халат, у него оказался орден над карманом гимнастерки.

«Жаль, — сказала Берта, — очень жаль, что ты так поздно о нас вспомнил».

Рубин-старший пожал плечами.

«Мне дали телеграмму, и я приехал. К сожалению, всего лишь на один день».

«Дела?» — улыбнулась она.

Он снова пожал плечами.

«И так еле отпустили. Так что, — проговорил он, — придется ему взять на себя все заботы. Я уже кое-что заказал, цветы, место с великими трудами удалось выхлопотать, вот это, — он постучал пальцем по ордену, — мне помогло! Надо будет только проследить, чтобы все было сделано, как положено. — Она снова вздрогнула. На этот раз сестра попала в вену. — Прекрасно, — сказал врач, — вколите кордиамин прямо в трубку и, пожалуй, преднизолон».

«Если ты имеешь в виду его, то он от меня очень отдалился, и вообще это другое поколение. Особенно теперь. Помнишь наш дом? Меня выселили...»

«Странно, что тебя не выселили раньше».

Берта хотела спросить: а как у тебя с личной жизнью? Он махнул рукой: дескать, не стоит об этом. Давай попросимся. Да, еще одно дело... Он наклонился и прошептал: я хочу тебе сказать одну вещь, очень серьезную, но только чтоб никто не слышал, это секрет... Он продолжал шептать ей на ухо, но она не могла понять. Что такое, сказала она, говори громче. Какие еще секреты, теперь уже и так все ясно. Отойдите прочь! — крикнула она. Дайте мне наконец побыть наедине с моим мужем. Мой муж приехал, неужели вам надо объяснять?..

Тут вот какое дело, шептал он и дышал ей в лицо, я думаю, тебе пора об этом узнать... Я ничего не слышу, говори громче. Невозможно было понять, что он там бормочет. Она собрала все силы и стала подниматься. Ну вот, сказал он, теперь ты все знаешь. Что, что? — спросила она, говори громче, а вы все уходите из палаты! Откройте окно, дышать нечем. И уходите, все уходите. Все послушались и ушли. Повтори, что ты сказал, я не могу в это поверить. Этого не может быть. Повтори! Что ты сказал? Но его уже тоже не было.

VII. ПРИБЫТИЕ

В памяти нашей оживает зрелище правительственного прибытия, или, лучше сказать, некое видение встает перед нашим взором. Внезапно пустеет шоссе. Ни одно должностное лицо не знает, кто прибывает, акцент не на подлежащем, а на сказуемом. Здесь годилось бы немецкое

неопределенное местоимение, но в нашем языке его нет; словом, некто прибывает. Летит невидимая молва из-за лесов, где прячется аэродром; летит прямая, как игла, дорога; горит серебряный небосвод, день еще не совсем угас, и как будто даже светает: наступил таинственный, оловянный, слюдяной час. Длинный луч шарит по небу, вспыхивают лиловые молнии, переговариваются мегафоны, и вдруг утробный голос где-то рядом из-под земли обдаёт начальственным матом водителя, который замешкался со своим автобусом. Мигают молнии, приближаются фары, с оглушительным шорохом проносится отряд машин. Блестит, как лезвие меча, пустынная дорога. Все смолкло, все ждет.

И вот является новое светило, зреет ослепительная звезда. Первым в ее луче катит автомобиль с самым главным и грозным распорядителем; возможно, это начальник милиции всей столицы или всей страны; а далее можно лишь строить догадки, что растёт под пологом туч, стоит на горизонте, шевели усами огней, катится, приближается, — с плавным свистом летят над шоссе длинные, лакированные, как черные жуки, лимузины, за темными стеклами покачивается на заднем сиденье некто — или их несколько? Едет тот, кто четверть часа тому назад, поддерживаемый верным телохранителем, спустился с небес. Едет Никто.

Вот в чём вся соль, и величие, и тайна! Там нет никого, — а есть только бдительность, секретность, оперативность, утробная брань начальств, ртутно-лиловые молнии, милицейские мотоциклы на пустых перекрестках и мистическая сигнализация в воротах Кремля. Дрожит на стёклах кровавый отсвет заката, поблескивают глаза окаменелого шофера, едва заметно колышется в руках штурвал, свистит дорога, летят посты, летят чахлые рощи, поля, надвигаются грязно-белые корпуса окраин, и позади шофера, в недрах бронированного, длинного, как вагон, лимузина, на мягком диванном сиденье — Никто.

А там уже ждёт, машет флажками, под присмотром милиции, вдоль всего Ленинского проспекта, вдоль улицы Димитрова мобилизованный народ. Экипаж въехал в башенные ворота и подкатил к подъезду. Словно Будда, на короткое время вынырнувший из нирваны, Никто, именуемый Генеральным секретарем, с двух сторон подпиремый слугами, втащил свое обрюзгшее тело по широким ступеням, вступил в мягко освещенный покой, вошел в кабинет и, как живой человек, плюхнулся в кресло. И молвил, смежив тяжелые веки: Уф! Я прибыл. Я здесь. Я — тот, кого встречали, кому махали флажками на улицах моей столицы, кого видели все и ни один человек не видел. *Я Есмь Тот, Кого Нет.* Горе тем, у кого хватит смелости усомниться в том, что я есмь! Я тот, для которого существование несуществование — одно и то же, бытие — все равно что небытие, ибо небытие — это и есть мой способ быть.

Олово дня почернело, скорей назад — мы должны успеть вернуться в аэропорт, где нас ждет еще одно и для нашего рассказа более важное событие: ещё одного гостя доставил в столицу мира другой, только что приземлившийся воздушный корабль. Отъехала в сторону эмалевая заслонка, высунулось бледное личико стюардессы, и следом за ней на площадку подъездного трапа ступил один, затем другой сапог, лоснящийся, как круп вороного коня. Кстати, на диалекте известных социальных кругов слово «кони» (а также прохоря, лопаря и проч.) как раз и означает «сапоги». Ноги в просторнейших темносиних галифе спустились по ступенькам на столичный асфальт и, бодро шурша дорогой тканью, зашагали навстречу полярному сиянию аэровокзала. Тучный загорелый человек в тюрбанообразном кепи на бритой сиреневой голове, в пиджаке иноземного покроя с единственным знаком отличия на отвороте — золотой звездочкой на крохотной алой колодке — промаршировал, слегка помахивая маленькими руками, в сопровождении двух, чёт знает, как их назвать: абреков, соратников, царедворцев, телохранителей. Оба сопровождающих были в габардиновых одеяниях и башмаках, в которых можно было угадать те же упрятанные в брюки вороные сапоги. Оба, в отличие от пахана, точнее, хана, в фетровых шляпах. Шофер подскочил, помог втиснуться в машину; минуту спустя дородный гость и эскортирующие лица покачивались на упругих подушках; экипаж летел по шоссе.

Сразу скажем, чтобы не заставлять читателя теряться в догадках, что в столицу пожаловал Председатель Верховного Совета Половецкой АССР, депутат Верховного Совета и Герой Социалистического труда, не говоря о других чинах и отличиях. Газеты не сообщили о нем, что было естественно, так как газеты сообщали только о вымышленных событиях; приезд половецкого хана не был обставлен чрезвычайными мерами, что лишь подчеркивало реальное, а не символическое значение его визита. Никто, прибывший первым, был никто, даже если в обычной жизни он был Кто-то, — тогда как хан воплощал наиреальнейшую действительность.

Общество, в котором Никто функционировал главным образом в качестве портрета, не было ни чиновным, ни сословным, ни классовым, ни бесклассовым, но было всем сразу. Века смешались в нашем отечестве: феодализм, социализм — кто мог во всем этом разобраться? В некотором роде это были синонимы. В этом обществе было всё: сословия, и кланы, и классы, и лестницы чинов, и уходящие ввысь уступы ведомств; в нем перепуталась география: Запад выглядел как Восток, а Восток напялил на себя одеяние Запада; существовала жреческая коллегия, существовал верховный синклит, и что-то вроде шахиншаха. «Руководство» — вот ключевое слово: главным, ради чего воздвигнуто было все здание, были аппараты — партийный, государ-

ственный, хозяйственный, идеологический, наконец, аппарат сыска и вылавливания врагов, причем все соперничали друг с другом; и точно так же многократно дублировал себя социальный организм. Можно было говорить о параллельных иерархиях и об иерархии иерархий.

В четырех иерархиях своего родного края половецкий хан был №1: в партийной, в феодально-национальной, в коммерческой и в уголовной. Он притязал и на первое место в пятой, ещё не сложившейся, но уже особо престижной поэтической иерархии, о чем будет сказано позже. Ирония судьбы, или, что то же самое, истории состояла в том, что народом, который покорил все соседние земли, управляли плебеи. Никто — если вернуться к тому, кто прибыл первым, — был именно никто, человек без роду и племени. Иначе обстояло дело в республике степей и предгорий. Зато хан являл собой легендарную древность в блеске клинков. Он жил в XII столетии, восседал в шатре на алазанских коврах, и «вкруг рой абхазянок прекрасных», и «кальян в устах его дымился», и в то же время был удивительно приспособлен для жизни в наши дни. Он утверждал, что происходит от брачного ложа ханской дочери и грозного Святополка, от внука его, тринадцатого хана, чье войско погибло на Калке. Но он так же уверенно чувствовал себя и в нашем, все на свете перепутавшем веке.

Ему принадлежали государственные магазины вместе с директорами, склады с их заведующими, ларьки газированной воды, торговые ряды на колхозном рынке и орденосный ансамбль национальной песни и пляски со всеми его певицами и танцовщицами. Ему были подотчетны и регулярно платили ясак скупщики и перекупщики, банкиры, ювелиры, валютчики производители наркотиков и вообще все, чьи карманы отягчил презренный металл. Его уважали весьма уважаемые люди. Крупные осетры оказывали ему знаки внимания. Хан степей и предгорий приехал в Москву. И хотя событие это не было обставлено такой тайной и мистикой, как прибытие самолета с полусуществующим правителем, — а вернее, именно потому, что не было овеяно мистикой, — оно было неожиданностью для всех, включая тех, кому положено было ждать, трепетать, быть готовым в любую минуту предстать для расправы, поощрения, стратегических переговоров, увеселений и услуг.

VIII. ИНТЕРВЬЮ. ЧТО ТАКОЕ ЖУРНАЛ?

Во всем городе о знаменитом редакторе едва ли знало полтора десятка человек — не считая женщин и за исключением чинов тайного ведомства. Тем не менее Илья Рубин был знаменит и оставил по себе живую память. Живую, то есть зыбкую, неверную, ненадежную; на нее, собственно, и опираются наши попытки восстановить историю

подпольного журнала. Но какую историю — похоже, что никакого журнала не было. То есть что-то было. Мы только что стали свидетелями процесса, который называется собиранием материала. Вышел ли хотя бы один номер?

Если многое в истории Журнала осталось непроявленным, если смысл этой авантюры не совсем таков, каким его до сих пор было принято представлять, а фигура редактора выглядит почти баснословной, то потому, что разные люди уснащали всю эту историю подробностями, которые трудно согласовать.

Так, например, существует несколько версий смерти Ильи Рубина. Говорили, что он сгорел во время пожара, уснув с зажженной папиросой, в комнате покойной Берты Владимировны, вместе с ним якобы погибли все «материалы». Известно, однако, что он не курил. Ползли слухи, что пожар случился не без ведома тайного ведомства. Но чего только не приписывали этому ведомству. Вряд ли оно было заинтересовано в исчезновении вещественных доказательств, за которыми так усердно охотилось.

Другая, близкая к предыдущей, молва гласит: арест и водворение в психушку. Там он будто бы и отдал концы. Но уж слишком банальным выглядит такой финал.

Доводилось слышать более романтические версии. Будто бы, спасаясь от преследований, редактор укатил в чужие края: по одним сведениям, в Америку, по другим — на Ближний Восток. В Нью-Йорке сблизился с известным писателем Довлатовым, вместе издавали газету. Дружбу завершила дуэль из-за некоей любвеобильной красотки, «дававшей», как утверждают, и тому, и другому; выстрелом в область сердца Илья Рубин был убит. Его настигло несколько смертей: на земле предков он скончался от сосудистого криза, опять же в объятиях очередной и чрезвычайно пылкой подруги, на каких-то коврах, на высшей точке наслаждения, среди восточных курений, под бубны и завывания библейского рок-ансамбля. Завидный конец, но как же тогда надгробье, да еще бок о бок с ханом?

Ни одна из этих легенд не может быть опровергнута. Дело в том, что сама жизнь не бывает однозначной: мы, например, располагаем другими фактами. О них будет сообщено в свое время. Вернемся к Журналу. Своей находкой мы обязаны информационному прогрессу. Следует заметить, что уже в те годы техника записи достигла больших успехов. Лента из поливинилхлорида, покрытая ферромагнитным носителем, сочетает значительную информационную емкость с удобством хранения. катушку легко спрятать, при обыске незаметно выбросить в окошко и т. п. Что и предоставляет нам счастливую возможность услышать живой голос Рубина: редактор отвечает на вопросы, которые, за отсутствием интервьюера, задает себе сам.

Спрашивается, почему он избрал такой странный способ саморекламы. Было ли это рекламой? Для кого предназначалось «интервью»? Призрачная, выдуманная жизнь, которой жили в то время люди, почитавшие себя духовной элитой, — не нашла ли она свое выражение в нарциссизме, разновидности самоудовлетворения, в этой ржавой катушке, похожей на улитку-отшельницу, свернувшуюся в своей раковине? Читателю остается вообразить ленивый час после позднего пробуждения в башне слоновой кости. Воскресенье и, должно быть, мутный облачный день, не утро, не полдень, не сумерки; в комнате-берлоге, запущенной, как может быть запущено жилище холостяка достаточно молодого, чтобы не страдать от грязи и нищеты, и уже настолько закоренелого, чтобы ни за что не менять свои привычки. Негде повернуться: комнату загромоздил рояль. Это старинный, славный, еще тридцатых годов Бехштейн. Время от времени хозяин барабанит одним пальцем по клавишам, но главным образом инструмент служит письменным, кухонным и обеденным столом. Между резными ножками на полу помещается техника, напротив рояля — продавленное кресло. Бывают вещи, непонятным образом уцелевшие после войн, пожаров, еврейских погромов, революций, экспроприаций и набегов одичалых крестьян. Быть может, в этом кресле сто лет назад восседал ученый прадед Ильи Рубина.

Сколько-то времени проходит в мечтаниях, в созерцании мутных небес за окном, в выслушивании магнитофона, после чего босая ступня протягивается из кресла и нажимает большим пальцем на клавишу. Нажимает на другую. Катушки завертелись с удвоенной скоростью, голос кастрата выдал монолог на языке, напоминающем диалект жителей древнего Юкатана.

Моренцесса воды реснищной изнищла.
Танцуль звероз утанцонна! Царедревич-склоо,
упитьель изгубама,
зуфра цаядь еды зублюдама.
Винанец ли-нищъ из уме рец¹.

М-да, подумал редактор. Это был обрывок старой записи для рубрики «Современная поэзия».

«Начнем, пожалуй!» — сказал магнитофон.

Начнем.

«Мы находимся на квартире, вернее, в редакции, впрочем, какая к черту редакция, мы находимся неважно где».

Совершенно с вами согласен.

¹ Стихотворение С. Сигея.

«Итак: в какой стадии подготовки находится первый номер?»
В заключительной.

«А точнее?»

Если нам не помешают, Журнал скоро выйдет в свет.

«Но когда именно?»

Скоро. Вот-вот.

«Значит, все материалы собраны?»

М-м... почти.

«Вы как будто не уверены в сроке».

Это потому, что портфель все еще пополняется.

«А если помешают?»

Журнал все равно выйдет.

«Каков, если можно так выразиться, объем номера?»

Значительный. Точно сказать невозможно.

«Тираж?»

Странный вопрос. Журнал выпускает редакция, а дальше он размножается сам собой.

«Вы хотите сказать, тиражируется самими читателями?»

Если можно так выразиться.

«Скажите, а вы не боитесь? Ведь должны же быть в вашей среде... Как сказал древний автор: у кого не было врагов, того погубили друзья!»

Хватит с нас врагов. Впрочем, такое предположение не исключено.

«Вы имеете в виду... э?»

Да. Вполне возможно, что именно там находятся наши постоянные читатели.

«Где это — там?» — спросил магнитофон.

Ответа не было, видимо, редактор ограничился тем, что указал перстом на потолок.

«И вас это не пугает?»

Видите ли, пробормотал Рубин.

«Не валяйте дурака. Вы хотите сказать, что не занимаетесь политикой... Но вы прекрасно понимаете, о чем идет речь. Разве сам по себе факт нелегального распространения, если угодно, самый феномен нелегального существования, не является правонарушением?»

Воевать с государством — не наше дело, сказал Рубин презрительно. Пусть оно идет в ж...

«Тс-с! Проверка записи».

Катушки вертятся в обратную сторону.

Стоп. Теперь вперед. Стоп.

Скоро: вот-вот... А дальше он размножается сам собой... А что мы такое делаем?.. Воевать с государством — не наше... Пусть оно... Мы... Учреждение, о котором вы... Стоп.

«Не мы, а вы, — сказал говорящий аппарат. — Мы о нем не упоминали. Мы ничего не знаем. Мы всего лишь техническое устройство. Наше дело — трли, рли...»

Внезапно катушки завертелись сами собой, далее послышалось что-то невразумительное. После чего совсем другой, грубый голос произнес:

«Красивая баба, ничего не скажешь».

Кто?

«Будто ты не знаешь! Твоя любовница».

Которая?

«Нынешняя».

Бывшая, буркнул Илья.

«Ну и дурак».

Подумаешь, сказал Рубин.

«Она тебя любит».

Чего ж она тогда?..

«А что ей еще остается?»

Приходится признать, что эти устройства способны вести себя самовольно. Помолчав, пошелестев, прибор сказал:

«А теперь главный вопрос. Не могли бы вы дать приблизительное представление об авторском коллективе? Если не секрет».

У нас много авторов. Это выдающиеся умы нашего времени. Писатели, мыслители, поэты.

«Не хотите ли вы сказать, что в Журнале сотрудничают люди, ведущие двойную жизнь?»

Есть и такие.

«Значит, есть и другие».

Угу.

«Кто же они?»

Могикане духа.

«Что такое дух?»

Редактор, шевеля пальцами босых ног, устремил мечтательный взор в потолок, бобины вертелись, мотался хвостик оборванной пленки; вопрос повис в воздухе, как некогда вопрос Пилата: что есть истина? Что такое дух? Галилеянин промолчал, а мог бы ответить: истина — это Я. Примерно так же мог бы возразить редактор мнимому интервьюеру: Журнал — это и есть дух.

Первое впечатление при знакомстве с делом о подпольном журнале — а мы теперь дожили до времен, когда можно заглянуть в секретные папки, если, конечно, нас вновь не водят за нос, ибо добраться до дна Филиппинской впадины, чем измерить глубины подвалов, где хранятся дела, — итак, первое впечатление, когда листаешь следственное дело, — разветвленность заговора. Разумеется, и сегодня далеко не все рассекречено, но даже то, что доступно, поражает объемом проделанной работы. Сотни листов, десятки подследственных, подозреваемых, косвенно замешанных, никак не замешанных, так называемых свидетелей и так называемых понятых. Здесь вообще все — так называемое.

Как известно, дух веет, где хочет; в определение «духа» входит его неуловимость. Бросается в глаза, что в головах у следователей царил путаница. Казалось, криминал налицо. История прямо-таки просилась в протоколы, следственные трактаты и постановления; но чем дальше протягивались нити, тем они становились ненадежней, путались и рвались при первом прикосновении; все дело выглядело нереальным, и, хотя само по себе это не могло быть препятствием, — органы сыска привыкли иметь дело с призраками, строго говоря, только и работали с фиктивными материалами, — на сей раз превратить этот фантом в нечто зримое и осязаемое, видимо, так и не удалось.

Страшное слово произнесено здесь: *заговор*. Тут глаза, слезящиеся от бессонницы тотчас загорались, руки воинов подтягивали ремни щёлкали жёлтые зубы. Можно было, конечно, называть его и так.

Можно было квалифицировать Журнал как идеологическую диверсию, как антисоветскую агитацию и пропаганда, как подпольную типографию с использованием множительных аппаратов (ветхая пишущая машинка Ильи Рубина); наконец, заподозрить передачу порочащих сведений за границу. В этом духе и работало следствие. Но наиболее пронизательные умы на верхних уровнях дознания понимали или, вернее, чувствовали, что тут что-то не то; руководство, которому время от времени докладывались результаты, брезгливо отбрасывало бумаги (о чем свидетельствует раздраженный тон резолюций, вопросительные знаки синим карандашом на полях) и возвращало дело для исследования и дооформления.

Дело именовалось уголовным (как все дела) и в данном случае даже не зря: как мы ниже увидим, история в самом деле переплелась с уголовщиной весьма дрянного сорта; и следователи было воспрянули духом — увы, ненадолго. Дело от этого лишь затемнилось. Что до Журнала, то по-прежнему главное ускользало из рук. В чем дело, что такое Журнал? Никакого Журнала не оказалось, а вместе с тем он существовал. Ясно было, что взрослые люди играют в недозволенную игру, и в эту игру поневоле втянулись карательные инстанции. Получалась какая-то ерунда.

Как уже сказано, задача сыска состоит в том, чтобы превратить нечто фиктивное в действительное. Здесь же, напротив, действительность превращалась в фикцию и увлекала в какую-то мистическую яму все следствие; чем больше оперативные чины старались убедить себя и начальство, что перед ними истинное осиное гнездо, тайная организация и агентура иностранных разведок, тем сильнее было ощущение чего-то издевательски-ирреального. В конце концов следствие, затянувшееся на много лет, предприняло совершенно необычное для него умственное усилие — прибегло к символическому мышлению. Времена-то были уже «не те». Следствие превратило Журнал в некий устрашающий знак. И надо признать, что оно было не совсем неправо. Резонность такого поворота очевидна. Но в нем сказались и определенная усталость. И вот теперь спрашивается: не была ли эта усталость, недостойный паралич, в который впали высшие чины, не был ли он — подобно многому, о чем здесь уже говорилось, — предвестием близкого конца времен? Да, определенный успех был достигнут, участников удалось «изъять». Но это были, так сказать, арьергардные бои. Крушение державы окончательно спутало карты и лишило дальнейшее дознание цели и смысла.

...Могикане духа, как весьма выпренне выразился Илья Рубин. Но ведь речь идет о весьма прозаических предметах: например, о копирке. И вот целые дни уходят на добывание этого дефицитного материала. Речь идет о папиросной бумаге. О сборе материалов, о поиске участников, о встречах с чудаками и чайниками, о странствиях Одиссея. А Журнала нет — во всяком случае, от него не осталось почти никаких следов. Воистину речь идет о чем-то сверхматериальном.

Придется, стало быть, разочаровать тех, кто хотел бы видеть в Журнале карточный домик крамолы. Признать, что условия его существования — окраина и подполье — лишь отчасти объясняются политическими условиями. Вот что выбило почву из-под ног у органов сыска! Они напоминали собаку, которая охотится за мухами. Разинув пасть и щелкая зубами, они неизменно хватали воздух. Возникло подозрение, что Журнал существовал бы, даже если бы государство было в тысячу раз либеральнее.

Призрачное существование Журнала сделало его неуязвимым не только для тайной полиции, но и для гласности, независимым не только от политики, но и от рынка, недостижимым не только для стучачей, но и для камер телевидения. Оттого-то оно и было призрачным. Генеалогия Журнала, как мы теперь догадываемся, теряется в отдаленном прошлом. Журнал сравнивали с островами блаженных, с Касталией, с башней слоновой кости, с монастырем. Его можно было

уподобить тайному культу, сравнить с орденом или сектой; никто не знал, каково было на самом деле количество его адептов, вероятно, их было до смешного мало; метафора катакомб напрашивается сама собой, кроме того, в Журнале усматривали сходство с улиткой, рыцарем, черепахой, с пловцом в океане, с капсулой времени, с космическим кораблем в безмерной пустоте мира.

Но для этой миссии нужно было исключить себя из общества. Журнал был неуязвим для смерти, но также и для жизни. Право, нас вознесло высоко в этих размышлениях. Быть может, Журнал следовало считать просто синонимом культуры, той культуры, которая все еще отстаивает свою аристократическую честь и свободу, все еще размахивает картонным мечом, все еще отбивается от всех, кто хочет ее изнасиловать или купить, и уходит в катакомбы, и захлопывает над собой крышку подполья, и эмигрирует внутрь себя! Журнал был бесконечно выше всех своих участников. Призрачное существование было залогом его бессмертия, но это бессмертие было именно тем, о чем идет речь, — капсулой, — таким, каким только и может быть бессмертие духа; как Эвфорион, он оставил тленную одежду, и удержать его на земле было так же невозможно, как невозможно осязать божество.

IX. ЗАПАДНО-ВОСТОЧНЫЙ ДИВАН

Пора все же вернуться на землю.

Ничему не предавались с таким упоением люди того времени, как беседам по телефону. Очереди стояли перед уличными автоматами, ожидавшие нетерпеливо стучали монетой в стекло. Счастливы, владевшие личными телефонами, с утра усаживались перед аппаратом. Все номера были всегда заняты. Потоки новостей, ручьи сенсаций, крики, вздохи неслись и струились по проводам. Те, кто не сумел пробиться, потеряв терпение, обозленно вешали трубку:

«Разговаривают...»

На другом конце в отчаянии швыряли трубку:

«Разговаривают, в р-рот их всех!»

И снова:

«А-лѐ...»

Ведомство, установившее низкий тариф на телефонные разговоры, совершило акт, едва ли не равнозначный перевороту в истории культуры: оно уничтожило переписку. Вот отчего, между прочим, исчез роман в письмах. Его погубил телефон.

Это было новое и удивительное времяпрепровождение в абстрактном пространстве. Голоса без лиц и без глаз. Разговоры, напоминавшие световую дуэль кораблей. Разговоры бестелесных существ,

подчиненные сложному этикету. Слова выполняли загадочные функции. Паузы были нагружены глубоким значением, Разговоры, которые представляли собой алгебру человеческих отношений, отсылали к другим, «нетелефонным», что должно было подчеркнуть их кодовый, символический смысл.

«Это кто? — спросила трубка. — Это ты?»

«Вам кого надо?»

«Нам надо, чтобы был ты».

«Я у телефона. В чем дело?»

«С тобой будет шеф говорить».

«Здравствуй, кунак», — сказала трубка голосом половецкого хана.

«Кто это?.. А-а-а-а! Юсуф, дорогой! — закричал Олег Эрастович. — Я уж думал: куда пропал мой Юсуф?»

«Хо, хо, хо!»

«Я уж думал...»

«Хо-хо. Как здоровье?»

«Более или менее, Юсуф, более или менее! Надолго ли в наши края?»

«А это смотря по обстоятельствам».

«Юсуф, мой друг, ты же знаешь, я всегда тебе рад. Как поживаешь? Жена, детки? Все здоровы?»

«Живем. Не жалуемся».

«Надолго ли к нам, Юсуф?»

«А это, между прочим, от тебя зависит».

«Разумеется, Юсуф, что за вопрос...»

«Хо-хо-хо! Тебе, я вижу, объяснять не надо».

«Хе, хе... зачем же объяснять».

«Ладно. Какие новости?»

«Новости? Я для тебя кое-что приготовил».

«Если бы не приготовил, я бы тебе голову свернул, хо, хо!»

«Сюрприз для тебя, хе, хе...»

«Если бы не приготовил, я бы яйца тебе отрезал!»

«Хи, хи...»

«Хо-хо!»

«Марципан, — сказал Олег Эрастович и поцеловал воздух. — Конфетка. Совсем свеженькая, знаешь ли».

«Поглядим».

«Ты где?»

«Где всегда. Ладно, некогда! Жди звонка».

«Когда? Я должен организовать».

«Земляк позвонит, — сказал хан. — Некогда... Постой. Еще одно дело к тебе. При встрече. Это не телефонный разговор».

«Алё, — сказал переводчик. — А, это ты»

«Привет. Что новенького?»

«Ничего».

«Как бы нам повидаться».

«К сожалению, я в ближайшие дни занят».

«Угу. На следующей неделе?»

«Не знаю точно; надо созвониться. А что, срочное дело?»

«Это не телефонный разговор».

«Все понял. Но ведь я тебе уже сказал...»

«Да, да...»

«Я профессионал, я не могу позволить себе играть в эти игры».

«Господи, — сказал Илья Рубин, — я же тебя не насилую. Ты сам просил позвонить».

«Да, но я хочу, чтоб ты понял».

«Перезвоню тебе через десять минут».

Конспирация не помешает. Он вышел из телефонной будки. Несколько времени спустя вошел в другую будку.

«Это ты?» — спросила трубка.

«Я. Так как же?»

«Как, как...»

«Ты же поэт».

«Ну и что? — грустно сказал переводчик. — Пойми. Я человек дела. Как бы ты ни относился к моей работе, это работа, это профессия. Наконец, заработок. Ты ведь мне гонорар платить не будешь. Я профессиональный литератор, я работаю в литературе».

«Какая это литература...»

«Это ты так считаешь».

«А ты нет?»

Переводчик вздохнул.

«Ты же поэт, — сказал Рубин. — Настоящий поэт».

«Ты хочешь меня втянуть в эту авантюру. А у меня семья. Даже две».

«Слушай... тут какие-то хмыри стоят на углу. Ты будешь дома? Я позвоню попозже».

Спустя полчаса он вылез из автобуса, спустился в метро, проехал две остановки и вышел на людной площади. Очереди перед всеми будками.

Наконец:

«Это я. Алё? Я тебя не насилую, не хочешь, как хочешь. Я просто хочу сказать, что ты поэт Божьей милостью. А трагичешь свой талант, свой мозг на хрен знаешь что...»

«Отложим эту тему, — сказал переводчик. — Давай лучше поедим к ней, она замечательная баба. Не та — новенькая. Посидим, выпьем. Завтра часиков в восемь, м?»

«А кто она такая?»

«Увидишь. Алё».

«Алё... Какая же из них настоящая?»

«Все настоящие».

«И с литературой тоже так?»

«И с литературой».

«Одна — жена, а другая — любовница?»

«Обе — жёны».

«Так и будешь всю жизнь жить с двумя женами?».

«Так и буду».

«Слушай, — сказал Рубин. — Неужели тебе не хочется, чтобы у тебя были настоящие читатели?»

«Не смей меня. Какие читатели?»

Автомат пожирает монеты. Очередь перед будкой, стучат в стекло. Рубин терзает расхлябанный диск.

«Ты здесь?»

«Я здесь... Нам пора кончать. Это не телефонный разговор. А вообще, — грустно сказал переводчик, — зачем мне все это? Чем стихи серьезней, тем меньше желания их публиковать. Даже если бы это было возможно. Где встретимся? Я за тобой заеду».

Едва только литературный многоженец положил трубку, как аппарат снова задрезбужал. Голос с акцентом спросил:

«Это кто? Это ты?»

«Что вам надо?»

«С тобой будет шеф говорить».

После этого раздались длинные гудки, переводчик пожал плечами и положил трубку. Переводчик национальных литератур, в восточном халате и феске с кисточкой, в уютных домашних туфлях, сидел в своем кабинете за письменным столом, который напоминал военный лагерь. Он обозревал его, словно полководец, вышедший на восходе солнца из походной палатки. Папки с поэмами громоздились, как склады провианта; словари рифм были похожи на цейхгаузы; словно сторожевые посты, высились чернильницы декоративного письменного прибора. Рядом с прибором стоял воин в монгольской шапке, с луком и колчаном. Из стакана с затейливой резьбой торчали карандаши, авторучки, высились огромное перо. Оно могло бы принадлежать легендарной птице Симург. Звонки повторились.

«Да», — брезгливо сказал переводчик.

В ответ радостно-повелительный голос:

«Здравствуй, кунак!»

«Здравствуйте...»

«Старых друзей не узнаешь? Тебе большой привет».

«От кого?»

«От нашего общего друга. Разве он тебе не говорил? Друзей забывать не надо».

Переводчик вертел в пальцах перо-сувенир.

«Буду иметь в виду», — сказал он холодно.

После некоторого молчания хан спросил, в трубке слышалось его сопение;

«Ты в курсе?»

«Более или менее...»

«Ну, так за чем дело стало; жду тебя».

«Сейчас?»

«А когда же! Зачем время терять? Приезжай. Гостем дорогим будешь. Земляк за тобой заедет».

Переводчик хотел возразить, но трубка умолкла, а через десять минут с таинственной оперативностью позвонили в парадную дверь. На площадке стоял черноусый вестник, один из тех, кто бесшумно появляется и мгновенно исчезает. Хозяин облачался в соседней комнате; гонец ждал в прихожей без всякого выражения на тонком смуглом лице; так могла бы стоять и ждать вешалка.

Одетый по-домашнему в рубаху с расшитым воротом и обширные штаны-галифе, грузный, загорелый, кареглазый, с крепким продубленным лицом и свежевыбритым черепом, председатель степного и предгорного края принимал в своем номере на пятнадцатом этаже, откуда открывался вид на пустынное небо. Внизу в кольце туманов лежал великий, все еще прекрасный город. Хан встретил гостя со всевозможным радушием. Последовали расспросы о здоровье, доме, семье, ближних и дальних родственниках. Черноусый телохранитель появлялся и исчезал, подливал в бокалы и накладывал на тарелки.

«Приходи ко мне, ешь, пей. Хочешь жить у меня, пожалста. Отдельный номер тебе сниму для работы, для отдыха, для развлечения. Все пожалста, — говорил хан, обводя широким жестом свои покои. — На родину ко мне приедешь, самым дорогим гостем будешь. Никого бояться не будешь. Твое здоровье».

Движением бровей он отослал слугу. В молчании поднимали кубки, пили, жевали. Хан утирал губы белоснежной салфеткой.

«Хочу говорить с тобой начистоту. И надеюсь услышать от тебя тоже прямой ответ. Ты согласен?»

Гость кивнул, помалкивал.

«Мой дед был великим поэтом. До сих пор его помнят. Кровь есть кровь. И у меня тоже в сердце звучит музыка. И я тоже джигит на крылатом коне. Я хочу слагать поэмы и песни, чтобы их пели и

повторяли из рода в род, и чтобы все читали мои стихи, по всей нашей великой стране, а не только у меня на родине. Дай Бог нам всем здоровья...»

Он ждал встречного тоста, но переводчик не поднимал глаз от тарелки.

«Я вижу, — сказал хан, — ты человек серьезный, не спешишь с ответом».

«Как с подстрочниками?» — спросил переводчик.

«Чего?»

«Сначала делается подстрочный перевод, — пояснил гость. — Впрочем, — поправился он, — это не так важно».

«Молодец! — воскликнул хан. — Тебе объяснять не надо... Давай, чтобы у нас все было хорошо, чтобы дети росли, чтобы внуки росли... Э-э, нет, так не пойдет, разве так пьют коньяк? Коньяк надо вдыхать, впивать!»

Переводчик пригубил пузатую коротконогую рюмку.

«Вот у меня где подстрочник, — и хан степей и предгорий положил ладонь себе на грудь. — Вот где золотые россыпи. У меня в сердце поэзия. Закуси сыром. Это из молока джейрана... А теперь запей вот этим».

Переводчик национальных литератур, имевший опыт знакомства с юго-восточным гостеприимством, был вынужден признать, что этот напиток он еще не пробовал. Хан степей продолжал:

«Я даю тебе полную свободу. Наш общий друг мне о тебе рассказывал. Мне тебя рекомендовали. Босяка с улицы не беру. Мне сказали: хороший человек, неглупый человек, талантливый человек. С именем, со связями».

«Один вопрос», — сказал переводчик.

«Пожалста».

«Вы член Союза?»

«В моей республике есть все. Есть Союз писателей, есть Союз композиторов, Союз фокусников, факиров — все есть. А если нет, так будет. Нужно, чтобы я был председателем? Буду председателем».

«Вы хотите сказать: генеральным секретарем», — холодно заметил переводчик.

«Вот этим запей, — сказал хан, указывая на короткогорлую пузатую бутылку цвета глины. — Всем рекомендую. Вытяжка из джейраньих яиц. Кто этот бальзам пьет, у того до восьмидесяти лет стоять будет. Ты как насчет прекрасного пола?»

Хан щелкнул пальцами и издал горловой звук, похожий на орлиный клетот. Тотчас из воздуха возник телохранитель, хозяин показал бровями на пустой бокал гостя.

«Друг, — промолвил хан и склонил голову на плечо, — что ты строишь из себя целку? Или как будто к начальству пришел. Давай — как близкие люди. Говори мне: ты. Все мои друзья говорят мне «ты»... Ты говоришь, Союз. Что за вопрос? Всё есть, а нет, так будет. Я председатель, я секретарь».

Переводчик кивал, отдувался и глядел на хана каким-то страдальческим взором. Наконец, не выдержав и не говоря ни слова, стал выбираться из-за стола. Кареглазый хан следил за ним с выражением любопытства и озабоченности. Потом издал птичий звук.

Подскочил телохранитель, повел гостя в мраморный чертог, где переводчик национальных поэтов несколько времени провел в раздумье, тяжело вздыхая и схватившись руками за край умывальника. Из серебряного овала на него смотрел субъект с серым лицом. Вода струилась из крана. Переводчик разинул рот, и судорога сотрясла его тело. Он покрылся потом, пустил воду полной струей, судорога повторилась, и еще, и еще. Проклятый бальзам, думал он или, вернее, кто-то думал за него, — джейраньи яйца... Тестикулы, что ли. Отражение в зеркале следило за ним, а в дверях за его спиной показался похожий на уголь телохранитель. Гость перевел дух, криво усмехнулся, но его собственное отражение в зеркале не пожелало последовать его примеру. Он подумал, что не он управляет отражением в зеркале, а тусклоблестящее, с совиным взором лицо, от которого он не мог оторваться, заставляет его повторять свои движения и гримасы. С перекинутым через плечо мохнатым полотенцем хана гость намочил конец в струе воды и поднес к лицу. Но вместо того, чтобы утереться, шлепнул полотенцем по стеклу. Еле слышно затворилась дверь в ванную. В зеркале приблизился смуглолицый страж. Переводчик пришел в себя и вышел следом за слугой из ванной. Хан степей сидел на кушетке.

«Что с тобой? — спросил он участливо. — Ты освежился?»

«Да, — сказал гость, — освежился».

«Ты нехорошо себя чувствуешь? Может, тебе доктора вызвать?»

Переводчик поспешил заверить хана, что он чувствует себя превосходно.

«Ты здоров?»

Гость подтвердил, что он в полном порядке.

«В таком случае, — сказал хан, — продолжим... Ты ведешь нездоровый образ жизни, — заметил он, наполняя кубки. — Вы все тут ведете нездоровый образ жизни. Разве так можно жить? Говорят, эти птицы своим дерьмом все отравили. Приезжай ко мне, у нас совсем другой воздух. Кумыс будешь пить. Ванны будешь принимать. Мои врачи тебя поставят на ноги. Выпей-ка лучше... И заешь».

Гость умоляющим жестом прижал руки к груди.

«Почему нет?»

Гость клялся, что он сыт.

«Настроение будет лучше, силы прибавятся», — наставительно сказал хан степей. И пир возобновился.

«Я читал твои переводы. Ты очень хорошо переводишь. Умеешь передать национальный колорит, душу национального поэта».

Переводчик взирал на хана размягченно-осоловелым взглядом, скромно разводил руками. Оба уже не сидели, а полулежали друг перед другом. За широким окном сияло серебряно-алое небо. На столе стоял зеленый фарфоровый чайник, похожий на глобус. В молчании прихлебывали чай из широких чаш, волоокий хан утирал бритую голову огромной, как простыня, салфеткой.

Гость пролепетал:

«Извини, Юсуф, у меня вопрос».

«Слушаю тебя».

«Это, конечно, между нами... Половецкий язык... Что это значит? Ведь нет же такого языка...»

«Как ты сказал?»

«Я не хочу тебя обижать, мне просто любопытно. Ты же знаешь, я не новичок на Востоке... Я понимаю, ну там, князь Игорь, половецкие пляски...»

«По-твоему, — сопя, сказал хан, — князь Игорь — это выдумки?»

«Но такого языка нет».

«Как это нет? Республика есть, а языка нет? Народ есть, а языка нет?»

«Насколько мне известно, — сказал переводчик, — половцы и печенеги — это далекое прошлое. Они давно исчезли. Не обижайся, это я говорю не в упрек».

«Я не обижаюсь, — сопел хан, — я удивляюсь!»

Теперь небеса над городом горели оловянным огнем, как будто угасший день собрал последние силы. В покоях хана стало темно, густеть. Из воздуха образовался телохранитель.

«Зажги свет... — сказал шеф. — Что такое?»

Телохранитель ответил вполголоса на непонятном наречии.

«Слыхал? — спросил хан. — На каком языке мы, по-твоему, разговариваем? А?.. Скажи, я занят, — отнесся он к телохранителю. — У меня важный разговор. Пусть позвонит завтра».

Слуга возразил что-то.

«Ничего, подождет. Я его тоже ждал! А теперь пускай он ждет. Насчет этого дела скажи: “Шеф будет думать”. Скажи: “Шеф занят, у него ответственное совещание...” И еще скажи: “Шеф велел, пускай поцелует меня в зад! А потом пусть позвонит. Тогда будет видно”. Так и скажи». Он сделал движение ладонью, и посланца не стало.

Вспыхнули лимонные светочи на стенах, зажглась и погасла хрустальная люстра под потолком, какие-то огоньки мигали в углах. Теплохранитель экспериментировал с освещением.

«Что такое?» — заревел шеф.

Все погасло, над столом и кушеткой мягко сиял оранжевый торшер.

«Значит, так, — промолвил хан степей, удобней устраиваясь на кушетке и сложив пальцы на животе, — ты считаешь, что половецкого национального языка не существует, правильно я тебя понял или я ослышался?»

«Не то чтобы... но, с другой стороны...»

«Значит, я не ослышался».

«То есть я хочу сказать...»

«Все ясно, и можешь не продолжать. Я тебе вот что скажу. А ты слушай и соображай... Наши предки, — он поднял палец, — ты за моей мыслью следишь? Наши предки! Все равно что ваши предки. Ваши князья женились на наших дочерях и оставались в степи, и становились кипчаками. А наши ханы братались с вашими и за столом сидели всегда с ними рядом. Наши предки воевали на Калке... Я тебе, между прочим, тему подсказываю, ты наматывай на ус, да? Слушай меня. Я тебе сейчас расскажу, кто я такой...»

Гость изобразил на лице усиленное внимание.

«Зимой всадник, когда застревал в снегах, слезал с коня и резал ему жилу, и пил горячую конскую кровь. А потом перевязывал коня и скакал дальше... Ты следишь за моей мыслью? Так вот эта кровь течет в моих жилах. Кровь степных лошадей, на которых скакали мои предки и, между прочим, твои предки тоже... Ты историю учил? Про князя Святополка слышал? Так вот, чтоб ты знал, я его прапрапраправнук. Дружба наших народов скреплена кровью в совместной борьбе против татаро-монгольских поработителей. Дмитрий Донской был по крови печенегом».

Речь хана произвела впечатление на обоих. Отхлебнули из пиал. Хан степей насупил усообразные брови.

«Советская власть, запомни это, предоставила половецкому народу неограниченные возможности для культурного развития. Говоришь, языка такого нет... Есть! Все есть! А нет, так будет. Мой дед был сказителем, а где его песни? Ветер разнес по степи. Потому что была поэзия, были люди, а литературы не было. Я буду основоположником половецкой литературы. Твое дело — переводить, печатать...»

Несколько времени спустя в полуосвещенной трапезной раздался звук, похожий на завывание ветра. Переводчик вознес из кресла тусклый взор к темному окну, пестрые шторы были раздвинуты, в стекле отражались пиршественный стол и торшер. В дверях стоял безмолв-

ный страж. Повелитель уснул и издавал во сне свист ветра. Переводчик осторожно начал выбираться из удобного кресла, как вдруг оказалось, что хан степей и предгорий следит за ним блестящими, цвета тёмного кофе глазами.

«А теперь, — вскричал хан, — к девочкам!»

Х. ВЛАСТЬ — МУЗЫКА ЭПОХИ

Последние века Рима были отмечены опасным расцветом окраин. В природе империй лежит способность пробуждать к жизни сонные провинции. Постепенно и неуклонно покоренные земли, колонии, военно-административные округа начинают осознавать себя как малые нации. Слепые и бескультурные, они всем обязаны римскому миру. Тем сильнее их уверенность в том, что их беды вызваны римским игом. Тем упорнее их желание отпочковаться. Так империя пестует собственную гибель.

Некоторые полагали, что причиной или условием возвышения провинций был упадок центра. Высказывалось мнение, что закат империи — итог планомерного истребления лучших. Тирания была нацелена против тех, в ком правители видели главную угрозу; первой заботой стал поиск внутреннего врага. Этим врагом были талант и благородство. Для их истребления был учрежден могучий аппарат, укомплектованный худшими, который и погубил в конце концов римскую державу. В живых остались трусливые верноподданные, бездарные и безынициативные, они-то и стали задавать тон. Произошло роковое перерождение нации. Возможно, в этой гипотезе есть резон.

Предлагались другие объяснения, например, ссылались на шаткость валюты и неудержимый рост цен. Это привело к упадку хозяйства или, напротив, было вызвано им, и деревня восстала против города. Деревня вознамерилась доказать городу, что она может без него обойтись. Деревня бойкотировала город, сократив свое производство, и город стал чахнуть. Пахарям надоело пахать, пастухам наскучило пасти стада. Наконец, указывают на упадок религии, будто бы повлекший за собою упадок нравов, а другие считают причиной краха растущее безволие императоров, террор генералов, бесчинства банд и набеги варваров.

Чем больше дряхлел Рим, тем грознее становилась его армия. Чем больше крепла его военная мощь, тем быстрее он дряхлел. В этом состояла, возможно, самая поразительная черта эпохи от Диоклетиана до Феодосия. Между тем как внутри все было отмечено разложением, между тем как вельможи становились все расточительней, чиновники — корыстолюбивей, рабы — ленивей, между тем как хирело сельское хозяйство, дорожали продукты, размножались мошенники и де-

шевели продажные женщины, громоздился мусор в храмах, паутина затягивала алтари, боги отвратили свой лик, музы состарились, и льстивые песнопения цезарю и державе стали главным литературным жанром, между тем как копился заряд возмездия, — снаружи империя, под сенью державной волчицы, выглядела неприступной крепостью. Страх, в котором никто не смел открыто признаться, побудил превратить в цитадель и столицу; после многих лет с трудом была завершена последняя великая стройка. Вечный город окружил себя стенами высотой в двадцать пять футов. Твердыню мира оберегали триста пятьдесят сторожевых башен. Военная машина уже не была наступательной. Государство было похоже на ископаемых чудищ, потерявших способность передвигаться, так как они были слишком большими.

По-прежнему, хотя бессмысленность этого времяпрепровождения была очевидной, лысые и обрюзгшие сенаторы заседали на Капитолии. Сам Бог научил народы склонять голову перед законами Римской империи, вещал Пруденций Клеменс. Ораторы все еще повторяли строки Вергилия о том, что другим народам позволительно развлекаться искусствами, римлянин же обязан помнить: ему надлежит управлять племенами. На самом деле племена уже не считали себя племенами и не верили в то, что первое и последнее слово принадлежит Риму.

На исходе IV века римляне почувствовали принудительность истории. Никто не хотел перемен; ничто так не пугало, как новшества. Не нужно было больше ни побед, ни завоеваний, восторжествовали апатия и фатализм, распространилось желание дожить в покое и холе свой век, а там хоть трава не расти. Сто тридцать два легиона стояли на Западе и Востоке, полтора миллиона солдат несли службу на границах и в диоцезах. Этой рати, превосходившей все, чем когда-либо располагало государство за двенадцать веков, противостояли на рубежах всего десять тысяч плохо вооруженных варваров. Три с половиной тысячи блистающих доспехами воинов охраняли кесаря. Но и в легионах служили выходцы из лесов, вспомогательные войска состояли из одних германцев, дворцовая гвардия была на три четверти укомплектована ратниками, говорившими на исковерканной латыни, и на Палатинском холме восседал император-варвар.

Многие утешались надеждой, что усталая раса освежит себя варварской кровью. В Африке, в Косматой Галлии, на Востоке расцвели поздние цветы римской словесности. Сириец Ямвлих, испанец Пруденций, африканцы Арнобий и Августин, галлы — безмятежный Авзоний и Намациан, рыдающий у ворот Рима, — вот кому надлежало стать новой надеждой латинского языка. Были ли это худшие времена? Нет, конечно. Просто это были последние времена.

Дивные дела, уморительные зигзаги... Тот, кому приходилось видеть в цирке вальсирующую лошадь, возможно, замечал, что дирижер, стоя сверху на оркестровой площадке, следит не за музыкантами, а за лошадью. Потому что на самом деле не лошадь двигается в такт музыке, а музыка подстраивается под ее пируэты. Литературная карьера половецкого хана могла напомнить эти танцы, сколь ни рискованно такое сопоставление. Меньше всего, однако, составителю этой хроники хотелось бы прослыть за юмориста. Цирк упомянут здесь разве лишь в качестве наглядной модели.

Введение письменности там, где ее никогда не было, влечет за собой не менее радикальные последствия, чем разрушение природы. Коль скоро есть письменность, должна существовать и словесность. Другими словами, расцвет культуры окраин — что бы под ним ни подразумевалось — поставил вопрос о национальной литературе.

Эту литературу надлежало создать из ничего, то есть из того же материала, из которого была слеплена национальная история, мифология, шаровары, тюрбаны, ансамбли народной песни и пляски и все остальное. Все есть, а нет, так будет, по выражению хана степей. Можно спросить, на кой черт сдалась этим республикам еще и литература, но этот вопрос по меньшей мере неуместен, по существу же оскорбителен. Ибо он равно подвергает сомнению и достоинство нации, и компетентность начальства. Ибо национальная литература предстает в двух обличьях: как доказательство первородства и как престижная должность. Любое начальство могло позавидовать ореолу народного стихотворца; что же мешало в таком случае совместить обе роли? Председатель Верховного Совета автономной республики естественным образом должен был занять вакантный пост национального поэта. Вот почему идея, созревшая в голове хана, вовсе не была ни его капризом, ни его изобретением. То, что именуется национальным самосознанием, при ближайшем рассмотрении есть не что иное, как самосознание местного начальства. Волею самого Аллаха красавец хан должен был стать основоположником домотканой словесности.

Тут важно отметить, что амбиции местной власти шли навстречу пожеланиям центра. Ибо что может быть более убедительным доказательством заботы о процветании окраин, чем национальная литература? Не отдавая себе отчета, куда это приведет, центр весьма неосторожно подыгрывал окраинам. Вопрос был лишь в том, откуда взять эту литературу. Создать, как мы сказали, из ничего. То есть как это, из ничего? Для этого и существовал институт перевода. О том, что национальная литература существует, гордится именами своих творцов, распускается подобно экзотическому цветку, — свидетельствуют ее об-

разцы в переводе на язык метрополии. Если есть перевод, значит, существует оригинал, если есть перелагатели, значит, есть и поэты. Если лошадь танцует, значит, должна быть и музыка.

Но означало ли все это, что хан всего лишь исполнял свой долг, что пир в номере на пятнадцатом этаже был, так сказать, деловым обедом, и ничего более? О нет. Издревле сладостный союз поэтов меж собой связует. Et ego in Arcadia...¹ Хан был поэтом. Мы должны это подчеркнуть. Он не лицемерил, показывая на грудь и говоря, что здесь его «подстрочник». Хан был поэтом в душе — за неимением другой возможности реализовать свой дар.

И уж, во всяком случае, сказанное не означает, что он попросту переложил задачу на чужие плечи, причислив переводчика мнимых национальных литератур к многолюдному штату своих придворных и подручных. Как и всякое сравнение, цирковая метафора имеет свои границы. И если во время пира в гостинице переводчик задал вопрос о подстрочнике, то, конечно, не для того, чтобы убедиться (он знал это заранее), что оригинала не существует. Но, следуя испытанному рецепту, он хотел напомнить хану, что необходимо озаботиться «музыкой». Нужно, чтобы на основании его перевода поэту-аборигену состряпали задним числом подобие оригинала на родном языке. Правда, опять-таки всплывает дурацкий вопрос: на каком языке? Но это дело темное, это Восток; тут все окутано покрывалом неизвестности и тайны. Оставим решение будущему историку половецкой литературы.

XI. РУБИН, ИЛИ ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ

Перед бесконечным, как путь пилигрима, панельным домом, под тусклой лампочкой на площадке восемнадцатого подъезда сидела на табуретке борода, сидели валенки; был поздний вечер.

«Привет...»

«Чего?»

«Привет, говорю, дедушка. Воздухом дышишь?»

«Чего надо?»

«Да так, ничего».

«А ничего, так и ступай своей дорогой».

Это можно было понять как приглашение к разговору. Сумрачно глядя вдаль, старец добавил:

«Это ты, может, воздухом дышишь».

«А ты?»

«Чего я?»

¹ И я в Аркадии (лат.).

«А ты что тут делаешь?»

«Я? Сторожу».

«Кого?»

«А вот все это».

«Весь район?»

«А хоть бы и район».

«Большой у тебя участок, — сказал Илья Рубин. — Сколько ж тебе за это платят?»

«Ничего мне не платят».

«Какого же ты хрена тут торчишь?»

«Какого хрена, — сказали валенки, — а вот такого! Я тебе не ответчик. Сказано: сторожу. Вот, заступил на дежурство».

«Задаром?»

«А порядок? — спросил старик, выглядывая из-под бровей, как волк из зарослей. — Кому за порядком следить? Некому! Мало ли кто шляется. Вот как ты. Чего тебе тут надо? В гостях, что ль, был? Ну и вали отсюда, нечего тут околачиваться».

«Я тебя видел, — сказал Илья, присаживаясь на ступеньку. — Ты лежал в больнице».

«Будешь мне тут зубы заговаривать. Ты вот лучше предъяви документы».

«Что?»

«Документы, говорю, предъяви».

«Какие документы, дедушка, мы тут все свои».

«Свои... Знаем мы вас. Ночью шлендрать. По бабам, что ль?»

И разговор иссяк.

«Ты, стало быть, — помолчав, спросил Рубин, — так до утра и сидишь?»

Громадные, расширяющиеся книзу валенки неподвижно стояли друг подле друга, холщовые просторные порты прочно уселись на табурете.

«А чего? Все одно не сплю».

Черное небо смутно отсвечивало в слюдяных окнах, белело белье на балконах, лиловым светом тлели трубки фонарей Теплый, гнилостный ветер шевельнул косматую бороду старца, сонный мир объял бодрствующих.

«Я, уа-ах... — зевая и крестя рот, говорил старик, — сколько себя помню, никогда не спал... Так, днем подремлешь, уах-ха, и все. Днем все одно делать нечего».

«Не скучно?»

«Мне скучать некогда. Тут всякого отребья, эвон, — он обвел рукой спящую окрестность, — знаешь сколько?»

«Люди работают», — заметил Илья.

«Работают... Хрен они тебе работают. Работа — это когда польза от работы получается. Для общества польза, ясно? Вот как крестьянин землю пашет. Небось он не зря пашет. Что-то да вырастет. А энти? Моя бы воля, разогнал всех бы к едрене-фене. Не хочешь работать — катись».

«Куда ж ты их денешь?»

«Как куда — в деревню! В колхоз, пуцай делом занимаются, крестьянствуют али там ремеслом. Вот, к примеру, возьмем эту табуретку: ведь ее кто-то сделал. Кто-то обтесал, ножки выпилил, склеил. А тут что? А тут ничего, жрут батоны с колбасой — и все. А пользы ни хрена! Я бы энту колбасу по талонам выдавал: заработал, получай талон. А не заработал — катись. Для чего они, по-твоему, в город-то все набежали? Чтобы жрать! В городе сеять не надо, магазины кругом. И курей не надо кормить, они вон все на прилавке лежат.»

«Так уж и лежат?»

«Не знаешь, так молчи. Ты думаешь, за что они зарплату получают? За то, что числятся. Все эти конторы только для виду».

«Ну а ты, дедушка?»

«Чего я?»

«Ты ведь тоже для виду сидишь».

«Ах ты, едрена вошь! Еще будет мне указывать. Я сижу не для виду, а для порядка. Чтоб не шлялись тут разные. Предъяви документы».

«Брось, дед. Заладил. Ну нет у меня документов. Потерял. Дома забыл».

«Вот то-то, знаем мы вас. Ночью шлендрать. А зачем портфель таскаешь?»

«Дела, работа».

«Ха! Дела. Какие у тебя дела? Ты небось никогда и не работал. Эвон ряшку какую наел».

«А ты, дед, работал?»

«Чего? Я, брат, столько за свою жизнь вкалывал, что тебе и во сне не снилось».

«Из деревни приехал, дедуля?»

«Это ты, может, из деревни, а я коренной, здешний, в Москве родился. Не здесь, конечно, какая это Москва! Это так, ни то ни се, ни город, ни деревня. А все почему? Потому что народу больше, чем надо. Слишком много у нас народу. Говоришь, скучно тут. Мне скучать некогда! Я думаю. Ночью самое время думать, разбираться, что к чему. Я тебе скажу, в чем корень. Вся беда в том, что слишком у нас большое государство. Оттого и не уследишь за всеми, и порядка нет, дармоедов больше, чем работников. Один с сошкой, а семеро с ложкой. Один везет, семеро погоняют. Земли много, народу невпроворот, а все было мало! Каждому царю было мало, что он имел. Вот он и пер все дальше,

вот он и пер. Заместо того чтоб устроиться, свою землю обжить... Все мало. Эва куда залезли... Весь мир хотели завоевать... Ты, прежде чем новые земли завоевывать, на своей земле наведи порядок! Не завоеывай, а оглянись вокруг себя. А он все пер да пер... Насобирали всяких чучмеков, а они отродясь не работали... Теперь и вовсе никто работать не хочет. Только жрать... моя бы воля... Э, что говорить! — Старик махнул рукой и заёрзал половинками зада на сиденье. — Добро бы еще на запад наступали, а то все на восток, к туркам разным, киргизам... Опять же эти птицы... страусы или как их там».

«Страусы не летают», — сказал Илья.

«Чего там говорить! Не в ту степь пошла история».

«Тебе, дедуля, не на дежурстве надо сидеть. Тебе лекции надо читать. Народ бы валом валил».

«А чего ж, ты думаешь, я днем делаю? Я днем не сплю, я вообще никогда не сплю. Некогда мне спать. Я свои предложения записываю. У меня по всем вопросам есть предложения. У меня полный сундук записок, я пятьдесят тетрадей исписал и еще на пятьдесят хватит», — сказал старик и, стащив с головы старую зимнюю шапку, стал отряхивать ее о голенища.

Ибо ни с того ни с сего пошел снег.

Ночной сторож сидел на площадке под навесом, но снег валил косым фронтом и в одну минуту засыпал ступени крыльца. Снег покрыл косматую бороду старика, висел на дремучих бровях, снег сыпался из фонарей и плясал в завесах призрачного света.

Таков был неожиданный конец глубокомысленной беседы, таковы капризы нашего взбалмошного климата, и не зря, должно быть, отечественная погода, а точнее, география вкупе с метеорологией вдохновляла умы на историософские упражнения. Только было повеяло тепловатой гнильцой, запахом луж и отбросов, и показалось, зимы вовсе не будет, только было проклюнулась надежда, — как в считанные минуты снег завалил округу, сровнял тротуары и мостовые, засыпал помойные контейнеры, снег покрыл крыши городов, похерил великие стройки, похоронил грандиозные начинания. Значит, все было напрасно? В чем высший закон истории? В чем ее тайный смысл? Есть ли у нее вообще какой-нибудь смысл? Что означает это коловращение веры, надежды и отчаянья, идем ли мы навстречу концу, к великой цели, или кружимся в смене эпох, подобной круговращению погоды? Русь, дай ответ. Не дает ответа.

Снег валил все гуще, начался настоящий буран, в облаках показалась фигура, закутанная в платок. «Батюшки, да ты совсем окоченел, — сказала она, взбираясь на крыльцо. — Отец! Жив?»

Двоим кое-как счистили снег с бороды и телогрейки. Старик был маленького роста и с трудом, поддерживаемый с обеих сторон, пере-

ставлял валенки. Табуретку оставили в снегу на крыльце. Табуретка была общественная. Старик жил на соседней улице, если можно считать улицей проезд между двумя домами с их несчетными подъездами. Как он оказался здесь? Пыхтя, ввалились в лифт, грохнула, отозвавшись эхом на всех этажах, железная дверь, кабина, скрипя и раскачиваясь, поехала наверх. Дед закатил глаза и сполз на пол. Выбрались, втащили старца в квартиру, в вонючем тепле коммунального коридора усадили на сундук. Илья Рубин держал старца за плечи, тетка стащила с него огромные сырые валенки; слышно было, как она колодила валенками друг о друга на лестничной площадке.

Ей можно было дать лет сорок девять. Не пятьдесят, потому что круглое число наделяет зловещей необъяснимой властью того, кто его ненароком произнесет; тогда как сорок девять — это еще женщина, это еще куда ни шло; но стоит вам сказать: пятьдесят, — и перед вами сжеванное жизнью существо в темной юбке вокруг высохших бедер, с выбившимися из-под платка бесцветными космами, на которых мерцают капли воды.

Но когда она развязала платок, стало казаться, что ей сорок. Над столом горела лампа под матерчатым абажуром, комната, погруженная в фиолетовый сумрак, была похожа на каюту, и приятно было думать о том, что снаружи беснуется ураган.

У стены на высоких ножках стояла железная кровать с толстым матрасом под белым пикейным покрывалом, с высокими подушками. Над кроватью висели фотографии и картинки из журнала «Огонек», из угла слабо отсвечивал темный сургучный лик в жестяном чепчике.

Старик, в чистой рубашке и полуодетый, в подштанниках лежал на расстеленной кровати. Хозяйка натянула толстые вязаные носки на тощие ступни с когтями, похожими на комки затвердевшей смолы. «Ну-ксь...» — проговорила она, приподняла бессильную голову старика и влила в рот рюмку с желтым напитком. Дед чмокнул губами, жидкость потекла мимо рта. Она утерла ему губы и бороду.

«Спи, отдыхай».

«Вы его жена?»

«Жена... Уж не знаю, которая».

На столе стоял чайник с пузатым фаянсовым чайничком для заварки. Она водрузила на него кукольную бабу в платочке и пестрых юбках.

«Гулять повадился. Я и туда, я и сюда. Весь микрорайон обегала, в милицию хотела звонить».

«Сколько ему лет?»

«А Бог его знает».

Пили чай, согрелись.

«Он и сам не помнит. Метрики все во время войны пропали. Нам бы тоже не помешало... не возражаешь? Продрогла я вся. — Она подлила в чай из желтой бутылки себе и гостю, это был напиток, условно именуемый ромом. — Бог его знает, может, восемьдесят, может, и сто. Я когда замуж за него выходила, уж сколько мы живем, дет десять, так он был все такой же. Ничего, оклемается... Только вот бродить стал. Говорят, плохой признак... Ах, благодать-то какая! А вы кто такой будете?»

Илья пожал плечами.

С высокого ложа послышалось: «Колбаса».

«Ничего, это он во сне».

«Колбаса!» — строго сказал старик. Она встала и подошла к кровати.

«Тебе чего? Может, тебе чего дать? — В ответ послышалось невнятное бормотанье. Она склонилась над темной кроватью. — Может, тебе попысать надо? Ну, спи... Давай я тебя покрою. Спи».

Дед спросил:

«А я разве не сплю? — Он тяжело вздохнул. — Ладно, — сказал он, — сейчас поедем».

«Куда это?»

«Сказано тебе: подожди минутку. Посиди, говорю. Небось подождут».

«Да ты куда собрался?»

«В Москву», — сказал дед.

Она вернулась к столу.

«Ваши часы стоят, — сказал Илья, — не может быть, чтобы было полдесятого».

Хозяйка подтянула гирьки ходиков и дважды прокрутила пальцем минутную стрелку. Отяжелевшее время нуждалось в посторонней помощи. В комнате, как струйка дыма, витал тихий храп старика. Рубин поблагодарил хозяйку, поднял с пола портфель.

Пока до метро доберешься, заметила она. Он возразил, что попробует найти такси. Какое тут у нас такси, сказала хозяйка. Может, сказал он, по телефону вызвать. Какие у нас тут телефоны; будка есть, да трубку оторвали. Она вздохнула, достала рюмки Давай, что ли, за знакомство..

«Утром будешь уходить, смотри, чтоб соседи не услышали, а то еще пойдут разговоры».

«Может, я поеду?» — сказал он на всякий случай.

«Оставайся. Я тебе на полу постелю. Только я тебе сразу скажу...» — проговорила хозяйка, разливая по рюмкам остатки жгучего напитка.

«Это что?» — спросил он.

«Румынский какой-то, говорят. В универсаме брала. Все брали, и я взяла. А чего, пить можно. Вот что, друг милый... — Она переставля-

ла рюмки, разглаживала скатерть на столе. — Я тебе сразу скажу, чтоб никаких не было промеж нас недомолвок... Ты парень молодой. Я пьяная. Я тебя оставляю не для того, чтобы с тобой спать. Не такие мои годы, чтобы первому попавшему на шею бросаться».

Рубин разглядывал этикетку.

«Не знаю, — пробормотала она, — все брали, я тоже взяла... Давай уж допьем, что ли! Вот так. Что я сказала, слышал?»

Он пожал плечами.

«Я и ему не позволяю».

Он взглянул на хозяйку.

«Бывает, — сказала она. — Но редко. А раньше, знаешь, какой он был орел? Боюсь я, еще помрет».

Портфель, подумал Рубин. Он вспомнил, что собирался уйти, искать телефонную будку, поднял с пола портфель, стоявший у двери, но все это, как теперь оказалось, ему привиделось во сне, а на самом деле, портфель с материалами остался на крыльце. Из метельных облаков вынырнула облепленная снегом фигура, втроем брели мимо нескончаемых подъездов, втащили окоченевшего деда в лифт. Ему представилось, как визжит лебедка, подрагивают канаты, медленно опускается в пазах противовеса, как, вихляясь, ползет вверх утлая кабина. А портфель остался. И лежит на табуретке в снегу. Немедленно встать и пойти за портфелем, пока его никто не унес. Если они за ним следят, то, конечно, портфеля уже нет. Он слышит сонный голос женщины: «Тебе чего?» Крадется из комнаты. «Там... — бормочет она. Возле кухни...» Вероятно, имеет в виду сортир. В коридоре не видно ни зги, он ощупывает стены, натывается на вещи, находит дверь, цепочку и английский замок.

Но едва только он вышел на лестничную площадку и ступил босыми ногами на ледяной каменный пол, как дверь квартиры захлопнулась; в ту же минуту Рубин сообразил, какого он свалил дурака. Ведь портфель в комнате. Он сам его поставил рядом с дверью, прислонил к стене. Он ищет выключатель, но электричество не горит на лестнице, кто-то вывернул лампочку или перегорела. Он пытается разглядеть картонку с фамилиями жильцов, чтобы узнать, сколько звонков к старику и хозяйке, но спохватывается, что не знает ее фамилии. Не знает даже, как ее зовут, а между тем вечер, комната в полумраке, абажур, румынский ром сблизили их; интересно, сколько ей лет; «отец» — так она называла деда, может, он на самом деле ее отец; поэтому она и сказала, что она ему не позволяет; так стар, что забыл о том, что она его дочь. Тут он вспомнил, что думал о чем-то важном, но не мог догадаться, о чем; и, услышав храпенье, открыл глаза.

Во тьме простушило окно, обозначились вещи. Женщина сидела на высокой кровати, спустив босые ноги, за спиной у нее, мучимый удушьем, всхрапывал спящий старик. Она увидела, что гость тоже не спит, и сказала: «Что-то мне на душе нехорошо. Чего-то мы с тобой нехорошего выпили». Он спросил, который час. «Выбросить их давно надо. Сто раз чинила, опять остановились. Ну-кося, давай, Иван Гаврилыч. Вань! А Вань... Милый, давай на бочок. А то совсем задохнешься». Старик заворчал, громко чмокнул губами, она поворотила его лицом к стене. «Вот так-то будет лучше, — пробормотала она, слезла с кровати и пробралась мимо лежащего на полу Рубина в угол. — Матьерь Божья, царица небесная, — громко шептала она, — помоги, ненаглядная, что делать-то, жизнь какая пошла, пропадаем...»

«Чего?» — сказала она в страхе. Сургучный образ в темном углу моргал, мерцал жестью, силился что-то произнести. «Ты чего?..» — спросила она. «Сотвори диавол человека, — проскрежетала Богоматьерь. — А Бог душу воньм вложи. Аще умереть человек, идет в землю тело, а душа к Богу». — «Не пойму, чего говоришь-то», — сказала женщина. «Сотвори... диавол...», — повторил одними губами лик на иконе. «Да ладно тебе», — сказала женщина. Она снова оказалась между кроватью и лежащим на полу и опустила руку на колени. «Подвинься, что ль, — пробормотала она и подняла голову к деду. — Вань, а Вань, ты спишь?.. — Ответа не было. Она улеглась спиной к гостю и свернулась калачиком. — Ко мне ближе подвинься... — Ее рука сзади искала Илью, подтягивала ветхое одеяло. — Нет, лучше наоборот. — Оба перевернулись, как по команде. — Ох, тоска-то какая... Не надо было его пить, не надо было пить. Говорила тебе!» Илья хотел сказать, наоборот, сама его потчевала. Немного погодя оба, не сговариваясь, поднялись с пола и, одетые, бесшумно покинули квартиру. Серебряное сияние проникало под своды сквозь лестничное окно. И, выглянув из дому, они отпрянули от изумления и восторга: лунный диск сверкал над крышами. Снег лежал на ступенях подъезда, покрыл тротуары и проезжую часть, снег мерцал и переливался разноцветными искрами, и вдали, перед фасадами спящих домов стояли, обнявшись, неподвижные пары. Они миновали двух влюбленных, которые не заметили их, но, когда Илья обернулся, он увидел, что мужчина смотрит на него, постукивая пальцем но циферблату. Девушка тщетно старалась дотянуться до его губ. Человек смотрел то на часы у себя на руке, то на Илью. Дорога свернула в другой переулок. Это было как в кино: облитые лунной одинаковые белые дома с мертвыми отсвечивающими окнами, с запертыми, заснеженными подъездами. И ничего другого не оставалось, как остановиться и обнять друг друга, потому что у них не было своей комнаты.

Мы никогда не узнаем, где, когда это происходило, потому что всякое происшествие может состояться только в определенное время и в одном определенном месте. Между тем Илья Рубин был там и не там, и, потеряв из виду приютившую его хозяйку, забыв её, забыв о старике, брел со своим портфелем, озираясь, вдоль мерцающей в лунном свете улицы. Он прочел надпись, намалеванную краской на бетонном торце: цифры означали номер дома и корпус, и стояло название улицы, одно для всего квартала. Еще метров сто, поворот, и он приблизился к старинному дому, довольно высокому для своих трех этажей, с карнизами и остатками лепных украшений. Ржавые консоли торчали на месте балконов. Парадная дверь была заколочена. Видимо, это был последний памятник былых времен, полустертые буквы виднелись на боковой глухой кирпичной стене: «Торговля скобяными товарами». Бог знает, что это были за товары, слово исчезло из языка. В окнах, как в бельмах слепого, блестел оловянный рассвет.

Дом был обитаем. Рубин зашел сзади с черного хода, поднялся по грязной лестнице на третий этаж. Оттуда надо было пройти коридором и вскарабкаться по другой, шаткой и скрипучей лестнице еще выше; дом странным образом состоял внутри не из трех, а из четырех этажей. Илья Рубин позвонил, как уславливались, три раза; звонок не отзывался; он стукнул в дверь три раза. Зашлепали домашние туфли. «Открывай, — сказал он, предполагая, что его ждут. — Это я». Там молчали, но и не уходили. «Ну, не хочешь, твое дело, — сказал Илья, — я только хотел узнать, как ты там». Шаги зашлепали обратно. — «Не хочешь, и хрен с тобой!» — крикнул Илья, уже сходя по лестнице, но тут заскрежетал ключ в замке, дверь открылась.

В квартире пахло едой и помоями, чье-то картофельное лицо выглянуло из каморки в конце коммунального коридора, кто-то плелся, не оборачиваясь, на кухню в майке, серо-зеленых галифе и тапках на босу ногу, мяукал кот, урчала вода в уборной.

«А ты все таскаешься с этим... — промолвил хозяин, косясь на илюшин портфель, когда они вошли в комнату. — Напрасный труд. Ты же знаешь, что я не играю в эти игры».

«Как знать», — отвечал Рубин.

«Присаживайся... — В комнате был обычный беспорядок. — Почему ты у нее не остался?»

Рубин смотрел ему вслед. Хозяин вернулся из кухни, неся сковороду с яичницей. Он поставил еду на стол. Рубин потер лоб и спросил, который час. На что хозяин комнаты несколько загадочно отвечал: смотря по каким часам.

«Я думал, — пробормотал гость, — мне все это приснилось...». И на минуту ему показалось, что он по-прежнему лежит на полу в комнате женщины, приютившей его, и слышит храпенье спящего деда.

«Ешь. Накладывай сам... В известном смысле это так. Но только в известном смысле».

Хозяин был сутулый длинноносый человек в очках. Хозяин встал и подошел к стоявшей на письменном столе машинке для сочинения книг.

«Существуют, — объяснил он, — разные градации сна. Одна из них — действительность».

«Да где ж это видано? — сказал бабий голос за дверью. — Сел и не выходит».

В квартире что-то происходило, кто-то носился по коридору туда-сюда. То и дело спускали воду в уборной. Сапоги несли что-то тяжелое. Очевидно, была раскрыта дверь на лестницу, оттуда слышались голоса и топот. Доносились реплики: «Разворачивай... Да не туда, левым боком разворачивай... Не проходит, подай назад... Пройдет, никуда не денется...»

«Переселяются, — пробормотал хозяин. — Меняют шило на мыло... Доедай, я уже перекусил».

Бабий голос в за дверью сказал: «Цельное утро дрищет».

С другого конца коридора кто-то ответил:

«Это он после пьянки».

«Давно ломаю себе голову, — пробормотал гость, — как будет третье лицо единственного числа от глагола “дристать”: дрищет или дристает?»

«Дрищет», — сказал писатель.

«Ты уверен?»

«Можешь справиться в словаре».

«В словаре этого слова нет», — сказал Рубин. Он не спускал глаз со странной пишущей машинки с экраном.

«Компьютер, — сказал писатель. — Появится лет через десять. А может, через сто».

По экрану неслись строчки, хозяин брал аккорды на клавиатуре, но, кажется, не поспевал за аппаратом.

«Что случилось?» — спросил Рубин.

«Ничего не случилось. Это он выдаёт поток сознания. Творит, так сказать. Долго объяснять... Короче говоря, весь твой портфель и ты сам в придачу: все здесь, в этой коробке». Он ударил в последний раз, все потухло.

Рубин покончил с едой и блаженно развалился на стуле.

Солнце сверкало в стеклах соседних домов, и от ночного снегопада не осталось следа.

Писатель смотрел в окно.

«Надо спешить. Все это скоро кончится».

«Что — все?»

Хозяин комнаты сделал неопределенно-широкий жест.

«Мы тут ни при чем, — возразил Рубин. — Какое нам до всего этого дело?»

«Вы тоже умрете».

«То, что мы делаем, останется».

«Ты так думаешь?»

«Сделай так, чтобы мы остались в живых, — сказал Рубин. — Хотя бы для того, чтобы посмотреть, что будет».

«Что будет... В общем-то ничего не будет. С одной стороны, ничего не изменится. Этот дом как стоял, так и будет стоять. Город как был, так и останется».

«А с другой?»

«Мои дни тоже сочтены, — сказал хозяин, не отвечая на вопрос. — Успеть бы закончить эту работу».

Несколько времени оба прислушались к затихающим голосам в квартире.

«Значит, вот так ты и живешь», — прошептал гость, и тот, кто находился в комнате, повторил, как эхо:

«Так и живу».

Он снова заговорил:

«Сделай то, сделай это... Сделай, чтобы мы остались в живых. У тебя ложное представление. Ты исходишь из презумпции всезнания. То есть ты полагаешь, что автор знает все обо всех, что он всеведущ и всемогущ и, словно Бог, смотрит сверху на мир, который он сотворил. Ты веришь в эту игру».

Посетитель заерзал на стуле.

«Может, я пойду?» — сказал он.

«Сиди, я ведь не договорил... По правилам этой игры вы все обо мне ничего не знаете. Как шахматные фигуры ничего не знают об игроке. Или, если догадываются, то думают о нем как о Всевышнем. Но ты не прав. Ты думаешь, что все зависит от автора, как он решит, так и будет. А ведь фигуры на доске — существа думающие, и они могут додуматься до теологии, которая допускает свободу воли. Ведь если бы не было этой свободы, они вообще ни за что бы не отвечали, всё их достоинство, вся мораль полетели бы к чертям. Дескать, так хочет Игрок, с него и спрашиваете. Если партия проиграна, мы — король, ферзь и так далее — не виноваты. Но Бог-шахматист, говорят они, предоставил нам свободу воли! Вот что тебя сбивает с толку. Ты ведь хочешь от этой свободы ускользнуть. А значит, уйти от ответственности. Что это значит? Это значит, что ты не сознающее себя существо, ты просто деревянная фигурка и больше ничего».

Рубин сказал надменно:

«В том, что я живу, я не сомневаюсь. Я мыслю, следовательно...»

Писатель развел руками, возвел очи к потолку.

Помолчали, Илья Рубин проговорил:

«А я, между прочим, представлял тебя иначе. Я думал, ты богатый человек».

«С чего бы это?»

«Ну, всё-таки не наши времена».

Сочинитель усмехнулся.

«Живу как могу. А что касается богатства... С такими, как вы, не разжиреешь. Такой роман никто не купит».

«Зато за тобой никто не охотится».

«Если ты намекаешь на этих крыс, тут я ничего не могу поделать, выкабывайся сам».

«Кстати, — заметил Илья, — из того, что мы тут сидим и разговариваем, и есть что пожрать, и крыша над головой... Из всего этого следует, что ничего не погибло! И Бог не истребил человеков, и потоп не залил землю».

«Зачем же ему заливать землю? Ах, все эти разговоры, рассуждения! — сказал хозяин, морщась и хватаясь за щеку, точно застигнутый невралгией тройничного нерва. — Не в этом дело...»

«А в чем?»

Писатель ходил по комнате, от окна к двери, как заключенный в камере.

«В чем дело? Да в том, что впереди — черная дыра! Все ближе с каждым днем и все быстрее... Каждый вечер одно и то же: вместо того, чтобы лечь и уснуть, наоборот — как будто просыпаешься. Вдруг вспоминаешь... Вдруг как будто протираешь глаза. Днем еще куда ни шло, днем как-то живешь и ни о чем не думаешь. А к вечеру вспоминаешь».

«О чем?»

«О том, что шансов больше не осталось. Черный туннель, и никуда не свернешь. Не знаю, — сказал он, — что бы я делал, если бы не литература. Околел бы, наверное, от тоски и ужаса. Повесился бы, не дожидаясь. Ты еще молод, ты этого не можешь понять».

Рубин взглянул на сочинителя, который яростно протирал очки. Очки были перевязаны ниткой. Сочинитель внушал жалость.

«Вымой стекла. Дай-ка мне».

«Не ходи туда. Начнутся разговоры: кто да что...»

Илья не слушал, вышел на кухню и вымыл стекла водой под краном.

«Пусть просохнут, — сказал он, входя в комнату. — Мне самому рекомендовали. От протирания стёкла портятся».

«Ты разве носишь очки?» — моргая, спросил писатель.

«Надо бы, но не ношу».

«Почему?»

Посетитель ухмыльнулся.

«Чтобы нравиться женщинам!»

Он собрался уходить.

«Посиди. Кстати, тебя касается... Не обижайся. Я не могу понять твоей функции. Вот хотя бы это место... — Он листал рукопись. — Кто это говорит? Ты или автор? Кто такой этот автор? Во всяком случае, это не моя речь».

Было видно, что писатель вошел во вкус. Насколько приятней разглагольствовать о литературе, нежели писать. Нет уж, хватит, подумал Рубин, и в эту минуту задребезжал телефонный звонок. Оказалось, телефон стоит на столе.

«Тебя», — сказал хозяин и протянул гостю трубку.

Илья Рубин открыл рот и вперил растерянный взгляд в пространство. Глаза его отыскали хозяина. Писатель пожал плечами. Голос сказал из трубки:

«Я не могу долго разговаривать, звоню из автомата. Немедленно приезжай домой».

«Домой?» — спросил Рубин.

«Да. Дело в том, что отец не может долго задерживаться в городе. Он вернулся... Ты понимаешь, о чем я говорю. Но он вернулся».

«Отец?.. А ты?..» — лепетал Рубин.

Голос Берты Владимировны сказал торопливо:

«Только не в эту конуру. Приезжай на нашу старую квартиру, мы там теперь снова живем. Ты меня слышишь? Я не могу долго разговаривать».

Рубин держал в руках трубку.

«Прервали... Что это значит?»

«Литература, — усмехнулся хозяин. — Dichtung. Сбой компьютера. Не волнуйся, я погашу эту страницу...»

Тут в комнату постучались; час от часу не легче.

Не дожидаясь ответа, сосед открыл дверь.

«Можно? А, у тебя гости!»

Тот самый человек в протертых галифе.

«Это что, — проворчал Илья, — это тоже такая игра?»

«А чего, — сказал сосед, — нам как раз четвертого не хватает».

«Видишь, — сказал писатель, — надо жить ближе к народу».

«Зачем нам этот народ» — возразил Илья.

«В чем дело?» — спросил писатель тусклым голосом.

«В чем дело, в чем дело. Только по делу и можно? Ну, раз ты занят...» — сказал сосед обиженно.

«Заходи. Знакомься...»

Сосед протянул Илье каменную ручищу.

«У тебя что, выходной?» — спросил хозяин.

Сосед возразил: «Сколько можно работать? — Он пояснил, что у него отгул. — Погода уж больно хорошая, может, козла забьем?»

Кряхтя и поправляя очки на длинном носу, летописец последних времен, поднялся из-за стола. Вышли из квартиры, спустились по лестнице. Стоял теплый солнечный день.

Позади дома помещался вбитый в землю деревянный стол на одной ноге, за столом в драной телогрейке и по-прежнему в валенках сидел вчерашний старец.

«Вот, — сказал сосед в галифе, показывая на Рубина, — нашел четвертого».

«Привет, дедуля».

«Не хочу я с ним играть, — проворчал старик. — Пушай супротив тебя садится».

Сосед сел напротив Рубина, сочинитель — напротив деда. Сосед смешал корявой ладонью костяшки на столе. Каждый придвинул к себе свою долю. Грохнули костяшками об стол.

«Й-йэх!»

Это был дуэлет пять-пять.

«Утить-твою...»

«Ить-твою».

«В рот тебя соленным огурцом!».

Рубин, крякнув, грохнул об стол: пусто-пусто.

«Убить-твою!...»

Бородатый старик придвинул пальцем свою костяшку.

«Рыба! И надо же...»

«Соленным огурцом!» — вскричал сосед.

Он смешал костяшки. Каждый подгрел к себе свою долю.

«Язык, — промолвил сочинитель, — каков язык, ты только вслушайся! Р-раз!» — костяшкой об стол. Игра продолжалась.

ХII. ЛЮБОВЬ ХАНА

Между тем как перелагатель национальных литератур в самом бедственном состоянии, опираясь на плечи неизвестных черносуых людей, переставляя ноги и бормоча рифмованные строчки, был введен в свою квартиру, сдан с рук на руки заспанной жене, раздет, уложен, на другой день, обвязав голову полотенцем, смоченным уксусом, самоотверженно сидел за рабочим столом и мрачно взирал на монгольского витязя, а витязь на него; между тем как Илья Рубин, сидя напротив сочинителя, бил костяшками о дощатый стол, не задумываясь о том, как это может быть, чтобы автор резался в домино с призраками собственного мозга; между тем как часовых дел мастер Августин

Иванович в рабочем халате, в мастерской и покидало вперялся в светящееся время, которое медленно наполняло реторту, время, безжалостное и равнодушное ко всем, время-расплата, время-возмездие, равно карающее безвинных и виноватых, время, которого осталось так мало, которое, в сущности, было уже израсходовано; между тем как Москва окраин, гонимая голодом, скукой и вожделием, предвкушая ужин и телевизор, втискивалась в подземные вагоны, осаждала автобусы, валила с работы домой, и навстречу ей расступались кварталы, и вечный город метал вослед молнии из бесчисленных окон и мерцал малиновыми пятиконечными звездами в дымно-розовом и зеленом небе, — между тем как все это происходило, суетилось, доживало свой век и утешалось несбыточными надеждами, — на пересечении двух самых больших проспектов у въезда в столицу, в восьмом часу вечера по западному времени и на восходе сто тринадцатой луны восточного календаря, неохотно, подозрительно приоткрылась массивная стеклянная дверь высотной гостиницы, и смазливый подросток вступил в мраморный холл.

Наперерез ему уже спешил швейцар в серо-серебряной униформе, похожий на распорядителя в цирке.

«Не положено, — внятно сказал привратник. — Ну-ка назад!»

Посетитель, одетый в черный бархатный костюмчик, черные короткие штанишки, чулки и модные мокасины на шёгольских покатых каблуках, ничего не слышал, никого не замечал и, не торопясь, но и не теряя времени, несколько развинченной походкой направлялся к лифту мимо регистратуры, откуда с египетским спокойствием за ним наблюдала пожилая золотокудрая барышня, увешанная фальшивыми украшениями.

Холл был обставлен кожаными креслами и диванами вокруг стеклянных столиков, устлан ковром, полуосвещен, таинствен, безлюден, лишь за прилавком киоска с газетами братских компартий маячила фигура продавца.

«Гражданин!» — повторил швейцар, он был новый человек и твердо знал свои обязанности.

Хорошенький подросток бросил через плечо:

«Отвяжись!»

«Чего? Ну-ка!..»

Тут произошло нечто непредвиденное, почти неслыханное: пришелец остановился, стяхнул схватившую его руку и, стрельнув по сторонам сузившимися татарскими глазами, прошипел: «Если ты сейчас от меня не отлипнешь...»

Швейцар обратил остолбенелый взгляд к барышне-бабусе за стойкой. Регистраторша величественно кивнула. Швейцар развел руками: дескать, откуда мне было знать — так бы и сказали. Выскочил

малый в картонной шапчонке набекрень и форменных брючках, почтительно распахнул дверь лифта. Черный юноша поехал наверх среди ламп и зеркал.

Время от времени женское очарование с непостижимой отвагой отбрасывает свои уловки, совершает головокружительный вираж, жертвует всем достигнутым; можно сказать, что в этот момент оно отказывается от себя, — чтобы с триумфом вернуться к себе окольным путем. Каждые два или три десятилетия мода изобретает этот фокус и, нужно признать, каждый раз достигает ошеломительного эффекта. Вместо того чтобы привлечь внимание к главному, вам хотят внушить, что его нет. Вместо того чтобы всемерно подчеркивать пол, мода его отвергает. Тем неожиданней открытие, что «она» — все та же, ибо смысл этого *qui pro quo* состоит в том, что чем усердней «она» маскируется под «него», тем больше остается самой собою.

Мужчина, переодетый женщиной, смешон, девушка в мужском наряде прелестна вдвойне. В то время как женское платье приближает ее к зрелости, мужское — возвращает к возрасту андрогина, и тут выясняется, что главное — не пол, а возраст, не женственность, а юность, не настоящее, а будущее. Преодолеть тривиальность женственности — вот в чем суть; обрядить женщину в плащ эфеба — значит поистине вернуть ей вечную юность; девственность в мужском облачении возвещает о мифологической весне мира, когда не было ни мужчин, ни женщин. Юный андрогин навестил нашу юдоль, вошел в атриум из стекла и мрамора, вознеся на пятнадцатый этаж, откуда, говорят, можно разглядеть будущее; выбрался из коробки лифта и очутился в пустынном, сияющем огнями коридоре. Мельком взглянув на четырехзначный шифр, Шурочка постучалась в номер.

Одиночество придает мужчине ни с чем не сравнимую привлекательность. Председатель степного и предгорного края сидел, погруженный в глубокую думу, в полуосвященном чертоге, за накрытым столом. Из-за раздвинутых занавесей не видно было ничего, кроме необъятных меркнувших небес. На нем были синий коверкотовый костюм со звездочкой Героя и значком депутата, галстук жизнеутверждающей расцветки, зеркальные штиблеты. Половецкий хан предстал в облачении государственного мужа, или, как тогда выражались, ответственного работника, выглядел устрашающе-импозантно, это был Марс, забывший снять свои доспехи. Быть может, не без умысла.

Мы пригубили от фужера и едва притронулись к блюдам. Сунув в рот шоколадную конфету, устроились с ногами на кушетке. Хоть и не впервые здесь, однако мы все еще не вполне освоились, недостаточно уверены в себе, не нащупали линию поведения, — но какая там линия

поведения, глупое слово; речь совсем не о том, речь идет о судьбе. Полулежа, она слушает и не слушает, отвечает и не отвечает; гаснет небо за окном, на столе горят свечи, в номере происходит диалог, в котором больше пауз, чем слов.

«Слушай сюда...»

Молчание. Она разглядывает ножичек для разрезания фруктов.

«Подойди ко мне. Подойти сейчас же ко мне».

«Можно и так разговаривать...»

«Не хочешь — не надо. Тогда пойдй туда и встань на стул. Встань на стул».

«Зачем?»

«Не надо спрашивать, становись, я тебя подержу. И постучи. Рукой постучи».

Странное зрелище, если бы кто-нибудь вошел: в углу просторной комнаты Шура в шелковых чулках, в своих черных коротких штанишках, на цыпочках, стройная, как стебелек, тянется к потолку, хан сжимает ее бедра — так держат вазу.

«Постучи по стенке... Слышишь звук? Как в пустом бочонке. Еще раз... Это они подслушивают. Это у них аппаратура. Клоп, по-ихнему. Они всех подслушивают! Они и сейчас подслушивают, вот то, что я тебе сейчас говорю, они там сидят и слушают, но мне наплевать. Я все знаю, меня не обманешь».

Хан обнимает Шурочку, его ладони скользят по бархату, проникают под курточку, поднимаются мимо грудей к подмышкам, все это продолжается несколько мгновений, она хочет спрыгнуть, хан держит ее под мышками и ставит на пол, она одергивает костюмчик, развязывает на шее батистовый бант, уф-ф. Ей жарко.

Потомок мурз, отпрыск князей Услава и Святослава расхаживает по комнате, заложив руки за спину, могучий торс хана выпирает из расстегнутого пиджака, и на лацкане сияет звезда Героя Социалистического труда.

«Мне пора уезжать, я получил известие... Что я этим хочу сказать, тебе понятно?»

«За тобой следят?»

«А! — Хан презрительно отмахнулся. — Тьфу! Пускай следят, пускай слушают, пускай пишут свои доклады. Сегодня я здесь, завтра меня нет... Сегодня они там пишут, а завтра от них и пыли не останется! Мне на них наплевать, и тебе тоже должно быть на них наплевать. Ты прекрасно знаешь, что я хочу сказать, не притворяйся, что не понимаешь».

Молчание вместо ответа. Ей жарко, черная курточка лежит на кушетке. На Шуре светлая кофточка с развязанным бантом, с просвечивающим лифчиком. Хан степеней жует, барабанит пальцами по столу.

«Почему ты мне не скажешь? У тебя была кровь или не была?»
Она молчит.

«Ты не бойся мне сказать. Если крови не было, я этому даже рад...»

На ее лице появляется что-то вроде усмешки.

«Да, я хочу, чтобы у меня был сын... Но не здесь. Там! — И он показал пальцем в окно, в огромную даль неба. — Так вот. Спрашиваю в последний раз».

«Не знаю...»

«Чего ты не знаешь?»

«Боюсь».

«Чего ты боишься? Кого? Скажи!»

«Я там буду совсем одна».

«Зачем одна? Подруги будут. Моя мать будет тебе как мать. Моя семья будет твоя семья».

«У тебя там, — сказала Шурочка, глядя в сторону, — небось и без меня жен хватает»,

«Какие жены? — вскричал хан. — Какие жены, нет у меня никаких жен! Посмотри на меня, разве я мальчишка! Ты будешь моя жена, единственная».

«Так я тебе и поверила...»

«Ты моему слову не веришь? Ты — мне — не веришь? Слушай. Я даром слов на ветер не бросаю. Ты это запомни».

«Мне надо сделать еще кое-какие дела, — сказал он после продолжительной паузы. — Два дня, три дня. После едем в аэропорт».

Шура, в курточке, накинута на плечи, забросила ногу на ногу, смотрела в пространство.

«Ты прекрасна в этом костюме, — заметил хан. — Но у нас серьезный разговор. Ты видишь, я не играю в любовь. Иди туда, — сказал он, — в ту комнату. Там для тебя домашнее платье приготовлено. Сними свои штаны... Будет удобней».

Когда она вошла, пиджак и галстук хана висели на спинке кресла, он был в фишашковой импортной рубашке с запонками и в шелковых подтяжках.

Когда она вошла...

Нет, подростка больше не было. Андрогин обернулся женщиной, но, право же, ничего не потерял!

Хан оглядел ее медленным темным взором.

«Еще два или три дня, есть кое-какие дела... Мелочи... Больше тут делать нечего. И тебе тут нечего делать. Ты мне можешь поверить, я знаю, что говорю... Еще три дня. Потом с тобою — фьюить!»

И он взмахнул рукой, словно вознес невидимую саблю.

Шура пробормотала: «Я работаю...»

«Не твоя забота. Все будет оформлено, сделано, и квартиру твою сдадут, тебе пальцем не надо пошевеливать. Московскую прописку сохранишь. Если хочешь взять что с собой, скажи».

Слабая музыка, доносившаяся издалека, словно в другом крыле здания играл национальный ансамбль, коснулась слуха.

«Слушай, — промолвил хан. — Я ни о чем не спрашиваю. Может быть, у тебя есть жених. Может быть, есть любовник, я не спрашиваю. И я даже не хочу спросить, любишь ли ты меня. Я только одно скажу, и ты мне можешь поверить, я слов на ветер не бросаю. Клянусь тебе всем дорогим, жизнью моей матери клянусь, памятью предков... Я ни одной женщине не говорил того, что я тебе скажу».

Пение дудочек, жужжание струн и глухие удары барабана слышались все сильнее, карие глаза хана расширились.

«Что это?» — спросила она.

«Это радио. Слушай... Когда я тебя увидел... Я не мальчишка. Я повидал женщин, Ха! — Он взмахнул рукой. — Женщин сколько угодно, только помани! Но когда я тебя увидел, я сразу понял. То, чего никогда не понимал. Ты не веришь. Но это бывает! Я увидел тебя всю сразу... И твои глаза, и твою походку, и твою душу, и твое тело. Я увидел твою шею, твои груди, теплые, белые, как молоко... Я увидел, как во сне, как в саду, я все увидел. Как ты идешь, и как ты опускаешь голову, и как ты садишься, и как твои брови сходятся на лбу, и как ты смотришь из-под бровей, сквозь ресницы, и как ты поднимаешь руки, чтобы поправить волосы, и как дышит при этом твоя грудь. Слушай... этого не может быть. Но это бывает! Я тебе все отдам, слушай. Все, что у меня есть, все! Ты молодая, ты еще настоящей жизни не видела... Я устрою твою жизнь. У тебя будут самые лучшие платья. У тебя будет все самое лучшее. Хочешь выйти замуж за меня, пожалста. Хочешь просто так жить, а? Пожалста! Работать хочешь, быть самостоятельным человеком, найдем тебе работу. Как меня все уважают, так тебя все будут уважать. Тебе ни в чем не будет отказа. Хочешь, сиди дома. Хочешь, едем на курорт. На самый лучший курорт, у меня всюду есть друзья. Они для меня все сделают, да еще с какой охотой. Я все устрою! В путешествие поедем, в горы поедем, хочешь, в Крым, хочешь, на Кавказ, на Северный полюс, куда хочешь! Я не мальчишка. Я слов на ветер не бросаю. Я...»

Хан раскинул руки, не находя слов, глаза его стали почти черными, он отвернулся и подошел к окну.

Шура сидела на кушетке, опустив голову.

Хан тяжело вздохнул, щелкнул пальцами, и из воздуха явилась, даже не явилась, а как будто так и стояла в сторонке на круглом столике короткогорлая глиняная бутылка.

«Вот, бальзам из джейрана, — пробормотал он, — помогает для здоровья. Выпей, лучше себя чувствовать будешь...» Он наполнил две рюмки, протянул Шуручке и опрокинул в рот свою.

И прошло еще сколько-то времени. И угасли остатки зари, и как будто пронеслось какое-то дуновение. Дрогнули и увяли лепестки свечей на столе, в блистающих сумерках московского дня комната превратилась в шатер. И какие-то полуголые люди в просторных пестрых шароварах внесли с поклонами чеканные узкошейные сосуды и блюда со сладостями, и в светильниках взвился огонь, и зурначи поднесли к губам свои инструменты, а барабанщик возложил тонкие пальцы на маленький барабан с бубенчиками. Посреди ковра сидел на подушках, положив руки на раздвинутые колени, в похожей на полотенце чалме с серебряною луной волоокий, ясноликий половецкий хан. «Слушай», — сказал он. И умолк, и оба, падишах и рабыня, мужчина и женщина, смотрели друг другу в зрачки и видели там друг друга.

Приходится согласиться, что опаснейший враг любви — не другая любовь, а свобода. Вечный вопрос: что я такое сделала, чем не угодила? — предполагает, что кто-то из двух должен быть виноват; но на самом деле никто не виноват. Предполагается, что тут замешана чья-то другая юбка; ничего подобного. Тут не измена, не новая женщина, не месть, не обида и не уязвленное самолюбие. Тут сознание своей независимости и свободы. Назовите его иначе: чувство пустоты.

Ну и прекрасно, думал Илья Рубин, и дай тебе Бог. В этой мысли не было ни малейшей горечи. Ни тени ревности. Облегчение? Пожалуй, и облегчения не было; ничего не было. Собственно говоря, давно уже ничего не было, так что впору было задать вопрос: а было ли вообще?

Он спросил: знает ли Педерастович?

Ответом была молния ее глаз, голос, полный злости и ненависти:

«Какой еще Педерастович?»

«Ну... этот».

После чего воцарилось молчание, похожее на молчание зеркальных вод: швырнуть камень? броситься в плавь?

Разумеется, было бестактностью помянуть виконта Олега Эрастовича, о котором вообще забыли — или почти забыли. Просто нахальством, наглостью было упомянуть его имя, — кто привел ее к этому карлику с потным мясистым носом, кто ее продал этому специалисту по пушкам и ягодицам? А главное, это значило обесценить все объяснение. Это значило: ты поступила в «заведение» Олега Эрастовича, он обещал тебе красивую жизнь, так и вышло, ты добилась, чего хотела, подцепила богатого фраера, он подарил тебе всякого барахла, даже хочет жениться. За чем же дело стало?..

Примечательно, что и сам Эрастович как-то мало-помалу ступался. Отчитывалась ли она перед ним? Можно предположить, что, познакомившись с ханом, она не принимала больше никаких заказов, не отвечала на телефонные звонки, вообще прекратила знакомство с Олегом Эрастовичем. Быть может, Олег Эрастович, поняв, куда дело зашло, предпочел выйти из игры. Получил от степного хана отступные — вполне возможно. Так или иначе, это был ее единственный «заказ», первый и последний. Нам хотелось бы, чтобы это было так. И если это действительно так, ее возмущение было оправдано.

Но ошибка думать, будто Рубин упомянул об Эрастовиче, чтобы ее уколоть. Такая подлость, как ни странно, могла бы утешить Шуру. Увы, ничего подобного в мыслях у него не было, просто брякнул без всякой задней мысли. Ему было все равно. И это было самое ужасное.

Она стояла перед зеркалом в крошечной своей квартирке, и, как когда-то в комнате для больничного персонала, он видел Шурочку и со спины, и спереди, видел ее волосы, плечи и облежавшее спину платье, под которым угадывались пуговицы бюстгальтера, и в зеркале — ее глаза, с горькой обидой смотревшие на него. Он подумал, что эта обида как будто извиняет Шуру в ее собственных глазах: дескать, ты сам виноват, — а ведь я тебя любила. И он понял — в самом деле любила, любит и сейчас, и оттого колеблется. Но эта мысль не пробудила в нем ни малейшего энтузиазма.

«Хочешь, — сказала она угасшим голосом, — хочешь? Я буду к тебе приезжать?»

Трюмо было ее убежищем, она машинально одергивала платье, ее короткие ножки в чулках с модными стрелками поворачивались на каблуках — она задумалась. Она подошла к окну, повернулась, белый пасмурный свет окружил нимбом ее волосы, и лицо было погружено в тень.

«А может, вовсе не ехать?»

Рубин молчал, смотрел на нее, и, пожалуй, что-то вроде сожаления шевельнулось в нём на один миг. Судьба освободила его от очередной возлюбленной, ну и что? Он вдруг подумал: она уедет — останется пустота.

«Думаешь, я так уж гонюсь за богатством?»

Он усмехнулся, ему хотелось возразить: а что я могу тебе дать взамен?

Проклятье! Что-то опять потянуло его за язык. Он сказал:

«А Эрастович? Он тебя просто так не отпустит».

Шура не удостоила его ответом. За окном накрапывал дождик.

«Ладно, — сказала она, — чего тут думать, надо решать. Скажешь, поезжай — я поеду, оставайся — останусь. — Она засмеялась. — Вот сейчас позвоню и скажу: нет, и до свидания! Хочешь, позвоню?»

«Решай сама...»

«Дура набитая, — бормотала она. — Таких дур поискать».

Пожатие плеч, Илья Рубин опустил голову, смотрит в пол, на коврик, привезенный еще из Тулы, вперяется в пустоту, где клубится упрямство, откуда ему кивает его независимость, его нежелание связываться, наконец, его «дело».

И все же он не смеет сказать: «не звони», или «дай тебе Бог», или «скатертью дорога», нет, он этого не произнес. И Шура ждала, что он опомнится, поднимет голову, скажет: плюнь ты на этого чучмека, ведь нам было так хорошо вдвоем! Она ждала этого, чтобы потом говорить себе: у меня было все, но я на все махнула рукой; у меня был фантастический поклонник, но я отвергла его. Да, она готова от него отказаться, чтобы потом наслаждаться сознанием своей жертвы. Чтобы доставить себе болезненную уладу — всю жизнь укорять этого еврея.

Поразительно, как ей до сих пор не везло. Ее замужество, какой это был ужас. Родился сын, и показалось, что все наладится, — со смертью малыша и этот эпизод был вычеркнут из ее жизни. Преподаватель училища... Да, вот, пожалуй, был единственный человек, кто любил ее почти так, как ей хотелось, чтобы ее любили: нежно, преданно, бескорыстно; но уж слишком бескорыстно. А главное, был до того робок, до того нерешителен, что, когда наконец в один из его приездов, уже начинавших ей надоедать, они оказались вдвоем, ничего толком не получилось. Мужчина должен быть требовательным, а этот... Пренебречь таким поклонником — не велика заслуга.

Зато Юсуф! Он обещал ей то, чего никто никогда не мог обещать. Он жил в мире, где все делалось даже не по его приказу, а как будто само собой, где все доставалось даром, где не надо было рано вставать, спешить, давиться в очередях, где не было этой вечной, всегдашней, неодолимой тесноты, грязной ругани и нехватки всего. В мире хана обо всем этом не имели представления. И, наконец, в чем она не могла не сознаться самой себе, ведь она была женщиной. Ведь от этого никуда не денешься: с самого начала, с первой встречи это околдовало ее, и не нужен был никакой джейраний настой — хан обладал особой и непостижимой чувственной властью.

Но опять же, была ли эта власть так сильна оттого, что он был богат? Или богатство было обрамлением его власти? Хан был мужчиной; мужчина должен быть неукротим. А ее окружали слизняки.

Ничто в отдельности не могло бы победить в Шуре привычный, почти бессознательный расизм обитателей столицы, хан казался ей наглядным подтверждением всего, что она слышала об этих «черных»; его щедрость была подозрительной, чины и почести — ненастоящими; бритая голова, хитро-безумный, словно облизывающий всё её тело взгляд, маленькие нетерпеливые руки пробуждали в Шуре инстинкт самозащиты; ненасытность хана мешала ей вполне отдаться

самозабвению, и мощь самца поначалу внушала ей скорее страх, чем ответное желание. Но в самом этом страхе было нечто гипнотическое: вокруг хана дрожало магнитное поле.

Опомнившись, она говорила себе: беги, пока не поздно. Но она начинала уже привыкать к его повадкам. Быть может, впоследствии, если бы она рассталась с ним, минуты близости растянулись бы в ее воспоминаниях в долгие дни и недели неземного счастья, и кареглазый, безрассудно-горячий красавец хан превратился бы в миф об идеальном любовнике.

Но если все-таки, несмотря на то, что Рубин, вечно где-то шатающийся, неизвестно чем занятый, ненадежный и нищий, был, скажем мягко, не подарок, если, несмотря ни на что, она хотела его сохранить, хотела остаться с ним, а там будь что будет, если все-таки он один (как она убеждала себя) оставался единственным и настоящим, так что все его недостатки превращались в преимущества, неприкаянность лишь усиливала очарование и пробуждала в ней материнский инстинкт, если никакие посулы, никакие деньги и тряпки, никакое ориентальное сладострастие не могли поколебать это первенство, — то тем сильней страшил ее разрыв с Ильей: получалось, что она не только променяла на золотую клетку что-то настоящее, заветное, неподкупное, но лишилась того, что, быть может, составляет высшую усладу, — лишилась возможности упрекать его за разбитую жизнь!

Получалось, что не она, а он приносит себя в жертву. Не он, а она бросает его на произвол судьбы — бедствовать, мыкаться, кое-как есть, кое-как спать, ходить вечно в одном и том же застиранном и заношенном джинсовом костюме. И Шуре казалось, что он молчит из гордости.

Она вертела что-то в руках, прижимала к губам сплетенные пальцы.

«У тебя кто-нибудь есть? Скажи прямо».

Он взглянул на нее, подняв бровь, Шуре казалось, что он колеблется.

«Сколько сейчас времени?»

Рубин перевел взгляд на часы, которые никогда не показывали точное время.

«Может, чайку выпьем? Водочки? На прощание?» — сказала она как бы в шутку.

В конце концов существует два метода решения всех вопросов: один — это лечь в постель. Нырнуть на дно, раствориться друг в друге, уснуть, умереть — и восстать наутро в спокойном сознании, что и решать-то было нечего. Второй, истиннорусский способ — выпить.

И вот они сидят друг против друга, молча, погружившись в тупую задумчивость, так лежат в окопах солдаты двух армий, и командир силится разгадать замыслы неприятеля. Военное преимущество женщи-

ны, как всегда, в том, что она догадывается, о чем думает он, или воображает, что догадывается. Он же уловить зигзаги ее мысли неспособен, да и не старается угадать.

Останется ли он на ночь, одними глазами спросила Шурочка.

Слепое зрение, которым она видит то, чего он не видит своими зрячими глазами, — вот в чем ее преимущество. Илье Рубину приходит в голову, что, если бы роли переменились, если бы она равнодушно указала ему на дверь, он понял бы, что теряет свой последний шанс: понял, что, быть может, сейчас, в эти минуты, вместе с ней от него уходит самое важное, единственно важное в жизни.

А Журнал, а «последние могикане»? Ах, все труха, призраки. Ему приходит на ум простая, яснее быть не может, мысль. В Шуре, в этой провинциальной дурочке, живет нечто подлинное, исстари человеческое, замены которому нет. Пока она еще здесь. Завтра она исчезнет. Ему бы надо держаться за нее обеими руками.

Человек с гроздью разноцветных воздушных шаров за спиной, человек, подбитый воздухом! Рано или поздно газ улетучится, и летун шмякнется о землю.

И еще одна мысль. Та, для которой в мозгу есть особая клеточка, укромный уголок, где она пребывает в роскошной пассивности, как тайная возлюбленная. Время от времени ее посещают и ласкают ее, и играют с ней, как играют с желанием, не доводя до конца. Это мысль о самоубийстве.

Спрашивается, какая тут связь, но связь была прямая. Тут, возможно, скрывалась разгадка той неясности, о которой мы говорили, перечисляя ходячие версии смерти Ильи Рубина. Мало кому эта последняя версия казалась убедительной, люди вспоминали черные кудри Ильи, белозубый смех и веселую беззаботность, и не могли поверить, а между тем — кто знает? Все шло к концу, и готовился пойти ко дну корабль Одиссея, убежище духа, оплот свободы, Журнал, называйте как хотите, и вместе с ним вся вымороченная, подпольная жизнь. Все было только отсрочкой. И никогда еще эта свобода не выглядела такой мнимостью, как сейчас, когда Шура объявила о своем отъезде.

Незачем (как объяснил некий философ) искать доводы в пользу самоубийства, скорее нужны доводы против него. Решительно нет ничего странного в идее убить себя, эта идея вложена в нас, как забота о хлебе насущном, как мысль о женщине. Самоистребление, универсальный ответ. Выход, когда некуда деваться; самоубийство от сознания бессмыслицы всего, в чем хотели найти смысл, пытались забыть, самоубийство от засухи, от удушья, от скуки! Самоубийство как банкротство духа, крах интеллигенции — словом, что-нибудь этакое, но тут мы уже влезаем в совершенно абстрактные дебри.

Итак, они сидят на кухне, в той самой квартирке, куда немного спустя вломятся незваные посетители; на Шурочке бледно-розовый байковый капот, одна из ее обновок, на столе рюмки, тарелки. И ее взор, блестящий от слез.

Время решения свалилось, странное облегчение оттого, что совершается неизбежное и никто не виноват, охватило обоих, и, как подтверждение тому, что ничего уже не поделаешь, в ту самую минуту, когда, глядя влюбленно друг на друга, они подняли стопки, в комнате с зеркалом зазвенел телефонный звонок. Шурочка поставила опороченную стопку на стол. Телефон звонил и звонил.

Подойти?

Телефон умолк, они ждали, и через минуту он зазвонил снова.

Наконец, она поднялась, медленно, лениво, туго подпоясанном халат делал ее пышнобедрой, и круглой и маленькой. Дверь осталась открытой, Илья услышал, как она произнесла: «Да». Больше ничего не было сказано. Посидев, он встал и вышел вслед за ней.

Она стоит с трубкой перед диваном, смотрит на него и слушает другого.

«Почему?» — спросила она.

Трубка продолжала говорить, Шура смотрела в трюмо, где появился Илья, он спросил глазами: это он?

«Не понимаю, — сказала она. — Ну и что?»

Что-то происходило в зеркале, день утонул в темноватой мгле, в светлом серебряном стекле блестели глаза на темных лицах.

«Когда?»

Трубка квакала у нее под ухом — человек на другом конце города сердился, — она пожалала плечами, ее рука в зеркале медленно отвела руку мужчины, все, происходившее в Зазеркалье совершалось помимо их воли; как будто они жили там в другой жизни.

«Не знаю...» — проговорила она.

Трубка заволновалась. Шура смотревшая на себя в зеркале, — поясок свисал до пола, лунная кожа мерцала в просвете халата, — медленно покачала головой, это движение относилось к голосу в телефонной трубке или к тому, кто сидел рядом с ней на диване; тут-то и обнаружилось, что стекло смеется над ними, в черно-серебристом провале происходило другое, там она стояла в светлом распахнутом одеянии, и руки мужчины сзади держали ее груди в ладонях; трубка выпала из ее рук; но здесь халат был плотно запахнут, Шура проворно наклонилась и подняла хрипящую трубку.

«Да, — сказала она, — то есть нет... Посмотрим... Нет. Ну, как хочешь. Ладно. Да нет же. Не знаю. Хорошо. Когда? Нет... Да».

Последние слова были произнесены, когда полная, белая нога Шуры перешагнула раму. Шура задела высокий флакон с мутно-белой

притертой пробкой, флакон повалился, кремовый халат свесился с туалетного столика, она была уже внутри, в омуте зеркала, в комнате, которая в точности повторяла ее комнату, но по ту сторону от всех и всего, и, повернувшись к нему, мерцающая молочной чешуей, смеясь, она манила Рубина за собой.

ХIII. РУБИН (ПРОДОЛЖЕНИЕ)

«Товарищ такой-то?»

«Да».

«С вами говорят оттуда-то».

Молчание.

«Вы меня слышите?»

«Слышу. В чем дело?»

«Хотелось бы побеседовать».

«О чем?»

«Есть о чем поговорить».

«О чем же?»

«По телефону долго объяснять. Хотелось бы с вами побеседовать».

«Может, вы все-таки объясните?»

«Завтра часиков в одиннадцать?»

«А в чем дело?»

«Тогда все и узнаете».

«Не могу. Работаю».

«А вы отпроситесь».

«Пришлите повестку».

«Ну, вот. Так уж сразу и повестку. Зачем эти формальности?»

«Без повестки не приду».

«Ну уж. Раз уж. Коли вы так настаиваете».

Утверждают, что в связи с небывалым ростом окраин размеры столыцы побили мировые рекорды; если наш расчет правилен, расстояние от центральной резиденции до Ильи Рубина должно было составить не менее тридцати километров. В любом случае добраться можно было не раньше, чем через час. Курьер, невзрачная личность, явился через пятнадцать минут. Не заходя в квартиру, спросил фамилию и вручил листок. Илья Рубин взглянул на повестку, поднял глаза — посыльный исчез. Мы, современные люди, называет это явление аннигиляцией.

«Такой-то?» — осведомился приятный лысый человек в штатском, называя нашего друга по имени и отчеству. Встреча произошла в приемной, после чего Рубин был препровожден в комнатку, где висел портрет, стояли стол и два стула.

«Давно мечтал с вами познакомиться, много о вас слышал. Даже хотел в институт навеститься. Вы ведь, кажется, работаете в институте? Да вот, говорят, вас трудно застать... Очевидно, не каждый день бываете на работе, много других дел?»

Рубин пожал плечами.

«Ну, вот видите. Мне ужасно неудобно, что я вас побеспокоил... Курите?»

«Спасибо».

«А я, если не возражаете, закурю. Я слышал, — сказал человек, — вас постигла тяжелая потеря».

«Какая потеря?»

«Я хочу сказать, тяжелая утрата. Говорят, ваша матушка умерла».

«А-а. Угм».

«Позвольте выразить соболезнование... Значит, вы теперь один. Отчего не женитесь? Самое время. Небось скучно одному. Да, впрочем, что я говорю: у вас, кажется, есть подруга?»

Рубин сделал неопределенный жест.

«Как это она так... плохо за вами смотрит? Костюм давно пора купить новый. А то даже не в чем в гости пойти. Говорят, вы любите ходить по гостям. Ну ладно, это так... Не сердитесь, что я задаю бесцеремонные вопросы, мне, собственно, хотелось с вами поближе познакомиться. Так что не считайте это официальным разговором... Для официальных разговоров, уважаемый Илья Батькович, у нас пока еще не дошло... Н-да. Что же я хотел у вас спросить, вот память! Представляете, забыл».

Человек подошел к окну, за которым не было никакого города: ни домов, ни людей.

«Слушайте, — сказал он, — может, выпьем чайку?»

Буфетчица в бумажной диадеме вокруг жидких волос, отворив дверь голым локтем, внесла поднос.

Лысый человек спросил:

«Это что такое?»

«Чай велели...»

«Вижу, что чай. А с чем пить-то будем? Ну-ка живо. И бутербродов!» — крикнул он ей вдогонку. Явилась сахарница, явились соевые конфеты в вазочке мутного стекла, на тарелке два ломтика хлеба с сыром подозрительной свежести.

Человек схватил бутерброд, жестом пригласил Рубина.

«Врачи говорят, много сладостей ем. Да как же тут иначе, когда и пообедать толком не дадут! Не получается! Вот так целый день чаем и перебиваемся. Все думают, у нас тут разлюли малина. А на самом деле, сами видите. Чай небось холодный... Так вот, о чем бишь... Вы ведь, кажется, имеете отношение к... Не знаю уж как назвать; может, подскажете?»

Подследственный продемонстрировал непонимание: о чём речь?

«Будто вам неизвестно... Я, знаете, сам люблю литературу. Даже собирался когда-то поступать в Литературный институт. Мечты, мечты, где ваша сладость?... Тут как-то недавно перечитывал “Преступление и наказание” — гениальная вещь. Помните, как там Порфирий говорит: вы и убили, батюшка Родион Романович! Психология следствия, внутренняя логика следствия — вот главное, вот на чем все держалось, и никакой техники, никаких там лабораторий, отпечатков пальцев, все чисто логическим путем! И преступник припёрт к стенке. У нас, надо сказать, долгое время недооценивали Достоевского. Считали его реакционером, даже чуть ли не запрещали. Все это давно прошло... Времена, знаете ли, переменились, и то ли еще будет. Вот я хочу у вас спросить. Зачем вам все это понадобилось?»

«Что?»

«Ну как что? Неужели неясно?»

«Неясно».

«Ну вот, — рассмеялся человек, — будем теперь в прятки играть. В несознанку. Милый мой, да ведь я ничего у вас не выпытываю, мне ведь и так все известно. Думаете, так уж трудно было бы вас навесить? С понятиями, само собой, с ордером — все честь честью. И весь ваш журнал тю-тю!»

«Не понимаю, — сказал Рубин, — о чем вы говорите».

«А вы вон бутербродик съешьте. Пока я его сам не умолот. Так как же?»

«Что — как?»

«Я спрашиваю: что делать будем? Вы поставьте себя на мое место. Пейте, чай остывает. Я говорю: представьте, что вы на моем месте. Подпольная организация, изготовление и хранение нелегальной литературы, сто девяностая статья, все как на ладони. Что прикажете делать?»

«По-моему, — сказал Рубин, — вы меня с кем-то путаете».

«Те-те-те, знаем мы эти фокусы. Вы только меня, очень вас прошу, за идиота не считайте. Но я повторяю, у нас с вами сейчас разговор неофициальный. Никаких протоколов, никаких свидетелей. Хотя вы тут всю душу вывернете наизнанку, что я с вами сделаю? Ничего не сделаю. Или, может, вы думаете, тут в стене что-нибудь спрятано? Не волнуйтесь, никто не подслушивает. Поговорили и забыли. Меня другое интересует. Может, объясните мне...»

«Что я должен объяснить?»

«Ну вот это другое дело, это разговор между взрослыми людьми. А все эти увертки, наивные глаза, дескать, я не я и телега не моя, откуда вы, дескать, взяли, да мы ничего не знаем, да вы нас с кем-то путаете! Это все, дорогуша, надо оставить. Это я на своем веку, знаете, сколько раз слышал? Еще чайку?»

«Спасибо».

«Спасибо “да” или спасибо “нет”?»

«Спасибо. Нет».

«Ну нет, так нет. — Человек вздохнул. — Допустим, что никто вам не давал никакого задания, что вы, так сказать, затеяли все это ради собственного удовольствия, что ли, от нечего делать...»

«Что затеял?»

«Минуточку. Я говорю: допустим. Далее, предположим, что вам удалось этой вашей идеей, ну, что ли, этим журналом — все-таки звучит солидно — заинтересовать определенную группу людей, каких-нибудь графоманов, непризнанных гениев. Годами, понимаешь, обивали пороги редакций, никто их не признает, никто не хочет читать их сочинений, а тут пожалуйста. Да и самому приятно, все-таки редактор. Так я говорю или нет?»

«Мне непонятно, о ком...»

«Нет, вы уж отвечайте на вопрос. Я говорю, кому из нас не хочется славы? Я, знаете, тоже мечтал в Литературный институт попасть, да, слава Богу, вовремя опомнился... Нет, я, конечно, представляю себе: когда такому доморощенному гению, который уже Бог знает что о себе возомнил, в редакциях, где, понимаешь, корзины ломаются от всякой графоманской писанины, когда такому, с позволения сказать, писателю в редакциях отвечают: нет, друг мой, ты сначала поучись русскому языку, почитай классиков, а еще лучше — займись чем-нибудь полезным... Когда он получает такой ответ, что он начинает думать? Цензура, дают свободу творчества! А тут подворачивается такая возможность, есть такой Рубин. Пиши, что хочешь. Зеленая улица! »

«Можете не изображать из себя оскорбленную невинность, — сказал лысый человек, поглядывая в окно. — Обижаться-то пока не на что, я ведь все представил в самом невинном свете. На самом деле все можно повернуть и по-другому. Откровенно говоря, глядя на вас, трудно поверить, что вы такой уж, простите за выражение, несмышленьш! Опять-таки вы мне скажете: подумаешь, кто там об этом журнале знает? Весь тираж — полтора десятка экземпляров, да и те читать невозможно, слепая печать, глаза болят после первой страницы — и где вы только таких машинисток берете? Небось еще двойную цену дерут. Плата за страх, хе-хе! Может, помните, фильм был такой с Ив Монтаном».

«Что я хотел сказать? Дескать, все это пустяки, подумаешь — взрослые дети играют в литературу. Можно, конечно, и так посмотреть. Но только, дорогуля, как-то все же мне не верится, чтобы вы были так уж наивны. Чтобы не понимали, что скрывается за всеми этими криками о цензуре... Игры играми, а кто-то на этом политический капиталец себе сколачивает, таким мучеником выглядит, глядишь, и по

радио о нем сообщает, вот он и прославился. И не замечает, что он всего-навсего засаленная игральная карта... Я вам больше скажу... Мы на многое смотрим сквозь пальцы. Цензура цензурой, в других странах, между прочим, тоже есть цензура. И если что-нибудь начальству не понравится, то там с такими гавриками не церемонятся. Вы только нас за идиотов не считайте, не считайте нас за идиотов! Мы понимаем, что настоящий писатель, умный писатель, талантливый писатель всегда может сказать правду. И никакая цензура ему не помеха. Потому что он рассчитывает на такого же зрелого, такого же понимающего читателя. Я вам приведу пример. Допустим, вам нужно описать интимный акт между женщиной и женщиной. Правда жизни, никуда не денешься! Вот вы мне и ответьте: что сильнее действует на читателя, какой художественный эффект будет достигнут — или вы грубо и прямо напишете все, как есть, как они там совокупляются, или с помощью художественных образов, метафор, косвенно, полупрозрачно, так, чтобы читатель сам догадывался, чтобы он дорисовал своей фантазией? Понимаете, не впрямую! Это, милый мой, не я придумал, это закон литературы. Или вы не согласны?»

«Согласен, почему же».

«Ага! Наконец-то. Наконец, вы соизволили признать, что я прав. Давайте-ка уж все начистоту».

«Что вы имеете в виду?»

«Да все то же, дорогуша. Все то же... Я вам свои соображения изложил. Теперь очередь за вами».

«Что я должен сказать?»

«Честно и прямо. И покончим на этом. Больше вас задерживать не буду! Поговорили — забыли».

«Не понимаю, — удивился Рубин, — это какое-то недоразумение. Вы что, думаете, что это я?»

«Ну вот, опять двадцать пять. Этак мы с вами каши не сварим! Да ведь, дорогой товарищ, все лежит как на ладони: кто ж еще-то, как не вы!»

«Откуда мне знать».

«Я не я, и хата не моя, — сказал майор. — Может, домой съездим? Вызовем машину, дело двух минут. Поглядим, что там у вас хранится.

А я, между прочим, считал вас умным человеком».

Услышав звонок, Олег Эрстович устремил вопросительный взгляд на пуделя и деревянного карлика, оба выразили недоумение и озабоченность.

«Кто?» — спросил он.

За дверью ответили:

«Свои».

«Кто — свои?»

«По делу, Олег Эрастович, откройте...»

Подумав, Олег Эрастович сказал:

«Меня нет дома».

«Однако ж вы дома, — возразил, входя, прилично одетый господин неопределенных лет, — позвольте представиться...»

Олег Эрастович снял и снова надел пенсне.

«Я, собственно, принимаю по предварительной договоренности... Вас кто-нибудь рекомендовал?»

«Меня? — спросил посетитель. — Конечно, конечно... Позвольте, не могу вспомнить: кто же это меня рекомендовал?.. Кто-то, наверное, рекомендовал. Ну да не в этом суть. Надеюсь, мы одни?»

Он повесил шляпу на крюк и погладил лысое темя. После чего вынул и показал удостоверение.

«Я ничего не понимаю, в чем дело?» — лепетал хозяин, следуя за гостем, который направлялся к деревянной лестнице. Поднялись вверх.

«Прекрасная квартира», — промолвил лысый человек.

«Может быть, вы все-таки объясните...»

«Всему свой черед, уважаемый Олег Эрастович... Нет, знаете, просто хоромы! Завидую вам, честное слово.»

«Ну вам-то уж завидовать...»

Человек усмехнулся. «Все думают, что мы как сыр в масле катаемся. Да мы такое же учреждение, как и все, уверяю вас, такой же, по правде сказать, бардак... Получить хорошую квартиру, ого... Пока тебя на очередь поставят, да пока строительство начнется...»

«Вы, кажется, сказали, — заметил хозяин, — бардак!»

«Именно. Именно, уважаемый Олег Эрастович».

«А вам не кажется, — осторожно сказал Олег Эрастович, — что вы, э, того, как бы это выразиться, порочите Органы!»

«Я? Ха-ха-ха! Нет, с вами надо держать ухо востро. Вижу, вижу: имею дело с бывалым человеком. А знаете, вы нравы. Теперь я, можно сказать, в ваших руках. Изобличен с поличным! Может, у вас и магнитофончик где-нибудь спрятан?»

Человек вертел головой, оглядывал книжные полки, портрет на стене.

«Это кто же такой? Ваш предок?»

Олег Эрастович важно кивнул.

«Иностранец, если я не ошибаюсь... Небось какой-нибудь француз?»

«Остался в России после 1812 года».

«Слышал, как же, слышал... Виконт де Бражелон, в детстве читали. Значит, это он и есть?»

«Он самый».

«Представьте, какое совпадение: мой пра-пра... хрен его знает, прадедушка или прабабушка... Одним словом, мой предок. Говорят, был убит под Бородиным. Не могу, конечно, похвастаться таким, как у вас, происхождением. Крепостные мужики, черная кость, а какой патриотизм, какая самоотверженность! Понимали ведь, что речь идет о судьбе отечества!»

«Мы должны учиться у народа. Любви к родине, сознанию своего долга», — сказал Олег Эрастович.

«Верно, верно... Приятно с вами беседовать, но, к сожалению, времени маловато... А там у вас что, спальня? О, — сказал лысый человек, — я вижу, вы занимаетесь фотографией!»

«Так, немного балуюсь».

«Великолепно. У вас настоящая студия. А где же ваши работы?»

«Какие работы?»

«Я имею в виду фотографические. Этюды или что там, портреты...»

«Ах, пустяки! Чистое любительство».

«А все-таки. Я тоже, знаете, в юности увлекался. Мечтал стать, — голос посетителя донесся из-за ширмы, — фотокорреспондентом».

Человек вышел из-за ширмы. Можно было подивиться его нюху. Виконт Олег Эрастович бессильно опустился на кушетку. Стащил с головы берет, тяжело дышал, приглаживал лиловые кудри.

«Жарко? Топят, черти собачьи, всюю... Ну в чем дело, я вижу, вы чем-то расстроены. Что тут такого — хорошенькая девочка... — говорил майор, разглядывая фотографию Шурочки. — Иди сюда, мой милый...» Пудель подбежал, стуча лапами по полу, гость трепал его грязную шерсть. «У, ты, какой умница...»

Оба, хозяин и гость, сидели за низким столиком перед книжными полками.

«У меня к вам вот какой вопрос, уважаемый... Считайте, что наш разговор вас ни к чему не обязывает, как видите, я не стал вас вызывать, сам навязался в гости... Вам такой Рубин известен?»

Ага, подумал Олег Эрастович, теперь все понятно.

«Рубин, кто это?» — спросил он.

«Ну, ну, — ласково сказал гость, — я же знаю, что вы знакомы».

«Ах да, в самом деле! — пропел Олег Эрастович старческим голосом. — Но очень поверхностно, очень поверхностно».

«Вы, кажется, рекомендовали ему машинистку?»

«Машинистку? Ах да, кажется...»

«Но взялись сами передать ей материалы».

«Материалы, какие материалы?»

«Олег Эрастович...» — мягко сказал гость.
«Впервые слышу!»
«А вы напрягите свою память. У, ты, умница...»
«Нет, я просто удивлен. У меня с этим Рубиным нет ничего общего... я...»
«А, кстати, я забыл спросить. Кто эта барышня?»
«О! Случайная знакомая».
«Случайные знакомые в таком виде не фотографируются».
«Знаете, современная молодежь... Мне, право же, стыдно».
«А где остальные?»
«Пardon?»
«Я говорю: где остальные фотографии?»
«Остальные? Но у меня нет никаких фотографий!»
«Гм, вот как. Студия, камера — все есть, а фотографий нет?»
«Надо бы поискать, я давно уже не занимаюсь... Какие-то семейные фотографии, наверное, сохранились».
«Вы правы, надо поискать. Может, сейчас и поищем? Ну хорошо, как-нибудь в другой раз... Как насчет материалов Рубина?»
«Слово дворянина! — торжественно сказал Олег Эрастович. — Если там что и было... Абсолютно не помню. Не имею к этому ни малейшего отношения».

«Так, так. Никакого отношения...»

Майор задумался, кивал, поглядывал на Эрастовича.

«Насчет современной молодежи тоже верно, — бормотал он. — А вы мне все-таки подарите на память эту красотку...» После чего произошло нечто необъяснимое.

Пудель вскочил на кресло, где визитер оставил лёгкую вмятину. Спрыгнул, понесся вниз. Виконт Олег Эрастович, озираясь, крался по лестнице. Внизу в прихожей витал легкий запах дыма. Пришелец исчез, испарился. Олег Эрастович обследовал вешалку. Обернулся. Деревянный мажордом, со шляпой в руке, кланялся, приглашал войти.

XIV. АКАДЕМИК ИСКУССТВ Т.М. ПОГОРЕЛЬСКИЙ

Вперед, как сказал поэт, вперед, моя история, лицо нас новое зовет. Лицо, знакомство с которым может быть лишь мимолетным, к таким персонам подступиться непросто, тут мы дерзаем подняться на весьма высокую ступень государственной пирамиды.

Прошлое — не загадка для того, кто знает, что было потом; ретроспективный взгляд находит в событиях то, чего не заметили современники: нечто закономерное, бесспорное, почти принудительное. Современнику может казаться, что завтрашний день — бездонный кладезь возможностей. Но если бы он очутился на месте историка, то

понял бы, что на самом деле он влекся под бичом закона, в оглоблях необходимости. Заглянув в книгу судьбы, он убедился бы, что у него не было выбора. Но он об этом не знает, и слава Богу.

И все-таки уже тогда, в суматохе последних недель и этих стран-ных, грозно-нелепых и прискорбных событий, коими нам придется заключить нашу по необходимости фрагментарную летопись, нельзя было не почувствовать дыхание злого промысла. Да, тут дало себя знать нечто такое, что в художественной словесности именуется замыслом автора, а в жизни — перстом судьбы. Заметим, однако, что все имеет свою причину, рок избирает банальные сюжеты. Все эти недели пронеслись, как только что сказано, в суеде и волнениях. Последние приготовления к отчету о проделанной работе по выполнению правительственного задания — вот как это называлось! — потребовали от руководителя проекта предельного напряжения; телефонные звонки, доклады наверх, распекание подчиненных, улаживание и согласование, суматоха и нервотрепка, довели академика Тициана Марковича Погорельского до последней степени изнурения.

Теперь, когда проект рассекречен, можно сказать о нем подробнее, а заодно коснуться его предыстории. Архитектурный замысел, который в описываемое время вновь, после длительной паузы, предстояло извлечь на свет, по общему мнению, должен был превзойти все прежние достижения строительного искусства. Затмить Египет, затмить Вавилон. Так светлому будущему, чьим символом стал этот замысел, предстояло затмить величие всех цивилизаций и царств.

В своем первоначальном виде проект родился в двадцатые годы, в эпоху головокружительных идей. Правда, уже тогда возникли сомнения, не повлияет ли столь высокое сооружение на вращение Земли, не грозит ли это, в свою очередь, смещением орбиты, сокращением расстояния от Земли до Луны, возмущениями соседних планет или чем-нибудь подобным. Вспыхнула дискуссия, в которой приняли участие зарубежные астрономы. А если бы даже и грозило, возражали энтузиасты, что с того? Тут очень кстати припомнилось пророчество некоего философа, который еще в минувшем столетии мечтал, что человечество научится управлять движением Земли и, сбросив путы солнечного притяжения, ринется в космические дали.

Как бы там ни было, в начале следующего десятилетия споры были прекращены, возражения умолкли. Не могло быть никаких сомнений в необходимости немедленно приступить к стройке. По утверждению проекта на расчищенной территории начато было рытье котлована. Количество вынутого грунта было таково, что, как подсчитали в газетах, этой землей можно было засыпать пустыню Гоби и развести там сады. Предлагали также рассыпать землю по городским крышам с целью устройства солнечных оранжерей. По разным причинам о

дальнейших работах ничего не сообщалось. Ходили фантастические рассказы; по слухам, там была найдена нефть. Кто-то видел на дне котлована нефтяные вышки. Кто-то намекал на строительство гигантского подземного завода, для которого наружные работы служили якобы только ширмой. Между тем грузовики свозили к воротам огромные тесаные блоки, было преступлено к укладке фундамента, как вдруг разразилась война. Работы были прекращены: огромная строительная площадка в центре города, по заключению специалистов, представляла ориентир для вражеских самолетов.

Победа уже витала в воздухе, из репродукторов гремел бессмертный голос: «...двадцатью артиллерийскими залпами!» — и ночи столицы озарялись праздничными салютами, когда Погорельский, лицо в то время абсолютно неизвестное, еще без живота, без складчатого подбородка, с волнистой шевелюрой и орденом Отечественной войны на гимнастерке, мечтавший из фронтowego фоторепортера стать художником, вернулся в город. И одно время ходил каждый день на какую-то скучную службу мимо глухого забора, за которым царили тишина и неизвестность. Мальчишки разглядывали сквозь щели гигантский кратер, откуда поднимался молодой лес. Было очевидно, что в ближайшие годы не предвидится возобновление стройки, и в самом деле прошли годы.

Тогда-то, в те чудные, безвозвратные времена, молодого художника осенила идея — одно из тех гениальных озарений, что приходят единственный раз в жизни и переворачивают всю жизнь. Не следует пренебрегать утопией, мечта вдохновляет великие деяния. Проект сделал Тициана Погорельского, вице-президента Академии художеств, депутата и лауреата, главой и гордостью отечественного изобразительного искусства.

Чем сомнительней представлялось возвращение к первоначальному плану, тем насущнее было его символическое перевоплощение. Залатанный толем, подпираемый жердями забор в центре города мозолил глаза и портил настроение. Гнусный забор был особенно замечен оттуда, где он менее всего должен был привлекать внимание: со стороны реки в районе крупных гостиниц. Его могли видеть иностранцы. В него упиралось Бульварное кольцо. Необходимо было разрубить гордиев узел. Новый проект предлагал идеальное — в обоих смыслах этого слова — решение.

Коллектив, руководимый Тицианом Погорельским, трудился, не покладая рук. Третье приемная комиссия рассматривала готовое произведение, прежде чем представить его на утверждение наивысшей инстанции. Решающий день приблизился. Гигантское панно было транспортировано на автоплатформах и установлено в зале главного здания Академии. Вдоль стен, полукругом — юпитеры, с потолка свисали гирлянды софитов.

Пронеслись по опустевшим улицам и подъехали длинные бронированные автомобили. Толпа телохранителей, экспертов, ответственных работников и референтов взошла следом за тяжело дышащими, медленно переставляющими ноги товарищами по мраморной лестнице, прошествовала через холл, приблизилась к дубовым дверям. Нечто грандиозное, покоряющее ум и воображение ожидало их в зале. Медленно, как в театре, померк свет многоярусных конусовидных люстр, и вспыхнули прожектора. Зажглась боковая подсветка. Тициан Маркович с трехметровой указкой стоял сбоку. Группа товарищей во главе с тем, о ком здесь уже говорилось, в одинаковых пиджаках и брюках из негнувшейся ткани, разместилась на возвышении у стены.

Никто не подумал бы, что это фанера, правда, особо прочная, укрепленная подкладочным материалом, устойчивая против непогоды; никто никогда не догадался бы, что это всего лишь фанера, настолько искусно она была превращена в голубое небо, и в бесконечных даях, над горизонтом серебрился и розовел восход — то было утро мира. На щите, перегородившем зал, был представлен — нет, не представлен, а стоял, как живой, высился и возносился в небесную твердь изумительный храм будущего, циклопический дворец, каким его мог бы созерцать маленький человек, спешащий по своим делам, скромный труженик, прохожий-насекомое, рядовой египтянин, пораженный видом гробницы фараона. Воистину ничего подобного никогда не бывало.

Хотелось вскричать вслед за классиком: не так ли и ты, Русь?.. Нарисованный дворец являл собой стержень мира. Зритель — и в этом состоял секрет фанерной картины, а точнее сказать, секрет искусства, — находился у подножия и одновременно витал под облаками; зритель видел волшебный дворец снизу доверху во всех его подробностях: кисть великого мастера сделала идеальный дворец более обозримым, чем могло бы этого достигнуть реальное строительство; живопись превзошла зодчество. Вместе с тем она производила необходимое педагогическое воздействие, вдохновляющее и одновременно усмиряющее: зритель, мысленно восходя по ступам все выше и выше, все ближе и ближе к цели, чувствовал себя все мельче и мельче — и там, в космической пустоте, его ждал, но не замечал его, обращался ко всему миру и стоял над миром, освещенный еще не взошедшим солнцем, в башмаках из нержавеющей стали, с простертой рукой гигантский крошечный вождь страны и всего прогрессивного человечества. Панно радикально решало поставленную задачу. Оно должно было заменить дощатый забор вокруг котлована или неизвестно вокруг чего, ведь никто уже не мог к тому времени уверенно сказать, что находится за забором; отныне фанерная панорама раз навсегда сняла этот вопрос с повестки дня. Но в том-то и дело, что это была уже не фанера. Это было торжество искусства над действительностью или, лучше сказать, действительность, отменившая сама себя.

Товарищи в негнущихся пиджаках были не то чтобы потрясены, но все же находились под впечатлением от увиденного. Правда, об этом непросто было догадаться по их неподвижным лицам. Из практики вращения в высших сферах было известно, что отсутствие выражения на лицах руководящих товарищей не обязательно означает осуждение, но и не является безусловным знаком одобрения, не указывает ни на отсутствие мысли, ни на ее присутствие. Имея немалый опыт, Тициан Маркович приготовился к тому, что с его творением обойдутся строго, по-хозяйски, по-государственному. Были сделаны следующие деловые замечания:

«Угу. М-да».

«М-гм. Думается, в общих чертах...»

«В общих чертах, думается, можно...»

«Одобрить. Товарищи, безусловно, отнеслись к своей задаче...» — сказал Никто.

«Безусловно, осознали», — подтвердил ближайший.

«Ответственность перед народом, перед нашей родиной», — произнес третий.

«Однако», — заметил первый.

«Идейно-художественный замысел раскрыт недостаточно».

«Товарищам надо еще поработать».

«Полнее раскрыть».

В ответном слове Т. М., стоя с указкой, как страж с копьём, сказал, что коллектив горячо благодарит за ценную помощь и критику. При своей чрезвычайной занятости руководители нашли возможным уделить время заботе об искусстве. Коллектив глубоко тронут этим вниманием. Все сделанные замечания будут учтены, сказал Т. М. Панно предполагается установить ко дню великой годовщины.

«Не так уж много времени осталось», — заметил первый, насушив брови, и следом за ним нахмурились остальные.

«Товарищам надо как следует поработать».

«Оправдать доверие. Вся страна на вас смотрит».

Осмелев, Тициан Маркович Погорельский заверил, что коллектив приложит все усилия. Недостатки будут устранены. Хотелось бы знать, есть ли конкретные пожелания. Прожектора издавали легкое равномерное гудение. В зале стало жарко.

«Угм... Замысел...»

«Думается, главный недостаток — это...»

«Недостаточно отражена идея неуклонного стремления ввысь».

«Магистральное направление проекта».

«Движение не просто вперед, а вперед и ввысь!»

«Не простое, а поступательное».

«Качественно новый скачок».

Под вечер вконец измочаленный, но счастливый Тициан молча принял поцелуи и поздравления жены и, сменив официальный костюм на просторную домашнюю мантию с кистями, прошлепал в свой кабинет, где черт дернул его снять трубку и набрать некий номер.

По здравому рассуждению приходится заключить, что это и было не что иное, как рок. Рок шепнул, что не худо бы после праведных трудов поразвлечься. На чем в конечном итоге Тициан Маркович Погорельский — каламбур напрашивается сам собой — погорел.

Да, черт дернул академика позвонить виконту Олегу Эрастовичу, и встреча состоялась, если наши сведения верны, на другой же день; было это до или после того, как Олега Эрастовича почтил визитом некто в штатском, сказать сейчас трудно, — впрочем, неожиданно оборвавшийся разговор сделал это посещение как бы не состоявшимся. Каждый знает, что в жизни случаются происшествия, о которых потом невозможно сказать, были ли они на самом деле.

Академик, пренебрег персональной машиной, прибыл в наклеенных усах, темных очках и низко надвинутой шляпе на такси (в девятнадцатом веке сказали бы — в наемной карете). Встретились как старые друзья.

«Прелестная резьба».

«Это из особняка Кулебякиных. Представляете себе, они хотели выбросить на свалку...»

«Варварство».

«Еще какое!»

«Возмутительное отношение к нашему национальному наследию».

«Что поделаешь! Когда вокруг одни инородцы».

«Вот именно».

«Прошу. Старый арманьяк...»

«О! Превосходен. А что это у вас там... э?»

«М-м?»

«Что это там за вазочка?»

«А, эта! Приобрел по случаю. Приятель уезжает».

«Гм... все уезжают. Позвольте взглянуть? О, настоящий Мейсен».

«У вас безошибочный глаз. Пятидесятые годы».

«Прошлого века?»

«Что вы! Восемнадцатого!»

«Позвольте, разве?»

«Уверяю вас. Мне ли не знать?»

«Какая прелесть! Вот что значит! Все-таки немцам надо отдать должное. Гм. Я, собственно, к вам на минутку. Времени совершенно нет».

«Понимаю, понимаю. Чем могу служить?»

«Ах, дорогой Олег, э-э...»

«Эрастович».

«Дорогой Олег Эрастович. Жизнь — вещь нелегкая».

«О, как я вас понимаю!»

«Особенно в наше время».

«Кому вы говорите...»

«И, заметьте: чем выше положение, тем труднее».

«Вы правы. Государственные обязанности требуют разрядки, требуют отдыха».

Оба скорбно вздохнули. Академик Погорельский углубился в рассматривание альбома.

«Угм. Тирим-пам-пам. Вот эта ничего себе. Полновата, пожалуй».

«Цыц!» — крикнул Олег Эрастович. Как легко догадаться, это отнесилось к пуделю.

«О, а вот это штучка! Глаза, глаза... Небось темперамент — о-го... Будь я помоложе!»

«Цыц! Я т-тебя».

«Трим-па-па... Нет, не то. Не то, батюшка Олег Эрастович...» — сказал, вздохнув, академик и захлопнул альбом.

«Может быть, эта?..»

«Новенькая?» — спросил Тициан Маркович, принимая от хозяйки на портрет Шуры.

«К сожалению, занята. Но я попытаюсь для вас устроить. Если не ошибаюсь, — проговорил Олег Эрастович, — она будет на днях в...»

XV. ТЕРМЫ КАРАКАЛЛЫ

Даже на тогдашних картах, намеренно вводящих в заблуждение чужой и недобрый глаз, — ибо все могло стать поживой для иностранных разведок, — нетрудно было бы отыскать возрожденный властью искусства фанерный дворец. Найдите излучину реки: он здесь, у подножия холма, где легендарный основатель города сидел за бревенчатым тыном, поджидая родича и соседа, чтобы вместе отпраздновать разбойный набег на другого соседа.

А теперь совершим экскурсию по другим памятным местам: вниз по Волхонке, мимо колбасного магазина, где благоухает чеснок, мимо памятника Героям, где пахнет порохом, мимо статуи Ивана Грозного, от которой тянет серой. Минуя Знаменку, через площадь Победы и дальше по Моховой, сквозь мглу воспоминаний...

Здесь придется полистать допотопный путеводитель двадцатых годов, припомнить исчезнувшие названия: какой-то Лоскутный переулок, акционерное общество «Утиль-тряпье». Что такое акционерное общество? Этого никто уже не знает. Где мы? Налево Петровские линии, Рахмановский; направо — Первый Неглинный, Третий Неглин-

ный... И вот, наконец, мраморный портал — Сандуновские бани. Сандуны — как много в этом звуке... Какой столичный житель, коренной, наследственный москвич не встрепенется, увидев эту вывеску и слова?

Сандуновские бани — это все равно что Арбат, Донской монастырь или Художественный театр. Следовало бы присвоить им наименование мемориальных, или академических, принимая во внимание исключительную роль Сандунов в анналах отечественной цивилизации, в становлении национального самосознания.

Говорят, Андрей Первозванный в бытность свою в Новгороде дивился тому, что люди секут себя в пару прутьями. Баня в нашем отечестве есть институт особого рода. Баня вообще замечательна тем, что это единственное общественное место, где человеческий род сызнова воскресает в своей первородной невинности, где люди являются друг перед другом, какими их создал творец: тучными, тощими, гладкими, костлявыми, стройными, кривобокими, с татуировками пиратов, с волосатыми плечами приматов, с оплывшей грудью, с утонувшим в складках пупком и органами размножения, спящими на пухлых бедрах под периной живота.

Баня — это воспоминание об Эдеме, это само первобытное человечество, нагое, как племенное еврейство, шумное, как орда, это гулкие возгласы, плеск и хохот, тусклые лампы в облачных керамических чертогах, баня — присподняя голых тел, предвесье и предвкушение потустороннего будущего; баня — это, увы, прообраз газовых камер.

Liberté! Egalité! Fraternité!¹ Вот слова, которые следует начертать над ее порталом. Но если верно, что бани возвращают нас к досоциальному братству, плотскому равенству и нагой свободе, если вместе с одеждой, с габардиновыми доспехами, папахами из барашка, вместе с членскими билетами и мандатами с важного лица спадает все внешнее, официальное и условное, и человек братается с ближним в ничем не прикрытом естестве, — если все это так, то в Сандунах дело обстояло все же не совсем так и даже скорее наоборот, ибо они служили местом для совершенно особых конфиденциальных встреч.

В бане «отмокают», в бане сбрасывают бремя забот, соскребавают коросту лет. В бане постигается мудрость неспешного существования и вкушается сладость ничем не омраченного времени — сладость жизни. Все это так; но наш скромный дискурс был бы неполон, если бы мы умолчали о том, что баня, та, о которой идет речь, есть обиталище избранных, лучшее место для ведения дипломатических переговоров, завязывания дружб, обмозговывания проектов и обговаривания щекотливых дел. И порой решения, которые выносились в Сандунах, оказывались поважнее тех, что принимал синклит старцев, управлявших страной.

¹ Свобода! Равенство! Братство! (*франц.*).

Чтобы туда попасть, надо было знать топографию Сандунов, не то чтобы абсолютно секретную, но и не подлежащую широкому оглашению. Вывеска и парадное крыльцо, и кассовый зал с преискурантом — все это были еще не настоящие Сандуны; не то, что подразумевалось под гордым словом Сандуны и произносилось так, как в иные века говорили: салон мадам Рекамье. Или: Соколовский хор у Яра. Или: Великая масонская ложа Востока. Незачем было входить в кассовый зал, чтобы попасть в настоящие Сандуны, незачем было покупать билет: тем самым вы показали бы, что вы не настоящий клиент, не осетр, а мелкая рыбешка. Осетры проплывали мимо.

Вынырнув из потока машин со стороны Трубной площади, лакированный экипаж прошуршал мимо Псевдосандунов. Но, миновав строй домов, мягко свернул в каменное ущелье, где за мглистыми окнами теснились конторы и навеки присохли к своим стульям служащие, а по узкому тротуару пробирались редкие и робкие пешеходы. Закон отрицательной показухи, важнейший закон эпохи, предписывал всему, что по-настоящему важно, не бросаться в глаза. Автомобиль подкатил к невзрачному входу: три ступеньки вниз, и, само собой, никаких вывесок.

Из машины выскочил лейб-шофер в усах, как ниточки над губой, с глазами, как антрацит, отворил дверцу. Выбрался тучный поэт в огромном дорогостоящем кепи. Выпорхнула Шурочка, прелестная, как весна.

Спустившись несколько боком с одной ступеньки на другую, высокий гость приблизился к тесным вратам, о которых можно сказать словами псалмопевца: праведные внидут в них. Тусклое помещение, облупленные стены, технико-эксплуатационная контора и рядом с ней еще одна дверь, не то чтобы военная тайна, но не всякому положено знать. Проще говоря, служебный вход, дверь для своих людей, наподобие заднего входа в магазин или в театр. Шофер надавил на кнопку звонка, выглянула смазливая мордочка, горничная или секретарша, в тесной юбочке, в кофточке из батиста, с острым носиком, с бюстом, как морская пена... Коридор, графики дежурств и портреты победителей в соцсоревновании. Стенгазета «За отличное обслуживание». Здесь присутствует Государство; точнее, все еще присутствует. Мимо, мимо... Явление знатных гостей вызывает счастливую панику. И уже чувствуется издалека парной дух, ароматное тепло. Горничная — туда-сюда, с полотенцами, губками, мочалками, с мазями и бальзамами, с обширнейшей, как пустыня Гоби, мохнатой и мягкой прорыней, а там уже встречает заслуженный пространщик, «сам» Аркадий Лукич. Хриловатым баском, в котором опытное ухо различило бы и ноты вышколенного дворецкого, и обертоны старого блатаря на почетной синекуре, негромко, несуетливо, не без фамильярности, не без некоторого почтительного презрения, дескать, мы и сами с усами:

«Ба, гость-то у нас какой. Ваше ханское сиятельство! Вот уж не ждали».

Хотя, что говорить, ждали.

«Дорогой, — возразил гость, — зачем обижаешь? Почему не звонишь?»

«Ваше сиятельство, так ведь кто же знал, что вы тут».

«Все знают, ты один не знаешь. Как живешь? Как дети? Как мать, как отец?»

«Слава Богу, отвечал пространщик, у которого отродясь не было ни отца, ни матери, что же касается жен и детей, то тут вопрос сложный. — Живем, хлеб жуем, вы-то как?»

«Ах-х! — взмахнул рукой гость. — Печенка барахлит. Почки никуда не годятся. Спина замучила. Всех профессоров обошел. Никто не помог. Ты моя последняя надежда!»

«Так точно. Что можем, то сможем».

Черноокий возникший исчез и, отрулив в сторонку, дремлет в машине. Тем временем хан с наложницей шествует в предбанник, шелестя гигантскими шлепанцами из кожи саблезубого тигра.

Конечно (повторим это), никакой чрезвычайной тайны топография знаменитых бань не представляла. Однако и не афишировалась. Существовали, как во всякой бане, первый и второй разряд, но был и особый разряд. Бани были коммунальными, общедоступными, всенародными, но это лишь означало, что подразумевались не те бани. Жизнь вообще была устроена так, что говорилось одно, а подразумевалось другое, ценилось лишь то, что было настоящим, настоящее же, как все, чего не хватает, как то, чего нет, но все-таки есть, — не могло не быть лишь наполовину реальным. Коридор, графики дежурств, стенгазета, все как полагается и ничего особенного. Но дальше начинается мифология, античная Греция и Левант, царский предбанник, душ лежачий, сидячий, стоячий, парильня для богов, мраморные чертоги, комнаты массажа, комнаты отдыха и хрен знает что.

XVI. ПИР

Семь часов вечера, первая стража, по римскому счислению, а по восточному — час пробуждения луны. Для дальнейшего изложения, как и для последующего расследования, важно уточнить время. Итак, в семь или около того отворяется дверь и показывается розовый и помолодевший после прохладного душа, с блестящим, как бильярдный шар, черепом, с влажными, подернутыми поволокой карими глазами под густым, как усы, смолистым двубровьем, в роскошном ассирийском одеянии, подпоясанный толстым витым поясом с кистями, которые колышутся между выглядывающими из

халата крепкими мохнатыми ногами в тигровых шлепанцах, — показывается хан. Следом плывет утомленная спутница. Кто такая? Никто не спрашивает, никому она не представлена; она — медицинский персонал, или кому там положено обслуживать важного ответственного работника, пациента с застарелым радикулитом, аристократической подагрой, артрозо-артритом, ибо какой же государственный муж бывает без артрозо-артрита; она — доверенная наперсница, секретарша, первая жена гарема, романтическая незнакомка, — должно быть, подцепили на улице, в центре города, остановили машину и поманили толстым пальцем, — или, чего доброго, подосланная сучка из Органов? Все может быть, и никто ни о чем не спрашивает. Мелко ступают её ножки, алеют, как кровь, ноготки в полуоткрытых тапочках, под байковым халатиком дышит и волнуется ее нежная грудь.

Большой человек, такое наименование будет самым уместным, оглядел стол, издал одобрительно-утробный звук. Пространщик Аркадий Лукич Лыков, при полном параде — свежайший накрахмаленный халат, манишка с черной бабочкой, нарукавники, — осведомляется, можно ли впустить другого гостя: просится и сочтет за честь. Кто такой, спросил хан брезгливо.

Овладев по-хозяйски бутылью, он разлил желтое, сверкающее, как расплавленный янтарь, вино себе, Шурочке и первую чашу, по обычаю, осушил молча. Пространщик вопросительно стоял в дверях. Хан степей кивнул.

«Как же, как же, слышали», — промолвил хан, когда академик Тициан Погорельский, среброкудрый с плешью, в кимоно с драконами, благоухая лосьоном, вступил в пиршественный покой.

«Слышали о твоём таланте. И до нас докатилась твоя слава. Садись, гостем будешь...»

«Присаживайтесь», — кутаясь в халатик, нежно сказала Шурочка.

«Ты что же, один?»

«Увы», — развел руками Погорельский.

«Нехорошо», — сказал хан.

Несколько времени продолжались приготовления, нюханье цветов, ревизия закусок.

Хозяин занес бутыль над бокалом академика.

«Нет, я, пожалуй, водочки, — потирая ладони, промолвил Тициан Маркович. — Нашему брату славянину, знаете ли, после баньки необходимо... кх, кх...»

«Знаем, знаем... А вот вина моего не хочешь попробовать?»

«С удовольствием, и премного благодарен. Но я, пожалуй, сперва водочки!»

Шура, молча и как будто не замечая бокала, который ей пододвинул хан, протянула Тициану свою рюмку, тот поспешил налить из заиндевшей бутылки. Хан, с чашей прозрачного янтаря, насупил усоподобные брови.

«Мне кажется, — проворковал Тициан Маркович, подняв рюмку и чокаясь с дамой, — мы с вами где-то встречались!»

Шурочка лукаво улыбнулась. Хан сказал:

«Это тебе приснилось. За твоё здоровье».

«Будем здоровы... О-о, хорошо пошла!»

«Эй! — позвал хан и хлопнул в ладоши. — Принеси ему стакан. Пускай пьёт свою водку... Гранёный!» — крикнул он вслед Аркадию. Пространщик принес толстый гранёный стакан и молча поставил перед Тицианом. Хан небрежным движением отослал Аркадия Лукича.

«Вот, — сказал он, — если будет мало, принесут больше».

И широко развел руками, указал на стол. Сам он обильно угощался. Тициан Маркович что-то клевал вилкой, соблюдал диету. Выпив водки, Шурочка погрузилась в томное молчание, губы ее приоткрылись, грудь мерно дышала под халатом.

«Как, ты сказал, тебя зовут? Ва! Так это тот самый, который Венеру голую нарисовал? А ты мне вот что скажи. Ты как считаешь? Рисовать без всего — ведь это нехорошо. На нее мужики смотрят, дети смотрят».

«Видишь ли, Усуф...» — возразил Тициан.

«Какой я тебе Усуф? Мы пока еще с тобой не знакомы».

«Зато теперь будем знакомы», — сказал Тициан, не желая портить настроение.

«Я пошутил. Знаю, что ты не Тициан».

Он налил себе золотого вина. «То есть Тициан, но не такой».

«Федот, да не тот», — улыбнулся гость.

«Не тот».

«А теперь я предлагаю, — торжественно сказал академик, — выпить за нашу прекрасную... гм... За хозяйку нашего стола!»

«Хо-хо! — громыхнул хан степей. — Ты, я вижу, мастер говорить тосты».

«Где же это мы с вами виделись?» — мечтательно произнес Тициан Маркович и, уже не скрываясь, взглядом художника оценил ее шею, ямку между ключицами и складку груди в просвете халата. Шурочка, как бы застыдившись, одарила художника обещающим, как ему показалось, взглядом. Тициан Маркович мысленно сравнил оригинал с фотографией Олега Эрастовича. Он высвободил под столом босую ногу из туфли. Немного погодя нога поехала по полу и приблизилась к Шурочкиным ногам.

Бес овладел Шурой. Ее колени плотно сжимали ступню академика. Между тем хан равномерно осушал кубок за кубком и против обыкновения мрачнел с каждой минутой. Были ли наглые авансы, делаемые академиком живописи разнеженной Шурочке, причиной скверного расположения духа или тучи приплыли издалека, объяснялась ли недобрая складка между бровями хана таинственными, все еще не доделанными делами в столице или флюидами луны? Сопя, он ударил в ладоши, и, казалось, облака рассеются, впорхнут гурии, войдет ансамбль зурначей, и на душе станет легче, и грозный хан степей и предгорий, как был, в развевающемся халате, с волочащимися по полу кистями плетеного пояса, в туфлях из шкуры махайродуса, врежет лезгинку. Но вместо этого в комнату вошел Аркадий Лыков, и председатель, хлопнув себя по колену, сузив глаза, спросил угрюмо:

«Ты где там? Садись, ешь-пей с нами».

На одну короткую минуту наступило молчание, пространщик смотрел на красные лица мужчин, и как-то вдруг почувствовались загадочная многозначительность этого пиршества, почувствовалось дразнящее присутствие женщины и каменное могущество хана.

«Благодарствуйте, ваше сиятельство, — сказал небрежно Лыков, — только я на работе...»

«Не уйдет твоя работа. Тут, понимаешь, за здоровье хозяйки пьют, хочу, чтоб и ты выпил».

«Благодарим покорно».

«Эй, кто там!» — позвал хан.

Лыков оглянулся на дверь, никто не отозвался; поколебавшись, он вышел и вернулся с белой, какие бывают в банях и поликлиниках, табуреткой.

Он сидел, выпрямившись, в крахмальной манишке с черным галстуком-бабочкой, без служебного халата, что означало как бы полуофициальный характер его присутствия. Под манишкой была сорочка с короткими рукавами, обнажившими худые, жилистые руки со следами татуировки. Пространщик пригладил левой, с обрубками трёх пальцев, безымянного, среднего и указательного, рукой редкие свои волосы, в правую руку взял бутылку с водкой и налил себе полный стакан. Бесстрастным взглядом обвел хана и академика, презрительно-внимательно скользнул глазами по Шурочке. «Будем», — пробормотал он. Половецкий хан приветствовал его ободряющим жестом. Лыков поднес стакан ко рту и медленно выпил до дна, не отрывая от губ.

«Ценю», — сказал хан.

Шурочка придвинула тарелку с закуской. Лыков не притронулся к еде и сидел все так же прямо, глядя перед собой.

«А теперь, — это был уверенно-вкрадчивый, с какими-то старорежимными обертонами голос Тициана Марковича Погорельского, — прошу присутствующих поднять бокалы за здоровье нашего уважаемого восточного гостя, нашего... Мы, москвичи, люди искусства, придаем особое значение симметрии, и потому...»

Непонятно было, что он имел в виду, видимо, он готовился произнести длинный тост.

«Дружба наших народов...». — Но его не дослушали.

«Отчего не ешь?» — медленно сказал хан, не сводя глаз с Лыкова.

«Спасибо. По первой не закусываем».

«Ай-яй, — сказал хан, — этак спиться можно».

«Уметь надо», — сказал пространщик.

«А ты умеешь?»

Пространщик ничего не ответил.

«Я хочу поднять этот тост, — лепетал Тициан, — за здоровье...»

«Тост не поднимают. Тост провозглашают. Вино с водкой мешать не надо... Та-ак, — молвил задумчиво половецкий хан, крутя пальцами чашу. — Скажи-ка, Лыков. А ведь ты меня не любишь».

Пространщик обратил на него тусклый взор.

«Налей ему, — буркнул хан. — Полный налей... Он умеет».

Шура приподнялась, придерживая халат, и это движение, тонкая женская рука, протянутая к бутылке, шевельнувшиеся под байкой нагие налившиеся груди прибавили что-то свербящее к ожиданию, повисшему в воздухе. Пространщик спокойно следил, как льется водка в стакан. Хан вознес свою чашу.

«Твое здоровье... Не отрекайся. Не увиливай. Я люблю правду. Я всем говорю правду. И от моих людей всегда требую, чтобы говорили правду. Вот я и хочу тебя спросить, скажи: за что ты меня не любишь, Лыков?»

Пространщик возразил, что он уважает хана.

«Уважаешь, да. Еще бы тебе меня не уважать. Боишься? Конечно, еще бы не бояться. Но не любишь, О-ох, — он прищурился и покачал головой, — не любишь...»

Пространщик молчал и смотрел на хана все тем же тускло-оловянным, ничего не выражающим взглядом. Тициан, заметно нетрезвый, ловил вилкой в тарелке зеленый горошек. Шурочка, поджав губы, покойно сидела на своем месте. Ей казалось, что мужчины ждут, когда она снова поднимется, наклонится над пиршественным столом и ее полушария нальются в просвете халата. Хан протянул руку к водке, но не смог поднять. Тогда она приветала и взялась за бутылку, то ли готовясь налить Аркадию следующий стакан, то ли желая сказать: хватит. То ли с другим намерением.

Председатель вырвал у нее бутылку.

«Спасибо на добром слове, ваше ханское сиятельство», — снова раздался голос Аркадия Лыкова, как будто прошелся ножом по стеклу. Тициан уронил вилку. Лыков взглянул на свой стакан.

«Отчего не пьешь?» — спокойно спросил хан.

«Благодарю», — проскрежетал пространщик.

«Так! — сказал хан. — Значит, не хочешь».

Он тяжело вздохнул и опустил руку на колено женщине. По-прежнему не сводя глаз с Лыкова, отшвырнул короткую полу ее халата и впечатал пальцы в белое Шурочкино бедро. Шура сбросила его руку.

«Значит, так, — медленно накаляясь, дыша с присвистом, продолжал хан, — вот так, значит... Я уезжаю завтра, мне тут больше делать нечего... Может, когда еще приеду... А ты, Лыков, запомни. Я тебя везде достану. Ты у меня вот где!»

И с ненавистью сжал маленькую короткопалую руку в кулак.

«Вы все у меня вот где. Вот вы на меня смотрите, и ты, и ты, и все вы... И думаете: черножопый приехал. У, черножопый... А вы у меня вот где! Мне только стоит захотеть. И вы все, все, как один, вот сейчас передо мной будете плясать. Потому что вы все продажная сволочь. Каждого можно купить с потрохами. Ты забыл, Лыков, кто тебя из грязи вытащил? Кто тебя на твое место устроил? Тебе мало? Еще дам... Сколько надо, столько и дам. А будешь себя плохо вести, прогоню ко всякой матери!»

«Юсуф, — сказала Шура вполголоса, — успокойся, Юсуф... Давай поедем. Тебе надо отдохнуть».

«Пошла вон! — закричал хан. — Шлюха! Все пошли вон!» Пространщик Аркадий Лыков, казалось, никак не реагировал на речь хана, лишь задумчиво кривил и покусывал губы. Мертвые глаза его скользнули по столу, мимо Тициана, сидевшего на своем месте с выражением чрезвычайного достоинства, оглядели Шурочку, ее круглый подбородок и нежную шею. После чего, по некоторым сведениям, Лыков опустил голову, обхватил пальцами свой стакан и мгновенным движением выплеснул водку в лицо половецкому хану. Хан выпучил глаза, схватился за стол, смял скатерть и начал медленно подниматься. Пространщик стоял по другую сторону пиршественного стола, табуретка лежала на полу. Хан засунул руку за отворот халата и вынул нож. «Грязная сука!» — сказал хан и добавил что-то на родном языке. По некоторым данным, пространщик ничего не ответил. Хан выбрался из-за стола и шагнул навстречу врагу, но покачнулся и сел на пол.

Нужно сказать, что с самого начала, как только вошли в служебный коридор и навстречу им появился пространщик Лыков, он вызвал у Шуры неприятное и неприязненное чувство, нечто затаенно-

недоброе показалось ей во взгляде Лыкова, в том, как он мгновенно и грубо раздел ее глазами и словно навесил на нее этикетку с ценой. Нечто неуловимо наглое было в голосе Лыкова, в его лакейском гостеприимстве. Впервые очутившись в волшебных чертогах, о существовании которых, как и огромное множество граждан, она не подозревала, наедине с ханом, превзошедшим самого себя и которому в этот раз она принадлежала целиком, безоглядно и до конца, она пришла в себя после испытанного потрясения, освежилась в бассейне, отдохнула после массажа; но, когда Лыков, провожая гостей в кабинет, где неслышные и невидимые руки уже приготовили для них стол, снова бросил на Шуру свой оловянный, мертвый, ничего не выражающий взгляд, ей стало не по себе, ее охватил страх.

Тут явился художник, или кто он там был, важная шишка, — неважных сюда не пускали, — кудрявый, плешивый, медоточивый; когда он начал под столом искать ее ногу, она испытала легкое отвращение, его присутствие забавляло ее, забавляла его идиотская уверенность, будто он уже близок к цели. Пожалуй, можно было поиграть с ним, допустить до колен, не дальше. С приходом Тициана Марковича установилось нечто лестное и щекотавшее Шуру, то, о чем впрямую не говорится, что она ощущала все сильнее, но описать могла бы лишь грубо-приблизительно; в конце концов она сбросила его ногу, слава Богу, Юсуф не заметил — или всё же заметил?

Она сидела, запахнувшись в бледно-розовый байковый халат, ласкавший ее кожу, остро ощущая свою наготу, чувствуя, что и мужчины ни на минуту не забывают о том, что под халатом на ней ничего нет. Жесткая музыка женского тела, выпивка, острые яства распалили их, и, когда она вспоминала потом, чем все это кончилось, то доходила даже до того, что уж лучше было бы сделать как-нибудь так, чтобы уединиться со страшным пространщиком на одну коротенькую минуту и как-нибудь перетерпеть. Для нее было очевидно, из-за чего разгорелся сыр-бор, она как будто слышала те подлинные слова, которые прятались за словами, произносимыми вслух. В Лыкове, под его невозмутимым видом, под ледяным спокойствием, бушевали зависть и ненависть, и эта ненависть была не чем иным, как вожделением, утолить ненависть, собственно, и значило утолить похоть.

Так по крайней мере представлялось ей, когда она думала о случившемся, склонная, как всякая женщина, сводить все необозримое множество мелочей и нюансов к простому знаменателю. Была ли она права? Чтобы ответить на этот вопрос, надо исследовать истоки самого загадочного чувства, основополагающего чувства, которое (заметим в скобках) в те времена стало чем-то почти равнозначным мировоззрению; стало верой, сделалось идеологией; чувством этим была ненависть. Нужно решить, была ли эта ненависть возбуждена

присутствием женщины, живой, и дышащей, и теплой, и казавшейся доступной, или музыка ее наготы была только поводом, так сказать, искрой, воспламенившей ненависть. Надо проследить, как копитя, и нагнетается, и гонит стрелку вправо, к красной черте, потенциал ненависти — ненависти к чему? К кому? Ненависть стала самодовлеющей. Ко «всему»...

Эй, кто там! Хан щелкает пальцами, хлопает в ладоши.

Но никого нет в соседних помещениях, персонал деликатно удался, и в переулке, в призрачном сиянии фонарей за рулем спит теплохранитель. Пространщик вышел и воротился с табуреткой.

Будем...

Будем. Поехали.

Она пододвинула пространщику тарелку.

По первой не закусуваю.

А теперь я предлагаю поднять бокал за здоровье нашей очаровательной...

Давай за здоровье нашей очаровательной. Будем!

Будем.

А ты, Лыков, запомни...

А мы, ваше сиятельство, все помним.

Вот как?

Да-с.

Вилка выпала из рук Тициана Марковича. Нарочно, разумеется.

Он ищет вилку под столом, находит плотно сжатые коленки Шурочки.

Очаровательная, алмаз моей души. Хочу к тебе в постельку...

Разбежался! А вот этого-того не хочешь?

Я завтра уезжаю...

Скатертью дорога, ваше ханское сиятельство.

Ты что-то много стал разговаривать, Лыков. Твое здоровье...

Предлагаю выпить за здоровье нашей... Мы, люди искусства...

Мне тут делать больше нечего. Может, снова когда приеду.

Умение ценить красоту, будь то красота нашей жизни, красота подвига, женская красота... предлагаю... За тебя, Усуп...

Какой я тебе Усуп?

У-соп...

Ты сам усоп. Скажи, Лыков, давно хотел тебя спросить. За что ты меня не любишь, Лыков?

Есть за что...

Как ты сказал, повтори?

Что слышали, то и сказал.

Тут — или позже, это не имеет значения — оказалось, что Тициан смылся. Не стало вдруг академика. Под шумок, так что они даже не заметили.

Хан:

«Значит, я не ослышался. Ясно. Люблю правду. Почему не пьешь?»

«Благодарим».

«Так. Значит, не хочешь». Он опускает тяжелую маленькую руку на ее бедро, Шура отводит руку хана, рука проникает между полами халата, гладит кожу.

«А ты знаешь, Лыков, что я с тобой могу сделать?»

Пространщик, спокойно:

«А ты, начальник, меня не запугивай. Я пуганый».

«Значит, мало тебя пугали. Я тебя, суку грязную, бесхвостую...»

«Юсуф, — пролепетала она, — успокойся...»

«Молчать! — крикнул хан. — Я вас всех вижу насквозь! Продажные шкуры... Я всех могу купить, с вашими гнилыми потрохами! Вы на меня смотрите и думаете: черножопый. У-у! А вот я сейчас хлопну в ладоши, и вы все вокруг меня будете танцевать».

Так ей вспоминалось: что здесь было правдой, что дорисовало воображение? И вот тогда, кажется, это и произошло.

Скатерть свесилась на пол, валялись обьедки, осколки посуды. С ножом в руках, раскинув ноги в домашних туфлях, хан сидел на полу и, очевидно, приходил в себя. Карие выпуклые глаза его пробудились. Он нашел взглядом пространщика, подобрал ноги и начал медленно подниматься. Это продолжалось долго. Пространщик ждал. Хан двинулся на Лыкова, тот вышиб нож из его руки профессиональным приемом. Срубил хана одним ударом. Блестящий череп Юсуфа брякнул о половицы. Лыков, сидя на нем верхом, обеими руками впился в короткую мощную шею хана, готовый задушить, но в этом не было надобности: хан умер.

«Так, — пробормотал Лыков. — Окочурился?»

Шура не отвечала, опустила на пол, в ужасе глядя на хана, на его могучий торс, раскинутые волосатые ноги, шлепанцы из кожи саблезубого тигра, свалившиеся с голых ступней, на его маленькие руки — знак родовитости.

«Ты кто такая будешь?»

«Медсестра», — сказала Шура.

«Вот что: ты успокойся».

Она сидела возле хана, на полу, закрыв лицо руками, задыхаясь от рыданий.

«Слушай меня внимательно... Никто его не убивал, он сам помер. Хотел пойти в уборную, вышел из-за стола — и все. Никакой драки не было, ясно? Главное — не паниковать. Ты вставай, — сказал Лыков и положил руку на ее плечо. — Вставай... Сходи за шофером. А я вызову “Скорую”. Это мы уберем, — он поднял нож с пола, — это тут ни к чему...»

XVII. ЛЫКОВ, ИЛИ СВОБОДА

Этимология слова «пространщик» темна, не исключено, что оно восточного происхождения; либо контаминация двух слов: простыня и пространство. Служебным пространством Аркадия Лукича Лыкова были номера, издавна называемые семейными, позднее перестроенные и усовершенствованные, но служба сама по себе еще ни о чем говорит, важно то, что Сандуны представляли собой его социальное и символическое пространство, своего рода ленное владение. Пространщик — лицо невидное, нена начальственное; начальства, любил говорить Аркадий Лукич, и без нас хватает. Ни выгод, ни привилегий, ни приличной зарплаты; разве что собирать чаевые да поплавать в бассейне после рабочего дня; словом, должность, которую может занимать всякий. И, однако, не всякий.

Сведений о происхождении Лыкова нет, если не придавать значения слухам, возводившим род Лыковых-Передреевых к легендарному основателю бань; однако все эти громкие слова годились для какого-нибудь Олега Эрастовича, к Лыкову они не прилипали. Прошлое Лыкова состояло из вопросительных знаков. Прошлое представляло собой нераспаханное поле, над которым стелился туман. Возраст Лыкова — между сорока и шестьюдесятью, родом он был из далеких мест, в сущности — ниоткуда; в то же время что-то выдавало в нем старого москвича. Три четверти века тому назад он мог быть половым в трактире, пожалуй, и хозяином. Лет триста назад он был бы шишом или стрельцом. Аркадий Лукич Лыков был человек немногословный, малоприветливый, сдержанно-значительный и при этом совершенно незаметный; худой, сутуловатый, несколько постного вида; носил, как уже говорилось, кроме должностного халата, на шее потертую «бабочку» и сам казался каким-то стертым, словно жизнь прошла по нему наждаком; казался болезненным, но обладал огромной физической силой. О том, что на левой руке у него не хватало трех пальцев, уже упоминалось — и давало повод заподозрить в Лыкове лагерного саморуба; на мизинце правой руке он носил железный перстень; плоские крашенные волосы прикрывали лысину.

Словом, человек простой — и непростой; и так же сложно было определить местонахождение Лыкова в иерархиях нищеты, благоден-

ствия или власти. Его бедность была малоправдоподобной. О его связях можно было строить столь же смелые, сколь и бездоказательные догадки. Бесспорно, его влияние простиралось за пределы его служебной компетенции, но как далеко оно простиралось? Лыков был одним из тех, в чьих глазах ничего не возможно прочесть, из тех, о ком говорят: «С него станется», кому «палец в рот не клади». Лыков был чужая душа, о которой говорят: потемки. Он не верил ни во что, а людей оценивал по одному признаку: можно ли на них положиться. Положиться можно было, честно говоря, только на самого себя. Лыков презирал начальство, богачей, нищих, инородцев, интеллигентов, женщин, презирал всяческую ученость и за истину признавал лишь то, в чем убедился сам. Убеждался же он всю жизнь в том, что мир стоит на трусости, клевете, себьялюбии, предательстве и подлоге.

Как бы то ни было, человек он был на свой лад могущественный, но главная сила его состояла в том, что он хоть и держался за свое место, хоть и дорожил своим положением, но лишь до определенной черты. За этой чертой он уже ничем не дорожил и ни за что не цеплялся. За ней начиналось то, что никакими другими словами не выразишь, кроме как известными речениями: «е...сь все в доску» и «на х... мне». Начиналось упоение абсурдом. Тот, кто однажды испытал это упоение, знает, что он выше всех. У каждого есть слабинка, нечто заветное, тайный якорь, а он, коли на то пошло, махнет рукой на все и сорвется с любого якоря. Ибо он знает: нет способа злей надсмеяться над миром, чем надсмеяться над самим собой. Никто не дойдет до последней точки, а он дойдет, никто в последнюю минуту не окажется так страшно свободен, как этот раб. Таков был Лыков.

Он снимал комнату где-то на окраине, прописан был по другому адресу, числился гам дворником, хотя дом уже несколько лет как был снесен. Имел заколоченную полуразвалившуюся избу в вымершей деревне под Рязанью. Получал, как уже сказано, скудный оклад, но зарабатывать прилично. В трудовой книжке именовался инженером банно-прачечного хозяйства. В райсобесе числился инвалидом III группы, а в военкомате — ветераном Отечественной войны. Имел два паспорта, в одном значился холостым, в другом стоял штамп о разводе и заключении нового брака; одна семья находилась в Рязани, другая — в Кемеровской области: жена, дети, мать жены и незамужняя сестра-калека. Лыков помогал всем, слал посылки, переводил деньги, но никогда с ними не виделся.

Следствие, разбираясь в паутине служебных взаимоотношений, не могло, разумеется, не столкнуться с тем фактом, что, будучи, как он сам себя аттестовал, последней спицей в колесе, Аркадий Лукич на са-

мом деле руководил руководителями и начальствовал над начальством. Никто к нему иначе как по имени-отчеству не обращался, не исключая таких лиц, как главный администратор орденоносных бань, заместитель директора по хозяйству, заместитель по оргчасти и даже сам директор. Ибо не директор и не заместитель решали, кому положено заезжать в Сандуны с переулка, а кому не положено, и не директор встречал именитых гостей. Любопытно вдуматься, что, собственно, значит слово «положено».

Современники свидетельствуют, что это было одно из тех слов-устоев, которые равнозначны целым параграфам. Не усвоив это слово, невозможно понять то главное, что было важнее всяких законов: всю тончайшую систему психологических градаций, социальных рангов, невидимых постороннему глазу границ, которые отделяли того, кому положено, от тех, кому не положено. Риском заметить, что, вопреки всяческому учению, не производство, а потребление определяет место человека на общественных качелях, вверх взлетает все то, что напрямую подключено к снабжению, все, кто потребляет дефицитные блага. Кому положено. Внизу теснятся те, кому не положено.

Но когда после утомительного рабочего дня Аркадий Лыков снимал халат, манишку и бабочку — все это аккуратно складывалось в отдельный шкафчик, — когда, выйдя, он окунался в многоголовую, серую, вечно куда-то опаздывающую, что-то промышляющую толпу, он терял всю свою власть, ведь толпа есть нечто противоположное обществу и признает лишь иерархию спешки. Одни мчатся, точно в спину им дует ветер, тротуар несет их на себе, как река, другие тащатся из последних сил, матери цепко держат детей, маленькие невзрачные женщины пробираются с кошелками, косясь по сторонам, точно воровки.

Лыков шел к подземелью на площади Дзержинского. Он даже стал меньше ростом, из-под изжеванной кепки выглядывали волчьи глаза, калоши шлепали по мокрому тротуару. Путь неблизкий, метро с двумя пересадками и автобус. И было уже совсем поздно, когда он поднялся по темной лестнице, отпер дверь английским ключом и увидел свое жилище: мертвую коммунальную квартиру, четыре двери. Первая дверь направо принадлежала жильцу, который никогда не появлялся; во второй комнате жила мать-одиночка с двумя детьми, ей должны были дать другую жилплощадь, а на эту претендовал сосед напротив, но и его видели редко; в комнате за четвертой дверью, возле кухни, помещался Аркадий Лыков.

Коридор с самой тусклой лампочкой, какую только можно было купить, был увешан счетчиками (каждый жилец хотел иметь собственный электрический счетчик), заставлен рухлядью; кто-то выехал, барахло осталось, кто-то вселился; за людей представлялись

вещи: деревенский сундук, картонные коробки, перевязанные шпагатом, одна на другой, и на самом верху детские санки; Лыков пробирался среди этих горосов.

«Опять в темноте сидишь», — проворчал он. Женщина, похожая на ребенка, или скорее ребенок в бабьем платке, услышав условный стук, впустила Аркадия Лукича в комнату. Он зажег свет, это была довольно затейливая люстра, и вообще комната производила смешанное впечатление бедности и богатства: низкая импортная кровать, полированный шкаф, буфет. На телевизоре шествие фарфоровых слоников. На стене висела перевязанная лентой гитара. Лыков поставил на стол сумку с продуктами.

Он пригладил редкие крашенные волосы, в зеркале был виден покаты́й стол, девочка сидела, съевшись, держась за концы платка под подбородком. «Ты ужинала?» Он складывал продукты в холодильник. Вышел на кухню, вернулся. Она сидела за столом. Она могла так сидеть целыми днями, годами.

Аркадий Лыков уселся напротив, наклонился и стал медленно выговаривать каждое слово, тщательно шевеля губами:

«Сними платок. Здесь не холодно. Сколько можно тебе говорить! Чего ты боишься, а? Тебя никто пальцем не тронет. Ты поняла? Я здесь, с тобой, я не дам тебя в обиду, поняла?»

Она кивнула.

«Что мне с тобой делать? На работу брать с собой, что ли...»

Последние слова он произнес, говоря уже как бы сам с собой. Но она догадалась и помотала головой.

«Хочешь, ходим в театр. В театр, поняла? Где артисты играют, дерутся или пляшут, тра-та-та!» Он жестикулировал, топал ногами. Она смотрела на него блестящими глазами, прыснула со смеху и покачала головой.

Он тускло взглянул на нее: «Небось в деревню хочешь, в Кукуй». Ее глаза округлились, она замотала головой.

«Ладно», — вздохнул Лыков. Некоторое время его не было в комнате, а когда он вернулся с чайником и сковородой, маленькая женщина была без платка, рыжеволосая и веснушчатая, в платьице из сатина с воротничком и короткими рукавами, на столе разостлана белая скатерть, для Аркадия Лукича приготовлены тарелка, вилка, в хлебнице нарезан хлеб. «Молодцом», — сказал он бодро.

Она смотрела на него: круглые настороженные глаза, как у мыши. Лыков, прикрыв глаза, важно кивнул. Она проворно достала из буфета хрустальный филигранный бокальчик, присела на корточки перед холодильником. Лыков принял из ее рук запотевшую бутылку, налил стопку, тяжело вздохнул, выпил. И принялся за еду. Она сидела напротив, по народному обычаю глядя, как он жует.

Немного погодя он заговорил снова, а она смотрела, подперев кулачками щеки и не отрывая глаз от его губ.

«Хочешь, в деревню поедем? Плюнем на эту Москву. И махнем куда-нибудь. Да не в Кукуй, а куда-нибудь получше. Километров этак за пятьсот. Купим дом хороший, крепкий... И заживем. Хорошо в деревне. На воле... Где я только не жил! — сказал Лыков, глядя сквозь неё. — А вот в деревне, в настоящей, глухой деревне, пожить не пришлось. Будем с тобой печку топить, тепло будет... Гулять будем ходить. Я тебе шубу куплю. Шубу, поняла?... Снег. Чисто, тихо. На сто верст кругом ни души... Хорошо, а? Чем черт не шутит, — он усмехнулся, — может, ребеночка мне родишь».

Она опустила глаза, тонкой рукой взяла бутылку за горлышко и налила Аркадию Лукичу еще стопку.

После него поужинала-поклевала сама. Собрала со стола, Лыков вынес посуду на кухню. После этого еще немного посидели за столом, он курил, смотрел, прищурясь, в пространство. Наконец, поднялся, достал из шкафа чисто выглаженное белье и начал перестилать постель, была суббота.

Рядом с коммунальным сортиром у входа на кухню находилась кладовка, Лыков вытащил цинковую ванночку, бак, таз и кувшин, зажег газ на кухне; когда вода закипела, он внес в комнату бак с горячей водой, сходил с кувшином за холодной водой; стол был отодвинут, Лыков, в желтом японском халате с короткими рукавами, с серебряными иероглифами на спине, пробовал воду в ванне жилистой рукой с остатками вытравленной татуировки, рядом на табуретке стояли туалетные принадлежности. В комнате сразу стало жарко. «Банный день, — сказал он. — Давай, Оля. А то вода остынет». Девочка, кряхтея и упираясь. «Ну-ка, держись, — пробормотал Лыков, — Бог терпел и нам велел...» — «А-а!» — завопила она, когда Лыков, взяв, ее под мышки, заставил шагнуть, в ванну. Она стояла в воде, спиной к нему, судорожно перебирая ногами. Лыков плескал на нее воду ладонями.

«Бог терпел! И нам велел! Ух, ты! Хороша водичка. Все смоеет, все грехи! Боком ко мне повернись... Ну, кому говорю? — Она все ещё стояла к нему спиной, но он знал, что она его понимает. Он заставил ее сесть на корточки. Она схватилась руками за края ванны, открыв рот, смотрела на воду потемневшими птичьими глазами. — Ноги вытяни. Садись, жопой садись! Ах ты, етить твою...» Вода выплеснулась на пол.

Она сидела в короткой ванне, ее голова, покрытая пеной, моталась в руках у Лыкова. Он скреб, взбивал, полоскал рыжие блестящие волосы. Он подал ей руку. Она встала, пошатываясь, терла глаза кулаками. Лыков мылил губку беспалой рукой. Руки Аркадия Лукича держали девочку, ловко и размашисто терли спину и ягодицы, проеха-

лись по ключицам, вокруг крошечных грудей, по впалому животу, с грубой нежностью мазнули между ногами, лицо его было мрачно, брови сдвинуты, маленькая женщина болталась и поворачивалась в его руках, как кукла. Она перешагнула из ванны в таз. Лыков лил на нее воду из кувшина, и девочка, свежая и блестящая, смотрела как зачарованная на свой живот и ноги. Вода раздевала и одевала ее в текучий и поблескивающий наряд. Девочка восстала из воды, как будто только что родилась и еще не умела говорить, и только кряхтела, когда Лыков обтирал ее мохнатой простыней. Он перенес ее, завернутую в простыню, на кровать. Когда все принадлежности и следы мытья были убраны, он сидел боком к столу под люстрой, перебирал гитарные струны и пытался напевать фальцетом:

«Шел я и в ночь, и средь белого дня...»

Девочка спала. Кто-то из их деревни говорил ему, что до пяти лет она умела разговаривать, пела песни; когда он с ней встретился, она уже молчала. Он думал: и к лучшему.

Деревня — десяток почернелых изб — носила нелепое название Кукуй, и чтобы до этого Кукуя добраться, нужно было прошагать километров пять по насыпи, оставшейся после разобранной одноколейки, — самая опасная часть дороги, здесь могли увидеть, — а потом уже напрямик завьюженными болотами, утонувшим в снегу мелколесьем, через поваленные куртины, где черт ногу сломит. К числу профессий, званий и должностей, которые переменял за свою жизнь Аркадий Лыков, принадлежала должность заведующего лесоскладом. Социальный космос лагеря мог вознести заключенного выше иных начальников. Кварталы леса, окруженные деревянными сторожевыми вышками, столбами, рядами колючей проволоки, прорезанные просеками и усами круглолежневых дорог, трещали и падали, срезанные заподлицо, под пулеметный стрекот электрических пил, обрубались, отскабливались от коры; трещали и дымили заваленные лапником костры; высокие, как дома, штабеля бревен, жердей, свеженарезанных шпал, горбыля, досок и длинные, словно торговые ряды, штабеля дров тянулись по обе стороны железнодорожной ветки; издалека, с делянок, откуда тянуло смоляным дымом костров, из белой мглы тащились по ледяным колеям все новые вozy с рудничной стойкой, шпальником, тарником, резонансной елью, авиасосной; скрипели сцепленные крест-накрест железные санки, и лошадь, усердно кивая, вбивала копыта в лед, и заиндевелый возчик шагал рядом, проваливаясь в снег; укатчики, орудя вагами, вкатывали наверх желтые лоснящиеся баланы, росли штабеля. Звенела и пела пилорама, и бригада грузчиков, орудя вагами, в рубахах, ды-

мящихся на морозе, в тряпичных рукавицах, с матом и уханьем катили бревна наверх по скользким лагам, с грохотом сбрасывали на платформы, и впереди паровоз разводил пары, и сотни и тысячи фетметров заготовленного леса медленно уезжали в неведомые края. А в это время Лыков, носивший тогда другую фамилию, в шапке из настоящего меха, что говорило о его положении, сидел в избушке с железной трубой, конторе лесосклада, за дощатым столом перед кипами рапортчиков, разнарядок и спецификаций, слуга-шестерка хлопотал возле раскаленной железной печки, на которой стояла сковорода со скворчащим салом, и кричал: «Дверь закрывай!» Так может покрикивать наперсник потентата. Так может сидеть за столом, ни на кого не глядя, тот, от кого зависят сильные. В клубах пара в хибару вваливались бригадиры, нормировщики и учетчики, кирпичнолицые, с сосульками на усах и бородах, присаживались, кто на скамью, кто у самого стола, смотря по рангу.

Это было общество рангов, но опять же сами по себе ступень и ранг еще не решали дело. Не зря было сказано: социализм — это учет. Что означает: не так важно производство, как оформление. Лыков мог, с шапкой в руках стоя в кабинете начальника лагпункта капитана Сивого, молча выслушивать капитанский рык, но при этом оба хорошо знали, кто от кого больше зависит. Мог называть технорука, как положено, «гражданин начальник», но оба знали, что начальником на складе был он, а не технорук. Высшей, хоть и неписанной обязанностью Лыкова было давать ежемесячное выполнение невыполнимого плана. Этим искусством он владел в совершенстве — искусством выкручиваться и выкручивать руки другим, рассчитывать, приписывать, не дописывать, придерживать заприходованное, копить в заначку, натягивать шкурку, фабриковать туфту и вырывать ленивое и слабоумное начальство. Со своим «четвертным» — а за что он его схватил, долго объяснять, проще назвать статью, что означает: измена Родине с оружием в руках, то есть, собственно, ничего не означает, кроме того, что в сорок втором под Харьковом, юнцом попал в окружение, а затем и в плен, — со своим двадцатипятилетним сроком Лыков, вообще говоря, не мог занимать административную должность и, однако, занимал, не мог быть расконвоирован, но имел в виде исключения пропуск за зону, в формуляре Лыкова значилось: «Использовать только на общих работах», — и тем не менее он никогда не брал в руки лучковой пилы, не слышал лай бригадира, не стоял в предутренней мгле в колонне перед воротами на разводе, в слепящем свете прожекторов, не топал по шпалам узкоколейки, опустил голову, чтобы не оступиться, по четыре в ряд, в производственное оцепление, не вкалывал, не ишачил, не упирался рогами, не ел в воюющей столовой, не мылся в грязной общей бане, не спал на нарах,

жил не в секции, а в кабинке вместе с помпобытом и завпекарней, носил летом настоящие сапоги, зимой настоящую меховую шапку, носил волосы на голове. Расстояние, отделявшее Лыкова от простого работяги, было не меньше, чем расстояние от капитана Сивого до Лыкова, не меньше, чем расстояние от какого-нибудь третьего секретаря райкома до рабочего. Он мог запросто, хоть и вполголоса, послать подальше надзирателя, мог оставаться на складе после съема, мог, соблюдая необходимую осторожность, прогуляться в Кукуй, где у него был кое-кто. И при этом, под каким бы именем он ни значился в формуляре, оставался всегда Аркадием Лыковым.

Подобно многим тысячам, да пожалуй, и миллионам людей Лыков усвоил непреложную истину: она состояла в том, что жизнь устроена наподобие театра. Существует сцена, существуют зрители. На сцене происходит действие: там играют постановку. На сцене все не настоящее. Все притворяются, одеты не в свою одежду, говорят не то, что думают, вещи, кулисы — всё поддельное. Настоящая жизнь, грязная и жестокая, происходит за сценой.

В театре надо притворяться, что принимаешь все всерьез; делать вид, будто во все это веришь, а главное, притворяться, что ничего не знаешь. Будто это и есть настоящая жизнь и никакой другой нет. Но на самом деле это не жизнь, а сплошная игра, ложь и притворство. Настоящая жизнь — это лагерь. И никуда от него не денешься.

От лагеря никуда не денешься. Они тут все думают, что лагерь где-то там, очень далеко, а на самом деле он здесь, рядом. Не успеешь оглянуться, и ты уже в лагере. Все равно что проснулся. Все равно как будто актеры перестали молоть чепуху, вынули из карманов настоящее оружие, спрыгнули со сцены и приказали зрителям строиться в колонну. Всё, братцы. Пьеса окончена. Кто там не был, тот будет. Кто туда еще не попал, попадет. А кто уже побывал, попадет снова.

Дальнейшие известия о потусторонней карьере Аркадия Лукича Лыкова смутны, как вся его жизнь; с уверенностью можно сказать, что он не подпал под секретную амнистию изменникам Родины в пятьдесят шестом году, но не потому, что не был изменником — был или не был, это как посмотреть, — а потому, что отдал концы. Да, именно: врезал дуба, откинул лапти, двинул ботами, оделся в деревянный бушлат: до чего богат наш язык, когда дело доходит до метафизических вопросов жизни и смерти. Приходится сделать этот неожиданный вывод, так как Лыков принадлежал к категории людей — кстати, не такой уж редкой, — которые умирают несколько раз на протяжении своей жизни. Можно ли существовать, не существуя? Можно ли ценою небытия купить новую жизнь? Собственно, после этого он и стал Аркадием Лыковым.

Обнаружилась колоссальная недостача. Заведующему она могла грозить вышкой, но это было еще не так важно. Главное — всему руководству вплоть до начальника лагпункта фатальным образом ломался срок. Во всяком случае, такая опасность оставалась реальной до тех пор, пока Лыков был жив и мог дать показания. Такова в общих чертах имеющаяся версия.

И уже начало зловеще-неторопливо вариться дело, уже в воздухе потянуло паленым, пошел клубиться слушок, и оперуполномоченный, давно копавший против капитана, исподтишка вел подозрительные переговоры по телефону с оперчекотделом Управления лагеря, о чем Сивому доносил дневальный. А о том, как реагировал на эти новости Сивый, дневальный докладывал уполномоченному. Но далее сведения размываются, отчасти противоречат друг другу. Одно из двух: либо сам Лыков придумал и предложил выход, либо, что менее вероятно, идея принадлежала начальству. Либо Лыков пошел, что называется, ва-банк и предъявил Сивому ультиматум: дескать, мне терять нечего, я иду ко дну и вас всех потащу за собой; либо, если повезет, вся вина останется на мне, а вам удастся сухими вылезти из воды. Отсюда следует, что начальство некоторым образом не оставалось в неведении относительно того, что готовится побег.

Или же, наконец (что уже совсем невероятно), Лыков, пользуясь все еще оставшейся у него властью и влиянием, действовал, ни с кем не делиясь, по собственному почину.

Короче говоря, был составлен акт о скоропостижной смерти и захоронении. Заготовлен этот документ заранее или сляпали на скорую руку, когда обнаружилось, что виновник исчез, неизвестно. Удалось ли убедить прибывшую из Управления комиссию в том, что бывший завскладом был главным или даже единственным виновником, подкрепив эту версию дружеской выпивкой и приличной лапой, мы тоже не знаем. Но не все ли равно? В это время Лыков, умерший и сактированный, с плотно примотанным нательным кошельком, где у него хранилась изрядная сумма денег, подложив под голову мешок с гражданскими шмотками, ехал в тендере под рогожей, присыпанный мелким углем. На рассвете состав с лесом подошел к станции, близ которой находился комендантский лагпункт; здесь кончалась лагерная ветка. Кочегар прыгнул на землю. Сцепщик отцепил паровоз и пошел следом за патрулем вдоль состава. Кочегар вскочил на буфер и стукнул железным ломиком о борт тендера. Разбросав уголь, Лыков, черный от угольной пыли и обмазанный с ног до головы мазутом, чтобы отбить запах, высунулся и увидел удаляющийся патруль с собакой, а немного спустя уже качался в грохочущем полувагоне,

скорчившись на полу тормозной площадки, на свирепом ветру. Состав шел в Заполярье, в северный порт, где лес грузился на океанские пароходы. С законной гордостью начальник Управления говорил на отчетном заседании в министерстве, что отечественный крепеж стоит в английских, бельгийских, французских шахтах и еще где-то там. Но на Севере был другой лагерь, и вообще бегство за границу не входило в планы Лыкова.

Тот, кто занялся бы изучением лагерного фольклора, мог бы почувствовать в нем дыхание могучей традиции; побег с концами нужно считать генеральной темой великого русского мифа о воле. Но среди песен, слухов, сказаний не последнее место занимает сага о том, как, снедаемый непонятной тоской, беглец возвращается. Спустя сколько-то лет Аркадий Лыков вернулся в края, почти ставшие для него родными, добрался до деревни, где не существовало времени, и женщина, которую он некогда навещал, встретила его так, словно они расстались на прошлой неделе. Как и прежде, она жила с дочкой и ветхой, выжившей из ума свекровью. Он подарил ей шелковое платье, конфеты, два круга копченой колбасы, дал пятьсот рублей деньгами и, не утруждая себя объяснениями, не оставив адреса, увез глухонемую девочку с собой.

XVIII. ВОЗВРАЩЕНИЕ

Итак, он поднялся по лестнице, открыл дверь английским ключом, пробрался между загромодившими коридор вещами, вошел в комнату. Оттого, что он устал, оттого, что позади был трудный рабочий день, оттого, что он вернулся домой, оттого, что постарел, память превратилась во второе существование, жизнь в разных временах давно уже не была для него чем-то неестественным. Отряхнув снег с мокрых валенок, он вступил в темные сени. Нащупал косо приколоченную, хлябающую ручку двери, подумал: надо бы прибить. И, нагнув голову, перешагнул через высокий порог.

«Это я, — пробормотал он, — опять в темноте сидишь...»

За столом сидела глухонемая. Аркадий Лукич зажег свет, хрустальную люстру с подвесками, — мог ли кто подумать, что он доживет до такой роскоши? — поставил на стол сумку с продуктами, взглянул на ту, что ждала его целый день, и в который раз поразился сходству.

На столе стояла керосиновая лампа. Лыков сидел на пороге, словно странник или солдат, протопавший долгий путь, и в самом деле он шел долго, шагал по насыпи, пробирался мимо куртин. Хозяйка стянула с него лагерные рыжие, расширяющиеся книзу вален-

ки, он разматывал почернелые портянки. Она развесила их сушиться на лесенке, стоявшей перед лежанкой, уложила на табуретку валенки, прислонив подошвами к печи.

Был вечер. Кот спрыгнул с печки и ходил вокруг, подняв хвост. Хозяйка стояла перед котелками, старуха слабо крикнула с лежанки: «Дверь закрывай!» — он пересел на скамейку под полками с утварью на кухонной половине, и снова начал стаскивать валенки. Он начал стаскивать, упершись носком правой ноги в задник левой, сапоги. Все это повторялось и так и сяк, как будто шарниры времени в мозгу проворачивались вхолостую. «Избу выстудишь!» — крикнула старуха. Встав, он подошел к порогу, приоткрыл дверь и захлопнул с силой. Хозяйка уложила сапоги на табуретку подметками к печи.

Лыков остался в ватных штанах с завязками, в потной рубахе, босиком прошел по половикам на чистую половину, сел за стол, протиснулся к красному углу. На столе чистая скатерть, на дощечке нарезан хлеб, тарелка, ложка, солонка, граненый стакан ожидали его. И сияла пузатая трехлинейная лампа, роскошь этих мест. Лыков, которого звали тогда иначе, сам доставал для них керосин у бесконечного стрелочника на железнодорожной станции.

Этот стрелочник назывался комендантом, и в его обязанности входило топить три печки — в диспетчерской, в коридоре и в зале ожидания для вольнонаемных, а также сгребать снег с крыльца, ходить с фонарем по путям, чистить и заправлять керосином стрелки. И Лыков вспомнил, как он слышал, лежа под углем в тендере, перед самой отправкой, его голос и хруст шагов. Паровоз дал гудок, и состав — длинная вереница полувагонов, груженных лесом, — тронулся.

Она внесла дымящиеся щи, вернулась с запотевшей четвертинкой, налила, как всегда, полстакана и уселась, строгая и чинная, напротив. Лыков покосился на икону, взглянул на женщину, обвел взглядом низкие, тускло поблескивающие, заиндевелые окна за белыми, занавесками. Тяжко вздохнул, медленно выпил, понюхал хлеб, взялся за ложку. Лыков взглянул на девочку (она сидела, придерживая на шее платок, под люстрой в затейливых стекляшках, он поставил продуктовую сумку на стол) и поразился сходству; увидел, что она изменилась, странным образом стала моложе и шире. Она была уже на сносях, тяжело поднялась и подошла к часам подтянуть гири. От щей и водки ему стало жарко. Старуха кашляла на печи. Он потянулся и похлопал хозяйку по животу. Она уселась напротив. Лыков ел щи.

«Небось не мое».

«А то чье?»

«Кто тебя знает».

«Не болтай», — сказала она строго.

«На подсочку ходишь?»

Она работала в химлесхозе, делала стрелообразные насечки на деревьях, прибавала колышки и прилаживала воронки для сбора живицы. И еще подрабатывала, как все женщины в деревне, продажей водки из-под полы: покупала в сельпо, за десять верст, и носила солдатам и вольнонаемным.

«Какая подсочка зимой», — сказала она.

«Кто тебя знает...»

Она внесла сковороду с жареной картошкой.

Лыков сказал:

«Я знаю, к тебе тут один шастает...»

«Еще чего скажешь. Чего болтать-то?»

«Солдатик один. — Я их как-то встретил».

«Батюшки, сказала она. — И как же?»

«Да никак. Прошли мимо, словно не заметили. Им ведь тоже не поздоровится, если узнают».

«К Листратихе. К ней все ходят».

«А к тебе?».

«Ладно болтать-то».

«А вот мы сейчас маманю спросим, — сказал он, усмехаясь. Еда была окончена, он сворачивал самокрутку. Помолчали, потом он спросил: — Сколько еще осталось?»

«К весне рожу. Да брось ты тут дымить! — Она убирала со стола. — Вот взял манеру...»

Он набросил на рубаху ватный бушлат, нахлобучил шапку, сунул босые ноги в валенки, нагнувшись, вышел в сени. Затрещала дверь, Лыков выглянул на волю, была оттепель.

Он стоял на крыльце, и вокруг все было темно и глухо, смутно белел снег на угластых крышах, смутно угадывалась дорога, и тянуло свежей сыростью и обманчивой волей, и под низким темно-белесым небом стоял, как застывшее войско, лес. Давно уже весь этот край с редкими, оставшимися от незапамятных времен деревушками принадлежал лагерю. Так пятьсот лет назад леса и деревни переходили от одного князя к другому, и люди не ведали, чьи они. Никто не знал, как далеко простирается лагерь. Где-то там распоряжалось начальство. Где-то что-то происходило, шли годы и сменялись времена. Человек, продрогший на крыльце, досасывая сигарку, глядя на темное облачное небо, испытывал двойное чувство неприязни и укрова, точно это небо, как одеяло, укутало их всех.

Как все старые заключенные, Аркадий Лыков и через много лет испытывал необъяснимую ностальгию по лагерю. Стирались лица и

путались имена, забывались названия полустанков железной дороги, каждое было названием лагпункта, но тоска по лагерю, как тоска по прошедшей жизни, не убывала: вот отчего он жил по меньшей мере в двух временах. Память об этой ночи, когда он стоял на крыльце в наброшенном на плечи бушлате, внезапно всплыла и потянула его за собой, как утопающий тянет на дно спасателя. Человеку, вернувшемуся с войны, мирная жизнь кажется ненастоящей, так и вышедшему из лагеря жизнь на воле предстает поддельной и смехотворной. Посмотрел бы я, думает он, как бы вы заплясали в лагере. И ему кажется, что люди играют в игру, смысл которой в том, чтобы притворяться, будто лагеря нет; да они и в самом деле как будто забыли об этом. Лагерь, как лес на горизонте, окружал всех, другие не знали этого и не хотели знать, но Лыков знал; он всегда знал и помнил, что он бывший заключенный, и даже не бывший, а вечный, только как бы находящийся в отпуску; можно было числиться кем угодно, офицером, завхозом, «инженером банно-прачечного хозяйства», и ни на одну минуту не забывать о том, что ты временно отпущен, а точнее, ушел в самоволку; и он всегда чувствовал точку между лопатками, куда целит стрелок. Лагерь, как кол, сидел у него в мозгу, совершенно так же, как вся страна, что бы там ни случилось, так и останется как колом пригвожденная к лагерю. Лыков швырнул в снег окурок и вернулся в избу.

Он вошел в комнату, неся бак с кипятком, вышел и вернулся с тазом и большим синим кувшином с холодной водой. «Давай, — сказал он, заворачивая повыше рукава дорогого японского халата, и попробовал воду в ванночке, точно собирался купать ребенка, — давай, Оля, — и взял ее под мышки, — вот когда родишь ребеночка, сама будешь его мыть». Она сидела на корточках, он лил ей воду на голову, ворошил и тер рыжие блестящие волосы, заботливо постелил посадил на табуретку сухое полотенце, закутал в простыню, сунул в руки гребень. «Уехать бы куда-нибудь верст за пятьсот, мало ли есть хороших мест, подальше от всего этого блядства, от этих гнид!». Вынес мыльную воду, вернулся. Деньги есть, думал он, купили бы дом, где-нибудь на отшибе, на лесной опушке, и жили бы да поживали, цветы бы развели. Девочка свернулась калачиком под одеялом, он сидел у стола и перебирал струны.

Был такой случай: приснилась церковь. Он шел круглым путем, не по главной дороге, где могли увидеть, а стороной, сам запутался, тропинка окончательно затерялась, он выбрался из кустов, зашагал напрямиком через заросшее поле, и, наконец, вдали показалась деревня. Он решил, что побудет первые дни в старом доме родителей, а

там видно будет. И тут ему попалась на глаза церковь, никто ее не разрушил, крест сиял на колокольне; было тихо, безлюдно, издали видно, как качается колокол, но звона не слышно. Каждый сиделец знает: церковь, значит, выйдешь на волю. И наоборот: если на воле приснилась церковь — посадят. На другой день, в воскресенье, в самом центре города, в метро, Лыков столкнулся нос к носу с лагерным уполномоченным.

Лыков стоял у дверей и смотрел на желтые отражения лиц, поезд несся среди мелькающих огней, и в темном стекле из толпы других лиц на него в упор смотрел призрак, смотрело лицо человека, которого не могло быть и который, это было совершенно очевидно, — был не кто иной, как тот, кто в далекие времена сидел в кабинете за двойной дверью, в конце коридора, и от которого выходили через заднее крыльцо. Кум польсел и был в штатском.

Двери раздвинулись, Лыков бросился вперед, расталкивая людей, он знал, что при довольно высоком росте его легко увидеть в толпе. Он шагал, не оборачиваясь, и ждал, что сзади заверещит милицейский свисток. У выхода на эскалатор стояли двое, здоровые лбы в макинтошах, он шел им навстречу и думал, что они поджидают его. Уполномоченный успел вызвать наряд, наверху ждет машина — все это он мгновенно вычислил; метнулся вбок, смешался с толпой, выпавшей на перрон противоположной стороны, нырнул в поезд. Там он протолкался до конца вагона, перешел на следующей остановке в другой вагон и проехал еще две остановки. Он был совершенно спокоен. На станции «Парк культуры» выходило много народу, два каких-то типа медлили, может быть, рассчитывая оказаться с ним в пустом вагоне; он выскочил, почти уверенный, что ушел окончательно, и оглянулся. Уполномоченный, в габардиновом плаще с развевающимися полами, догонял его, не вынимая руки из кармана пиджака. Оба запыхались и несколько времени молча шли рядом.

«Ну что, — сказал человек в штатском, называя Аркадия Лыкова по фамилии, которой больше не было, не могло быть. Теперь она всплыла, как утопленник со дна омута. — Как поживаем?»

Лыков молчал и шагал, глядя прямо перед собой.

«Куда ж ты помчался, старых знакомых не признаешь?» Лестница повезла их наверх, вышли и остановились, пережидая поток машин.

«Не вздумай глупить, — сказал кум, — пристрелю на месте».

Вдали, на другом берегу, были видны гуляющие люди, купы деревьев и чертово колесо. Толпа влекла их за собой под огромными, уходящими вверх стальными плечами моста, слишком большого для реки, которая глубоко внизу неподвижно текла между каменными набережными. Куда это мы? — думал Лыков.

Вслух он проговорил:

«Меня нет, я умер, сгнил, ясно?»

«Интересная история, — откликнулся кум. — Выходит, из гроба восстал. Бывает, бывает, все бывает... Гора с горой не встречается, а человек с человеком... А куда это мы, между прочим, топаем? Нам ведь в другую сторону».

Лыков остановился. И уполномоченный остановился.

«Слушать мою команду, — вполголоса, держа руку в кармане, сказал уполномоченный. — Шаг влево, шаг вправо считается попыткой к побегу. Второй раз не убежишь».

Они стояли молча, люди обходили их. Уполномоченный вздохнул.

«Ну вот что... Может, пивка для начала выпьем? Ради встречи».

«Можно выпить», — сказал Лыков.

«Вот это другой разговор. Когда еще придется пиво в Москве пить!»

Непонятно было, имеет ли он в виду себя или Лыкова.

Перешли мост и спустились с каменной лестницы.

«Только смотри у меня без глупостей, — вновь предупредил оперуполномоченный, извлек удостоверение из внутреннего кармана, показал контролеру; оба прошли в ворота парка и остановились перед главной аллеей. — Ты как тут, ориентируешься? Вон у тетки поди спроси».

«Да нечего спрашивать, — сказал Лыков угрюмо, — я сам знаю...»

«Вали, — приказал опер, когда они отыскиали в пивном баре, среди шума и гама, местечко за столиком в углу. — И чего-нибудь пожрать».

«Еду заказывают», — возразил Лыков. Он отмахнулся от тридцатки, которую протягивал ему уполномоченный, без очереди протолкался к стойке и вернулся с двумя кружками. Подошла пышнотелая подавальщица в короткой юбке, в кукольном передничке и кружевной наколке.

«Чем порадуете?» — спросил кум, оглядывая официантку.

«Есть биточки, шницель».

«Отбивной?»

«Рубленый».

«А чего-нибудь получше?»

«Получше есть де-воляй со сложным гарниром».

«Чего?»

«Котлета такая, — сказал Лыков. — Есть можно?» — осведомился он.

«Отчего же нельзя есть? — сказала она. — Шеф-повар готовит. Из настоящего мяса».

«Неси твой дьяволяй», — сказал уполномоченный.

«Салатик не желаете?»

«Давай салатик. Два салата».

Он взялся за кружку, отдул медленно оседающую пену.

«Ничего себе бабец, — сказал он. — Ты как, подженился?.. Со свиданьем, что ли!»

Подошел человек неопределенного возраста и вида.

«Ик... Дык».

Никто ему не ответил.

«Здорово», — сказал серый человек и протянул руку сначала Лыкову, потом уполномоченному.

«Пошел на х...» — буркнул уполномоченный и утер пену с губ.

«Все в порядке, — поспешно сказал человек, — я чего хочу сказать. Вот я про себя скажу... Дык! Закурить не найдется?»

«Кому сказано!»

«Ну чего, ребята, все нормально. Человек к вам по-хорошему... Вон все люди сидят, выпивают. Жизнь такая пошла, я тебе скажу! Э!..»

Он махнул рукой и уселся на свободный стул.

«Я повторяю, — сказал ледяным голосом уполномоченный, — считаю до трех...»

«Все нормально. Все нормально!»

«Ну чего надо? — сказал Лыков. — Тебе говорят: вали отсюда. Пока по шее не надавали».

«По шее, по шее, — сказал обиженно человек, который сам себя называл человеком. — Ты-то кто такой? Каждая вошь будет командовать. С-суки поганые, — закричал он, — жида, бля, еще угрожают, к ним по-хорошему, а они!..» Он разгуливал между столами, Лыков поглядывал ему вслед, а кум смотрел в кружку, некоторое время спустя человек вступил в разговор с официанткой. Уполномоченный ковырял вилкой котлету де-воляй. Уполномоченный промолвил:

«Вот так. Гора с горой не сходится... Ты чего не ешь?»

«Как там Сивый?» — спросил Лыков.

«Капитан? Нет его. Давно в ящик сыграл. Спился».

Он добавил:

«У нас там большие перемены».

Официантка держала, как щит, перед животом пустой поднос. Компания за ближним столом повернула головы, кто-то встал, подошел к серому человеку и толкнул его в грудь. За него стали заступаться. В зал вошел милиционер.

«Думаешь, — медленно сказал, глядя мимо, оперуполномоченный, — я не знал?»

«О чем?»

Он взглянул на Лыкова.

«Да ладно дурочку-то играть... Что ты оторвался — думаешь, я не знал? Все знал... Да. Поторопился ты... Потерпел бы еще лет пять, и так бы вышел».

«Выйдешь у вас», — пробормотал Лыков.

«Эй!» — крикнул кум и щелкнул пальцами.

«Сколько с нас?» — спросил он.

Официантка писала карандашиком в блокноте, шевеля губами. Протянула листок.

«Ого! Ловко это у вас получается».

«Два де-воляя, два салата, — отчеканила она, — два...»

«Разговорчики в строю! — сказал уполномоченный. — А как бы это с вами свидание назначить?»

«Чего?» — спросила она.

«Я ушел оттуда», — сказал уполномоченный.

Лыков спросил:

«Как это?»

«А так. Уволился из органов».

«Совсем?»

«Совсем. Тебе часом отлить не надо? Иди, отлей. — Он усмехнулся. — Когда еще придется...»

Аркадий Лыков встал и направился между столами к буфетной стойке. Он обогнул стойку, вступил в коридор, увидел приоткрытую заднюю дверь и крыльцо. Немного спустя он вышел, оглядываясь, из сарая, где помещался летний сортир, взглянул на небо, медлил, оперуполномоченный не появлялся. Лыков вернулся в зал. Но и там его не было.

ХІХ. СООБРАЖЕНИЯ ПО ДЕЛУ (1)

Скажут: все это сказки! Не бывает так, чтобы люди, которых случай или судьба столкнули в большом городе, волею другого случая оказались на одном погосте. Незабвенный Олег Эрастович (умерший, кстати сказать, своей смертью примерно через год после описанных событий) лежит рядом с ханом, хан неподалеку от Рубина и так далее; не бывает таких кладбищ. Не может быть, чтобы какие-то фантастические журавли загадили город. Если столица в самом деле приняла с годами несколько запущенный вид, то на это были свои причины. Топография знаменитых бань, как она здесь описана, может вызвать недоумение. Фанерная кулиса с Дворцом Советов хоть и существовала на самом деле, но не производила та-

кого сногшибательного впечатления. Теория Третьего Рима, на которую, по-видимому, намекает автор, давно выкинута на свалку и так далее.

Так не бывает, скажут нам, и в этом возражении, несомненно, есть резон, ибо того, что случилось со всеми нами, в самом деле не бывает; то, о чем здесь рассказано, неправдоподобно, как неправдоподобна сама истина. К ее причудам нелегко привыкнуть. Истина не рождается, как Афина из головы Зевса, — скорее так, как рождается ребенок, когда головка ходит взад и вперед и растягивает и разглаживает родовые пути. Пусть простят нам это натуралистическое сравнение.

Как известно, римский наместник не стал дожидаться ответа на свой вопрос (очевидным образом риторический), между тем ответ мог быть двойким. Истина есть то, что не имеет ценности. Истина есть то, что не служит власти. Первое выражается в том, что истина демонстрирует человеку бесплодность его усилий. Вот, говорит она, что ты об этом думал, и вот что было на самом деле, сравни и постарайся утешиться.

Другими словами, с истиной нечего делать. Гони ее прочь, если хочешь чего-нибудь добиться! Подлинным утешением, однако, нам послужит то, что абсолютно свободного языка не существует и самый добросовестный историк не может возвыситься над историей. Его язык служит власти и сам являет собой наглядный пример власти. Язык равно поработочает самонадеянного хрониста и доверчивого читателя, ибо говорит им: так — и никак иначе. И только литература никому ничего не навязывает. Ибо говорит: может быть, так, может быть, иначе. В этом, как ни странно, состоит ее истинность, в этом ее утешение. Таков второй ответ.

Осенью 197... года в поле зрения следственных органов оказалась группа людей, чья принадлежность к единому преступному сообществу была заподозрена с самого начала, но окончательно раскрылась лишь в ходе кропотливого расследования. Необычайно разросшееся, осложненное множеством побочных обстоятельств, это расследование, называемое условно «делом о Журнале» (хотя главный пункт, как уже говорилось, так и остался непроясненным), было последним крупным делом тех лет, последним достижением оперативных инстанций и их последней неудачей. Знаки конца уже стояли в небе подобно светящимся письмам на стене Валтасарова дворца: их видели все, и стереть их было невозможно.

Следует указать на одно деликатное обстоятельство. Дознание, нацелившись было на подпольного предпринимателя, известного в узких кругах как «тот самый», вскоре изменило свой путь; так река

огихает запруду. Некоторые из должностных лиц, под началом которых проводилось следствие, сами состояли клиентами «того самого». Мало того, тут замешаны были не одни только «чины». В числе высокопоставленных лиц, оказавшихся жертвами собственного легкомыслия, были ответственные работники министерств, директора предприятий, заслуженные артисты, даже, говорят, генеральный секретарь Союза писателей. Как всегда, нашлись люди, которым скандал был на руку. Но совершенно очевидно, что никто не был всерьез заинтересован в том, чтобы раздуть дело, тем паче развить о нем. До нас дошли смутные слухи, сплетни, известия, полученных из вторых рук; оставим их золотоискателям мнимых фактов — историкам.

Тут можно коснуться — теперь уже все можно — вопроса, в какой мере необходима и целесообразна нравственность с государственной точки зрения. С одной стороны, регламентация интимной жизни ответственных лиц, безусловно, необходима. И более того, никаких интимных потребностей у слуг народа официально не существовало. С другой стороны, то обстоятельство, что секретари, директора, государственные писатели, заслуженные артисты и tutti quanti были по большей части мужчины в соку, что под мундирами и пиджаками из негнущейся ткани, под колоннообразными, шуршащими дорогой тканью брюками, под обтягивающими тучные тела трикотажными панталонами у них пряталось то же, что у простых смертных, — это обстоятельство, хоть и держалось в тайне, но не могло быть сброшено со счетов. Начальственный образ жизни, обильный стол, сидение в президиумах и хорошо отапливаемых кабинетах способствовали приливу крови к детородным частям и вынуждали искать разнообразия. Опыт не только нашего времени учит, что свобода правителей от прописной морали способствует моральному усовершенствованию подданных и крепляет политический строй. И хотя государство рухнуло, оплакиваемое, как престарелый монарх, придворными, челядью и народом на площадях, но еще вопрос, протянуло бы оно так долго, если бы им руководили внухи и аскеты.

Попросту вычеркнуть Олега Эрастовича из материалов дознания было невозможно, он проходил по делу в качестве второстепенной фигуры, отделался, насколько нам известно, лёгким наказанием. Это дало возможность сосредоточиться в направлении главного удара.

Большое, разветвленное дело обещало богатый улов. Наверху приободрились. Потирали руки: потянуло, свежатинкой. Оперативность

Органов, не зря называемых оперативными, проявилась в том, что они немедленно взяли быка за рога, другими словами, изъяли дело из ведения милиции. Теперь главным звеном, ухватившись за которое (как учил нас покойный вождь), можно вытянуть всю цепь, стало убийство председателя Верховного Совета автономной республики, совершенное в субботу в восьмом часу вечера в номерах орденосных бань.

Республика чепуховая, никто даже в точности не знал, где она находится; титул председателя чересчур выпячивать не рекомендовалось, в следственных материалах он значился под кодовым псевдонимом Хан. Тем не менее номенклатурная должность убитого уже сама по себе определяла характер дела как крайне серьезный, сугубо секретный, политически значимый, — следовательно, подлежащий компетенции Ведомства. В том, что «хан» был убит, а не умер своей смертью, следствие не сомневалось.

Находившийся в субботу в тех же номерах с целью помывки народный художник, вице-президент Академии искусств Т.М. Погорельский, привлеченный в качестве свидетеля, при драке не присутствовал, однако показал, что нож находился не в руках председателя, а в руках у банщика Лыкова. Таким образом, выстроилась рабочая версия. Убийство совершено с целью ограбления, банщик угрожал хану ножом (о чем свидетельствуют отпечатки пальцев на рукоятке), а затем, отбросив нож, задушил его (следы пальцев на шее убитого). Главный подозреваемый исчез, что подтверждало его виновность. Ускользнули и лица, охранявшие председателя во время его визита в столицу и, по всей вероятности, подкупленные Лыковым. В воскресенье был произведен обыск на квартире некой Невзоровой, любовницы председателя, которая оказалась сообщницей убийцы. Найденные при обыске улики говорили о том, что она замышляла вместе с Лыковым совершить побег за границу. Там она должна была передать сведения, порочащие общественный и государственный строй нашей страны, полученные от своего бывшего любовника Рубина, заграничным спецслужбам.

Жильцы двенадцатизэтажного блочного дома, похожего на гигантскую картотеку, на спичечный коробок и на все соседние дома, могли бы служить представительной группой для той обширной категории окраинных жителей, которую, за неимением подходящего термина в русском языке, приходится называть чужестранным словом «феллахи».

Слово, которое вызывает экзотические ассоциации: перед глазами встают пески и верблюды. Феллахи не могли войти в город и

расположились лагерем под его стенами. Между шатрами сновали босоногие женщины, дети копошились в грязи. Вдали в тучах пыли шагали все новые караваны. Голод, нужда, тоска пустынь, магнетизм города подгоняли кочевников. Примерно так можно представить себе мифическую предысторию окраин.

Это было давно: десять или двадцать лет тому назад, срок, превосходивший историческую память феллахов. И они уже не помнили, откуда они вышли. Они говорили на диалекте, который представлял собой смесь родных наречий с жаргоном городской черни. Они покорили город и пали жертвой его коварства. Их наивность обогатилась новыми свойствами: хитростью, жадностью, подозрительностью. От того, что они не были больше номадами, они не стали оседлыми жителями, ибо оседлость предполагает желание и необходимость благоустроить мир вокруг себя. Феллахи жили в своих квартирах, как в палатках. Мир, окружавший их, был таким, словно они собирались завтра его покинуть. Они взбирались к себе по грязным лестницам, ехали в шатких, гремучих коробках лифта; хмурые и нелюдимые, они выходили по утрам на свет Божий из разрушенных, пахнущих мочой подъездов. Нужда и беспамятство не оставили их и в новых, похожих на соты обиталищах.

Оттого что жильё этих жителей заканчивалось за порогом квартиры, никто, за исключением очень старых людей, не знал и не хотел ничего знать о соседях. Но старых людей было мало, потому что феллахи редко доживали до преклонных лет. Их враги, когда-то зримые и досягаемые, растворились в неразличимом космосе большого города; вот почему им не оставалось ничего другого, как подозревать друг друга. Можно было годами встречаться с соседом на лестнице и никогда с ним не здороваться. Ничто происходящее в доме никого из жильцов не интересовало. Никто не обратил внимания на служебный автомобиль, стоявший невдалеке от подъезда.

Выйдя гурьбой из лифта на последнем этаже, прибывшие увидели сложенную вдвое записку подруги, торчавшую между дверью и косяком. Значит, никого дома нет и не было. Участковый милиционер взломал дверь, как положено, в присутствии управдома, работника уголовного розыска и двух понятых. Квартира состояла из тесной прихожей, кухни, совмещенного санузла и жилой комнаты. Прозрачная штора колыхалась перед открытой дверью на балкон. После чего управдом, исполнив свой долг, удалился, а понятые уселись на диван-кровать, чтобы более не подниматься в продолжение всей операции.

Опытный глаз уловил следы бегства. В кухне на столе среди крошек хлеба стояла открытая банка с сельдью в винном соусе, очевид-

но, селедку брали пальцами прямо из банки. Посреди жилой комнаты на полу — пустой раскрытый чемодан. Всеобщий интерес возбудили вещи в шкафу. Находившаяся тут же подруга (вместе работали в терапевтическом отделении Краснопролетарской больницы) заявила, что хотя Невзорова всегда следила за собой, но таких платьев, переливающихся блесками кофточек, модных штанишек, сногшибательных итальянских туфель на шпильках у нее никогда не могло быть, не говоря уже об украшениях. По словам подруги, на одно такое колье не хватит никакой зарплаты. Есть ли у Невзоровой какой-нибудь муж, ухажер? Есть, вернее, был. Кто такой? Подруга махнула рукой: пьяница, куда-то сгинул. Насчет поклонников подруга высказалась в том смысле, что где уж там ожидать от теперешних мужчин, чтобы они дарили такие сокровища, сами норовят сесть на шею. Отвечая на вопросы, подруга поглядывала в трюмо и видела там себя, разодетую, как Шурочка, в пух и прах. Подруга подчеркнула, что она не подруга, а всего лишь знакомая. Она повторила, что Невзорова пропустила подряд три дежурства, на звонки не отвечала, почему и пришлось идти к ней домой и оставлять записку.

Прервав этот предварительный допрос, следователь позвонил начальству, через четверть часа явился майор, увидел шкаф, увидел заграничные тряпки и ювелирные изделия и позвонил в особую инстанцию. Явились двое в штатском, отличавшиеся друг от друга только ростом. В воздухе почувствовалось что-то напоминающее близость высоковольтных проводов. Молча, отодвинув в сторону следователя и оробевшую подругу, приступили к поискам. Спустя полтора часа все, что можно было перерывать, оторвать, развинтить было разворочено и развинчено. Были найдены дешевый картонный образец Тихвинской богородицы с неразборчивой надписью на обороте, два письма от мужчины без обратного адреса, со штемпелем города Тулы, школьный альбом со стихами неизвестных поэтов и растрепанная записная книжка с адресами и телефонами. Были найдены две фотографии молодой женщины во весь рост, на одной Шурочка была представлена совершенно голой, как бы застигнутая врасплох, с блестящим испуганным взглядом темных татарских глаз. И были найдены два чека на приобретение товаров за сертификаты.

Читатели криминальных романов знают, что ничтожная мелочь, окуроч или телефонный номер на обрывке газетной ерши на самом деле ниточка, помогающая распутать клубок, и крючок, на который можно насадить, как большую рыбу, все дело. Перелистывая записную книжку, представитель особого учреждения наткнулся на имя, которое он уже слышал. Знакомая исчезнувшей Невзоровой заявила, что она видела этого человека, он приходил в больничное отделение.

Так история, казавшаяся не столь значительной, на глазах у присутствующих приняла таинственный, зловещий и знаменательный оборот. Тут же у подруги и ничего не понимающих понятых была взята подписка о неразглашении. Все документы и бумажки, включая нарезанную квадратиками бумагу в кармашке сортира, были собраны и уложены в портфель. Старый детский велосипед, стоявший на балконе и тоже по каким-то причинам привлечший внимание, был замотай в тряпье, перевязан и опечатан мастичной печатью. Драгоценности, а также кружевное белье, туфли и прочее упрятаны в черный мешок. Добычу с помощью понятых вынесли и сложили в автомобиль, квартиру на двенадцатом этаже опечатали.

В тот же день, чтобы не дать опомниться заговорщикам, с приготовленным ордером на арест, с соблюдением всех мер предосторожности, с противогазами и наручниками нанесен был визит про странщику Аркадию Лыкову. Вооруженный отряд высадился в Капустном переулке возле Преображенской площади. Но тут прибывших постигла неудача. Управдома на месте не оказалось. Ни номера дома, ни списка квартир; сунулись в подъезд, оказалось не то; наугад вошли в подворотню, какая-то старушонка ковыляла во дворе. «А здесь такие не проживают!» Как это не проживают? Всезнающее ведомство в лице приехавших было откровенно посрамлено. Хуже всего было то, что дома такого, как выяснилось, не существует. Преступник все предусмотрел! Поиски затянулись, и к тому времени, когда было установлено подлинное местожительство Лыкова, он успел скрыться.

Дальнейшая судьба Лыкова неизвестна. Удалось ли ему и на этот раз уйти с концами? Говорили, что он вернулся, успев куда-то съездить, с кем-то повидаться. И даже не просто вернулся, а, по некоторым сведениям, явился добровольно несколько недель спустя, обеспокоенный судьбой девочки. Быть может, он даже не предпринимал особых мер к тому, чтобы уйти под воду, зная по опыту, что разыскивают лишь того, кто прячется. Прятался же другой, давным-давно умерший и похороненный.

Он мог уехать куда-нибудь далеко. Необъятность страны, представляя особые преимущества — владея известным опытом, в этой стране всегда можно было спрятаться. Тем не менее — по другой, еще менее правдоподобной версии, — Аркадий Лукич не скрывался и не являлся с повинной, ему достаточно было сознания, что он может обвести вокруг пальца любую псарню. Все в конце концов может надоесть, все окажется суетой и призраком. Как сказал один философ, для того, кто сумел погасить в себе волю, весь наш мир со всеми его солнцами и млечными путями — ничто. Лыков пробыл недолгое вре-

мя в деревне, ночевал в заколоченном, полусгнившем родительском доме, потом гостил в Рязани у первой жены. Сидел, ждал, когда за ним явятся. Необъяснимая апатия сковала волю, точно он в самом деле умер при жизни; так бывает.

Между тем, как уже сказано, следствию удалось напасть на след, и отряд в том же составе взшел по лестнице хоть и старого и запущенного, но по крайней мере существующего дома. Звонили, стучали, приготовились вскрыть квартиру, наконец, услышали шаги.

Отворил облезлый человек в сатиновых штанах на резинке, не то пижамных, не то спортивных: сосед, жилец, никогда не бывающий дома. Коридор загроможден рухлядью. Молча показали ордер, устремились вперед, чертыхаясь, задели за что-то, сверху с грохотом что-то свалились санки, посыпались коробки. Из-под двери бил дневной свет. Среди жуткого разора, в испарениях пота, на высокой кровати сидела рыхлая тетка, свесив ноги и прижимая съехавшее одеяло к груди, побелев от ужаса. Сосед лепетал что-то вроде того, что он здесь по большей части не проживает, нервно подтягивал штаны. Документы. Это кто? В гости приехала... родственница. Ньюша, где твой паспорт? Ньюша словно проглотила язык. Курская область, деревня Барсуки, тэк-с. Как же это так, здесь не живете, а гостей принимаете? Кто еще есть в квартире? Сосед оживился: сюда, пожалуйста. Давно говорил, надо их выселить.

На корточках сосед изучает замочную скважину, после чего откуда-то добывается ключ. Вваливаются: она сидит за столом, обняв деревянную куклу.

С этой куклой, которая на самом деле не кукла, а бог, и бог этот все слышит и запоминает, и умеет насыпать порчу, и бережет от злых людей, ступа и беременности, — с куклой в руках девочка выходит на лестницу, облезлый сосед в майке, в сатиновых штанах и тапочках на босу ногу, стоя в дверях, провожает их взглядом. Менее чем через полчаса машина, проделав сложный и на удивление скорый путь, подъезжает к подъезду, который никто никогда не видел, о котором можно спорить, существует ли он; по крайней мере, сейчас невозможно сказать, в главном ли здании, оваянном легендами, в его продолжении, уходящем в глубь клинообразного квартала, или старинном особняке на западной стороне клина происходил допрос глухой сообщницы.

Здание, если вам угодно будет взглянуть на старую карту, помещалось там, где сходились две радиальных улицы, но до сих пор в литературе и в памяти очевидцев бытуют разные представления о

его размерах. Как Эверест долгое время принимали за две разных вершины, видя с разных сторон, так и дом, о котором идет речь, можно было принять за несколько разных домов, смотря по тому, откуда к нему приближаешься. И совершенно так же, как не было и нет единого мнения насчет географии этого здания, соединившего стили и жанры различных эпох — тут тебе и барокко, и модерн, и конструктивизм, и зрелый почерк империи, — точно так же расходились сведения о том, что там было внутри. Нам уже приходилось вскользь упомянуть о центральной цитадели Ведомства; добавить, к сожалению, можно немного. Даже простой вопрос, сколько там этажей, остается открытым. Отчасти это связано с тем, что самый термин «этаж» не вполне отвечал конструктивному принципу этого дома: принцип состоял в том, что там все было так — и не так, казалось одно, на деле было другое, а задумано было что-то третье. Этажи состояли из полуэтажей, полуэтажи переходили в этажи. Лестницы вели наверх, но также и вглубь, отчего дом напоминал свое отражение; только отражался он не в воде, а в земле, так что самые глубокие подвалы и переходы уже соседствовали с теллурическими залежами, с погостами иных веков, с археологией исчезнувших городов, с ракушечником древних морей.

Подобно трехъярусному миру Средневековья, дом на площади, второй по значению после Красной площади, заключал в себе ад, чистилище и рай. Кинув взор к небесам, можно было различить крышу и флаг, но и крыша была этажом особого рода, с вышками, скрытыми за стеной, и прогулочными дворами для узников. Дом был, говоря языком специалистов, полифункциональным, представлял собой в первую очередь гигантскую канцелярию, но также лабораторию розыска, мозговой центр, тюрьму; многофункциональным было и Ведомство было универсальным, объединившим сыск, следствие, карательную юриспруденцию и карательную систему. Там было все: кабинет-палата министра, кабинеты начальников управлений и отделов, кабинет генерального прокурора, кабинеты старших и младших следователей, камеры, карцеры, комната Особого совещания и вынесения приговоров, помещения для научной и творческой работы, места отдыха, рестораны, бассейны, оранжереи, кажется, даже танцевальный зал (последний министр государственной безопасности прославился как непревзойденный мастер плясать в прирядку). Короче, дом представлял собой город внутри города, а лучше сказать, государство в сердце государства; дом был не что иное, как гранитный и глиняный миф, но мифом из подсобных материалов оказалась, не правда ли, и сама действительность.

«Следствию известно, — сказал следователь, глядя в протокол: метод его состоял в том, что сначала он записывал, а затем зачитывал свой вопрос, — следствию известно, что вы хранили у себя на квартире бриллиантовое кольцо стоимостью в пять тысяч рублей, ювелирные изделия согласно приложенного списка, а также чеки на приобретение товаров за сертификаты на сумму восемьсот шестнадцать рублей сорок копеек... Подтверждаете ли вы факт хранения у себя вышеуказанных ценностей?»

«Как стало известно следствию...» — читал он.

Диктатура языка нигде не проявляет себя столь наглядно, как в диалоге допрашивающего и допрашиваемого, и не так просто решить, кто больше поработан языком: тот, кто обороняется, отступает, уходит от открытого боя, но в конце концов чувствует себя сломленным, понимает, что он все равно виноват, виноват в любом случае, виноват уже тем, что находится под следствием, виноват, потому что его сделал виновным всевластный язык, — или тот, кого язык, так сказать, облакает в доспех крестоносца истины. Непререкаемость формул, зловещая двусмысленность словосочетаний правила действующих лицами совершенно так же, как драматург и режиссер правят актерами, будь ты герой или злодей. Спустя две или три недели после происшествия в Сандунах Александра Невзорова предстала перед следователем пока что в качестве свидетельницы, вернее, свидетельницы, подозреваемой в том, что она была свидетельницей, а отсюда, как известно, недалеко и от подозрения в соучастии.

Беседа происходила в помещении районного отделения, куда Шура была доставлена нарядом милиции, в кабинете, убогое убранство которого, зарешеченное окно, портрет над плечью следователя, — как бы должны подготовить попавшегося к его участи. Нечего и говорить о том, какую роль играет обстановка в деле выковыривания истины. В детективных романах и фильмах комиссар задает коронный вопрос: «Где вы были в пятницу с десяти до двенадцати?», остановив подозреваемого на улице, прогуливаясь с преступником перед теннисным кортом или сидя вдвоем за столиком кафе; позволим себе усомниться в правдоподобии таких сцен.

«Согласно полученных данных...» — прочел сотрудник милиции, который никаким сотрудником милиции не был, точнее, был просто «сотрудником», ибо принадлежал к более компетентному учреждению. Он снова употребил родительный падеж вместо дательного, что сообщало его стилю особую суггестивность. *Ego sum Imperator Romanus et supra grammaticam*, — заметил некогда один властитель, — *я римский император и стою выше грамматики*. То же самое могли бы сказать о себе чины этого учреждения.

«Кстати, — спросил он, несколько отвлекаясь от допроса, — где вы были?»

«В Туле у матери».

«Да, подтверждаю», — записал следователь в графе «Ответ». После этого он составил и прочел вслух второй вопрос:

«Следствию стало известно, что сразу вслед за посещением бань вы покинули город и скрывались у родственников, проживающих в Туле, подтверждаете ли вы это?»

«Я не скрывалась».

«Это не имеет значения, — мягко возразил следователь, — важен факт, что следственные органы не были поставлены в известность о вашем местонахождении. Вы укрывались от дознания».

«Как же я укрывалась, когда...»

«Не будем спорить».

Он записал: «Подтверждаю».

«Следствием установлено, что такого-то числа сего года, от 17 до 20 часов вы находились в семейных номерах государственных, орденов Ленина и Трудового Красного Знамени Сандуновских бань совместно с гражданином...» Тут он остановился, так как не знал, следовало ли ему называть председателя Верховного Совета его полным титулом или как-нибудь иначе и вообще стоило ли его называть.

«С гражданином... — повторил он и, собравшись с силами, произнес длинное красивое имя хана. — Подтверждаю», — начертало его перо.

«Подтверждаете ли вы, что, вступив в преступный сговор с Лыковым Аркадием Лукичом, он же Передреев Матвей Михайлович, он же Куянов, разыскиваемый по всесоюзному розыску по подозрению как находящийся в бегах...»

Он остановился, чтобы посмотреть, какое впечатление произвели эти страшные слова.

«Вступив в преступный сговор, вы совершили совместно с вышеупомянутым Лыковым...»

«Да я его знать не знаю», — сказала Шурочка.

«Как же так: не знаете, а вместе выпивали...»

«Видела его, а знать не знаю. И как звать его, не знала».

«В том, что вступив...» — терпеливо сказал следователь.

«Не вступала».

«...в преступный сговор, совершили убийство находившегося совместно с вами...»

«Да что вы такое говорите! — воскликнула Шурочка в сильном волнении. — Никого я не убивала! Да и никто его не убивал, он сам...»

«Ну, хорошо, — сказал следователь миролюбиво, — напишем, что вы вступили в сговор с целью совершить убийство».

«Да говорю вам, никто его не убивал!»

«Заявляю, — написал сотрудник, — что, вступив в преступный сговор с целью убийства и ограбления...»

Он постучал папиросой о крышку портсигара, вдумчиво поглядел на сидящую перед ним женщину, перевел взгляд в окно, снова покосился на Шурочку.

«Курите? — спросил он, протягивая через стол портсигар. Ну, хорошо, — проговорил он, — это все формалистика. Как говорится, бумага все терпит... Сегодня написали, завтра выкинули... Можешь подписывать, можешь не подписывать, твое дело. Я знаю, что никого ты не убивала, — сказал следователь, перейдя на ты. — Хотя, сама понимаешь, дело есть дело. Можно повернуть и так и сяк... Все, как говорится, зависит! Давай поговорим без протокола».

Он отодвинул в сторону папку с бумагами, вышел из-за стола, накинул на плечи шинель, висевшую на вешалке, подошел к окну. Лил дождь.

«Ты мне вот что скажи... Ты с Рубиным давно знакома?»

Первая мысль Шуры была, действительно, уехать к матери, но, когда она вышла с толпой из московского поезда — люди, навьюченные продуктовыми сумками, с кошелками в обеих руках, поспешно вылезали из вагонов, люди, занимавшиеся тем, что из года в год производили все необходимое для столицы и везли оттуда к себе домой все необходимое, запрудили перрон и подземный переход, — когда вышла из поезда в Туле, она присела на скамейку в зале ожидания и просидела в углу в сомнениях целый час. Наконец, по-видимому, — мы говорим: по-видимому, потому что она делала одно, а думала другое, — наконец, она решила, что разумней будет вернуться. Она изучала расписание обратных поездов на Москву, посматривала на часы, прошло еще сколько-то времени, — и передумала. Начинало темнеть, когда она вылезла из трамвая на конечной остановке, в новом районе на улице Мелешко, где тот, кому она решила нанести визит, получил недавно квартиру. Дом был пятиэтажный, блочный, с узкими короткими лестницами, ей открыл усатый подросток лет пятнадцати, из кухни вышла жена преподавателя. Играло радио, пахло едой. Шура извинилась. Ее усадили в комнатке, где стоял письменный стол и висели полки с беспорядочно напиханными книжками. Преподаватель фельдшерско-акушерского училища был на работе.

Он отворил дверь, на лице его были ужас и растерянность. Шурочка что-то пролепетала. Жена позвала к столу. Шура отказывалась, ссылаясь на то, что она уже обедала. «Но вы же с дороги, — говорила жена преподавателя, — ну хотя бы ложку супа скушайте. Так вы, значит, ученица Михаила Ильича? Миша теперь замдиректора по учебной части. Работы все прибавляется. Света белого не видит... Теперь еще это новое постановление».

Какое постановление, спросила Шура. Жена преподавателя что-то говорила, ее слова доносились до Шурочки, как сквозь вату.

«А это наш младший... Ну, как там у вас в Москве?»

Шура поднялась.

«Куда же вы, рабочий день уже кончился», — сказала жена. Шуре требовалась какая-то справка. Она сказала, что ей нужно сегодня же возвращаться в Москву. Преподаватель бормотал: «Подпишу сам... может, еще успеем». Наконец, вышли из дома. Шура озиралась. Ей казалось, что она находится в чужом, незнакомом городе. Он спросил, что случилось.

«Да, — сказала она, — случилось».

«Что? Что?..»

«Случилось, — повторила она тупо. — А куда мы едем?»

Приехали в училище. Она увидела знакомый фасад, вывеску, плелась по знакомому коридору, мимо досок с расписанием занятий, мимо канцелярии и деканата. Навстречу шла, переваливаясь, как утка, пожилая уборщица с ведром и шваброй, почтительно поздоровалась с Михаилом Ильичом. Когда они дошли до конца коридора, Шурочка обернулась, уборщица стояла с толстой сторожихой, обе смотрели на них.

В кабинете замдиректора по учебной части она все рассказала, то есть, разумеется, не все.

«Какой Юсуф?» — спросил он.

Она попыталась объяснить.

«Да, но ты-то тут при чем?»

«Это все произошло при мне».

«Где произошло?»

«В бане...»

«В какой бане? Ты была в бане, с ними вместе?»

Она пожала плечами.

«Я ничего не понимаю, — волнуясь, сказал Михаил Ильич, он ходил по тесному кабинету, а Шура сидела, съезжившись, перед столом, как провинившаяся студентка. — Какая баня, какой Юсуф?.. Кто он тебе? Объясни по-человечески».

«Долго объяснять, — сказала Шура. — Надо что-то делать, а что, сама не знаю».

«Тебя разыскивают?»

«Откуда я знаю...»

«Так... Если я правильно понял, ты с ним... — Он вдруг раскашлялся. Стоял у окна и кашлял. Ты с ним, — прохрипел он, — была в близких отношениях?»

Шура снова пожала плечами.

«Так. То есть, собственно, что тут такого».

«Он очень важная шишка, — сказала Шура. — В общем, долго объяснять...»

Михаил Ильич сидел за столом, давась от кашля, что-то искал в ящике, вынул металлическую коробочку с пастилками.

«Я думаю, что тебе не надо прятаться, — сказал он, все еще тяжело дыша. — Ты же не виновата».

«Не виновата...»

«Так что...»

«Так что надо ехать!»

«Ехать? — спросил он. — Куда?»

«Домой, куда же».

«А, ну да. Конечно».

«Есть поезд двадцать два ноль пять».

«Да, да, — сказал Михаил Ильич, — надо ехать».

«А что же еще остается».

«Правильно... Что же еще остается? Я тебя провожу... Послушай, Шура, а что ты скажешь, если я...»

«У тебя снова астма?»

«Погода такая. Послушай... — Он все еще тяжело дышал, глаза блестя. — Что ты скажешь, если?.. Короче говоря...»

Преподаватель взглянул на Шуру и сказал быстро:

«Давай на все плюнем».

«На что?»

«На все... Вот так: возьмем и плюнем на все».

«Да? — сказала она иронически. — И что же дальше?»

«Дальше? Дальше вот что!»

Михаил Ильич вытащил портмоне, перебрал содержимое, сунул портмоне в карман, встал, остановился перед Шурой.

«А ты совсем не изменилась».

«Нет, милый, изменилась...»

«Это верно, — бормотал он, — поезд такой есть... Только, кажется, не двадцать два ноль пять, а двадцать два ровно... Ровно в де-

сять... А сколько у нас сейчас? Угу... Время еще есть. Послушай... Мы сейчас с тобой срочно едем на вокзал, там сберкасса работает до одиннадцати. Возьмем деньги. И покатим».

«Куда?»

«Куда-нибудь, не важно. Там решим... Послушай. Я сейчас кое-что понял... Я спокоен, Шура, я совершенно спокоен. Ты тоже спокойно меня выслушай. Ты меня не любишь, я знаю... Но преданней человека, это я тебе точно могу сказать, ты никогда не найдешь. Я... я ничего не требую. Не захочешь со мной жить, не надо... Я на все согласен... Я о тебе часто думал, Шура... Поедем. Поедем, Шура! — сказал он, как в бреду. — Ведь это счастье, Шура, это бывает один раз в жизни. Одним ударом: раз, и все. И никто нас никогда не найдет. Хоть к черту на рога, хоть... Главное — принять решение».

Он что-то искал, вытягивал ящики стола, вынимал бумаги, схватил со стола статуэтку, сунул в портфель.

Он бормотал:

«Сейчас поедем. Я позвоню с дороги... а может, и не будут звонить. Ничего никому не скажем... Плюнем на всю эту проклятую жизнь... Ты едешь со мной, Шура, да? Ты едешь?»

Она сидела и думала: опять то же самое. И он о том же.

Следователь выразил недоумение, увидев в руках у вошедшей посторонний предмет. «Не дает», — объяснила сопровождающая баба-сержант.

«Как это не дает?»

«Не дает, хоть руки отрубай».

Старший лейтенант пожал плечами.

«Паспорт есть? Сколько ей лет?»

Надзирательница покачала головой и пожалала плечами.

«Где протокол обыска?»

Следователь сделал несколько добросовестных попыток завязать разговор, встал, прошелся по кабинету. Это была уже не та облезлая комната в тухлом милицейском отделении. Следователь подошел к сидящей, поднял пальцем за подбородок ее лицо и поглядел в моргающие, острые мышинные глаза. Вслед за тем надолго воцарились тишина и молчание. Слышался скрип пера.

«Как стало известно следствию... — писал старший лейтенант. — Подтверждаете ли вы...»

Да, начертала его рука, подтверждаю.

Маленькая женщина, в целях предосторожности помещенная в противоположном углу кабинета, тупо смотрела в пространство,

стрелка электрических часов на стене не спеша перепрыгивала с одного деления на другое, кто-то гремел сапогами в коридоре, следственный сотрудник скрипел пером. Так поскрипывают колеса, тащится телега, мотаясь в глубоких колеях, работает лоснящимся от дождя крупом усталая лошадь. Серый день лил за окном, за узорной решеткой, сыпал снегом, кто-то взошел на крыльцо, топтался в сених, со скрипом, с пением отворилась разбухшая дверь, вошел худой и высокий, она услышала: «Есть кто дома?» — голоса в избе звучали у нее в мозгу, ибо внешних звуков она уже не слышала.

«Следствию известно...» — писал старший лейтенант. Рыжая девочка взглянула на него, тихая, как притаившаяся мышь, губы ее шевельнулись, она медленно покачала головой. Хотела ли она сказать, что ничего неизвестно, или это надо было понимать так, что никакого лейтенанта не существует, и страшный город, город-монстр, город-морок есть не более чем морок и наваждение, и за окном со стальной решеткой нет ни домов, ни улиц, ни памятника посреди площади? Вместо города — ели, снега, сумрачно-белесое небо, угластые избы. Человек за столом писал, макал ручку в чернильницу. В этом учреждении пользовались особыми чернилами, никогда не бледнеющими. Стрелка прыгала над дверью. Со стены смотрел портрет. Теперь в окно летели крупные мокрые хлопья. Буран, подумала девочка.

Она не понимала, где она очутилась, зачем ее сюда привезли, и чувствовала, что происходит что-то плохое. Что-то грозившее Лыкову. Она так и не знала, как к нему относиться, как к отцу или к мужу, лучше сказать, он был ни тем, ни другим, но кем-то более значительным, таинственным и всемогущим. Сейчас положение изменилось, страх, в котором она жила, прошел, за себя она не боялась, чувствуя себя неуязвимой за глухой стеной своего слабоумия. Ведь это только казалось, что она сидит здесь в углу, в комнате с решетчатым окном.

Это сознание, погруженное в тишину, обладало способностью расширять пространство и суверенно распоряжаться временем; и куда следователь ерзал на стуле и ничего не видел, не знал, кроме своих бумаг, которые он медленно и с великим старанием исписывал скрипучим пером, девочка знала кое-что другое; она догадалась, что от нее хотели узнать, куда делся Лыков, и догадалась, куда он исчез. Он был там, под снежным одеялом, под шерстью лесов, миновал черные огни смерти, он был дома, вошел в избу, высокий, верный, немногословный, наклонив голову, переступил порог, и мать орудовала ухватом в черной, как пещера, печи, и бабка ворочалась на лежанке. Она не понимала, что они тут затевают, кто это такие, ясно было, что они что-то затевают.

Как миллионы других, с молоком матери, она впитала некое важное знание. Это было знание о том, где прячется враг, где скрывается опасность. Это было писание бумаг, особый злокачественный процесс, который состоял в том, что человек в мундире молча, сосредоточенно выводил закорючки, плел чернильные кружева, строчку за строчкой, откладывал исписанный лист, брался за другой, и снова — строчку за строчкой, и, казалось, ничего больше не делал в своей жизни, а только макал перо и царапал им по бумаге, но это маkanie и царапание приводило к порче и гибели. Тот, кто писал, был страшнее разбойника на большой дороге, от разбойника можно уйти или откупиться. Человек в мундире писал, а там где-то рушилась чья-нибудь жизнь, и огонь плясал в окнах, и занималась крыша, он писал, и у бегущего отнимались ноги, и его рвали собаки. Руки девочки баюкали куклу, губы шевелились, сама того не замечая, она раскачивалась, словно кормящая мать, маленькая таежная богородица, и время от времени бросала острый взгляд на лысого, испитого следователя в болотном мундире, низко склонившегося над папкой с делом... Бог с головой куклы напрягал свой деревянный слух, стараясь понять, чего она от него хочет.

Так прошло некоторое время, рука пишущего двигалась все медленней. Вздохнув, он снял трубку и велел принести себе чаю. Вошел человек, на лице у него было все то же выражение скуки и утомления. Старший лейтенант помешивал ложечкой в стакане, тусклым взором поглядывал в протокол, в окошко. На ту, что сидела в углу, он больше не смотрел, что возьмешь с полоумной? Вот только оформить бы протокол. Не помог и чай. Снег валил хлопьями за окном. Надо бы зажечь свет. Девочка укачивала свою куклу, грубого деревянного идола с раскрашенным лицом, шевелила губами, и старшему лейтенанту казалось, что он сейчас уронит голову на стол и уснет вместе с куклой. «Следствию, — в мозгу у него ворочалась одна и та же фраза, — стало известно...» Он широко, сладко зевнул. Что стало известно? Снег стекал по стеклам, превратился в дождь. Надо бы, думал он, привести ее, жуткая какая-то погода...

Вступление в ночную квартиру происходит, как известно, по раз и навсегда установленным правилам, напоминающим шахматный дебют. Черные начинают и выигрывают. Первый ход: «Проверка паспортов». Второй ход: «Сдать оружие».

Если первое требование представляет собой ложный пароль, то второе имеет психологическое значение: разумеется, вошедшие не рассчитывают всерьез на вооруженный отпор; зато владелец несущей

ствующего оружия догадывается, что в нем видят опасного врага. Следовательно, они что-то знают. Следовательно, он виновен, потому что зря они не приходят.

И все же оружие существовало — наган образца 1895 года. Об этом Илья Рубин, конечно, не помнил, как не помнил и ночного визита; все, что он знал, было почерпнуто из рассказов матери. Рассказывалось неохотно, через много лет, когда многое выветрилось, когда она получила, наконец, внятный ответ, что отца нет, и окончательно убедила себя, что он жив. Почему при аресте не нашли револьвер? На это Берта Владимировна не могла толком ответить. Очевидно, отец ждал, что за ним придут. Но не воспользовался. Многие ждали, и мало кто воспользовался. Квартиру перевернули вверх дном, распорол матрас, но не нашли. Она обнаружила его в таком месте, которое даже тайником не назовешь, — поэтому, может быть, и не нашли. Спрашивается, почему она его не выкинула, не отвезла куда-нибудь за город, не закопала в лесу, не утопила в колодце.

Потому что судьба вещей, подобно человеческой судьбе, темна и неисповедима, и «мало ли что»; потому что «вдруг пригодится», и потому что вещи ждут своего часа, и вот он сидит в тесной комнатке, на дальней окраине, из окна видны квадратные окна, балконы, веревки с бельем, другой такой же дом.

Илья Рубин выбирается из наследственного кресла, подходит к разверстой пасти рояля и стучит пальцем по клавишам. *Без женщин жить нельзя на све-е-те, нет! В них солнце мая, в них весны рассвет.* Вещи обладают колоссальным терпением, и упомянутый предмет лежит как ни в чем не бывало на черной полированной крышке.

Он подталкивает пальцем вороненый ствол. Пистолет вертится, как волчок, на гладком рояле.

Илья Рубин принимает решение навести, наконец, порядок в своей берлоге. Сгребает остатки еды и выкидывает в окно. Вздохнув, собирает ноты — старинные фолианты в тисненых твердых переплетах, напоминающих надгробья, все, что осталось от матери. Его собственные школьные тетрадки. Удостоверения, фотографии. Он поднимает крышку старого Бехштейна и складывает все в его чрево. И туда же, на молоточки и струны, летят «материалы». Плоды беззаветных трудов, пресловутый Журнал: вороха папиросной бумаги, магнитофонные кассеты, стихи, романы, трактаты. Он листает странную рукопись, толстую линованную тетрадь, где нотные знаки перемешаны с никому не известными закорючками, пушечные аккорды, чудовищный бред композитора, который собирался переплюнуть Малера; музыка гнусной эпохи. Туда же!

Крышка не закрывается, но в этом и нет нужды. Он обзревает свое жилище. Под гробницей рояля, на полу, помещается техника, говорящий аппарат; хорошо бы и его за окошко.

Илья Рубин полулежит в кресле, все собрано, или, если угодно, приведено в порядок; по его лицу видно, что он взвешивает разные возможности; он все еще здесь, все еще герой нашего повествования. Палец накручивает диск.

«Привет», — говорит Илья Рубин.

О, ничто не доставляло такого наслаждения гражданам того времени, ничему не предавались они с таким упоением, как беседам по телефону.

«Привет...»

«Ну, как ты?»

«Да ничего. Ты откуда звонишь?»

«Из дому. Слушай, — сказал Рубин, — хотел с тобой попрощаться. Я уезжаю».

«Куда?» — спросил переводчик.

«Ну, куда люди уезжают. Далеко».

«А, ну да. То есть?»

«Именно».

«Понятно... Когда?»

«Да вот сейчас. Уже баракло собрал».

«Ты что, разрешение получил?»

«А я без разрешения», — сказал Рубин.

«Ну, я так и знал».

«А ты поверил?»

«Нет, конечно. Что там делать?»

«А что здесь делать?»

«Здесь наша родина», — сказал переводчик, уверенный, что разговор подслушивают.

Илья сказал:

«Поехали вместе. Бери жену и любовницу».

Переводчик национальных литератур помолчал и ответил:

«Им там тоже нечего делать. Алё?»

Короткие гудки.

От такого человека, как Илья Рубин, никогда нельзя было ожидать абсолютной серьёзности. Пожалуй, он и сам не мог решить, где (как сказал поэт) кончается ирония и начинается небо. Усмехаясь, Илья листает ветхую записную книжку.

Среди стука, звона, кукования и тиканья задрезбужал звонок; часовых дел мастер оторвался от своих занятий. «Как же, как же, сколько зим...»

«Августин Иванович, у вас мало времени», — сказала трубка.

«У всех у нас мало времени, уважаемый. Чем могу служить?»

«Я подумал, э... Надо бы поговорить, но, к сожалению...»

«Детка моя, ближе к делу».

«Я затрудняюсь точно сформулировать свою мысль, надеюсь, вы поймете: у меня как раз имеется свободное время, — сказал Рубин. — Я имею в виду жизненное время. В общем... у меня есть еще, наверное, лет двадцать».

«Я слушаю», — насторожился часовщик.

«Так вот, я и подумал... Не хотите ли воспользоваться?»

«То есть как?»

«Я могу вам его отдать».

«То есть как... а вы?»

«Оно мне больше не нужно».

«Позвольте: вы хотите...»

«Ну да. На кой оно мне. С меня достаточно».

«Вы уверены? Пойдите-ка... Интересная мысль!»

«Не знаю только, — сказал Рубин, — возможно ли это технически...»

«Нет, но это в самом деле чрезвычайно плодотворная мысль! Как это вы додумались! Почему? Вам что, жизнь надоела?»

«Представьте себе, надоела. Решил вам позвонить».

«Дорогой мой, только не спешите. Мы должны это обсудить. Приезжайте»,

«К сожалению, невозможно, Августин Иванович, дело в том, что...»

«Никаких возражений, приезжайте немедленно! Алё? Алё...»

Без сомнения, *они* подключились. Плевать. Теперь уже на все наплевать.

«Я здесь», — сказал Рубин.

«Практически это будет довольно сложно... мне надо сообразить. Можно, конечно, подключить аккумулятор непосредственно к биологическому депо времени, у каждого из нас есть такое депо, так сказать, кладовая будущего. Но это, знаете... Для этого, я думаю, придется лечь в клинику. А вы же знаете, как ко мне все относятся... Одним словом, надо обмозговать. Но послушайте, как вы додумались?»

«Августин Иванович... может быть, заочно?»

«Что значит заочно, алё! Что вы хотите этим сказать?»

«Я говорю: может быть, это можно сделать без меня. Я вам оставляю доверенность, напишем, что я оставляю эти двадцать лет в пользу государства».

«Не понял».

«Чего ж тут не понимать, вы же сами говорили, что хотите продлить ему жизнь».

«Кому?»

«Государству! Пусть поживет еще двадцать лет».

«Дорогой мой, это не телефонный разговор... Нет, вы просто смеетесь. Доверенность. Милый мой, это вам не бюрократия. Это наука! А наука, если хотите знать... алё? А-а-лё!»

Поговорив на эту увлекательную тему, покопавшись в карманах, человек в застиранном джинсовом костюме добыл карточку, на которой значились только имя, отчество и фамилия.

Голос из мистических недр отозвался:

«У аппарата».

«Товарищ майор?» — спросил Рубин.

«Вам кого надо? А-а! — закричал майор. — Илья Батькович! Рад вас слышать. Как дела, как жизнь?»

«Дела идут. Вот хотел с вами попрощаться. Пожелать успехов...»

«Позвольте, что это значит?»

«То, что слышите»..

«А вам известно, — сказал майор холодно, — что вы не имеете права покидать город без разрешения?»

«Я не собираюсь покидать город», — отвечал Илья Рубин.

«Так в чем же дело?»

Рубин молчал, оглядывал свою каморку.

«Алё? — осторожно спросил майор. И вдруг гаркнул: — Не смей! Не смей ничего делать! Ничего не предпринимать! Ждать моего прибытия! Выезжаю немедленно! Ты меня понял? Ты — меня — понял?»

«Так точно, товарищ майор!» — отчеканил Рубин. Насвистывая, он встал, взял с подоконника спичечный коробок и поджег содержимое рояля. Это удалось не сразу, он ворошил листки, раздирал на части нотные книги. Вспыхнула магнитофонная пленка. Столб огня поднялся из рояля. Кашляя от вонючего дыма, Илья Рубин, великий Рубин, легендарный Рубин, сидит, сторбившись, в дедовском кресле, расставив ноги в джинсах, расстегнув куртку и рубашку, изо всех сил вдавливая холодное дуло между ребрами, над левым соском, и странным образом, нажав на спуск, не ощущает боли, не слышит выстрела.

XXI. СООБРАЖЕНИЯ ПО ДЕЛУ (2). ФИЛОСОФИЯ ПРОГУЛОЧНЫХ ДВОРОВ

Шел дождь, и весь огромный город заволокло влажной паутиной, смутно поблескивали крыши, исчезли башни и высотные дома, дождь стучал все настойчивей, тротуары опустели, счастлив, кто успел добежать до подъезда! Дождь лил без разбора, пузырился в потоках воды, и это было хорошо, это было полезно, вода уносила вчерашний день, смывала грязь веков.

Никто так плохо не осведомлен о своем времени, как тот, кто в нем живет! Не скроем — мы бы хотели знать о нем больше, нам до смерти любопытно услышать, что скажут о всех нас когда-нибудь через сто, двести или триста лет. Скажут ли вообще что-нибудь? Что будет? Окажись мы там, мы узнали бы многое, о чем сегодня даже не подозреваем.

Это было бы все равно, как если бы протерли мутное стекло, о котором говорит апостол. Это было бы то же самое, как если бы мы сейчас смотрели на происходящее глазами рыбы, а оттуда, из будущего, взглянули человеческим взглядом.

Большая часть того, что мы считали главным и самым важным, провалилась бы в огромный унитаз истории, в воронку веков. Знаменитости исчезли бы в урчании вод. Лица слились бы в одно бесформенное пятно. Как два далеко отстоящих друг от друга предмета на расстоянии кажутся стоящими рядом, так две мировых войны оказались бы одной тридцатилетней войной.

Потомки наши пожмут плечами, узнав о том, что нас так занимало, но, может статься, с подчеркнутым уважением отнесутся к тому, что мы презирали, чем пренебрегли, чего попросту не заметили. Ибо никто так мало не знает о своем времени, как тот, кто в нем живет.

Наш город будет называться иначе — мы не сумели бы даже выговорить его название, наш век будет назван эрой Дракона, Скорпиона или Ныряющей Утки, или Журавлей в небе. Его знаки отыщутся в отдаленных созвездиях, между второстепенными персонажами греческой мифологии. Мало что дает основание рассчитывать на вечную память. Ничто не обещает бессмертия. И все же рискнем предположить, — нет, выскажем твердую уверенность, что хотя бы один залог долговечности выпадет на нашу долю, одно достижение нашего времени переживет всех нас. Одно не забудется, когда забвение полотит всё, одно останется, когда ничего не останется, и будет качаться, как плот Медузы, на поверхности вод. Наш век будет назван веком Тайной Полиции.

Пришлось-таки прогуляться на ее крышах. Могло ли быть иначе? Оказаться в ее объятиях, «в июле зрения», было так же просто, как поскользнуться в грязной каше тающего снега на тротуарах. Так же легко, как встретиться в подворотне с бандитом или заболеть раком. Поистине ни великий Диоклетиан, ни подлейшие из последних властителей Рима не сумели создать столь совершенную систему сыска.

Скажут: да ведь мы это знали! И, значит, постигли все-таки свое время, его тайную сердцевину, его нерв. Знали и не знали. Догадывались и не хотели верить. И если думали, что тайная служба бессмертна, то потому, что считали бессмертной державу, и, согласитесь, не подозревали, что славное Ведомство переживет все: и державу, и вероучение, и общество, которое она, эта система, создала и выпестовала примерно так, как должны были это делать географические условия, производительные силы, борьба классов, религия, мораль и что там ещё признавалось движущей силой истории.

Летопись тайной полиции не написана. И не будет написана, сколько бы ни копилось свидетельств и «фактов», ибо мы не располагаем сверхязыком, который позволил бы нам, находясь внутри полицейской цивилизации, взглянуть на нее извне. Мы все ее воспитанники, мы говорим ее языком. И все же мы догадались о главном свойстве тайной службы, о том, что она всегда больше самой себя. Пусть она возникает как учреждение с ограниченной компетенцией, как «служба», ее натура состоит в том, что она перерастает себя. Тогда она начинает бояться самой себя. Она смотрит на себя снизу вверх, говорит о себе в третьем лице.

Подобно церкви, всегда проводившей границу между своей исторической оболочкой и сакральной сущностью, между слабостями и ошибками иерархов и верховной волей, которая их осеняет, Тайная Полиция не потерпела ущерба от того, что ее служилый контингент составляли подонки общества. Ее всеисие не убавилось, когда она стала рекрутироваться из бездарных, невежественных и, как можно догадываться, ни на что другое не годных людей. Напротив, это укрепило ее могущество, ибо отвечало ее миссии. Ведь она должна была стать эталоном для общества и пересоздать общество по своему образу и подобию. Низвести всех до своего уровня — вот в чем было ее предназначение. Раслить всех, от младенцев до старцев, упразднить личность как нечто архаичное, изжитое, путающееся под сапогами; покончить с достоинством человека, внушить ему презрение к самому себе, довести до сознания любого и каждого, что он ничего не может, ничего не стоит, что он — мразь, плевок, который будет растерт. Убедить всех и каждого, что зло — это добро, а добро — не что иное, как зло, и что преступником можно сделать любого; стоит только мигнуть — предателем станет каждый.

Низвести всех до своего собственного уровня... Это и значило создать общество будущего и выковать нового человека. И если, как утверждают, отцы-основатели этого не сознавали, то тем хуже для отцов; пущенная однажды в ход машина работала по собственным законам; и если она плодила фантомных врагов, если ни одно из «дел» не отвечало действительности, то тем хуже для тех, кто был сварен живьем в котлах этой кухни, тем хуже для «действительности», — да и что в самом деле значило это слово? Ее критерии учредила все та же тайная служба. Институты такого рода эволюционируют подобно живым организмам, и сверхбюрократия сама превращается в колоссальный уболюдочный мозг.

И мы, и мы удостоились быть ее современниками!

Здесь промелькнуло сравнение с церковью; не правильной ли, однако, будет сказать, что Тайная Полиция — это и есть церковь? Церковь, которая пасет железным посохом свое стадо, церковь со своим писанием и преданием, со своей мифологией и демонологией, с легендами о святых и мучениках, с рассказами об исчадиях ада, оборотнях-диверсантах, вредителях, злодеях-врачах. Церковь со своими таинствами, со своей иерархией, церковь шизофренного божества, отменившая все другие религии, веру в Христа, в Будду, в Бога Саваофа без образа, вкуса и запаха и бога в облике деревянной куклы.

Тот, кто шагал с напарником по прогулочному двору, за высокой каменной стеной на крыше центральной тюрьмы, не видел города, и если бы чудесный храм-дворец, затмив Египет и Вавилон, воздвигся на самом деле, а не на фанерном щите, тот, кто шагал по прогулочному двору, не увидел бы и храма: он видел лишь стены и сторожевые вышки внутри стен; и не всегда догадывался о том, что за стенами внизу площадь, памятник, пешеходы, автомобили, все то, что он считал жизнью и что теперь оказалось призраком жизни; он видел над собою небо и нечто подобное темному облаку — приближение истины.

Не зная истины, он уже дышит ею.

Но время идти, как сказал Сократ: вам, чтобы жить, мне, чтобы умирать; избежать смерти нетрудно (продолжал он), а вот что гораздо труднее, так это избежать душевной порчи. Время разбрасывать камни — собирать их будут другие. Шумит дождь над городом, пузырятся ручьи. Вода смывает прошлое, а что будет после нас, о том ведают только боги.

Finis

СОДЕРЖАНИЕ

Далекое зрелище лесов	5
Чудотворец.....	115
<i>Рассказы и повести</i>	
Беглец и Гамаюн	157
Ужин у графини Д.	179
Дорога	197
Корсар	211
Ночь Египта	238
Граница.....	260
После нас потоп. <i>Роман</i>	271

Борис Хазанов

После нас потоп

Главный редактор издательства *И. А. Савкин*
Дизайн обложки *И. Н. Граве*
Оригинал-макет подготовлен *Б. Н. Марковским*

ИД № 04372 от 26.03.2001 г.
Издательство «Алетейя»,
192171, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 53.
Тел./факс: (812) 560-89-47
E-mail: office@aletheia.spb.ru (*отдел реализации*),
aletheia@peterstar.ru (*редакция*)
www.aletheia.spb.ru

Фирменные магазины «Историческая книга»:
Москва, м. «Китай-город», Старосадский пер., 9. Тел. (495) 921-48-95
Санкт-Петербург, м. «Чернышевская», ул. Чайковского, 55.
Тел. (812) 327-26-37

*Книги издательства «Алетейя» в Москве
можно приобрести в следующих магазинах:*
«Библио-Глобус», ул. Мясницкая, 6. www.biblio-globus.ru
Дом книги «Москва», ул. Тверская, 8. Тел. (495) 629-64-83
Магазин «Русское зарубежье», ул. Нижняя Радищевская, 2.
Тел. (495) 915-27-97
Магазин «Гилея», Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28
Магазин «Фаланстер», Малый Гнезниковский пер., 12/27.
Тел. (495) 749-57-21, 629-88-21
Магазин издательства «Совпадение».
Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

Подписано в печать 26.07.2010. Формат 60x88 1/16.
Усл. печ. л. 28. Печать офсетная. Тираж 1000 экз.
Заказ № 3352

Отпечатано с готовых диапозитивов
в ГУП «Типография «Наука»
199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

КНИГИ ИЗДАТЕЛЬСТВА «АЛЕТЕЙЯ»

МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В СЛЕДУЮЩИХ МАГАЗИНАХ

МОСКВА

Библио-Глобус

Дом книги «Москва»

Магазин «Православное слово»

ООО «Паолине»

Магазин РГГУ «Гуманитарная книга»

Магазин издательства «Гнозис»

Магазин «Русское зарубежье»

Магазин Издательства УРСС

Магазин «Гилея»

Магазин «Фаланстер»

Галерея книг «Нина»

Магазин издательства «Совпадение»

«Новое книжное агентство»

«Книжная лавка обществоведа»

ул. Мясницкая, д. 6/3, стр. 5. Тел. (495) 781-19-00

ул. Тверская, д. 8, стр. 1. Тел. (495) 629-64-83

Тел. (495) 951-51-84, 951-34-97

ул. Б. Никитская, д. 26/2. Тел. (495) 291-50-05

Миусская пл., д. 6. Тел. (495) 973-43-01

Тел. (495) 247-17-57

ул. Нижняя Радищевская, д. 2

пр. 60-летия Октября, д. 9

Нахимовский пр., д. 56/26. Тел. (495) 332-47-28

Малый Гнездииковский пер., д. 12/27. Тел. (495) 749-57-21

ул. Бахрушина, д. 28. Тел. (495) 959-21-03

Тел. (495) 915-31-00, 915-32-84

ул. Покровка, д. 27, стр. 1. Тел. (495) 916-28-14

Нахимовский проспект, д. 56/26. Тел. (495) 120-30-81

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Магазин «Историческая книга»

«Книжный салон»

Филологического факультета СПбГУ

Магазин «Классное чтение»

Книжный салон РНБ «Дом Крылова»

«Дом книги»

Магазин «Слово»

Магазин «Русская симфония»

Магазин «Перемещенные ценности»

ул. Чайковского, д. 55. Тел. (812) 327-26-37

Университетская наб., д. 11. Тел. (812) 328-95-11

6-я линия В. О., д. 15. Тел. (812) 328-61-13

ул. Садовая, д. 18. Тел. (812) 310-44-87

Невский пр., д. 28. Тел. (812) 314-58-88

ул. М. Коношенина, д. 9. Тел. (812) 571-20-75

1-я линия В. О., д. 42. Тел. (812) 328-63-42

ул. Колокольная, д. 1

ЕКАТЕРИНБУРГ. «Дом книги»

ул. Антона Валека, д. 12

НИЖНИЙ НОВГОРОД. «Дом книги»

ул. Советская, д. 14а

СЕТЬ МАГАЗИНОВ «ТОП-КНИГА»

<http://www.top-kniga.ru> Тел. (383) 336-10-26, 336-10-36

ТАЛЛИНН. Магазин Kniga.ee

15189 Tallinn, Tõnismägi 2, Eesti Rahvusraamatukogu

В вестибюле Национальной библиотеки Эстонии.

Тел. (372) 630 7472

Тел. (812) 560-89-47

E-mail: office@aletheia.spb.ru

Заказ книга-почтой

Экспорт из России

DataInternational Group

10122 Таллин Эстония. Тел. 646-03-81

E-mail: info@kniga.ee

ЗАО «Информ-система»

г. Москва, Севастопольский пр., д. 11а.

Тел. 127-91-47, e-mail: info@informsystema.ru

Юпитер-Импэкс

г. Москва, Налесный пер., д. 4.

Тел. 775-00-54, e-mail: export@jupiters.ru



Борис Хазанов (псевдоним Г.М.Файбусовича), родился в Ленинграде, вырос в Москве. Учился в Московском университете, на последнем курсе филологического факультета был арестован, получил 8 лет по обвинению в антисоветской агитации, отбывал наказание в Унженском исправительно-трудовом лагере. Позднее окончил медицинский институт, работал врачом, кандидат медицинских наук. В связи с участием в Самиздате был вынужден покинуть Советский Союз и поселился в Германии. Автор романов, рассказов, эссеистических произведений. Многократно переводился на европейские языки, публиковался в России и за границей. Премия «Литература в изгнании» (Гейдельберг), несколько премий Международного ПЕН-клуба, Русская премия (Москва). Живёт в Мюнхене.

Два романа, «Далекое зрелище лесов» и «После нас потоп», ряд повестей и рассказов составляют содержание третьего тома Собрания сочинений Бориса Хазанова. Центральный текст — «После нас потоп» — рисует ситуацию страны накануне крушения советской власти и распада российской колониальной империи. Фантастика реальной действительности — так можно сформулировать общую тему и сверхсюжет произведений этого тома.

К северу от будущего. Романы и повести

Третье время. Романы и повести

После нас потоп. Романы и повести

Вчерашняя вечность. Повести и рассказы

Опровержение Чёрного павлина. Повести и рассказы

Литературный музей. Статьи и эссе